Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

А. ГЕРЦЕН

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТИ 6—8

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1969

Р1
Г41

7-3-1
Подп. изд.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

АНГЛИЯ

(1852—1864)

ГЛАВА I

ЛОНДОНСКИЕ ТУМАНЫ

Когда на рассвете 25 августа 1852 года я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замарано-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его.

Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал. Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин для того, чтоб снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать.

Я изменил своей логике и забыл, как розен современный человек в мнениях и делах, как громко начинает он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы.

Месяца два продолжались ненужные встречи, бесплодное искание, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидал... чего-то ожидал. Но моя реальная натура не могла остаться долго в этом призрачном мире, я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет.

Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя. Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты, и я чувствовал страшную, невыразимую усталь... Как мне была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения мою исповедь, была бы несчастна моим несчастием; но кругом стлалась больше и больше пустыня, никого близкого... ни одного человека... А может, это было и к лучшему.

Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне.

Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом в одной из самых дальних частей города, за Режент-парком, близ Примроз-Гиля.

Дети оставались в Париже, один Саша был со мною. Дом на здешний манер был разделен на три этажа. Весь средний этаж состоял из огромного, неудобного, холодного drawing-room[1]. Я его превратил в кабинет. Хозяин дома был скульптор и загромоздил всю эту комнату разными статуэтками и моделями... Бюст Лолы Монтес стоял у меня пред глазами вместе с Викторией.

Когда на второй или третий день после нашего переезда, разобравшись и устроившись, я взошел утром в эту комнату, сел на большие кресла и просидел часа два в совершеннейшей тишине, никем не тормошимый, я почувствовал себя как-то свободным,— в первый раз после долгого, долгого времени. Мне было не легко от этой свободы, но все же я с приветом смотрел из окна на мрачные деревья парка, едва сквозившие из-за дымчатого тумана, благодаря их за покой.

По целым утрам сиживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая; иногда прибегал Саша, но не мешал одиночеству. Гауг, живший со мной, без крайности никогда не входил до обеда; обедали мы в седьмом часу. В этом досуге разбирал я факт за фактом все бывшее, слова и письма, людей и себя; ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлеченье другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот... Были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке; но были и другие, не радостные, но мужественные; я чувствовал в себе силу, я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех.

Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, то есть не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чужой между посторонними, сочувствовал больше одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен. Оно и прежде так было; но я не замечал этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарад кончился, домино были сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел другие черты, не те, которые я предполагал. Что же мне было делать? Я мог не показывать, что я многих меньше люблю, то

[1] Гостиной *(англ.).— Ред.*

есть больше знаю; но не чувствовать этого я не мог, и, как я сказал, эти открытия не отняли у меня мужества, но скорее укрепили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Его образ жизни, расстояния, климат, самые массы народонаселения, в которых личность пропадает, все это способствовало к тому вместе с отсутствием континентальных развлечений. Кто умеет *жить один*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точно так же как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя, ищущему привет, участие, внимание; нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продымленного тумана кислород. Масса спасается завоевыванием себе насущного хлеба, купцы — недосугом стяжания, все — суетой дел; но нервные, романтические натуры, любящие жить на людях, умственно тянуться и праздно млеть, пропадают здесь со скуки, впадают в отчаяние.

Одиноко бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями — я много прожил.

Обыкновенно вечером, когда мой сын ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни к кому не заходил; читал газеты, всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу.

С одной стороны прорезываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, с другой — опрокинутая миска св. Павла... и фонари... фонари без конца в обе стороны. Один город, сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся— пусто, только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душе сделается тише и мирнее. И вот за все за это я полюбил этот страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голода, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истративши двух фунтов.

Но такого рода переломы, как бы быстро ни приходили, не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени прошло, пока я сладил с новыми мыслями. Решившись на труд, я долго ничего не делал или делал не то, что хотел.

Мысль, с которой я приехал в Лондон,— искать *суда своих* — была верна и справедлива. Я это и теперь повторяю с полным и обдуманным сознанием. К кому же, в самом деле, нам обращаться за судом, за восстановлением истины? за обличением лжи?

Не идти же нам тягаться перед судом наших врагов, судящих по другим началам, по законам, которых мы не признаем.

Можно разведаться самому, можно, без сомнения. Самоуправство вырывает силой взятое силой и тем самым приводит к равновесию; месть такое же простое и верное человеческое чувство, как благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняют. Может же случиться, что человеку в объяснении — главное дело, может быть, ему *восстановление правды* дороже мести.

Ошибка была не в *главном положении* — она была в прилагательном; для того чтоб был суд своих, надобно было прежде всего иметь *своих*. Где же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был отрезан на чужбине, надобно было во что б ни стало снова завести речь с своими — хотелось им рассказать, что тяжело лежало на сердце. Писем не пропускают — книги сами пройдут; писать нельзя — буду печатать, и я принялся мало-помалу за «Былое и думы» и за *устройство русской типографии*.

ГЛАВА II

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

Центральный европейский комитет.— Маццини.— Ледрю-Роллен.—Кошут

Издавая прошлую «Полярную звезду», я долго думал — что́ следует печатать из лондонских воспоминаний и что́ лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложил, теперь я печатаю из нее несколько отрывков.

Что же изменилось? — 59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партии уяснились, одни окрепли, другие улетучились. С напряженным вниманием, останавливая не только всякое суждение, но самое биение сердца, следили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырезывались из него с такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымом. *На сию минуту* он рассеялся, и на сердце легче, все дорогие головы целы!

А еще дальше за этим дымом, в тени, без шума битв, без ликований торжества, без лавровых венков одна личность достигла колоссальных размеров.

Осыпаемый проклятиями всех партий: обманутым плебеем, диким попом, трусом-буржуа и пиэмонтской дрянью; оклеветанный всеми органами всех реакций, от папского и императорского «Монитера» до либеральных кастратов Кавура и великого евнуха

лондонских менял «Таймса» (который не может назвать имени Маццини, не прибавив площадной брани),— он остался не только... «неколебим пред общим заблуждением»... но благословляющим с радостью и восторгом врагов и друзей, исполнявших *его* мысль, *его* план. Указывая на него, как на какого-то Абадонну,—

Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою...

...Но возле него стоял не Кутузов, а Гарибальди. В лице своего героя, своего освободителя Италия не разрывалась с Маццини. Как же Гарибальди не отдал ему полвенка своего? Зачем не признался, что идет с ним рука в руку? Зачем оставленный триумвир римский не предъявил своих прав? Зачем он сам просил не поминать его, и зачем народный вождь, чистый, как отрок, молчал и лгал разрыв?

Обоим было что-то дороже их личностей, их имени, их славы— *Италия!*

И пошлая современность их не поняла. У ней не хватило емкости на столько величия; бухгалтерской книги их недостало до того, чтоб подвести итог таких credit и debet!

Гарибальди сделался еще больше «лицом из Корнелия Непота»;[1] он так антично велик в своем хуторе, так простодушно, так чисто велик, как описание Гомера, как греческая статуя. Нигде ни риторики, ни декораций, ни дипломаций,— в эпопее они были не нужны; когда она кончилась и началось продолжение календаря, тогда король отпустил его, как отпускают довезшего ямщика, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголял Австрию колоссальной неблагодарностью; а Гарибальди и не рассердился, он, улыбаясь, с пятидесятью скудами в кармане вышел из дворцов стран, покоренных им, предоставляя дворовым усчитывать его расходы и рассуждать о том, что он испортил шкуру медведя. Пускай себе тешатся, половина великого дела сделана — лишь бы Италию сколотить в одно и прогнать белых кретинов.

Были минуты тяжелые для Гарибальди. Он увлекается людьми; как он увлекся А. Дюма, так увлекается Виктором-Эммануилом; неделикатность короля огорчает его; король это знает и, чтоб задобрить его, посылает фазанов, собственноручно убитых, цветы из своего сада и любовные записки, подписанные: «Sempre il tuo amico Vittorio»[2].

Для Маццини — люди не существуют, для него существует *дело*, и притом *одно дело*; он сам существует, «живет и движется»

---

[1] V «Поляр. звезда».

[2] Всегда твой друг Виктор *(итал.)*.— *Ред.*

только в нем. Сколько ни посылай ему король фазанов и цветов, он его не тронет. Но он сейчас соединится не только с ним, которого он считает за доброго, но пустого человека,— но с его маленьким Талейраном, которого он вовсе не считает ни за доброго, ни за порядочного человека. Маццини — аскет, Кальвин, Прочида итальянского освобождения. Односторонний, вечно занятый одной идеей, вечно на страже и готовый, Маццини с тем упорством и терпением, с которым он создал, из разбросанных людей и неясных стремлений, плотную партию и, после десяти неудач, вызвал Гарибальди и его войско, полсвободной Италии и живую, непреложную надежду на ее единство,— Маццини не спит. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видят худую, печальную руку Маццини, указывающую на Рим, и они еще пойдут туда!

Я дурно сделал, что выпустил, в напечатанном отрывке, несколько страниц об Маццини; его усеченная фигура вышла не так ясно, я остановился именно на его размолвке с Гарибальди в 1854 и на моем разномыслии с ним. Сделано было это мною из деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О таких людях нечего умалчивать, *их щадить нечего!*

После своего возвращения из Неаполя он написал мне записку; я поспешил к нему, сердце щемило, когда я его увидел; я все же ждал найти его грустным, оскорбленным в своей любви, положение его было в высшей степени трагическое; я действительно его нашел телесно состаревшимся и помолоделым душой; он бросился ко мне, по обыкновению протягивая обе руки, со словами: «Итак, наконец-то, сбывается!..» — в его глазах был восторг, и голос дрожал.

Он весь вечер рассказывал мне о времени, предшествовавшем экспедиции в Сицилию, о своих сношениях с Виктором-Эммануилом, потом о Неаполе. В увлечении, в любви, с которыми он говорил о победах, о подвигах Гарибальди, было столько же дружбы к нему, как в его брани за его доверчивость и за неуменье распознавать людей.

Слушая его, я хотел поймать одну ноту, один звук обиженного самолюбия, и не поймал; ему грустно, но грустно, как матери, оставленной на время возлюбленным сыном, она знает, что сын воротится, и знает больше этого — что сын счастлив; это покрывает все для нее!

Маццини исполнен надежд, с Гарибальди он ближе, чем когда-нибудь. Он с улыбкой рассказывал, как толпы неаполитанцев, подбитые агентами Кавура, окружили его дом с криками: «Смерть Маццини!» Их, между прочим, уверили, что Маццини «бурбонский республиканец». «У меня в это время было несколько человек на-

ших и один молодой русский, он удивлялся, что мы продолжали прежний разговор. «Вы не опасайтесь,— сказал я ему в успокоение,— *они меня не убьют, они только кричат!*»

Нет, таких людей нечего щадить!

31 января 1861.

В Лондоне я спешил увидеть Маццини не только потому, что он принял самое теплое и деятельное участие в несчастьях, которые пали на мою семью, но еще и потому, что я имел к нему особое поручение от его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапо, Козенц, Бертани и другие были недовольны направлением, которое давалось из Лондона; они говорили, что Маццини плохо знает новое положение, жаловались на революционных царедворцев, которые, чтоб подслужиться, поддерживали в нем мысль, что все готово для восстания и ждет только сигнала. Они хотели внутренних преобразований, им казалось необходимым ввести гораздо больше военного элемента и иметь во главе стратегов, вместо адвокатов и журналистов. Для этого они желали, чтоб Маццини сблизился с талантливыми генералами вроде Уллоа, стоявшего возле старика Пепе в каком-то недовольном отдалении.

Они поручили мне рассказать все это Маццини долею потому, что они знали, что он имел ко мне доверие, а долею и потому, что мое положение, независимое от итальянских партий, развязывало мне руки.

Маццини меня принял как старого приятеля. Наконец речь дошла до порученного мне от его друзей. Он меня сначала слушал очень внимательно, хотя и не скрывал, что ему не совсем нравится оппозиция; но когда из общих мест я дошел до частностей и личных вопросов, тогда он вдруг прервал мою речь:

— Это совершенно не так, тут нет ни слова дельного!

— Однако,— заметил я,— нет полутора месяца, как я оставил Геную, и в Италии был два года без выезда, и могу сам подтвердить многое из того, что́ говорил ему от имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были в Генуе. Что такое Генуя? Что вы могли там слышать? Мнение одной части эмиграции. Я знаю, что она так думает, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центр, но это одна точка, а я знаю всю Италию; я знаю потребность каждого местечка от Абруцц до Форальберга. Друзья наши в Генуе разобщены со всем полуостровом, они не могут судить об его потребностях, об общественном настроении.

Я сделал еще два-три опыта, но он уже был en garde[1], начинал

[1] настороже *(франц.).— Ред.*

сердиться, нетерпеливо отвечал... Я замолчал с чувством грусти; такой нетерпимости я прежде в нем не замечал.

— Я вам очень благодарен,— сказал он, подумав.— Я должен знать мнение наших друзей; я готов взвесить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нет, это — другое дело; на мне лежит большая ответственность не только перед совестью и богом, но перед народом итальянским.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывал свое 3 февраля 1853 года; дело для него было решенное, а друзья его не были с ним согласны.

— Знакомы вы с Ледрю-Ролленом и Кошутом?

— Нет.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вам надобно с ними повидаться, я вам напишу к обоим несколько слов. Расскажите им, что́ вы видели, как оставили наших. Ледрю-Роллен,— продолжал он, взяв перо и начав записку,— самый милый человек в свете, но француз jusqu'au bout des ongles:[1] он твердо верует, что без революции во Франции — Европа не двинется,— le peuple initiateur!..[2] А где французская инициатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшие Францию, шли из Италии или из Англии. Вы увидите, что новую эру революции начнет Италия! Как вы думаете?

— Признаюсь вам, что я этого не думаю.

— Что же,— сказал он, улыбаясь,— славянский мир?

— Я этого не говорил; не знаю, на чем Ледрю-Роллен основывает свои верования, но весьма вероятно, что ни одна революция не удастся в Европе, пока Франция в том состоянии прострации, в которой мы ее видим.

— Так и вы еще находитесь под prestig'ем Франции?

— Под престижем ее географического положения, ее страшного войска и ее естественной опоры на Россию, Австрию и Пруссию[3].

— Франция спит, мы ее разбудим.

Мне оставалось сказать: «Дай бог вашими устами мед пить!»

Кто из нас был прав на ту минуту — доказал Гарибальди. В другом месте я говорил о моей встрече с ним в вест-индских доках, на его американском корабле «Common Wealth».

Там за завтраком у него, в присутствии Орсини, Гауга и меня, Гарибальди, говоря с большой дружбой о Маццини, высказывал открыто свое мнение о 3 феврале 1853 (это было весной 1854) и тут

[1] до кончика ногтей *(франц.).— Ред.*
[2] народ-инициатор *(франц.).— Ред.*
[3] Этот разговор был осенью 1852.

же говорил о необходимости соединения всех партий в одну военную.

В тот же день, вечером, мы встретились в одном доме; Гарибальди был не весел, Маццини вынул из кармана лист «Italia del Popolo» и показал ему какую-то статью. Гарибальди прочитал ее и сказал:

— Да, написано бойко, а статья превредная; я скажу откровенно: за такую статью стоит журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всеми силами раздор между нами и Пиэмонтом в то время, когда мы только имеем одно войско — войско сардинского короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступления.

Маццини отстаивал журнал; Гарибальди сделался еще скучнее.

Когда он собирался ехать с корабля, он говорил, что ночью будет поздно возвращаться в доки и что он поедет спать в отель; я предложил вместо отеля ехать спать ко мне, Гарибальди согласился.

После этого разговора, осажденный со всех сторон неустрашимым легионом дам, Гарибальди ловкими маршами и контрмаршами выпутался из хоровода и, подойдя ко мне, шепнул мне на ухо:

— Вы до которого часа останетесь?

— Поедемте хоть сейчас.

— Сделайте одолжение.

Мы поехали; на дороге он сказал мне:

— Как мне жаль, как мне бесконечно жаль, что Перро[1] так увлекается и с благороднейшим, чистейшим намерением делает ошибки. Я не мог вытерпеть давеча: тешится тем, что выучил своих учеников дразнить Пиэмонт. Ну что же, если король бросится совсем в реакцию, свободное слово итальянское смолкнет в Италии и последняя опора пропадет. Республика, республика! Я всегда был республиканец, всю жизнь, да дело теперь не в республике. Массы итальянские я знаю лучше Маццини, я жил с ними, их жизнью. Маццини знает Италию образованную и владеет ее умами; но войска, чтоб выгнать австрийцев и папу, из них не составишь; для массы, для народа итальянского одно знамя и есть — *единство и изгнание иноземцев!* А как же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственно сильное королевство в Италии, которое, из каких бы причин ни было, хочет стать за Италию и боится; вместо того чтоб его звать к себе, его толкают прочь и обижают. В тот день, в который *молодой человек* поверит, что он ближе к эрцгерцогам, чем к нам, судьбы Италии затормозятся на поколение или на два.

[1] Уменьшительное от Джузеппе.

На другой день было воскресенье, он ушел гулять с моим сыном, сделал у Калдези его дагерротип и принес мне его в подарок, а потом остался обедать.

Середь обеда меня вызывает один итальянец, посланный от Маццини, он с утра отыскивал Гарибальди; я просил его сесть с нами за стол.

Итальянец, кажется, хотел говорить с ним наедине, я предложил им идти ко мне в кабинет.

— У меня никаких секретов нет, да и чужих здесь нет, говорите,— заметил Гарибальди.

В продолжение разговора Гарибальди еще раз повторил, и притом раза два, то же, что мне говорил, когда мы ехали домой.

Он внутренно был совершенно согласен с Маццини, но расходился с ним в исполнении, в средствах. Что Гарибальди лучше знал массы, в этом я совершенно убежден. Маццини, как средневековый монах, глубоко знал одну сторону жизни, но другие *создавал*; он много жил мыслью и страстью, но не на дневном свете; он с молодых лет до седых волос жил в карбонарских юнтах, в кругу гонимых республиканцев, либеральных писателей; он был в сношениях с греческими гетериями и с испанскими exaltados, он конспирировал с *настоящим* Каваньяком и поддельным Ромарино, с швейцарцем Джемсом Фази, с польской демократией, с молдо-валахами... Из его кабинета вышел благословленный им восторженный Конарский, пошел в Россию и погибнул. Все это так, но с народом, но с этим solo interprete della legge divina[1], но с этой густой толщей, идущей до грунта, то есть до полей и плуга, до диких калабрийских пастухов, до факинов и лодочников, он никогда не был в сношениях, а Гарибальди не только в Италии, но везде жил с ними, знал их силу и слабость, горе и радость; он их знал на поле битвы и середь бурного океана и умел, как Бем, сделаться легендой, в него верили больше, чем в его патрона Сан-Джузеппе.

Один Маццини не верил ему.

И Гарибальди, уезжая, сказал:

— Я еду с тяжелым сердцем: я на него не имею влияния, и он опять предпримет что-нибудь до срока!

Гарибальди угадал, не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки; Орсини был схвачен пиэмонтскими жандармами, на пиэмонтской земле, чуть не с оружием в руках, в Риме открыли один из центров движения, и та удивительная организация, о которой я говорил[2], разрушилась. Испуганные правительства усили-

---

[1] единственным истолкователем божественного закона *(итал.).— Ред.*

[2] «Пол. звезда». V.

ли полицию; свирепый трус, король неаполитанский, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпел и напечатал свое известное письмо. «В этих несчастных восстаниях могут участвовать или сумасшедшие, или враги итальянского дела».

Может, письма этого и не следовало печатать. Маццини был побит и несчастен, Гарибальди наносил ему удар... Но что его письмо совершенно последовательно с тем, что он мне говорил и при мне,— в этом нет сомнения.

На другой день я отправился к Ледрю-Роллену — он меня принял очень приветливо. Колоссальная, импозантная фигура его — которой не надобно разбирать en détail [1],— общим впечатлением располагала в его пользу. Должно быть, он был и bon enfant и bon vivant [2]. Морщины на лбу и проседь показывали, что заботы и ему не совсем даром прошли. Он потратил на революцию свою жизнь и свое состояние — а общественное мнение ему изменило. Его странная, непрямая роль в апреле и мае, слабая в Июньские дни — отдалила от него часть красных — не сблизив с синими. Имя его, служившее символом и произносимое иной раз с ошибкой [3] мужиками, но все же произносимое,— реже было слышно. Самая партия его в Лондоне таяла больше и больше, особенно когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне.

Усевшись покойно на кушетке, Ледрю-Роллен начал меня *гарангировать* [4].

— Революция,— говорил он,— только и может лучиться (rayonner) из Франции. Ясно, что, к какой бы стране вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать нам — для вашего собственного дела. Революция только может выйти из Парижа. Я очень хорошо знаю, что наш друг Маццини не того мнения,— *он увлекается своим патриотизмом*. Что может сделать Италия с Австрией на шее и с Наполеоновыми солдатами в Риме? Нам надобно Париж, Париж — это Рим, Варшава, Венгрия, Сицилия, и, по счастью, Париж совершенно готов — не ошибайтесь — совершенно готов! Революция сделана — la révolution est faite: c'est clair comme bonjour [5]. Я об этом и не думаю, я думаю о последствиях, о том, как избегнуть прежних ошибок...

---

[1] по мелочам *(франц.).— Ред.*

[2] добрым малым... любителем хорошо пожить *(франц.).— Ред.*

[3] Мужички дальних краев любили Le duc Rollin'a ⟨герцога Роллена *(франц.).— Ред.*⟩ и жалели только, что им руководствует женщина, с которой он связался — La Martine. Что она-то дюка и сбивает, а что он сам pour le populaire ⟨за народ *(франц.).— Ред.*⟩.

[4] приветствовать торжественной речью *(от франц. haranguer).— Ред.*

[5] революция сделана, это ясно, как день *(франц.).— Ред.*

Таким образом он продолжал с полчаса и вдруг, спохватившись, что он и не один и не перед аудиторией, добродушнейшим образом сказал мне:

— Вы видите, мы с вами совершенно одинакого мнения.

Я не раскрывал рта. Ледрю-Роллен продолжал:

— Что касается до материального факта революции,— он задержан нашим безденежьем, средства наши истощились в этой борьбе, которая идет годы и годы. Будь теперь, сейчас в моем распоряжении *сто тысяч* франков — да, мизерабельных сто тысяч франков — и послезавтра, через три дня революция в Париже.

— Да как же это,— заметил я наконец,— такая богатая нация, совершенно готовая на восстание, не находит ста тысяч, полмиллиона франков?

Ледрю-Роллен немного покраснел, но, не запинаясь, отвечал:

— Pardon, pardon, вы говорите о *теоретических предположениях* — в то время как я вам говорю о фактах, о простых фактах.

Этого я не понял.

Когда я уходил, Ледрю-Роллен, по английскому обычаю, проводил меня до лестницы и еще раз, подавая мне свою огромную, богатырскую руку, сказал:

— Надеюсь, это не в последний раз, я буду всегда рад... Итак, au revoir.

— В Париже,— ответил я.

— Как в Париже?

— Вы так убедили меня, что революция за плечами, что я, право, не знаю, успею ли я побывать у вас здесь.

Он смотрел на меня с недоумением, и потому я поторопился прибавить:

— По крайней мере, я этого искренно желаю — в этом, думаю, вы не сомневаетесь.

— Иначе вы не были бы здесь,— заметил хозяин, и мы расстались.

Кошута в первый раз я видел, собственно, во *второй* раз. Это случилось так: когда я приехал к нему, меня встретил в парлоре[1] военный господин, в полувенгерском военном костюме, с извещением, что *г. губернатор* не принимает.

— Вот письмо от Маццини.

— Я сейчас передам. Сделайте одолжение.— Он указал мне на трубку и потом на стул. Через две-три минуты он возвратился.

— *Господин губернатор* чрезвычайно жалеет, что не может вас видеть сейчас, он оканчивает *американскую почту*... впрочем, если вам угодно подождать, то он будет очень рад вас принять.

---

[1] гостиной *(от англ. parlour).— Ред.*

— А скоро он кончит почту?

— К пяти часам непременно.

Я взглянул на часы — половина второго.

— Ну, трех часов с половиной я ждать не стану.

— Да вы не приедете ли после?

— Я живу не меньше трех миль от Ноттинг-Гиля. Впрочем,— прибавил я,— у меня никакого спешного дела к господину губернатору нет.

— Но господин губернатор будет очень жалеть.

— Так вот мой адрес.

Прошло с неделю, вечером является длинный господин с длинными усами — венгерский полковник, с которым я летом встретился в Лугано.

— Я к вам от господина губернатора: он очень беспокоится, что вы у него не были.

— Ах, какая досада. Я ведь, впрочем, оставил адрес. Если б я знал время, то непременно поехал бы к Кошуту сегодня — или...— прибавил я вопросительно,— как надобно говорить, к господину губернатору?

— Zu dem Olten, zu dem Olten[1],— заметил, улыбаясь, гонвед.— Мы его между собой всё называем der Olte. Вот увидите человека!.. такой головы в мире нет, не было и...— Полковник внутренно и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра в два часа приеду.

— Это невозможно, завтра середа, завтра утром старик принимает одних наших, одних венгерцев.

Я не выдержал, засмеялся, и полковник засмеялся.

— Когда же ваш старик пьет чай?

— В восемь часов вечера.

— Скажите ему, что я приеду завтра в восемь часов, но, если нельзя, вы мне напишите.

— Он будет очень рад — я вас жду в приемной.

На этот раз, как только я позвонил, длинный полковник меня встретил, а короткий полковник тотчас повел в кабинет Кошута.

Я застал Кошута, работающего за большим столом; он был в черной бархатной венгерке и в черной шапочке; Кошут гораздо лучше всех своих портретов и бюстов; в первую молодость он был, вероятно, красавцем и должен был иметь страшное влияние на женщин особенным романически задумчивым характером лица. Черты его не имеют античной строгости, как у Маццини, Саффи, Орсини, но (и, может, именно поэтому он был роднее нам, жителям севера) в печально кротком взгляде его сквозил не только сильный

[1] К старику, к старику *(южнонем.)*.— *Ред.*

ум, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и несколько восторженная речь окончательно располагали в его пользу. Говорит он чрезвычайно хорошо, хотя и с резким акцентом, равно остающимся в его французском языке, немецком и английском. Он не отделывается фразами, не опирается на битые места; он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль, почти всегда оригинально, потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии. Может, в его манере доводов и возражений виден адвокат, но то, что он говорит,— серьезно и обдуманно.

Кошут много занимался до 1848 года практическими делами своего края; это дало ему своего рода верность взгляда. Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон, что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут, лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным. И вот причина, между прочим, почему Кошут уступает Маццини в огненной деятельности и почему, с другой стороны, Маццини делает беспрерывные опыты, натягивает попытки, а Кошут их не делает вовсе.

Маццини глядит на итальянскую революцию — как фанатик; он верует в свою мысль об ней; он ее не подвергает критике и стремится ога е sempre [1], как стрела, пущенная из лука. Чем меньше обстоятельств он берет в расчет, тем прочнее и проще его действие, тем чище его идея.

Революционный идеализм Ледрю-Роллена тоже не сложен, его можно весь прочесть в речах Конвента и в мерах Комитета общественного спасения. Кошут принес с собою из Венгрии не общее достояние революционной традиции, не апокалиптические формулы социального доктринаризма, а протест своего края, который он глубоко изучил,— края нового, неизвестного ни в отношении к его потребностям, ни в отношении к его дико-свободным учреждениям, ни в отношении к его средневековым формам. В сравнении с своими товарищами Кошут был специалист.

Французские рефюжье [2], с своей несчастной привычкой рубить сплеча и все мерить на свою мерку, сильно упрекали Кошута за то, что он в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям, а в речи, которую произнес в Лондоне с балкона Mansion House, с глубоким уважением говорил о парламентаризме.

Кошут был совершенно прав. Это было во время его путешествия из Константинополя, то есть во время самого торжественно-эпического эпизода темных лет, шедших за 1848 годом. Североамериканский корабль, вырвавший его из занесенных когтей

---

[1] теперь и всегда *(итал.)*.— *Ред.*
[2] изгнанники *(от франц. réfugié)*. — *Ред.*

Австрии и России, с гордостию плыл с изгнанником в республику и остановился у берегов другой. В этой республике ждал уже приказ полицейского диктатора Франции, чтоб изгнанник не смел ступить на землю будущей империи. Теперь это прошло бы так; но тогда еще не все были окончательно надломлены, толпы работников бросились на лодках к кораблю приветствовать Кошута, и Кошут говорил с ними очень натурально о социализме. Картина меняется. По дороге одна свободная сторона выпросила у другой изгнанника к себе в гости. Кошут, всенародно благодаря англичан за прием, не скрыл своего уважения к государственному быту, который его сделал возможным. Он был в обоих случаях совершенно искренен; он не представлял вовсе такой-то партии; он мог, сочувствуя с французским работником, сочувствовать с английской конституцией, не сделавшись орлеанистом и не предав республики. Кошут это знал и отрицательно превосходно понял свое положение в Англии относительно революционных партий; он не сделался ни глюкистом, ни пиччинистом, он держал себя равно вдалеке от Ледрю-Роллена и от Луи Блана. С Маццини и Ворцелем у него был общий terrain [1], смежность границ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; с ними он и сошелся с первыми.

Но Маццини и Ворцель давным-давно были, по испанскому выражению, afrancesados [2]. Кошут, упираясь, туго поддавался им, и очень замечательно, что он уступал по той мере, по которой надежды на восстание в Венгрии становились бледнее и бледнее.

Из моего разговора с Маццини и Ледрю-Ролленом видно, что Маццини ждал революционный толчок из Италии и вообще был очень недоволен Францией, но из этого не следует, чтоб я был неправ, назвав и его afrancesado. Тут, с одной стороны, в нем говорил патриотизм, не совсем согласный с идеей братства народов и всеобщей республики; с другой — личное негодование на Францию за то, что в 1848 она ничего не сделала для Италии, а в 1849 все, чтоб погубить ее. Но быть раздраженным против современной Франции не значит быть *вне ее духа*; французский революционаризм имеет свой общий мундир, свой ритуал, свой символ веры; в их пределах можно быть специально политическим либералом или отчаянным демократом, можно, не любя Франции, любить свою родину на французский манер; все это будут вариации, частные случаи, но алгебраическое уравнение останется то же.

Разговор Кошута со мной тотчас принял серьезный оборот, в его взгляде и в его словах было больше грустного, нежели светлого; наверное, он не ждал революции завтра. Сведения его об юго-востоке

---

[1] почва *(франц.)*.— *Ред.*

[2] офранцужены *(исп.)*.— *Ред.*

Европы были огромны, он удивлял меня, цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой.

— Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания,— сказал он,— и какой страшный вред вы сделали самим себе. Какая узкая и *противуславянская* политика — поддерживать Австрию. Разумеется, Австрия и «спасибо» не скажет за спасение, разве вы думаете, что она не понимает, что Николай не ей помогал, а вообще деспотической власти.

Социальное состояние России ему было гораздо меньше известно, чем политическое и военное. Оно и не удивительно, многие ли из наших государственных людей знают что-нибудь о нем, кроме общих мест и частных, случайных, ни с чем не связанных замечаний. Он думал, что казенные крестьяне отправляют барщиной свою подать, расспрашивал о сельской общине, о помещичьей власти; я рассказал ему, что знал.

Оставив Кошута, я спрашивал себя, да что же общего у него, кроме любви к независимости своего народа, с его товарищами. Маццини мечтал Италией освободить человечество, Ледрю-Роллен хотел его освободить в Париже и потом строжайше предписать свободу всему миру. Кошут вряд заботился ли обо всем человечестве и был, казалось, довольно равнодушен к тому, скоро ли провозгласят республику в Лиссабоне, или дей Триполи будет называться простым гражданином одного и нераздельного Триполийского Братства.

Различие это, бросившееся мне в глаза с первого взгляда, обличилось потом рядом действий. Маццини и Ледрю-Роллен, как люди, независимые от практических условий, каждые два-три месяца усиливались делать революционные опыты: Маццини восстаниями, Ледрю-Роллен посылкою агентов. Мацциниевские друзья гибли в австрийских и папских тюрьмах, ледрю-ролленовские посланцы гибли в Ламбессе или Кайенне, но они с фанатизмом слепо верующих продолжали отправлять своих Исааков на заклание. Кошут не делал опытов; Лебени, ткнувший ножом австрийского императора, не имел никаких сношений с ним.

Без сомнения, Кошут приехал в Лондон с более сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было от чего закружиться в голове. Вспомните опять эту постоянную овацию, это царственное шествие через моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему навстречу и вести в свои стены. Двумиллионный гордый Лондон ждал его на ногах у железной дороги, карета лорд-мэра стояла приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его морем волнующегося народа, приветствовавшего его криками и бросаньем шляп вверх. И когда он вышел с лордом-мэром на балкон Меншен

Гоуза, его приветствовало то громогласное «ура!», которого Николай не мог в Лондоне добиться ни протекцией Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанством каким-то лошадям на скачках.

Надменная английская аристократия, уезжавшая в свои поместья, когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре и бражничал с мещанами в Сити, толпилась, забыв свое достоинство, в колясках и каретах, чтоб увидеть знаменитого агитатора; высшие чины представлялись — ему, изгнаннику. «Таймс» нахмурил было брови, но до того испугался перед криком общественного мнения, что стал ругать Наполеона, чтоб загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошут воротился из Америки полный упований. Но, проживши в Лондоне год-другой и видя, куда и как идет история на материке и как в самой Англии остывал энтузиазм, Кошут понял, что восстание невозможно и что Англия плохая союзница революции.

Раз, еще один раз, он исполнился надеждами и снова стал адвокатом за прежнее дело перед народом английским, это было в начале Крымской войны.

Он оставил свое уединение и явился рука об руку с Ворцелем, то есть с демократической Польшей, которая просила у союзников одного *воззвания*, одного согласия, чтоб рискнуть восстание. Без сомнения, это было для Польши великое мгновение — oggi o mai [1]. Если б восстановление Польши было признано, чего же было бы ждать Венгрии? Вот почему Кошут является на польском митинге 29 ноября 1854 года и требует слова. Вот почему он вслед за тем отправляется с Ворцелем в главнейшие города Англии, проповедуя агитацию в пользу Польши. Речи Кошута, произнесенные тогда, чрезвычайно замечательны и по содержанию и по форме. Но Англии на этот раз он не увлек; народ толпами собирался на митинги, рукоплескал великому дару слова, готов был делать складчины; но вдаль движение не шло, но речи не вызывали тот отзвук в других кругах, в массах, который бы мог иметь влияние на парламент или заставить правительство изменить свой путь. Прошел 1854 год, настал 1855, умер Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегом Крыма; о восстановлении польской национальности нечего было и думать; Австрия стояла костью в горле союзников; все хотели к тому же мира, главное было достигнуто — *статский* Наполеон покрылся военной славой.

Кошут снова сошел со сцены. Его статьи в «Атласе» и лекции о конкордате, которые он читал в Эдинбурге, Манчестере, скорее должно считать частным делом. Кошут не спас ни своего достояния,

---

[1] теперь или никогда *(итал.)*.— *Ред.*

ни достояния своей жены. Привыкнувший к широкой роскоши венгерских магнатов, ему на чужбине пришлось вырабатывать себе средства; он это делает, нисколько не скрывая.

Во всей семье его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тут прошли великие события и что они подняли диапазон всех. Кошут еще до сих пор окружен несколькими верными сподвижниками; сперва они составляли его двор, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему события; он сильно состарелся в последнее время, и тяжко становится на сердце от его покоя.

Первые два года мы редко видались; потом случай нас свел на одной из изящнейших точек не только Англии, но и Европы, на Isle of Wight[1]. Мы жили в одно время с ним месяц времени в Вентноре, это было в 1855 году.

Перед его отъездом мы были на детском празднике, оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцевали вместе с моими детьми... Кошут стоял у дверей и как-то печально смотрел на них, потом, указывая с улыбкой на моего сына, сказал мне:

— Вот уже и юное поколение совсем готово нам на смену.

— Увидят ли они?

— Я именно об этом и думал. А пока пусть попляшут,— прибавил он и еще грустнее стал смотреть.

Кажется, что и на этот раз мы думали одно и то же.

А увидят ли отцы? И что́ увидят? Та революционная эра, к которой стремились мы, освещенные догорающим заревом девяностых годов, к которой стремилась либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему, эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь? Их религия, их язык, их движение, их цель — все это и родственно нам, и с тем вместе чужое... звуки церковного колокола тихим утром праздничного дня, литургическое пение и теперь потрясают душу, но веры все же в ней нет!

Есть печальные истины — трудно, тяжко прямо смотреть на многое, трудно и высказывать иногда что видишь. Да вряд и нужно ли? Ведь это тоже своего рода страсть или болезнь. «Истина, голая истина, одна истина!» Все это так; да сообразно ли ведение ее с нашей жизнию? Не разъедает ли она ее, как слишком крепкая кислота разъедает стенки сосуда? Не есть ли страсть к ней страшный недуг, горько казнящий того, кто воспитывает ее в груди своей?

Раз, год тому назад, в день, памятный для меня,— мысль эта особенно поразила меня.

---

[1] острове Уайт *(англ.).— Ред.*

В день кончины Ворцеля я ждал скульптора в бедной комнатке, где домучился этот страдалец. Старая служанка стояла с оплывшим желтым огарком в руке, освещая исхудалый труп, прикрытый одной простыней. Он, несчастный, как Иов, заснул с улыбкой на губах, вера замерла в его потухающих глазах, закрытых таким же фанатиком, как он,— Маццини.

Я этого старика грустно любил и ни разу не сказал ему *всей правды*, бывшей у меня на уме. Я не хотел тревожить потухающий дух его, он и без того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то он был так рад, когда Маццини его умирающему уху шептал обеты и слова веры!

ГЛАВА III

ЭМИГРАЦИИ В ЛОНДОНЕ

Немцы, французы.— Партии.— В. Гюго.— Феликс Пиа.— Луи Блан и Арман Барбес.— «On liberty» [1]

Сидехом и плакахом на брегах вавилонских...

Псалтырь

Если б кто-нибудь вздумал написать, со стороны, внутреннюю историю политических выходцев и изгнанников с 1848 года в Лондоне, какую печальную страницу прибавил бы он к сказаниям о современном человеке. Сколько страданий, сколько лишений, слез... и сколько пустоты, сколько узости, какая бедность умственных сил, запасов, понимания, какое упорство в раздоре и мелкость в самолюбии...

С одной стороны, люди простые, инстинктом и сердцем понявшие дело революции и приносящие ему наибольшую жертву, которую человек может принести,— добровольную нищету, составляют небольшую кучку праведников. С другой — эти худо прикрытые затаенные самолюбия, для которых революция была служба, position sociale [2], и которые сорвались в эмиграцию, не достигнув места; потом всякие фанатики, мономаны всех мономаний, сумасшедшие всех сумасшествий; в силу этого нервного, натянутого, раздраженного состояния — верчение столов наделало в эмиграции страшное количество жертв; кто не вертел столов — от Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который

[1] «О свободе» *(англ.).— Ред.*

[2] общественное положение *(франц.).— Ред.*

пошел дальше... и узнавал все, что человек делал лет тысячу тому назад?..

Притом ни шагу вперед. Они, как придворные версальские часы, показывают один час, час, в который умер король... и их, как версальские часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывают одно событие, одну кончину какого-нибудь события. Об нем они говорят, об нем думают, к нему возвращаются. Встречая тех же людей, те же группы месяцев через пять-шесть, года через два-три, становится страшно — те же споры продолжаются, те же личности и упреки, только морщин, нарезанных нищетою, лишениями,— больше; сертуки, пальто — вытерлись; больше седых волос, и все вместе старее, костлявее, сумрачнее... а речи все те же и те же!

Революция у них остается, как в девяностых годах,— метафизикой общественного быта, но тогдашней наивной страсти к борьбе, которая давала резкий колорит самым тощим всеобщностям и тело сухим линиям их политического сруба,— у них нет и не может быть, всеобщности и отвлеченные понятия тогда были радостной новостью, откровением. В конце XVIII столетия люди в первый раз не в книге, а на самом деле начали освобождаться от рокового, таинственно тяготевшего мира теологической истории и пытались весь гражданский быт, выросший помимо сознания и воли, основать на сознательном понимании. В попытке *разумного* государства, как в попытке религии *разума*, была в 1793 могучая, титаническая поэзия, которая принесла свое, но с тем вместе выветрилась и оскудела в последние шестьдесят лет. Наши наследники титанов этого не замечают. Они, как монахи Афонской горы, которые занимаются своим, ведут те же речи, которые вели во время Златоуста, и продолжают жизнь, давно задвинутую турецким владычеством, которое само уж приходит к концу... собираясь в известные дни поминать известные события, в том же порядке, с теми же молитвами.

Другой тормоз, останавливающий эмиграции, состоит в отстаивании себя друг против друга; это страшно убивает внутренную работу и всякий добросовестный труд. Объективной цели у них нет, все партии упрямо консервативны, движение вперед им кажется слабостью, чуть не бегством; стал под знамя, так стой под ним, хотя бы со временем и разглядел, что цвета не совсем такие, как казались.

Так идут годы — исподволь все меняется около них. Там, где были сугробы снега,— растет трава, вместо кустарника — лес, вместо леса — одни пни... они ничего не замечают. Некоторые выходы совсем обвалились и засыпались, они в них-то и стучат; новые щели открылись, свет из них так и врывается полосами, но они смотрят в другую сторону.

Отношения, сложившиеся между разными эмиграциями и англичанами, могли бы сами по себе дать удивительные факты о химическом сродстве разных народностей.

Английская жизнь сначала ослепляет немцев, подавляет их, потом поглощает или, лучше сказать, распускает их в плохих англичан. Немец, по большей части, если предпринимает какое-нибудь дело, тотчас бреется, поднимает воротнички рубашки до ушей, говорит «yes»[1] вместо «ja»[2] и «well»[3] там, где ничего не надобно говорить. Года через два он пишет по-английски письма и записки и живет совершенно в английском кругу. С англичанами немцы никогда не обходятся как с равными, а как наши мещане с чиновниками и наши чиновники с столбовыми дворянами.

Входя в английскую жизнь, немцы не в самом деле делаются англичанами, но притворяются ими и долею перестают быть немцами. Англичане в своих сношениях с иностранцами такие же капризники, как во всем другом; они бросаются на приезжего, как на комедианта или акробата, не дают ему покоя, но едва скрывают чувство своего превосходства и даже некоторого отвращения к нему. Если приезжий удерживает свой костюм, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанин шпыняет над ним, но малопомалу привыкает в нем видеть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранец начинает подлаживаться под его манеры, он не уважает его и снисходительно трактует его с высоты своей британской надменности. Тут и с большим тактом трудно найтиться иной раз, чтоб не согрешить по минусу или по плюсу, можно же себе представить, что делают немцы, лишенные всякого такта, фамильярные и подобострастные, слишком вычурные и слишком простые, сентиментальные без причины и грубые без вызова.

Но если немцы смотрят на англичан, как на высшее племя того же рода, и чувствуют себя ниже их, то из этого не следует никак, чтоб отношение французов, и преимущественно французских рефюжье, было умнее. Так, как немец все без разбору уважает в Англии, француз протестует против всего и ненавидит все английское. Это доходит, само собой разумеется, до уродливости самой комической.

Француз, во-первых, не может простить англичанам, что они не говорят по-французски; во-вторых, что они не понимают, когда он Чаринг Крос называет *Шаран'кро* или Лестер-сквер — *Лессстер-скуар*. Далее, его желудок не может переварить, что в Англии обед состоит из двух огромных кусков мяса и рыбы, а не из пяти

---

[1] да *(англ.).— Ред.*
[2] да *(нем.).— Ред.*
[3] хорошо *(англ.).— Ред.*

маленьких порций всяких рагу, фритюр, салми и проч. Затем, он не может примириться с «рабством», по которому трактиры заперты в воскресенье и весь народ *скучает богу*, хотя вся Франция семь дней в неделю *скучает Бонапарту*. Затем, весь habitus[1], все хорошее и дурное в англичанине ненавистно французу. Англичанин платит ему той же монетой, но с завистию смотрит на покрой его одежды и карикатурно старается подражать ему.

Все это очень замечательно для изучения сравнительной физиологии, и я совсем не для смеха рассказываю это. Немец, как мы заметили, сознает себя, по крайней мере в гражданском отношении, низшим видом той же породы, к которой принадлежит англичанин,— и подчиняется ему. Француз, принадлежащий к другой породе, не настолько различной, чтоб быть равнодушным, как турок к китайцу, ненавидит англичанина, особенно потому, что оба народа слепо убеждены каждый о себе, что они представляют первый народ в мире. И немец внутри себя в этом уверен, особенно auf dem theoretischen Gebiete[2], но стыдится признаться.

Француз действительно во всем противуположен англичанину; англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное; француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно параллельные развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет, в лавку надо.

Два краеугольных камня всего английского быта: личная независимость и родовая традиция — для француза почти не существуют. Грубость английских нравов выводит француза из себя, и она действительно противна и отравляет лондонскую жизнь, но за ней он не видит той суровой мощи, которою народ этот отстоял свои права, того упрямства, вследствие которого из англичанина можно все сделать, льстя его страстям,— но не раба, веселящегося галунами своей ливреи, восхищающегося своими цепями, обвитыми лаврами.

Французу так дик, так непонятен мир самоуправления, децентрализации, своеобычно, капризно разросшийся, что он, как долго ни живет в Англии, ее политической и гражданской жизни, ее прав и судопроизводства не знаст. Он теряется в неспетом разноначалии английских законов, как в темном бору, и совсем не замечает, какие огромные и величавые дубы составляют его и сколько прелести, поэзии, смысла в самом разнообразии. То ли дело маленький кодекс

---

[1] облик *(лат.).— Ред.*

[2] в области теории *(нем.).— Ред.*

с посыпанными дорожками, с подстриженными деревцами и с полицейскими садовниками на каждой аллее.

Опять Шекспир и Расин.

Видит ли француз пьяных, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящего с спокойствием постороннего и любопытством человека, следящего за петушиным боем,— он приходит в неистовство, зачем полисмен не выходит из себя, зачем не ведет кого-нибудь au violon[1]. Он и не думает о том, что личная свобода только и возможна, когда полицейский не имеет власти отца и матери и когда его вмешательство сводится на страдательную готовность — до тех пор, пока его позовут. Уверенность, которую чувствует каждый бедняк, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, изменяет взгляд человека. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами иногда прячется преступник,— пускай себе. Гораздо лучше, чтоб ловкий вор остался без наказания, нежели чтоб каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. До моего приезда в Англию всякое появление полицейского в доме, в котором я жил, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde против врага. В Англии полицейский у дверей и в дверях только прибавляет какое-то чувство безопасности.

В 1855, когда жерсейский губернатор, пользуясь особым *бесправием* своего острова, поднял гонение на журнал «L'Homme» за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим рефюжье, протестовавшим в пользу журнала, оставить Жерсей,— здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власти, что им следует остаться и сделать процесс ему. «Daily News» обещал с другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и как,— «будто возможно выиграть процесс против правительства». Они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории — и гордо отступили в Гернсей.

Расскажу один пример французского понимания английских нравов. Однажды вечером прибегает ко мне один рефюжье и после целого ряда ругательств против Англии и англичан рассказывает мне следующую «чудовищную» историю.

Французская эмиграция в то утро хоронила одного из своих собратьев. Надо сказать, что в томной и скучной жизни изгнания похороны товарища почти принимаются за праздник,— случай сказать речь, пронести свои знамена, собраться вместе, пройтись по улицам, отметить, кто был и кто не был, а потому демократиче-

[1] в кутузку *(франц.).— Ред.*

ская эмиграция отправилась au grand complet[1]. На кладбище явился английский пастор с молитвенником. Приятель мой заметил ему, что покойник не был христианин и что, в силу этого, ему не нужна его молитва. Пастор, педант и лицемер, как все английские пасторы, с притворным смирением и национальной флегмой, отвечал, что, может, покойнику и не нужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать каждого умершего молитвой на последнее жилище его. Завязался спор, и, так как французы стали горячиться и кричать, упрямый пастор позвал полицейских.

— Allons donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée liberté![2] — прибавил главный актер этой сцены после покойника и пастора.

— Ну, что же сделала,— спросил я,— la force brutale au service du noir fanatisme?[3]

— Пришли четыре полицейских, et le chef de la bande[4] спрашивает: «Кто говорил с пастором?» Я прямо вышел вперед,— и, рассказывая, мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами,— c'est moi, «monsieur», car je m'en garde bien de dire «citoyen»[5] à ces gueux-là[6]. Тогда le chef des sbires[7] с величайшей дерзостью сказал мне: «Переведите другим, чтоб они не шумели, хороните вашего товарища и ступайте по домам. А если вы будете шуметь, я вас всех велю отсюда вывести».— Я посмотрел на него, снял с себя шляпу и гром-

---

[1] в полном сборе *(франц.).— Ред.*

[2] Ну вот, а вы еще говорите об этой отвратительной стране с ее проклятою свободой! *(франц.) — Ред.*

[3] грубая сила на службе у черного фанатизма? *(франц.)— Ред.*

[4] и предводитель шайки *(франц.).— Ред.*

[5] В пояснение того, что мой красный приятель употреблял в разговоре с полисменом слово «monsieur», чтобы не употреблять во зло слово «citoyen», надо вот что рассказать. В одной из темных, бедных и нечистых улиц, лежащих между Сого и Лестер-сквером, где обыкновенно кочует недостаточная часть эмиграции, завел какой-то красный ликворист небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашел к нему взять седативной воды. За прилавком сидел он сам, высокий, с грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большим носом и ртом несколько на сторону. Настоящий уездный террорист 94 года, к тому же и бритый. «Распалевой воды на шесть пенсов, monsieur»,— сказал я. Он отвешивал какую-то траву, за которой пришла девочка, не обращая никакого внимания на мой вопрос; я мог досыта налюбоваться этим Collot d'Herbois, пока он наконец припечатал сургучом уголки бумажного пакета, надписал и потом довольно строго обратился ко мне с «plaît-il?» ⟨что прикажете? *(франц.)— Ред.*⟩— «Распалевой воды на шесть пенсов,— повторил я,— monsieur». Он посмотрел на меня с каким-то свирепым выражением и, оглядев с головы до ног, важным и густым голосом сказал мне: «Citoyen, s'il vous plaît!» ⟨Гражданин, пожалуйста! *(франц.)— Ред.*⟩

[6] это я, «сударь», так как не стану же я называть такую сволочь «гражданином» *(франц.).— Ред.*

[7] начальник полицейских *(франц.).— Ред.*

кое что, есть силы, прокричал: «Vive la république démocratiquet sociale!»[1]

Едва удерживая смех, я спросил его:

— Что же сделал «начальник сбиров»?

— Ничего,— с самодовольной гордостью заметил француз.— Он переглянулся с товарищами, прибавил: «Ну, делайте, делайте ваше дело!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имеют дело не с английской чернью... у них тонкий нос!

Что-то происходило в душе серьезного, плотного и, вероятно, выпившего констабля во время этой выходки? Приятель и не подумал о том, что он мог себе доставить удовольствие прокричать то же самое перед окнами королевы, у решетки Букингамского дворца, без малейшего неудобства. Но еще замечательнее, что ни мой приятель, ни все прочие французы при таком происшествии и не думают, что за подобную проделку во Франции они бы пошли в Кайенну или Ламбессу. Если же им это напомнишь, то ответ их готов: «Ah bas! C'est une halte dans la boue... ce n'est pas normal!»[2]

А когда же у них свобода была нормальна?

Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое *право убежища* не для ищущих его — а из уважения к себе,— раздражала нервы.

А тут оторванность от людей и привычек, невозможность передвижения, разлука с своими, бедность — вносили горечь, нетерпимость и озлобление во все отношения. Столкновения стали злее, упреки в прошедших ошибках — беспощаднее. Оттенки партий расходились до того, что старые знакомые перерывали все сношения, не кланялись...

Были действительные, теоретические и всяческие раздоры... но рядом с идеями стояли лица, рядом со знаменами — собственные имена, рядом с фанатизмом — зависть и с откровенным увлеченьем — наивное самолюбие.

Антагонизм, некогда выражавшийся *возможным* Мартином Лютером и *последовательным* Томасом Мюнцером, лежит, как семенные доли при каждом зерне; логическое развитие, расчленение всякой партии непременно дойдет до обнаружения его. Мы его равно находим в *трех* невозможных Гракхах, то есть, считая тут

---

[1] Да здравствует демократическая и социальная республика! *(франц.)* — *Ред.*

[2] Ну! Это остановка в грязи... это ненормально! *(франц.)* — *Ред.*

же и Гракха Бабёфа, и в слишком возможных Суллах и Сулуках всех цветов. Возможна одна диагональ, возможен компромисс, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословию, богатству, пониманью. Из Лиги и гугенотов — делается Генрих IV, из Стюартов и Кромвеля — Вильгельм Оранский, из революции и легитимизма — Людвиг-Филипп. После него антагонизм стал между возможной республикой и последовательной; возможную назвали *демократической*, последовательную — *социальной* — из их столкновения вышла империя, но партии остались.

Несговорчивые крайности очутились в Кайенне, Ламбессе, Бель-Иле и долею за французской границей, преимущественно в Англии.

Как только они в Лондоне перевели дух и глаз их привык различать предметы в тумане, старый спор возобновился с особенной нетерпимостью эмиграции, с мрачным характером лондонского климата.

Председатель Люксембургской комиссии был, de jure, главное лицо между социалистами в лондонской эмиграции. Представитель организации работ и эгалитарных[1] работничьих обществ, он был любим работниками; строгий по жизни, неукоризненной чистоты в мнениях, вечно работающий сам, sobre[2], мастер говорить, популярный без фамильярности, смелый и вместе осторожный, он имел все средства, чтоб действовать на массу.

С другой стороны, Ледрю-Роллен представлял религиозную традицию 93 года, для него слова *республика* и *демократия* обнимали все: насыщение голодных, право на работу, освобождение Польши, сокрушение Николая, братство народов, падение папы. Работников было меньше около него, его хор состоял из capacités[3], то есть из адвокатов, журналистов, учителей, клубистов и проч.

Двойство этих партий ясно, и именно поэтому я никогда не умел понять, как Маццини и Луи Блан объясняли свое окончательное распадение частными столкновениями. Разрыв лежал в самой глубине их воззрения, в задаче их. Им вместе нельзя было идти, но, может, не нужно было и ссориться публично.

Дело социализма и итальянское дело различались, так сказать, чередом или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического устройства в Италии. То же мы видели в Польше 1831, в Венгрии 1848. Но тут нет места полемике, это скорее вопрос о хронологическом разделении труда, чем о взаимном уничтожении. Социальные теории мешали прямому,

---

[1] уравнительных *(от франц. égalitaire).— Ред.*
[2] скромный *(франц.).— Ред.*
[3] Здесь: людей свободных профессий *(франц.).— Ред.*

Джузеппе Маццини.

Литография.
1849 г.

Государственный музей изобразительных искусств.

сосредоточенному действию Маццини, мешали военной организации, которая для Италии была необходима; за это он сердился, не соображая, что для французов такая организация только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, он напал на социалистов, и в особенности на Луи Блана, в небольшой брошюрке, оскорбительной и ненужной. По дороге зацепил он и других, так, например, называет Прудона «демоном»... Прудон хотел ему отвечать, но ограничился только тем, что в следующей брошюре назвал Маццини «архангелом». Я раза два говорил, шутя, Маццини:

— Ne réveillez pas le chat qui dort[1], а то с такими бойцами трудно выйти без сильных рубцов.

Лондонские социалисты отвечали ему тоже желчно, с ненужными личностями и дерзкими выражениями.

Другого рода вражда, и вражда больше основательная, была между французами двух революционных толков. Все опыты соглашения формального республиканизма с социализмом были неудачны и делали только очевиднее неоткровенность уступок и непримиримый раздор; через ров, их разделявший, ловкий акробат бросил свою доску и провозгласил себя на ней императором.

Провозглашение империи было гальваническим ударом, судорожно вздрогнули сердца эмигрантов и ослабли.

Это был печальный, тоскливый взгляд больного, убедившегося, что ему не встать без костылей. Усталь, скрытная безнадежность стала овладевать теми и другими. Серьезная полемика начинала бледнеть, сводиться на личности, на упреки, обвинения.

Еще года два оба французские стана продержались в агрессивной готовности: один, празднуя 24 февраля, другой — июльские дни. Но к началу Крымской войны и к торжественной прогулке Наполеона с королевой Викторией по Лондону бессилие эмиграции стало очевидно. Сам начальник лондонской Metropolitan Police[2] Роберт Мен засвидетельствовал это. Когда консерваторы благодарили его, после посещения Наполеона, за ловкие меры, которыми он предупредил всякую демонстрацию со стороны эмигрантов, он отвечал: «*Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана*».

Признак, еще больше намекавший на близкую кончину, обнаружился около того же времени в подразделениях партий во имя лиц или личностей, без серьезных причин.

Партии эти составлялись так, как у нас выдумывают министерства или главные управления, для помещения какого-нибудь

---

[1] Не играйте с огнем. (Буквально: не будите спящей кошки.) *(франц.)— Ред.*

[2] столичной полиции *(англ.).— Ред.*

лишнего сановника, так, как иногда композиторы придумывают в операх партии для Гризи и Лаблаша не потому, чтоб эти партии были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить...

Года через полтора после coup d'Etat[1] приехал в Лондон Феликс Пиа — из Швейцарии. Бойкий фельетонист, он был известен процессом, который имел, скучной комедией «Диоген», понравившейся французам своими сухими и тощими сентенциями, наконец, успехом «Ветошника» на сцене Porte-Saint-Martin. Об этой пьесе я когда-то писал целую статью[2]. Ф. Пиа был членом последнего законодательного собрания, сидел на «Горе», *подрался* как-то в палате с Прудоном, замешался в протест 13 июня 1849 — и вследствие этого должен был оставить Францию тайком. Уехал он, как я, с молдавским видом и ходил в Женеве в костюме какого-то мавра,— вероятно, для того, чтоб его все узнали. В Лозанне, куда он переехал, составил Ф. Пиа небольшой круг почитателей из французских изгнанников, живших манною его острых слов и крупицами его мыслей. Горько ему было из кантональных вождей перейти в какую-нибудь из лондонских партий. Для лишнего кандидата на великого человека — не было партии, приятели и поклонники его выручили из беды — они выделились из всех прочих партий и назвались *лондонской революционной коммуной.*

La commune révolutionnaire[3] должна была представлять самую красную сторону демократии и самую коммунистическую — социализма. Она *считала себя* вечно начеку, в самых тесных связях с Марьянной и с тем вместе вернейшей представительницей *Бланки* in partibus infidelium[4].

Мрачный Бланки, суровый педант и доктринер своего дела, аскет, исхудавший в тюрьмах, расправил в образе Ф. Пиа свои морщины, подкрасил в алый цвет свои черные мысли и стал морить со смеху парижскую коммуну в Лондоне. Выходки Ф. Пиа в его письмах к королеве, к Валевскому, которого он назвал ex-réfugié и ex-Polonais[5], к принцам и проч. были очень забавны — но в чем сходство с Бланки, я никак не мог добраться, да и вообще в чем состояла отличительная черта, делившая его от Луи Блана, например, простым глазом видеть было трудно.

---

[1] государственного переворота *(франц.).— Ред.*

[2] Зачем вы испортили вашего «Chiffonnier», навязав ему в конце счастливую развязку — портящую и нравственность пьесы, и ее артистическое единство?— спросил я раз Пиа.— Затем,— отвечал он,— что, если б я огорчил парижан мрачной судьбой старика и девушки, на другое представление никто бы не пошел.

[3] Революционная коммуна *(франц.).— Ред.*

[4] в стране неверных *(лат.).— Ред.*

[5] бывшим изгнанником и бывшим поляком *(франц.).— Ред.*

То же должно сказать о жерсейской партии Виктора Гюго.

Виктор Гюго никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии — чтоб быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он вместе с тем был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий, — виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря — это пышная, великая личность — но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколенья. Кого не заставил задуматься над вопросом смертной казни «Последний день осужденного» и в ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести резкие, страшно и странно освещенные, на манер Тернера,— картины общественных язв, бедности и рокового порока?

Февральская революция застала Гюго врасплох, он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция, в свою очередь, не опередила его. Приведенный в негодование цензурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 он стал во весь рост. Он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию, под пулями протестовал против coup d'Etat и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Жерсей — оттуда, едва переводя дух, он бросил в императора своего «Napoléon le petit», потом свои «Châtiments». Как ни старались бонапартистские агенты примирить старого поэта с новым двором — не могли. «Если останутся хоть десять французов в изгнании — я останусь с ними, если три — я буду в их числе, если останется один — то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию».

Отъезд Гюго из Жерсея в Гернсей, кажется, убедил еще больше его друзей и его самого в политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном. Дело было так, Когда Ф. Пиа написал свое письмо к королеве Виктории — после ее посещения к Наполеону, он, прочитав его на митинге, отослал его в редакцию «L'Homme». Свентославский, печатавший «L'Homme» на свой счет в Жерсее, был тогда в Лондоне. Он вместе с Ф. Пиа приезжал ко мне и, уходя, отвел меня в сторону и сказал, что ему знакомый его lawyer[1] сообщил, что за это письмо легко можно преследовать журнал в Жерсее, состоящем на положении колонии, а Пиа хочет непременно в «L'Homme». Свентославский сомневался и хотел знать мое мнение.

[1] юрист *(англ.)* — *Ред.*

— Не печатайте.

— Да я и сам думаю так, только вот что скверно: он подумает, что я *испугался*.

— Как же не бояться при теперешних обстоятельствах потерять несколько тысяч франков?

— Вы правы — этого я не могу, не должен делать.

Свентославский, так премудро рассуждавший, уехал в Жерсей и письмо напечатал.

Слухи носились, что министерство хотело что-то сделать. Англичане были обижены — за тон, с которым Пиа обращался к квине[1]. Первым результатом этих слухов было то, что Ф. Пиа перестал ночевать у себя дома: он *боялся в Англии* visite domiciliaire[2] и ночного ареста — за напечатанную статью! Преследовать судом правительство и не думало, министры подмигнули жерсейскому губернатору, или как там он у них называется, и тот, пользуясь беззаконными правами, которые существуют в колониях,— велел Свентославскому выехать с острова. Свентославский протестовал и с ним человек десять французов — в том числе В. Гюго. Тогда полицейский Наполеон Жерсея велел выехать всем протестовавшим. Им следовало не слушаться донельзя — пусть бы полиция схватила кого-нибудь за шиворот и выбросила бы с острова; тогда можно было бы поставить вопрос о высылке перед суд. Это и предлагали французам англичане. Процессы в Англии безобразно дороги — но издатели «Daily News» и других либеральных листов обещали собрать какую надобно сумму, найти способных защитников. Французам путь легальности показался скучен и долог, противен, и они с гордостью оставили Жерсей, увлекая с собой Свентославского и С. Телеки.

Объявление полицейского приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейский чиновник взошел к нему, чтоб прочесть приказ, Гюго позвал своих сыновей, сел, указал на стул чиновнику, и, когда все уселись,— как в России перед отъездом, — он встал и сказал: «Господин комиссар, мы делаем теперь страницу истории. (Nous faisons maintenant une page de l'histoire.) Читайте вашу бумагу». Полицейский, ожидавший, что его выбросят за двери, был удивлен легостью победы, обязал Гюго подпиской, что он едет, и ушел, отдавая справедливость учтивости французов,— давших даже ему стул. Гюго уехал, и другие с ним вместе оставили Жерсей. Большая часть поехали не дальше Гернсея; другие отправились в Лондон; дело было проиграно, и право высылать осталось непочатым.

---

[1] королеве *(от англ. queen).— Ред.*

[2] домашнего обыска *(франц.).— Ред.*

Серьезных партий, как мы сказали, было только две, то есть партия формальной республики и насильственного социализма,— Ледрю-Роллена и Луи Блана. Об нем я еще не говорил, а знал его почти больше, чем всех французских изгнанников.

Нельзя сказать, чтоб воззрение Луи Блана было неопределенно,— оно во все стороны обрезано, как ножом. Луи Блан в изгнании приобрел много фактических сведений (по своей части, то есть по части изучения первой французской революции), несколько устоялся и успокоился, но в сущности своего воззрения не подвинулся ни на один шаг с того времени, как писал «Историю десяти лет» и «Организацию труда». Осевшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.

В маленьком тельце Луи Блана живет бодрый и круто сложившийся дух, très éveillé[1], с сильным характером, с своей определенно вываянной особностью и притом совершенно французской. Быстрые глаза, скорые движения придают ему какой-то вместе подвижный и точеный вид, не лишенный грации. Он похож на сосредоточенного человека, сведенного на наименьшую величину,— в то время как колоссальность его противника Ледрю-Роллена похожа на разбухнувшего ребенка, на карлу в огромных размерах или под увеличительным стеклом. Они оба могли бы чудесно играть в Гулливеровом путешествии.

Луи Блан — и это большая сила и очень редкое свойство — мастерски владеет собой, в нем много выдержки, и он в самом пылу разговора не только публично, но и в приятельской беседе никогда не забывает самые сложные отношения, никогда не выходит из себя в споре, не перестает весело улыбаться... и никогда не соглашается с противником. Он мастер рассказывать и, несмотря на то что много говорит — как француз, никогда не скажет лишнего слова — как корсиканец.

Он занимается только Францией, знает только Францию и ничего не знает, «разве ее». События мира, открытия науки, землетрясения и наводнения занимают его по той мере, по которой они касаются Франции. Говоря с ним, слушая его тонкие замечания, его занимательные рассказы, легко изучить характер французского ума, и тем легче, что мягкие образованные формы его не имеют в себе ничего вызывающего раздражительную колкость или ироническое молчание; — тем самодовольным, иногда простодушным, нахальством, которое делает так несносным сношения с современными французами.

Когда я ближе познакомился с Луи Бланом, меня поразил внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второсте-

[1] всегда оживленный *(франц.)*.— *Ред.*

пенных, прикладных. Свои счеты он свел: er war im Klaren mit sich[1], ему было нравственно свободно — как человеку, который знает, что он прав. В частных ошибках своих, в промахах друзей он сознавался добродушно, теоретических угрызений совести у него не было. Он был доволен собой после разрушения республики 1848, как Моисеев бог — после создания мира. Подвижной ум его в ежедневных делах и подробностях — был японски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уверенность в основах однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком,— прочно держалась на нравственных подпорочках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения[2].

Я иногда, шутя, останавливал его на общих местах — которые он, вероятно, повторял годы, не думая, чтоб можно было возражать на такие почтенные истины, и сам не возражая: «Жизнь человека — великий социальный долг; человек *должен* постоянно приносить себя на жертву обществу...»

— Зачем же? — спросил я вдруг.

— Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица — благосостояние общества.

— Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.

— Это игра слов.

— Варварская сбивчивость понятий,— говорил я, смеясь.

— Мне никак не дается материалистическое понятие о духе,— говорил он раз,— все же дух и материя разное,— тесно связанное,

---

[1] он все уяснил для себя *(нем.).— Ред.*

[2] Все это, за исключением некоторых добавок и поправок, писано лет десять тому назад. Я должен признаться, что последние события заставили меня отчасти изменить мое мнение о Луи Блане. Он действительно сделал *шаг вперед* — и как следовало ожидать от якобинских старообрядцев,— он ему не прошел даром.

— Что делать,— говорил еще мне в разгар Мехиканской войны Луи Блан,— честь нашего знамени компрометирована

Мнение чисто французское и совершенно противучеловеческое. Видно, оно сильно мучило Луи Блана. Через год, за обедом, который давали в Брюсселе В. Гюго после издания «Les Misérables», Луи Блан в своей речи сказал: «Горе народу, когда его понятие о чести вообще — не совпадает с понятием военной чести». Тут был целый переворот. Он-то и обличился при начале последней войны. Энергические, полные меткости и истины статьи Луи Блана, помещаемые в «Le Temps», возбудили грозу «Siècle'я» и «Opinion National» — они чуть не выдали Луи Блана за австрийского агента — и выдали бы совсем, если б он не пользовался действительно заслуженной репутацией — чистоты.

Не даром достается французам прогресс.

так тесно, что они и не являются врозь, но все же они не одно и то же... — И видя, что как-то доказательство идет плохо, он вдруг прибавил: — Ну вот, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата — вижу его черты, слышу его голос — где же материальное существование этого образа?

Я сначала думал, что он шутит, но, видя, что он говорит совершенно серьезно, я заметил ему, что образ его брата на сию минуту в фотографическом заведении, называемом мозгом, и что вряд есть ли портрет Шарля Блана отдельно от фотографического снаряда...

— Это совсем другое дело, материально в моем мозгу нет изображения моего брата.

— Почем вы знаете?

— А вы почем?

— По наведению.

— Кстати — это напоминает мне преуморительный анекдот...

И тут, как всегда, рассказ о Дидро или m-me Tencin, очень милый, но вовсе не идущий к делу.

В качестве преемника Максимилиана Робеспьера Луи Блан — поклонник Руссо и в холодных отношениях с Вольтером. В своей «Истории» он по-библейски разделил всех деятелей на два стана. Одесную — агнцы братства, ошуйю — козлы ячности и эгоизма. Эгоистам вроде Монтеня пощады нет, и ему досталось порядком. Луи Блан в этой сортировке ни на чем не останавливается и, встретив финансиста Лау, смело зачислил его по братству — чего, конечно, отважный шотландец никогда не ожидал.

В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги Барбес. Луи Блан привел его ко мне. С умилением смотрел я на страдальца, который провел почти всю жизнь в тюрьме. Я прежде видел его один раз,— и где? В окне Hôtel de Ville 15 мая 1848, за несколько минут перед тем, как ворвавшаяся Национальная гвардия схватила его[1].

Я звал их на другой день обедать, они пришли, и мы просидели до поздней ночи.

Они просидели до поздней ночи, вспоминая о 1848 годе; когда я проводил их на улицу и возвратился один в мою комнату, мною овладела бесконечная грусть, я сел за свой письменный стол и готов был плакать...

Я чувствовал то, что должен ощущать сын, возвращаясь после долгой разлуки в родительский дом; он видит, как в нем все почер-

---

[1] До чего доходило остервенение хранителей порядка в этот день, можно измерить тем, что Национальная гвардия схватила на бульваре Луи Блана, которого вовсе не следовало арестовать и которого полиция тотчас велела освободить. Видя это, национальный гвардеец, державший его, *схватил его за палец, врезал в него свои ногти и повернул последний сустав.*

нело, покривилось, отец его постарел, не замечая того; сын очень замечает, и ему тесно, он чувствует близость гроба, скрывает это, но свиданье не оживляет его, не радует, а утомляет.

Барбес, Луи Блан! ведь это всё старые друзья, почетные друзья кипучей юности. «Histoire de dix ans»[1], процесс Барбеса перед Камерой пэров, все это так давно обжилось в голове, в сердце, со всем с этим мы так сроднились — и вот они налицо.

Самые злые враги их никогда не осмеливались заподозрить неподкупную честность Луи Блана или набросить тень на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоих все видели, знали во всех положениях, у них не было частной жизни, не было закрытых дверей. Одного из них мы видели членом правительства, другого за полчаса до гильотины. В ночь перед казнию Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал. В них есть французский идеализм, религиозные мечты, но ни тени слабости; его дух не смутился, не уныл; с ясным сознанием приготовлялся он положить голову на плаху и покойно писал, когда рука тюремщика сильно стукнула в дверь. «Это было на рассвете, я (и это он мне рассказывал сам) ждал исполнителей», но вместо палачей взошла его сестра и бросилась к нему на шею. Она выпросила без его ведома у Людвига-Филиппа перемену наказания и скакала на почтовых всю ночь, чтоб успеть.

Колодник Людвига-Филиппа через несколько лет является наверху цивического[2] торжества, цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, он явился первым обвинителем Временного правительства за руанские убийства. Реакция росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой, и Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Косидьер! Coup d'Etat не удался, и Барбес, колодник республики, снова перед судом. Он в Бурже так же, как в Камере пэров, говорит законникам мещанского мира, как говорил грешному старцу Пакье: «Я вас не признаю за судей, вы враги мои, я ваш военнопленный, делайте со мною что хотите, но судьями я вас не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за ним.

Случайно, против своей воли, вышел он из тюрьмы; Наполеон его вытолкнул из нее почти в насмешку, прочитав во время Крымской войны письмо Барбеса, в котором он, в припадке галльского шовинизма, говорит о военной славе Франции. Барбес удалился было в Испанию, перепуганное и тупое правительство выслало его. Он уехал в Голландию и там нашел покойное, глухое убежище.

---

[1] «История десяти лет» *(франц.).— Ред.*

[2] гражданского *(от франц. civique).— Ред.*

И вот этот-то герой и мученик вместе с одним из главных деятелей февральской республики, с первым государственным человеком социализма, вспоминали и обсуживали прошедшие дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска, я с несчастной ясностью видел, что они тоже принадлежат истории *другого десятилетия*, которая окончена до последнего листа, до переплета!

Окончена не для них лично, а для всей эмиграции и для всех теперешних политических партий. Живые и шумные десять, даже пять лет тому назад, они вышли из русла и теряются в песке, воображая, что всё текут в океан. У них нет больше ни тех слов, которые, как слово «республика», пробуждали целые народы, ни тех песен, как «Марсельеза», которые заставляли содрогаться каждое сердце. У них и враги не той же величины и не той же пробы; нет ни седых феодальных привилегий короны, с которыми бы было трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы, скатываясь с эшафота, уносила с собой целую государственную организацию. Казните Наполеона, из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас, из этого не выйдет взятия Бастилии! *Тогда* в этих громах и молниях раскрывалось новое откровение, откровение государства, основанного на разуме, новое искупление из средневекового мрачного рабства. С тех пор искупление революцией обличилось несостоятельным, на разуме государство не устроилось. Политическая реформация выродилась, как и религиозная, в риторическое пустословие, охраняемое слабостью одних и лицемерием других. «Марсельеза» остается святым гимном, но гимном прошедшего, как ««Gottes feste Burg», звуки той и другой песни вызывают и теперь ряд величественных образов, как в макбетовском процессе теней — всё цари, но всё мертвые.

Последний едва еще виден в спину, а об новом только слухи. Мы в *междуцарствии*; пока, до наследника, полиция все захватила, во имя наружного порядка. Тут не может быть и речи о правах, это временные необходимости, это Lynch law[1] в истории, экзекуция, оцепление, карантинная мера. Новый порядок, совместивший все тяжкое монархии и все свирепое якобинизма, огражден не идеями, не предрассудками, а страхами и неизвестностями. Пока одни боялись, другие ставили штыки и занимали места. Первый, кто прорвет их цепь, пожалуй, и займет главное место, занятое полицией, только он и сам сделается сейчас квартальным.

Это напоминает нам, как Косидьер вечером 24 февраля пришел в префектуру с ружьем в руке, сел в кресла только что бежавшего Делессера, позвал секретаря, сказал ему, что он назначен префек-

[1] закон Линча *(англ.).— Ред.*

том, и велел подать бумаги. Секретарь так же почтительно улыбнулся, как Делессеру, так же почтительно поклонился и пошел за бумагами, бумаги пошли своим чередом, ничего не переменилось, только ужин Делессера съел Косидьер.

Многие узнали пароль префектуры, но лозунга истории не знают. Они, когда было время, поступили точно так, как Александр I. Они хотели, чтоб старому порядку был нанесен удар, но не смертельный; а Бенигсена или Зубова у них не было.

И вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся *людской неблагодарности* и пусть останутся при этой мысли, пусть думают, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многих других.

А еще лучше им вовсе не ходить туда; пусть они нам и нашим детям повествуют о своих великих делах. Сердиться за этот совет нечего, живое меняется, неизменное становится памятником. Они оставили свою бразду так, как свою оставят за ними идущие, и их обгонит в свою очередь свежая волна, а потом все: бразды... живое и памятники — все покроется всеобщей амнистией вечного забвения!

На меня сердятся многие за то, что я высказываю эти вещи. «В ваших словах,— говорил мне очень почтенный человек,— так и слышится *посторонний зритель*».

А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился наконец из сил.

Я пять лет не видал светлого лица, не слыхал простого смеха, понимающего взгляда. Всё фельдшеры были возле да прозекторы. Фельдшеры всё пробовали лечить, прозекторы всё указывали им по трупу, что они ошиблись,— ну, и я наконец схватил скальпель; может, резнул слишком глубоко с непривычки.

Говорил я не как посторонний, не для упрека; говорил оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило из терпения. Что я раньше отрезвел, это мне ничего не облегчило. Это и из фельдшеров только самые плохие самодовольно улыбаются, глядя на умирающего. «Вот, мол, я сказал, что он к вечеру протянет ноги, он и протянул».

Так зачем же я вынес?

В 1856 году лучший из всей немецкой эмиграции человек, *Карл Шурц*, приезжал из Висконсина в Европу. Возвращаясь из Германии, он говорил мне, что его поразило нравственное запустение материка. Я перевел ему, читая, мои «Западные арабески», он оборонялся от моих заключений, как от привидения, в которое человек не хочет верить, но которого боится.

— Человек,— сказал он мне,— который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее.

— Вы так и поступили,— заметил я.

— Отчего же вы этого не делаете?

— Очень просто: я могу вам сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности — «у меня в Швабии есть свой король»,— *у меня в России есть свой народ!*

. . . . . .

Сходя с вершин в средние слои эмиграции, мы увидим, что большая часть была увлечена в изгнание благородным порывом и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, то есть за их музыку, не давая себе никогда ясного отчета в смысле их. Они их любили горячо и верили в них, как католики любили и верили в латинские молитвы, не зная по-латыни. «La fraternité universelle comme base de la république universelle» — это кончено и принято! «Point de salariés, et la solidarité des peuples!»[1]— и, покраснейте, этого иному достаточно, чтоб идти на баррикаду, а уж коли француз пойдет, он с нее не побежит.

«Pour moi, voyez-vous, la république n'est pas une forme gouvernementale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera»,— говорил мне один участник всех восстаний со времени ламарковских похорон. «Et lorsque la religion sera une république»,— добавил я. «Précisément!»[2]— отвечал он, очень довольный тем, что я вывернул наизнанку его фразу.

Массы эмиграции представляют своего рода вечно открытое угрызение совести перед глазами вождей. В них все их недостатки являются в том преувеличенном и смешном виде, в котором парижские моды являются где-нибудь в русском уездном городе.

И во всем этом есть бездна наивного. За декламацией на первом плане la mise en scène[3].

Античные драпри и торжественная постановка Конвента так поразила французский ум своей грозной поэзией, что, например, с именем республики ее энтузиасты представляют не внутреннюю перемену, а праздник федерализации, барабанный бой и заунывные звуки tocsin[4]. Отечество возвещается в опасности, народ встает массой на его защиту в то время, как около деревьев свободы празднуется торжество цивизма; девушки в белых платьях пляшут под напев патриотических гимнов, и Франция в фригийской шапке посылает громадные армии для освобождения народов и низвержения царей!

---

[1] «Всемирное братство, как основа всемирной республики.— Долой наемный труд и да здравствует солидарность народов!» *(франц.)* — *Ред.*

[2] «Для меня, видите ли, республика не форма правления, это — религия, и она тогда только будет истинной республикой, когда будет религией».— «И когда религия станет республикой». — «Именно так!» *(франц.)*.— *Ред.*

[3] театральный эффект *(франц.)*.— *Ред.*

[4] набата *(франц.)*.— *Ред.*

Главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии; этим характер их уже обозначен. Марка или штемпель мещанства так же трудно стирается, как печать дара духа святого, которую прикладывают наши семинарии своим ученикам. Собственно купцов, лавочников, хозяев в эмиграции мало, и те попали в нее как-то невзначай, вытолкнутые большей частью из Франции после 2 декабря за то, что не догадались, что на них лежит священная обязанность изменить конституцию. Их тем больше жаль, что положение их совершенно комическое, они потеряны в красной обстановке, которой дома не знали, а только боялись; в силу национальной слабости им хочется себя выдавать за гораздо больших радикалов, чем они в самом деле; но, не привыкнув к революционному jargon, они, к ужасу новых товарищей, беспрестанно впадают в орлеанизм. Разумеется, они были бы все рады возвратиться, если б point d'honneur[1], единственная крепкая, нравственная сила современного француза, не воспрещал просить дозволения.

Над ними стоящий слой составляет лейб-компанейскую роту эмиграции: адвокаты, журналисты, литераторы и несколько военных.

Большая часть из них искали в революции общественного положения, но при быстром отливе они очутились на английской отмели. Другие — бескорыстно увлеклись клубной жизнию и агитациями, риторика довела их до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. В их числе много чистых и благородных людей, но мало способных; они попали в революцию по темпераменту, по отваге человека, который бросается, слыша крик, в реку, забывая об ее глубине и о своем неумении плавать.

За этими детьми, у которых, по несчастию, поседели узкие бородки и несколько очистился от волос остроконечный галльский череп, стояли разные кучки работников, гораздо более серьезных, не столько связанные в одно наружностию, сколько духом и общим интересом.

Их революционерами поставила сама судьба; нужда и развитие сделали их практическими социалистами; оттого-то их дума реальнее, решимость тверже. Эти люди вынесли много лишений, много унижений, и притом молча,— это дает большую крепость; они переплыли Ламанш не с фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положение спасло их от буржуазного suffisance[2], они знают, что им некогда было образоваться, они хотят учиться, в то время как буржуа не больше их учился, но совершенно доволен знанием.

---

[1] вопрос чести *(франц.).— Ред.*
[2] самодовольства *(франц.).— Ред.*

Оскорбленные с детства, они ненавидят общественную неправду, которая их столько давила. Тлетворное влияние городской жизни и всеобщей страсти стяжания превратило у многих эту ненависть в зависть; они, не давая себе отчета, тянутся в буржуазию и терпеть ее не могут, так, как мы не можем терпеть счастливого соперника, страстно желая занять его место или отомстить ему его наслаждения.

Но ненависть ли или зависть, желание ли у одних блага, у других мести, и те и другие будут страшны в будущем западном движении. Они будут на первом плане. Перед их рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипевшим желанием мести — что́ сделают консерваторы и риторы? Да что́ сделают и прочие горожане, когда на зов работника поднимется саранча полей и деревень? Крестьянские войны забыты; последние эмигранты из земледельцев относятся ко временам революции[1] Нантского эдикта; Вандея исчезла за пороховым дымом. Но мы обязаны 2 декабрю тем, что своими глазами вновь увидели эмигрантов в деревянных башмаках.

Сельское население на юге Франции, от Пиреней до Альп, приподняло голову после coup d'Etat, как бы спрашивая: «Не пришла ли наша пора?» Восстание было задавлено в самом начале массами солдат; за ними явились военно-судные комиссии, стая гончих жандармов и полицейских ищеек рассыпались по проселочным дорогам и деревушкам. Очаг крестьянина, его семья — эти святыни его — были обесчещены полицией; она требовала показания жены на мужа, сына на отца, и по двусмысленному слову родственника, по одному доносу garde champêtre[2] вели в тюрьму отцов семейства, седых как лунь стариков, юношей, женщин; судили их кой-как, гуртом, и потом случайно кого выпустили, кого послали в Ламбессу, в Кайенну, другие сами бежали в Испанию, в Савойю, за Варский мост[3].

Крестьян я мало знаю. Видел я в Лондоне несколько человек, спасшихся *на лодке* из Кайенны; одна дерзость, безумие этого предприятия лучше целого тома характеризуют их. Они были почти все с Пиренеев. Совсем другая порода, широкоплечая, рослая,

---

[1] отмены *(от франц. révoquer).— Ред.*

[2] сельского стражника *(франц.).— Ред.*

[3] Я был в Ницце во время варского и драгиньянского восстания. Двое крестьян, замешанных в дело, пробрались до реки Вара, составляющей границу. Тут они были настигнуты жандармом. Жандарм выстрелил в одного из них и ранил в ногу — тот свалился, в это время другой пустился бежать. Жандарм хотел раненого привязать к лошади, но, боясь упустить того, он выстрелил в голову à bout portant ⟨в упор *(франц.).— Ред.*⟩ раненому; уверенный, что убил его, он поскакал за другим. Изуродованный крестьянин остался жив.

с крупными чертами, вовсе не шифонированными[1], как у поджарых французских горожан, с их скудной кровью и бедной бородкой. Разорение их домов и Кайенна воспитали их. «Мы воротимся еще когда-нибудь,— говорил мне сорокалетний геркулес, большей частью молчавший (все они были не очень разговорчивы),— и посчитаемся!» На других эмигрантов, на их сходки и речи они что-то смотрели чужими... и недели через три они пришли ко мне проститься. «Не хотим даром жить, да и здесь скучно,— едем в Испанию, в Сантандр, там обещают поместить нас дровосеками». Взглянул я еще раз на сурово-мужественный вид и на мускулярную руку будущих дровосеков и подумал: «Хорошо, если топор их только будет рубить каштановые деревья и дубы».

Дикую, разъедающую силу, накипевшую в груди городского работника, я видел ближе[2].

Прежде чем мы перейдем к этой дикой, стихийной силе, которая мрачно содрогается, скованная людским насилием и собственным невежеством, и подчас прорывается в щели и трещины — разрушительным огнем, наводящим ужас и смятение,— остановимся еще раз на последних *темплиерах* и классиках французской революции — на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбоннской, демократической буржуазии, которая участвовала лет десять в борьбе с Людвигом-Филиппом, увлеклась с обытиями 1848 года и осталась им верной и дома и в изгнании.

В их рядах есть люди умные, острые, люди очень добрые, с горячей религией и с готовностью ей пожертвовать всем — но понимающих людей, людей, которые бы исследовали свое положение, свои вопросы — так, как естествоиспытатель исследует явление или патолог — болезнь, почти вовсе нет. Скорее полное отчаяние, презрение к лицам и делу, скорее праздность упреков и попреков, стоицизм, героизм, все лишения, чем исследование... Или такая же полная вера в успех, без взвешивания средств, без уяснения практической цели. Вместо ее удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом... Право на работу, уничтожение пролетариата... Республика и порядок!.. братство и солидарность всех народов... Да как же все это устроить, осуществить? — Это последнее дело. Лишь бы быть во власти, остальное сделается декретами, плебисцитами. А не будут слушаться — «Grenadiers, en avant, aux armes! Pas de charge... baïonnettes!»[3] И религия террора — coup d'Etat, централизации, военного вмешательства сквозит в дыры

[1] помятыми *(от франц. chiffonner).— Ред.*

[2] В след. главе: два процесса работника Бартелеми.

[3] «Гренадеры, вперед, к оружию! Бегом марш... в штыки!» *(франц.)— Ред.*

карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерский протест нескольких аттических умов орлеанской партии, пахнущих Англией на ружейный выстрел.

Террор был величествен в своей грозной неожиданности, в своей неприготовленной, колоссальной мести; но останавливаться на нем с любовью, но звать его без необходимости — странная ошибка, которой мы обязаны реакции. На меня Комитет общественного спасения производит постоянно то впечатление, которое я испытывал в магазине Charrière, rue de l'Ecole de Médicine[1] — со всех сторон блестят зловещим блеском стали — кривые, прямые лезвия, ножницы, пилы... оружия вероятного спасения, но верной боли. Операции оправдываются успехом. Террор и этим похвастаться не может. Он всей своей хирургией не спас республики. К чему была сделана *бантонотомия*, к чему *эбертотомия?* Они ускорили лихорадку Термидора,— а в ней республика и зачахла; люди все так же и еще больше бредили спартанскими добродетелями, латинскими сентенциями и латиклавами à la David, бредили до того, что «Salus populi» одним добрым днем перевели на «Salvum fac imperatorem» и пропели его «соборне» во всем архиерейском орнате[2], в нотрдамском соборе.

Террористы были люди недюжинные, суровые, резкие образы их глубоко вываялись в пятом действии XVIII века и останутся в истории до тех пор, пока у рода человеческого не зашибет памяти; но нынешние французы-республиканцы на них смотрят не так, они в них видят образцы и стараются быть кровожадными в теории и *в надежде приложения.*

Повторяя à la Saint-Just натянутые сентенции из хрестоматий и латинских классов, восхищаясь холодным, риторическим красноречием Робеспьера, они не допускают, чтоб их героев судили, как прочих смертных. Человек, который бы стал говорить о них, освобождаясь от обязательных титулов, которые стоят всех наших «в бозе почивших», был бы обвинен в ренегатстве, в измене, в шпионстве.

Изредка встречал я, впрочем, людей эксцентричных, сорвавшихся с своей торной, гуртовой дороги.

Зато уж французы в этих случаях, закусывая удила и усвоивая себе какую-нибудь мысль, не принадлежащую к сумме *оборотных* мыслей и идей, неслись до того через край, что человек, подавший им эту мысль, сам с ужасом отпрядывал от нее.

В 1854 доктор Cœurderoy, посылая мне из Испании свою брошюру, написал ко мне письмо.

---

[1] Шарьер, на улице Медицинской школы *(франц.).— Ред.*
[2] полном облачении *(от лат. ornatum).— Ред.*

Такого озлобленного крика против современной Франции и ее последних революционеров мне редко удавалось слышать. Это был ответ Франции — на легко перенесенный coup d'Etat. Он сомневался в уме, в силе, в «крови» своей расы; он звал казаков для «поправления выродившегося народонаселения». Он писал ко мне, потому что нашел в моих статьях «то же воззрение».— Я отвечал ему, что до исправительной трансфузии[1] крови не иду — и послал ему «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».

Cœurderoy не остался в долгу; он ответил мне, что возлагает всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить дотла, без пощады и сожаления, цивилизацию, обветшавшую, испорченную и которая не имеет сил ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцелевшее письмо его прилагаю:

M-r A. Herzen

Santander, 27 mai

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les Idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacune des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout, qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg St. Antoine.*

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez-moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un *Philistin* d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré,—mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant les négations et les affirmations les plus hardies du 19e siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

...Sur le point particulier de la Rénovation ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos

[1] переливания *(от франц. transfusion).— Ред.*

conclusions ne soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but: *la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale.* Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'Absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes:

1) que la Force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme;

2) qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainct que la Force prépare toujours la Révolution que l'Idée a démontrée nécessaire;

3) que l'Idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction;

4) que le Despotisme, au point de vue de la Rapidité, de la Sûreté, de la possibilité d'exécution, est plus apte que la Démocratie à bouleverser un monde;

5) que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave;

6) qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, glaive, épée, et exécuter l'Occident, et trancher le nœud gordien;

etc. etc. etc.

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre, sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation occidentale.* Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre Ier, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un semblable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples conquérants, voyez-vous à l'Orient ? Avant que la démocratie slave ait trouvé son mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous

l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir, qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen; seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi, j'aime mieux voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens: ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds (ou muets) de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand'peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de Liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est si séduisant de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins. Comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes, etc, etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beaucoup plus hypocrites. Ils portent des faux cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribuns que les peuples admirent!

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement. Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politesse banale.

Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots: la Force et la Destruction de demain — par le tzar, la Pensée et l'ordre d'après-demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mes sympathies.

Ernest Cœurderoy.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq. que le journal *L'Homme* a données à ses lecteurs. Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff? Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire.

La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charle, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié *Mes jours d'Exil*.

(Перевод:

Г-ну А. Герцену

Сантандер, 27 мая

Милостивый государь!

Прежде всего я должен поблагодарить Вас за то, что Вы прислали мне Вашу работу о революционных идеях и их развитии в России. Я уже читал эту книгу, но не мог ее оставить у себя, к великому моему сожалению.

Этим я хочу лишь показать Вам, как я ценю ее по существу и по форме и сколь полезной ее считаю для того, чтобы пробудить сознание в каждой из действующих сил мировой революции, особенно у французов, которые полагают, что революция возможна лишь по *инициативе С.-Антуанского предместья*.

Поскольку Вы оказали мне дружеское внимание, прислав свое произведение, разрешите мне, милостивый государь, выразить Вам мою благодарность, высказав то, что я о нем думаю,— не потому, что я придаю значение своему мнению, но чтобы доказать Вам, что я прочитал Вашу книгу внимательно.

Это великолепное исследование, цельное и оригинальное, в нем есть подлинная мощь, серьезный труд, неприкрытые истины, глубоко волнующие места. Это молодо и сильно, как славянская раса; отлично чувствуешь, что не парижанин, не какой-нибудь кабинетный ученый, не немецкий *филистер* писал эти пламенные строки; не конституционный республиканец, не умеренный социалист-теократ,— но казак (Вас не пугает это слово, не правда ли?), крайний анархист, утопист и поэт, приемлющий самые дерзновенные отрицания и утверждения XIX века. Немногие французские революционеры отваживаются на это.

...Что касается, в частности, будущего этнографического обновления, то я нашел в Вашей книге (особенно во введении) много мест, которые, как мне кажется, приближаются к моим взглядам. Хотя Ваши заключения не очень точно сформулированы в этом пункте, я полагаю, что для успеха революции Вы рассчитываете на образование демократической федерации славянских народов, которые дадут Европе общий толчок. Разумеется, между нами нет расхождений в отношении цели: *воскрешение европейского континента в демократической и социальной форме*. Но я считаю, что цивилизация будет уничтожена абсолютизмом. В этом я усматриваю все различие между нами.

Да, я утвердился в этих взглядах, которые иные называют несчастными заблуждениями, и я настаиваю на них, потому что каждодневно все более убеждаюсь в справедливости того:

1) что сила имеет немалое значение в делах нашего микрокосма;

2) что, изучая ход революционных событий во времени и в пространстве, убеждаешься в том, что сила всегда подготовляет революцию, необходимость которой доказана идеей;

3) что идея не может вершить дело крови и разрушения;

4) что деспотизм, с точки зрения быстроты, верности, возможности исполнения, более способен разрушить целый мир, нежели демократия;

5) что русская монархическая армия будет приведена в действие скорее, чем славянская демократическая фаланга;

6) что в Европе только лишь Россия, еще достаточно сплоченная под властью самодержавия, еще довольно мало раздираемая интересами собственников и партий, способна образовать массив, клин, дубину, меч, шпагу, привести в исполнение смертный приговор над Западом и рассечь гордиев узел и т. д. и т. д.

Пусть мне укажут другую силу, способную выполнить подобную задачу; пусть мне покажут где-нибудь демократическую армию, в полной готовности исполненную решимости напасть на народы, на своих братьев, проливать кровь, жечь, разить без оглядки, без колебаний. Тогда я изменю свое мнение.

С Вами я желал бы лишь уточнить вопрос и ограничить его одним-единственным пунктом *о способах полного уничтожения западной цивилизации*. Мне нет необходимости говорить Вам, что наши оценки прошедшего и будущего совпадают. Мы расходимся только относительно настоящего. Вы, так правильно оценивший революционную роль Петра I, почему Вы не допускаете, что кому-либо другому, Николаю или одному из его преемников, предстоит сыграть такую же роль? Чью еще руку, более могущественную, более объемистую, более способную собрать воедино силы народов-завоевателей, видите Вы на Востоке? Прежде чем славянская демократия найдет свой лозунг и выразит смутную тайну своих чаяний, царь перевернет Европу. Судьба цивилизованных наций в его руках, если он того пожелает. Разве мир не трепещет оттого, что он заговорил чуть громче обычного? Признаюсь Вам, сила эта так поражает меня, что я не могу постигнуть, как можно рассчитывать найти другую. Революционеры тоже настолько ощущают необходимость диктатуры для разрушения, что сами желали бы установить ее в случае успеха какой-нибудь новой революции. По-моему, они не заблуждаются относительно необходимости этого средства, но только оно не соответствует ни их роли, ни их принципам, ни тем силам, которыми они располагают. Что до меня, то я предпочитаю, чтоб эту отвратительную роль могильщика взял на себя деспотизм.

Это письмо и так уже слишком длинно. Я хотел лишь уточнить с Вами этот спорный пункт. Я хорошо чувствую, что нам сейчас необходимо: личная беседа, один час которой дал бы нам больше, чем тысячи писем. Я не оставляю этой надежды, и день, когда она осуществится, будет для меня желанным днем. Я думаю, что всегда найду общий язык с революционером, тружеником, ученым, человеком большой отваги.

Что же касается глухих (или немых) революционной традиции 93 года, то я очень опасаюсь, что Вы никогда не превратите их в международных революционеров и свободных людей. Еще в меньшей мере Вы сделаете их сторонниками собственности, права на труд, обмена и договора. Ведь так соблазнительно помечтать о должности комиссара при войсках или в полиции или же о синекуре представителя народа, опоясанного красивым красным шарфом. Как говорил Рабле, красивые букеты, красивые ленты, нарядный камзол, щегольские гульфики и т. д. и т. д. Большинство наших революционеров так думает!

Взрослые ничуть не умнее детей, но значительно лицемернее их. Они носят пристежные воротнички и ордена и считают себя знаменитостями. Дети серьезнее играют в солдаты, чем великие монархи и величественные трибуны, которыми восхищаются народы.

Вы, конечно, простите меня за то, что я написал Вам, не имея чести быть лично знаком.

В особенности прошу прощения за то, что я высказал о Ваших произведениях мнение, единственным достоинством которого является его искренность.

Я полагаю, по своим собственным впечатлениям, что это наиболее действенное выражение благодарности за подарок, доставивший большое удовольствие. Впрочем, наше положение изгнанников и наши общие стремления, как мне кажется, должны избавить нас обоих от необходимости прибегать к пустым формулам банальной вежливости.

Я кончаю, подытоживая свое мнение в двух словах: завтрашние насилие и разрушение — дело царя, послезавтрашние мысль и порядок — дело международных социалистов, славянских в такой же мере, как германо-латинских.

Примите, милостивый государь, уверение в моем глубоком уважении и симпатии.

Эрнест Кёрдеруа

Я надеюсь, что Вы опубликуете отдельным томом Ваши письма к эсквайру Линтону, с которыми газета «L'Homme» познакомила своих читателей. Не могли ли бы Вы сообщить мне, существуют ли французские переводы Пушкина, Лермонтова и в особенности Кольцова? То, что Вы о них говорите, возбуждает во мне безграничное желание прочитать их.

Лицо, которое передаст Вам это письмо,— мой друг Л. Шарр, как и мы, изгнанник; ему я посвятил «Мои дни изгнания» *(франц.).— Ред.*〉

ПРИБАВЛЕНИЕ

ДЖОН-СТЮАРТ МИЛЛЬ И ЕГО КНИГА «ON LIBERTY»

Много я принял горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, без страха и сожаления, высказываю это. С того времени, как я печатал в «Современнике» мои «Письма из Avenue Marigny», часть друзей и недругов показывали знаки нетерпения, негодования, возражали... а тут, как назло, с каждым событием становилось на Западе темнее, угарнее — и ни умные статьи Парадоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталамбера, ни замена прусского короля — прусским принцем не могли отвести глаз, искавших истины. У нас не хотят этого знать и, натурально, сердятся на нескромного обличителя.

Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надобно выдумать. Разве наивные вольнодумы XVIII века, и в их числе Вольтер и Робеспьер, не говорили, что если и нет бессмертия души, то его надобно проповедовать, для того чтоб держать людей в страхе и добродетели? Или разве мы не видим в истории, как иногда вельможи скрывали тяжкую болезнь или скоропостижную смерть царя и управляли именем трупа или сумасшедшего, как это недавно было в Пруссии.

Ложь ко спасению — дело, может, хорошее, но не все способны к ней.

Я не унывал, впрочем, от порицаний и утешал себя тем, что и здесь мною высказанные мысли принимались не лучше, да еще тем, что они объективно истинны, то есть независимы от личных

мнений и даже добрых целей воспитания, исправления нравов и т. д. Все само по себе истинное рано или поздно взойдет и обличится, «kommt an die Sonnen»[1], как говорит Гете.

Одна из причин неудовольствия, собственно против *моих* мнений, антропологически понятна: сверх докучного беспокойства, приносимого разрушением оконченных мнений и окаменелых идеалов, на меня досадовали за то, что я, *свой человек*, с чего же в самом деле вдруг вздумал судить и рядить — да еще старших, и каких?

В нашем новом поколении есть странный кряж, в нем спаяны, как в маятниках, самые противуположные элементы, с одной стороны — оно толкается каким-то жестяным, костлявым, неукладчивым самолюбием, заносчивой самонадеянностью, щепетильной обидчивостью; с другой — в нем поражает обескураженная подавленность, недоверие к России, преждевременное старчество. Это естественный результат тридцатилетнего рабства; в нем в иной форме сохранилась наглость начальника, дерзость барина с подавленностью подчиненного, с отчаянием ревизской души, отпускаемой в услужение.

Пока меня побранивали наши начальники литературных отделений, время шло себе да шло, и наконец прошло целых десять лет. Многое из того, что было ново в 1849, стало в 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасбродным парадоксом, перешло в общественное мнение и много *вечных и незыблемых* истин прошли с тогдашним покроем платья.

Серьезные умы в Европе стали смотреть серьезно. Их очень немного, это только подтверждает мое мнение о Западе, но они далеко идут, и я очень помню, как Т. Карлейль и добродушный Олсоп (тот, который был замешан в дело Орсини) улыбались над остатками моей веры в английские формы. Но вот является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant, qui ante nos nostra dixerunt[2], и спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудоном, ни даже Пьером Леру или другим социалистом, изгнанником, раздраженным,— совсем нет, она писана одним из известнейших политических экономов, одним из недавних членов индийского борда[3], которому три месяца тому назад лорд Стенли предлагал место в правительстве. Человек этот пользуется огромным, заслуженным авторитетом;

---

[1] «выйдет на свет божий» *(нем.).— Ред.*

[2] Да погибнут те, кто раньше нас высказал сказанное нами *(лат.).— Ред.*

[3] управления *(от англ. board).— Ред.*

в Англии его нехотя читают тори и со злобой — виги, его читают на материке те несколько человек (исключая специалистов), которые вообще читают что-нибудь, кроме газет и памфлетов.

Человек этот Джон-Стюарт Милль.

Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту *свободы мысли, речи и лица;* я говорю «странную» потому, что неужели не странно, что там, где за два века Мильтон писал о том же, явилась необходимость снова поднять речь on Liberty. А ведь такие люди, как С. Милль, не могут писать из удовольствия; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Он потому заговорил, что зло стало хуже. Мильтон защищал свободу речи против нападений власти, против насилия, и все энергическое и благородное было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной: он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против *общества*, против *нравов*, против мертвящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против «посредственности».

Это — не негодующий старик царедворец Екатерины, который брюзжит, обойденный кавалерией, над юным поколением и колет глаза Зимнему дворцу Грановитой палатой. Нет, это человек, полный сил, давно живущий в государственных делах и глубоко продуманных теориях, привыкнувший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель, и он-то, наконец, не вытерпел и, подвергаясь гневу невских регистраторов цивилизации и москворецких книжников западного образования, закричал: «Мы тонем!»

Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его; он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, «добропорядочнее», но пошлее. Он видит в Англии (то, что Токвиль заметил во Франции), что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: «Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите — *душа убывает*».

Но зачем же будит он спящих, какой путь, какой выход он придумал для них? Он, как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и зовет на покаяние; вряд второй раз подвинешь ли этим отрицательным рычагом людей. Стюарт Милль стыдит своих современников, как стыдил своих Тацит; он их этим не остановит, как не остановил Тацит. Не только несколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но, может, никакой плотиной в мире.

«Люди иного закала,— говорит он,— сделали из Англии то, что *она была*, и только люди другого закала могут ее предупредить от *падения*».

Но это понижение личностей, этот недостаток закала только патологический факт, и признать его — очень важный шаг для выхода — но не выход. Стюарт Милль корит больного, указывая ему на здоровых праотцев; странное лечение и едва ли великодушное.

Ну что же, начать теперь корить ящерицу допотопным ихтиозавром — виновата ли она, что она маленькая, а тот большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, закричал со страстей и с горя, как богатыри в наших сказках: «Есть ли в поле жив человек?»

Зачем же он его звал? Затем, чтоб сказать ему, что он выродившийся потомок сильных праотцев и, следственно, должен сделаться таким же, как они.

Для чего? — Молчание.

И Роберт Оуэн звал людей лет семьдесят сряду и тоже без всякой пользы; но он звал их *на что-нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопия, фантазия или истина, нам теперь до этого дела нет; нам важно то, что он звал с целью; а С. Милль, подавляя современников суровыми, рембрандтовскими тенями времен Кромвеля и пуритан, хочет, чтоб вечно обвешивающие, вечно обмеривающие лавочники сделались из какой-то поэтической потребности, из какой-то душевной гимнастики — героями!

Мы можем также вызвать монументальные, грозные личности французского Конвента и поставить их рядом с бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и épiciers[1] и начать речь вроде Гамлета:

> Look here, upon this picture and on this...
> Hyperion's curls, the front of Jove himself;
> An eye like Mars...
> Look you now, what follows,
> Here is your husband... [2]

Это будет очень справедливо и еще больше обидно — но неужели от этого кто-нибудь оставит свой пошлый, но удобный быт, и все это для того, чтоб величаво скучать, как Кромвель, или стоически нести голову на плаху, как Дантон?

Тем было легко так поступать, потому что они были под господством страстного убеждения — d'une idée fixe.

Такая idée fixe был католицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху Возрождения, революция в XVIII столетии.

---

[1] лавочниками *(франц.)*.— *Ред.*

[2] Смотрите сюда, на этот портрет и на тот... Кудри Гипериона, чело самого Юпитера, взгляд как у Марса... Посмотрите теперь на другой, вот ваш супруг *(англ.)*.— *Ред.*

Где же эта святая мономания, этот magnum ignotum[1], этот сфинксовский вопрос нашей цивилизации, где та могущая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, как сталь, довести душу до того судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер?

Посмотрите кругом — что́ в состоянии одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религия ли папы с его незапятнанным рождением богородицы или религия без папы с ее догматом воздержания от пива в субботний день? Арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов или идолопоклонство монархии, суеверие ли в республику или суеверие в парламентские реформы?.. Нет и нет; все это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы.

Только, на беду, их нет у наших почерневших кумиров, по крайней мере С. Милль не указывает их.

Знает он их или нет, это сказать трудно.

С одной стороны, английскому гению противно отвлеченное обобщение и смелая логическая последовательность, он своим скептицизмом чует, что логическая крайность, как законы чистой математики, неприлагаемы без ввода жизненных условий. С другой стороны, он привык физически и нравственно застегивать пальто на все пуговицы и поднимать воротник, это его предостерегает от сырого ветра и от суровой нетерпимости. В той же книге С. Милля мы видим пример этому. Двумя-тремя ударами необычайной ловкости он опрокинул немного падшую на ноги христианскую мораль и во всей книге ничего не сказал о христианстве[2].

С. Милль, вместо всякого выхода, вдруг замечает: «В развитии народов, кажется, есть предел, после которого он останавливается и *делается Китаем*».

Когда же это бывает?

---

[1] великое неизвестное *(лат.)*.— *Ред.*

[2] «Христианская нравственность имеет весь характер реакции, это большею частию один протест против язычества. Ее идеал скорее отрицательный, чем положительный, страдательный — чем деятельный. Она больше проповедует воздержание от зла, чем делание добра. Ужас от чувственности доведен до аскетизма. Награды на небе и наказания в аду придают самым лучшим поступкам чисто эгоистический характер, и в этом отношении христианское воззрение гораздо ниже античного. Лучшая часть в наших смутных понятиях об общественных обязанностях взята из греческих и римских источников. Все доблестное, благородное, самое понятие чести передано нам светским воспитанием нашим — а не духовным, проповедующим слепое повиновение как высшую добродетель». J.-S. Mill.

Тогда, отвечает он, когда личности начинают стираться, пропадать в массах, когда все подчиняется принятым обычаям, когда понятие добра и зла смешивается с понятием сообразности или несообразности с принятым. Гнет обычая останавливает развитие— развитие, собственно, и состоит из стремления к *лучшему* от обычного. Вся история состоит из этой борьбы, и если большая часть человечества не имеет истории, то это потому, что жизнь ее совершенно подчинена обычаю.

Теперь следует взглянуть, как наш автор рассматривает современное состояние образованного мира. Он говорит, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все идет к *посредственности*, лица теряются в толпе. Эта collective mediocrity[1] ненавидит все резкое, самобытное, выступающее; она проводит над всем общий уровень. А так как в среднем разрезе у людей не много ума и не много желаний, то сборная посредственность, как топкое болото, понимает, с одной стороны, все желающее вынырнуть, а с другой — предупреждает беспорядок эксцентричных личностей — воспитанием новых поколений в такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведения состоит преимущественно в том, чтоб жить, как другие: «Горе мужчине, а особливо женщине, которые вздумают делать то, *чего никто не делает*; но горе и тем, которые не делают *того, что делают все*». Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими *делами* и иной раз для развлечения шалят в филантропию (philantropic hobby[2]) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то среде принадлежит сила и власть, самое правительство по той мере мощно, по какой оно служит органам господствующей среды и понимает ее инстинкт.

Какая же это державная среда? «В Америке к ней принадлежат все белые, в Англии господствующий слой составляет *среднее состояние*»[3].

С. Милль находит одно различие между мертвой неподвижностью восточных народов и современным мещанским государством. И в нем-то, мне кажется, находится самая горькая капля из всего кубка полыни, поданного им. Вместо азиатского косного покоя современные европейцы живут, говорит он, в пустом беспокойстве, в бессмысленных переменах: «Отвергая особности, мы не отвергаем перемен, лишь бы они были всякий раз сделаны *всеми*. Мы бросили своеобычную одежду наших отцов и готовы менять два-три раза в год покрой нашего платья, но с тем, чтоб все меняли его, и это

[1] коллективная посредственность *(англ.).— Ред.*

[2] филантропическая забава *(англ.).— Ред.*

[3] Пусть читатели вспомнят, что было сказано об этом в «Западных арабесках», «Полярная звезда» на 1856 год.

делается не из видов красоты или удобства, а для самой перемены!»

Если личности не высвободятся от этого утягивающего омута, от замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, *сделается Китаем*».

Вот мы и возвратились и стоим перед тем же вопросом. На каком основании будить спящего; во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая в мелочь — вдохновится, сделается недовольна своей теперешней жизнью с железными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изделиями?

Личности не выступают оттого, что нет достаточного повода. За кого, за что или против кого им выступать? Отсутствие сильных деятелей не причина, а последствие.

Точка, линия, после которой борьба между желанием *лучшего* и сохранением *существующего* оканчивается в пользу сохранения, наступает (кажется нам) тогда, когда господствующая, деятельная, *историческая* часть народа близко подходит к такой форме жизни, которая соответствует ему; это своего рода насыщение, сатурация; все приходит в равновесие, успокоивается, продолжает вечное одно и то же — до катаклизма, обновления или разрушения. Semper idem[1] не требует ни огромных усилий, ни грозных бойцов; в каком бы роде они ни были, они будут лишние, середь мира не нужно полководцев.

Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которая наибольше отстоялась, на страну, которой Европа начинает седеть,— на Голландию: где ее великие государственные люди, где ее великие живописцы, где тонкие богословы, где смелые мореплаватели? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятется, не бушует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои смеющиеся деревни на обсушенных болотах, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: «Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели завещали мне это богатство, мои великие художники украсили мои стены и церкви, мне хорошо,— чего же вы от меня хотите? Резкой борьбы с правительством? Да разве оно теснит? У нас и теперь свободы больше, нежели во Франции когда-либо бывало».

Да что же из этой жизни?

Что выйдет? Да вообще, *что* из жизни выходит? А потом — разве в Голландии нет частных романов, коллизий, сплетений; разве в Голландии люди не любятся, не плачут, не хохочут, не поют песни, не пьют скидама, не пляшут в каждой деревне до утра?

---

[1] Всегда то же самое *(лат.).— Ред.*

К тому же не следует забывать, что, с одной стороны, они пользуются всеми плодами образования, наук и художеств, а с другой — им бездна дела: гран-пасьянс торговли, меледа хозяйства, воспитание детей по образу и подобию своему; не успеет голландец оглянуться, обдосужиться, а уж его несут на «божью ниву» в щегольски отлакированном гробе, в то время как сын уж запряжен в торговое колесо, которое необходимо следует беспрестанно вертеть, а то дела остановятся.

Так можно прожить тысячу лет, если не помешает какое-нибудь второе пришествие Бонапартова брата.

От старших братий я прошу позволение отступить к меньшим.

Мы не имеем достаточно фактов, но можем предположить, что животные породы, так, как они установились, представляют последний результат долгого колебанья разных видоизменений, ряда совершенствований и достижений. Эта история делалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нерв.

Допотопные животные представляют какую-то героическую эпоху этой *книги бытия*, это титаны и богатыри, они мельчают, уравновешиваются с новой средой и, как только достигают довольно ловкого и прочного типа, начинают типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака в «Одиссее» похожа, как две капли воды, на всех наших собак. И это не все: кто сказал, что животные политические или общественные, живущие не только стадом, но и с некоторой организацией, как муравьи и пчелы, что они так сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Миллионы поколений легли и погибли прежде, чем они устроились и упрочили свои *китайские* муравейники.

Я желал бы уяснить этим, что если какой-нибудь народ дойдет до этого состояния соответственности внешнего общественного устройства с своими потребностями, то ему нет никакой внутренней необходимости, до перемены потребностей, идти вперед, воевать, бунтовать, производить эксцентрические личности.

Покойное поглощение в стаде, в улье — одно из первых условий сохранения достигнутого.

До этого полного покоя мир, о котором говорит С. Милль, не дошел. Он, после всех своих революций и потрясений, не может ни устояться, ни отстояться, бездна дряни наверху, все мутно, нет ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной белизны. В нем множество неспетого, уродливого, даже болезненного, и в этом отношении ему предстоит действительно на его собственном пути еще шаг вперед. Ему надобно приобрести не энергические личности, не эксцентрические страсти, а честную мораль своего положения. Англичанин перестанет обвешивать,

француз — помогать всякой полиции, этого требует не только respectability[1], но и прочность быта.

Тогда Англия может, по словам С. Милля, превратиться в Китай (и, конечно, в усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, то есть облегчая его по мере возрастания обязательного обычая, который лучше всех судов и наказаний заморит волю. А Франция может в это время взойти в красивое военное русло персидской жизни, расширенное всем, что образованная централизация дает в руки власти, вознаграждая себе за потерю всех человеческих прав блестящими набегами на соседей и приковывая другие народы к судьбам централизованной деспотии... черты зуавов уже теперь больше принадлежат азиатскому типу, чем европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятия, я тороплюсь сказать, что здесь речь идет ни о моих желаниях, ни даже о моих мнениях. Труд мой чисто логический, я хотел *развернуть скобки* формулы, в которой выражен результат С. Милля, я хотел от его личностей-дифференциалов взять исторический интеграл.

Стало быть, вопрос не может быть в том, учтиво ли пророчить Англии судьбы Китая (это же сделал не я, а он сам) и деликатно ли предсказывать Франции, что она будет Персией. Хотя, по справедливости, я и не знаю, отчего же Китай и Персию можно безнаказанно оскорблять. Вопрос действительно важный, до которого С. Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подседы и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшуюся траву? А этот вопрос сводится на то — потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество и проголодь, позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на десять тысяч, в пример, ободрение и усмирение прочим, разбогатеть и сделаться из снедаемого — обедающим.

Вопрос этот разрешат события,— теоретически его не разрешишь.

Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы.

Но если народ сломит, неминуем *социальный переворот!*

Не это ли и есть *идея*, которая может быть произведена в idée fixe, несмотря на пожимание плеч аристократии, ни на скрежет зубов мещан?

Народ это чует, и очень; прежней детской веры в законность или по крайней мере — в справедливость того, что делается, нет; есть страх перед силой и неуменье возвести в общее правило част-

[1] респектабельность *(англ.).— Ред.*

ную боль; но слепого доверия нет. Во Франции народ грозно заявил свой протест в то самое время, когда среднее состояние в упоении от власти и силы венчало себя на царство под именем республики и, развалясь с Маррастом на креслах Людовика XV в Версале, диктовало законы; народ восстал с отчаяния, видя, что он опять остался за дверями и без куска хлеба; он восстал варварски, не имея никакого решения, без плана, без вождей, без средств, но в энергических личностях у него недостатка не было, и еще больше — он, с другой стороны, вызвал этих хищных, кровожадных коршунов вроде Каваньяка.

Народ побили наголову. Вероятности Персии *поднялись*, и с тех пор всё идут в гору.

Как английский работник поставит свой социальный вопрос, мы не знаем, но воловья упорность его велика. С его стороны числовое большинство; но сила не с его стороны. Число ничего не доказывает. Три-четыре линейных казака да два-три гарнизонных солдата водят из Москвы в Сибирь по пятисот колодников.

Если народ и в Англии будет побит, как в Германии во время крестьянских войн, как во Франции в Июньские дни,— тогда Китай, пророчимый Стюарт Миллем, не далек. Переход в него сделается незаметно, не утратится, как мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкие, люди чувствительные говорят, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, как согласиться с ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоит именно в том, что та идея, которая может спасти народ и устремить Европу к новым судьбам,— *невыгодна* господствующему классу, что ему, если б он был последователен и смел, *выгодно* только государство — с американским невольничеством![1]

ГЛАВА IV

ДВА ПРОЦЕССА

Rule, Britannia![2]

1. ДУЭЛЬ[3]

В 1853 году известный коммунист Виллих познакомил меня с парижским работником *Бартелеми*. Имя его я знал прежде по

[1] Этот разбор книги Д.-С. Милля мы берем из V книжки «Полярной звезды», которая выйдет к 1 маю.

[2] Правь, Британия! *(англ.)* — *Ред.*

[3] Рассказ этот относится к отрывку, помещенному в VI кн. «Полярной звезды».

июньскому процессу, по приговору и, наконец, по его бегству из Бель-Иля.

Он был молод, невысокого роста, но мускульно сильного сложения; черные как смоль и курчавые волосы придавали ему что-то южное; лицо его, слегка отмеченное оспой, было красиво и резко. Постоянная борьба воспитала в нем непреклонную волю и уменье управлять ею. Бартелеми был один из самых цельных характеров, которых мне случилось видеть. Школьного, книжного образования он не имел, кроме по своей части: он был отличным механиком — заметим мимоходом, что из числа механиков, машинистов, инженеров, работников на железных дорогах вышли самые решительные бойцы июньских баррикад.

Жизненная мысль его, страсть всего его существования была неутолимая, спартаковская жажда восстания рабочего класса против среднего сословия. Мысль эта у него была неразрывна с свирепым желанием истребления буржуазии.

Какой комментарий дал мне этот человек к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням, к той ненависти, с которой ближайшие партии уничтожали друг друга; в нем я наглазно видел, как человек может соединять желание крови с гуманностью в других отношениях, даже с нежностью, и как человек может быть правым перед совестью, посылая, как Сен-Жюст, десятки людей на гильотину.

«Чтоб революция в десятый раз не была украдена из наших рук,— говорил Бартелеми,— надобно *дома*, *в нашей семье* сломить голову злейшему врагу. За прилавком, за конторкой мы его всегда найдем — в *своем стане* следует его побить!» В его листы проскрипции входила почти вся эмиграция: Виктор Гюго, Маццини, Виктор Шельшер и Кошут. Он исключал очень немногих и в том числе, я помню, Луи Блана.

Особым задушевным предметом его ненависти был Ледрю-Роллен. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лицо Бартелеми судорожно подергивалось, когда он говорил об «этом диктаторе буржуазии».

А говорил он мастерски, этот талант становится реже и реже. Публичных говорунов в Париже и особенно в Англии бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевых карандашей, наемные светские и духовные ораторы в парках — все они имеют удивительную способность *проповедовать*, но говорить *для комнаты* умеют немногие.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная в одну точку, действовала, как пламя паяльной трубки. Он говорил плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выбор слов были правильны, чисты и совершенно свободны от трех

проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Откуда же взял этот работник, воспитанный в душных мастерских, где ковали и тянули железо для машин, в душных парижских закоулках, между питейным домом и наковальнею, в тюрьме и на каторжной работе,— верное понятие меры и красоты, такта и грации,— понятие, утраченное буржуазной Францией? Как он умел сохранить естественность языка середь вычурных риторов, гасконцев революционной фразы?

Это действительно задача.

Видно, около мастерских веет воздух посвежее. Впрочем, вот его жизнь.

Ему не было двадцати лет, когда он замешался в какую-то эмёту[1] при Людвиге-Филиппе. Жандарм остановил его, и так как он стал ему что-то говорить, то жандарм хватил его кулаком в лицо. Бартелеми, которого держал муниципал, рванулся, но не мог ничего сделать. Удар этот пробудил тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работник, встал на другой день переродившимся.

Надобно заметить, что арестованного Бартелеми полиция отпустила, найдя его невиноватым. Об обиде, причиненной ему, никто и говорить не хотел. «Зачем ходить по улицам во время эмёты! Да и как найти теперь жандарма!»

Вот как. Бартелеми купил пистолет, зарядил его и пошел бродить около тех мест; побродил день-другой, вдруг на углу стоит жандарм. Бартелеми отвернулся и взвел курок.

— Вы меня узнали? — спросил он полицейского.

— Еще бы нет.

— Так вы помните, как вы?..

— Ну ступайте, ступайте своей дорогой,— сказал жандарм.

— Счастливого и вам пути,— отвечал Бартелеми и спустил курок.

Жандарм повалился, а Бартелеми пошел. Жандарм был смертельно ранен, но не умер.

Бартелеми судили как простого убийцу. Никто не взял в расчет величину обиды, особенно по понятиям французов, невозможность работника послать ему вызов, невозможность сделать процесс. Бартелеми был осужден на *каторжную работу*. Это был третий пансион, в котором он воспитывался после кузницы и тюрьмы. При переборе дел министром юстиции Кремье, после февральской революции, Бартелеми выпустили.

---

[1] мятеж *(от франц. émeute).— Ред.*

Sapeurs - Pompiers

Демонстрация в Париже 13 июня 1849 года.
В центре — Ледрю-Роллен.

Гравюра из газеты «L'Illustration»
от 15 июля 1849 года.

Пришли Июньские дни. Бартелеми, принадлежавший к горячим последователям Бланки, явился тут во весь рост. Он был схвачен, геройски защищая баррикаду, и сведен в форты. Одних победители расстреливали, другими набивали тюльерийские подвалы, третьих отсылали в форты и там иногда расстреливали, случайно, больше, чтоб очистить место.

Бартелеми уцелел; в суде он и не думал оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимого, чтоб из нее сделать трибуну для обвинения Национальной гвардии. Ему мы обязаны многими подробностями о каннибальских подвигах защитников порядка, сделанных втихомолку, некоторым образом семейно. Несколько раз президент приказывал ему молчать и, наконец, перервал его речь приговором на каторжную работу, помнится, на пятнадцать или двадцать лет (у меня нет перед глазами июньского процесса).

Бартелеми был с другими отправлен в Belle-Ile.

Года через два он бежал оттуда и явился в Лондон с предложением ехать назад и устроить бегство шести заключенных. Небольшая сумма денег, которую он просил (тысяч 6—7 фр.), была ему обещана, и он, одевшись аббатом, с молитвенником в руке, отправился в Париж, в Бель-Иль, все устроил и возвратился в Лондон за деньгами. Говорят, что дело не состоялось за спором, освобождать ли Бланки или нет. Сторонники Барбеса и других лучше желали оставить несколько человек друзей в тюрьме, чем освободить одного врага.

Бартелеми уехал в Швейцарию. Он разошелся со всеми партиями и отстал от них; с ледрю-роллинистами он был заклятый враг, но он не был другом и с своими; он был слишком резок и угловат, крайние мнения его были неприятны запевалам и отпугивали слабых. В Швейцарии он особенно занялся ружейным мастерством. Он изобрел особенного устройства ружье, которое заряжалось по мере выстрелов — и, таким образом, давало возможность пустить ряд пулей в одну точку, друг за другом. Этим ружьем он думал убить Наполеона, но дикие страсти Бартелеми два раза спасли Бонапарта от человека, в котором решимости было не меньше, чем у Орсини.

В партии Ледрю-Роллена находился лихой человек, бретёр, гуляка и сорвиголова Курне.

Курне принадлежал к особому типу людей, который часто встречается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими в деревне; к ним принадлежал Денис Давыдов и его «собутыльник» Бурцов, Гагарин — Адамова Головка и секундант Ленского Зарецкий. В вульгарной форме они встречаются между прусскими «юнкерами»

и австрийским казарменным брудерством[1]. В Англии их совсем нет, во Франции они дома, как рыба в воде, но рыба с почищенной лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безрассудства и очень недальние. Они всю жизнь живут воспоминанием двух-трех случаев, в которых они прошли сквозь огонь и воду, кому-нибудь обрубили уши, простояли под градом пуль. Случается, что они сперва наклеплют на себя отважный поступок,— а потом действительно его сделают, чтоб подтвердить свои слова. Они смутно понимают, что этот задор их сила, единственный интерес, которым они могут похвастаться; а хвастаться им хочется смертельно. При этом — они часто хорошие товарищи, особенно в веселой беседе и до первой размолвки; за своих стоят грудью; и вообще имеют больше военной отваги, чем гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки в картах и в жизни, ланскене всякого отчаянного предприятия — особенно если притом можно надеть мундир с генеральским шитьем, схватить денег, крестов — и потом снова успокоиться на несколько лет в бильярдной или кофейной. А уж помогая Наполеону ли в Страсбурге, герцогине ли Берриской в Блуа или красной республике в предместии св. Антона — все равно. Храбрость и удача для них и для всей Франции покрывают все.

Курне начал свою карьеру во флоте во время ссоры Франции с Португалией. Он с несколькими товарищами влез на португальский фрегат, овладел экипажем и взял фрегат. Случай этот определил и окончил дальнейшую жизнь Курне. Вся Франция говорила о молодом мичмане; далее он не пошел и так же кончил свою карьеру абордажем, которым начал ее, как если б он на нем был убит наповал. Из флота он был впоследствии исключен. В Европе царил глухой мир; Курне поскучал, поскучал и стал воевать на свой салтык. Он говорил, что у него было до двадцати дуэлей — положим, что их было десять, и этого за глаза довольно, чтоб его не считать серьезным человеком.

Как он попал в красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли он во французской эмиграции не играл. Рассказывали об нем разные анекдоты, как он в Бельгии поколотил полицейского, который хотел его арестовать, и ушел от него — и другие проделки в том же роде. Он считал себя «одной из первых шпаг во Франции».

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненного, по-своему, необузданнейшим самолюбием, столкнувшись с надменной храбростью Курне, должна была привести к бедствиям. Они ревновали друг друга. Но, принадлежа к разным кругам, к враждебным пар-

[1] братством *(от нем. Bruder).— Ред.*

гиям, они могли всю жизнь не встречаться. Добрые люди братски помогли делу.

Бартелеми имел на Курне какой-то зуб за письма, посланные ему через Курне из Франции, которые до него не дошли. Очень вероятно, что в этом деле он не был виноват; вскоре к этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился в Швейцарии с одной актрисой, итальянкой, и был с нею в связи. «Какая жалость,— говорил Курне,— что этот социалист из социалистов пошел на содержание к актрисе». Приятели Бартелеми тотчас написали ему это. Получив письмо, Бартелеми бросил свой проект ружья и свою актрису и прискакал в Лондон.

Мы уже сказали, что он был знаком с Виллихом. Виллих был человек с чистым сердцем и очень добрый прусский артиллерийский офицер; он перешел на сторону революции и сделался коммунистом. Дрался в Бадене за народ, начальствуя орудиями во время Геккерова восстания, и, когда все было побито, уехал в Англию. В Лондон он явился без гроша денег, попробовал давать уроки математики, немецкого языка, ему не повезло. Он бросил учебные книги и, забывая бывшие эполеты, геройски стал работником. С несколькими товарищами они завели мастерскую щеточных изделий; их не поддержали. Виллих не терял надежды ни на восстание Германии, ни на поправку своих дел, однако дела не поправлялись, и он надежду на тевтонскую республику увез с собою в Нью-Йорк, где получил от правительства место землемера.

Виллих понял, что дело с Курне примет очень дурной оборот, и сам себя предложил в посредники. Бартелеми вполне верил Виллиху и поручил ему дело. Виллих отправился к Курне; твердый, спокойный тон Виллиха подействовал на «первую шпагу»; он объяснил историю писем; после, на вопрос Виллиха: «уверен ли он, что Бартелеми жил на содержании у актрисы?» — Курне сказал ему, что «он повторил слух — и что жалеет об этом».

— Этого,— сказал Виллих,— совершенно достаточно; напишите, что́ вы сказали, на бумаге, отдайте мне, и я с искренней радостью пойду домой.

— Пожалуй,— сказал Курне и взял перо.

— Так это вы будете извиняться перед каким-нибудь Бартелеми,— заметил другой рефюжье, взошедший в конце разговора.

— Как извиняться? И вы принимаете это за извинение?

— За действие,— сказал Виллих,— честного человека, который, повторивши клевету, жалеет об этом.

— Нет,— сказал Курне, бросая перо,— этого я не могу.

— Не сейчас же ли вы говорили?

— Нет, нет, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, что я «сказал это потому, что хотел сказать».

— Брависсимо! — воскликнул другой рефюжье.

— На вас, милостивый государь, падет ответственность за будущие несчастья,— сказал ему Виллих и вышел вон.

Это было вечером; он зашел ко мне, не видавшись еще с Бартелеми; печально ходил он по комнате, говоря: «Теперь дуэль неотвратима! Экое несчастье, что этот рефюжье был налицо».

«Тут не поможешь,— думал я,— ум молчит перед диким разгаром страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерий[1] и разных хористов в амфитеатре!..»

Через день, утром, я шел по Пель-Мелю; Виллих скорыми шагами торопился куда-то; я остановил его; бледный и встревоженный, обернулся он ко мне:

— Что?

— Убит наповал.

— Кто?

— Курне, я бегу к Луи Блану — за советом, что делать.

— Где Бартелеми?

— И он, и его секундант, и секунданты Курне в тюрьме, один из секундантов только не взят, по английским законам Бартелеми можно повесить.

Виллих сел на омнибус и уехал. Я остался на улице, постоял, постоял, повернулся и пошел опять домой.

Часа через два пришел Виллих. Луи Блан принял, разумеется, деятельное участие, хотел посоветоваться с известными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дело так, чтоб следователи не знали, кто стрелял и кто был свидетелем. Для этого надобно было, чтоб обе стороны говорили одно и то же. В том, что английский суд не захочет в деле дуэли употреблять полицейские уловки,— в этом все были уверены.

Надобно было передать это приятелям Курне, но никто из знакомых Виллиха не ездил ни к ним, ни к Ледрю-Роллену,— Виллих поэтому отправил меня к Маццини.

Я его застал сильно раздраженным.

— Вы, верно, приехали,— сказал он,— по делу этого убийцы?

Я посмотрел на него, намеренно помолчал и сказал:

— По делу *Бартелеми*.

— Вы с ним знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастного Курне, были тоже приятели и друзья...

— Которые, вероятно, не называли его разбойником за то, что он был на двадцати дуэлях, на которых, кажется, *не он* был убит.

---

[1] партий, кружков *(от франц. coterie).— Ред.*

— Теперь ли поминать об этом.

— Я отвечаю.

— Что же, теперь спасать *его* из петли?

— Я полагаю, что особенного удовольствия никому не будет, если повесят человека, который себя так вел, как Бартелеми на июньских баррикадах. Впрочем, речь идет не о нем одном, а и о секундантах Курне.

— Его не повесят.

— Почем знать,— заметил хладнокровно молодой английский радикал, причесанный à la Jésus, молчавший все время и подтверждавший слова Маццини головой, дымом сигары и какими-то неуловимыми *полифтонгами*, в которых пять-шесть гласных, сплюснутых вместе, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имеете против этого?

— Мы любим и уважаем закон.

— Не оттого ли,— заметил я, придавая добродушный вид моим словам,— все народы больше уважают Англию, чем любят англичан.

— Оеуэ? — спросил радикал, а может, и отвечал.

— В чем дело? — перебил Маццини.

Я рассказал ему.

Они уже сами думали об этом и пришли к тому же результату.

Процесс Бартелеми имеет чрезвычайный интерес. Редко английский и французский характер обличались с такой резкостью, в такой тесной и удобоизмеримой раме.

Начиная с места поединка, все было нелепо: они дрались близ Виндзора, для этого надобно было по железной дороге (которая *только* идет в Виндзор) отъехать несколько десятков миль *от границы внутрь* королевства, в то время как вообще люди дерутся на границе, близ кораблей, лодок и проч. Выбор Виндзора, сверх того, сам по себе был никуда не годен. Королевский дворец, любимая резиденция Виктории, разумеется, в полицейском отношении находится под двойным надзором. Я полагаю, что место это было выбрано очень просто потому, что французы из всех окрестностей Лондона только и знают: *Ришмон и Вансор*.

Секунданты взяли *на всякий случай* рапиры с отточенными концами, хотя и знали, что противники будут стреляться. Когда Курне пал — все, за исключением одного секунданта, который уехал особо и вследствие того спокойно пробрался в Бельгию, поехали вместе, *не забыв с собой взять* рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцию в Лондоне, телеграф уже давно известил полицию. Полиции искать было нечего: «четыре человека, с бородами и усами, в фуражках, говорящие по-французски и с завернутыми рапирами», были взяты выходя из вагонов.

Как же все это могло случиться? Не нам, кажется, учить французов прятаться от полиции. Злее и расторопнее, безнравственнее и неутомимее в своем усердии нет полиции в мире, как французская. Во время Людвига-Филиппа *ищущий* и *искомый* играли мастерски свою партию, каждый ход был рассчитан (теперь это не нужно: полиция по-русски, вперед говорит *шах и мат*), но ведь время Людвига-Филиппа не за горами. Каким же образом такой умный человек, как Бартелеми, и такие бывалые люди, как секунданты Курне, наделали столько промахов?

Причина одна и та же: совершенное незнание Англии и английских законов. Они слыхали, что никого арестовать нельзя без «уаранд»; они слыхали о каком-то «абеас корпюс», по которому следует выпустить человека по требованию адвоката, и полагали, что они доедут домой, переоденутся и будут в Бельгии, когда утром за ними придет одураченный констабль, *непременно* с палочкой (как их описывают во французских романах), и скажет, увидя, что их нет: «Goddamn!»[1],— несмотря на то что ни констабли палочек не носят, ни англичане не говорят «goddamn!».

Арестованных посадили в Surrey'скую тюрьму. Начались посещения, поехали дамы, поехали приятели убитого Курне. Полиция, разумеется, тотчас догадалась, в чем дело и как оно было; впрочем, этого нельзя ей поставить в заслугу, приятели и неприятели Бартелеми и Курне кричали в трактирах и public-гаузах[2] о всех подробностях дуэли, разумеется прибавляя и такие, которых вовсе не было и совершенно не могло быть. Но официально полиция *не хотела* знать, и потому, когда одни посетители спрашивали позволение видеть секунданта «Бароне», другие секунданта Бартелеми, полицейский офицер решился им сказать: «Гг., мы вовсе не знаем, кто из них секундант, кто виноватый, следствие еще не открыло всех обстоятельств дела, называйте, пожалуйста, знакомых ваших по именам». Первый урок!

Наконец судебный круг дошел до Surrey, назначен был день, в который lord-chief-justice[3] Кембель будет судить дело о неизвестно кем убитом французе Курне и прикосновенных к его убийству лицах.

Я тогда жил возле Primrose-Hill; часов в семь холодно-туманного февральского утра вышел я в Режент-парк, чтоб, пройдя его, отправиться на железную дорогу.

День этот остался очень рельефно в моей памяти. От тумана, покрывавшего парк и белых лебедей, сонно плывших по воде,

---

[1] «Черт возьми!» *(англ.)* — *Ред.*
[2] пивных *(англ.)*.— *Ред.*
[3] лорд верховный судья *(англ.)*.— *Ред.*

подернутой искрасно-желтым дымом, до той минуты, когда далеко за полночь я сидел с одним lawyer'ом у Верри на Режент-стрите и пил шампанское за здоровье Англии. Все как на блюдечке.

Я английского суда не видал прежде; комизм средневековой mise en scène будит в нас больше воспоминаний оперы-буффы, чем почтенной традиции, но это можно забыть в этот день.

Около десяти часов, перед гостиницею, где стоял лорд Кембель, явились первые маски, герольды с двумя трубачами, возвестившие, что лорд Кембель в открытом суде будет в десять часов судить такое-то дело. Мы бросились к дверям судебной залы, которая была в нескольких шагах; между тем через площадь двигался и лорд Кембель в золоченой карете, в парике, который только уступал в величине и красоте парику его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пешком человек двадцать атторнеев, солиситоров[1], подобрав мантии, без шляп и в шерстяных париках, намеренно сделанных как можно меньше похожими на человеческие волосы. В дверях я чуть было, вместо суда чиф-джустиса[2] Кембеля над Бартелеми, не попал на суд, который бог держал над Курне.

В самых дверях масса народа, вытесняемая полицейскими из залы, и нечеловеческий напор сзади произвели остановку; вперед нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейским надоело работать по мелочи,— они схватились за руки и разом, дружно пошли на приступ — передний ряд меня так прижал, что дыхание сперлось, еще и еще храбрый напор осаждающих — и мы вдруг очутились вытесненными, выжатыми, выброшенными на десять шагов далее двери на улицу.

Если б не знакомый адвокат, мы бы совсем не попали, зала была набита, он нас провел особыми дверями, и мы наконец уселись, отирая пот и справляясь, целы ли часы, деньги и проч.

Замечательная вещь, что нигде толпа не бывает многочисленнее, плотнее, страшнее, как в Лондоне, а делать «кё»[3] ни в коем случае не умеет, англичане всегда берут своим национальным упорством, давят два часа, что-нибудь да продавят. Меня это много раз дивило при входе в театры, если б люди шли друг за другом, они, наверное, вошли бы в полчаса, но так как они прут всей массой, то множество передних прибиваются по правой и левой стороне дверей, тут ими овладевает какое-то сосредоточенное ожесточение, и они начинают давить с боков медленно двигающуюся

---

[1] стряпчих, поверенных *(от англ. attorney, solicitor).— Ред.*
[2] верховного судьи *(от англ. chief-justice).— Ред.*
[3] стоять в очереди *(от франц. faire la queue).— Ред.*

среднюю струю, без всякой пользы для себя, но как бы вымещая на их боках их счастье.

Стучат в двери. Какой-то господин, тоже в маскарадном платье, кричит: «Кто там?» — «Суд»,— отвечают с той стороны, отворяются двери, и является Кембель в шубе и в каком-то женском шлафроке; он поклонился на все четыре стороны и объявил, что суд открыт.

Мнение о деле Бартелеми, составленное судом, то есть Кембелем, было ясно с начала до конца, и он его выдержал, несмотря на все усилия французов сбить его с дороги и ухудшить. Была дуэль. Один убит. Оба — французы, рефюжье, имеющие иные понятия о чести, чем мы; кто из них прав, кто виноват, разобрать трудно. Один сошел с баррикад, другой бретёр. Нам нельзя оставить это безнаказанным, но не следует всею силой английских законов побивать иностранцев, тем больше что все они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому — кто убийца, мы не будем добиваться,— всё вероятие, что убийца тот из них, который бежал в Бельгию; подсудимых мы обвиним в участии и спросим присяжных, виноваты ли они в manslaughter[1] или нет? Обвиненные присяжными — они в наших руках; мы приговорим их к одному из наименьших наказаний и покончим дело. Оправдают их присяжные — бог с ними совсем, пусть идут на все четыре стороны.

Все это французам обеих партий — было нож острый!

Сторонники Курне хотели воспользоваться случаем, чтоб потерять в мнении суда Бартелеми и, не называя его прямо, указать на него как на убийцу Курне.

Несколько человек друзей Бартелеми и сам он домогались покрыть презрением и стыдом Бароне и компанию странной подробностью, которая открылась в полицейском следствии. Пистолеты были взяты у ружейника, после дуэли ему их прислали. Один пистолет был заряжен. Когда началось дело, ружейник явился с пистолетом и с показанием, что под пулей и порохом лежала небольшая тряпочка, так что выстрел был невозможен.

Дуэль шла так: Курне выстрелил в Бартелеми и не попал. У Бартелеми капсюль исправно щелкнул, но выстрела не было; ему дали другой капсюль — та же история. Тогда Бартелеми бросил пистолет и предложил Курне драться на рапирах. Курне не согласился, решились еще раз стрелять, но Бартелеми потребовал другой пистолет, на что Курне тотчас согласился. Пистолет был подан, раздался выстрел, и Курне упал мертвый.

Стало быть, пистолет, возвратившийся к ружейнику заряженным, был тот самый, который был в руках Бартелеми. Откуда

---

[1] человекоубийстве *(англ.).— Ред.*

попала тряпка? Пистолеты достал приятель Курне Пардигон, некогда участвовавший в «Voix du Peuple» и страшно изуродованный в Июньские дни[1].

Если б можно было доказать, что тряпка была положена с целью, то есть что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позором и погублены на веки веков.

За такой приятный результат Бартелеми охотно пошел бы на десять лет в каторжную работу или в депортацию[2].

По следствию оказалось, что лоскуток, вынутый из пистолета, действительно принадлежал Пардигону, он был вырван из тряпки, которой он обтирал лаковые сапоги. Пардигон говорил, что он чистил дуло, надев тряпочку на карандаш, и что, может, вертевши ею, отрезал лоскуток, но друзья Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нету городков от складок...

С своей стороны противники Бартелеми приготовили фалангу свидетелей à décharge[3] в пользу Бароне и его товарищей.

Политика их состояла в том, что атторней со стороны Бароне будет их спрашивать об антецедентах Курне и прочих. Они превознесут их и будут молчать о Бартелеми и его секундантах. Такое единодушное умалчивание со стороны соотечественников и «корелижионеров»[4] должно было, по их мнению, сильно поднять в глазах Кембеля и публики одних и сильно уронить других. Призыв свидетелей стоит денег, да и сверх того у Бартелеми не было целой

---

[1] Пардигон, схваченный в Июньские дни, был брошен в тюльерийский подвал; там находилось тысяч до пяти человек. Тут были холерные, раненые, умиравшие. Когда правительство прислало Корменена освидетельствовать положение их, то, отворивши двери, он и доктора отпрянули от удушающей заразительной вони. К окошечкам soupirail ⟨отдушины *(франц.).—Ред.*⟩ было запрещено подходить. Пардигон, изнемогая от духоты, поднял голову, чтобы подышать, это заметил часовой из Национальной гвардии и сказал ему, чтоб он отошел, или он выстрелит. Пардигон медлил, тогда почтенный буржуа опустил дуло и выстрелил в него, пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, он упал. Вечером часть арестантов повели в форты, в том числе подняли раненого Пардигона, связали ему руки и повели. Тут известная тревога на Карузельской площади, в которой Национальная гвардия со страха стреляла друг в друга, раненый Пардигон выбился из сил и упал, его бросили на пол в полицейскую кордегардию, и он остался с связанными руками, лежа на спине и *захлебываясь* своей кровью из раны. Так его застал какой-то политехник, разругавший этих каннибалов и заставивший их снести больного в больницу. Помнится, я этот случай рассказал в «Письмах из Италии и Франции»... но это не мешает протверживать, чтоб не забывать, что такое образованная парижская буржуазия.

[2] ссылку *(от франц. déportation).— Ред.*

[3] защиты *(франц.).— Ред.*

[4] единоверцев *(от франц. coreligionnaire).— Ред.*

ширинги друзей, которым он мог бы отдать приказание говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при следствии, умели красноречиво молчать.

Одного из арестованных свидетелей, Бароне, следопроизводитель спросил, знает ли он, кто убил Курне, или кого он подозревает. Бароне отвечал, что никакие угрозы, никакие наказания не заставят его назвать человека, лишившего жизни Курне, несмотря на то что покойник был лучший друг его. «Если бы я должен был десяток лет влачить цепи в душной тюрьме, то я и тогда не сказал бы».

Солиситор перебил его хладнокровным замечанием: «Да это ваше право, впрочем, вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете».

И после всего этого они хотели перехитрить — кого же? — *лорда Кембеля?* Я желал бы приложить его портрет, для того чтоб показать всю меру нелепости этой попытки. Старика лорда Кембеля, поседевшего и сморщившегося на своем судейском кресле, читая равнодушным голосом, с шотландским акцентом, страшнейшие evidences[1] и распутывая самые сложные дела с осязательной ясностью,— его хотела перехитрить кучка парижских клубистов... Лорда Кембеля, который никогда не поднимает голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяет себе в самых смешных или сильных минутах высморкаться... Лорда Кембеля, с лицом ворчуньи-старухи, в котором, вглядываясь, вы ясно видите известную метаморфозу, так неприятно удивившую девочку — *красную шапочку*, что это вовсе не бабушка, а волк в парике, женском роброне и кацавейке, обшитой мехом.

Зато его лордшипство не осталось в долгу.

После долгих дискуций о тряпочке и после показаний Пардигона защитники Бароне начали вызывать свидетелей.

Во-первых, явился старик рефюжье, товарищ Барбеса и Бланки. Он сначала с некоторым отвращением принял Библию, потом сделал движение рукой — «была, мол, не была» — присягнул и вытянул шею.

— Давно ли вы,— спросил один из атторнеев,— знакомы с Курне?

— Граждане,— сказал рефюжье по-французски,— с молодых лет моих преданный одному делу, я посвятил жизнь свою священному делу свободы и равенства...— и пошел было в этом роде.

---

[1] свидетельские показания *(англ.).— Ред.*

Но атторней остановил его и, обращаясь к переводчику, заметил: «Свидетель, кажется, не понял вопроса, переведите его на французский».

За ним следовал другой. Пять-шесть французов, с бородами, идущими в рюмочку, и плешивых, с огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконец, с волосами, падающими на плечи, и в красных шейных платках, явились один за другим, чтоб сказать вариации на следующую тему: «Курне был человек, которого достоинства превышали добродетели, а добродетели равнялись достоинствам, он был украшение эмиграции, честь партии, жена его неутешна, а друзья утешаются только тем, что остались в живых такие люди, как Бароне и его товарищи».

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, он французский рефюжье... Видал, но не знаю ничего об нем,— при этом свидетель чмокал по-французски ртом.

— Свидетеля такого-то...— сказал атторней.

— Позвольте,— заметила бабушка Кембель голосом мягкого участия,— не беспокойте их больше, это множество свидетелей *в пользу* покойного Курне и подсудимого Бароне нам кажется излишним и вредным, мы не считаем ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы их честность и порядочное поведение следовало доказывать с таким упорством. Сверх того, Курне умер, и нам вовсе не нужно ничего знать о нем, мы призваны судить одно дело о его убиении; все идущее к этому преступлению для нас важно, а события прошлой жизни подсудимых, которых мы равно считаем весьма порядочными джентльменами, нам не нужно знать. Я с своей стороны не имею никаких подозрений насчет г. Бароне.

— «А на что у тебя, бабушка, такие хитрые да смеющиеся глаза?»

— «На то, что ртом я по моему сану не могу смеяться над вами, милые внучаты, а потому посмеюсь глазами».

Разумеется, что после этого свидетелей с прической внизу и с прической наверху, с военным видом и с кашне всех семи цветов призмы отпустили не слушавши.

Затем дело пошло быстро.

Один из защитников, представляя присяжным, что подсудимые — иностранцы, совершенно не знающие английских законов, заслуживают всякого снисхождения, прибавил: «Представьте себе, гг. присяжные, г. Бароне так мало знал Англию, что на вопрос — знаете ли вы, кто убил Курне? — отвечал, что если б его в цепях посадили лет на десять в тюремные склепы, то он и тогда бы не сказал имени. Вы видите, что г. Бароне еще имел об Англии какие-то средневековые понятия, он мог думать, что за его умалчивание его можно ковать в цепи, бросить на десять лет в тюрьму. Наде-

юсь,— сказал он, не удерживая смеха,— что несчастное событие, по которому г. Бароне был несколько месяцев лишен свободы, убедило его, что тюрьмы в Англии несколько улучшились с средних веков и вряд ли хуже тюрем в некоторых других странах. Докажемте же подсудимым, что и суд наш также человечествен и справедлив», и проч.

Присяжные, составленные наполовину из иностранцев, нашли подсудимых «виновными».

Тогда Кембель обратился к подсудимым, напомнил им строгость английских законов, напомнил, что иностранец, ступая на английскую землю, пользуется всеми правами англичанина и за это должен нести и равную ответственность перед законом. Потом перешел к разнице нравов и сказал наконец, что он не считал бы справедливым наказать их по всей строгости законов, а потому приговаривает их *к двухмесячному тюремному заключению.*

Публика, народ, адвокаты и мы все были довольны: ждали резкого наказания, но не смели думать о меньшем minimum'е, как три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошел к Бартелеми; он мрачно сжал мне руку и сказал:

— Пардигон-то остался чист, Бароне...— и он пожал плечами.

Когда я выходил из залы, я встретил моего знакомого, lawyer'a, он стоял с Бароне.

— Лучше бы меня,— говорил последний,— на год посадили, чем смешать с этим злодеем Бартелеми.

Суд кончился часов около десяти вечером. Когда мы пришли на железную дорогу, мы застали в амбаркадере толпы французов и англичан, громко и шумно рассуждавших о деле. Большинство французов было довольно приговором, хотя и чувствовало, что победа не по ту сторону Ламанша. В вагонах французы затянули «Марсельезу».

— Господа,— сказал я,— справедливость прежде всего; на этот раз споемте-ка «Rule, Britannia!».

И «Rule, Britannia» запели!

2. БАРТЕЛЕМИ

Прошло два года... Бартелеми снова стоял перед лордом Кембелем, и на этот раз угрюмый старик, накрывшись черным клобуком, произнес над ним иной приговор.

В 1854 году Бартелеми еще больше отдалился от всех, вечно чем-то занятой, он мало показывался, готовил что-то в тиши — люди, жившие с ним вместе, знали не больше других. Я его видел

изредка; он всегда мне показывал большое сочувствие и доверие, но ничего особенного не говорил.

Вдруг разнесся слух о двойном убийстве: Бартелеми убил какого-то мелкого неизвестного английского купца и потом полицейского агента, который хотел его арестовать. Объяснения, ключа — никакого. Бартелеми молчал перед судьями, молчал в Ньюгете. Он с самого начала признался в убийстве полицейского; за это его можно было приговорить к смертной казни, а потому он остановился на признании — защищая, так сказать, *свое право* быть повешенным за последнее преступление — не говоря о первом.

Вот что мы узнали мало-помалу. Бартелеми собрался ехать в Голландию, в дорожном платье, с визированным пассом в кармане, с револьвером — в другом, в сопровождении женщины, с которой он жил,— Бертелеми отправился в девять часов вечером к англичанину, фабриканту содовой воды. Когда он постучался,— горничная отворила ему дверь; хозяин пригласил их в парлор и вслед за тем пошел с Бертелеми в свою комнату.

Горничная слышала, как разговор становился крупнее, как он перешел в брань, вслед за тем ее господин отворил дверь и пихнул Бартелеми — тогда Бартелеми вынул из кармана пистолет и выстрелил в него. Купец упал мертвый. Бартелеми бросился вон — испуганная француженка скрылась прежде него и была счастливее. Полицейский агент, слышавший выстрел, остановил Бартелеми на улице; он грозил ему пистолетом, полицейский не пускал — Бартелеми выстрелил — на этот раз больше чем вероятно, что он не хотел убить агента, а только постращать его, но, вырывая руку и сжимая другой пистолет — в таком близком расстоянии,— он его смертельно ранил. Бартелеми пустился бежать, но уже полицейские его заметили — и он был схвачен.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это был просто акт разбоя, что Бартелеми хотел ограбить англичанина. Но англичанин вовсе не был богат. Без полного помешательства трудно предположить, чтоб человек пошел на открытый разбой — в Лондоне, в одном из населеннейших кварталов,— в знакомый дом, часов в девять вечером, с женщиной,— и все это, чтоб украсть каких-нибудь сто ливров (что-то такое было найдено в комоде убитого).

Бартелеми за несколько месяцев до этого завел какую-то мастерскую крашеных стекол с узорами, арабесками и надписями по особому способу. Он на привилегию истратил фунтов до шестидесяти; фунтов пятнадцать недостало, он попросил у меня взаймы и очень аккуратно отдал. Ясно, что тут было что-то важнее простого воровства... Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, его мономания остались. Что он ехал в Голландию только для того, чтобы оттуда пробраться в Париж,— это знали многие.

Едва три-четыре человека остановились в раздумье перед этим кровавым делом — остальные все испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повешенным в Англии не респектабельно; иметь связи с человеком, судимым за убийство,— shoking;[1] ближайшие друзья его отшарахнулись...

Я тогда жил в Твикнеме. Прихожу раз домой вечером, меня ждут два рефюжье. «Мы к вам,— говорят они,— приехали, чтоб вас удостоверить, что мы ни малейшего участия не имели в страшном деле Бартелеми — у нас была общая работа, мало ли с кем приходится работать. Теперь скажут... подумают...»

— Да неужели вы за этим приехали из Лондона в Твикнем?!— спросил я.

— Ваше мнение нам очень дорого.

— Помилуйте, господа, да я сам был знаком с Бартелеми, и хуже вас — потому что никакой общей работы не имел, но не отрекаюсь от него. Я не знаю дела, суд и осуждение предоставляю лорду Кембелю, а сам плачу о том, что такая молодая и богатая сила, такой талант — так воспитался горькой борьбой и средой, в которой жил, что в пущем цвете лет — его жизнь потухнет под рукою палача.

Поведение его в тюрьме поразило англичан, ровное, покойное, печальное без отчаяния, твердое без jactance[2]. Он знал, что для него все кончено — и с тем же непоколебимым спокойствием выслушал приговор, с которым некогда стоял под градом пуль на баррикаде.

Он писал к своему отцу и к девушке, которую любил. Письмо к отцу я читал, ни одной фразы, величайшая простота, он кротко утешает старика — как будто речь не о нем самом.

Католический священник, который ex officio[3] ходил к нему в тюрьму, человек умный и добрый, принял в нем большое участие и даже просил Палмерстона о перемене наказания,— но Палмерстон отказал. Разговоры его с Бартелеми были тихи и исполнены гуманности с обеих сторон. Бартелеми писал ему: «Много, много благодарен я вам за ваши добрые слова, за ваши утешения. Если б я мог обратиться в верующего — то, конечно, одни вы могли бы обратить меня — но что же делать... у меня нет веры!» После его смерти священник писал одной знакомой мне даме: «Какой человек был этот несчастный Бартелеми — если б он дольше прожил, может, его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душе!»

Тем больше останавливаюсь я на этом случае, что «Times» со злобой рассказал насмешку Бартелеми над шерифом.

---

[1] скандально *(англ.).— Ред.*
[2] самохвальства *(франц.).— Ред.*
[3] по должности *(лат.).— Ред.*

За несколько часов до казни один из шерифов, узнав, что Бартелеми отказался от духовной помощи, счел себя обязанным обратить его на путь спасения — и начал ему пороть ту пиетистическую дичь, которую печатают в английских грошовых трактатах, раздаваемых даром на перекрестках. Бартелеми надоело увещание шерифа. Апостол с золотой цепью заметил это и, приняв торжественный вид, сказал ему: «Подумайте, молодой человек — через несколько часов вы будете не мне отвечать, а богу».

— А как вы думаете,— спросил его Бартелеми,— бог говорит по-французски или нет?.. Иначе я ему не могу отвечать...

Шериф побледнел от негодования, и бледность и негодование дошли до парадного ложа всех шерифских, мэрских, алдерманских вздохов и улыбок,— до огромных листов «Таймса».

Но не один апостольствующий шериф мешал Бартелеми умереть в том серьезном и нервно поднятом состоянии,— которого он искал,— которое так естественно искать в последние часы жизни.

Приговор был прочтен. Бартелеми заметил кому-то из друзей, что уж если нужно умереть — он предпочел бы тихо, без свидетелей потухнуть в тюрьме, чем всенародно, на площади, погибнуть от руки палача. «Ничего нет легче: завтра, послезавтра я тебе принесу стрихнину». Мало одного, двое взялись за дело. Он тогда уже содержался как осужденный, то есть очень строго — тем не меньше через несколько дней друзья достали стрихнин и передали ему в белье. Оставалось убедиться — что он нашел. Убедились и в этом...

Боясь ответственности, один из них, на которого могло пасть подозрение, хотел на время покинуть Англию. Он попросил у меня несколько фунтов на дорогу; я был согласен их дать. Что, кажется, проще этого? Но я расскажу это ничтожное дело для того, чтоб показать — каким образом все тайные заговоры французов открываются, каким образом у них во всяком деле компрометирована любовью к роскошной mise en scène бездна посторонних лиц.

Вечером в воскресенье у меня были, по обыкновению, несколько человек — польских, итальянских и других рефюжье. В этот день были и дамы. Мы очень поздно сели обедать, часов в восемь. Часов в девять взошел один близкий знакомый. Он ходил ко мне часто, и потому его появление не могло броситься в глаза, но он так ясно выразил всем лицом «Я умалчиваю!», что гости переглянулись.

— Не хотите ли чего-нибудь съесть или рюмку вина? — спросил я.

— Нет,— сказал, опускаясь на стул, сосуд, отяжелевший от тайны.

После обеда он при всех вызвал меня в другую комнату и, сказавши, что Бартелеми достал яд (новость, которую я уже

слышал),— передал мне просьбу о ссуде деньгами отъезжающего.

— С большим удовольствием. Теперь? — спросил я.— Я сейчас принесу.

— Нет, я ночую в Твикнеме и завтра утром еще увижусь с вами. Мне не нужно вам говорить — вас просить, чтоб ни один человек...

Я улыбнулся.

Когда я взошел опять в столовую, одна молодая девушка спросила меня: «Верно, он говорил о Бартелеми?»

На другой день, часов в восемь утра, взошел Франсуа и сказал, что какой-то француз, которого он прежде не видел, требует непременно меня видеть.

Это был тот самый приятель Бартелеми, который хотел *незаметно* уехать. Я набросил на себя пальто и вышел в сад, где он меня дожидался. Там я встретил болезненного, ужасно исхудалого черноволосого француза (я после узнал, что он годы сидел в Бель-Иле и потом à la lettre[1] умирал с голоду в Лондоне). На нем был потертый пальто, на который бы никто не обратил внимания, но дорожный картуз и большой дорожный шарф, обмотанный круг шеи, невольно остановили бы на себе глаза в Москве, в Париже, в Неаполе.

— Что случилось?

— Был у вас такой-то?

— Он и теперь здесь.

— Говорил о деньгах?

— Это все кончено — деньги готовы.

— Я, право, очень благодарен.

— Когда вы едете?

— Сегодня... или завтра.

К концу разговора подоспел и наш общий знакомый. Когда путешественник ушел:

— Скажите, пожалуйста, зачем он приезжал? — спросил я его, оставшись с ним наедине.

— За деньгами.

— Да ведь вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотелось с вами познакомиться, он спрашивал меня, приятно ли вам будет — что же мне было сказать?

— Без сомнения, очень. Но только я не знаю, хорошо ли он выбрал время.

— А разве он вам помешал?

— Нет — а как бы полиция ему не помешала выехать...

---

[1] буквально *(франц.).— Ред.*

По счастью, этого не случилось. В то время как он уезжал, его товарищ усомнился в яде, который они доставили, подумал, подумал и дал остаток его собаке. Прошел день — собака жива, прошел другой — жива. Тогда — испуганный — он бросился в Ньюгет, добился свиданья с Бартелеми — через решетку — и, улучив минуту, шепнул ему:

— У тебя?

— Да, да!

— Вот видишь, у меня большое сомнение. Ты лучше не принимай, я пробовал над собакой,— никакого действия не было!

Бартелеми опустил голову — и потом, поднявши ее и с глазами, полными слез, сказал:

— Что же вы это надо мной делаете!

— Мы достанем другого.

— Не надобно,— ответил Бартелеми,— пусть совершится судьба.

И с той минуты стал готовиться к смерти, не думал об яде и писал *какой-то мемуар*, *который не выдали* после его смерти другу, которому он его завещал (тому самому, который уезжал).

Девятнадцатого января в субботу мы узнали о посещении священником Палмерстона и его отказе.

Тяжелое воскресенье следовало за этим днем... Мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался один. Лег спать, уснул и тотчас проснулся. Итак, через семь-шесть-пять часов — его, исполненного силы, молодости, страстей, совершенно здорового, выведут на площадь и убьют, безжалостно убьют, без удовольствия и озлобления, а еще с каким-то фарисейским состраданием!.. На церковной башне начало бить семь часов. *Теперь* — двинулось шествие — и Калкрофт налицо... Послужили ли бедному Бартелеми его стальные нервы — у меня стучал зуб об зуб.

В одиннадцать утра взошел Доманже.

— Кончено? — спросил я.

— Кончено.

— Вы были?

— Был.

Остальное досказал «Times»[1].

---

[1] Против статьи «Таймса» аббат Roux напечатал:

«The murderer Barthélemy.
A monsieur le rédacteur du «Times».

Monsieur le Rédacteur,— Je viens de lire dans votre estimable feuille de ce jour, sur les derniers moments du malheureux Barthélemy, un récit, auquel je pourrais beaucoup a jouter, tout en y relevant un grand nombre de singulières

Когда все было готово, рассказывает «Times», он попросил письмо той девушки, к которой писал, и, помнится, локон ее волос или какой-то сувенир; он сжал его в руке, когда палач подошел к нему... Их, сжатыми в его окоченелых пальцах, нашли помощники палача, пришедшие снять его тело с виселицы. «Человеческая спра-

---

inexactitudes. Mais, vous comprenez, Monsieur, tout ce que m'impose de réserver ma position de prêtre catholique et de confident du prisonnier.

J'étais, donc, résolu de demeurer étranger à tout ce qui serait publié sur les derniers moments de cet infortuné (et c'est ainsi que j'avais refusé de répondre à toutes les demandes qui m'avaient été adressées par des journaux de toutes les opinions); mais je ne puis laisser passer sous silence l'imputation, flétrissante pour mon caractère, qu'on met adroitement dans la bouche du malheureux prisonnier, quand on lui fait dire: «que j'avais trop bon goût pour le troubler au sujet de la religion».

J'ignore si Barthélemy a réellement tenu un pareil langage, et à quelle époque il l'a tenu. S'il s'agit de mes trois premières visites, il disait vrai. Je connaissais trop bien cet homme pour essayer de lui parler de la religion avant d'avoir gagné sa confiance; il me serait arrivé ce qui était arrivé à d'autres prêtres catholiques qui l'ont visité avant moi. Il aurait refusé de me voir plus longtemps; mais dès ma quatrième visite la religion a été le sujet de nos continuels entretiens. Je n'en voudrais pour preuve que cette conversation si animée, qui a eu lieu entre nous dans la soirée de dimanche sur l'éternité des peines, l'article de notre, ou plutôt de sa religion, qui lui faisait le plus de peine. Il refusait, avec Voltaire, de croire, que —

> Ce Dieu qui sur *nos* jours versa tant de bienfaits,
> Quand ces jours sont finis, *nous* tourmente à jamais.

Je pourrais citer encore les paroles qu'il m'adressait un quart d'heure avant de monter à l'échafaud; mais, comme ces paroles n'auraient d'autre garantie que mon propre témoignage, j'aime mieux citer la lettre suivante, écrite par lui le jour même de l'exécution, à six heures du matin, au moment où, selon le récit de votre correspondant, il dormait d'un profond sommeil:

«Cher Monsieur l'Abbé,— Avant de cesser de battre, mon cœur éprouve le besoin de vous témoigner toute sa gratitude pour les soins affectueux que vous m'avez si évangeliquement prodigués pendant mes derniers jours. Si ma conversion avait été possible, elle aurait été faire par vous; je vous l'ai dit: je ne crois à rien! Croyez bien que mon incrédulité n'est point le résultat d'une résistance orgueilleuse; j'ai sincèrement fait mon possible, aidé de vos bons conseils; malheureusement, la foi ne m'est pas venue, et le moment est proche... Dans deux heures je connaîtrai le secret de la mort. Si je me suis trompé, et si l'avenir qui m'attend vous donne raison, malgré ce jugement des hommes, je ne redoute pas de paraître devant notre Dieu, qui, dans sa miséricorde infinie, voudra bien me pardonner mes péchés en ce monde.

Oui, je voudrais pouvoir partager vos croyances, car je comprends que ceux qui se réfugient dans la foi religieuse trouvent, au moment de mourir, des forces dans l'espérance d'une autre vie, tandis que moi, qui ne crois qu'à l'anéantissement éternel,— je suis obligé de puiser à ce moment suprême mes forces dans les raisonnements, peut-être faux, de la philosophie et dans le courage humain.

Encore une fois merci! et adieu!

E. Barthélemy.

Newgate, 22 janvier, 1855, 6 h. du matin.

ведливость,— как говорит «Таймс»,— была удовлетворена!» Я думаю,— да это и дьявольской не показалось бы мало!

Тут бы и остановиться. Но пусть же в моем рассказе, как было в самой жизни, равно останутся следы богатырской поступи и возле ступня... ослиных и свиных копыт.

P. S. Je vous prie d'être auprès de M. Clifford l'interprête de ma gratitude».

J'ajouterai à cette lettre que le pauvre Barthélemy se trompait lui-même, ou plutôt cherchait à me tromper, par quelques phrases, dernières concessions faites à l'orgueil humain. Ces phrases auraient disparu, je n'en doute pas, si la lettre eût été écrite une heure plus tard. Non, Barthélemy n'est pas mort incrédule; il m'a chargé, au moment de mourir, de déclarer qu'il pardonnait à tous ses ennemis, et m'a prié de me tenir auprès de lui jusqu'au moment où il aurait cessé de vivre. Si je me suis tenu à une certaine distance,— si je me suis arrêté sur la dernière marche de l'échafaud, l'autorité en connait la cause. Du reste, j'ai rempli religieusement les dernières volontés de mon malheureux compatriote. Il m'a dit en me quittant, avec un accent que je n'oublierai de ma vie — «Priez, priez, priez!» J'ai prié avec effusion de cœur, et j'espère que celui qui a déclaré qu'il était né catholique, et qu'il voulait être catholique, aura eu à son moment suprême un de ces repenties ineffables qui purifient une âme, et lui ouvrent les portes de l'éternelle vie.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression de mes sentiments les plus distingués,

L'abbé Roux.

Chapel-house, Cadogan-terrace, Jan. 24».

(Перевод:

«Убийца Бартелеми

Господину редактору «Таймса».

Господин редактор, я только что прочел в сегодняшнем номере Вашей уважаемой газеты о последних минутах несчастного Бартелеми — рассказ, к которому я мог бы многое прибавить, указав и на большое количество странных неточностей. Но Вы, господин редактор, понимаете, к какой сдержанности обязывает меня мое положение католического священника и духовника заключенного.

Итак, я решил отстраниться от всего, что будет напечатано о последних минутах этого несчастного (и я действительно отказывался отвечать на все вопросы, с которыми ко мне обращались газеты всех направлений); но я не могу обойти молчанием позорящее меня обвинение, которое ловко вкладывают в уста бедного узника, якобы сказавшего: «что я достаточно воспитан, чтобы не беспокоить его вопросами религии».

Не знаю, говорил ли Бартелеми действительно что-либо подобное и когда он это говорил. Если речь идет о первых трех моих посещениях, то он говорил правду. Я слишком хорошо знал этого человека, чтобы пытаться заговорить с ним о религии, не завоевав прежде его доверия; в противном случае со мной случилось бы то же, что и со всеми другими католическими священниками, посещавшими его до меня. Он не захотел бы меня больше видеть; но, начиная с четвертого посещения, религия являлась предметом наших постоянных бесед. В доказательство этого я желал бы указать на нашу столь оживленную беседу, состоявшуюся в воскресенье вечером, о вечных муках — догмате нашей, или, скорее, его религии, который больше всего угнетал его. Вместе с Вольтером он отказывался верить, что «тот бог, который излил на дни *нашей* жизни столько благодеяний, по окончании этих дней предаст *нас* вечным мукам».

Когда Бартелеми был схвачен, у него не было достаточно денег, чтоб платить солиситору, да ему и не хотелось нанимать его. Явился какой-то неизвестный адвокат Геринг, предложивший ему защищать его, явным образом, чтоб сделать себя известным. Защищал он слабо — но и не надобно забывать, задача была необыкновенно трудна: Бартелеми молчал и не хотел, чтоб Геринг говорил о

Я мог бы привести еще слова, с которыми он обратился ко мне за четверть часа до того, как он взошел на эшафот; но так как эти слова не имели бы иного подтверждения, кроме моего собственного свидетельства, я предпочитаю сослаться на следующее письмо, написанное им в самый день казни, в шесть часов утра, в тот самый миг, когда он спал глубоким сном, по словам Вашего корреспондента: «Дорогой господин аббат. Сердце мое, прежде чем перестать биться, испытывает потребность выразить Вам свою благодарность за нежную заботу, которую Вы с такой евангельской щедростью проявили по отношению ко мне в течение моих последних дней. Если бы мое обращение было возможно, оно было бы совершено Вами; я говорил Вам: «Я ни во что не верю!» Поверьте, мое неверие вовсе не является следствием сопротивления, вызванного гордыней; я искренне делал все, что мог, пользуясь Вашими добрыми советами; к несчастью, вера не пришла ко мне, а роковой момент близок... Через два часа я познаю тайну смерти. Если я ошибался и если будущее, ожидающее меня, подтвердит Вашу правоту, то, несмотря на этот суд людской, я не боюсь предстать перед богом, который, в своем бесконечном милосердии, конечно, простит мне мои грехи, совершенные в сем мире.

Да, я желал бы разделять Ваши верования, ибо я понимаю, что тот, кто находит убежище в религии, черпает, в момент смерти, силы в надежде на другую жизнь, тогда как мне, верующему лишь в вечное уничтожение, приходится в последний час черпать силы в философских рассуждениях, быть может ложных, и в человеческом мужестве.

Еще раз спасибо! и прощайте!

Е. Бартелеми.

Ньюгет, 22 янв. 1855, 6 ч. утра.

P. S. Прошу вас передать мою благодарность г. Клиффорду».

Прибавлю к этому письму, что бедный Бартелеми сам заблуждался, или, вернее, пытался ввести меня в заблуждение несколькими фразами, которые были последней уступкой человеческой гордыне. Эти фразы, несомненно, исчезли бы, если бы письмо было написано часом позднее. Нет, Бартелеми не умер неверующим; он поручил мне в минуту смерти объявить, что он прощает всем своим врагам, и просил меня быть около него до той минуты, когда он перестанет жить. Если я держался на некотором расстоянии,— если я остановился на последней ступеньке эшафота, то причина этого известна властям. В конце концов я выполнил, согласно религии, последнюю волю моего несчастного соотечественника. Покидая меня, он сказал мне с выражением, которого я никогда в жизни не забуду: «Молитесь, молитесь, молитесь!» Я горячо молился от всего сердца и надеюсь, что тот, кто объявил, что он родился католиком и что он хотел умереть католиком, вероятно, в последний час испытал одно из тех невыразимых чувств раскаяния, которые очищают душу и открывают ей врата вечной жизни.

Примите, г. редактор, выражение моего глубочайшего уважения.

Аббат Ру.

Chapel-house, Cadogan-terrace, янв. 24» (франц.).— Ред.〉

главном деле.— Как бы то ни было, Геринг возился, терял время, хлопотал. Когда казнь была назначена, Геринг пришел в тюрьму проститься. Бартелеми был тронут — благодарил его и, между прочим, сказал ему:

— У меня ничего нет, я не могу вознаградить ваш труд... ничем, кроме моей благодарности... Хотел бы я вам, по крайней мере, оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нет, что б я мог вам предложить. Разве мой пальто?

— Я вам буду очень, очень благодарен, я хотел его у вас просить.

— С величайшим удовольствием,— сказал Бартелеми,— но он плох...

— О, я его не буду носить... признаюсь вам откровенно, я уж запродал его, и очень хорошо.

— Как запродали? — спросил удивленный Бартелеми.

— Да, madame Тюссо, для ее... особой галереи.

Бартелеми содрогнулся.

Когда его вели на казнь, он вдруг вспомнил и сказал шерифу:

— Ах, я совсем было забыл попросить, чтоб мой пальто никак не отдавали Герингу!

ГЛАВА V

«NOT GUILTY»[1]

«...Вчера арестовали на собственной квартире доктора Симона Бернара по делу Орсини...»

Надобно несколько лет прожить в Англии, чтоб понять, как подобная новость удивляет... как ей не сразу веришь... как *континентально* становится на душе!..

На Англию находят, и довольно часто, периодические страхи, и в это время оторопелости не попадайся ей ничего на дороге. Страх вообще безжалостен, беспощаден, но имеет ту выгоду за собой, что он скоро проходит. Страх не злопамятен, он старается, чтоб его поскорее забыли.

Не надобно думать, чтоб трусливое чувство осторожности и тревожного самохранения лежало в самом английском характере. Это следствие отучнения от богатства и воспитания всех помыслов и страстей на стяжание. Робость в английской крови внесена капиталистами и мещанством, они передают болезненную тревожность свою официальному миру, который в представительной стране по-

[1] «Не виновен» *(англ.).— Ред.*

стоянно подделывается под нравы — голос и деньги имущих. Составляя господствующую среду, они при всякой неожиданной случайности теряют голову и, не имея нужды стесняться, являются во всей беспомощной, неуклюжей трусости своей, не прикрытой пестрым и линялым фуляром французской риторики.

Надобно уметь переждать, как только капитал придет в себя, успокоится за проценты, все опять пойдет своим чередом.

Взятием Бернара думали отделаться от гнева кесарева за то, что Орсини на английской почве обдумывал свои гранаты. Слабодушные уступки обыкновенно раздражают, и вместо «спасиба» — грозные ноты сделались еще грознее, военные статьи в французских газетах запахли еще сильнее порохом. Капитал побледнел, в глазах его помутилось, он уж видел, чуял винтовые пароходы, красные штаны, красные ядра, красное зарево, банк, превращенный в Мабиль с исторической надписью: «Ici l'on danse!»[1] Что же делать? — Не только выдать и уничтожить доктора Симона Бернара, но, пожалуй, срыть гору Сен-Бернар и ее уничтожить, лишь бы проклятый призрак красных штанов и черных бородок исчез, лишь бы сменить гнев союзника на милость.

Лучший метеорологический снаряд в Англии — Палмерстон, показывающий очень верно состояние температуры средних слоев, перевел «очень страшно» на Conspiracy Bill[2]. По этому закону, если бы он прошел, с некоторой старательностью и усердием к службе каждое посольство могло бы усадить в тюрьму, а в иных случаях и на корабль, любого из врагов своих правительств.

Но, по счастью, температура острова не во всех слоях одинакая, и мы сейчас увидим премудрость английского распределения богатств, освобождающую значительную часть англичан от заботы о капитале. Будь в Англии все до единого капиталисты, Conspiracy Bill был бы принят, а Симон Бернар был бы повешен... или отправлен в Кайенну.

При слухе о Conspiracy Bill и о почти несомненной возможности, что он пройдет, старое англосаксонское чувство независимости встрепенулось; ему стало жаль своего древнего *права убежища*, которым кто и кто не пользовался, от гугенотов до католиков в 1793, от Вольтера и Паоли до Карла X и Людвига-Филиппа? Англичанин не имеет особой любви к иностранцам, еще меньше — к изгнанникам, которых считает бедняками, а этого порока он не прощает,— но за *право убежища* он держится; безнаказанно касаться его он не позволяет, так точно, как касаться до права митингов, до свободы книгопечатания.

---

[1] «Здесь танцуют!» *(франц.)*— *Ред.*

[2] Закон о заговорах *(англ.)*.— *Ред.*

Предлагая Conspiracy Bill, Палмерстон считал, и очень верно, на упадок британского духа; он думал об одной среде, очень мощной, но забыл о другой, очень многочисленной.

За несколько дней до вотирования билля Лондон покрылся афишами: комитет, составившийся для противудействия новому закону, приглашал на митинг в следующее воскресение в Hyde Park, там комитет хотел предложить адрес королеве. В этом адресе требовалось объявление Палмерстона и его товарищей изменниками отечества, их подсудимость и просьба в том случае, если закон пройдет, чтоб королева, в силу ей предоставленного права, отвергла его. Количество народа, которое ожидали в парке, было так велико, что комитет объявил о невозможности говорить речи; параграфы адреса комитет распорядился предлагать на суждение телеграфическими знаками.

Разнесся слух, что к субботе собираются работники, молодые люди со всех концов Англии, что железные дороги привезут десятки тысяч людей, сильно раздраженных. Можно было надеяться на митинг в двести тысяч человек. Что́ могла сделать полиция с ними? Употребить войско против митинга законного и безоружного, собирающегося для адреса королеве, было невозможно, да и на это необходим был Mutiny Bill; следовало предупредить митинг. И вот в пятницу Милнер-Гибсон явился с своею речью против Палмерстонова закона. Палмерстон был до того уверен в своем торжестве, что, улыбаясь, ждал счета голосов. Под влиянием будущего митинга — часть Палмерстоновых клиентов вотировала против него, и когда большинство, больше тридцати голосов, было со стороны Милнер-Гибсона, он думал, что считавший обмолвился, переспросил, потребовал речи, ничего не сказал, а растерянный произнес несколько бессвязных слов, сопровождая их натянутой улыбкой, и потом опустился на стул, оглушаемый враждебным рукоплесканием.

Митинг сделался невозможен; не было больше причины ехать из Манчестера, Бристоля, Ньюкестля-на-Тейне... Conspiracy Bill пал, и с ним Палмерстон с своими товарищами.

Классически-велеречивое и чопорно-консервативное министерство Дерби, с своими еврейскими мелодиями Дизраели и дипломатическими тонкостями времен Кастелри, сменило их.

В воскресенье, часу в третьем, я пошел с визитом и именно к г-же Милнер-Гибсон; мне хотелось ее поздравить: она жила возле Гайд-парка. Афиши были сняты, и носильщики ходили с печатными объявлениями на груди и спине, что по случаю падения закона и министров митинга не будет. Тем не меньше, пригласивши тысяч двести гостей, нельзя было ожидать, чтоб парк остался пуст. Везде стояли густые группы народа,— ораторы, взгромоздившись

на стулья, на столы, говорили речи, и толпы были возбуждены больше обыкновенного. Несколько полицейских ходили с девичьей скромностью, ватаги мальчишек распевали во все горло: «Pop, goes the weasel!»[1] Вдруг кто-то, указывая на поджарую фигуру француза с усиками, в потертой шляпе, закричал: «A french spy!..»[2] В ту же минуту мальчишки бросились за ним. Перепуганный шпион хотел дать стречка, но, брошенный на землю, он уже пошел не пешком, его потащили волоком с торжеством и криком: «French spy, в Серпентину его!», привели к берегу, помокнули его (это было в феврале), вынули и положили на берег с хохотом и свистом. Мокрый, дрожащий француз барахтался на песке, выкликая *в парке*: «Кабман! Кабман!»[3]

Вот как повторилось через пятьдесят лет в Гайд-парке знаменитое тургеневское «французя топим».

Этот пролог à la Prissnitz к бернаровскому процессу показал, как далеко распространилось негодование. Народ английский был действительно рассержен и спас свою родину от пятна, которым conglomerated mediocrity[4] Ст. Милля непременно опозорила бы ее.

Англия велика и сносна *только* при полнейшем сохранении своих прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневековые платья и пуританские кафтаны, но допустивших жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической уверенности в законной почве.

То, что́ понял инстинктом народ английский, Дерби так же мало оценил, как и Палмерстон. Забота Дерби состояла в том, чтоб успокоить капитал и сделать всевозможные уступки для рассерженного союзника; ему он хотел доказать, что и без Conspiracy Bill он наделает чудеса. В излишнем рвении он сделал две ошибки.

Министерство Палмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его в misdemeanour, то есть в дурном поведении, в бездельничестве, словом, в преступлении, которое не влекло за собою *большего* наказания, как трехлетнее тюремное заключение. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика не приняли бы особенного участия в деле, и оно, вероятно, кончилось бы против Бернара. Дерби потребовал судить Бернара за felony, за уголовное преступление, дающее судье право, в случае обвинительного вердикта, приговорить его к виселице. Это нельзя было так пропус-

---

[1] «Хлоп, вот идет ласка!» *(англ.).— Ред.*
[2] «Французский шпион!..» *(англ.).— Ред.*
[3] «Извозчик! Извозчик!» *(от англ. cabman).— Ред.*
[4] сплоченная посредственность *(англ.).— Ред.*

тить, сверх того увеличивать виновность, пока виноватый под судом, совершенно противно юридическому смыслу англичан.

Палмерстон в самых острых припадках страха, после аттентата[1] Орсини, поймал безвреднейшую книжонку какого-то Адамса, рассуждавшего о том, когда tyrannicide[2] позволено и когда нет, и отдал под суд ее издателя Трулова.

Вся независимая пресса с негодованием взглянула на эту континентальную замашку. Преследование брошюры было совершенно бессмысленно, в Англии тиранов нет, во Франции никто не узнал бы о брошюре, писанной на английском языке, да и такие ли вещи печатаются в Англии ежедневно.

Дерби с своими привычками тори и скачек захотел нагнать, а если можно, обскакать Палмерстона. Феликс Пиа написал от имени революционной коммуны какой-то манифест, оправдывавший Орсини; никто не хотел издавать его; польский изгнанник Тхоржевский поставил имя своей книжной лавки на послании Пиа. Дерби велел схватить экземпляр и отдать под суд Тхоржевского.

Вся англосаксонская кровь, в которой железо не было заменено золотом, от этого нового оскорбления бросилась в голову, все органы — Шотландии, Ирландии и, разумеется, Англии (кроме двух-трех журналов *на содержании*) — приняли за преступное посягательство на свободу книгопечатания эти опыты урезывания слов и спрашивали, в полном ли рассудке поступает так правительство, или оно сошло с ума?

При этом благоприятном настроении в пользу правительственных преследований начался в Old Bailey процесс Бернара, это «юридическое Ватерлоо» Англии, как мы сказали тогда в «Колоколе».

Процесс Бернара я проследил от доски до доски, я был все заседания в Old Bailey (раз только часа два опоздал) и не раскаиваюсь в этом. Первый процесс Бартелеми и процесс Бернара доказали мне очевидно, насколько Англия совершеннолетнее Франции в юридическом отношении.

Чтоб обвинить Бернара, французское правительство и английское министерство взяло колоссальные меры, процесс этот стоил обоим правительствам до тридцати тысяч фунтов стерлингов, то есть до семисот пятидесяти тысяч франков. Ватага французских агентов жила в Лондоне, ездила в Париж и возвращалась для того, чтоб сказать одно слово, для того, чтоб быть в готовности *на случай* надобности, семьи были выписаны, доктора медицины,

---

[1] покушения *(от франц. attentat).— Ред.*
[2] тираноубийство *(франц.).— Ред.*

жокеи, начальники тюрем, женщины, дети... и все это жило в дорогих гостиницах, получая фунт (двадцать пять франков) в день на содержание. Цезарь был испуган. Карфагены были испуганы! И все-то это понял, насупившись, неповоротливый англичанин — и в продолжение следствия преследовал мальчиками, свистом и грязью на Гаймаркете и Ковентри французских шпионов; английская полиция должна была не раз их спасать.

На этой ненависти к политическим шпионам и к бесцеремонному вторжению их в Лондон основал Эдвин Джемс свою защиту. Что он делал с английскими агентами, трудно себе вообразить. Я не знаю, какие средства нашел Scotland Yard или французское правительство, чтоб вознаградить за пытку, которую заставлял их выносить Э. Джемс.

Некто Рожерс свидетельствует, что Бернар в клубе на Лестер-сквере говорил то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона.

— Вы были там? — спрашивает Э. Джемс.

— Был.

— Вы — стало — занимаетесь политикой?

— Нет.

— Зачем же вы ходите по политическим клубам?

— *По обязанностям службы.*

— Не понимаю, какая же это служба?

— Я служу у сэра Ричарда Мена[1].

— А... Что же, вам дается инструкция?

— Да.

— Какая?

— Велено слушать, что́ говорится, и сообщать об этом по начальству.

— И вы получаете за это жалованье?

— Получаю.

— В таком случае *вы* — *шпион*, а spy? Вы давно бы сказали.

Королевский атторней Фицрой Келли встает и, обращаясь к лорду Кембелю, одному из четырех судей, призванных судить Бернара, просит его защитить *свидетеля* от дерзких наименований адвоката. Кембель, с всегдашним бесстрастием своим, советует Э. Джемсу не обижать свидетеля. Джемс протестует, он и намерения не имел его обижать, слово «spy», говорит он,— plain English word[2] и есть название его должности; Кембель уверяет, что лучше называть *иначе*, адвокат отыскивает какой-то фолиант и читает определение слова «шпион». «Шпион — лицо, употребляемое за плату полицией для подслушивания и пр.», а Рожерс,— прибав-

---

[1] Начальник Metropolitan Police.

[2] вполне английское слово *(англ.).— Ред.*

ляет он,— сейчас сказал, что он за деньги, получаемые от сэра Ричарда Мена (причем он указывает на самого Ричарда Мена головой), ходит слушать в клубы и доносит, что́ там делается. А потому он просит у лорда извинения, но иначе не может его называть, и потом, обращаясь к негодяю, на которого обращены все глаза и который второй раз обтирает пот, выступивший на лице, спрашивает:

— Шпион Рожерс, вы, может, тоже и от французского правительства получали жалованье?

Пытаемый Рожерс бесится и отвечает, что он никогда не служил никакому деспотизму.

Эдвин Джемс обращается к публике и середь гомерического смеха говорит:

— Наш spy Rogers за представительное правительство.

Допрашивая агента, взявшего бумаги Бернара, он спросил его: с кем он приходил? (горничная показала, что он был не один).

— С моим дядей.

— А чем ваш дядюшка занимается?

— Он кондуктором омнибуса.

— Зачем же он приходил с вами?

— Он меня просил взять его с собой, так как он никогда не видал, как арестуют или забирают бумаги.

— Экой любопытный у вас дядюшка. Да, кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо от Орсини, письмо это было на итальянском языке, а доставили вы его в переводе; не дядюшка ли ваш переводил?

— Нет, письмо это переводил Убичини[1].

— Англичанин?

— Англичанин.

— Никогда не случалось мне слышать такой английской фамилии. Что же, господин Убичини занимается литературой?

— Он переводит по обязанности.

— Так ваш приятель, может, как шпион Рожерс, служит у сэр Ричард Мена (снова кивая на сэр Ричард головой)?

— Точно так.

— Давно б вы сказали.

С французскими шпионами он до этой степени не доходил, хотя доставалось и им.

Всего больше мне понравилось то, что, вызвав на эстраду свидетеля, какого-то содержателя трактира — француза или белга, за весьма неважным вопросом, он вдруг остановился и, обращаясь к лорду Кембелю, сказал:

---

[1] Кажется, так.

— Вопрос, который я хочу предложить свидетелю,— такого рода, что он может его затруднить в присутствии французских агентов, я прошу вас их на время выслать.

— Huissier[1], выведите французских агентов,— сказал Кембель.

И huissier, в шелковой мантилье, с палочкой в руках, повел дюжину шпионов с бородками и удивительными усами, с золотыми цепочками, перстнями, через залу, набитую битком. Чего стоило одно такое путешествие, сопровождаемое едва сдержимым хохотом?

Процесс известен. Я не буду его рассказывать.

Когда свидетелей переспросили, обвинитель и защитник произнесли свои речи, Кембель холодно субсуммировал дело, прочитав всю evidence[2].

Кембель читал часа два.

— Как это у него достает груди и легких?..— сказал я полицейскому.

Полицейский посмотрел на меня с чувством гордости и, поднося мне табатерку, заметил:

— Что это для него! Когда Палмера судили, он *шесть с половиной* часов читал— и то ничего, вот он какой!

Страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок, это задача. У нас понятья не имеют о такой деятельности и о такой работе, особенно в *первых трех* классах. Кембель, например, приезжал в Old Bailey ровно в десять часов, до двух он безостановочно вел процесс. В два судьи выходили на четверть часа или минут на двадцать и потом снова оставались до пяти и пяти с половиной. Кембель писал всю evidence своей рукой. Вечером того же дня он являлся в палату лордов и произносил длинные речи, как следует, с ненужными латинскими цитатами, произнесенными так, что сам Гораций не понял бы своего стиха.

Гладстон между двумя управлениями финансов, имея полтора года времени, написал комментарии к Гомеру.

А *вечно юный* Палмерстон, скачущий верхом, являющийся на вечерах и обедах, везде любезный, везде болтливый и неистощимый, бросающий ученую пыль в глаза на экзаменах и раздачах премий— и пыль либерализма, национальной гордости и благородных симпатий в застольных речах, Палмерстон, заведующий своим министерством и отчасти всеми другими, исправляющий парламент!

Эта прочность сил и страстная привычка работы — тайна английского организма, воспитанья, климата. Англичанин учится

---

[1] пристав *(франц.).— Ред.*

[2] показания свидетелей *(франц.).— Ред.*

медленно, мало и поздно, с ранних лет пьет порт и шери, объедается и приобретает каменное здоровье; не делая школьной гимнастики — немецких Turner-Übungen[1], он скачет верхом через плетни и загородки, правит всякой лошадью, гребет во всякой лодке и умеет в кулачном бою поставить самый разноцветный фонарь. При этом жизнь введена в наезженную колею и правильно идет от *известного* рождения, *известными* аллеями к *известным* похоронам; страсти слабо ее волнуют. Англичанин теряет свое состояние с меньшим шумом, чем француз приобретает свое; он проще застреливается, чем француз переезжает в Женеву или Брюссель.

— Vous voyez, vous mangez votre veau froid chaudement,— говорил один старый англичанин, желавший объяснить французу разницу английского характера от французского,— et nous mangeons notre *beef* chaud froidement[2].— Оттого-то их и становится лет на восемьдесят...

...Прежде чем я возвращусь к процессу, мне остается объяснить, почему полицейский потчевал меня табаком. В первый день суда я сидел на лавочках стенографов; когда ввели Бернара на помост подсудимых, он провел взглядом по зале, донельзя набитой народом,— ни одного знакомого лица; он опустил глаза, взглянул около и, встретив мой взгляд, слегка кивнул мне головой, как бы спрашивая, желаю ли я признаться в знакомстве или нет, я встал и дружески поклонился ему. Это было в самом начале, то есть в одну из тех минут безусловной тишины, в которые каждый шорох слышен, каждое движение замечено. Сандерс, один из начальников detective police[3], пошептался с кем-то из своих и велел наблюдать за мной, то есть он очень просто указал на меня пальцем какому-то детективу, и с той минуты он постоянно был вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряжение. Уходил ли я на четверть часа, во время отдыха судей, в таверну выпить стакан элю и, приходя, не находил места, полицейский кивал мне головой и указывал, где сесть. Останавливал ли меня в дверях другой полицейский, тот давал ему знак, и полицейский пропускал. Наконец, я раз поставил шляпу на окно, забыл об ней и напором массы был совершенно оттерт от него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти; я приподнялся, чтоб взглянуть, нет ли какой щели, но полицейский меня успокоил:

— Вы, верно, шляпу ищете, я ее прибрал.

После этого не трудно понять, почему его товарищ потчевал меня шотландским, рыженьким кавендишем.

---

[1] гимнастических упражнений *(нем.).— Ред.*

[2] Видите ли, вы с жаром едите вашу холодную телятину... а мы хладнокровно съедаем наш горячий *бифштекс (франц.).— Ред.*

[3] сыскной полиции *(англ.).— Ред.*

Приятное знакомство с детективом послужило мне на пользу даже впоследствии. Раз, взявши каких-то книг у Трюбнера, я сел в омнибус и забыл их там, на дороге хватился, омнибус уехал. Отправился я в Сити на станцию омнибусов, идет мой детектив; поклонился мне.

— Очень рад, вот научите-ка, как скорее достать книги.

— А как называется омнибус?

— Так-то.

— В котором часу?

— Сейчас.

— Это пустяки, пойдемте,— и через четверть часа книги были у меня.

Фицрой Келли прочел свой обвинительный акт с примесью желчи, сухой, cassant;[1] Кембель прочел evidence, и присяжных увели.

Я подошел к лавке адвокатов и спросил знакомого solicitor'a, как он думает?

— Плохо,— сказал он,— я почти уверен, что приговор присяжных будет против него.

— Скверно. И неужели его?..

— Нет, не думаю,— перебил солиситор,— ну, а в депортацию попадет, все будет зависеть от судей.

В зале был страшный шум, хохот, разговор, кашлянье. Какой-то алдермен снял с себя свою золотую цепь и показывал ее дамам, толстая цепь ходила из рук в руки. «Неужели ее никто не украдет?» — думал я. Часа через два раздался колокольчик; взошел снова Кембель, взошел Поллок, дряхлый, худой старик, некогда адвокат королевы Шарлотты, и два другие собрата-судьи. Huissier возвестил им, что присяжные согласны.

— Введите присяжных! — сказал Кембель.

Водворилась мертвая тишина, я смотрел кругом, лица изменились, стали бледнее, серьезнее, глаза зажглись, дамы дрожали. В этой тишине, при этой толпе, обычный ритуал вопросов, присяги был необыкновенно торжественен. Скрестив руки на груди, спокойно стоял Бернар, несколько бледнее обыкновенного (во весь процесс он держал себя превосходно).

Тихим, но внятным голосом спросил Кембель:

— Согласны ли присяжные, избрали ли они из среды своей старшего — и кто он?

Они избрали какого-то небогатого портного из Сити.

Когда он присягнул и Кембель, вставши, сказал ему, что суд ждет решения присяжных, сердце замерло, дыхание сперлось.

---

[1] резкий *(франц.).— Ред.*

«...Перед богом и подсудимым на помосте... объявляем мы, что доктор Симон Бернар, обвиняемый в участии аттентата 12 января, сделанного против Наполеона, и в убийстве,— он усилил голос и громко прибавил: — not guilty!»

Несколько секунд молчанья, потом пробежал какой-то нестройный вздох, и вслед за тем безумный крик, треск рукоплесканий, гром радости... Дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мужчины с раскрасневшимся лицом, с слезами, струившимися на щеках, судорожно кричали: «Уре! Уре!» Прошли минуты две, судьи, недовольные неуважением, велели huissiers восстановить тишину, две-три жалкие фигуры с палками махали, шевелили губами, шум не переставал и не делался слабее. Кембель вышел, и товарищи его вышли. Никто не обращал на это внимания, шум и крик продолжались. Присяжные торжествовали.

Я подошел к эстраде, поздравил Бернара и хотел пожать ему руку, но, как он ни наклонялся и я ни вытягивался, руки его я не достал. Вдруг два адвоката, незнакомые, в мантиях и париках, говорят мне: «Постойте, погодите» и, не ожидая ответа, схватывают меня и подсаживают, чтоб я мог достать его руку.

Только что крик стал утихать, и вдруг какое-то море ударилось в стены и ворвалось с глухим плеском во все окна и двери здания, это был крик на лестнице, в сенях, он уходил, приближался и разливался все больше и больше и наконец слился в общий гул, это был голос народа.

Кембель взошел и объявил, что Бернар по этому делу от суда освобожден, и вышел с своими «братьями-судьями». Вышел и я. Это была одна из тех редких минут, когда человек смотрит на толпу с любовью, когда ему легко с людьми... Много грехов Англии будут отпущены ей и за этот вердикт, и за эту радость!

Я вышел вон, улица была запружена народом.

Из бокового переулка выехал угольщик, посмотрел на толпу народа и спросил:

— Кончилось?

— Да.

— Чем?

— Not guilty.

Угольщик положил вожжи, снял свою кожаную шапку с огромным козырьком сзади, бросил ее вверх и неистовым голосом принялся кричать: «Уре! Уре!», и толпа опять принялась кричать «Уре!».

В это время из дверей Old Bailey вышли под прикрытием полиции присяжные. Народ их встретил с *непокрытой головой* и с бесконечными криками одобрения. Дороги им не приходилось расчищать полицейским, толпа сама расступилась — присяжные пошли

в таверну на Флит-стрит, народ пошел их провожать, новые толпы по мере того, как они проходили, кричали им «ура» и бросали шляпы вверх.

Это было часу в шестом, в семь часов в Манчестере, Ньюкестле, Ливерпуле и проч. работники бегали по улицам с факелами, возвещая жителям — освобождение Бернара. Весть эту сообщили по телеграфу их знакомые; с четырех часов толпы стояли у телеграфических контор.

Вот как Англия отпраздновала новое торжество своей свободы!

После палмерстоновского поражения за Conspiracy Bill и неудачу дербитов в деле Бернара процессы, затеянные правительством против двух брошюр, становились невозможными. Если б Бернар был обвинен, повешен или послан лет на двадцать в депортацию и общественное мнение осталось бы равнодушным, тогда было бы легко принести на заклание, для полноты жертвы, двух-трех Исааков книгопечатания. Французские агенты уже точили зубы на другие брошюры и в том числе на «Письмо» Маццини.

Но Бернар был от суда освобожден, и это не все. Овация присяжным, восторженный шум в Old Bailey, радость во всей Англии не предсказывали успеха. Дело брошюр перенесли в Queen's Bench.

Это был последний опыт обвинить подсудимых. Присяжные Old Bailey казались ненадежными, жители Сити, строго держащиеся своих прав и несколько оппозиционные по традиции, не внушали доверия, присяжные Queen's Bench из Вест-Энда, большей частью богатые торговцы, строго придерживающиеся религии порядка и традиций наживы. Но и на это jury[1] трудно было считать после вердикта портного.

К тому же вся пресса в Лондоне и во всем королевстве, за исключением нескольких, заведомо подкупленных листов, восстала, без различия партий, против посягательства на свободу книгопечатания. Сбирались митинги, составлялись комитеты, делались складки для уплаты штрафов и проторей, если бы правительству удалось осудить издателей, писались адресы и петиции.

Дело становилось труднее и неленее со всяким днем. Франция в широких шароварах, couleur garance[2], в кепи несколько набок, с зловещим видом смотрела из-за Ламанша — чем кончится дело, предпринятое в защиту ее господина. Освобождение Бернара ее глубоко обидело, и она вынимала из ножен свой тесак, ругаясь, как капрал.

---

[1] суд присяжных *(англ.).— Ред.*
[2] красного цвета *(франц.).— Ред.*

Пуще сердце замирает,
Тяжелей тоска...

С серебряной бледностью смотрел капитал на правительство — зеркальное правительство отразило его испуг. Но до этого нет никакого дела Кембелю и судебной власти *не от мира сего*. Она знала одно, что процесс против свободы книгопечатания противен духу всей нации и строгий приговор лишит их всей популярности и вызовет грозный протест. Им оставалось приговорить к ничтожному наказанию, к фардингу королеве — к одному дню тюрьмы... А Франция-то, с кепи набекрень, приняла бы такое решение за личную обиду.

Еще хуже бы было, если б присяжные оправдали Трулова и Тхоржевского, тогда вся вина пала бы на правительство — почему оно не велело лондонскому префекту или лорду-мэру назначить присяжных из service de sûreté[1], по крайней мере, из *друзей порядка*... Ну, и вслед за тем:

Tambourgi! Tambourgi! they larum afar...[2]

Это безвыходное положение очень хорошо понимали министры королевы и ее атторней, может бы, и они что-нибудь сделали, если б в Англии вообще можно было делать то, что англичане называют *коуп дете*, а французы — coup d'Etat, а пример к тому же извертливого, двужильного, неуловимого молодого-старого Палмерстона был так свеж...

Что за комиссия, создатель,
Быть *взрослой нации царем!*

Пришел день суда.

Накануне наш Боткин отправился в Queen's Bench и вручил какому-то полицейскому пять шиллингов, чтоб он его завтра провел. Боткин смеялся и потирал руки, он был уверен, что мы останемся без места или что нас не пропустят в дверях. Он одного не взял в расчет, что именно дверей-то в залу Queen's Bench'а и нет, а есть большая арка. Я пришел за час до Кембеля, народу было немного, и я уселся превосходно. Смотрю, минут через двадцать является Боткин, глядит по сторонам, ищет, беспокоится.

— Что тебе надобно?

— Ищу, братец, моего полицейского.

— Зачем тебе его?

— Да он обещал место дать.

— Помилуй, тут сто мест к твоим услугам.

---

[1] тайной полиции *(франц.).— Ред.*

[2] Барабанщики! Барабанщики! тревогу бьют они вдали... *(англ.) — Ред.*

— Надул полицейский,— сказал Боткин, смеясь.

— Чем же он надул, ведь место есть.

Полицейский, разумеется, не показывался.

Между Тхоржевским и Труловым шел горячий разговор, в нем участвовали и их солиситоры, наконец Тхоржевский обратился ко мне и сказал, подавая письмо:

— Как вы думаете об этом письме?

Письмо было от Трулова к его адвокату: он жаловался в нем на то, что его арестовали, и говорил, что, печатая брошюру, он вовсе не думал о Наполеоне, что он и впредь не намерен издавать подобных книг; письмо было подписано. Трулов стоял возле.

Советовать Трулову мне было нечего, я отделался какой-то пустой фразой, но Тхоржевский сказал мне:

— Они хотят, чтоб и я подписал такое письмо, этого не будет, я лучше пойду в тюрьму, а такого письма не подпишу.

«Сайленс!»[1]— закричал huissier; явился лорд Кембель. Когда все формальности были окончены, присяжные приведены к присяге, Фицрой Келли встал и объявил Кембелю, что он имеет сообщение от правительства. «Правительство,— сказал он,— имея в виду письмо Трулова, в котором он объясняет то-то и то-то, и приняв в расчет то-то и то-то, с своей стороны, от преследования *отказывается*».

Кембель, обратившись к присяжным, сказал на это, что «виновность издателя брошюры о tyrannicide'е несомненна, что английский закон, давая всевозможную свободу печати, тем не менее имеет полные средства наказывать вызов на такое ужасное преступление, и проч. Но так как правительство, по таким-то соображениям, от преследования отказывается, то и он готов, если присяжные согласны, суд прекратить, впрочем, если они этого не хотят, он будет продолжать».

Присяжные хотели завтракать, идти по своим делам, и потому, не выходя вон, обернулись спиной и, переговоривши, отвечали, как и следовало ожидать, что они тоже согласны на прекращение суда.

Кембель возвестил Трулову, что он от суда и следствия свободен. Тут не было даже рукоплескания, а только хохот.

Наступил антракт. В это время Боткин вспомнил, что он еще не пил чаю, и пошел в ближнюю таверну. Черту эту я особенно отмечаю как совершенно русскую. Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец пьет тоже пиво, да еще пиво за все прочее; но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой полной зависимости от желудочных привычек,

[1] Тише! *(от англ. silence).— Ред.*

как русский. Это связывает их по рукам и ногам. Остаться без обеда... как можно... лучше днем опоздать, лучше того-то совсем не видать. Боткин заплатил за свой чай, сверх двух шиллингов, следующей превосходной сценой.

Когда черед дошел до Тхоржевского, Фицрой Келли встал и снова объявил, что он имеет сообщение от правительства. Я натянул уши. Какую же причину он выдумал? Тхоржевский письма не писал.

«Подсудимый,— начал Ф. Келли,— Stanislas Trouj... Torj... Toush...», и он остановился, добавив: «That is impossible! The foreign gentleman at the bar...[1], хотя и действительно виноват в издании и продаже брошюры Ф. Пиа, но правительство, взяв в расчет, что он иностранец и английских законов по этой части не знал, на первый случай отказывается от преследования».

И та же комедия. Кембель спросил присяжных. Присяжные в ту же минуту акитировали[2] Тхоржевского.

Французы и тут были недовольны. Им хотелось пышную mise en scène,— им хотелось громить тиранов и защитить la cause des peuples...[3] может, по дороге Трулова и Тхоржевского приговорили бы к штрафу, к тюрьме; но что значит тюрьма, десять лет тюрьмы... перед всенародным повторением великих начал, ставящих вне закона — тиранов и их сеидов... незыблемых начал 1789 года, на которых так твердо стоит свобода Франции... в ссылке!

Правительство, испуганное соседом, ударилось второй раз об гранитный утес английской свободы и смиренно отступило — какого же больше торжества свободной печати?

ГЛАВА VI

В начале будущего года думаем мы издать IV и V томы «Былого и думы». Найдут ли они тот прием, полный сочувствия, как отрывки из них, напечатанные в «Полярной звезде», и три первые части? Покамест мы решились, когда есть место, помещать в «Колоколе» отрывки из ненапечатанных глав и на первый случай берем рассказ *о польских выходцах в Лондоне*.

Глава эта (IV в V томе) начата в 1857 году и, помнится, дописана в 1858. Она бедна и недостаточна. Я сделал, перечитывая ее, несколько внешних поправок; переделывать существенное в запи-

---

[1] «Это невозможно! Господин иностранец, привлеченный к суду...» *(англ.)— Ред.*

[2] оправдали *(от франц. acquitter).— Ред.*

[3] дело народов *(франц.).— Ред.*

ских не идет — помеченные воспоминания так же принадлежат былому, как и события. Между ею и настоящим прошли 63 и 64 годы, совершились страшные несчастья, раскрылись страшные правды.

Не дружеский букет на гробе доброго старика в Париже, не плач на Гайгетской могиле нужны теперь — не человек хоронится, а целый народ толкают в могилу. Его судьбе прилична одна горесть — горесть пониманья, и, может, с нашей стороны один дар — дар молчания. Последние события в Польше вдохновят еще не одного поэта, не одного художника, они долго будут, как тень Гамлетова отца, звать на месть, не щадя самого Гамлета... Мы еще слишком близки к событиям. Рукам, по которым текла кровь раненых, не идет ни кисть, ни резец, они еще слишком дрожат.

Я назвал тогда главу эту «Польские выходцы», справедливее было бы назвать ее «Легендой о Ворцеле», но, с другой стороны, в его чертах, в его житии так поэтично воплощается польский эмигрант, что его можно принять за высший тип. Это была натура цельная, чистая, фанатическая, святая, полная той *полной* преданности, той несокрушимой страсти, той великой мономании, для которой нет больше жертв, счета службы, жизни вне своего дела. Ворцель принадлежал к великой семье мучеников и апостолов, пропагандистов и поборников своего дела, всегда являвшихся около всякого креста, около всякого освобождения...

Мне пришлось совершенно случайно перечитать мой рассказ о Ворцеле в Лугано. Там живет один из крепких старцев той удивительной семьи, о которой идет речь, и мы с ним вспомнили покойного Ворцеля. Ему за семьдесят, он сильно состарелся с тех пор, как я его не видал, но это тот же неутомимый работник итальянского дела, тот же фанатический друг Маццини, которого я знал десять лет тому назад. Вендетта за альпийскими скалами, сам — поседевшая скала итальянского освобождения, он дожил в борьбе не только до исполнения половины своих надежд, но и до новых черных дней, готовый опять, как прежде, на бой, на гибель и не уступивший никогда никому ни в чем ни одной йоты своего credo. Как Ворцель, он беден и, как Ворцель, не думает об этом. Большинство этих людей гибнет на полдороге, насильственной или своей смертью, но все, что́ делается, делается *ими*. Мы расчищаем дорогу, мы ставим вопросы, мы подпиливаем старые столбы, мы бросаем дрожжи в душу; они ведут массы на приступ, они падают или побеждают... Таков на первом плане Гарибальди, и не мыслитель, и не политик — а любовь, вера и надежда.

Судьба Ворцеля самая трагическая из всех. Ее пятое действие продолжалось и заключилось после его смерти; об нем нельзя

сказать того, что́ говорится о большей части падших на дороге к обетованной земле: «Зачем он не дожил!» Смерть его скосила вовремя, что́ было бы с ним, если бы он дожил до 1865 года?

Я рад, что память об Ворцеле так ярко воскресла в Лугано, мне дорог этот угол с своим теплым озером, обнесенным горами, с своим вечно электрическим воздухом... Там я жил после страшных ударов 1852 года... Там есть каменная женщина, опершаяся на обе руки, в безвыходном горе глядящая перед собой и вечно плачущая... это была *Италия*, когда резец Велы[1] создал ее — не *Польша ли* она теперь?

Тун, 17 августа 1865.

ПОЛЬСКИЕ ВЫХОДЦЫ

Алоизий Бернацкий.— Станислав Ворцель.— Агитация 1854—56 года.— Смерть Ворцеля

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!

«Inferno» [2]

Другие несчастия, другие страдальцы ждут нас. Мы живем на поле вчерашней битвы — кругом лазареты, раненые, пленные, умирающие. Польская эмиграция, старшая всем, истощилась больше других, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки вопреки Дантону взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету. Европа расступилась с уважением перед торжественным шествием отважных бойцов. Народы выходили к ним на поклон; цари сторонились и отворачивались, чтоб дать им пройти, не замечая их. Европа проснулась на минуту от их шагов, нашла слезы и участие, нашла деньги и силу их дать[3].

---

[1] Превосходная статуя Велы в саду Чиани, пусть русские, особенно женщины, сходят взглянуть на нее.

[2] Новые мучения и новые мученики! — «Ад» *(итал.).— Ред.*

[3] Д-р П. Дараш рассказывал мне случай, бывший с ним самим. Он студентом медицины участвовал в восстании 1831. После взятия Варшавы отряд, в котором он был, перешел границу и небольшими кучками стал пробираться во Францию. Везде по городам и деревням мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанников к себе, предлагая свои комнаты, часто — свои кровати. В одном небольшом городке хозяйка заметила, что у него изорван (помнится) кисет, и взяла его починить. На другой день на пути Дараш, ощупав в кисете что-то постороннее, нашел в нем тщательно зашитыми два золотых. Дараш, у которого не было ни гроша, бросился назад, чтоб отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знает, потом принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тут надобно вспомнить, что́ в маленьком немецком городке для небогатой женщины значат *два золотых*;

Печальный образ польского выходца — этого рыцаря народной независимости, остался в памяти народной. Двадцать лет на чужбине вера его не ослабла, и на всякой роковой перекличке в дни опасности и борьбы за волю поляки первые отвечали: «*Здесь!*» — как сказал Ворцель или старший Дараш Временному правительству в 1848 году.

Но правительство, в котором сидел Ламартин, в них не нуждалось и вовсе об них не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтоб ее употребить неоткровенным криком восстания и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазия (у которой Польша была капризом, как у английской — Италия) стала с тех пор дуться. В Париже не говорили больше с прежней риторикой о Varsovie échevelée[1], и только в народе оставалась, рядом с всякими бонапартовскими воспоминаниями, легенда о *Понятуски*, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовский тонет верхом в своей chapska.

С 1849 начинается для польской эмиграции самое удручительное время. Томно длится оно до Крымской войны и смерти Николая. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало. Отрезанная от страны, эмиграция осталась на другом берегу и, как дерево без новых соков, вяла, сохла, делалась чужой для родины, не переставая быть чужой для стран, в которых жила. Они до некоторой степени ей сочувствовали, но их несчастье продолжалось слишком долго, а в душе человека нет доброго чувства, которое бы не изнашивалось. К тому же вопрос польский прежде всего был вопрос национальный и только формально революционный, то есть по отношению к чужеземному игу.

Эмиграция смотрела столько же назад, сколько вперед, она стремилась восстановлять — как будто в прошедшем что-нибудь достойное восстановления, кроме независимости — а одна независимость ничего не говорит, это понятье отрицательное. Разве можно быть независимее России? В сложную, туго вырабатывающуюся формулу будущего общественного устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другим в справедливой надежде на взаимность. Борьба за независимость всегда вызывает горячее сочувствие, но она не может стать *своим* делом для чужих. Только те интересы принадлежат всем, которые по сущности своей *не национальны*, как, например,

---

они составляли, вероятно, плод откладывания в Sparbüchse ⟨копилку *(нем.)*.— *Ред.*⟩ разных крейцеров, пфеннигов, *хороших* и *дурных* грошей в продолжение нескольких лет... Прощай все мечты об шелковом платье, о цветной мантилии, о яркой шали. Перед такими подвигами я на коленях!

[1] истерзанной Варшаве *(франц.)*.— *Ред.*

интересы католицизма и протестантизма, революции и реакции, экономизма и социализма.

. . . . . .

...В 1847 году познакомился я с польской демократической Централизацией. Тогда она жила в Версале, и, сколько мне казалось, самый деятельный член ее был Высоцкий. Особенного сближения не могло быть. Эмигрантам хотелось слышать от меня подтверждение своим желаниям, своим предположениям, а не то, что я знал. Они желали иметь сведения о каком-то заговоре, подкапывающем все государственное здание в России, и спрашивали, участвует ли в нем Ермолов... А я им мог рассказывать о радикальном направлении тогдашней молодежи, о пропаганде Грановского, об огромном влиянии Белинского, о социальном оттенке в обеих партиях, бившихся тогда в литературе и в обществе, у западников и славянофилов.— Им казалось это неважным.

У них было богатое прошедшее, у нас — большая надежда, у них грудь была покрыта рубцами, у нас только крепли для них мышцы. Мы казались ополченцами перед ними, ветеранами. Поляки — мистики, мы — реалисты. Их влечет в таинственный полусвет, в котором стираются очертания, носятся образы, в котором можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могут жить в этом полусне, без анализа, без *холодного* исследования, без сосущего сомнения. В глубине их души, как человек в военном стане, есть чуждый нам отблеск средних веков и распятие, перед которым в минуты тяжести и устали они могут молиться. В поэзии Красинского «Stabat Mater» заглушает народные гимны и влечет нас не к торжеству жизни, а к торжеству смерти, к дню великого суда... Мы или *глупее* верим, или *умнее* сомневаемся.

Мистическое направление развернулось во всей силе после наполеоновской эпохи. Мицкевич, Товянский, даже математик Вронский — все способствовали мессианизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиков. Старики, получившие образование еще в XVIII веке, были свободны от теософических фантазий. Классический закал, который давал людям великий век, как дамаск, не стирался. Мне еще удалось видеть два-три типа старых панов-энциклопедистов.

В Париже, и притом в rue de la Chaussée d'Antin, жил с 1831 года граф Алоизий Бернацкий, нунций польской диеты, министр финансов во время революции, маршал дворянства какой-то губернии, представлявший свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал, в 1814 году.

Совершенно разоренный конфискацией, он поселился с 1831 года в Париже, и притом на той маленькой квартире в Шоссе d'Antin,

которую я упомянул; оттуда-то он выходил всякое утро в темно-коричневом сертуке на прогулку и чтение журналов и всякий вечер, в синем фраке с золотыми пуговицами, к кому-нибудь провести вечер; там, в 1847 году, я познакомился с ним. Дом состарелся, хозяйка хотела его перестроить. Бернацкий написал к ней письмо, которое до того тронуло француженку (что очень не легкая вещь, когда замешаны финансы!), что она пустилась с ним в переговоры и просила его только на время переехать. Отделав квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цену. С горестью увидел он новую красивую лестницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбе.

Во всем умеренный, безусловно чистый и благородный, старик был поклонник Вашингтона и приятель О'Коннеля. Настоящий энциклопедист, он проповедовал эгоизм bien entendu[1] и провел всю жизнь в самоотвержении и пожертвовал всем, от семьи и богатства до родины и общественного положения, никогда не показывая особенного сожаления и никогда не падая до ропота.

Французская полиция оставляла его в покое и даже уважала его, зная, что он был министр и *нунций*; префектура пресерьезно думала, что нунций польской диеты был что-то вроде папского нунция. В эмиграции это знали, и потому товарищи и соотечественники беспрестанно посылали его об них хлопотать. Бернацкий шел беспрекословно и до тех пор говорил правильные комплименты и надоедал, что префектура часто делала уступки, чтоб отвязаться от него. После совершенного покорения февральской революции тон переменился, ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни седой головой ничего нельзя было взять, а тут, как назло, приехала в Париж жена польского генерала, участвовавшего в венгерской войне, в большой крайности. Бернацкий просил помощи для нее у префектуры, префектура, несмотря на громкий адрес «à son excellence monsieur le Nonce»[2], отказала наотрез. Старик отправился сам к Карлье, Карлье, чтоб отвязаться от него и с тем вместе унизить, заметил ему, что пособия только дают выходцам 1831 года. «Вот,— прибавил он,— если вы принимаете такое участие в этой даме, подайте просьбу, чтоб вам по бедности назначили пособие, мы вам положим франков двадцать в месяц, а вы их отдавайте кому хотите!»

Карлье был пойман. Бернацкий самым простодушным образом принял предложение префекта и тотчас согласился, рассыпаясь в благодарности. С тех пор всякий месяц старик являлся в префектуру, ждал в передней час-другой, получал двадцать франков и относил их к вдове.

---

[1] разумный *(франц.).— Ред.*

[2] «его превосходительству господину нунцию» *(франц.).— Ред.*

Бернацкому было далеко за семьдесят лет, но он удивительно сохранился, любил обедать с друзьями, посидеть вечером часов до двух, иногда выпить бокал-другой вина. Раз как-то, поздно, часа в три, возвращались мы с ним домой; дорога наша шла по улице Лепелетье. Опера горела в огне; пьерро и дебардеры, едва прикрытые шалями, драгуны и полицейские толпились в сенях. Шутя и уверенный, что он откажется, я сказал Бернацкому:

— Quelle chance[1], не зайти ли?

— С величайшим удовольствием,— отвечал он,— я лет пятнадцать не видал маскарада.

— Бернацкий,— сказал я ему, шутя и входя в сени,— когда же вы начнете стареть?

— Un homme comme il faut,— отвечал он, смеясь,— acquiert des années, mais ne vieillit jamais![2]

Он выдержал характер до конца и как благовоспитанный человек расстался с жизнью тихо и в хороших отношениях: утром ему нездоровилось, к вечеру он умер.

Во время смерти Бернацкого я был уже в Лондоне. Там вскоре после моего приезда сблизился я с человеком, которого память мне дорога и которого гроб я помог снести на Гайгетское кладбище — я говорю о Ворцеле. Из всех поляков, с которыми я сблизился тогда, он был наиболее симпатичный и, может, наименее исключительный в своей нелюбви к нам. Он не то чтоб любил русских, но он понимал вещи гуманно и потому далек был от гуловых проклятий и ограниченной ненависти. С ним с первым говорил я об устройстве русской типографии. Выслушав меня, больной встрепенулся, схватил бумагу и карандаш, начал делать расчеты, вычислять, сколько нужно букв и проч. Он сделал главные заказы, он познакомил меня с Чернецким, с которым мы столько работали потом.

— Боже мой, боже мой,— говорил он, держа в руке первый корректурный лист,— Вольная русская типография в Лондоне... Сколько дурных воспоминаний стирает с моей души этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей![3]

— Нам надобно идти вместе,— повторял он часто потом,— нам одна дорога и одно дело...— и он клал исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщине 29 ноября 1853 года я сказал речь в Ганновер-Руме, Ворцель председательствовал; когда я кончил,

---

[1] Какая удача *(франц.).— Ред.*

[2] Благовоспитанный человек становится старше, но никогда не стареет! *(франц.) — Ред.*

[3] «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне» — сборник Л. Чернецкого, стр. VIII.

Ворцель, при громе рукоплесканий, обнял меня и со слезами на глазах поцеловал.

— Ворцель и вы,— заметил мне, выходя, один итальянец (граф Нани),— вы меня поразили давеча на платформе, мне казалось, что этот увядающий благородный, покрытый сединами старец, обнимающий вашу здоровую, плотную фигуру,— представляли типически Польшу и Россию.

— Добавьте только,— прибавил я ему,— Ворцель, подавая мне руку и заключая в свои объятия, *именем Польши прощал Россию.*

Действительно, мы могли идти вместе — это не удалось.

Ворцель был *не один*... Но прежде об нем одном.

Когда родился Ворцель, его отец, один из богатых польских аристократов в Литве, родственник Эстергази, Потоцким и не знаю кому, выписал из пяти поместий старост и с ними молодых женщин, чтоб они присутствовали при крещении графа Станислава и помнили бы до конца жизни об панском угощенье по поводу такой радости. Это было в 1800 году. Граф дал своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитание. Ворцель был математик, лингвист, знакомый с пятью-шестью литературами, с ранних лет приобрел он огромную эрудицию и притом был светским человеком и принадлежал к высшему польскому обществу в одну из самых блестящих эпох его заката, между 1815—1830 годами; Ворцель рано женился и только что начал «практическую» жизнь, как вспыхнуло восстание 1831 года. Ворцель бросил все и пристал душой и телом к движению. Восстание было подавлено, Варшава взята. Граф Станислав перешел, как и другие, границу, оставляя за собой семью и состояние.

Жена его не только не поехала за ним, но прервала с ним все сношения и за то получила обратно какую-то часть имения. У них было двое детей, сын и дочь; как она их воспитала, мы увидим, на первый случай она их выучила забыть отца.

Ворцель между тем пробрался через Австрию в Париж и тут сразу очутился в вечной ссылке и без малейших средств. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Он, как Бернацкий, свел свою жизнь на какой-то монашеский пост и ревностно начал свое апостольство, которое прекратилось через двадцать пять лет с его последним дыханием, в сыром углу нижнего этажа убогой квартиры, в темной Hunter street.

Реорганизовать польскую партию движения, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграционные силы, приготовить новое восстание и для этого проповедовать с утра до ночи, для этого жить — такова была тема всей жизни Ворцеля, от которой он не отступал ни на шаг и которой подчинил все. С этой целью он сблизился со

всеми людьми движения во Франции, от Годфруа Каваньяка до Ледрю-Роллена, с этой целью был масоном, был в близких сношениях с сторонниками Маццини и с самим Маццини впоследствии. Ворцель твердо и открыто поставил революционное знамя Польши против партии Чарторижских. Он был уверен, что аристократия погубила восстание, он в старых панах видел врагов своему делу и собирал новую Польшу, чисто демократическую.

Ворцель был прав.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему делу, шла во многом вразрез с стремлениями нашего времени; перед ее глазами постоянно носился образ прежней Польши, не новой, а восстановленной, ее идеал был столько же в воспоминании, сколько в упованиях. Польше достаточно было и одного католического ядра на ногах, чтоб отставать,— рыцарские доспехи совсем остановили бы ее. Соединяясь с Маццини, Ворцель хотел привенчать польское дело к общеевропейскому, республиканскому и демократическому движению. Ясно, что он должен был искать почвы в незнатной шляхте, в городских жителях и в работниках. Начаться восстание могло только в этой среде. Аристократия пристала бы к движению, крестьян можно было бы увлечь, инициативы они никогда бы сами не взяли.

Можно обвинять Ворцеля за то, что он вступил в ту же колею, в которой уже вязла и грузла западная революция, что он в этом пути видел единственный путь спасения; но, однажды приняв его, он был последователен. Обстоятельства его вполне оправдали. Где же в Польше была действительно революционная среда, как не в том слое, к которому постоянно обращался Ворцель и который сложился, вырос и окреп между 1831 годом и шестидесятыми годами.

Как бы мы розно ни смотрели на революцию и ее средства, но нельзя отвергнуть, что все приобретенное революцией — приобретено средним слоем общества и городскими работниками. Что сделал бы Маццини, что Гарибальди без *городского* патриотизма, а ведь польский вопрос был вопрос чисто патриотический, у самого Ворцеля интерес национальной независимости все же был ближе к сердцу, чем социальный переворот.

Года за полтора до февральской революции по дремавшей Европе пробежала какая-то дрожь пробуждения — Краковское дело, процесс Мерославского, потом война Зондербунда и итальянское risorgimento[1]. Австрия отвечала восстанию имперской пугачевщиной, Николай подарил ей не принадлежавший ему Краков, но тишина не возвратилась. Людвиг-Филипп пал в феврале 1848 года, поляк возил его трон на сожжение. Ворцель во главе польской

[1] возрождение *(итал.).— Ред.*

демократии явился напомнить Временному правительству о Польше. Ламартин принял его холодной риторикой. Республика была больше мир, чем империя.

Был миг, в который можно было надеяться, этот миг пропустила Польша, пропустила вся Западная Европа, и Паскевич донес Николаю, что *Венгрия у его ног.*

С падением Венгрии ждать было нечего, и Ворцель, вынужденный оставить Париж, переселился в Лондон.

В Лондоне я его застал в конце 1852 членом Европейского комитета[1]. Он стучался во все двери, писал письма, статьи в журналах, он работал и надеялся, убеждал и просил — а так как при всем остальном надо было есть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черчения и даже французского языка; кашляя и задыхаясь от астма, ходил он с конца Лондона на другой, чтоб заработать два шиллинга, много — полкроны. И тут он еще долю выработанного отдавал своим товарищам.

Дух его не унывал, но тело отстало. Лондонский воздух — сырой, копченый, не согретый солнцем — был не по слабой груди. Ворцель таял, но держался. Так он дожил до Крымской войны, ее он не мог, я готов сказать, не должен был пережить. «Если Польша *теперь* ничего не сделает, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мне лучше закрыть глаза»,— говорил Ворцель мне, отправляясь по Англии с Кошутом. Во всех главных городах собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встречали громом рукоплесканий, делали небольшие денежные сборы, *и только.* Парламент и правительство очень хорошо знают, когда народная волна просто шумит и когда она в самом деле напирает. Твердо стоявшее министерство, предложившее Conspiracy Bill, пало *в ожидании* народного схода в Гайд-парке. В митингах, собираемых Кошутом и Ворцелем для того, чтоб вызвать со стороны парламента и правительства признание польских прав, заявление симпатии к польскому делу, ничего не было определенного, не было силы. Страшный ответ консерваторов был неотразим: «В Польше все покойно». Правительству приходилось не признать совершившийся факт, а вызвать его, взять революционную инициативу, разбудить Польшу. Так далеко в Англии общественное мнение не идет. К тому же in petto[2] все желали окончания войны, только что начавшейся, дорогой и, в сущности, бесполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался в Лондон. Он был слишком умен, чтоб не понять неудачу, он старелся наглазно, был угрюм и раздражителен и с той лихорадочной деятельно-

---

[1] Маццини, Кошут, Ледрю-Роллен, Арнольд Руге, Братиано и Ворцель.
[2] в душе *(итал.).— Ред.*

стью, с которой умирающие принимаются тревожно за всякое лечение, с зловещей боязнию в груди и с упорной надеждой, ездил он опять, в Бирмингам или Ливерпуль, с трибуны поднимать свой плач о Польше. Я смотрел на него с глубокой горестью. Но как же он мог думать, что Англия поднимет Польшу, что Франция Наполеона вызовет революцию? Как он мог надеяться на ту Европу, которая допустила Россию в Венгрию, французов в Рим, разве самое присутствие Маццини и Кошута в Лондоне не громко ему напоминало о ее падении?

...Около того времени давно накипавшее неудовольствие против Централизации в молодой части эмиграции подняло голос. Ворцель обомлел — этого удара он не ждал, а он пришел совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавших Ворцеля, далеко не имела одного уровня с ним. Ворцель понимал это, но, привыкнув к своему хору, был под его влиянием. Он воображал, что он ведет, в то время как хор, стоя сзади, направлял его, куда хотел. Только Ворцель подымался на ту высь, в которой ему было свободно дышать, в которой ему было естественно,— хор, исполняя должность мещанской родни, стягивал его в низменную сферу эмиграционных дрязг и мелочных расчетов. Преждевременный старик задыхался в этой среде от духовного астма столько же, как и от физического.

Люди эти не поняли серьезного смысла того союза, который я предлагал. Они в нем видели средство придать новый колорит делу: вечная таутология общих мест, патриотические фразы, казенные воспоминания — все это прислось, наскучило. Соединение с русским давало новый интерес. К тому же они думали поправить свои дела, очень расстроенные, на счет русской пропаганды.

С самого начала между мной и членами Централизации не было настоящего пониманья. Недоверчивые ко всему русскому, они хотели, чтоб я написал и напечатал нечто вроде profession de foi [1]. Я написал «Поляки прощают нас», они просили изменить кой-какие выражения — я это сделал, хотя далеко не был согласен с ними. В ответ на мою статью Л. Зенкович написал воззвание к русским и прислал мне его в рукописи. Ни тени новой мысли, те же фразы, те же воспоминания и притом католические выходки. Прежде чем переводить на русский язык — я показал Ворцелю нелепости редакции. Ворцель был согласен и пригласил меня вечером объяснить дело членам Централизации.

Тут произошла вечная сцена Трисотина и Вадиуса — именно те места, на которые я указывал, они-то и были *необходимы* для

[1] исповедания веры *(франц.).— Ред.*

того, чтоб Польша не сгинела. Насчет католических фраз — они сказали, что каковы бы ни были их личные верования, но что они хотят быть с народом, а народ горячо любит свою гонимую мать — латинскую церковь...

Ворцель поддерживал меня. Но как только он начинал говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлял от табачного дыма и ничего не мог сделать. Он обещал мне переговорить с ними потом и настоять на главных поправках. Через неделю вышел «Демократ польский» — в воззвании не было переменено *ни одной йоты* — я отказался от перевода. Ворцель говорил мне, что и он был удивлен этой проделкой. «Этого мало, что вы удивились,— зачем вы не остановили?» — заметил я ему.

Для меня было очевидно, что рано или поздно вопрос станет для Ворцеля так — разорваться с тогдашними членами Централизации и остаться в близком отношении со мной или разорваться со мной и остаться по-прежнему с своими революционными недорослями. Ворцель выбрал последнее — я был огорчен этим, но никогда не сетовал на него и не сердился.

Здесь я должен буду взойти в печальные подробности. Когда я завел типографию, у нас было решено так — все расходы книгопечатания (бумага, набор, наем места, работа и etc.) падали на мой счет. Централизация брала на свой счет пересылку русских листов и брошюр теми путями, которыми они пересылали польские брошюры. Все, что они брали для пересылки,— я им давал безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша — но вышло, что и она была мала.

Для своих дел и преимущественно для собрания денег Централизация решилась послать в Польшу эмиссара. Хотели даже, чтоб он пробрался в Киев, а если можно — в Москву — для русской пропаганды — и просили от меня писем. Я отказался — боясь наделать бед. Дни за три до его отправления, вечером встретил я на улице Зенковича, который тотчас меня спросил:

— Вы сколько даете на посылку эмиссара — с своей стороны?

Вопрос показался мне странным, но, зная их стесненное положение, я сказал, что, пожалуй, дам фунтов десять (250 фр.).

— Да что вы, шутите, что ли? — спросил, морщась, Зенкович.— Ему надобно по меньшей мере шестьдесят фунтов, а у нас *ливров сорок* недостает. Этого так оставить нельзя, я поговорю с нашими и приду к вам.

Действительно, на другой день он пришел с Ворцелем и двумя членами Централизации. На этот раз Зенкович меня просто обвинил в том, что я не хочу дать достаточно денег на посылку эмиссара — а согласен ему дать русские печатные листы.

— Помилуйте,— отвечал я,— вы решились послать эмиссара,

вы находите это необходимым,— трата падает на вас. Ворцель налицо, пусть он вам напомнит условия.

— Что тут толковать *о вздоре!* Разве вы не знали, что у нас теперь гроша нет?

Тон этот мне наконец надоел.

— Вы,— сказал я,— кажется, не читали «Мертвых душ», а то бы я вам напомнил Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего именья, заметил, что и с той и с другой стороны земля его. Это очень сбивает на наш дележ — мы делили работу нашу и тягу пополам, на том условии, чтоб обе половины лежали на моих плечах.

Маленький, желчевой литвин начал выходить из себя, кричать о гоноре и заключил нелепую и невежливую речь вопросом:

— Чего же вы хотите?

— Того, чтоб вы меня не принимали ни за bailleur de fonds[1], ни за демократического банкира, как меня назвал один немец в своей брошюре. Вы слишком оценили мои средства и, кажется, слишком мало меня... вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте...— горячился бледный от ярости литвин.

— Я не могу дозволить продолжение этого разговора,— сказал наконец Ворцель, мрачно сидевший в углу и вставая.— Или продолжайте его без меня. Cher Herzen[2], вы правы, но подумайте об нашем положении — эмиссара послать необходимо, а средств нет.

Я остановил его.

— В таком случае можно было меня спросить, могу ли я что-нибудь сделать, но нельзя было требовать — а требовать в этой грубой форме просто гадко.— Деньги я дам, делаю это единственно для вас и — и даю вам честное слово, господа, в последний раз.

Я вручил Ворцелю деньги — и все мрачно разошлись.

Как вообще делались финансовые операции в нашем мире — я покажу еще на одном примере.

После моего приезда в Лондон в 1852, говоря о плохом состоянии итальянской кассы с Маццини, я сообщил ему, что в Генуе я предлагал его друзьям завести свою income-tax[3] и платить бессемейным процентов десять, семейным меньше.

— Примут все,— заметил Маццини,— а заплотят весьма немногие.

— Стыдно будет, заплотят. Я давно хотел внести свою лепту в итальянское дело, мне оно близко, как родное,— я дам десять про-

---

[1] негласного пайщика *(франц.).— Ред.*
[2] Дорогой Герцен *(франц.).— Ред.*
[3] подоходный налог *(англ.).— Ред.*

центов с дохода — единовременно. Это составит около двухсот фунтов.— Вот сто сорок фунтов, а шестьдесят останутся за мной.

В начале 1853 Маццини исчез. Вскоре после его отъезда явились ко мне два породистых рефюжье — один в шинели с меховым воротником, потому что он десять лет тому назад был в Петербурге, другой без воротника — но с седыми усами и военной бородкой. Они пришли с поручением от Ледрю-Роллена — он хотел знать, не намерен ли я прислать какую-нибудь сумму денег в Европейский комитет. Я признался, что *не имею*.

Несколько дней спустя тот же вопрос был мне сделан Ворцелем.

— С чего это взял Ледрю-Роллен?

— Да ведь дали же вы Маццини.

— Это скорее резон не давать никому другому.

— Кажется, за вами осталось шестьдесят фунтов?

— Обещанные Маццини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

...Прошла неделя — я получил письмо от Маццолени, в котором он уведомлял меня, что до его сведения дошло, что *я не знаю*, кому доставить шестьдесят фунтов, оставшиеся за мной, в силу чего он просит переслать их ему, как *представителю Маццини* в Лондоне.

Маццолени этот действительно был секретарем Маццини. Чиновник, бюрократ по натуре — он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о восстании в Милане 3 февраля 1853 была напечатана в журналах, я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вестей. Маццолени просил меня подождать — потом вышел озабоченный, доблестный, с какими-то бумагами и с Братиано, с которым был в важном разговоре.

— Я к вам приехал узнать, нет ли каких вестей.

— Нет, я сам узнал из «Таймса» — жду с часу на час депешу.

Подошли еще человека два. Маццолени был доволен и потому морщился и жаловался на недосуг. Разговорившись, он начал полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете? — спросил я его.

— Это... это, разумеется, мои соображения,— заметил, несколько смешавшись, Маццолени.

— Завтра утром я к вам приеду...

— А если сегодня будет что-нибудь, я извещу вас.

— Вы меня одолжите — от семи до девяти я буду у Вери.

Маццолени не забыл — часу в восьмом я обедал у Вери. Взошел итальянец, которого я раза два видал — он подошел ко мне,

осмотрелся, выждал, когда гарсон пошел за чем-то, и, сказав мне, что Маццолени поручил ему передать, что никакой телеграммы не было,— ушел.

...Получив письмо — от этого статс-секретаря по революции,— я ему отвечал шутя, что он напрасно меня представляет в каком-то беспомощном состоянии, стоящего середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесят ливров,— что я без письма Маццини вовсе не намерен их кому б то ни было отдавать.

Маццолени написал мне длинную и несколько гневную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть колкой для получающего — не выходя, впрочем, из пределов парламентской вежливости.

Не прошло недели после этих искушений — как утром приехала ко мне Эмилия Гокс, одна из преданнейших женщин Маццини и близкий его друг. Она мне сообщила о том, что восстание в Ломбардии не удалось и что Маццини еще скрывается там и просит немедленно выслать денег, а денег нет.

— Вот вам,— сказал я ей,— знаменитые шестьдесят фунтов,— не забудьте только сказать тайному советнику Маццолени — да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не так-то дурно сделал, не бросив в омут Европейского комитета эти полторы тысячи франков.

Предупреждая наш русский, национальный вывод из моего рассказа — я должен сказать, что деньгами, так собираемыми, никогда никто не пользовался;[1] у нас их кто-нибудь украл бы,— здесь они исчезали в том роде, если б кто-нибудь, не записывая нумеров, жег бы на свече ассигнации.

Эмиссар поехал и приехал назад, ничего не сделавши. Война приближалась... началась. Эмиграция была недовольна — моло-

[1] Итальянская эмиграция выше всякого подозрения. В французской был один забавный случай. Бароне, о котором была речь в рассказе о дуэли Бартелеми, собрал по поручению Ледрю-Роллена какие-то деньги и прожил их. После этого желание возвратиться в Лондон сильно уменьшилось — и он стал просить разрешения остаться в Марсели. Бильо отвечал, что Бароне как политический человек так безопасен, что мог бы остаться, но что бесчестный поступок его с своей собственной партией показывает, что он ненадежный человек — в силу чего он ему отказывает.

Своего рода пальма и тут принадлежит немцам. Они сколотили сборами в Америке и Манчестере, помнится, тысяч двадцать франков. Деньги эти, назначенные для агитации, пропаганды, поддержания процессов и пр., они положили в один из лондонских банков — и избрали распорядителями Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха — трех непримиримых врагов. Те тотчас догадались, какой богатый источник неприятностей друг другу им дан в руки — а потому и поспешили написать в условиях взноса, чтоб банк не выдавал никакой суммы без всех трех подписей. Стоило одному или двум даже подписаться — третий не соглашался. Что ни делало немецкое эмиграционное общество — одной подписи недоставало. Так и лежит сумма нетронутая и поднесь в банке,— вероятно, приданым будущей тевтонской республики.

дые эмигранты винили товарищей Ворцеля в неспособности, лени, в желании устроить свои делишки — вместо польских дел,— в апатии. Неудовольствие их дошло до явного ропота, они поговаривали об отчете, который хотели требовать от членов Централизации, об открытом заявлении недоверия. Их останавливало и удерживало одно — уважение и любовь к Ворцелю. Сколько мог, я, через Чернецкого, поддерживал это — но ошибка за ошибкой Централизации должны были наконец вывести из терпения хоть кого.

В ноябре 1854 был снова польский митинг — но уже совсем в другом духе, чем в прошлом году. Председателем был избран член парламента Жозуа Вомслей: поляки ставили свое дело под английский патронаж. В предупреждение слишком красных речей Ворцель написал кой к кому записки вроде полученной мною: «Вы знаете, что 29 у нас митинг; не можем пригласить вас и в этот год, как в прошлый, сказать нам несколько сочувствующих слов: война и необходимость сближения с англичанами заставляет нас дать митингу иной цвет. Не Герцен, не Ледрю-Роллен и Пьянчани будут говорить — а большей частью англичане, из наших же один Кошут возьмет речь, чтоб изложить положение дел и проч.». Я отвечал, что «приглашение *не говорить* на митинге я получил — и с тем большей охотой его принимаю, что оно очень легко».

Сближение с англичанами не состоялось, уступки были сделаны напрасно — даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказал, что он готов дать денег, но не хочет подписать своего имени, не желая как член парламента официально участвовать в сборе, цель которого не признана правительством.

Все это и, между прочим, мое отдаление от митинга довело раздражение молодых людей до крайней степени, у них уже ходил по рукам обвинительный акт. Как нарочно, в то же время я должен был перевести русскую типографию в другое место. Зенкович, нанимавший на свое имя дом, в котором помещалась она вместе с польской типографией, был кругом в долгах, два раза уже являлись брокеры[1],— всякий день можно было ждать, что типографию захватят вместе с другой мебелью. Я поручил Чернецкому ее перевести — Зенкович упирался, не хотел выдать букв и принадлежностей — я написал ему холодную записку.

В ответ на нее на другой день приехал больной и расстроенный Ворцель — ко мне в Твикнем.

— Вы нам наносите le coup de grâce;[2] в то самое время, как у нас идет такая усобица, вы переводите типографию.

---

[1] судебные исполнители *(от англ. broker).— Ред.*

[2] смертельный удар *(франц.).— Ред.*

— Уверяю вас, что тут никаких нет политических причин, ни ссор, ни демонстраций, а очень просто: я боюсь, что опишут все у Зенковича. Отвечаете ли вы мне, что этого не будет? Я на *ваше* честное слово положусь и типографию оставлю.

— Дела его очень запутаны — это правда.

— Как же вы хотите, чтоб я рисковал моим единственным орудием. Если даже я потом и выкуплю — чего будет стоить одна потеря времени? Вы знаете, как это здесь делается...

Ворцель молчал.

— Вот что я могу сделать для вас: я напишу письмо, в котором скажу, что хозяйственные распоряжения заставляют меня перевести типографию — но что это не только не значит, что мы расходимся — но, напротив, что у нас вместо одной будет две типографии. Письмо это вы можете напечатать, если желаете, или показать кому угодно.

Действительно, я в этом смысле и написал письмо на имя Жабицкого, забитого члена Централизации, заведовавшего ее материальной частью.

Ворцель остался обедать. После обеда я уговорил его переночевать в Твикнеме, вечером мы сидели с ним вдвоем перед камином. Он был очень печален, ясно понимая, каких ошибок он наделал, как все уступки не повели ни к чему, кроме к внутреннему распадению, наконец, как агитация, которую он делал с Кошутом, пропадала бесследно; а фондом[1] всей черной картины — убийственный покой Польши.

. . . . . .

П. Тейлор велел хозяйке дома всякую неделю посылать к нему счет — за квартиру, стол и прачку — этот счет он платил, но «на руки» ему не давал ни одного фунта.

Осенью 1856 Ворцелю советовали ехать в Ниццу и сначала пожить на теплых закраинах Женевского озера. Услышав это — я ему предложил деньги, нужные на путь. Он принял, и это нас снова сблизило — мы опять стали чаще видаться. Но собирался он в путь тихо — лондонская зима, сырая, с продымленным, давящим туманом, вечной сыростью и страшными северо-восточными ветрами,— начиналась. Я торопил его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страх от перемены, от движения, он боялся одиночества, я ему предлагал взять с собою кого-нибудь до Женевы — там я его передал бы Карлу Фогту... Он все принимал, со всем соглашался, но ничего не делал. Жил он *ниже* rez-de-chaussée[2], у него в ком-

[1] фоном *(от франц. fond).— Ред.*

[2] первого этажа *(франц.).— Ред.*

нате почти никогда не было светло, там-то, в астме, без воздуха, дыша каменным углем, он потухал.

Ехать он решительно опоздал, я ему предложил нанять для него хорошую комнату в Brompton consumption hospital[1].

— Да это было бы хорошо... но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну так что же?

— Жабицкий живет здесь, и все дела наши здесь, а он *должен каждое утро приходить ко мне с дневным отчетом!..*

Тут самоотвержение граничило с сумасшествием.

. . . . . .

— Вы, верно, слышали,— спросил меня Ворцель,— что против нас готовится обвинительный акт?

— Слышал.

— Вот что я заслужил под старость... вот до чего дожил...— и он грустно качал седой головой своей.

— Вряд правы ли вы, Ворцель. Вас так привыкли любить и уважать, что если этому делу не давали хода, то это только из боязни вас огорчить. Вы знаете, зуб не на вас, пусть ваши товарищи идут своей дорогой.

— Никогда, никогда! Мы всё делали вместе, на нас лежит общая ответственность.

— Вы их не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назад по поводу того, что Россель предал своих товарищей?

Это было вечером. Я стоял поодаль от камина, Ворцель сидел у самого огня, обернувшись лицом к камину, его болезненное лицо, на котором дрожал красный отсвет, показалось мне еще больше истомленным и страдальческим — слеза, старая слеза скатывалась по исхудалой щеке его... Прошли несколько минут невыносимо тяжелого молчания... Он встал, я проводил его в его спальню, большие деревья шумели в саду, Ворцель отворил окно и сказал:

— Я здесь с моей несчастной грудью прожил бы вдвое.

Я схватил его за обе руки.

— Ворцель,— говорил я ему,— останьтесь у меня; я вам дам еще комнату, вам никто мешать не будет, делайте что хотите, завтракайте одни, обедайте одни, если хотите; вы отдохнете месяца два... вас не будут беспрерывно тормошить, вы освежитесь, я вас прошу как друга, как ваш меньшой брат!

— Благодарю, благодарю вас от всего сердца; я сейчас бы принял ваше предложение, но при теперешних обстоятельствах

[1] Бромптонском туберкулезном санатории *(англ.)*.— *Ред.*

это просто невозможно... С одной стороны, война, с другой — наши это примут за то, что я их оставил. Нет, каждый должен нести крест свой до конца.

— Ну так усните, по крайней мере, спокойно,— сказал я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

...Война оканчивалась, умер Николай, началась новая Россия, дожили мы до Парижского мира и до того, что «Полярная звезда» и все напечатанное нами в Лондоне покупалось *на корню*. Мы стали издавать «Колокол», и он пошел... Мы с Ворцелем видались редко, он радовался нашим успехам, с той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, с которой мать, потерявшая сына, следит за развитием чужого отрока... Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелем в его oggi o mai[1], наступало, и он гаснул...

За три дня до его кончины Чернецкий прислал за мною. Ворцель меня спрашивал — он был очень плох, ждали его кончины. Когда я приехал к нему, он был в забытьи, близком к обмороку, бледный, восковой лежал он на диване... щеки его совершенно ввалились, такие припадки с ним повторялись в последние дни, он привыкал быть мертвым. Через четверть часа Ворцель стал приходить в себя, слабо говорить, потом узнал меня, привстал и лег полусидя на диване.

— Читали вы газеты? — спросил он меня.

— Читал.

— Расскажите, как идет невшательский вопрос, я не могу ничего читать.

Я ему рассказал, он все слышал и все понял.

— Ах, как спать хочется, оставьте меня теперь, я не усну при вас, а мне от сна будет легче.

На другой день ему было получше. Ему хотелось мне что-то сказать... Он раза два начинал и останавливался... и, только оставшись со мной наедине, умирающий подозвал меня к себе и, слабо взяв меня за руку, сказал:

— Как вы были правы... Вы не знаете, как вы были правы... У меня лежало это на душе вам сказать.

— Не будем больше говорить об них.

— Идите вашей дорогой...— он поднял на меня свой умирающий, но светлый, лучезарный взгляд. Больше он говорить не мог. Я поцеловал его в губы — и хорошо сделал, мы простились надолго. Вечером он встал, вышел в другую комнату, хлебнул теплой воды с джином у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религиозно уважавшей в Ворцеле какое-то высшее явление, взошел опять к себе и уснул. На другой день, утром, Жабицкий и хозяйка

[1] теперь или никогда *(итал.).— Ред.*

спросили, не надобно ли ему чего больше. Он просил сделать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сделали. Ворцель не просыпался.

Я уже не застал его. Худое-худое лицо его и тело было покрыто белой простыней, я посмотрел на него, простился и пошел за работником скульптора, чтоб снять маску.

Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказал в другом месте[1]. Прибавлю к ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорил о своей семье. Раз как-то он искал для меня какое-то письмо: порывшись на столе, он открыл ящик. Там лежала фотография какого-то сытого молодого человека с офицерскими усами.

— Наверное, поляк и патриот? — сказал я, больше шутя, чем спрашивая.

— Это,— сказал Ворцель, глядя в сторону и поспешно взяв у меня из рук портрет,— это... мой сын.

Я узнал впоследствии, что он был русским чиновником в Варшаве.

Дочь его вышла замуж за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины он диктовал Маццини свое завещание — совет Польше, поклон ей, привет друзьям...

— Теперь все,— сказал умирающий. Маццини не покидал пера.

— Подумайте,— говорил он,— не хотите ли вы в эту минуту...

Ворцель молчал.

— Нет ли еще лиц, которым бы вы имели что-нибудь сказать?

Ворцель понял; лицо его подернулось тучей, и он ответил:

— *Мне им нечего сказать.*

Я не знаю проклятия, которое ужаснее звучало бы и тяжелей бы ложилось этих простых слов.

С смертью Ворцеля — демократическая партия польской эмиграции в Лондоне обмельчала. Им, его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партия распалась на мелкие партии, почти враждебные. Годичные митинги вразбивку стали бедны числом и интересом... вечная панихида, перечень старых и новых потерь — и, как всегда в панихидах, чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века — чаяние во второе пришествие Бонапарта и в преображение Речи Посполитой.

Два-три благородных старца остались величественными и скорбными памятниками — как те длиннобородые, седые израиль-

[1] «Сборник типографии», стр. 163—164.

тяне, которые плачут у стен иерусалимских, они не как вожди указывают путь вперед, а как иноки — могилу — они останавливают нас своим Sta, viator! Herois sepulcrum...[1]

Между ними, лучший из лучших — сохранивший в дряхлом теле молодое сердце и юный, кроткий, детски чистый, голубой взгляд,— одна нога его уже в гробе,— скоро уйдет он, скоро и противник его, Адам Чарторижский.

Уж не в самом ли деле это finis Poloniae?[2]

...Прежде чем мы совсем оставим трогательную и симпатичную личность Ворцеля — на холодном Гайгетском кладбище,— я хочу рассказать несколько мелочей о нем. Так люди, идущие с похорон, приостанавливая скорбь, рассказывают разные подробности о покойном.

Ворцель был очень рассеян в маленьких житейских делах — после него всегда оставались очки, их чехол, платок, табатерка — зато, если близко него лежал не его платок, он его клал в карман, он приходил иногда с тремя перчатками, иногда с одной.

Прежде чем он переехал в Hunter street, он жил возле, в полукруге небольших домов Burton crescent, 43,— недалеко от Нью-Рода. На английский манер все домы полукруга были одинакие. Дом, в котором жил Ворцель, был пятый с края — и он всякий раз, зная свою рассеянность, считал двери. Возвращаясь как-то с противуположной стороны полулунья, Ворцель постучал и, когда ему отперли, взошел в свою комнатку. Из нее вышла какая-то девушка, вероятно хозяйская дочь. Ворцель сел отдохнуть к потухавшему камину — за ним кто-то раза два кашлянул — на креслах сидел незнакомый человек.

— Извините,— сказал Ворцель,— вы, верно, меня ждали?

— Позвольте,— заметил англичанин,— прежде чем я отвечу, узнать, с кем я имею честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имею удовольствия знать, что же вам угодно?

Тут вдруг Ворцеля поразила мысль, что он не туда попал — оглядевшись, он увидел, что мебель и все прочее не его. Он рассказал англичанину свою беду и, извиняясь, отправился в пятый дом с другой стороны. По счастью, англичанин был очень учтивый человек — что не очень обыкновенный плод в Лондоне.

Месяца через три — та же история. На этот раз, когда он постучал, горничная, отворившая дверь, видя почтенного старика,

---

[1] Стой, путник! Могила героя... *(лат.)* — *Ред.*

[2] конец Польше *(лат.)*. — *Ред.*

просила его взойти прямо в парлор — там англичанин ужинал с своей женой. Увидя входящего Ворцеля, он весело протянул ему руку и сказал:

— Это не здесь, вы живете в сорок третьем номере.

При этой рассеянности — Ворцель сохранил до конца жизни необыкновенную память, я в нем справлялся, как в лексиконе или энциклопедии. Он читал все на свете, занимался всем — механикой и астрономией, естественными науками и историей. Не имея никаких католических предрассудков — он, по странному pli[1] польского ума, верил в какой-то духовный мир — неопределенный, ненужный, невозможный — но отдельный от мира материального. Это не религия Моисея, Авраама и Исаака, а религия Жан-Жака, Жорд Санд, Пьера Леру, Маццини и проч. Но Ворцель имел меньше их всех прав на нее.

Когда его астм не очень мучил и на душе было не очень темно, Ворцель был очень любезен в обществе — он превосходно рассказывал, и особенно воспоминания из старого панского быта,— этими рассказами я заслушивался. Мир пана Тадеуша, мир Мурделио проходил перед глазами — мир, о кончине которого не жалеешь, напротив, радуешься — но которому невозможно отказать в какой-то яркой, необузданной поэзии — вовсе недостающей нашему барскому быту. Нам, в сущности, так не свойственна западная аристократия, что все рассказы о наших тузах сводятся на дикую роскошь, на пиры на целый город, на бесчисленные дворни, на тиранство крестьян и мелких соседей — с рабским подобострастием перед императором и двором. Шереметевы и Голицыны, со всеми их дворцами и поместьями, ничем не отличались от своих крестьян, кроме немецкого кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Все они беспрерывно подтверждали изречение Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди — это те, с которыми он говорит и пока говорит... Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что может быть жалче et moins aristocratique[1], как последний представитель русского барства и вельможничества, виденный мною,— князь Сергий Михайлович Голицын, и что отвратительнее какого-нибудь Измайлова.

Замашки польских панов были скверны, дики, почти непонятны теперь — но диаметр другой, но другой закал личности и ни тени холопства.

— Знаете вы,— спросил меня раз Ворцель,— отчего называется Passage Radzivill в Пале-Рояле?

— Нет.

---

[1] складу *(франц.).— Ред.*

[2] и менее аристократично *(франц.).— Ред.*

— Вы помните знаменитого Радзивилла, приятеля регента, который проехал на своих из Варшавы в Париж и для всякого ночлега покупал дом? Регент был без ума от него; количество вина, которое выпивал Радзивилл, покорило ему расслабленного хозяина — герцог так привык к нему, что, видаясь всякий день, посылал еще по утрам к нему записки. Занадобилось как-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Он послал хлопа к нему с письмом. Хлопец искал, искал, не нашел и принес повинную голову. «Дурак,— сказал ему пан,— поди сюда. Смотри в окно — видишь этот большой дом?» (Пале-Рояль).— «Вижу».— «Ну, там живет первый здешний пан, каждый тебе укажет». Пошел хлопец — искал, искал,— не может найти. Дело было в том, что домы отгораживали дворец и надобно было сделать обход по St.-Honoré... «Фу, какая скука,— сказал пан.— Велите моему поверенному скупить дома между моим дворцом и Пале-Роялем — да и сделайте улицу — чтоб дурак этот не плутал, когда я опять его пошлю к регенту».

ГЛАВА VII

НЕМЦЫ В ЭМИГРАЦИИ

Руге, Кинкель.— Schwefelbande[1].*— Американский обед.— «The Leader».— Народный сход в St.-Martin's Hall.— D-r Müller*

Немецкая эмиграция отличалась от других своим тяжелым, скучным и сварливым характером. В ней не было энтузиастов, как в итальянской, не было ни горячих голов, ни горячих языков, как между французами.

Другие эмиграции мало сближались с нею; разница в манере, в habitus'e удерживала их на некотором расстоянии; французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью. Отсутствие общепринятой светскости, тяжелый школьный доктринаризм, излишняя фамильярность, излишнее простодушие немцев затрудняли с ними сношения не привыкших людей. Они и сами не очень сближались, считая себя, с одной стороны, гораздо выше прочих по научному развитию... и, с другой,— чувствуя перед другими неприятную неловкость провинциала в столичном салоне и чиновника в аристократическом кругу.

Внутри немецкая эмиграция представляла такую же рассыпчатость, как и ее родина. Общего плана у немцев не было, единство их поддерживалось взаимной ненавистью и злым преследова-

[1] Шайка поджигателей; буквально: серная шайка *(нем.)*.— *Ред.*

нием друг друга. Лучшие из немецких изгнанников чувствовали это. Люди энергические, люди чистые, люди умные — как К. Шурц, как А. Виллих, как Рейхенбах, уезжали в Америку. Люди кроткие по нраву прятались за делами, за лондонской далью,— как Фрейлиграт. Остальные — исключая двух-трех вожаков, раздирали друг друга на части с неутомимым остервенением, не щадя ни семейных тайн, ни самых уголовных обвинений.

Вскоре после моего приезда в Лондон поехал я в Брейтон к Арнольду Руге. Руге был коротко знаком московскому университетскому кругу сороковых годов — он издавал знаменитые «Hallische Jahrbücher», мы в них черпали философский радикализм. Встретился я с ним в 1849 в Париже — на не остывшей еще, вулканической почве. В те времена было не до изучения личностей. Он приезжал одним из поверенных баденского инсуррекционного[1] правительства звать Мерославского, не умевшего по-немецки начальствовать армией фрейшерлеров[2] и переговаривать с французским правительством, которое вовсе не хотело признавать революционный Баден. С пим был К. Блинд. После 13 июня ему и мне пришлось бежать из Франции. К. Блинд опоздал несколькими часами и был посажен в Консьержри. С тех пор я не видал Руге до осени 1852.

В Брейтоне я нашел его брюзгливым стариком, озлобленным и злоречивым. Оставленный прежними друзьями, забытый в Германии, без влияния на дела — и перессорившийся с эмиграцией — Руге был поглощен сплетнями и пересудами. В постоянной связи с ним были два-три бездарнейших газетных корреспондента, грошовых фельетониста, этих мелких мародеров гласности, которых никогда не видать во время сражения и всегда после, майских жуков политического и литературного мира, каждый вечер с наслаждением и усердием копающихся в выброшенных остатках дня. С ними Руге составлял статейки, подзадоривал их, давал им материал и сплетничал на несколько журналов в Германии и Америке.

Я обедал у него и провел весь вечер. В продолжение всего времени он жаловался на эмигрантов и сплетничал на них.

— Вы не слыхали,— говорил он,— как идут дела нашего сорокапятилетнего Вертера с баронессой? Говорят, что, открываясь ей в любви, хотел ее увлечь химической перспективой гениального ребенка, который должен родиться от аристократки и коммуниста? Барон, не охотник до физиологических опытов, говорят, прогнал его в три шеи. Правда это?

— Как же вы можете верить таким нелепостям?

---

[1] повстанческого *(от франц. insurrection).— Ред.*
[2] партизанов *(от нем. Freischärler).— Ред.*

— Да я и в самом деле не очень верю. Живу здесь в захолустье и слышу только о том, что делается в Лондоне,— от немцев, все они, а особенно эмигранты — врут бог знает что, все между собой в ссоре, клевещут друг на друга. Я думаю, что Кинкель распустил такой слух в знак благодарности за то, что баронесса его выкупила из тюрьмы. Ведь он бы и сам за ней поволочился, да воли-то нет. Жена не дает ему баловаться. «Ты, говорит, меня от первого мужа отбил — так уже теперь довольно...»

Вот образчик философской беседы Арнольда Руге.

Один раз он изменил своему диапазону и стал с дружеским участием говорить о Бакунине, но на полдороге спохватился и добавил:

— А, впрочем, в последнее время он как-то стал опускаться — бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом.

Я уехал от него с тяжелым сердцем и с твердым намерением никогда не возвращаться.

Через год он читал в Лондоне несколько лекций о философском движении в Германии. Лекции были плохи, берлински-английский акцент неприятно поражал ухо, к тому же он все греческие и римские имена произносил на немецкий манер, так что англичане не могли догадаться, кто эти Иофис[1], Юно...[2] На вторую лекцию пришли десять человек, на третью — человек пять — да я с Ворцелем. Руге, проходя по пустой зале мимо нас, сильно сжал мне руку и прибавил:

— Польша и Россия пришли — а Италии нет, этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новом восстании народов.

Когда он ушел, разгневанный и грозящий, я посмотрел на сардоническую улыбку Ворцеля и сказал ему:

— Россия зовет Польшу к себе отобедать.

— C'en est fait de l'Italie[3],— заметил Ворцель, качая головой, и мы пошли.

Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне. Человек безукоризненного поведения, работавший в поте лица своего, что, как ни странно может это показаться, почти вовсе не встречалось в эмиграциях, Кинкель был заклятый враг Руге, почему? Это так же трудно объяснить, как то, что проповедник атеизма Руге был другом неокатолика Ронге. Готфрид Кинкель был один из глав сорока сороков лондонских немецких расколов.

Глядя на него, я всегда дивился, как величественная, зевсовская голова попала на плечи немецкого профессора и как немец-

---

[1] Юпитер *(от лат. Jovis).— Ред.*

[2] Юнона *(от лат. Juno).— Ред.*

[3] Вот и покончено с Италией *(франц.).— Ред.*

кий профессор попал сначала на поле сражения, потом, раненый, в прусскую тюрьму; а может, мудренее всего этого то, что все это *плюс* Лондон его нисколько не изменили и он остался немецким профессором. Высокий ростом, с седыми волосами и бородой с проседью, он сам по себе имел величавый и внушающий уважение вид — но он к нему прибавлял какое-то официальное помазание, Salbung[1], что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттенок этот в разных вариациях встречается у модных пасторов, у дамских врачей, особенно у магнетизеров, адвокатов, специально защищающих нравственность, у главных waiter'ов[2] аристократических отелей в Англии. Кинкель в молодости много занимался богословием; освободившись от него, он остался священником в приемах. Это не удивительно: сам Ламенне, подрубая так глубоко корни католицизма, сохранил до старости вид аббата. Обдуманная и плавная речь Кинкеля, правильная и избегающая крайностей,— шла какой-то назидательной беседой; он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием — самого себя.

Он был профессором в Сомерсет-Гаузе и в нескольких высших заведениях, читал публичные лекции об эстетике в Лондоне и Манчестере — этого ему не могли простить голодно- и праздношатающиеся в Лондоне освободители тридцати четырех немецких отечеств. Кинкель был постоянно обругиваем в американских газетах, сделавшихся главным стоком немецких сплетен, и на тощих митингах, ежегодно даваемых в память Роберта Блума, первого баденского Schilderhebung'a, первого австрийского Schwertfahrt'a[3] и проч. Ругали его все его соотечественники, не имевшие никогда уроков, всегда просящие денег взаймы, никогда не отдающие занятого и постоянно готовые выдать человека за шпиона и вора — в случае отказа. Кинкель не отвечал... Писаки лаяли, лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изредка какая-нибудь нечесаная и шершавая шавка выбежит из нижнего этажа германской демократии куда-нибудь в фельетон никем не читаемого журнала — и зальется злейшим лаем, который так и напомнит счастливые времена братских восстаний в разных Тюбингенах, Дармштадтах и Брауншвейг-Волфенбюттелях.

В доме Кинкеля, на его лекциях, в его разговоре все было хорошо и умно — но недоставало какого-то масла в колесах, и оттого все вертелось туго, без скрипа — но тяжело. Он говорил всегда интересные вещи; жена его, известная пьянистка, играла прекрасные вещи — а скука была смертная. Одни дети, прыгая,

[1] елейность *(нем.).— Ред.*
[2] кельнеров *(англ.).— Ред.*
[3] поднятия щитов... бряцания мечей *(нем.).— Ред.*

вносили какой-то больше светлый элемент; их светленькие глазенки и звонкие голоса обещали меньше достоинства, но... больше масла в колеса.

«Ich bin ein Mensch der Möglichkeit»[1],— говорил мне Кинкель не раз, чтоб характеризовать свое положение между крайними партиями; он думает, что он возможен как будущий министр в будущей Германии — я не думаю этого, зато Иоганна, его супруга, не сомневается.

Кстати, слово об их отношениях. Кинкель постоянно хранил достоинство, она постоянно удивлялась ему. Между собой они об самых будничных вещах говорят слогом благонравных комедий (светской haute comédie[2] в Германии!) и нравственных романов.

— Beste Johanna,— говорит он звучно и не торопясь,— du bist, mein Engel, so gut — schenke mir noch eine Tasse von dem vortrefflichen Thee, den du so gut machst, ein!

— Es ist zu himmlisch, liebster Gottfried, dass er dir geschmeckt hat. Tue, mein bester, für mich — einige Tropfen Schmand hinein![3]

И он каплет сливки — глядя на нее с умилением — и она глядит на него с благодарностью.

Johanna ожесточенно преследовала своего мужа беспрерывными, неумолимыми попечениями о нем, давала ему револьвер во время тумана в каком-то особом поясе, умоляла беречь себя от ветра, от злых людей, от вредных кушаний и in petto от женских глаз — вреднее всех ветров и пате de foie gras...[4] Словом, она отравляла его жизнь острой ревностью и неумолимой, вечно возбужденной любовью. В замену — она поддерживала его в мысли, что он гений, по крайней мере не хуже Лессинга, что Германии в нем готовится будущий Штейн; Кинкель знал, что это правда, и кротко останавливал Иоганну при посторонних, когда похвалы хватали слишком через край.

— Иоганна — слышали ли вы об Гейне? — спрашивает ее раз расстроенно взбежавшая Шарлотта.

— Нет,— отвечает Иоганна.

— Умер... вчера в ночь...

— В самом деле?

— Zu wahr![5]

---

[1] «Я — человек возможностей» *(нем.).— Ред.*

[2] высокой комедии *(франц.).— Ред.*

[3] Дражайшая Иоганна, ты, ангел мой, так добра — налей мне еще одну чашку превосходного чая, который ты так хорошо приготовляешь!— Это слишком божественно, дорогой Готфрид, что чай пришелся тебе по вкусу. Налей мне, милый, несколько капель сливок! *(нем.) — Ред.*

[4] паштета из гусиной печенки *(от франц. pâté de foie gras).— Ред.*

[5] Абсолютно верно! *(нем.) — Ред.*

— Ах, как я рада — я все боялась, что он напишет какую-нибудь едкую эпиграмму на Готфрида — у него был такой ядовитый язык. Вы меня так удивили,— прибавила она, спохватившись,— какая потеря для Германии[1].

. . . . . .

... отвращения, является горькое чувство зависти.

Источник этих ненавистей долею лежит в сознании политической второстепенности *германского отечества* и в притязании играть первую роль. Смешно национальное фанфаронство и у французов, но все же они могут сказать, что «некоторым образом за человечество кровь проливали»... в то время как ученые германцы проливали одни чернилы. Притязание на какое-то огромное национальное значение, идущее рядом с доктринерским космополитизмом, тем смешнее, что оно не предъявляет другого права — кроме неуверенности в уважении других, в желании sich geltend machen[2].

— За что нас поляки не любят? — говорил серьезно в обществе гелертеров один немец.

Тут случился журналист, умный человек, давно поселившийся в Англии.

— Ну, это еще не так мудрено понять,— отвечал он,— вы лучше скажите, кто нас любит? или за что нас все ненавидят?

— Как все ненавидят? — спросил удивленный профессор.

— По крайней мере, все пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русские, славяне...

— Позвольте, Herr Doctor, есть же исключения,— возразил обеспокоенный и несколько сконфуженный гелертер.

— Без малейшего сомнения — и какое исключение: Франция и Англия.

Ученый начал расцветать.

— И знаете отчего? — Франция нас не боится, а Англия презирает...

Положение немца действительно печальное — но печаль его не интересна. Все знают, что они справиться могут — с внутренним и внешним врагом,— но не умеют. Отчего, например, единоплеменные ей народы, Англия, Голландия, Швеция, свободны, а немцы нет. Неспособность тоже обязывает — как дворянство — кой к чему, и всего больше к скромности. Немцы чувствуют это и прибегают к отчаянным средствам, чтоб иметь верх, выдают Англию и Северо-Американские Штаты за представителей герма-

[1] В свою очередь, и мне жаль, что я написал эти строки. Вскоре потом бедная женщина бросилась из окна четвертого этажа на каменный ярд; ревность и болезнь в сердце довели ее до этой страшной смерти.

[2] показать себя *(нем.).— Ред.*

низма в сфере государственной Praxis[1]. Руге, разгневавшись на Эдгара Бауэра за его пустую брошюру о России — кажется, под заглавием «Kirche und Staat»[2]— и подозревая, что я Э. Бауэра ввел в искушение, писал мне (а потом то же самое напечатал в «Жерсейском альманахе»), что Россия один грубый материал, дикий и неустроенный, которого сила, слава и красота только оттого и происходят, что германский гений ей придал свой образ и подобие.

Каждый русский, являющийся на сцену, встречает то озлобленное удивление немцев, которое не так давно находили от них же наши ученые, желавшие сделаться профессорами русских университетов и русской академии. Выписным «коллегам» казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватом чужого места.

Маркс, очень хорошо знавший Бакунина, который чуть не сложил свою голову за немцев под топором саксонского палача, *выдал его за русского шпиона*. Он рассказал в своей газете целую историю, как Ж. Санд слышала от Ледрю-Роллена, что, когда он был министром внутренних дел, видел какую-то его компрометирующую переписку. Бакунин тогда сидел, ожидая приговора в тюрьме,— и ничего не подозревал. Клевета толкала его на эшафот и порывала последнее общение любви между мучеником и сочувствующей в тиши массой. Друг Бакунина А. Рейхель написал в Nohant к Ж. Санд и спросил ее, в чем дело. Она тотчас отвечала Рейхелю и прислала письмо в редакцию Марксова журнала, отзываясь с величайшей дружбой о Бакунине, она прибавляла, что вообще *никогда не говорила* с Ледрю-Ролленом о Бакунине, в силу чего не могла повторить и сказанного в газете. Маркс нашелся ловко и поместил письмо Ж. Санд с примечанием, что статейка о Бакунине была помещена «во время его отсутствия».

Финал совершенно немецкий — он невозможен не только во Франции, где point d'honneur так щепетилен и где издатель зарыл бы всю нечистоту дела под кучей фраз, слов, околичнословий, нравственных сентенций, покрыл бы ее отчаянием qu'on avait surpris sa religion[3] — но даже английский издатель, несравненно менее церемонный, не смел бы свалить дела на сотрудников[4].

---

[1] практики *(нем.).— Ред.*

[2] «Церковь и государство» *(нем.).— Ред.*

[3] что злоупотребили его доверием *(франц.).— Ред.*

[4] Несмотря на то, что они себе позволяют ужасно много. Для их характеристики расскажу один случай, бывший с Луи Бланом. «Таймс» напечатал, что Луи Блан, бывши членом Временного правительства, истратил «мильона полтора фр. казенных денег» на составление себе партии между работниками. Луи Блан отвечал редакции, что она имеет неверные сведения о нем, что при

Через год после моего приезда в Лондон Марксова партия еще раз возвратилась на гнусную клевету против Бакунина, тогда погребенного в Алексеевском равелине.

В Англии, в этом стародавнем отечестве поврежденных — одно из самых оригинальных мест между ними занимает *Давид Уркуард*, человек с талантом и энергией. Эксцентрический радикал из консерватизма, он помешался на двух идеях: во-первых, что Турция превосходная страна, имеющая большую будущность,— в силу чего он завел себе турецкую кухню, турецкую баню, турецкие диваны... во-вторых — что русская дипломация, самая хитрая и ловкая во всей Европе, подкупает и надувает всех государственных людей, во всех государствах мира сего и преимущественно в Англии. Уркуард работал годы, чтоб отыскать доказательства того, что Палмерстон — на откупу петербургского кабинета. Он об этом печатал статьи и брошюры, делал предложения в парламенте, проповедовал на митингах. Сначала на него сердились, отвечали ему, бранили его, потом привыкли, обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращали внимания... наконец разразились общим хохотом.

На одном митинге — в одном из больших центров Уркуард до того увлекся своей idée fixe, что, представляя Кошута человеком неверным, он прибавил, что если Кошут и не подкуплен Россией— то находится под влиянием человека, явным образом работающего в пользу России... *и этот человек — Маццини!*

Уркуард, как дантовская Франческа, не продолжал больше своего чтения в этот день. При имени Маццини поднялся такой

пущем желании, он не мог ни украсть, ни истратить полтора миллиона фр., потому что во все время его заведования люксембургской комиссией у него не было в распоряжении более 30 000 фр. «Таймс» не поместил его ответа. Луи Блан отправился в редакцию сам и потребовал свидания — с главным издателем. Ему отвечали, что главного издателя *вовсе нет*, что «Таймс» издается как-то артелью. Луи Блан требовал ответственного артельщика — ему отвечали, что никто лично ни за что не отвечает.

— К кому же наконец я должен обратиться, у кого требовать отчета в том, что мое письмо в деле, касающемся до моего доброго имени, не было помещено?

— Здесь,— сказал ему один из чиновников при «Таймсе»,— не так, как во Франции, у нас нет ни gérant responsable ⟨ответственного редактора *(франц.).— Ред.*⟩, ни законного обязательства помещать ответы.

— Решительно нет ответственного редактора?— спросил Луи Блан.

— Нету.

— Очень, очень жаль,— заметил Луи Блан, зло улыбаясь,— что нет главного редактора, а то я непременно надавал бы ему пощечин. Прощайте, господа.

— Good day, sir, good day. God bless you! ⟨Добрый день, сударь, добрый день. Да благословит вас господь! *(англ.)* — *Ред.*⟩— повторил чиновник при «Таймсе», учтиво и спокойно отворяя двери.

гомерический смех, что сам Давид заметил, что итальянского Голиафа он не сбил своей пращой, а себе свихнул руку.

Человек, думавший и открыто говоривший, что от Гизо и Дерби до Эспартеро, Кобдена и Маццини — всё русские агенты,— был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших — неузнанного гения первой величины — Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule[1] клеветы и заподозревания всех людей, выступавших на сцену с бо́льшим успехом, чем они сами. Им недоставало честного имени. Уркуард его дал.

Д. Уркуард имел тогда большое влияние на «Morning Advertiser» — один из журналов, самым странным образом поставленных. Журнала этого нет ни в клубах, ни у больших стешионеров[2], ни на столе у порядочных людей — а он имеет бо́льшую циркуляцию, чем «Daily News», и только в последнее время дешевые листы вроде «Daily Telegraph», «Morning и Evening Star» — отодвинули «M. Advertiser» на второй план. Явление чисто английское, «M. Advertiser» — журнал питейных домов, и нет кабака, в котором бы его не было.

С Уркуардом и публикой питейных домов взошли в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья — «Где пиво, там и немцы».

Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунин русский агент или нет?» — Само собою разумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакунине.

Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным (об этом субъекте будет особая глава) — но выбора не было. Я пригласил Ворцеля и Маццини присоединиться к нашему протесту — они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя польской демократической Централизации и такого человека, как Маццини, все кончено. Но немцы не остановились на этом. Они затянули скучнейшую полемику с Головиным, который, с своей стороны, поддерживал ее для того, чтоб собой занимать публику лондонских кабаков.

Мой протест, то, что я писал к Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнев Маркса. Вообще это было время, в которое немцы спохватились и стали меня окружать такой же грубой неприязнью, как окружали прежде грубым ухаживанием. Они уже не писали мне панегириков, как во время выхода «Vom an-

---

[1] высшую школу *(нем.).— Ред.*

[2] торговцев канцелярскими товарами, газетами *(от англ. stationer).— Ред.*

dern Ufer» и «Писем из Италии», а отзывались обо мне, как «о дерзком варваре, осмеливающемся смотреть на Германию сверху вниз»[1]. Один из марксовских гезеллей[2] написал целую книжку против меня и отослал Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда он напечатал (что́ я узнал гораздо позже) ту статейку в «Лидере», о которой шла речь. Имя его я не припомню.

К марксидам присоединился вскоре рыцарь с опущенным забралом *Карл Блинд* — тогда famulus[3] Маркса, теперь его враг. В его корреспонденции в нью-йоркские журналы было сказано — по поводу обеда, который давал нам американский консул в Лондоне: «На этом обеде был русский, именно А. Г., *выдающий себя* за социалиста и республиканца. Г. живет в близких отношениях с Маццини, Кошутом и Саффи... Со стороны людей, стоящих во главе движения, чрезвычайно неосторожно, что они допускают русского в свою близость. Желаем, чтоб им не пришлось слишком поздно раскаяться в этом».

Сам ли Блинд это писал или кто из его помощников, я не знаю — текста у меня перед глазами нет, но за смысл я отвечаю.

При этом надобно заметить, что как со стороны К. Блинда, так и со стороны Маркса, которого я совсем не знал, вся эта ненависть была чисто платоническая, так сказать, безличная — меня приносили в жертву фатерланду — из патриотизма. В американском обеде, между прочим, их бесило отсутствие немца — за это они наказали русского[4].

Обед этот, наделавший много шуму по ту и другую сторону Атлантики, случился таким образом. Президент Пирс будировал старые европейские правительства и делал всякие школьничества. Долею для того, чтоб приобрести больше популярности дома, долею, чтоб отвести глаза всех радикальных партий в Европе от главного алмаза, на котором ходила вся его политика,— от незаметного упрочения и распространения невольничества.

---

[1] Это печатал некто *Колачек* в одном американском журнале — по поводу второго французского издания «Du développement des idées révolutionnaires en Russie». *Пикантное* этого состоит в том, что *весь текст* этой книги был прежде напечатан по-немецки в «Deutsche Jahrbücher», издаваемых... тем же самым *Колачеком!*

[2] подмастерьев *(от нем. Geselle).— Ред.*

[3] подручный *(лат.).— Ред.*

[4] Отсутствие немца на обеде напоминает мне похороны матери Гарибальди. Она умерла в Ницце в 1851 году, друзья ее сына пригласили изгнанников разных стран нести покойницу; в том числе был приглашен и я. Когда мы собрались у сеней дома, оказалось, что приглашенные были: два римлянина (один из них был Орсини), два ломбарда, два неаполитанца, два француза, Хоецкий — поляк и я — русский. «Господа,— сказал Хоецкий,— заметьте, L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand!» ⟨Европа представлена полностью, нет даже ни одного немца! *(франц.).— Ред.*⟩

Это было время посольства *Суле* в Испанию и сына Р. Оуэна в Неаполь, вскоре после дуэля Суле с Тюрго и его настоятельного требования проехать, вопреки приказа Наполеона, через Францию в Брюссель, в котором император французов отказать не решился. «Мы посылаем послов,— говорили американцы,— не к царям, а к народам». Отсюда идея дать дипломатический обед врагам всех существующих правительств.

Я не имел понятия о готовящемся обеде. Получаю вдруг приглашение от Соундерса, американского консула,— в приглашении лежала небольшая записочка от Маццини, он просил меня, чтоб я не отказывался, что обед этот делается с целью кой-кого подразнить и показать симпатию кой-кому другому.

На обеде были — Маццини, Кошут, Ледрю-Роллен, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульский и я, из англичан — один радикальный член парламента, Жозуа Вомслей, потом посол Бюханан и все посольские чиновники.

Надобно заметить, что одна из целей *красного* обеда, данного защитником *черного* рабства, состояла в сближении Кошута с Ледрю-Ролленом. Дело было не в том, чтоб их примирить,— они никогда не ссорились,— а чтоб их официально познакомить. Их незнакомство случилось так. Ледрю-Роллен был уже в Лондоне, когда Кошут приехал из Турции. Возник вопрос, кому первому ехать с визитом: Ледрю-Роллену к Кошуту или Кошуту к Ледрю-Роллену, вопрос этот сильно занимал их друзей, сподвижников, их двор, гвардию и чернь.— Pro и contra[1] были значительные. Один был диктатор Венгрии — другой не был диктатор, но зато *француз*. Один был почетный гость Англии, лев первой величины, на вершине своей садящейся славы — другой был в Англии как дома, а визиты делаются вновь приезжающими... Словом, вопрос этот, как квадратура круга, perpetuum mobile был найден обоими дворами неразрешимым... а потому и решили тем, чтоб не ездить ни тому, ни другому, предоставляя дело встречи воле божией и случаю... Года три или четыре Ледрю-Роллен и Кошут, живши в одном городе, имея общих друзей, общие интересы и одно дело, должны были игнорировать друг друга, а случая никакого не было.— Маццини решился помочь судьбе.

Перед обедом, после того как Бюханан уже пережал нам всем руки,— изъявляя каждому свое полное удовольствие, что познакомился лично,— Маццини взял Ледрю-Роллена под руку, и в то же самое время Бюханан сделал такой же маневр с Кошутом — и, кротко подвигая виновников, привели их почти к столкновению и назвали их друг другу — новые знакомые не остались

[1] За и против *(лат.).— Ред.*

в долгу и осыпали друг друга комплиментами — с восточным, цветистым оттенком со стороны великого мадьяра и с сильным колоритом речей Конвента со стороны великого галла...

Я стоял во время всей этой сцены у окна с Орсини... взглянув на него, я был до смерти рад, видя легкую улыбку — больше в его глазах, чем на губах.

— Послушайте,— сказал я ему,— какой мне вздор пришел в голову, в 1847 году я видел в Париже, в Историческом театре, какую-то глупейшую военную пьесу, в которой главную роль играли дым и стрельба, а вторую — лошади, пушки и барабаны. В одном из действий полководцы обеих армий выходят для переговоров с противуположных сторон сцены — храбро идут против друг друга — и, подойдя, один снимает шляпу и говорит:

— Souvaroff — Masséna!

На что другой ему отвечает, тоже без шляпы:

— Masséna — Souvaroff!

— Я сам едва удержался от смеха,— сказал мне Орсини с совершенно серьезным лицом.

Хитрый старик Бюханан, мечтавший тогда уже, несмотря на семидесятилетний возраст, о президентстве и потому говоривший постоянно о счастии покоя, об идиллической жизни и о своей дряхлости,— любезничал с нами так, как любезничал в Зимнем дворце с Орловым и Бенкендорфом, когда был послом при Николае. С Кошутом и Маццини он был прежде знаком — другим он говорил очень хорошо отделанные комплименты, напоминавшие гораздо больше тертого дипломата, чем сурового гражданина демократической республики. Мне он ничего не сказал, кроме того, что он долго был в России и вывез убеждение, что она имеет великую будущность. Я ему на это, разумеется, ничего не сказал, а заметил, что помню его еще со времен коронации Николая. «Я был мальчиком, но вы были так заметны — в вашем простом черном фраке и в круглой шляпе — в толпе шитой, золоченой, ливрейной знати»[1].

Гарибальди он заметил: «У вас такая же слава в Америке, как в Европе, только что в Америке еще прибавляется новый титул. Там вас знают — там вас знают за отличного моряка...»

За десертом, когда m-me Saunders уже вышла и нам подали сигары с еще большим количеством вина, Бюханан, сидевший против Ледрю-Роллена, сказал ему, что у него «был знакомый в Нью-Йорке, говоривший, что он готов бы был съездить из Америки во Францию — только для того, чтоб познакомиться с ним».

---

[1] Я ни слова тогда не говорил по-английски. Бюханан плохо понимал по-французски. Ворцель ему передал мои слова.

По несчастию, Бюханан как-то шамшил, а Ледрю-Роллен плохо понимал по-английски. В силу чего вышло презабавное qui pro quo[1]— Ледрю-Роллен думал, что Бюханан говорит это от себя, и с французским effusion de reconnaissance[2] стал его благодарить и протянул ему через стол свою огромную руку. Бюханан принял благодарность и руку и с тем невозмущаемым спокойствием в трудных обстоятельствах, с которым англичане и американцы тонут с кораблем или теряют полсостояния, заметил ему: «I think — it is a mistake[3]— это не я так думал, это один из моих хороших приятелей в New-York'e».

Праздник кончился тем, что вечером поздно, когда Бюханан уехал, а вслед за ним не счел более возможным остаться и Кошут и отправился с своим министром без портфеля,— консул стал умолять нас снова сойти в столовую, где он хотел сам приготовить какой-то американский пунш из старого кентуккийского виски. К тому же Соундерсу там хотелось вознаградить себя за отсутствие сильных тостов — за будущую всемирную (белую) республику и т. д., которых, должно быть, осторожный Бюханан не допускал. За обедом пили тосты — двух-трех гостей и его... без речей.

Пока он жег какой-то алкоголь и приправлял его всякой всячиной, он предложил хором *отслужить* «Марсельезу». Оказалось, что музыку ее порядком знал один Ворцель — зато у него было extinction[4] голоса, да кой-как Маццини,— и пришлось звать американку Соундерс, которая сыграла «Марсельезу» на гитаре.

Между тем ее супруг, окончив свою стряпню, попробовал, остался доволен и разлил нам в большие чайные чашки. Не опасаясь ничего, я сильно хлебнул — и в первую минуту не мог перевести духа. Когда я пришел в себя и увидел, что Ледрю-Роллен собирался также усердно хлебнуть, я остановил его словами:

— Если вам дорога жизнь, то вы осторожнее обращайтесь с кентуккийским прохладительным; я — русский, да и то опалил себе нёбо, горло и весь пищеприемный канал,— что же будет с вами. Должно быть, у них в Кентукки пунш делается из красного перца, настоянного на купоросном масле.

Американец радовался, иронически улыбаясь слабости европейцев. Подражатель Митридата с молодых лет — я один подал пустую чашку и попросил еще. Это химическое сродство с алкоголем ужасно подняло меня в глазах консула. «Да, да,— говорил он,— только в Америке и в России люди умеют пить».

---

[1] недоразумение *(лат.).— Ред.*
[2] бурным выражением признательности *(франц.).— Ред.*
[3] Я думаю, это ошибка *(англ.).— Ред.*
[4] потеря *(англ.).— Ред.*

«Да есть и еще больше лестное сходство,— подумал я,— только в Америке и в России умеют крепостных засекать до смерти».

Пуншем в 70° окончился этот обед, испортивший больше крови немецким фолликуляриям[1], чем желудок обедавшим.

За трансатлантическим обедом следовала попытка *международного комитета* — последнее усилие чартистов и изгнанников соединенными силами заявить свою жизнь и свой союз. Мысль этого комитета принадлежала Эрнсту Джонсу. Он хотел оживить дряхлевший не по летам чартизм, сближая английских работников с французскими социалистами. Общественным актом этой entente cordiale[2] назначен был митинг — в воспоминание 24 февраля 1848.

Международный комитет избрал между десятком других и меня своим членом, прося меня сказать речь о России, я поблагодарил их письмом, речи говорить не хотел,— тем бы и заключил, если б Маркс и Головин не вынудили меня явиться назло им на трибуне St.-Martin's Hall.

Сначала Джонс получил письмо от какого-то немца, протестовавшего против моего избрания. Он писал, что я известный панславист, что я писал о необходимости завоевания Вены, которую назвал славянской столицей, что я проповедую русское крепостное состояние — как идеал для земледельческого населения. Во всем этом он ссылался на мои письма к Линтону («La Russie et le vieux monde»). Джонс бросил без внимания патриотическую клевету.

Но это письмо было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с целью комитета, и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желания быть членом, и сообщивши ему официально избрание, не может изменить решения по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения,— и он их предложит теперь же на обсуживание комитета.

На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский, и притом *русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию*,— что, наконец, если комитет не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти.

Эрнст Джонс, французы, поляки, итальянцы, человека два-три немцев и англичане вотировали за меня. Маркс остался в страшном меньшинстве. Он встал и с своими приспными оставил комитет и не возвращался более.

---

[1] газетным писакам *(от франц. folliculaire).— Ред.*

[2] сердечного согласия *(франц.).— Ред.*

Побитые в комитете, марксиды отретировались в свою твердыню — в «Morning Advertiser». Герст и Блакет издали английский перевод одного тома «Былого и дум», включив в него «Тюрьму и ссылку». Чтоб товар продать лицом, они, не обинуясь, поставили: «My exile *in Siberia*»[1] на заглавном листе. «Express» первый заметил это фанфаронство. Я написал к издателю письмо и другое — в «Express». Герст и Блакет объявили, что заглавие было сделано ими, что в оригинале его нет, но что Гофман и Камне поставили в немецком переводе тоже «в Сибирь».— «Express» все это напечатал. Казалось, дело было кончено. Но «Morning Advertiser» начал меня шпиговать в неделю раза два-три. Он говорил, что я слово «*Сибирь*» употребил для лучшего сбыта книги, что я протестовал *через пять дней* после выхода книги, то есть давши время сбыть издание. Я отвечал; они сделали рубрику: «Case of M. H.»[2], как помещают дополнения к убийствам или уголовным процессам... Адвертейзеровские немцы не только сомневались в Сибири, приписанной книгопродавцем, но и в самой ссылке. «В Вятке и Новгороде г. Г. был на *императорской* службе,— где же и когда он был в ссылке?»

Наконец, интерес иссяк... и «Morning Advertiser» забыл меня.

Прошло четыре года. Началась итальянская война — красный Маркс избрал самый черно-желтый журнал в Германии, «Аугсбургскую газету», и в ней стал выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона, Кошута, С. Телеки, Пульского и проч.— как продавшихся Бонапарту. Вслед за тем он напечатал: «Г., по самым верным источникам, получает большие деньги от Наполеона. Его близкие сношения с Palais-Royal'ем были и прежде не тайной...»

Я не отвечал, он зато был почти обрадован, когда тощий лондонский журнал «Herrman» поместил статейку, в которой говорится,— несмотря на то что я десять раз отвечал, что я этого никогда не писал,— что я «рекомендую России завоевать Вену и считаю ее столицей славянского мира».

Мы сидели за обедом — человек десять; кто-то рассказывал из газет о злодействах, сделанных Урбаном с своими пандурами возле Комо. Кавур обнародовал их. Что касается до Урбана, в нем сомневаться было грешно. Кондотьер, без роду и племени, он родился где-то на биваках и вырос в каких-то казармах; fille du régiment мужского пола и по всему, par droit de conquête et par droit de naissance[3], свирепый солдат, пандур и грабитель.

---

[1] «Моя ссылка *в Сибирь*» *(англ.).— Ред.*

[2] «Дело г. Г⟨ерцена⟩» *(англ.).— Ред.*

[3] дочь полка... по праву завоевания и по праву рождения *(франц.).— Ред.*

Дело было как-то около Маженты и Солферино. Немецкий патриотизм был тогда в периоде злейшей ярости; классическая любовь к Италии, патриотическая ненависть к Австрии — все исчезло перед *патосом* национальной гордости, хотевшей во что б ни стало удержать чужой «квадрилатер»[1]. Баварцы собирались идти — несмотря на то что их никто не посылал, никто не звал, никто не пускал... гремя ржавыми саблями бефрейюнгскрига[2]— они запаивали пивом и засыпали цветами всяких кроатов и далматов, шедших бить итальянцев за Австрию и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанник Бухер и какой-то, должно быть, побочный потомок Барбароссы Родбартус — протестовали против всякого притязания иностранцев (то есть итальянцев) на Венецию...

При этих неблагоприятных обстоятельствах и был между супом и рыбой поднят несчастный вопрос об злодействах Урбана.

— Ну, а если это неправда? — заметил, несколько побледневши, D-r Мюллер-Стрюбинг из Мекленбурга по телесному и Берлина — по духовному рождению.

— Однако ж нота Кавура...

— Ничего не доказывает.

— В таком случае,— заметил я,— может, под Маженой австрийцы разбили наголову французов — ведь никто из нас не был там.

— Это другое дело... там тысячи свидетелей, а тут какие-то итальянские мужики.

— Да что за охота защищать австрийских генералов... Разве мы и их и прусских генералов, офицеров не знаем по 1848 году? Эти проклятые юнкеры, с дерзким лицом и надменным видом...

— Господа,— заметил Мюллер,— прусских офицеров не следует оскорблять и ставить наряду с австрийскими.

— Таких тонкостей мы не знаем; все они несносны, противны, мне кажется, что все они, да и вдобавок наши лейб-гвардейцы,— такие же...

— Кто обижает прусских офицеров, обижает прусский народ, они с ним неразрывны,— и Мюллер, совсем бледный, отставил в первый раз отроду дрожащей рукой стакан налитого пива.

— Наш друг Мюллер — величайший патриот Германии,— сказал я, все еще полушутя,— он на алтарь отечества приносит больше, чем жизнь, больше, чем обожженную руку: он жертвует здравым смыслом.

— И нога его не будет в доме, где обижают германский народ,— с этими словами мой доктор философии встал, бросил

---

[1] четырехугольник крепостей *(от франц. quadrilatère).— Ред.*

[2] освободительной войны *(от нем. Befreiungskrieg).— Ред.*

на стол салфетку — как материальный знак разрыва — и мрачно вышел... С тех пор мы не виделись.

А ведь мы с ним пили на «du»[1] у Стеели, Gendarmenplatz, в Берлине, в 1847 году, и он был самый лучший и самый счастливый немецкий Bummler[2] из всех виденных мною. Не въезжая в Россию, он как-то всю жизнь прожил с русскими,— и биография его не лишена для нас интереса.

Как все немцы, не работающие руками, Мюллер учился древним языкам очень долго и подробно, знал их очень хорошо и много,— его образование было до того упорно классическое,— что не имел времени никогда заглянуть ни в какую книгу об естествоведении, хотя естественные науки уважал, зная, что Гумбольдт ими занимался всю жизнь. Мюллер, как все филологи, умер бы от стыда, если б он не знал какую-нибудь книжонку — средневековую или классическую дрянь и, не обинуясь, признавался, например, в совершенном неведении физики, химии и проч. Страстный музыкант — без Anschlag'a[3] и голоса, платонический эстетик, не умевший карандаша в руки взять и изучавший картины и статуи *в Берлине*, Мюллер начал свою карьеру глубокомысленными статьями об игре талантливых, но все неизвестных берлинских актеров в «Шпееровой газете» и был страстным любителем спектакля. Театр, впрочем, не мешал ему любить вообще все зрелища, от зверинцев с пожилыми львами и умывающимися белыми медведями и фокусников до панорам, косморам, акробатов, телят с двумя головами, восковых фигур, ученых собак и проч.

В жизнь мою я не видывал такого *деятельного лентяя*, такого вечно занятого — праздношатающегося. Утомленный, в поту, в пыли, измятый, затасканный, приходил он в одиннадцатом часу вечера и бросался на диван, вы думаете, у себя в комнате? Совсем нет, в учено-литературной биркнейпе[4] у Стеели, и принимался за пиво... выпивал он его нечеловеческое количество — беспрестанно стучал крышкой кружки,— и Jungfer[5] уже знала без слов и просьбы, что следует нести другую. Здесь, окруженный отставными актерами и еще не принятыми в литературу писателями, проповедовал Мюллер часы о Каулбахе и Корнелиусе, о том, как пел в этот вечер Лабочета (!) в Королевской опере, о том, как мысль губит стихотворение и портит картину, убивая ее непосредственность, и вдруг вскакивал, вспомнив, что он должен

[1] «ты» *(нем.).— Ред.*
[2] гуляка *(нем.).— Ред.*
[3] туше́ *(нем.).— Ред.*
[4] пивной *(от нем. Bierkneip).— Ред.*
[5] служанка *(нем.).— Ред.*

завтра в восемь часов утра бежать к Пассаланье в египетский музей смотреть новую мумию — и это непременно в восемь часов, потому что в половину десятого один приятель обещал ему сводить его в конюшню английского посланника показать, как англичане отлично содержат лошадей. Схваченный таким воспоминанием, Мюллер, извиняясь, наскоро выпивал кружку, забывая то очки, то платок, то крошечную табатерку, бежал в какой-то переулок за Шпре, подымался в четвертый этаж и торопился выспаться, чтоб не заставить дожидаться мумию, три-четыре тысячи лет покоившуюся, не нуждаясь ни в Пассаланье, ни в D-r Мюллере.

Без гроша денег и тратя последние на cerealia и circenses[1], Мюллер жил на антониевой пище, храня внутри сердца непреодолимую любовь к кухонным редкостям и столовым лакомствам. Зато, когда фортуна ему улыбалась и его несчастная любовь могла перейти в реальную, он торжественно доказывал, что он не только уважал категорию качества, но столько же отдавал справедливость категории количества.

Судьба, редко балующая немцев,— особенно идущих по филологической части,— сильно баловала Мюллера. Он случайно попал в пассатное русское общество — и притом молодых и образованных русских. Оно завертело его — закормило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre![2] Лица менялись — пир продолжался, бессменным был один Мюллер. Кого и кого с 1840 года не водил он по музеям, кому не объяснял Каулбаха, кого не водил в университет? Тогда была эпоха поклонения Германии в пущем разгаре — русский останавливался с почтением в Берлине и, тронутый, что попирает философскую землю,— которую Гегель попирал,— поминал его и учеников его с Мюллером языческими возлияниями и страсбургскими пирогами.

Эти события могли расстроить все миросозерцание какого угодно немца. Немец не может одним синтезисом обнять страсбургские пироги и шампанское с изучением Гегеля, идущим даже до брошюр Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шаллера, Розенкранца и всех в жизни усопших знаменитостей сороковых годов. У них все еще если страсбургский пирог — то банкир, если Champagner[3] — то юнкер.

Мюллер, довольный, что нашел такое вкусное сочетание науки с жизнью, сбился с ног — покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь в почтовую карету (или потом в вагон), чтоб ехать в Париж, перебрасывала его, как ракету волана,

---

[1] хлеб и зрелища *(лат.)*.— *Ред.*
[2] годы наслаждения *(нем.)*.— *Ред.*
[3] шампанское *(нем.)*.— *Ред.*

к русской семье, подъезжавшей из Кенигсберга или Штеттина. С провод он торопился на встречу, и горькое пиво разлуки было пагоняемо сладким пивом нового знакомства. Виргилий философского чистилища, он вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens[1]. Чистые душою соотечественники наши оставляли с увлечением прибранные комнаты и порядочное вино отелей, чтоб бежать с Мюллером в душную полпивную. Они все были вне себя от буршикозной[2] жизни, и скверный табачный дым Германии — им сладок и приятен был.

В 1847 году и я делил эти увлечения — и мне казалось, что я как-то выше становлюсь в общественном значении, оттого что по вечерам встречал в полпивной Ауэрбаха — читавшего карикатурно Шиллерову «Bürgschaft» и рассказывавшего смешные анекдоты вроде того, как русский генерал покупал для двора какие-то картины в Дюссельдорфе. Генерал был не совсем доволен величиной картины и думал, что живописец хочет его обмерить. «Гут,— говорит он,— абер клейн. Кейзер liebt grosse Bilder, Кейзер sehr klug; Gott klüger, aber Кейзер noch jung»[3] и т. п. Сверх Ауэрбаха там бывали два-три *берлинских* (что было в этом звуке для русского уха сороковых годов!) профессора, один из них в каком-то сертуке на *военный* манер, и какой-то спившийся актер, который был недоволен современным сценическим искусством и считал себя неузнанным гением. Этого неоцененного Талму заставляли всякий вечер петь куплеты «о покушении Фиэски на Людвига-Филиппа» и немного потише о выстреле Чеха в прусского короля.

Hatte keiner je so Pech,
Wie der Bürgermeister Tschech,
Denn er schoss der Landesmutter,
Durch den Rock ins Unterfutter[4].

Вот она, свободная-то Европа!.. вот они, Афины на Шпре! И как мне было жаль друзей на Тверском бульваре и на Невском проспекте.

Зачем износились все эти чувства непочатости, северной свежести и неведения, удивленья, поклоненья?.. Все это оптический обман,— что же за беда... Разве мы в театр ходим не из-за оптиче-

---

[1] чистого мышления и немецких попоек *(нем.).— Ред.*

[2] студенческой *(от нем. burschikos).— Ред.*

[3] «Хороша... но мала. Государь любит большие картины, государь очень умен; бог умнее, но государь еще молод» *(нем.).— Ред.*

[4] Никто никогда не терпел такой неудачи, как бургомистр Чех, ведь он прострелил подкладку в мундире матери-страны *(нем.).— Ред.*

ского обмана, только тут мы сами в заговоре с обманщиком,— а там обман если и есть, то нет обманщика. Потом всякий увидит свои ошибки... улыбнется, немного посовестится, сообразит, что этого никогда не было... а веселые-то минуты *были-таки*.

Зачем видеть сразу всю подноготную — мне просто хотелось бы воротиться к прежним декорациям и взглянуть на них с лицевой стороны... «Луиза... обмани меня, солги, Луиза!»

Но Луиза (тоже Мюллер), отворачиваясь от старика, говорит, надувши губки: «Ach, um Himmelsgnaden, lassen Sie doch ihre Torheiten und gehen Sie mit ihren Weg!»...[1] и бреди себе по мостовой из булыжника, в пыли, шуме, треске, в безотрадных, ненужных, мелькающих встречах — ничем не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь к выходу — зачем? Затем, что его миновать нельзя.

Возвращаясь к Мюллеру, я должен сказать, что не все же он жил бабочкой, перелетая от Кронгартена — Под-Липы. Нет, и его молодость имела свою героическую главу, он высидел целых *пять лет* в тюрьме — и никогда порядком не знал за что — так же как и философское правительство, которое его засадило; тогда преследовали отголоски гамбахского праздника, студентских речей, брудершафтских тостов, буршентумских идей и тугендбундских воспоминаний. Вероятно, и Мюллер что-нибудь вспомнил,— его и посадили. Конечно, во всех Пруссиях с Вестфалией и Рейнскими провинциями не было субъекта меньше опасного для правительства, как Мюллер. Мюллер родился зрителем, шафером, публикой. Во время берлинской революции 1848 — он отнесся к ней точно так же — он бегал с улицы на улицу, подвергаясь то пуле, то аресту, для того чтоб посмотреть, что там делается и что тут.

После революции отеческое управление короля-богослова и философа стало тяжело, и Мюллер, походивши еще с полгода к Стеели и Пассаланье, начал скучать. Звезда его стояла высоко — спасенье было возле. Полина Гарсия-Виардо пригласила его к себе в Париж. Она была так покрыта нашими подснежными венками, так окружена северной любовью нашей, что сама состояла на правах русской и имела, стало быть, в свою очередь, неотъемлемое право на чичеронство Мюллера в Берлине.

Виардо звала его погостить у них. Быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества, всякого немца без *особенных примет* — от

[1] «Ах, ради неба, оставьте свои глупости и ступайте своей дорогой!» *(нем.)* — *Ред.*

французов. Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов и либералов маррастовского цвета, литераторов, Ж. Санд и проч. Кто не позавидовал бы Мюллеру и его дебютам в Париже.

На другой день после своего приезда он прибежал ко мне, совершенно запаленный от устали и суеты, и, не имея времени сказать двух слов, выпил бутылку вина, разбил стакан, взял мою трубочку и побежал в театр. В театре он трубочку потерял и, проведя целую ночь по разным полицейским домам,— явился ко мне с повинной головой. Я отпустил ему грех бинокля — за удовольствие, которое мне он доставлял своим медовым месяцем в Париже. Тут только он показал всю ширь своих способностей, он вырос ненасытностью всего на свете — картин, дворцов, звуков, видов, потрясений, еды и питья. Проглотив три-четыре дюжины устриц, он принимался за три других, потом за омара, потом за целый обед, окончив бутылку шампанского, он наливал с таким же наслаждением стакан пива, сходя с лестницы Вандомской колонны, он шел на купол Пантеона, и там и тут удивляясь громким и наивным удивлением немца — этого провинциала по натуре. Между волком и собакой[1] забегал он ко мне — выпивал галон пива, ел что попало, и когда волк брал верх над собакой — Мюллер уж сидел в райке какого-нибудь театра, заливаясь громким гутуральным[2] хохотом и пóтом, струившимся со всего лица его.

Не успел еще Мюллер досмотреть Париж и догадаться, что он становится невыносимо противен — как Ж. Санд его увезла к себе в Nohant. Для элегантной Виардо Мюллер à la longue[3] был слишком грузен; с ним случались в ее гостиной разные несчастия — раз как-то он с неосторожной скоростью уничтожил целую корзиночку каких-то особенных чудес, приготовленных к чаю для десяти человек — так что когда Виардо их предложила — в корзинке были одни крошки, и не в одной корзинке, а и на усах Мюллера[4].

Виардо передала его Ж. Санд. Ж. Санд, наскучив Парижем, ехала на покойное помещичье житье... Ж. Санд сделала с Мюллером чудеса, она как-то вычистила, прибрала, привела его в порядок — исчез темный табак, покрывавший верхнюю часть его белокурых усов, и доля немецких кнейповых песен заменилась фран-

---

[1] то есть в сумерки *(от франц. поговорки entre chien et loup).— Ред.*

[2] гортанным *(от франц. guttural).— Ред.*

[3] в конце концов *(франц.).— Ред.*

[4] И. Тургенев говорил о Мюллере, что, садясь за закуску, он с опытностью искусного полководца осматривал позицию, и, если находил слабое место, что недостает вина или мяса, он тотчас нападал на него и брал себе двойную порцию.

цузскими, вроде: «Pricadier, répontit Pantore»[1]. Мюллер вставил в Nohant двойную рамку лорнета в глаз и помолодел. Когда он приехал в Париж в отпуск, я его едва узнал.

Зачем он не утонул, купаясь в Nohant? Зачем не зашибла его где-нибудь железная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамере с буфетами, плошками и музыкой.

После 13 июня 1849 я уехал из Парижа; геройство Мюллера, кричавшего «Au armes!»[2] на Chaussée d'Antin, я рассказал в другом месте. Возвратившись в 1850 году в Париж, я Мюллера не видел, он был у Ж. Санд — меня выслали из Франции. Года через два я был в Лондоне и шел по Трафальгарской площади. Какой-то господин пристально смотрел в вставленный лорнет на Нельсона,— досмотревши его с лицевой стороны, он занялся правой.

«Да, это он? Кажется, он».

Между тем господин занялся спиной адмирала.

— Мюллер! — закричал я ему, он не тотчас пришел в себя: так его заняла плохая статуя скверного человека — но потом с криком «Potz Tausend!»[3] бросился ко мне. Он переехал на житье в Лондон, счастливая звезда его померкла. Да и трудно сказать, зачем он приехал именно в Лондон. Буммлеру[4], когда у него есть деньги,— нельзя не побывать в Лондоне, в нем будет пробел, раскаяние, неудовлетворенное желание, но жить в Лондоне ему нельзя и с деньгами,— а без денег и думать нечего.

В Лондоне надобно работать *в самом деле*, работать безостановочно, как локомотив, правильно, как машина, если человек отошел на день, на его месте стоят двое других, если человек занемог — его считают мертвым — все, от кого ему надобно получать работу, и здоровым — все, кому надобно получать от него деньги.

Мюллер, Мюллер... Куда ты попал из должности Виргилия в Берлине, из салонов Виардо, из помещичьей неги Ж. Санд. Прощай ноганские пресале[5] и пулярды; прощай русские завтраки, продолжающиеся до вечера, и русские обеды, оканчивающиеся на другой день, да прощай и русские,— в Лондон русские ездили на скорую руку, сконфуженные, потерянные — им было не до Мюллера. Да, кстати, прощай и солнце, которое так хорошо греет

---

[1] «Бригадир,— ответила Пандора» *(искаж. франц. «Brigadier, répondit Pandore»).— Ред.*

[2] «К оружию!» *(искаж. франц. «Aux armes!») — Ред.*

[3] «Тьфу, пропасть!» *(нем.) — Ред.*

[4] Гуляке *(от нем. Bummler).— Ред.*

[5] баранья котлетка *(от франц. présalé).— Ред.*

и весело светит,— когда нет денег на внутреннее топливо... туман, дым и вечная борьба работы, бой из-за работы!

Года через три Мюллер стал заметно стареть, морщины прорезывались глубже и глубже — он опускался, уроки не шли (несмотря на то что он на немецкий лад был очень основательно учен). Зачем он не ехал в Германию? Трудно сказать, но вообще у немцев, даже у таких неистовых патриотов, как Мюллер,— делается, поживши несколько лет вне Германии, непреодолимое отвращение от родины, что-то вроде обратного Heimweh[1]. В Лондоне он не мог свести концов. Длинная масленица, длившаяся около десяти лет, кончилась, и суровый пост захватил добродушного буммлера; потерянный, вечно ищущий захватить денег, кругом в маленьких долгах — он был жалок и становился диккенсовским лицом,— все еще доканчивал «Эрика», все еще мечтал, что продаст его и заслужит разом талеры и лавры... но «Эрик» был упорен и не оканчивался, и Мюллер, чтоб освежиться, дозволял себе, сверх пива, одну роскошь — plaisir train[2] в воскресенье. Он платил очень дешево за большие пространства и ничего не видал.

— Я еду на Isle of Wight, взад и вперед (помнится, 4 шиллинга), и завтра утром рано буду опять в Лондоне.

— Что же ты увидишь там?

— Да, но зато четыре шиллинга...

Бедный Мюллер, бедный буммлер!

А впрочем, пусть он ездит в Рейд, не видавши его; лишь бы также не видал будущего: в его гороскопе не осталось ни одной светлой точки, ни одного шанса. Он, бедняга, безотрадно и бесследно исчезнет в лондонском тумане.

ГЛАВА VIII

Отрывок этот идет за описанием «горных вершин» эмиграции — от их вечно красных утесов до низменных болот и «серных копей»[3]. Я прошу читателя не забывать, что в этой главе мы опускаемся с ним ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистым дном его, так, как оно было после февральского шквала.

Почти все описанное здесь изменилось, исчезло; политические подонки пятидесятых годов занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притих, вымер этот низменный мир волнений и гонений; отстой его успокоился и занял свое место в слой-

[1] тоски по родине *(нем.).— Ред.*

[2] Здесь: поездку в удешевленном праздничном поезде *(франц.).— Ред.*

[3] Die Schwefelbande.

ке. Оставшиеся личности становятся редкостью, и я уж люблю с ними встречаться.

Печально уродливы, печально смешны некоторые из образов, которые я хочу вывести, но они все писаны с натуры,— бесследно исчезнуть и они не должны.

ЛОНДОНСКАЯ ВОЛЬНИЦА ПЯТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ[1]

Простые несчастья и несчастья политические.— Учители и комиссионеры.— Ходебщики и хожалые.— Ораторы и эпистолаторы.— Ничего не делающие фактотумы и вечно занятые трутни.— Русские.— Воры.— Шпионы

Писано в 1856—1857

...От *серной шайки*, как сами немцы называют марксидов, естественно и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуще всего в Лондоне.

Можно себе представить, сколько противуположного снадобья захватывают с собой с материка и оставляют в Англии приливы и отливы революций и реакций, истощающих, как перемежающаяся лихорадка, европейский организм, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродят по сырому, топкому лондонскому дну. Каков должен быть хаос понятий, воззрений у этих образцов всех нравственных формаций и реформаций, всех протестов, всех утопий, всех отчаяний, всех надежд, встречающихся в закоулках, харчевнях и питейных домах Лестер-сквера и его *проселочных* переулков. «Там, где,— по выражению «Таймса»,— обитает жалкое население чужеземцев, носящих шляпы, каких никто не носит, и волосы там, где их не надобно, население несчастное, убогое, загнанное и которого трепещут все сильные монархи Европы, кроме английской королевы». Да, там действительно по public hous'ам[2] и харчевням сидят эти чужие, эти гости, за джином с горячей водой, с холодной водой и совсем без воды, с горьким портером в кружке и с еще больше горькими словами на губах, поджидая революции, к которой они больше не способны, и денег от родных, которых никогда не получат.

Каких оригиналов, каких чудаков я не нагляделся между ними! Тут рядом с коммунистом старого толка, ненавидящим всякого собственника во имя общего братства,— старый карлист,

---

[1] Из V тома «Былое и думы».

[2] питейным домам *(англ.).— Ред.*

пристреливавший своих родных братьев во имя любви к отечеству, из преданности к Монтемолино или Дон-Хуану, о которых ничего не знал и не знает. Там рядом с венгерцем, рассказывающим, как он с пятью гонведами опрокинул эскадрон австрийской кавалерии, и застегивающим венгерку до самого горла, чтобы иметь еще больше военный вид, венгерку, размеры которой показывают, что ее юность принадлежала другому,— немец, дающий уроки музыки, латыни, всех литератур и всех искусств из насущного пива, атеист, космополит, презирающий все нации, кроме Кур-Гессена или Гессен-Касселя, смотря по тому, в котором из Гессенов родился, поляк прежнего покроя, католически любящий независимость, и итальянец, полагающий независимость в ненависти к католицизму.

Возле эмигрантов-революционеров эмигранты-*консерваторы*. Какой-нибудь негоциант или нотариус, sans adieu[1] удалившийся от родины, кредиторов и доверителей, считающий себя тоже *несправедливо гонимым*,— какой-нибудь *честный* банкрут, уверенный, что он скоро очистится, приобретет кредит и капитал, так, как его сосед справа достоверно знает, что на днях la rouge[2] будет провозглашена лично самой «Марьянной» — а сосед слева,— что орлеанская фамилия укладывается в Клермоне и принцессы шьют отличные платья для торжественного въезда в Париж.

К *консервативной* среде «виноватых, но не осужденных окончательно за *отсутствием* подсудимого», принадлежат и больше радикальные лица, чем банкруты и нотариусы с горячим воображением,— это люди, имевшие на родине *большие несчастья* и желающие всеми силами выдать свои *простые несчастья* за несчастья *политические*. Эта особая номенклатура требует пояснения.

Один наш приятель явился шутя в агентство сватовства. С него взяли десять франков и принялись расспрашивать, какую ему нужно невесту, в сколько приданого, белокурую или смуглую, и проч.; затем записывавший гладенький старичок, оговорившись и извиняясь, стал спрашивать о его происхождении, очень обрадовался, узнав, что оно дворянское, потом, усугубив извинения, спросил его, заметив притом, что молчание гроба их закон и сила:

— Не имели ли вы *несчастий?*

— Я поляк и в изгнании, то есть без родины, без прав, без состояния.

— Последнее плохо, но позвольте, по какой причине оставили вы вашу belle patrie?[3]

---

[1] не простившись *(франц.)*.— *Ред.*
[2] красная *(франц.)*.— *Ред.*
[3] прекрасную отчизну *(франц.)*.— *Ред.*

— По причине последнего восстания (дело было в 1848 году).

— Это ничего не значит, *политические несчастья мы не считаем;* оно скорее выгодно, c'est une attraction[1]. Но позвольте, вы меня заверяете, что у вас не было *других несчастий?*

— Мало ли было, ну отец с матерью у меня умерли.

— О нет, нет...

— Что же вы разумеете под словом *другого несчастья?*

— Видите, если б вы оставили ваше прекрасное отечество по *частным* причинам, а не по политическим. Иногда в молодости неосторожность, дурные примеры, искушение больших городов, знаете, эдак... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись, как-нибудь...

— Понимаю, понимаю,— сказал, расхохотавшись, Хоецкий,— нет, уверяю вас, я не был судим ни за кражу, ни за подлог.

...В 1855 году один француз exilé de sa patrie[2] ходил по товарищам несчастья с предложением помочь ему в издании его поэмы, вроде Бальзаковой «Comédie du diable», писанной стихами и прозой, с новой орфографией и вновь изобретенным синтаксисом. Тут были действующими лицами Людвиг-Филипп, Иисус Христос, Робеспьер, маршал Бюжо и сам бог.

Между прочим, явился он с той же просьбой к Шельхеру, честнейшему и чопорнейшему из смертных.

— Вы давно ли в эмиграции? — спросил его защитник черных.

— С тысяча восемьсот сорок седьмого года.

— С тысяча восемьсот сорок седьмого года? И вы приехали сюда?

— Из Бреста, из каторжной работы.

— Какое же это было дело? Я совсем не помню.

— О, как же, тогда это дело было очень известно. Конечно, это дело больше частное.

— Однако ж?..— спросил несколько обеспокоенный Шельхер.

— Ah bas, si vous y tenez, я по-своему протестовал против права собственности, j'ai protesté à ma manière[3].

— И вы... вы были в Бресте?

— Parbleu oui![4] семь лет каторжной работы *за воровство со взломом* (vol avec effraction).

И Шельхер голосом целомудренной Сусанны, гнавшей нескромных стариков, просил самобытного протестанта выйти вон.

---

[1] это привлекает внимание *(франц.).— Ред.*

[2] изгнанный из своего отечества *(франц.).— Ред.*

[3] А, если вы настаиваете... я протестовал по-своему *(франц.).— Ред.*

[4] Да, черт возьми! *(франц.) — Ред.*

Люди, которых несчастья, по счастью, были *общие* и протесты коллективные, оставленные нами в закопченных public hous'ах и черных тавернах, за некрашеными столами с джинуатером и портером, настрадались вдоволь и, что всего больнее, не зная совсем за что.

Время шло с ужасной медленностью, но шло; революции нигде не было в виду, кроме в их воображении, а нужда действительная, беспощадная подкашивала все ближе и ближе подножный корм, и вся эта масса людей, большею частью хороших, голодала больше и больше. Привычки у них не было к работе, ум, обращенный на политическую арену, не мог сосредоточиться на деле. Они хватались за все, но с озлоблением, с досадой, с нетерпением, без выдержки, и все падало у них из рук. Те, у которых была сила и мужество труда, те незаметно выделялись и выплывали из тины, а остальные?

И какая бездна была этих остальных! С тех пор многих унесла французская амнистия и амнистия смерти, но в начале пятидесятых годов я застал еще the great tide[1].

Немецкие изгнанники, особенно не работники, много бедствовали, не меньше французов. Удач им было мало. Доктора медицины, хорошо учившиеся и во всяком случае во сто раз лучше знавшие дело, чем английские цирюльники, называемые surgeon[2], не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели с чистыми и платоническими мечтами об искусстве и священнодейственном служении ему, но без производительного таланта, без ожесточения, настойчивости работы, без меткого чутья, гибли в толпе соревнующих соперников. В простой жизни своего маленького городка, на дешевом немецком корму они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое девственное поклонение идеалам и веру в свое жреческое призвание. Там они остались бы и умерли в подозрении таланта. Вырванные французской бурей из родных палисадников, они потерялись в Беловежской пуще лондонской жизни.

В Лондоне, чтоб не быть затертым, задавленным, надобно работать много, резко, сейчас и что́ попало, что́ потребовали. Надобно остановить рассеянное внимание ко всему приглядевшейся толпы силой, наглостью, множеством, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слепки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цветы — лишь бы скорее, лишь бы кстати и в большом количестве. Жюльен, le grand Julien[4], *через*

---

[1] великую волну прилива *(англ.).— Ред.*
[2] хирург *(англ.).— Ред.*
[3] великий Жюльен *(франц.).— Ред.*

сутки после получения вести об индийской победе Гевлока, написал концерт с криком африканских птиц и топотом слонов, с индийскими напевами и пушечной пальбой, так что Лондон разом читал в газетах и слушал в концерте реляцию. За этот концерт он выручил громадные суммы, повторяя его месяц. А зарейнские мечтатели падали средь дороги на этой бесчеловечной скачке за деньгами и успехами, изнеможенные, с отчаянием складывали они руки или, хуже, подымали их на себя, чтобы окончить неровный и оскорбительный бой.

Кстати, к концертам,— музыкантам из немцев вообще было легче — количество их, потребляемое ежедневно Лондоном с его субурбами[1], колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мещан и нескромные в Argyl'руме, в Креморне, в Casino, cafés-chantants с танцами, cafés-chantants с трико в античных позах, Her Majesty's[2], Ковен-гарден, Эксетер-галль, Кристаль-палас, С. Джемс наверху — и углы всех больших улиц внизу занимают и содержат целое народонаселение двух-трех немецких герцогств. Мечтай себе о музыке будущего и о Россини, коленопреклоненном перед Вагнером, читай себе дома à livre ouvert[3], без инструмента, «Тангейзера» и исполняй, за штатским тамбурмажором и гаером с слоновой палкой, часа четыре кряду какую-нибудь Mary-Ann польку или Flower and butterfly's redova[4],— и дадут бедняку от двух до четырех с половиной шиллингов за вечер, и пойдет он в темную ночь по дождю в полпивную, в которую преимущественно ходят немцы, и застанет там моих бывших друзей Краута и Мюллера,— Краута, шестой год работающего над бюстом, который становится все хуже; Мюллера, двадцать шестой год дописывающего трагедию «Эрик», которую он мне читал десять лет тому назад, пять лет тому назад и теперь бы еще читал, если б мы не поссорились с ним.

А поссорились мы с ним за генерала Урбана, но об этом в другой раз...

...И чего ни делали немцы, чтоб заслужить благосклонное внимание англичан, все безуспешно.

Люди, всю жизнь курившие во всех углах своего жилья, за обедом и чаем, в постели и за работой, не курят в Лондоне, в самом законченном, продымленном от угля drawing-room'е[5] и не дозволяют курить гостю. Люди, всю жизнь ходившие в бирк-

---

[1] пригородами *(от англ. suburb).— Ред.*
[2] ее величества *(англ.).— Ред.*
[3] с листа *(франц.).— Ред.*
[4] танец цветка и бабочки *(англ.).— Ред.*
[5] гостиной *(англ.).— Ред.*

нейпы своей родины выпить «шоп»[1], посидеть там за трубкой в хорошем обществе, идут, не глядя, мимо public hous'ов и посылают туда за пивом горничную с кружкой или молочником.

Мне случилось в присутствии одного немецкого выходца отправлять к англичанке письмо.

— Что вы делаете? — вскрикнул он в каком-то азарте. Я вздрогнул и невольно бросил пакет, полагая, по крайней мере, что в нем скорпион.

— В Англии,— сказал он,— письмо складывают вообще *втрое*, *а не вчетверо*, а вы еще пишете к даме, и к какой!

С начала моего приезда в Лондон я пошел отыскивать одного знакомого немецкого доктора. Я не застал его дома и написал на бумаге, лежавшей на столе, что-то вроде: «Cher docteur, я в Лондоне и очень желал бы вас видеть, не придете ли вечером в такую-то таверну выпить по-старому бутылку вина и потолковать о всякой всячине». Доктор не пришел, а на другой день я получил от него записку в таком роде: «Monsieur H., мне очень жаль, что я не мог воспользоваться вашим любезным приглашением, мои занятия не оставляют мне столько свободного времени. Постараюсь, впрочем, на днях посетить вас» и проч.

— А что? У доктора, видно, практика, того? — спросил я освободителя Германии, которому был обязан знанием, что англичане письма складывают втрое.

— Никакой нет, der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominös[2].

— Так что же он делает? — и я передал ему записку.

Он улыбнулся, однако заметил, что и мне вряд следовало ли оставлять на столе доктора медицины открытую записку, в которой я его приглашаю выпить бутылку вина.

— Да и зачем же в такой таверне, где всегда народ? Здесь пьют дома.

— Жаль,— заметил я,— наука всегда приходит поздно; теперь я знаю, как доктора звать и куда, но наверно не позову.

Затем воротимся к нашим чающим движения народного, пересылки денег от родных и работы без труда.

Неработнику начать работу не так легко, как кажется; многие думают, пришла нужда, есть работа, есть молот и долот и работник готов. Работа требует не только своего рода воспитания, навыка, но и самоотвержения. Изгнанники большей частью люди из мелкой литературной и «паркетной»[3] среды, журнальные поден-

---

[1] кружку *(от франц. chope).— Ред.*

[2] малому не повезло в Лондоне, ему приходится очень плохо *(нем.).— Ред.*

[3] судейской *(от франц. parquet).— Ред.*

щики, начинавшие адвокаты — от своего труда в Англии они жить не могли, другой им был дик; да и не стоило начинать его, они все прислушивались, не раздастся ли набат; прошло десять лет, прошло пятнадцать лет, нет набата.

В отчаянии, в досаде, без платья, без обеспечения на завтрашний день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрыв глаза, на аферы, выдумывают спекуляции. Аферы не удаются, спекуляции лопают и потому, что они выдумывают вздор, и потому, что они вносят вместо капитала какую-то беспомощную неловкость в деле, чрезвычайную раздражительность, неуменье найтиться в самом простом положении и опять-таки неспособность к выдержанному труду и усеянному терниями началу. При неудаче они утешаются недостатком денег: «Будь сто — двести фунтов, и все пошло бы как по маслу!» Действительно, недостаток капитала мешает, но это — общая судьба работников. Чего и чего не выдумывалось,— от общества на акциях для выписывания из Гавра куриных яиц до изобретения особых чернил для фабричных марок и каких-то эссенций, которыми можно было превращать скверные водки в превосходнейшие ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на все эти чудеса, надобно было есть и несколько прикрываться от северо-восточного ветра и от застенчивых взоров дщерей Альбиона.

Для этого предпринимались два паллиативные средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но с большими развлечениями. Люди мирные, с Sitzfleisch'ем[1], принимались за уроки, несмотря на то что они не только прежде не давали уроков, да и сомнительно, чтоб когда-нибудь их брали. Конкуренция страшно понизила цены.

Вот образчик объявлений одного семидесятилетнего старика, который, мне кажется, принадлежал скорее к числу *самобытных протестантов*, чем коллективных.

MONSIEUR N. N.
TEACHES THE FRENCH LANGUAGE:

on a new and easy system of rapid proficiency,
has attended Members of the British Parliament and many other persons of respectability, as vouchers certify,
translates and interprets that universal continental language, and english,

IN A MASTERLY MANNER.
TERMS MODERATE:

Namely, three Lessons per Week for Six Shillings[2].

---

[1] усидчивостью *(нем.).— Ред.*

[2] Господин N. N. учит французскому языку по новой и легкой методе

Давать уроки у англичан не составляет особенного удовольствия — кому англичанин платит, с тем он не церемонится.

Один из моих старых приятелей получает письмо от какого-то англичанина, предлагающего ему давать уроки французского языка его дочери. Он отправился к нему в назначенное время для переговора. Отец спал после обеда, его встретила дочь, и довольно учтиво, потом вышел старик, осмотрел с головы до ног Боке и спросил: «Vous être le french teacher?» Боке подтвердил. «Vous pas convenir à moa»[1]. При этом британский осел указал на усы и бороду.

— Что же вы ему не дали тумака? — спрашивал я Боке.

— Я, право, думал об этом, но когда бык поворотился, дочь со слезами на глазах, молча, просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не так скучно; оно состоит в судорожном и артистическом комиссионерстве, в предложении разных разностей без внимания на запрос. Французы по большей части *работали* в винах и водках. Один легист[2] предлагал своим знакомым и *корелижионерам*[3] коньяк, доставшийся ему чрезвычайным образом, по связям, о которых в теперешнем положении Франции он не мог и не должен был рассказывать, и притом через капитана корабля, которого компрометировать было бы calamité publique[4]. Коньяк был так себе и стоил шесть пенсов дороже, чем в лавке. Легист, привыкнувший «пледировать»[5] с декламацией, прибавлял к насилию оскорбление — он брал рюмку двумя пальцами за донышко, описывал ею медленные круги, плескал несколько капель, нюхал их на воздухе и всякий раз был изумлен замечательно превосходным запахом коньяка.

Другой товарищ изгнания, некогда провинциальный профессор словесности, увлекал вином. Вино он получал *прямо* из Кот д'Ора, Бургоньи, от прежних учеников и с необыкновенным выбором.

«Гражданин,— писал он ко мне,— спросите ваше братское сердце (votre cœur fraternel), и оно вам скажет, что вы должны мне уступить приятное преимущество снабжать вас французским

быстрого усвоения, занимался с членами британского парламента и со многими уважаемыми лицами, как удостоверяют свидетельства, переводит и объясняет этот всемирный язык, и по-английски, удивительным образом. Цены умеренные: именно, три урока в неделю — шесть шиллингов *(искаж. англ.).— Ред.*

[1] Вы — учитель французского языка?.. Вы мне не подходите *(искаж. франц.).— Ред.*

[2] юрист *(от франц. legiste).— Ред.*

[3] единомышленникам *(от франц. coreligionnaire).— Ред.*

[4] общественным бедствием *(франц.).— Ред.*

[5] говорить, доказывать *(от франц. plaider).— Ред.*

вином. И тут сердце ваше будет заодно со вкусом и экономией: употребляя превосходное вино по самой дешевой цене, вы будете иметь наслаждение в мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человека, который делу родины и свободы пожертвовал все.

Salut et fraternité![1]

P. S. Я взял на себя смелость вместе с тем отправить к вам несколько проб».

Образчики эти были в полубутылках, на которых он собственноручно надписывал не только имя вина, но и разные обстоятельства из его биографии: «Chambertin (Gr. vin et très rare!). Côte-rôtie (Comète). Pommard (1823!). Nuits (provision Aguado!)...»[2]

Недели через две-три профессор словесности снова присылал образчики. Обыкновенно через день или два после присылки он являлся сам и сидел час, два, три, до тех пор, пока я оставлял почти все пробы и платил за них. Так как он был неумолим и это повторялось несколько раз, то впоследствии, только что он отворял дверь, я хвалил часть образчиков, отдавал деньги и остальное вино.

— Я не хочу, гражданин, у вас красть ваше драгоценное время,— говорил он мне и освобождал меня недели на две от кислого бургонского, рожденного под кометой, и пряного Кот-роти из подвалов Aguado.

Немцы, венгерцы работали в других отраслях.

Как-то в Ричмонде я лежал в одном из страшных припадков головной боли. Взошел Франсуа с визитной карточкой, говоря, что какой-то господин имеет крайность меня видеть, что он — венгерец, adjutante del generale (*все* венгерцы-изгнанники, не имеющие никакого занятия, никакой честной профессии, называли себя *адъютантами Кошута*). Я взглянул на карточку — совершенно незнакомая фамилия, украшенная капитанским чином.

— Зачем вы его пустили? Сколько тысяч раз я вам говорил?

— Он приходит сегодня в третий раз.

— Ну, зовите в залу.— Я вышел разъяренным львом, вооружившись склянкой распалевой седативной[3] воды.

— Позвольте рекомендоваться, капитан такой-то. Я долгое время находился у русских в плену, у Ридигера после Вилагоша. С нами русские превосходно обращались. Я был особенно обла-

---

[1] Привет и братство! *(франц.)* — *Ред.*

[2] «Шамбертен (из лучших вин и очень редкое!). Кот-роти (Комета), Помар (1823!). Нюи (из погребов Агвадо!)...» *(франц.).*— *Ред.*

[3] болеутоляющей *(от франц. sédatif).*— *Ред.*

скан генералом Глазенапом и полковником... как бишь его... русские фамилии очень мудрены... *ич... ич...*

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я ни одного полковника не знаю... Очень рад, что вам было хорошо. Не угодно ли сесть?

— Очень, очень хорошо... мы с офицерами всякий день эдак, штос, банк... прекрасные люди и австрийцев терпеть не могут. Я даже помню несколько слов по-русски: «глеба», «шевердак» — une pièce de 25 sous[1].

— Позвольте вас спросить, что мне доставляет...

— Вы меня должны извинить, *барон*... я гулял в Ричмонде... прекрасная погода, жаль только, что дождь идет... я столько наслышался об вас от *самого старика* и от графа Сандора — Сандора Телеки, даже от графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, hors de ligne[2].— Молчание.

— Да-с, и Сандор... мы с ним вместе были в гонведах... Я, собственно, желал бы показать вам...— И он вытащил откуда-то из-за стула портфель, развязал его и вынул портреты безрукого Раглана, отвратительную рожу С.-Арно, Омер-паши в феске.— Сходство, барон, удивительное. Я сам был в Турции, в Кутаисе, в тысяча восемьсот сорок девятом году,— прибавил он как будто в удостоверение сходства, несмотря на то что в 1849 году ни Раглана, ни С.-Арно там не было.— Вы прежде видели эту коллекцию?

— Как не видать,— отвечаю я, смачивая голову распалевой водой.— Эти портреты вывешены везде, на Чипсайде, по Странду, в Вест-Энде.

— Да-с, вы правы, но у меня вся коллекция, и те не на китайской бумаге. В лавках вы заплатите гинею, а я могу вам уступить за пятнадцать шиллингов.

— Я, право, очень благодарен, но скажите, капитан, на что же мне портреты С.-Арно и всей этой сволочи?

— Барон, я буду откровенен, я солдат, а не меттерниховский дипломат. Потеряв мои владения близ Темешвара, я нахожусь во временно стесненном положении, а потому беру на комиссию артистические вещи (а также сигары, гаванские сигары и турецкий табак — уж в нем-то русские и мы знаем толк!); это доставляет мне скудную копейку, на которую я покупаю «горький хлеб изгнанья», wie der Schiller sagt[3].

---

[1] монета в 25 су *(франц.).— Ред.*
[2] из ряда вон *(франц.).— Ред.*
[3] как говорит Шиллер *(нем.).— Ред.*

— Капитан, будьте вполне откровенны и скажите, что́ вам придется с каждой тетради? — спрашиваю я (хотя и сомневаюсь, что Шиллер сказал этот дантовский стих).

— Полкроны.

— Позвольте нам вот как покончить дело: я вам предложу *целую крону*, но с тем, чтоб не покупать портретов.

— Право, барон, мне совестно, но мое положение... впрочем, вы всё знаете, чувствуете... я вас так давно привык уважать... графиня Пульская и граф Сандор... Сандор Телеки.

— Вы меня извините, капитан, я едва сижу от головной боли.

— У нашего губернатора (то есть у Кошута), у старика, тоже часто болит голова,— замечает мне гонвед, как бы в ободрение и утешение, потом наскоро завязывает портфель и берет вместе с удивительно похожими портретами Раглана и компании довольно сходное изображение королевы Виктории на монете.

Между этими *ходебщиками* эмиграции, предлагающими выгодные покупки, и эмигрантами, останавливающими всех не бреющих бороду на улицах и скверах, требуя *десятый год* недостающих двух шиллингов для отъезда в Америку и шести пенсов для покупки гробика ребенку, умершему от скарлатины,— находятся эмигранты, пишущие письма, иногда пользуясь знакомством, иногда пользуясь незнакомством, о всякого рода чрезвычайных нуждах и единовременных денежных затруднениях, часто представляя в дальней перспективе обогащение, и всегда с оригинальным эпистолярным искусством.

Таких писем у меня тетрадь; сообщу два-три особенно характеристических.

«Herr *Graf!*[1] Я был австрийским лейтенантом, но дрался за свободу мадьяров, должен был бежать и совершенно обносился. Если у вас найдутся поношенные панталоны — вы неизреченно меня обяжете.

P. S. Завтра в девять часов я наведаюсь у вашего *курьера*».

Это род наивный, но есть письма классические по языку и лапидарности, напр.:

«Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquid per me facere potes, gaudeo, gaudebit cor meum.

Mercuris dies 1859»[2].

---

[1] граф *(нем.).— Ред.*

[2] Господин, я — галл, изгнанный из своего отечества за дело свободы народа. Мне нечего есть; если можешь что-нибудь для меня сделать, я радуюсь, сердце мое возрадуется. Среда (15 мая) 1859 *(лат.).— Ред.*

Другие письма, не имея ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особенным счетоводством:

«Гражданин, вы были так добры, что прислали мне прошлого февраля (вы, может, не помните, но *я* помню) *три* ливра. Давно хотел я вам их отдать, но не получал вовсе денег от родных; на днях я получу довольно значительную сумму. Если б мне не было совестно, я бы попросил вас прислать еще два ливра и отдал бы вам *круглым счетом пять* ливров».

Я предпочел остаться при трехугольном. Охотник до круглых счетов начал поговаривать, что я в связях с русским посольством.

Затем идут письма деловые и письма ораторские, и те и другие очень много теряют в русском переводе.

«Mon cher Monsieur! Вы, *верно*, знаете мое открытие, оно доставило бы нашему веку честь, а мне кусок хлеба. И открытие это останется неизвестным, оттого что у меня нет кредита на каких-нибудь двести фунтов, и вместо того чтобы заниматься моим делом, мне приходится за вздорную плату courir le cachet[1]. Всякий раз, когда мне представляется работа продолжительная и выгодная, насмешливая судьба дует на нее *(я перевожу слово в слово)*, она летит прочь — я за ней, настойчивая дерзость ее берет верх (son opiniâtre insolence bafoue mes projets), вновь стегает мои надежды, и я бегу туда-туда. Бегу и теперь. Поймаю ли? Почти уверен,— если вы, имея доверие к моему таланту, захотите пустить в волны ваше доверие с моими надеждами по капризному ветру моей судьбы (embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle peu aventureux de mon destin)». Далее объясняется, что восемьдесят фунтов есть в виду, даже восемьдесят пять; остальные сто пятнадцать изобретатель ищет занять, обещая тринадцать, almeno[2] одиннадцать, процентов в случае удачи. «Можно ли лучше, вернее поместить капитал в наше время, когда фонды всего мира колеблются и государства так нетвердо стоят, опираясь на штыки наших врагов?»

Я ста пятнадцати не даю. Изобретатель начинает соглашаться, что в моем поведении не все ясно, il y a du louche[3], и что не мешает со мною быть осторожным.

---

[1] бегать по урокам *(франц.).— Ред.*
[2] в крайнем случае *(итал.).— Ред.*
[3] есть что-то подозрительное *(франц.).— Ред.*

В заключение вот письмо чисто ораторское:

«Великодушный согражданин будущей всемирной республики! Сколько раз вы помогали мне и ваш знаменитый друг Луи Блан, и опять-таки я пишу к вам и пишу к гражданину Блану, чтоб попросить несколько шиллингов. Удручающее положение мое не улучшается вдали от Лар и Пенат, на негостеприимном острове эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы в одном из сочинений ваших (я постоянно их перечитываю), «что талант гаснет без денег, как лампа без масла» и проч.

Само собой разумеется, что я этой пошлости никогда не писал и что согражданин по будущей республике, future et universelle[1], ни разу не развертывал моих сочинений.

За ораторами на письме идут ораторы на словах, «делающие тротуар и переулок». Большею частью они только прикидываются изгнанниками, а в сущности — спившиеся с круга не английские мастеровые или люди, имевшие дома *несчастья*. Пользуясь необъятной величиной Лондона, они проделывают одну часть за другой и потом снова возвращаются на Via sacra[2], то есть на Режент-стрит с Геймаркетом и Лестер-сквером.

Лет пять тому назад молодой человек, довольно чисто одетый и с сентиментальной наружностью, несколько раз подходил ко мне в сумерках с вопросом на французском языке с немецким акцентом:

— Не можете ли вы мне сказать, где такая-то часть города? — и он подавал какой-то адрес верст за десять от Вест-Энда, где-нибудь в Головее, Гекнее. Каждый так, как и я, принимался ему толковать. Его обдавал ужас.

— Теперь девять часов вечера, я еще не ел... когда же я приду? Ни гроша на омнибус... этого я не ждал. Не смею просить вас, но если б вы меня выручили... Мне одного шиллинга за глаза довольно.

Я его встречал еще раза два, наконец он исчез, и я не без удовольствия его встретил несколько месяцев спустя на старом месте, с измененной бородой и в другой фуражке. С чувством приподымая ее, спросил он меня:

— Вы, верно, знаете по-французски?

— Знаю,— отвечал я,— да сверх того знаю, что у вас есть адрес, вам придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ели, на омнибус денег нет, вам нужен шиллинг... но на этот раз я вам дам сикспенс, потому что не вы мне, а я вам рассказал все это.

---

[1] будущей и всемирной *(франц.).— Ред.*
[2] Священную дорогу *(лат.).— Ред.*

— Что делать,— отвечал он мне улыбаясь, без малейшей злобы,— ведь вот вы опять не поверите, а я еду в Америку, прибавьте на дорогу.

Я не выдержал и додал сикспенс.

В числе этих господ были и русские: например, бывший кавказский офицер Стремоухов, просивший на бедность в Париже еще в 1847 году, рассказывая очень плавно историю какой-то дуэли, бегства и прочее и забирая, к сильному озлоблению прислуги, все на свете: старые платья и туфли, фуфайки летом и зимой панталоны из парусины, детские платья, дамские ненужности. Русские собрали для него денег и отправили в Алжир в иностранный легион. Он выслужил пять лет, привез аттестат и снова отправился из дома в дом рассказывать о дуэли и побеге, прибавляя к ним разные арабские похождения. Стремоухов становился стар — и жаль его было, и надоедал он страшно. Русский священник при лондонской миссии сделал для него коллекту[1], чтоб отправить его в Австралию. Ему дали в Мельбурн рекомендацию и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проезд. Стремоухов приходил к нам прощаться. Мы его совсем снарядили: я ему дал теплое пальто, Гауг — рубашек и проч. Стремоухов, прощаясь, заплакал и сказал:

— Как хотите, господа, а ехать в такую даль не легкая вещь. Вдруг разорваться со всеми привычками, но это надобно...

И он целовал нас и благодарил с горячностью.

Я думал, что Стремоухов давным-давно где-нибудь на берегах Виктории-Ривер, как вдруг читаю в «Таймсе», что какой-то russian officer Stremoouchoff[2] за буянство, драку в кабаке, вследствие каких-то взаимных обвинений в воровстве и проч., присуждается на три месяца тюрьмы. Месяца через четыре после этого я шел по Оксфорд-стрит, пошел сильный дождь, со мной не было зонтика — я под вороты. В то самое время, как я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлым зонтиком, торопливо шмыгнула под другие вороты. Я узнал Стремоухова.

— Как, вы воротились из Австралии? — спросил я его, прямо глядя ему в глаза.

— Ах, это вы, а я и не признал вас,— отвечал он слабым и умирающим голосом.— Нет-с, не из Австралии, а из больницы, где пролежал месяца три между жизнию и смертью... и не знаю, зачем выздоровел.

— В какой же вы были больнице, в St. George's Hospital?

— Нет, не здесь, в Соутамтоне.

---

[1] сбор пожертвований *(от франц. collecte).— Ред.*

[2] русский офицер Стремоухов *(англ.).— Ред.*

— Как же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и как же вы не уехали?

— Опоздал на первый train[1], приезжаю со вторым,— пароход-с ушел. Я постоял на берегу, постоял и чуть не бросился в пучину морскую. Иду к reverend'у[2], к которому наш батюшка меня рекомендовал. «Капитан, говорит, уехал, часу ждать не хотел».

— А деньги?

— Деньги он оставил у reverend'а.

— Вы, разумеется, их взяли?

— Взял-с, но проку не вышло, во время болезни все утащили из-под подушки, такой народ! Если можете чем помочь...

— А вот здесь, во время вашего отсутствия, какого-то другого Стремоухова запекли в тюрьму, и тоже на три месяца, за драку с курьером. Вы не слыхали?

— Где же слышать между жизнию и смертью. Кажется, дождь перестает. Желаю счастливо оставаться.

— Берегитесь выходить в сырую погоду, а то опять попадетесь в *больницу*.

После Крымской войны несколько пленных матросов и солдат остались, сами не зная зачем, в Лондоне. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Некоторые из них просили посольство заступиться за них, исходатайствовать прощение, aber was macht es denn dem Herrn Baron von Brunnov![3]

Они представляли чрезвычайно печальное зрелище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то с дерзостью (довольно неприятною в узких улицах после десяти часов вечера) требовали денег.

В 1853 году бежало несколько матросов с военного корабля в Портсмуте, часть их была возвращена в силу нелепого закона, под который подходят исключительно одни матросы. Несколько человек спаслись и припли пешком из *Порчмы* в Лондон. Один из них, молодой человек лет двадцати двух, с добрым и открытым лицом, был башмачником, умел тачать, как он называл, «шлиперы». Я купил ему инструмент и дал денег, но работа не пошла.

В это время Гарибальди отплывал с своим «Common Wealth» в Геную, я попросил его взять с собой молодого человека. Гарибальди принял его с жалованьем *фунта* в месяц и с обещанием, если будет хорошо себя вести, давать через год два фунта. Мат-

---

[1] поезд *(франц.).— Ред.*

[2] его преподобию *(англ.).— Ред.*

[3] но какое дело до этого барону фон Бруннову! *(нем.).— Ред.*

рос, разумеется, согласился, взял у Гарибальди два фунта вперед и принес свои пожитки на корабль.

На другой день после отъезда Гарибальди матрос пришел ко мне красный, заспанный, вспухнувший.

— Что случилось? — спрашиваю я его.

— Несчастье, ваше благородие, опоздал на корабль.

— Как опоздал?

Матрос бросился на колени и неестественно хныкал. Дело было исправимо. Корабль пошел за углем в Newcastle-upon-Tyne.

— Я тебя пошлю по железной дороге туда,— сказал я ему,— но если ты и на этот раз опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сделаю, хоть умри с голоду. А так как дорога в Newcastle стоит больше фунта, а я тебе не доверю шиллинга, то я пошлю за знакомым и ему поручу продержать тебя всю ночь и посадить в вагон.

— Всю жизнь буду молить бога за ваше высокородие!

Знакомый, взявшийся за отправку, пришел ко мне с рапортом, что матроса выпроводил.

Представьте же мое удивление, когда дня через три матрос явился с каким-то поляком.

— Что это значит? — закричал я на него, в самом деле дрожа от бешенства.

Но прежде чем матрос открыл рот, его товарищ принялся его защищать на ломаном русском языке, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и пива.

— Кто вы такой?

— Польский *дворянин.*

— В Польше все дворяне. Почему вы пришли ко мне с этим мошенником?

Дворянин расхорохорился. Я сухо заметил ему, что я с ним не знаком и что его присутствие в моей комнате до того странно, что я могу его велеть вывести, позвав полисмена.

Я посмотрел на матроса. В три дня аристократического общества с дворянином его много воспитали. Он не плакал и пьяно-дерзко смотрел на меня.

— Оченно занемог, ваше благородие. Думал богу душу отдать, полегчало, когда машина ушла.

— Где же это тебя схватило?

— На самой, то есть железной дороге.

— Что ж не поехал с следующей машиной?

— Невдомек-с, да и так как языку не способен...

— Где билет?

— Да билета нет.

— Как нет?

— Уступил тут одному человечку.

— Ну, теперь ищи себе других человечков, только в одном будь уверен: я тебе не помогу ни в каком случае.

— Однако, позвольте...— вступил в речь «вольный шляхтич».

— Милостивый государь, я не имею ничего вам сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился он с своим Телемаком, вероятно, до первого кабака.

Еще ступеньку вниз.

Может, многие с недоумением спросят, какая же это еще ступенька вниз?.. а *есть*, и довольно *большая* — только тут уж темно, идите осторожно. Я не имею pruderie[1] Шельхера, и мне автор поэмы, в которой Христос разговаривает с маршалом Бюжо, показался еще забавнее после геройского pour un vol avec effraction[2]. Если он и украл что-нибудь из-под замка, зато подвергался бог знает чему и потом работал несколько лет, может с ядром на ногах. Он имел против себя не только того, которого обокрал, но все государство и общество, церковь, войско, полицию, суд, всех честных людей, которым красть не нужно, и всех бесчестных, но не уличенных по суду. Есть воры другого рода, награждаемые правительством, отогреваемые начальством, благословляемые церковью, защищаемые войском и не преследуемые полицией, потому что они сами к ней принадлежат. Это люди, ворующие не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпионы — шпионы в квадрате... ими оканчивается порок и разврат; дальше, как за Луцифером у Данта, ничего нет — там уж опять пойдет вверх.

Французы — большие артисты этого дела. Они умеют ловко сочетать образованные формы, горячие фразы, aplomb человека, которого совесть чиста и point d'honneur[3] раздражителен, с должностью шпиона. Заподозрите его,— он вызовет вас на дуэль, он будет драться, и *храбро* драться.

«Записки» де ла Года, Шеню, Шнепфа — клад для изучения грязи, в которую цивилизация завела своих блудных детей. Де ла Год наивно печатает, что он, предавая своих друзей, должен был с ними хитрить так, «как хитрит охотник с дичью».

Де ла Год — это Алкивиад шпионства.

Молодой человек с литературным образованием и радикальным образом мыслей, он из провинции явился в Париж, бедный,

---

[1] ложной стыдливости *(франц.).— Ред.*

[2] за кражу со взломом *(франц.).— Ред.*

[3] чувство чести *(франц.).— Ред.*

как Пр. и просил работы в редакции «Реформы». Ему дали какую-то работу, он ее сделал хорошо; мало-помалу с ним сблизились. Он вступил в политические круги, знал многое из того, что делалось в республиканской партии, и продолжал работать *несколько лет*, оставаясь в самых дружеских отношениях к сотрудникам.

Когда, после Февральской революции, Косидьер разобрал бумаги в префектуре, он нашел, что де ла Год все время преправильно доносил полиции о том, что делалось в редакции «Реформы». Косидьер позвал де ла Года к Альберу, там ждали свидетели. Де ла Год явился, ничего не подозревая, попробовал запираться, но потом, видя невозможность, признался, что письма к префекту писал он. Возник вопрос: что с ним делать? Одни думали, и были совершенно правы, застрелить его тут же, как собаку. Альбер восстал пуще всех и не хотел, чтобы в *его квартире* убили человека. Косидьер предложил ему заряженный пистолет с тем, чтоб он застрелился. Де ла Год отказался. Кто-то спросил его, не хочет ли он яду? он и от яду отказался, а, отправляясь в тюрьму, как благоразумный человек, *спросил кружку пива*,— это факт, переданный мне сопровождавшим его помощником мэра XII округа.

Когда реакция стала брать верх, де ла Года выпустили из тюрьмы, он уехал в Англию, но когда реакция еще окончательнее восторжествовала, он возвратился в Париж и совался вперед в театрах и других публичных собраниях, как лев особой породы; вслед за тем издал он свои «Записки».

Шпионы постоянно трутся во всех эмиграциях — их узнают, открывают, колотят, а они свое дело делают с полнейшим успехом. В Париже полиция знает все лондонские тайны. День тайного приезда Делеклюза, потом Буашо во Францию были так хорошо известны, что они были схвачены в Кале, лишь только вышли из корабля. В коммунистическом процессе в Кельне читали документы и письма, «купленные в Лондоне», как наивно признался в суде прусский комиссар полиции.

В 1849 году я познакомился с изгнанным австрийским журналистом Энглендером. Он был очень умен, очень колок и впоследствии помещал в колачековских ярбухах[1] ряд живых статей об историческом развитии социализма. Энглендер этот попался в тюрьму в Париже по делу, названному «Делом корреспондентов». Ходили разные слухи об нем, наконец он сам явился в Лондон. Здесь другой австрийский изгнанник, доктор Гефнер, очень уважаемый своими, говорил, что Энглендер в Париже был на жалованье у префекта и что его сажали в тюрьму за измену брачной

[1] ежегодниках *(от нем. Jahrbuch).— Ред.*

верности французской полиции, приревновавшей его к австрийскому посольству, у которого он тоже был на жалованье. Энглендер жил разгульно, на это надобно много денег, одного префекта, видно, не хватало.

Немецкая эмиграция потолковала, потолковала и позвала Энглендера к ответу, Энглендер хотел отшутиться, но Гефнер был беспощаден, тогда муж двух полиций вдруг вскочил с раскрасневшимся лицом, со слезами на глазах и сказал: «Ну да, я во многом виноват, но не ему меня обвинять», и он бросил на стол письмо префекта, из которого ясно было, что и Гефнер получал от него деньги.

В Париже проживал некий Нидергубер, тоже австрийский рефюжье, я познакомился с ним в конце 1848 года. Товарищи его рассказывали об нем необыкновенно храбрый поступок во время революции в Вене. У инсургентов недоставало пороха, Нидергубер вызвался привезти по *железной дороге* и привез. Женатый и с детьми, он бедствовал в Париже. В 1853 году я его нашел в Лондоне в большой крайности; он занимал с семьею две небольшие комнатки в одном из самых бедных переулков Соо. Все не спорилось в его руках. Завел он было прачечную, в которой его жена и еще один эмигрант стирали белье, а Нидергубер развозил его — но товарищ уехал в Америку, и прачечная остановилась.

Ему хотелось поместиться в купеческую контору — очень неглупый человек и с образованием, он мог заработать хорошие деньги, но reférence[1], reférence, без reférence в Англии ни шагу. Я ему дал свою; по поводу этой рекомендации один немецкий рефюжье, Оппенгейм, заметил мне, что напрасно я хлопочу, что человек этот не пользуется хорошей репутацией, что он будто бы в связях с французской полицией.

В это время Рейхель привез в Лондон моих детей. Он принимал в Нидергубере большое участие. Я сообщил ему, что́ об нем говорят.

Рейхель расхохотался; он ручался за Нидергубера, как за самого себя, и указывал на его бедность, как на лучшее опровержение. Последнее убеждало отчасти и меня. Вечером Рейхель ушел гулять, возвратился поздно, встревоженный и бледный. Он взошел на минуту ко мне и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрел на него и сказал:

— У вас есть что-то на душе, heraus damit![2]

— Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

---

[1] рекомендация *(франц.).— Ред.*
[2] выкладывайте! *(нем.).— Ред.*

— Пожалуй, но что за шалости,— предоставьте моей совести.

— Я не мог успокоиться, услышавши от вас об Нидергубере, и, несмотря на обещание, данное вам, я решился его спросить и был у него. Жена его на днях родит, нужда страшная... чего мне стоило начать разговор! Я вызвал его на улицу и наконец, собрав все силы, сказал ему: «Знаете ли, что Г. предупреждали в том-то и том-то, я уверен, что это клевета, поручите мне разъяснить дело».— «Благодарю вас,— отвечал он мне мрачно,— но это не нужно; я знаю, откуда это идет. В минуту отчаяния, умирая с голода, я предложил префекту в Париже мои услуги, чтобы держать его au courant[1] эмиграционных новостей. Он мне прислал триста франков, и я никогда ему не писал потом».

Рейхель чуть не плакал.

— Послушайте, пока жена его не родит и не оправится, даю вам слово молчать; пусть идет в конторщики и оставит политические круги. Но, если я услышу новые доказательства и он все-таки будет в сношениях с эмиграцией, я его выдам. Черт с ним!

Рейхель уехал. Дней через десять, во время обеда, взошел ко мне Нидергубер, бледный, расстроенный.

— Вы можете понять,— говорил он,— чего мне стоит этот шаг, но, куда ни смотрю, кроме вас, спасенья нет. Жена родит через несколько часов, в доме ни угля, ни чая, ни чашки молока, денег ни гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушером.

И он, действительно изнеможенный, бросился на стул и, покрыв лицо руками, сказал:

— Остается пулю в лоб, по крайней мере, не увижу этого ужаса.

Я тотчас послал за добрым Павлом Дарашем, дал денег Нидергуберу и, сколько мог, успокоил его. На другой день Дараш заехал сказать, что роды сошли с рук хорошо.

Между тем весть, пущенная, вероятно, по личной вражде, о связях с французской полицией Нидергубера ходила больше и больше, и наконец Таузенау, известный венский клубист и агитатор, после речи которого народ повесил Латура, уверял направо и налево, что он сам читал письмо от префекта, писанное при присылке денег. Обвинение Нидергубера, видно, было дорого для Таузенау — он сам зашел ко мне, чтобы подтвердить его.

Положение мое становилось трудно. Гауг жил у меня — до того я ему не говорил ни слова, но теперь это становилось недели-

[1] в курсе *(франц.).— Ред.*

катно и опасно. Я рассказал ему, не упомянув о Рейхеле, которого не хотел путать в драму, имевшую все шансы на то, что V акт ее будет представляться в полицейском суде или в Олд-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: «вскипел бульон»; я едва мог усмирить Гауга и удержать его от нашествия на чердак Нидергубера. Я знал, что Нидергубер должен был прийти к нам с переписанными тетрадями, и советовал подождать его. Гауг согласился и как-то утром вбежал ко мне, бледный от ярости, и объявил, что Нидергубер внизу. Я бросил поскорее бумаги в стол и сошел. Перестрелка шла уж сильная. Гауг кричал, и Нидергубер кричал. Калибр крепких слов становился все крупнее. Выражение лица Нидергубера, искаженного злобой и стыдом, было дурно. Гауг был в азарте и путался. Этим путем можно было скорее дойти до раскрытия черепа, чем дела.

— Господа,— сказал я вдруг середь речи,— позвольте вас остановить на минуту.

Они остановились.

— Мне кажется, что вы портите дело горячностью; прежде чем браниться, надобно поставить совершенно ясно вопрос.

— Что *я шпион или нет?* — кричал Нидергубер.— Я ни одному человеку не позволю ставить такой вопрос.

— Нет, не в этом вопрос, который я хотел предложить; вас обвиняет *один человек*, да и не он один, что вы получали деньги от парижского префекта полиции.

— Кто этот человек?

— Таузенау.

— Мерзавец!

— Это к делу не идет; вы деньги получали или нет?

— *Получал*,— сказал Нидергубер с натянутым спокойствием, глядя мне и Гаугу в глаза. Гауг судорожно кривлялся и как-то стонал от нетерпения снова обругать Нидергубера, я взял Гауга за руку и сказал:

— Ну, только нам и надобно.

— *Нет, не только*,— отвечал Нидергубер,— вы должны знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировал никого.

— Дело это может решить только ваш корреспондент Пиетри, а мы с ним не знакомы.

— Да что я у вас — подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я должен перед вами оправдываться? Я слишком высоко ценю свое достоинство, чтобы зависеть от мнения какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будет в этом доме,— прибавил Нидергубер, гордо надел шляпу и отворил дверь.

— В этом вы можете быть уверены,— сказал я ему вслед.

Он хлопнул дверью и ушел. Гауг порывался за ним, но я, смеясь, остановил его, перефразируя слова Сийеса: «Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier — déjeunons!»[1]

Нидергубер отправился прямо к Таузенау. Тучный, лоснящийся Силен, о котором Маццини как-то сказал: «Мне все кажется, что его поджарили на оливковом масле и не обтерли», еще не покидал своего ложа. Дверь отворилась, и перед его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Нидергубера.

— Ты сказал Г., что я получал деньги от префекта?

— Я.

— Зачем?

— Затем, что ты получал.

— Хотя и знал, что я не доносил?! Вот же тебе за это! — При этих словах Нидергубер плюнул Таузенау в лицо и пошел вон... Разъяренный Силен не хотел остаться в долгу; он вскочил с постели, схватил горшок и, пользуясь тем, что Нидергубер спускался по лестнице, вылил ему весь запас на голову, приговаривая: «А это ты возьми себе».

Эпилог этот утешил меня несказанно.

— Видите, как хорошо я сделал,— говорил я Гаугу,— что вас остановил. Ну, что бы подобного вы могли сделать над главой несчастного корреспондента Пиетри, ведь он до второго пришествия не просохнет.

Казалось бы, дело должно было окончиться этой немецкой вендеттой, но у эпилога есть еще небольшой финал. Какой-то господин, говорят, добрый и честный, старик Винтергальтер, стал защищать Нидергубера. Он созвал комитет немцев и пригласил меня *как одного из обвинителей*. Я написал ему, что в комитет не пойду, что все мне известное ограничивается тем, что Нидергубер в моем присутствии сознался Гаугу, что он деньги *от префекта получал*. Винтергальтеру это не понравилось; он написал мне, что Нидергубер *фактически* виноват, но *морально* чист, и приложил письмо Нидергубера к нему. Нидергубер обращал, между прочим, внимание его на *странность* моего поведения. «Г.,— говорил он,— гораздо прежде знал от г. Рейхеля об этих деньгах и не только молчал до обвинения Таузенау, но после того еще дал мне два фунта и прислал на свой счет доктора во время болезни жены!»

Sehr gut![2]

---

[1] Сегодня мы те же, что были вчера, пойдем завтракать! *(франц.)— Ред.*

[2] Очень хорошо! *(нем.) — Ред.*

ГЛАВА IX

РОБЕРТ ОУЭН

Посвящено Кавелину

Ты все поймешь, ты все оценишь!

Shut up the world at large, let Bedlam out,
And you will be perhaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of «soi-disant» sound mind,
This I *could prove* beyond a single doubt
Were there a jot of sense among mankind,
But till that point d'appui is found alas,
Like Archimedes, I leave earth as't was.

Byron, Don Juan, C. XIV—84 [1]

I

...Вскоре после моего приезда в Лондон, в 1852 году, я получил приглашение от одной дамы; она звала меня на несколько дней к себе на дачу в Seven Oaks. Я с ней познакомился в Ницце, в 50 году, через Маццини. Она еще застала дом мой светлым и так оставила его. Мне захотелось ее видеть; я поехал.

Встреча наша была неловка. Слишком много черного было со мною с тех пор, как мы не видались. Если человек не хвастает своими бедствиями, то он их стыдится, и это чувство стыда всплывает при всякой встрече с прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мне руку и повела меня в парк. Это был первый старинный английский парк, который я видел, и один из великолепнейших. До него со времен Елисаветы не дотрагивалась рука человеческая; тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократически-монастырском удалении от мира. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворец — был пуст; несмотря на то что в нем жила одинокая старуха барыня, никого не было видно; только седой привратник, сидевший у ворот, с некоторой важностью замечал входящим в парк, чтобы в обеденное время не ходить мимо замка. В парке было так тихо, что лани гурьбой перебегали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявши морду. Нигде не раздавался никакой посторонний звук, и вороны каркали, точно как в старом саду, у нас в Васильевском.

---

[1] Заприте весь мир, но откройте Бедлам, и вы, может, удивитесь, найдя, что все идет тем же путем, что и при «soi-disant» ⟨так называемых *(франц.)*⟩ нормальных людях; это я безо всякого сомнения *мог бы доказать*, если бы у человечества была хоть капля здравого смысла, *но до того времени. пока этот point d'appui* ⟨точка опоры *(франц.)*⟩ *найдется*, увы, я, как Архимед, оставляю землю такой, как она есть. *Байрон, Дон-Жуан (англ.).— Ред.*

Так бы, кажется, лег где-нибудь под дерево и представил бы себе тринадцатилетний возраст... мы вчера только что из Москвы, тут где-нибудь неподалеку старик садовник троит мятную воду... На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют моря и гор.

Мы говорили об Италии, о поездке в Ментону; говорили о Медичи, с которым она была коротко знакома, об Орсини, и не говорили о том, что́ тогда меня и ее, вероятно, занимало больше всего.

Ее искреннее участие я видел в ее глазах и молча благодарил ее... Что́ я мог ей сказать нового?

Стал перепадать дождь; он мог сделаться сильным и продолжительным, мы воротились домой.

В гостиной был маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом,— с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты[1].

Дочери хозяйки дома бросились к седому дедушке; видно было, что они приятели.

Я остановился в дверях сада.

— Вот, кстати, как нельзя больше,— сказала их мать, протягивая старику руку,— сегодня у меня есть чем вас угостить. Позвольте вам представить нашего русского друга. Я думаю,— прибавила она, обращаясь ко мне,— вам приятно будет познакомиться с одним из *ваших патриархов*.

— Robert Owen,— сказал, добродушно улыбаясь, старик,— очень, очень рад.

Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения; если б я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки.

Так вот отчего у него добрый, светлый взгляд, вот отчего его любят дети... Это тот, *один* трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре), который осмелился произнести not guilty человечеству, not guilty преступнику. Это тот второй чудак, который скорбело мытаре и жалел о падшем и который, не потонувши, прошел если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращение Оуэна было очень просто; но и в нем, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных

---

[1] При этом не могу не вспомнить тот же голубой взгляд детства под седыми бровями Лелевеля.

сношений с жалкой средой; вообще он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебея и социалиста.

Я тогда совсем не говорил по-английски; Оуэн не знал по-французски и был заметно глух. Старшая дочь хозяйки предложила нам себя в драгоманы: Оуэн привык так говорить с иностранцами.

— Я жду великого от вашей родины,— сказал мне Оуэн,— у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то! Если б император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей.

Улыбаясь, просил я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем.

— А ведь он был у меня в Ленарке.

— И, верно, ничего не понял?

— Он был тогда молод и,— Оуэн засмеялся,— и очень жалел, что мой старший сын такого *высокого роста и не идет в военную службу*. А, впрочем, он меня приглашал в Россию.

— Теперь он стар, но так же ничего не понимает и, наверное, еще больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы в самом деле надеетесь?

— Пока человек жив, не надобно в нем отчаиваться. Мало ли какое событие может раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подействует, и он бросит его, что ж за беда, я сделал свое. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живет,— сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть.

Итак, этот старец свое всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая! Мне на минуту сделалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболезненный бред о духах?

Когда я встретил Оуэна, ему был восемьдесят второй год (род. 1771). Он *шестьдесят лет* не сходил с арены.

Года три спустя после Seven Oaks'a я еще раз мельком видел Оуэна. Тело отжило, ум туск и иногда бродил, разнуздавшись, по мистическим областям призраков и теней. А энергия была та же и тот же голубой взгляд детской доброты и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, он старые счеты забыл, он был тот же молодой энтузиаст, учредитель New Lanark'a, худо слышавший, седой, слабый, но так же проповедовавший уничтожение

казней и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну, на которой *некогда* его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории и на которой пожелтелые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял, не сердясь, и просил кротко, с любовью час времени. Казалось, можно бы было дать ему этот час за шестидесятипятилетнюю беспорочную службу; но ему в нем отказывали, он надоел, он повторял одно и то же, а главное, он глубоко обидел толпу, он хотел отнять у нее право болтаться на виселице и смотреть, как другие на ней болтаются; он хотел у них отнять подлое колесо, которое сзади подгоняет, и отворить селлюлярную клетку, эту бесчеловечную mater dolorosa[1] для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна каменьями, но и она сделалась *человеколюбивее*: камни вышли из моды; им предпочитают грязь, свист и журнальные статейки.

Другой старик, такой же фанатик, был счастливее Оуэна, когда слабыми, столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе и только лепетал: «Дети! любите друг друга!» Простые люди и нищие не хохотали над ним, не говорили, что его заповедь нелепость; между этими плебеями не было золотой посредственности мещанского мира — больше лицемерного, чем невежественного, больше *ограниченного*, чем глупого. Принужденный оставить свой New Lanark в Англии, Оуэн десять раз переплывал океан, думая, что семена его учения лучше взойдут на *новом грунте*, забывая, что его расчистили квекеры и пуритане, и, наверно, не предвидя, что пять лет после его смерти джефферсоновская республика, первая провозгласившая права человека, распадется во имя права сечь негров. Не успев и там, Оуэн снова является на старой почве, стучится ста руками во все двери, у дворцов и хижин, заводит базары, которые послужат типом рочдельского общества и кооперативных ассоциаций, издает книги, издает журналы, пишет послания, собирает митинги, произносит речи, пользуется всяким случаем. Правительства посылают, со всего мира, делегатов на «всемирную выставку» — Оуэн уже между ними, просит их взять с собой оливковую ветку, весть призыва к разумной жизни и согласию — а те не слушают его, думают о будущих крестах и табатерках. Оуэн не унывает.

Одним туманным октябрьским днем 1858 лорд Брум — очень хорошо знающий, что в ветхой общественной барке течь все силь-

[1] скорбящую мать *(лат.)*.— *Ред.*

нее, но чающий еще, что ее можно так проконопатить, что на наш век хватит,— совещался о *пакле и смоле* в Ливерпуле, на втором сходе Social science association[1].

Вдруг делается какое-то движение, тихо несут на носилках бледного, больного Оуэна на платформу. Он через силу нарочно приехал из Лондона, чтоб повторить свою благую весть о возможности сытого и одетого общества, о возможности общества без палача. С уважением принял лорд Брум старца — они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэн и слабым голосом сказал о приближении другого времени... нового согласия, new harmony, и речь его остановилась, силы оставили... Брум докончил фразу и подал знак, тело старца склонилось — он был без чувств; тихо положили его на носилки и в мертвой тишине пронесли толпой, пораженной на этот раз каким-то благоговением, она будто чувствовала, что тут начинаются какие-то не совсем обыкновенные похороны и тухнет что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло несколько дней, Оуэн немного оправился и одним утром сказал своему другу и помощнику Ригби, чтоб он укладывался, что он хочет ехать.

— Опять в Лондон? — спросил Ригби.

— Нет, свезите меня теперь на место моего рождения, я там сложу мои кости.

И Ригби повез старца в Монгомеришир, в Ньютоун, где за восемьдесят восемь лет тому назад родился этот странный человек, апостол между фабрикантами...

«Дыхание его прекратилось так тихо,— пишет его старший сын, один успевший еще приехать в Ньютоун до кончины Оуэна,— что я, державший его руку, едва заметил — не было ни малейшей борьбы, ни одного судорожного движения». Ни Англия, ни весь мир точно так же не заметили, как этот свидетель à décharge[2] в уголовном процессе человечества перестал дышать.

Английский поп втеснил его праху отпевание вопреки желанию небольшой кучки друзей, приехавших похоронить его; друзья разошлись, Томас Олсоп[3] протестовал смело, благородно — and all was over[4].

Хотелось мне сказать несколько слов об нем, но, унесенный общим Wirbelwind'ом[5], я ничего не сделал, трагическая тень его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за резкими со-

---

[1] Ассоциации общественных наук *(англ.).— Ред.*
[2] защиты *(франц.).— Ред.*
[3] Известный по делу Орсини.
[4] и все было кончено *(англ.).— Ред.*
[5] вихрем *(нем.).— Ред.*

бытиями и ежедневной пылью — вдруг на днях я вспомнил Оуэна и мое намерение написать о нем что-нибудь.

Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашел статью о нем и прочитал ее всю, внимательно. Статью эту писал не враг Оуэна, человек солидный, рассудительный, умеющий отдавать должное заслугам и заслуженное недостаткам, а между тем я положил книгу с странным чувством боли, оскорбления, чего-то душного,— с чувством, близким к ненависти за вынесенное.

Может, я был болен, в дурном расположении, не понял?.. Я взял опять книжку, перечитал там-сям,— все то же действие.

«Больше чем двадцать последних лет жизни Оуэна не имеют никакого интереса для публики.

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod[1].

Он сзывал митинги, но почти никто не шел на них, потому что он повторял свои старые начала, давно всеми забытые. Те, которые хотели узнать от него *что-нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о том, что весь общественный быт зиждется на ложных основаниях... вскоре к этому помешательству (dotage[2]) присовокупилась вера в постукивающие духи... старик толковал о своих беседах с герцогом Кентом, Байроном, Шелли и проч. ...

Нет ни малейшей опасности, чтоб учение Оуэна было практически принято. Это такие *слабые* цепи, которые не могут *держать* целого народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а он все еще воображал себя благодетелем рода человеческого, каким-то *атеистическим мессией*.

Его обращение к постукивающим духам нисколько не удивительно. Люди, *не получившие воспитания*, постоянно переходят с чрезвычайной легкостью от крайнего скептицизма к крайнему суеверию. Они хотят определить каждый вопрос одним *природным* светом. Изучение, рассуждение и осторожность в суждениях им неизвестны.

Мы в предшествующих страницах,— прибавляет автор в конце статьи,— больше занимались жизнью Оуэна, чем его учениями; мы хотели *выразить наше сочувствие* к практическому добру, сделанному им, и с тем вместе заявить наше совершенное несогласие с его теориями. Его биография интереснее его сочинений. В то время как первая может быть полезна и занимательна (amusé), вторые могут только сбить с толку и надоесть читателю. Но и тут мы

---

[1] Бесполезная жизнь — это ранняя смерть *(нем.).— Ред.*

[2] старческому слабоумию *(нем.).— Ред.*

чувствуем, что он *слишком долго жил*: слишком долго для себя, слишком долго для своих друзей и еще дольше для своих биографов!»

Тень кроткого старца носилась передо мной; на глазах его были горькие слезы, и он, грустно качая своей старой, старой головой, как будто хотел сказать: «Неужели я заслужил это?» — и не мог, а, рыдая, упал на колени, и будто лорд Брум торопился опять покрыть его и делал знак Ригби, чтобы его снесли как можно скорее назад на кладбище, пока испуганная толпа не успеет образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было так дорого и свято, и даже за то, что он так долго жил, заедал чужую жизнь, занимал лишнее место у очага. В самом деле, Оуэн, чай, был ровесником Веллингтона, этой величественнейшей *неспособности* во время мира.

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его падение, Оуэн *заслуживает наше признание*».— Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь оксфордского, винчестерского или чичестерского архиерея, проклинающего Оуэна, легче для нас, чем это воздаяние по заслугам? Оттого, что там страсть, обиженная вера, а тут узенькое *беспристрастие*,— беспристрастие не просто человека, а судьи низшей инстанции. В управе благочиния очень хорошо могут обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, как Мирабо или Фокс. Складным футом легко мерить с большой точностью холст, но очень неудобно прикидывать на него сидеральные[1] пространства.

Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической поверке, *пристрастие* нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем.

Дайте школьному педанту, если он только не наделен от природы эстетическим пониманием,— дайте ему на разбор что хотите: «Фауста», «Гамлета», и вы увидите, как исхудает «жирный датский принц», помятый каким-нибудь гимназистом-доктринером. С цинизмом Ноева сына покажет он наготу и недостатки драм, которыми восхищается поколение за поколением.

В мире ничего нет великого, поэтического, что бы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взгляд, взгляд обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили так метко пословицей, что «для камердинера — нет великого человека».

«Попадись нищему лошадь,— как говорит народ и повторяет критик «Вестминстерского обозрения»,— он на ней и ускачет к черту... An ex-linen-draper[2] (это выражение употреблено несколь-

---

[1] звездные *(от франц. sidéral)*.— *Ред.*

[2] Один экс-торговец холстом *(англ.)*.— *Ред.*

ко раз[1]), который вдруг сделался (заметьте, после двадцати лет неусыпного труда и колоссальных успехов) важным лицом, на дружеской ноге с герцогами и министрами, натурально, должен был зазнаться и сделаться *смешным, не имея ни большой умеренности, ни большого благоразумия*». Ex-linen-draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотелось перестроить свет; с этими притязаниями он разорился, ни в чем не успел и покрыл себя *смехом*.

И это не все. Если б Оуэн только проповедовал свой экономический переворот, это безумие простили бы ему, на первый случай, *в классической* стране сумасшествия. Доказательством этому служит то, что министры и архиереи, парламентские комитеты и съезды фабрикантов совещались с ним. Успех New Lanark'a увлек всех; ни один государственный человек, ни один ученый не уезжал из Англии, не сделавши поездки к Оуэну; даже (как мы видели) сам Николай Павлович был у него и хотел сманить его в Россию, а сына его в военную службу. Толпы народа наполняли коридоры и сени зал, где Оуэн читал свои речи. Но Оуэн своей дерзостью разом, в четверть часа, уничтожил эту колоссальную популярность, основанную на колоссальном непонимании того, что он говорил,— видя это, он поставил точку на i, и притом на самое опасное i.

Это случилось 21 августа 1817 года. Протестантские святоши, самые неотвязчивые и клейко скучные, давно надоедали ему. Оуэн, сколько мог, отклонял прения с ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизитор и бумажных дел фабрикант Филипс дошел в своем церквобесии до того, что в комитете парламента вдруг, ни к селу ни к городу, середь дельных прений, пристал к Оуэну с допросом, во что он верит и во что не верит.

Вместо того чтоб отвечать бумажных дел фабриканту какими-нибудь тонкостями, как Фауст отвечает Гретхен, ex-linen-draper Оуэн предпочел отвечать с высоты трибуны, перед огромнейшим стечением народа, на публичном митинге *в Англии, в Лондоне, в Сити, в London Tavern!* Он по сю сторону Темпль-Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится старый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и светской кафедральной синагоги банка — объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — *Религия*. «Нелепости изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу или лицемера. С существующими религиозными

---

[1] Фурье начал с того, что был сидельцем в суконной лавке своего отца; Прудон — сын безансонского крестьянина. Какое *подлое* начало социализма! От таких ли полубогов и полуразбойников ведут начало династии?

понятиями,— заключил Оуэн.— не только не устроишь предполагаемых им общинных деревень, но с ними рай недолго устоял бы раем!»

Оуэн был до того уверен, что этот акт «безумия» был актом *честности и апостольства*, необходимым последствием его учения, что обнародовать свое мнение заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь,— что через *тридцать пять лет* он писал: «Это величайший день в моей жизни, я исполнил свой долг!»

Нераскаянный грешник был этот Оуэн! Зато ему и досталось!

«Оуэна,— говорит «Westminster Review»,— не разорвали на части за это: время физической мести в делах религии прошло. Но никто, даже и ныне, *не может безнаказанно оскорблять дорогие нам предрассудки!*»

Английские попы в самом деле не употребляют больше хирургических средств, хотя другими, более духовными, не брезгуют. «С этой минуты,— говорит автор статьи,— Оуэн опрокинул на себя страшную ненависть духовенства, и с этого митинга начинается *длинная перечень его неудач, сделавшая смешными сорок последних лет его жизни.* He was not a martyr, but he was an outlaw!»[1]

Я думаю, довольно. «Westminster Review» можно положить на место; я ему очень благодарен, он мне так живо напомнил не только святого старца, но и среду, в которой он жил. Обратимся к делу, то есть к самому Оуэну и его учению.

Одно прибавлю я, прощаясь с неумытным критиком и с другим биографом Оуэна, тоже неумытным, менее строгим, но не менее солидным, что, не будучи вовсе завистливым человеком, я завидую им от всей души. Я дал бы дорого за их невозмущаемое сознание своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своим пониманием, за их иногда уступчивую, всегда справедливую, а подчас слегка пронроненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная уверенность и в своем знании, и в том, что они и умнее и практичнее Оуэна, что, будь у них его энергия и его деньги, они бы не наделали таких глупостей, а были бы богаты, как Ротшильд, и министры, как Палмерстон!

II

Р. Оуэн назвал одну из статей, в которых он излагал свою систему, «An attempt to change this *lunatic asylum* into a rational world»[2].

Один из биографов Оуэна по этому случаю рассказывает, как какой-то безумный, содержавшийся в больнице, говорил: «Весь

[1] Он не был мучеником, но отверженным! *(англ.)— Ред.*

[2] «Опыт изменить сумасшедший дом общественного устройства в рациональный».

свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же; беда моя в том, что *большинство* со стороны всего света».

Это пополняет заглавие Оуэна и бросает яркий свет на все. Мы уверены, что биограф не рассудил, *насколько берет и как далеко бьет* его сравнение. Он только хотел намекнуть на то, что Оуэн был сумасшедший, и мы спорить об этом не станем... но с чего же он *весь свет-то считает умным* — этого мы не понимаем.

Оуэн если был сумасшедшим, то вовсе не потому, что его свет считал таким и он ему платил той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живет в доме умалишенных и окружен больными, он *шестьдесят лет* говорил с ними, как с здоровыми.

Число больных тут ничего не значит, ум имеет свое оправдание не в большинстве голосов, а в своей логической самозаконности. И если вся Англия будет убеждена, что такой-то medium призывает духи умерших, а один Фаредей скажет, что это вздор, то истина и ум будут с его стороны, а не со стороны всего английского населения. Еще больше, если и Фаредей не будет этого говорить, тогда истина об этом предмете совсем существовать не будет как сознанная, но тем не меньше единогласно принятая целым народом нелепость — все же будет нелепость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или не право, в лжи или в истине, а потому, что оно сильно, и потому, что ключи от Бедлама у него в руках.

Сила не заключает в своем понятии сознательности как необходимого условия, напротив, она тем непреодолимее — чем безумнее, тем страшнее — чем бессознательнее. От поврежденного человека можно спастись, от стада бешеных волков труднее, а перед бессмысленной стихией человеку остается сложить руки и погибнуть.

Поступок Оуэна, поразивший ужасом Англию 1817 года, не удивил бы в 1617 родину Ванини и Джордано Бруно, не скандализировал бы в 1717 ни Германию, ни Францию, а Англия не может через полвека вспомнить об нем без раздражения. Может быть, где-нибудь в Испании монахи взбунтовали бы против него дикую чернь или инквизиционные алгвазилы посадили бы его в тюрьму, сожгли бы на костре; но очеловеченная часть общества была бы за него...

Разве Гете и Фихте, Кант и Шиллер, наконец, Гумбольдт в наше время и Лессинг сто лет тому назад скрывали свой образ мыслей или имели бессовестность проповедовать шесть дней в неделю в академиях и книгах свою философию, а на седьмой фари-

сейски слушать предику и морочить толпу, la plèbe, своим благочестивым христианством?

Во Франции то же самое: ни Вольтер, ни Руссо, ни Дидро, ни все энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лаплас, ни Конт не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно перед «дорогими предрассудками», и это ни на одну йоту не унизило, не умалило их значения.

Политически порабощенный материк нравственно свободнее Англии; масса идей и сомнений, находящихся в обороте, гораздо обширнее; к ней привыкли, общество не трепещет ни страхом, ни негодованием перед свободным человеком —

Wenn er die Kette bricht[1].

Люди материка беспомощны перед властью, выносят цепи, но не уважают их. Свобода англичанина больше в учреждениях, чем в нем, чем в его совести; его свобода в common law[2], в habeas corpus[3], а не в нравах, не в образе мыслей. Перед общественным предрассудком гордый бритт склоняется без ропота, с видом уважения. Само собою разумеется, что везде, где есть люди, там лгут и притворяются; но не считают откровенности пороком, не смешивают смело высказанное убеждение мыслителя с неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своим падением; но не подымают лицемерия на степень общественной и притом обязательной добродетели[4].

Конечно, ни Давид Юм, ни Гиббон не лгали на себя мистических верований. Но Англия, слушавшая Оуэна в 1817 году, была не та, во времени и *в глубине*. Ценс пониманья расширился и не был больше ограничен отборным венком образованных аристократов и литераторов. С другой стороны, она лет пятнадцать просидела в селлюлярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном, и, с одной стороны, выдвинулась из потока идей, а с другой — жизнь вдвинула вперед огромное большинство мещанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. В новой Англии люди, как Байрон и Шеллей, бродят иностранцами; один просит у ветра нести

---

[1] Когда он разбивает цепь *(нем.)*.— *Ред.*

[2] обычном праве *(англ.)*.— *Ред.*

[3] законе неприкосновенности личности *(лат.)*.— *Ред.*

[4] В нынешнем году мирный судья Темпль не принял показания одной женщины из Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной форме, говоря, что не верит в наказания на том свете. Трелоне (сын известного приятеля Байрона и Шеллея) спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел, какие меры он предполагает взять в отстранение таких отводов. Министр отвечал, *что никаких*. Подобные случаи повторялись много раз, например, с известным публицистом Голиоком. Лгать присягой делается необходимостью.

его куда-нибудь, только не на родину; у другого судьи, с помощью обезумевшей от изуверства семьи, отбирают детей, потому что он не верит в бога.

Итак, нетерпимость против Оуэна не дает никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его учения; она только дает меру безумия, то есть нравственной несвободы Англии, и в особенности того слоя, который ходит по митингам и пишет журнальные статейки.

Ум количественно всегда должен будет уступить, он *на вес* всегда окажется слабейшим; он, как северное сияние, светит далеко, но едва существует. Ум — последнее усилие, вершина, до которой развитие не часто доходит, оттого-то он мощен, но не устоит против кулака. Ум как сознание может вовсе не быть на земном шаре; он едва родился в сравнении с маститыми альпийскими старцами, свидетелями и участниками геологических революций. В дочеловеческой, в околочеловеческой природе нет ни ума, ни глупости, а необходимость условий, отношений и последствий. Ум мутно глядит в первый раз молочным взглядом животного, он медленно мужает, вырастает из своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнию рода человеческого. Стремление пробиться к уму из инстинкта постоянно является вслед за сытостью и безопасностью; так что в какую бы минуту мы ни остановили людское сожитие, мы поймаем его на этих усилиях достигнуть ума — из-под власти безумия. Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать; история, как поэма Ариоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, с тем тревожным беспокойством, которое уже бесцельно волнует обезьяну и которого почти совсем нет у низших зверей, этих довольных животного царства.

Слово lunatic asylum[1] Оуэн, само собою разумеется, употребил comme une manière de dire[2]. Государства не домы сошедших с ума, а домы не *взошедших в ум*. Практически, впрочем, он мог употребить это выражение... не делая ошибки. Яд или огонь в руках трехлетнего ребенка так же страшен, как в руках тридцатилетнего сумасшедшего. Разница в том, что безумие одного — состояние патологическое, другого — степень развития, состояние эмбриогеническое. Устрица представляет ту ступень развития организма, на которой животное *еще не имеет* ног, она фактически *безногая*, но вовсе не так, как зверь, у которого ноги отняты. Мы знаем (но устрица этого не знает), что при хороших обстоятельствах органические попытки дойдут до ног и до крыльев, и смот-

---

[1] сумасшедший дом *(англ.).— Ред.*

[2] как «красное словцо» *(франц.).— Ред.*

рим на неразвитые формы моллюска как на одну из растущих, прибывающих волн прилива, в то время как форма искаженная возвращается с отливом в стихийный океан и составляет частный случай смерти или агоний.

Оуэн, убедившись, что организму в тысячу раз удобнее иметь ноги, руки, крылья, чем постоянно дремать в раковине, понимая, что из тех же самых бедных, но уже *существующих* частей организма есть возможность развить эти оконечности,— до того увлекся, что вдруг стал проповедовать устрицам, чтоб они взяли свои раковины и пошли за ним. Устрицы обиделись и сочли его *антимоллюском*, то есть безнравственным в смысле раковинной жизни, и прокляли его.

«...Характер человека существенно определяется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество может легко* так устроить, чтоб они способствовали наилучшему развитию умственных и практических способностей, сохраняя притом все бесконечное разнообразие личностей и соображаясь с многоразличием физической и умственной натуры».

Все это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна. Да на него, заметьте, никто и не возражает. Возражение большинством — не ответ, а насилие; возражение, что это безнравственно или не согласно с такой-то традиционной религией или с иной, тоже не опровержение. В худшем случае такие ответы могут только доказать *двойство между истиной и нравственностью*, *пользу лжи и вред правды*. Истина не подлежит этому суду, ее критериум не тут.

Ахиллова пята Оуэна не в ясных и простых основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая так, он впал в святую ошибку любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов от Иисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сен-Симона и Фурье.

Хроническое *недоумие* в том и состоит, что люди под влиянием исторического преломления лучей и разных нравственных параллаксов всего меньше понимают *простое*, а готовы верить и еще больше *верить*, *что понимают* вещи очень сложные и совершенно непонятные, но традиционные, привычные и соответствующие детской фантазии... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухом положительно проще дышать, чем водой, но для этого надобно иметь легкие; а где же им развиться у рыб, которым нужен сложный дыхательный снаряд, чтоб достать немного кислорода из воды. Среда им не позволяет, их не вызывает на развитие легких, она слишком густа и иначе составлена, чем воздух. Нравственная густота и состав, в котором выросли слушатели Оуэна,

обусловили у них свои *духовные* жабры, дышать более чистой и редкой средой должно было произвести боль и отвращение.

Не думайте, что тут только внешнее сравнение, тут истинная аналогия одинаких явлений в разных возрастах и разных слоях.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте — кому? Той толпе, которая наполняет до давки колоссальный трансепт Кристального дворца, слушая с жадностью и рукоплесканием проповеди какого-то плоского средневекового бакалавра, попавшего, не знаю как, в наш век и обещающего толпе кары небесные и бедствия земные на вульгарном языке шиллеровского капуцина в «Wallenstein's Lager»?

Для них не легко!

Люди отдают долю своего достояния и своей воли, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы тунеядцев, строят суды, тюрьмы и стращают виселицей, строят церкви и стращают адом. Словом, делают всё так, чтоб, куда человек ни обернулся, перед его глазами был бы или палач земной, или палач небесный, один с веревкой, готовый все кончить, другой с огнем, готовый жечь всю вечность. Цель всего этого — сохранить общественную безопасность от диких страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни необузданные покушения, вырваться из него.

А тут является чудак, который прямо и просто говорит, да еще с какой-то обидной наивностью, *что все это вздор*, что человек вовсе не преступник par le droit de naissance[1], что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они,— суду не подлежит, *а воспитанию — очень*. И это не все, он перед лицом судей и попов, имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования — грехопадение, наказание и отпущение, всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, *а лицо*.

И Оуэн воображал, что это *легко* понять?

Разве он не знал, что нам легче себе вообразить кошку, повешенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетным ошейником за оказанное усердие при поимке укрывшегося зайца, чем ребенка, не наказанного за детскую шалость, не говоря уже о преступнике. Примириться с тем, что мстить всем обществом пре-

[1] по праву рождения *(франц.)*.— *Ред.*

ступнику мерзко и глупо, что целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно,— ужасно трудно, не по нашим жабрам! Резко!

В боязливом упорстве массы, в тупом отстаивании старого, в консервативной цепкости ее есть своего рода темное воспоминание, что виселица и покаяние, смертная казнь и бессмертие души, страх божий и страх власти, уголовная палата и Страшный суд, царь и жрец, что все это были некогда огромные шаги вперед, огромные ступени вверх, великие Errungenschaften[1], подмостки, по которым люди, выбиваясь из сил, взбирались к покойной жизни, комяги, на которых подплывали, сами не зная дороги, к гавани, где бы можно было отдохнуть от тяжелой борьбы со стихиями, от земляной и кровавой работы, можно было бы найти бестревожный досуг и святую праздность — этих первых условий прогресса, свободы, искусства и сознания!

Чтоб сберечь этот дорого доставшийся покой, люди обставили свои гавани всякого рода пугалами и дали своему царю в руки палку, чтоб погонять и защищать, а жрецу — власть проклинать и благословлять.

Одолевшее племя, естественно, кабалило себе племя покоренное и на его рабстве основывало свой досуг, то есть свое развитие. Рабством собственно началось государство, образование, человеческая свобода. Инстинкт самосохранения навел на свирепые законы, необузданная фантазия доделала остальное. Предания, переходя из рода в род, покрывали больше и больше цветными туманами начала, и подавляющий владыка, так же как подавленный раб, склонялся с ужасом перед заповедями и верил, что при блеске молнии и треске грома их диктовал Иегова на Синае или что они были внушены человеку, избранному каким-нибудь паразитным духом, живущим в его мозгу.

Если свести все разнообразные основы этих краеугольных камней, на которых выводились государства, на главные начала, освобождая их от фантастического, детского, принадлежащего к возрасту, то мы увидим, что они постоянно одни и те же, сопричисляющи всякой церкви и всякому государству, декорации и формы меняются, но начала те же.

Дикая расправа царя-зверолова в Африке, который собственноручно прирезывает преступника, совсем не так далека от расправы судьи, доверяющего другому убийство. Дело в том, что ни судья в шубе, в белом парике, с пером за ухом, ни голый афри-

[1] достижения *(нем.).— Ред.*

канский царь, с пером в носу и совершенно черный,— не сомневаются, что они это делают для спасения общества, и не только имеют право в иных случаях убивать, но и священный долг.

Нескладная бессмыслица, произносимая каким-нибудь лесным заклинателем, и складный вздор, произносимый каким-нибудь архиереем или первосвященником, также похожи друг на друга. Существенное не в том, как кто ворожит и каких духов призывает, а в том, допускают ли они или нет какой-то заграничный мир, которого никто не видал, мир — действующий без тела, рассуждающий без мозга, чувствующий без нерв и имеющий влияние на нас не только после нашего перехода в эфирное состояние, но и при теперешнем податном состоянии? Если допускают, остальное — оттенки и подробности: египетские боги с собачьей мордой и греческие с очень красивым лицом, бог Авраама, бог Иакова, бог Иосифа Маццини, бог Пьера Леру, это все тот же бог, так ясно определенный в алкоране: «Бог есть бог».

Чем развитее народ, тем развитее его религия, но с тем вместе, чем религия дальше от фетишизма, тем она глубже и тоньше проникает в душу людей. Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм; а религия без откровения, без церкви и с притязанием на логику почти неискоренима из головы поверхностных умов, равно не имеющих ни довольно сердца, чтоб верить, ни довольно мозга, чтоб рассуждать[1].

---

[1] Нет той логической абстракции, нет того собирательного имени, нет того неизвестного начала или неисследованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божеством или святыней. Иконоборцы рационализма, сильно ратующие против кумиров, с удивлением видят, что по мере того, как они сбрасывают одних с пьедесталей, на них являются другие. А по большей части они и не удивляются, потому ли, что вовсе не замечают, или сами их принимают за истинных богов.

Естествоиспытатели, хвастающиеся своим материализмом, толкуют о каких-то вперед задуманных планах природы, о ее целях и ловком избрании средств; ничего не поймешь, как будто natura sic voluit ⟨так захотела природа *(лат.)*.— *Ред.*⟩ яснее fiat lux ⟨да будет свет *(лат.)*.— *Ред.*⟩? Это фатализм в *третьей* степени, в кубе; на первой кипит кровь Януария, на второй орошаются поля дождем по молитве, на третьей — открываются тайные замыслы химического процесса, хвалятся экономические способности жизненной силы, заготовляющей желтки для зародышей, и т. п. Как ни смешны *протестантские* статьи, издевающиеся над кипением крови св. Януария, помещаемые рядом с молитвами архиереев о снабжении такой-то страны дождем или засухой,— как будто кипятить кровь в католической склянке труднее для бога, чем мочить и сушить по надобности протестантские поля,— но тут иной раз проглядывает наивная глупость, и потому они ничего не значат в сравнении с благочестивой риторикой, которую мы беспрестанно находим в физиологических или геологических лекциях и трактатах, в которых естествоиспытатель с умилением толкует о благости провидения, снабдившего птиц крыльями, без которых бедняжки бы попадали и расшиблись в прах, и проч.

То же самое и в юридической церкви. Царь звероловов, исполняющий бердышом или топором свой приговор, близок к тому, что виновный или подсудимый, если у него бердыш длиннее, предупредит его. Сверх того, юрист с пером в носу, вероятно, будет казнить зря, по пристрастию, толпа будет роптать и наконец взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и без веры, как подчиняется человек чуме или наводнению. Но там, где нет лицеприятия, где суд честен, то есть верен своим началам, что вовсе не мешает началам быть неверными, там он становится вдвое незыблемее, и никто не сомневается в нем, не исключая самого пациента, который печально отправляется на виселицу, уверенный, что так и надобно, что они дело делают, вешая его.

Сверх страха воли, того страха, который дети чувствуют, начиная ходить без помочей, сверх привычки к этим поручням, облитым по́том и кровью, к этим ладьям, сделавшимся ковчегами спасения, в которых народы пережили не один черный день,— есть еще сильные контрфорсы, поддерживающие ветхое здание. Неразвитость масс, не умеющих понимать, с одной стороны, и корыстный страх — с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок. Образованные сословия, противно своим убеждениям, готовы сами ходить на веревке, лишь бы не спускали с нее толпу.

Оно и в самом деле не совсем безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разве XV, да и то не в самом низу, там уж готтентоты и кафры различных цветов, пород и климатов.

Если в самом деле подумать об этой цивилизации, которая оседает лаццаронами и лондонской чернью, людьми, свернувшими с полдороги и возвращающимися к состоянию лемуров и обезьян, в то время как на вершинах ее цветут бездарные Меровинги всех династий и тщедушные астеки всех аристократий,— действительно голова закружится. Вообразите себе этот зверинец на воле, без церкви, без инквизиции и суда, без попа, царя и палача!

Оуэн считал ложью, то есть отжившей правдой, вековые твердыни теологии и юриспруденции, и это понятно; но когда он под этим предлогом требовал, чтоб они сдались, он забыл храбрый гарнизон, защищающий крепость. Ничего в мире нет упорнее трупа, его можно убить, разбить на части, но убедить нельзя. К тому же на нашем Олимпе сидят уж не сговорчивые, не разгульные боги Греции, которым, по словам Лукиана, пока они придумывали меры против атеизма, пришли доложить, что дело их проиграно и что в Афинах доказали, что *их нет*, а они побледнели, улетучились и исчезли. Греки — люди и боги, были проще. Греки верили вздору, играли в мраморные куклы из детской артистиче-

ской потребности, а мы из *процентов*, из барышей поддерживаем иезуитов и old shop[1], в обуздание народа и обеспечение эксплуатации его. Какая же логика тут возьмет?

Это приводит нас к вопросу не о том, прав или не прав Р. Оуэн, а о том, *совместны ли вообще разумное сознание и нравственная независимость с государственным бытом.*

История свидетельствует, что общества постоянно достигают разумной аутономии, но свидетельствуют также, что они остаются в нравственной неволе. Разрешимы эти вопросы или нет, сказать трудно; их не решишь сплеча, особенно одной любовью к людям и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всех сферах жизни мы наталкиваемся на неразрешимые антиномии, на эти асимптоты, вечно стремящиеся к своим гиперболам, никогда не совпадая с ними. Это крайние грани, между которыми колеблется жизнь, движется и утекает, касаясь то того берега, то другого.

Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести,— не новость; они являлись обличителями и пророками во всех сколько-нибудь назревших цивилизациях, особенно когда они старели. Это высший предел, *перехватывающая личность*, явление исключительное и редкое, как гений, как красота, как необыкновенный голос. Опыт не доказывает, чтоб их утопии были осуществляемы.

У нас перед глазами страшный пример. С тех пор как род человеческий запомнит себя, не встречалось никогда такого стечения счастливых обстоятельств для разумного и свободного развития государственного, как в Северной Америке; все мешающее на истощенной исторической почве или на почве вовсе невозделанной — отсутствовало. Учение великих мыслителей и революционеров XVIII века — без французской военщины, английский common law — без каст, легли в основу их государственного быта. Чего же больше? Все, о чем мечтала старая Европа: республика, демократия, федерация, самозаконность каждого клочка и — едва связывающий общий правительственный пояс с слабым узлом в середине.

Что же вышло из всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; сам народ исполняет должность Николая Павловича, III Отделения и палача; народ, объявивший восемьдесят лет тому назад «права человека», распадается из-за «права сечь». Преследования и гонения в Южных штатах, поставивших на своем знамени слово *Рабство*, так, как некогда Николай ставил

[1] старую лавку. Здесь: церковь *(англ.).— Ред.*

на своем слово *Самодержавие*,— за образ мыслей и слова, не уступают в гнусности тому, что делал неаполитанский король и венский император.

В Северных штатах «рабство» не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтоб заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квекеров!

В формах более мягких мы то же встречаем в Англии и в Швеции. Чем страна свободнее от правительственного вмешательства, чем больше признаны ее права на слово, на независимость совести — тем нетерпимее делается толпа, общественное мнение становится застенком; ваш сосед, ваш мясник, ваш портной, семья, клуб, приход держат вас под надзором и исправляют должность квартального. Неужели только народ, неспособный к *внутренней* свободе, может достигнуть свободных учреждений? Или не значит ли это, наконец, что государство развивает постоянно потребности и идеалы, достижение которых исполняют деятельностью лучшие умы, но которых осуществление несовместимо с государственной жизнью?

Мы не знаем решения этого вопроса; но считать его решенным не имеем права. История до сих пор его решает одним образом; некоторые мыслители, и в том числе Р. Оуэн,— иначе. Оуэн *верит* несокрушимой верой мыслителей XVIII столетия (прозванного веком безверия), что человечество накануне своего торжественного облечения в вирильную тогу. А нам кажется, что все опекуны и пастухи, дядьки и мамки могут спокойно есть и спать на счет недоросля. Какой бы вздор народы ни потребовали, *на нашем веку* они не потребуют права совершеннолетия. Человечество еще долго проходит с отложными воротничками à l'enfant[1].

Причин на это бездна. Для того чтоб человеку образумиться и прийти в себя, надобно быть гигантом; да, наконец, и никакие колоссальные силы не помогут пробиться, если быт общественный так хорошо и прочно сложился, как в Японии или Китае. С той минуты, когда младенец, улыбаясь, открывает глаза у груди своей матери, до тех пор, пока, примирившись с совестью и богом, он так же спокойно закрывает глаза, уверенный, что пока он соснет, его перевезут в обитель, где нет ни плача, ни воздыхания,— все так улажено, чтоб он не развил ни одного простого понятия, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Он с молоком матери сосет дурман; никакое чувство не остается не искаженным, не сбитым с естественного пути. Школьное воспитание

[1] по-детски *(франц.).— Ред.*

продолжает то, что сделано дома, оно обобщает оптический обман, книжно упрочивает его, теоретически узаконивает традиционный хлам и приучает детей к тому, чтоб они *знали, не понимая*, и принимали бы *названия за определения*.

Сбитый в понятиях, запутанный словами, человек теряет чутье истины, вкус природы. Какую же надобно иметь силу мышления, чтоб заподозрить этот нравственный чад и уже с кружением головы броситься из него на чистый воздух, которым вдобавок стращают все вокруг! На это Оуэн отвечал бы, что он именно потому и начинал свое социальное перерождение людей не с фаланстера, не с Икарии, а со школы,— со школы, в которую он брал детей с двухлетнего возраста и меньше.

Оуэн был прав, и еще больше,— он практически доказал, что *он был прав*, перед New Lanark'ом противники Оуэна молчат. Этот проклятый New Lanark вообще костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике. «Что сделал Консидеран с Брейсбеном, что монастырь Сито, что портные в Клиши и Banque du peuple Прудона?» Но против блестящего успеха New Lanark'а сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды — все выходило с удивлением и благоговением из школы. Доктор герцога Кентского, скептик, говорил о Lanark'е с улыбкой. Герцог, друг Оуэна, советовал ему съездить самому в New Lanark. Вечером доктор пишет герцогу: «Отчет я оставляю до завтра; я так взволнован и тронут тем, что́ видел, что не могу еще писать; у меня несколько раз навертывались слезы на глазах». На этом торжественном признании я и жду моего старика. Итак, он доказал свою мысль на деле,— он был прав. Пойдемте далее.

New Lanark был на вершине своего благосостояния. Неутомимый Оуэн, несмотря ни на лондонские поездки, ни на митинги, ни на беспрерывные посещения всех знаменитостей Европы, даже, как мы сказали, самого Николая Павловича,— с той же деятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостоянием работников, между которыми развивал общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, он обанкротился? Учители перессорились, дети избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу взошли какие-то два черных шута, в низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых сертуках: это были двое квекеров, такие же собственники New Lanark'а, как и сам Оуэн. Насупили они брови, видя веселых детей, нисколько не горюющих о грехопадении; ужаснулись, что

маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавание какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов. Ревность о господе успокоилась на время: так греховная цифра была велика. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни *светскому* пению, а раскольничьему катехизису непременно.

Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения; квекеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квекеров на этом не остановится. «В таком случае,— сказал он им,— управляйте сами; я отказываюсь». Он не мог иначе поступить.

«Квекеры,— говорит биограф Оуэна,— вступив в управление New Lanark'ом, начали с того, что *уменьшили плату и увеличили число часов работы*».

New Lanark пал!

Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишенный образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противудействует нововведениям, и то из недоверия; но как только он убеждается в том, что перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью.

Среда, служащая тормозом,— не тут.

Гейнц, литературный холоп Меттерниха, за обедом во Франкфурте сказал Роберту Оуэну:

— Положим, что вы бы успели,— что же бы из этого вышло?

— Очень просто,— отвечал Оуэн,— вышло бы то, что каждый был бы сыт, хорошо одет и получил бы дельное воспитание.

— Да ведь этого-то именно мы и не хотим,— заметил Цицерон Венского конгресса. Гейнц, чего нет другого, был откровенен.

С той минуты, как попы, лавочники догадались, что *потешные* роты работников и учеников — дело очень серьезное, гибель New Lanark'а была неминуема.

И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки, с фабрикой и школой, имеет значение исторического несчастья. Развалины оуэнского New Lanark'а наводят на нашу душу не меньше грустных дум, как некогда другие развалины наводили на душу Мария,— с той разницей, что римский изгнанник сидел на гробе старца и думал о суете суетствий, а мы то же думаем, сидя у свежей могилы младенца, много обещавшего и убитого дурным уходом и страхом — *что он потребует наследства!*

III

Итак, Р. Оуэн был прав перед разумом; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Им только недоставало *пониманья* со стороны слушавших его.

— Это дело времени, когда-нибудь люди поймут.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтоб люди никогда не дошли до пониманья своих собственных выгод.

Однако до сих пор было так; этот недостаток пониманья восполнялся церковью и государством, то есть двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтоб люди освободились,— и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна; но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твердость их основана не *на разуме, а на недостатке его*, и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса, скалы. История развивалась нелепостями; люди постоянно стремились за бреднями,— а достигали очень действительных последствий. Наяву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небе, то небо на земле, а по дороге пели свои вечные песни, украшали храмы своими вечными изваяниями, построили Рим и Афины, Париж и Лондон. Одно сновидение уступает другому; сон становится *иногда* тоньше, но никогда не проходит. Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать; но они с ужасом отпрядывают, когда между двумя религиями в раскрытую щель, в которую проходит дневной свет, дунет на них свежий ветер разума и критики. Если б, например, Р. Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квекерам и не знаю кому. Перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принесть их еще больше — это все можно, и тысячи пойдут за реформатором; но Оуэн хотел вести *вон* из церкви,— тут sta, viator![1] тут рубеж. До границы легко идти, труднейшее во всякой стране — это перейти ее; особенно, когда сам народ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки эти были; несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до

[1] стой, путник! *(лат.).— Ред.*

разумного пониманья. Но этим не разрешается наш вопрос, может ли это исключительное развитие сделаться общим? Наведение, которое нам дает прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту; железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческие отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет; но, принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность *здравого смысла*. Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю. Исторического бреда ей станет надолго, им же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной в других сферах.

Люди, которые поняли, что это сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающий, не позволяет им проснуться. Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают с самоотвержением, из вздора идут на смерть, из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьет их совершенно случайно, сам попадает в них, стягивает других, и если не должен спасаться от голодной смерти каторжной, нескончаемой работой, то начинает ожесточенное преследование жены, детей, родных или сам преследуется ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумиться? Разве по другую сторону семьи, за ее гробом, когда человек все потерял, и энергию, и свежесть мысли, когда он ищет одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы целого муравейника или одного муравья отдельно; вникните в его домогательства и цели, в его радости и горе, в его понятия о добре и зле, *о чести и позоре*,— во все, что он делает в продолжение всей жизни, с утра до ночи; взгляните, на что он посвящает последние дни и чему жертвует лучшими мгновениями своей жизни,— вас обдаст детской, с ее лошадками на колесах, с блестками и фольгой, с куклами, по-

ставленными в угол, и с розгами, поставленными в другой. В ребячьем лепете слышится иной раз проблеск дела; но он теряется в детской рассеянности. Остановиться, обдуматься нельзя — дела расстроишь, отстанешь, будешь затерт; все слишком компрометировались, и все слишком быстро несутся, чтоб можно было остановиться, особенно перед горстью людей, без пушек, без денег, без власти, *протестующих во имя разума*, не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильду или Монтефиоре *надобно* с утра в бюро, чтоб начать капитализацию сотого миллиона; в Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается — все идет прекрасно; а тут ему говорят о безответственности человека и о *ином* распределении богатств,— разумеется, он не слушает. Мак-Магон дни, ночи обдумывал, как вернее, в самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны; истребил их больше, чем думал, все его поздравляют, даже ирландцы, которые в качестве папистов побиты им, а ему говорят, что война — не только отвратительная нелепость, но и преступление. Разумеется, вместо того чтоб слушать, он станет любоваться мечом, поднесенным Ирландией.

В Италии я был знаком с одним стариком, главою богатого банкирского дома. Раз, поздно ночью, мне не спалось, я пошел гулять и возвращался, часу в пятом утра, мимо его дома. Работники выкатывали из подвалов бочонки с оливовым маслом для отправки морем. Старик банкир, в теплом сертуке, стоял с бумагой в руке, отмечая каждый бочонок. Утро было свежо, он зябнул.

— Вы уже встали? — сказал я ему.

— Я здесь больше часа,— отвечал он, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, как в России.

— Что делать, стар становлюсь, силы отказывают. Приятели-то ваши (то есть его сыновья) спят еще небось,— и пусть поспят, пока старик еще жив. А без собственного надзора нельзя. Я прежнего покроя человек, много нагляделся; пять революций, amico mio[1], видел, возле прошли; а я за своей работой все так же: отпущу масло, пойду в контору. Я и кофей там пью,— прибавил он.

— И так до самого обеда?

— До самого обеда.

— Вы не балуете себя.

— А, впрочем, скажу вам откровенно, тут много делает привычка. *Мне скучно без дела.*

---

[1] друг мой *(итал.).— Ред.*

«Не нынче-завтра он умрет. Кто же будет масло отпускать, как пойдет дом? — думал я, оставив его.— Разве, к тем порам, старший сын тоже сделается человеком прежнего покроя и тоже будет скучать без дела и вставать в четыре часа. Так и пойдет одна тысяча золотых к другой до тех пор, пока кто-нибудь из династов, и наверное самый лучший, проиграет все в карты или поднесет лоретке».—«Родители-то какие были! — скажут добрые люди,— они отказывали во всем себе и другим тоже и все копили про детей. А вот блудный сын!..»

Ну, где ж тут скоро добраться сквозь эту толщу нелепости до живого мяса?

Этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми,— Р. Оуэн проповедовал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает.

Биограф Р. Оуэна очень верно судил, говоря, что он разрушил свое влияние, отрекаясь от религии. Действительно, стукнувшись о церковную ограду, ему следовало остановиться, а он перелез на другую сторону и остался там один-одинехонек, провожаемый благочестивым ругательством. Но нам кажется, что рано или поздно он точно так же остался бы и за *другим черепком* раковины — один и outlaw![1]

Толпа только потому не освирепела на него с самого начала, что государство и суд не так популярны, как церковь и алтарь. Но за право наказания вступились бы, à la longue[2], люди получше подкованные, чем богобеснующиеся квекеры и фельетонные святоши.

О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная вперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатие девы Марии или уверять, что геологические исследования Моисея сходны с исследованиями Мурчисона. Светские церкви *гражданского и уголовного суда* и догматы юридического катехизиса стоят гораздо тверже и пользуются, *впредь до рассмотрения*, правами *доказанных* истин и незыблемых аксиом.

Люди, опрокинувшие алтари, не дерзали коснуться до зерцала. Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени — Разумом, были так же уверены во всех salus populi[3] и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости жечь колдунов.

[1] отверженный *(англ.).— Ред.*
[2] в конце концов *(франц.).— Ред.*
[3] общественных благах *(лат.).— Ред.*

Давно ли один из сильнейших, из самых смелых мыслителей нашего века, для того чтоб нанести церкве последний удар, секуляризовал ее в трибунал и, вырывая из рук жрецов Исаака, приготовляемого на заклание богу, отдал его под суд, то есть на заклание справедливости?

Вековой спор, спор тысячелетний *о воле и предопределении* не кончен. Не один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и у врачей и, что всего важнее, у всех занимающихся статистикой преступлений. Во всяком случае, спор не решен, *но о том, что преступника наказывать справедливо и, притом, по мере преступления, об этом и спору нет*, это всякий сам знает!

С которой же стороны lunatic asylum?

«Наказание есть неотъемлемое право преступника»,— сказал сам Платон.

Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы не обязаны с Аддисоновым «Катоном» приговаривать ко всему: «Ты прав, Платон, ты прав», даже и тогда, когда он говорит, что «наш дух не умирает».

Если быть выпоронному или повешенному составляет *право* преступника, пусть же он сам и предъявляет его, если оно нарушено. Права втеснять не надобно.

Бентам называет преступника дурным счетчиком; понятно, что кто обчелся, тот должен нести последствия ошибки, но ведь это — не право его. Никто не говорит, что если вы стукнулись лбом, то вы имеете право на синее пятно, и нет особого чиновника, который бы посылал фельдшера сделать это пятно, если его нет. Спиноза еще проще говорит о могущей быть необходимости убить человека, мешающего жить другим, «так, как убивают бешеную собаку». Это понятно. Но юристы или так неоткровенны, или так забили свой ум, что они казнь вовсе не хотят признать обороной или местью, а каким-то нравственным вознаграждением, «восстановлением равновесия». На войне дела идут прямее: убивая неприятеля, солдат не ищет *его* вины, не говорит даже, что это справедливо, а кто кого сможет, тот того и повалит.

— Но с этими понятиями придется затворить все суды.

— Зачем? Делали же из базилик приходские церкви; не попробовать ли теперь их отдать под приходские школы?

— С этими понятиями о безнаказанности не устоит ни одно правительство.

— Оуэн мог бы как первый *исторический* брат на это отвечать: «Разве мне было поручено упрочивать правительства?»

— Он в отношении правительств был очень уклончив и умел ладить с коронованными головами, с министрами-тори и с президентом американской республики.

— А разве он был дурен с католиками или протестантами?

— Что ж, вы думаете, Оуэн был республиканец?

— Я думаю, что Роберт Оуэн предпочитал ту *форму правительства*, которая наибольше соответствует принимаемой им церкве.

— Помилуйте, у него никакой нет церкви.

— Ну, вот видите.

— Однако нельзя быть без правительства.

— Без сомнения; хоть какое-нибудь дрянное, да надобно. Гегель рассказывает о доброй старухе, говорившей: «Ну, что ж, что дурная погода, все лучше чтоб была дурная, чем если б совсем погоды не было!»

— Хорошо, смейтесь, да ведь государство погибнет без правительства.

— А мне что за дело!

IV

Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением *сильной правительственной* власти.

Декреты приготовлявшегося правительства уцелели с своим заголовком:

EGALITÉ LIBERTÉ
BONHEUR COMMUN[1],

к которому иногда прибавляется в виде пояснения: « Ou la mort!»[2]

Декреты, как и следует ожидать, начинаются с *декрета полиции*.

§ 1. Лица, ничего не делающие *для отечества*, не имеют никаких политических прав, это *иностранцы*, которым *республика* дает гостеприимство.

§ 2. Ничего не делают *для отечества* те, которые не *служат ему* полезным трудом.

§ 3. *Закон* считает полезными трудами:

Земледелие, скотоводство, рыбную ловлю, мореплавание.

Механические и ручные работы.

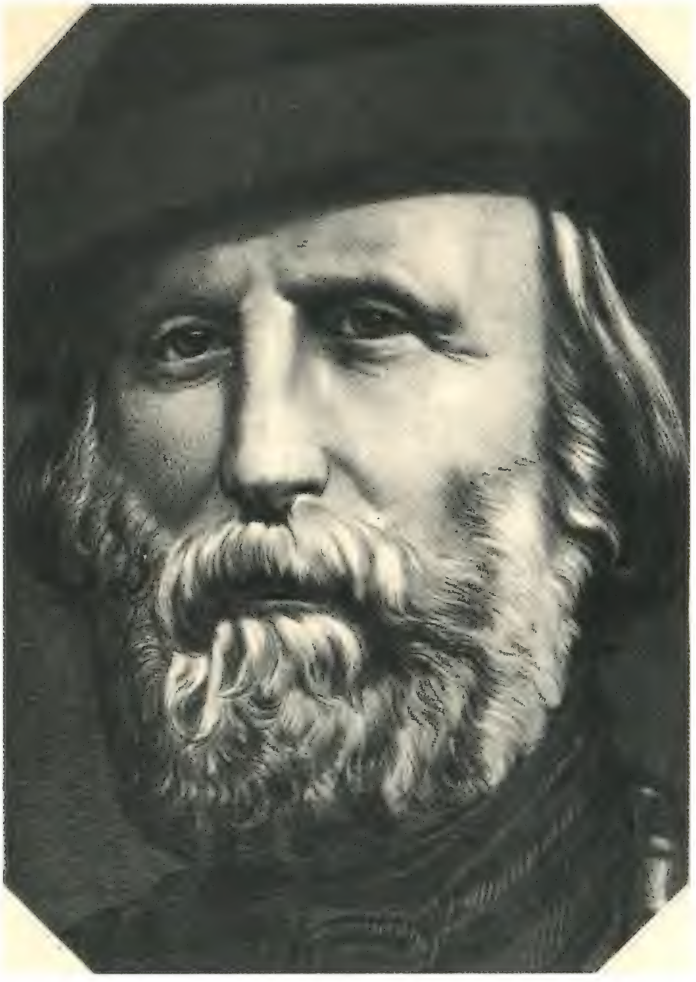
Мелкую торговлю (la vente en détail).

Извоз и ямщичество.

---

[1] Равенство. Свобода. Всеобщее благоденствие *(франц.)*.— *Ред.*

[2] Или смерть! *(франц.)* — *Ред.*



Джузеппе Гарибальди.

Литография.
1850-е годы.

Государственный музей изобразительных искусств.

Военное ремесло.

Науки и преподавание.

§ 4. Впрочем, *науки* и *преподавание* не будут считаться полезными, если *лица*, занимающиеся ими, не представят в данное время свидетельство цивизма, *написанное по определенной форме.*

§ 6. *Иностранцам* воспрещается вход в публичные собрания.

§ 7. Иностранцы находятся под прямым надзором высшей администрации, которой предоставляется право высылать их с места жительства и отправлять в исправительные места.

В декрете «о работах» все расписано и распределено, в какое время, когда что делать, сколько часов работать; старшины дают «пример усердия и деятельности», другие доносят обо всем, делающемся в мастерских, начальству. Работников *посылают* из одного места в другое (так, как гоняют мужиков на шоссейную работу у нас), по мере надобности рук и труда.

§ 11. Высшая администрация посылает на каторжную работу (travaux forcés), под надзор ею назначенных общин, лиц обоего пола, которых *инцивизм* (incivisme)[1], лень, роскошь и *дурное поведение* дают обществу дурной пример. Их имущество будет конфисковано.

§ 14. Особенные чиновники заботятся о содержании и приплоде скота, об одежде, переездах и облегчениях работающих граждан.

Декрет о распределении имущества.

§ 1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника (magistrat).

§ 2. Народная община с самого начала дает своим членам квартиру, платья, стирку, освещение, отопление, достаточное количество хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла, вина и других напитков.

§ 3. В каждой коммуне, в определенные эпохи, будут общие трапезы, на которых члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякий член, взявший плату за работу или хранящий у себя деньги, *наказывается.*

Декрет о торговле.

§ 1. Заграничная торговля частным лицам *запрещена.* Товар будет конфискован, преступник наказан.

Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не велено ввозить. Республика не выдает денег, внутренние частные долги уничтожаются, внеш-

[1] отсутствие гражданских добродетелей *(франц.).— Ред.*

ние уплачиваются; а если кто обманет или сделает подлог, то наказывается *вечным рабством* (esclavage perpétuel).

За этим так и ждешь «*Питер* в Сарском Селе» или «граф *Аракчеев* в Грузине», а подписал не Петр I, а первый социалист французский *Гракх Бабёф!*

Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте недоставало правительства; обо всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок. Даже воспроизведение животных не предоставляется их собственным слабостям и кокетству, а регламентировано высшим начальством.

И для чего, вы думаете, все это? Для чего кормят «курами и рыбой, обмывают, одевают и *утешают*»[1] этих *крепостных* благосостояния, этих приписанных к равенству арестантов? Не просто для них, декрет именно говорит, что все это будет делаться médiocrement[2]. «Одна Республика должна быть богата, великолепна и всемогуща».

Это сильно напоминает нашу Иверскую божию матерь, sie hat Perlen und Diamanten[3], карету и лошадей, иеромонахов для прислуги, кучеров с незамерзаемой головой, словом, у нее все есть,— да ее только нет, она владеет всем добром in effigie[4].

Противуположность Роберта Оуэна с Гракхом Бабёфом очень замечательна. Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим *двум коренным зубам* можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что в сущности эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели и из тех же побуждений, тем ярче их различие.

Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение *федералистов* и демократический террор, народ остался ни при чем. Другой — что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин и усиленной производительности, «веселая Англия» делается все больше Англией скучной, и Англия обжорливая — все больше Англией голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они (и многие другие) почти в одно и то же время попали на этот порядок идей — понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, разви-

---

[1] «Каждый гражданин будет от администрации logé, nourri, habillé et amusé» ⟨укрыт, накормлен, одет и утешен *(франц.).— Ред.*⟩.

[2] Здесь: скудным образом *(франц.).— Ред.*

[3] она имеет жемчуга и алмазы *(нем.).— Ред.*

[4] в изображении *(лат.).— Ред.*

ваясь розно, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньше благоприятных обстоятельствах.

Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противуположные стороны.

Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию, последнее *достижение*, последнюю победу тяжелого, сложного исторического похода; он приветствует зарю *нового* дня, никогда не бывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пеленки, помочи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего и, как путешественник, доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бранит ни станционных смотрителей, ни кляч.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Гракх Бабёф. Она декретировала *восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных*. Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников — попов и аристократов. Их следует казнить как врагов отечества, достояние их возвратить законному *государю*, которому теперь есть нечего и который называется поэтому *санкюлотом*. Пора восстановить его старые, *неотъемлемые* права... Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими?.. А! Вы сомневаетесь,— вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мешать практике *акушера* Оуэна.

Бабёф хотел силой, то есть властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если б ему удалось овладеть Парижем, комитет insurrecteur[1] *приказал бы* Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис; он втеснил бы французам свое *рабство общего благосостояния* и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы — бросив миру *великую мысль в нелепой форме*, мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство *довольных*.

Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны он так же последовательно, как Бабёф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая;

[1] повстанческий *(франц.).— Ред.*

его микроскоп, его лаборатория был New Lanark; его учение росло и мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, что главный путь водворения нового порядка — *воспитание*.

Заговор для Оуэна был не нужен, восстание могло только повредить ему. Он не только мог ужиться с лучшим в мире правительством, с английским, но со всяким другим. Он в правительстве видел устарелый, исторический факт, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойников, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительство, он не домогался нисколько и *поправлять его*. Если б святые лавочники не мешали ему, в Англии и Америке были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony[1], в них втекали бы свежие силы рабочего народонаселения, они исподволь отвели бы лучшие жизненные соки от отживших государственных цистерн. Что же ему было бороться с умирающими? Он мог их предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенец, которого приносят в его школы, c'est autant de pris[2] над церковью и правительством!

Бабёф был казнен. Во время процесса он вырастает в одну из тех великих личностей — мучеников и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек. Он угас, а на его могиле росло больше и больше всепоглощающее чудовище *Централизации*. Перед нею особенность стерлась, завянула, побледнела личность и исчезла. Никогда на европейской почве, со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны и от нее до исхода французской революции, человек не был так поїман правительственной паутиной, так опутан сетями администрации, как в новейшее время во Франции.

Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог, говорил, пока его голос доходил. Ил пожимал плечами, качал головой; неотразимая волна мещанства росла, Оуэн старелся и все глубже уходил в трясину; мало-помалу его усилия, его слова, его учение — все исчезло в болоте. Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только *либералов*, аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает.

---

[1] С легкой руки Оуэна начали в Англии развиваться *кооперативные работничьи ассоциации*; их считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бедно 15 лет тому назад, с капиталом в двадцать восемь ливров, строит теперь на общественные деньги фабрику с двумя машинами, каждая в шестьдесят сил, и которая им стоит за тридцать тысяч фунтов. Кооперативные общества печатают журнал «The Co-operator», который издается исключительно работниками.

[2] это маленькая победа *(франц.)*.— *Ред.*

— Зато будущее их!..

— Как случится!

— Помилуйте, к чему же после этого вся история?

— Да и все-то на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю. Я, как «сестра Анна» в «Синей Бороде», смотрю для вас на дорогу и говорю, что вижу — одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... Вот едут... едут, кажется, они — нет, это не братья наши, это бараны, много баранов! Наконец-то приближаются два гиганта — разными дорогами. Ну уж не тот, так другой потреплет Рауля за синюю бороду. Не тут-то было! Грозных указов Бабёфа Рауль не слушается, в школу Р. Оуэна не идет,— одного послал на гильотину, другого утопил в болоте. Я этого вовсе не хвалю, мне Рауль не родной, я только констатирую факт, и *больше ничего!*

V

...Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Бабёфа и Дорте, Оуэн жил на одной квартире с другим непризнанным гением и бедняком, Фультоном, и отдавал ему последние свои шиллинги, чтоб тот делал модели машин, которыми он обогатил и облагодетельствовал род человеческий. Случилось, что один молодой офицер показывал дамам свою батарею. Чтоб быть вполне любезным, он без всякой нужды пустил несколько ядер (это рассказывает он сам); неприятель отвечал тем же, несколько человек пали, другие были изранены, дамы остались очень довольны нервным потрясением. Офицера немножко угрызала совесть: «Люди эти, говорит, погибли совершенно бесполезно»... но дело военное, это скоро прошло. Cela promettait[1], и впоследствии молодой человек пролил крови больше, чем все революции вместе, потребил одной конскрипцией[2] больше солдат, чем надобно было Оуэну учеников, чтоб пересоздать весь свет.

Системы у него не было никакой, добра людям он не желал и не обещал. Он добра желал себе одному, а под добром разумел власть. Теперь и посмотрите, как слабы перед ним Бабёф и Оуэн! Его имя тридцать лет после его смерти было достаточно, чтоб его племянника признали императором.

Какой же у него был секрет?

Бабёф хотел людям *приказать благосостояние* и коммунистическую распублику.

---

[1] Это обещало много *(франц.).— Ред.*

[2] набором в армию *(от лат. conscriptio).— Ред.*

Оуэн хотел их *воспитать* в другой экономический быт, несравненно больше выгодный для них.

Наполеон не хотел ни того, ни другого; он понял, что французы не в самом деле желают питаться спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего, что они не очень удовлетворятся тем, что по большим праздникам «граждане будут сходиться рассуждать о законах[1] и обучать детей цивическим добродетелям». Вот дело другое — подраться и похвастаться храбростью они, точно, любят.

Вместо того, чтоб им мешать и дразнить, проповедуя вечный мир, лакедемонский стол, римские добродетели и миртовые венки, Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту. Его винить не за что, французы и без него были бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упреком, он ее не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добродетелями, он не представлял ей возвышенный, преображенный идеал; он не являлся ни карающим пророком, ни поучающим гением, *он сам принадлежал толпе* и показал ей *ее самое*, с ее недостатками и симпатиями, с ее страстями и влечениями, возведенную в *гения* и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет.

Если и он пал, то вовсе не от того, чтоб толпа его оставила, что она разглядела пустоту его замыслов, что она устала отдавать последнего сына и без причины лить кровь человеческую. Он додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своих господ. Христианская нравственность была удовлетворена; нельзя было с большим остервенением защищать своих врагов!

На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обещающая ничего светлого фигура — и этот седой, свирепо-добродушный немецкий кондотьер. Ирландец на английской службе, человек без отечества,— и пруссак, у которого отечество в казармах,— приветствуют радостно друг друга; и как им не радоваться, они только что своротили историю с большой дороги

[1] Не из наших ли законов взял Гракх Бабёф это развлечение? Когда в коллегии нет дела, члены должны *читать законы!*

по ступицу в грязь, в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат... Дело на рассвете... Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились. И отчего?.. Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал! Сколько несчастий и слез стоила народам эта победа! А сколько несчастий и крови стоила бы народам победа противной стороны?

...Да какой же вывод из всего этого?

— Что вы называете вывод? Нравоучение вроде fais ce que doit, advienne se que pourra[1] или сентенцию вроде

И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек?

Понимание дела — вот и вывод, освобождение от лжи — вот и нравоучение.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбие, и особенно теперь, когда все кричат о безнравственности взяток? «Истина — религия,— толкует старик Оуэн,— не требуйте от нее ничего больше, как ее самое».

За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения,— по крайней мере, разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас... Это страшно много! Детский хлам, который мы утрачиваем, не занимает больше, он нам дорог только по привычке. Чего тут жалеть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотом веке сзади или о бесконечном прогрессе впереди, чудотворную склянку св. Януария или метеорологическую молитву о дожде, тайный умысел химических заговорщиков или natura sic voluit? [2]

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокруг все колеблется, несется; стой или ступай куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вероятно, и море пугало сначала беспорядком, но, как только человек понял его бесцельную суету, он взял дорогу с собой и в какой-то скорлупе переплыл океаны.

Ни природа, ни история *никуда не идут*, и потому готовы идти *всюду*, куда им укажут, *если это возможно*, то есть если ничего не мешает. Они слагаются à fur et à mesure[3] бездной друг на друга действующих, друг с другом встречающихся, друг друга останавливающих и увлекающих частностей; но человек вовсе

---

[1] делай то, что должно, а будет то, что будет *(франц.)*.— *Ред.*
[2] природа так захотела *(лат.)*.— *Ред.*
[3] постепенно *(франц.)*.— *Ред.*

не теряется от этого, как песчинка в горе, не больше подчиняется стихиям, не круче связывается необходимостью, а вырастает тем, что понял свое положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путем сообщения.

Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в нее свой стих, и, если он звучен, он останется *его* стихом, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будет бродить в ее крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу. Стоит тронуть наукой скалу, чтоб из нее текла вода, да что вода, подумайте о том, что сделал сгнетенный пар, что делает электричество с тех пор, как человек, а не Юпитер взял их в руки. Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творчество. Стихиям, веществу все равно, они могут дремать тысячелетия и вовсе не просыпаться, но человек шлет их на свою работу, и они идут. Солнце давно ходит по небу; вдруг человек перехватил его луч, задержал его след, и солнце стало ему делать портреты.

Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклеп на нее, она не настолько умна, чтоб бороться, ей все равно: «По той мере, по которой человек ее знает, по той мере он может ею управлять»,— сказал Бэкон и был совершенно прав. Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она, продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения, тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: «Общее благосостояние или смерть!», чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом *лодка, волна и кормчий*. Хоть бы карта была!

— А будь карта у Колумба — не он открыл бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делаются чем-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса. Если события подтасованы, если вся история — развитие какого-то доисторическо-

го *заговора* и она сводится на одно выполнение, на одну его mise en scène — возьмемте, по крайней мере, и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слезы для представления провиденциальной шарады. С предопределенным планом история сводится на вставку чисел в алгебраическую формулу, будущее отдано в кабалу до рождения.

Люди, с ужасом говорящие о том, что Р. Оуэн лишает человека воли и нравственной доблести, мирят предопределение не только с свободой, но и с палачом! Разве только на основании текста, что «Сын человеческий *должен быть* предан, но горе тому, кто его предаст»[1].

В мистическом воззрении все это на месте, и там это имеет свою художественную сторону, которой в доктринаризме нет. В религии развертывается целая драма; тут борьба, возмущение и его усмирение; вечная Мессиада, Титаны, Луцифер, Абадонна, изгоняемый Адам, прикованный Прометей, караемые богом и искупаемые спасителем. Это роман, потрясающий душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализм, переходя из церкви в школу, утратил весь свой смысл, даже тот смысл правдоподобия, который мы требуем в сказке. Из яркого, пахучего, опьяняющего азиатского цветка доктринеры высушили бледное сено для гербариума. Отталкивая фантастические образы, они остались при голой логической ошибке — при нелепости пред исторической arrière-pensée[2], воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами своих целей. Зачем, если она существует, она еще раз осуществляется? Если же ее нет и она только *становится и отстаивается* собы-

[1] Теологи отважнее доктринеров вообще; они прямо говорят, что без воли божией не падет волос с головы, а ответственность за каждое действие, даже за помысел, оставляют на человеке. Ученый фатализм утверждает, что у них и речи нет о личностях, о *случайных* носителях идеи... (то есть речи нет о нашем брате, обыкновенном человеке, а что касается до таких личностей, как Александр Македонский или Петр I,— нам уши прожужжали их всемирно-историческим призванием). Доктринеры, видите, как большие господа,— хозяйством истории распоряжаются en gros ⟨в общих чертах *(франц.)*— *Ред.*⟩, гуртом... но где граница стада и личностей, где несколько зерен-то, как спрашивали мои милые афинские софисты,— становятся кучей?

Само собою разумеется, что мы никогда не смешивали предопределений с теорией вероятностей, мы вправе наведением делать посылки от прошедшего к будущему. Делая индукцию, мы знаем, что́ делаем, основываясь на постоянстве некоторых законов и явлений, но допуская также и нарушения. Мы видим человека тридцати лет и имеем полное право предполагать, что через другие тридцать лет он будет сед или плешив, несколько сгорбится и проч. Это не значит, что его назначение седеть, плешиветь, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри он тридцати пяти лет, он не будет седеть, а пойдет «на замазку», как говорит Гамлет,— или на салат.

[2] тайной мыслью *(франц.)*.— *Ред.*

тиями, то что же за новый иммакулатный[1] процесс зачатия зародил во временном прежде сущую идею, которая, выходя из чрева истории, возвещает тотчас, что она была прежде и будет после? Это новое сводное бессмертие души, идущее в обе стороны, не личное, не чье-нибудь, а родовое... *Бессмертная душа* всего человечества... Это стоит мертвых душ! Нет ли бессмертной березы всех берез?

Мудрено ли, что с таким освещением самые простейшие, обыденные предметы сделались при схоластическом объяснении совершенно непонятными. Может ли, например, быть факт доступнее всякому, как наблюдение, что чем человек больше живет, тем имеет больше случая нажиться; чем дольше глядит на один предмет, тем больше разглядывает его, если ничего не помешает или он не ослепнет? И из этого факта ухитрились сделать кумир *прогресса*, какого-то беспрерывно растущего и обещающего расти в бесконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человек живет не для *совершения судеб*, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился *для* (как ни дурно это слово)... для настоящего, что́ вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо; они никак не хотят обратить внимание на то, что все великое значение наше, при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и состоит, что, пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, *мы все-таки сами*, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это не цель наша, не назначенье, не заданный урок, а последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями.

И это не все, мы можем *переменить узор ковра*. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть.

— Но если, с одной стороны, вы отдаете судьбу человека на его произвол, а с другой — снимаете с него ответственность, то с вашим учением он сложит руки и просто ничего не будет делать.

---

[1] непорочный *(от франц. immaculé).— Ред.*

— Уж не перестанут ли люди есть и пить, любить и производить детей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнают, что едят и слушают, любят и наслаждаются для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для *скорейшего* достижения *бесконечного* развития совершенства?

Если религия, с своим подавляющим фатализмом, и доктринаризм, с своим безотрадным и холодным, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтоб это сделало воззрение, освобождающее их от этих плит. Одного чутья жизни и непоследовательности было достаточно, чтоб спасти европейские народы от религиозных проказ вроде аскетизма, квиетизма, которые постоянно были только на словах и никогда на деле; неужели разум и сознание окажутся слабее?

К тому же в реальном воззрении есть свой секрет; тот, кто от него сложит руки, тот не поймет его и не примет; он еще принадлежит к иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры, с одной стороны, дьявол с черным хвостом, с другой — ангел с белой лилией.

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладает ли с ними человек или в ином месте собьется с дороги, а в другом наделает вздору — это другой вопрос. Говоря, что у человека никогда не пропадет голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые.

Есть люди, удовлетворяющиеся малым, с бедными потребностями, с узким взглядом и ограниченными желаниями. Есть и народы с небольшим горизонтом, с странным воззрением, удовлетворяющиеся бедно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, без сомнения, два народа, нашедшие наиболее соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они так неизменно одни и те же.

Европа, кажется нам, тоже близка к «насыщению» и стремится — усталая — осесть, скристаллизоваться, найдя свое прочное общественное положение *в мещанском устройстве*. Ей мешают покойно сложиться монархически-феодальные остатки и завоевательное начало. Мещанское устройство представляет огромный успех в сравнении с олигархически-военным, в этом нет сомнения, но для Европы и в особенности для англо-германской, оно представляет не только огромный успех, *но и успех достаточный*. Голландия опередила, она первая успокоилась до прекращения истории. Прекращение роста — начало совершеннолетия. Жизнь

студента полнее событий и идет гораздо бурнее, чем трезвая и работящая жизнь отца семейства. Если б над Англией не тяготел свинцовый щит феодального землевладения и она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду; если б она, как Голландия, могла достигнуть для всех благосостояния мелких лавочников и небогатых хозяев средней руки,— она успокоилась бы на мещанстве. А с тем вместе уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизились, и жизнь без событий, развлекаемая иногда внешними толчками, свелась бы на однообразный круговорот, на слегка видоизменяющийся semper idem[1]. Собирался бы парламент, представлялся бы бюджет, говорились бы дельные речи, улучшались бы формы... и на будущий год то же, и через десять лет то же; это была бы покойная колея взрослого человека, его деловые будни. Мы и в естественных явлениях видим, как начала эксцентричны, а устоявшееся продолжение идет потихоньку, не буйной кометой, описывающей с распущенной косой свои неведомые пути, а тихой планетой, плывущей с своими сателлитами, вроде фонариков, битым и перебитым путем; небольшие отступления выставляют еще больше общий порядок... Весна помокрее, весна посуше, но после всякой — лето, но перед всякой — зима.

— Так это, пожалуй, все человечество дойдет до мещанства, да на нем и застрянет?

— Не думаю, чтобы все, а некоторые части наверно. Слово «человечество» препротивное, оно не выражает ничего определенного, а только к смутности всех остальных понятий подбавляет еще какого-то пегого полубога. Какое единство разумеется под словом «человечество»? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым названием, вроде икры и т. п. Кто в мире осмелится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинаким образом ирокезов и ирландцев, арабов и мадьяр, кафров и славян? Мы можем сказать одно — что некоторым народам мещанское устройство противно, а другие в нем как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов, общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать мещанство. Но из этого никак не следует, что они *достигнут* этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. Одно стремление ничего не обеспечивает, на разницу возможного и неминуемого мы ужасно напираем. Недостаточно знать, что такое-то устройство нам противно, а надобно знать,

---

[1] всегда одно и то же *(лат.).— Ред.*

какого мы хотим и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди, народы буржуазные могут взять совсем иной полет, народы самые поэтические — сделаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнет, стремлений авортирует[1], развитий отклоняется. Что может быть очевиднее, осязаемее тех,— не только возможностей,— а начал личной жизни, мысли, энергии, которые умирают в каждом ребенке. Заметьте, что и эта ранняя смерть детей тоже не имеет в себе ничего неминуемого; жизнь девяти десятых наверное могла бы сохраниться, если б доктора знали медицину и медицина была бы в самом деле наукой. На это *влияние человека и науки* мы обращаем особенное внимание, оно чрезвычайно важно.

Заметьте еще посягательство обезьян (например, шимпанзе) на дальнейшее умственное развитие. Оно видно в их беспокойно озабоченном взгляде, в тоскливо-грустном присматривании ко всему, что делается, в недоверчивой и суетливой тревожности и любопытстве, которое, с другой стороны, не дает мысли сосредоточиться и постоянно ее рассевает. Ряды и ряды поколений вновь и вновь стремятся к какому-то разумению, заменяются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умирают,— и так прошли десятки тысяч лет, и пройдут еще десятки.

Люди имеют большой шаг перед обезьянами; их стремления не пропадают бесследно, они облекаются словом, воплощаются в образ, остаются в предании и передаются из века в век. Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана — всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу и нет ее «разве него», а с нею мы можем быть властью.

Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; перед каждым открытые двери. *Есть что* сказать человеку — пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение — пусть проповедует. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой, ни она не самобытна, ни мы не независимы от общего *фонда* картины, от одинаких предшествовавших влияний, связь общая есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— *Как от кого?.. да от н а с с в а м и, например. Как же после этого нам сложить руки!*

---

[1] не имеет успеха *(от франц. avorter).— Ред.*

ГЛАВА X

CAMICIA ROSSA[1]

Шекспиров день превратился в день Гарибальди. Сближение это вытянуто за волосы историей, такие натяжки удаются ей одной.

Народ, собравшись на Примроз-Гиль, чтоб посадить дерево в память threecentenary[2], остался там, чтоб поговорить о *скоропостижном* отъезде Гарибальди. Полиция разогнала народ. Пятьдесят тысяч человек (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейских и, из глубокого уважения к законности, вполовину сгубили великое право сходов под чистым небом и, во всяком случае, поддержали беззаконное вмешательство власти.

...Действительно, какая-то шекспировская фантазия пронеслась перед нашими глазами на сером фоне Англии, с чисто шекспировской близостью великого и отвратительного, раздирающего душу и скрипящего по тарелке. Святая простота человека, наивная простота масс и тайные скопы за стеной, интриги, ложь. Знакомые тени мелькают в других образах — от Гамлета до короля Лира, от Гонериль и Корделий до *честного* Яго. Яго — всё крошечные, но зато какое количество и какая у них честность!

Пролог. Трубы. Является идол масс, единственная, великая, народная личность нашего века, выработавшаяся с 1848 года, является во всех лучах славы. Все склоняется перед ней, все ее празднуют, это — воочью совершающееся hero-worship[3] Карлейля. Пушечные выстрелы, колокольный звон, вымпела на кораблях — и только потому нет музыки, что *гость Англии* приехал в воскресенье, а воскресенье здесь постный день... Лондон ждет приезжего часов семь на ногах, овации растут с каждым днем; появление человека в *красной рубашке* на улице делает взрыв восторга, толпы провожают его ночью, в час, из оперы, толпы встречают его утром, в семь часов, перед Стаффорд Гаузом. Работники и дюки[4], швеи и лорды, банкиры и high church[5], фео-

---

[1] Статья эта назначена была для «Полярной звезды», но «Полярная звезда» не выйдет в нынешнем году; а в «Колоколе» благодаря террору, наложившему печать молчания на большую часть наших корреспондентов, довольно места для нее и еще для двух-трех статей. ⟨*Camicia rossa* — красная рубашка (*итал.*). — *Ред.*⟩

[2] трехсотлетия *(англ.).— Ред.*

[3] поклонение героям *(англ.).— Ред.*

[4] Я прошу позволение дюков называть дюками, а не герцогами. Во-первых, оно правильнее, а во-вторых, одним немецким словом меньше в русском языке. Autant de pris sur le Deutschtum. ⟨Все-таки победа над немецким духом *(франц.).— Ред.*⟩

[5] Здесь: высшее духовенство *(англ.).— Ред.*

дальная развалина Дерби и осколок февральской революции — республиканец 1848 года, старший сын королевы Виктории и босой sweeper[1], родившийся без родителей, ищут наперерыв его руки, взгляда, слова. Шотландия, Ньюкестль-он-Тейн, Глазгов, Манчестер трепещут от ожидания — а он исчезает в непроницаемом тумане, в синеве океана.

Как тень Гамлетова отца, гость попал на какую-то министерскую дощечку и исчез. Где он? Сейчас был тут и тут, а теперь нет... Остается одна точка, какой-то парус, готовый отплыть.

Народ английский одурачен. «Великий, глупый народ»,— как сказал о нем поэт. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джон Буль, и жаль его, и смешно! Бык с львиными замашками только что было тряхнул гривой и порасправился, чтоб встретить гостя так, как он никогда не встречал ни одного ни на службе состоящего, ни отрешенного от должности монарха, а у него его и отняли. Лев-бык бьет двойным копытом, царапает землю, сердится... но сторожа знают хитрости замков и засовов *свободы*, которыми он заперт, болтают ему какой-то вздор и держат ключ в кармане... а точка исчезает в океане.

Бедный лев-бык, ступай на свой hard labour[2], тащи плуг, подымай молот. Разве три министра, один не министр, один дюк, один профессор хирургии и один лорд пиетизма не засвидетельствовали всенародно в камере пэров и в низшей камере, в журналах и гостиных, что здоровый человек, которого ты видел вчера, *болен*, и болен так, что его надобно послать на яхте вдоль Атлантического океана и поперек Средиземного моря?.. «Кому же ты больше веришь: моему ослу или мне?» — говорил обиженный мельник, в старой басне, скептическому другу своему, который сомневался, слыша рев, что осла нет дома...

Или разве *они* не друзья народа? Больше, чем друзья — они его опекуны, его отцы с матерью...

...Газеты подробно рассказали о пирах и яствах, речах и мечах, адресах и кантатах, Чизвике и Гильдголле. Балет и декорации, пантомимы и арлекины этого «сновидения в весеннюю ночь» описаны довольно. Я не намерен вступать с ними в соревнование, а просто хочу передать из моего небольшого фотографического снаряда несколько картинок, взятых с того скромного угла, из которого я смотрел. В них, как всегда бывает в фотографиях, захватилось и осталось много случайного, неловкие складки, неловкие позы, слишком выступившие мелочи, рядом

---

[1] трубочист *(англ.).— Ред.*
[2] каторжный труд *(англ.).— Ред.*

с нерукотворенными чертами событий и неподслащенными чертами лиц...

Рассказ этот дарю я вам, отсутствующие дети (отчасти он для вас и писан), и еще раз очень, очень жалею, что вас здесь не было с нами 17 апреля.

I. В БРУК ГАУЗЕ

Третьего апреля к вечеру Гарибальди приехал в Соутамтон. Мне хотелось видеть его прежде, чем его завертят, опутают, утомят.

Хотелось мне этого по-многому: во-первых, просто потому, что я его люблю и не видал около десяти лет. С 1848 я следил шаг за шагом за его великой карьерой; он уже был для меня в 1854 году лицо, взятое целиком из Корнелия Непота или Плутарха...[1] С тех пор он перерос половину их, сделался «невенчанным царем» народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком, и это от Украйны и Сербии до Андалузии и Шотландии, от Южной Америки до Северных Штатов. С тех пор он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпускают ямщика, когда он довез до станции. С тех пор он был обманут и побит, и так, как ничего не выиграл победой, не только ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его с народом. К величию героя прибавился венец мученика. Мне хотелось видеть, тот ли же это добродушный моряк, приведший «Common Wealth» из Бостона в Indian Docks, мечтавший о плавучей эмиграции, носящейся по океану[2], и угощавший меня ницким белетом, привезенным из Америки.

Хотелось мне, во-вторых, поговорить с ним о здешних интригах и нелепостях, о добрых людях, строивших одной рукой пьедестал ему и другой привязывавших Маццини к позорному столбу. Хотелось ему рассказать об охоте по Стансфильду и о тех нищих разумом либералах, которые вторили лаю готических свор, не понимая, что те имели, по крайней мере, цель — сковырнуть на Стансфильде пегое и бесхарактерное министерство и заменить его своей подагрой, своей ветошью и своим линялым тряпьем с гербами.

...В Соутамтоне я Гарибальди не застал. Он только что уехал на остров Вайт. На улицах были видны остатки торжества: знамена, группы народа, бездна иностранцев...

---

[1] «Полярная звезда», кн. V, «Былое и думы».

[2] Там же.

Не останавливаясь в Соутамтоне, я отправился в Коус. На пароходе, в отелях все говорило о Гарибальди, о его приеме. Рассказывали отдельные анекдоты, как он вышел на палубу, опираясь на дюка Сутерландского, как, сходя в Коусе с парохода, когда матросы выстроились, чтоб проводить его, Гарибальди пошел было, поклонившись, но вдруг остановился, подошел к матросам и каждому подал руку, вместо того чтоб подать на водку.

В Коус я приехал часов в девять вечера, узнал, что Брук Гауз очень не близок, заказал на другое утро коляску и пошел по взморью. Это был первый теплый вечер 1864. Море совершенно покойное, лениво шаля, колыхалось; кой-где сверкал, исчезая, фосфорический свет; я с наслаждением вдыхал влажно-йодистый запах морских испарений, который люблю, как запах сена; издали раздавалась бальная музыка из какого-то клуба или казино, все было светло и празднично.

Зато на другой день, когда я часов в шесть утра отворил окно, Англия напомнила о себе: вместо моря и неба, земли и дали была одна сплошная масса неровного серого цвета, из которой лился частый, мелкий дождь, с той британской настойчивостью, которая вперед говорит: «Если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». В семь часов поехал я под этой душей в Брук Гауз.

Не желая долго толковать с тугой на пониманье и скупой на учтивость английской прислугой, я послал записку к секретарю Гарибальди — Гверцони. Гверцони провел меня в свою комнату и пошел сказать Гарибальди. Вслед за тем я услышал постукивание трости и голос: «Где он, где он?» Я вышел в коридор. Гарибальди стоял передо мной и прямо, ясно, кротко смотрел мне в глаза, потом протянул обе руки и, сказав: «Очень, очень рад, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете!» — обнял меня.— «Куда вы хотите? Это комната Гверцони; хотите ко мне, хотите остаться здесь?» — спросил он и сел.

Теперь была моя очередь смотреть на него.

Одет он был так, как вы знаете по бесчисленным фотографиям, картинкам, статуэткам: на нем была красная шерстяная рубашка и сверху плащ, особым образом застегнутый на груди; не на шее, а на плечах был платок, так, как его носят матросы, узлом завязанный на груди. Все это к нему необыкновенно шло, особенно его плащ.

Он гораздо меньше изменился в эти десять лет, чем я ожидал. Все портреты, все фотографии его никуда не годятся, на всех он старше, чернее и, главное, выражение лица нигде не схвачено. А *в нем-то* и высказывается *весь секрет* не только его лица, но его самого, его силы — той притяжательной и отдаю-

щейся силы, которой он постоянно покорял все окружавшее его... какое бы оно ни было, без различия диаметра: кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drappello[1] гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии, народные массы всех стран, целые части земного шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильного и скорее напоминающего славянский тип, чем итальянский, оживлена, проникнута беспредельной добротой, любовью и тем, что называется bienveillance (я употребляю французское слово, потому что наше «благоволение» затаскалось до того по передним и канцеляриям, что его смысл исказился и оподлел). То же в его взгляде, то же в его голосе, и все это так просто, так от души, что если человек не имеет задней мысли, жалованья от какого-нибудь правительства и вообще не остережется, то он непременно его полюбит.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характер, ни выражение его лица, рядом с его добродушием и увлекаемостью чувствуется несокрушимая нравственная твердость и какой-то возврат на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты, меланхолической, печальной, я прежде не замечал в нем.

Минутами разговор обрывается; по его лицу, как тучи по морю, пробегают какие-то мысли — ужас ли то перед судьбами, лежащими на его плечах, перед тем народным *помазанием*, от которого он уже не может отказаться? Сомнение ли после того, как он видел столько измен, столько падений, столько слабых людей? Искушение ли величия? Последнего не думаю,— его личность давно исчезла в его деле...

Я уверен, что подобная черта страдания перед призванием была и на лице девы Орлеанской, и на лице Иоанна Лейденского,— они принадлежали народу, стихийные чувства, или, лучше, предчувствия, заморенные в нас, сильнее в народе. В их вере был фатализм, а фатализм сам по себе бесконечно грустен. «Да совершится воля твоя»,— говорит всеми чертами лица Сикстинская мадонна. «Да совершится воля твоя»,— говорит ее сын-плебей и Спаситель, грустно молясь на Масличной горе.

...Гарибальди вспомнил разные подробности о 1854 годе, когда он был в Лондоне, как он ночевал у меня, опоздавши в Indian Docks; я напомнил ему, как он в этот день пошел гулять с моим сыном и сделал для меня его фотографию у Кальдези, об обеде у американского консула с Бюхананом, который некогда наделал бездну шума и, в сущности, не имел смысла[2].

---

[1] отряд *(итал.).— Ред.*

[2] В ненапечатанной части «Былое и думы» обед этот рассказан.

— Я должен вам покаяться, что я поторопился к вам приехать не без цели,— сказал я наконец ему,— я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишком английская, то есть туманная, для того, чтоб ясно видеть закулисную механику одной пьесы, которая с успехом разыгрывается теперь в парламенте... чем вы дальше поедете, тем гуще будет туман. Хотите вы меня выслушать?

— Говорите, говорите — мы старые друзья.

Я рассказал ему дебаты, журнальный вопль, нелепость выходок против Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда.

— Заметьте,— добавил я,— что в Стансфильде тори и их сообщники преследуют не только революцию, которую они смешивают с Маццини, не только министерство Палмерстона, но, сверх того, человека, своим личным достоинством, своим трудом, умом достигнувшего в довольно молодых летах места лорда в адмиралтействе, человека без рода и связей в аристократии. На вас прямо они не смеют нападать на сию минуту, но посмотрите, как они бесцеремонно вас трактуют. Вчера в Коусе я купил последний лист «Standard'a»; схавши к вам, я его прочитал, посмотрите. «Мы уверены, что Гарибальди поймет настолько обязанности, возлагаемые на него гостеприимством Англии, что не будет иметь сношений с прежним товарищем своим и найдет настолько такта, чтоб не ездить в 35, Thurloe square»[1]. Затем выговор par anticipation[2], если вы этого не исполните.

— Я слышал кое-что,— сказал Гарибальди,— об этой интриге. *Разумеется, один из первых визитов моих будет к Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что̀ вам делать; я хотел вам только показать без тумана безобразные линии этой интриги.

Гарибальди встал; я думал, что он хочет окончить свидание и стал прощаться.

— Нет, нет, пойдемте теперь ко мне,— сказал он, и мы пошли.

Прихрамывает он сильно, но вообще его организм вышел торжественно из всякого рода моральных и хирургических сондирований, операций и проч.

Костюм его, скажу еще раз, необыкновенно идет к нему и необыкновенно изящен, в нем нет ничего профессионно-солдатского и ничего буржуазного, он очень прост и очень удобен. Непринужденность, отсутствие всякой аффектации в том, как он носит его, остановили салонные пересуды и тонкие насмешки. Вряд существует ли европеец, которому бы сошла с рук *красная рубашка* в дворцах и палатах Англии.

---

[1] Квартира Стансфильда.

[2] авансом *(франц.).— Ред.*

Притом костюм его чрезвычайно важен, в *красной рубашке* народ узнает себя и своего. Аристократия думает, что, схвативши его коня под уздцы, она его поведет куда хочет и, главное, отведет от народа; но народ смотрит на *красную рубашку* и рад, что дюки, маркизы и лорды попли в конюхи и официанты к революционному вождю, взяли на себя должности мажордомов, пажей и скороходов при великом плебее в плебейском платье.

Консервативные газеты заметили беду и, чтоб смягчить безнравственность и бесчиние гарибальдиевского костюма, выдумали, что он носит *мундир* монтевидейского волонтера. Да ведь Гарибальди с тех пор был пожалован генералом — королем, которому он пожаловал два королевства; отчего же он носит мундир монтевидейского волонтера?

Да и почему то́, что он носит,— мундир?

К мундиру принадлежит какое-нибудь смертоносное оружие, какой-нибудь знак власти или кровавых воспоминаний. Гарибальди ходит без оружия, он не боится никого и никого не стращает; в Гарибальди так же мало военного, как мало аристократического и мещанского. «Я не солдат,— говорил он в Кристаль-паласе итальянцам, подносившим ему меч,— и не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтоб их выгнать». «Я работник, происхожу от работников и горжусь этим»,— сказал он в другом месте.

При этом нельзя не заметить, что у Гарибальди нет также ни на йоту плебейской грубости, ни изученного демократизма. Его обращение мягко до женственности. Итальянец и человек, он на вершине общественного мира представляет не только плебся, верного своему началу, но итальянца, верного эстетичности своей расы.

Его мантия, застегнутая на груди, не столько военный плащ, сколько риза воина-первосвященника, propheta-re[1]. Когда он поднимает руку, от него ждут благословения и привета, а не военного приказа.

Гарибальди заговорил о польских делах. Он дивился отваге поляков.

— Без организации, без оружия, без людей, без открытой границы, без всякой опоры выступить против сильной военной державы и продержаться с лишком год — такого примера нет в истории... Хорошо, если б другие народы переняли. Столько геройства не должно, не может погибнуть, я полагаю, что Галиция готова к восстанию?

Я промолчал.

---

[1] пророка-царя *(лат.).— Ред.*

— Так же, как и Венгрия — вы не верите?

— Нет, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движения в России?

— Никакого. С тех пор как я вам писал письмо, в ноябре месяце, ничего не переменилось. Правительство, чувствующее поддержку во всех злодействах в Польше, идет очертя голову, ни в грош не ставит Европу, общество падает глубже и глубже. Народ молчит. Польское дело — не его дело,— у нас враг один, общий, но вопрос розно поставлен. К тому же у нас много времени впереди — а у них его нет.

Так продолжался разговор еще несколько минут, начались в дверях показываться архианглийские физиономии, шурстеть дамские платья... Я встал.

— Куда вы торопитесь? — сказал Гарибальди.

— Я не хочу вас больше красть у Англии.

— До свиданья в Лондоне — не правда ли?

— Я непременно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландского?

— Да,— сказал Гарибальди и прибавил, будто извиняясь: — не мог отказаться.

— Так я явлюсь к вам, напудрившись, для того чтоб лакеи в Стаффорд Гаузе подумали, что у меня пудреный слуга.

В это время явился поэт *лавреат* Теннисон с женой,— это было слишком много лавров, и я по тому же беспрерывному дождю отправился в Коус.

Перемена декорации, но продолжение той же пьесы. Пароход из Коуса в Соутамтон только что ушел, а другой отправлялся через три часа, в силу чего я пошел в ближайший ресторан, заказал себе обед и принялся читать «Таймс». С первых строк я был ошеломлен. Семидесятипятилетний Авраам, судившийся месяца два тому назад за какие-то шашни с новой Агарью, принес окончательно на жертву своего галифакского Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это в самое то время, когда Гарибальди начинал свое торжественное шествие в Англии. Говоря с Гарибальди, я этого даже не предполагал.

Что Стансфильд подал во второй раз в отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему с самого начала следовало стать во весь рост и бросить свое лордшипство. Стансфильд сделал свое дело. Но что сделал Палмерстон с товарищами? И что он лепетал потом в своей речи?.. С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике, о претрепетном желании ему долговечья и всякого блага, навеки

нерушимого. Как будто кто-нибудь брал au serieux[1] эту полицейскую фарсу Greco, Trabucco et C°.

Это была *Мажента.*

Я спросил бумаги и написал письмо к Гверцони; написал я его со всей свежестью досады и просил его прочесть «Таймс» Гарибальди; я ему писал о безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями Маццини.

«Мне пятьдесят два года,— говорил я,— но признаюсь, что слезы негодования навертываются на глазах при мысли об этой несправедливости» и проч.

За несколько дней до моей поездки я был у Маццини. Человек этот многое вынес, многое умеет выносить, это старый боец, которого ни утомить, ни низложить нельзя; но тут я его застал сильно огорченным именно тем, что его выбрали средством для того, чтобы выбить из стремян его друга. Когда я писал письмо к Гверцони, образ исхудалого, благородного старца с сверкающими глазами носился предо мной.

Когда я кончил и человек подал обед, я заметил, что я не один: небольшого роста белокурый молодой человек с усиками и в синей пальто-куртке, которую носят моряки, сидел у камина, à l'américaine хитро утвердивши ноги в уровень с ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинциальный акцент, делавший для меня его речь непонятной, убедили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующий на берегу мичман, и я перестал им заниматься — говорил он не со мной, а со слугой. Знакомство окончилось было тем, что я ему подвинул соль, а он за то тряхнул головой.

Вскоре к нему присоединился пожилых лет черноватенький господин, весь в черном и весь до невозможности застегнутый с тем особенным видом помешательства, которое дает людям близкое знакомство с небом и натянутая религиозная экзальтация, делающаяся натуральной от долгого употребления.

Казалось, что он хорошо знал мичмана и пришел, чтоб с ним повидаться. После трех-четырех слов он перестал *говорить* и начал *проповедовать*. «Видел я,— говорил он,— Маккавея, Гедеона... орудие в руках промысла, его меч, его пращ... и чем более я смотрел на него, тем сильнее был тронут и со слезами твердил: меч господень! меч господень! Слабого Давида избрал он побить Голиафа. Оттого-то народ английский, народ избранный, идет ему на сретение, как к невесте ливанской... Сердце народа в руках божиих; оно сказало ему, что это меч господень, орудие промысла, Гедеон!»

---

[1] всерьез *(франц.).— Ред.*

...Отворились настежь двери, и вошла не невеста ливанская, а разом человек десять важных бриттов, и в их числе лорд Шефсбюри, Линдзей. Все они уселись за стол и потребовали что-нибудь перекусить, объявляя, что сейчас едут в Brook House. Это была официальная депутация от Лондона с приглашением к Гарибальди. Проповедник умолк; но мичман поднялся в моих глазах, он с таким недвусмысленным чувством отвращения смотрел на взошедшую депутацию, что мне пришло в голову, вспоминая проповедь его приятеля, что он принимает этих людей если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросил его, как следует надписать письмо в Brook House, достаточно ли назвать дом или надобно прибавить ближний город. Он сказал, что не нужно ничего прибавлять.

Один из депутации, седой, толстый старик спросил меня, к кому я посылаю письмо в Brook House.

— К Гверцони.

— Он, кажется, секретарем при Гарибальди?

— Да.

— Чего же вам хлопотать, мы сейчас едем, я охотно свезу письмо.

Я вынул мою карточку и отдал ее с письмом. Может ли что-нибудь подобное случиться на континенте? Представьте себе, если б во Франции кто-нибудь спросил бы вас в гостинице, к кому вы пишете, и, узнавши, что это к секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано, и я на другой день имел ответ в Лондоне.

Редактор иностранной части «Morning Star'a» узнал меня. Начались вопросы о том, как я нашел Гарибальди, о его здоровье. Поговоривши несколько минут с ним, я ушел в smoking-room[1]. Там сидели за пель-элем и трубками мой белокурый моряк и его черномазый теолог.

— Что,— сказал он мне,— нагляделись вы на эти лица?.. А ведь это неподражаемо хорошо: лорд Шефсбюри, Линдзей едут депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедия! Знают ли они, кто такой Гарибальди?

— Орудие промысла, меч в руках господних, его пращ... потому-то он и вознес его и оставил его в святой простоте его...

— Это все очень хорошо, да зачем едут эти господа? Спросил бы я кой у кого из них, сколько у них денег в Алабаме?.. Дайте-ка Гарибальди приехать в Нюкестль-он-Тейн да в Глазгов,— там он увидит народ поближе, там ему не будут мешать лорды и дюки.

---

[1] курительную комнату *(англ.).— Ред.*

Это был не мичман, а корабельный постройщик. Он долго жил в Америке, знал хорошо дела Юга и Севера, говорил о безвыходности тамошней войны, на что утешительный теолог заметил:

— Если господь раздвоил народ этот и направил брата на брата, он имеет свои виды, и если мы их не понимаем, то должны покоряться провидению даже тогда, когда оно карает.

Вот где и в какой форме мне пришлось слышать в последний раз комментарий на знаменитый гегелевский мотто:[1] «Все, что действительно, то разумно».

Дружески пожав руку моряку и его капеллану, я отправился в Соутамтон.

На пароходе я встретил радикального публициста Голиока; он виделся с Гарибальди позже меня; Гарибальди через него приглашал Маццини; он ему уже телеграфировал, чтоб он ехал в Соутамтон, где Голиок намерен был его ждать с Менотти Гарибальди и его братом. Голиоку очень хотелось доставить еще в тот же вечер два письма в Лондон (по почте они прийти не могли до утра). Я предложил мои услуги.

В одиннадцать часов вечера приехал я в Лондон, заказал в York Hôtel'e, возле Ватерлооской станции, комнату и поехал с письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успел перестать. В час или в начале второго приехал я в гостиницу,— заперто. Я стучался, стучался... Какой-то пьяный, оканчивавший свой вечер возле решетки кабака, сказал: «Не тут стучите, в переулке есть night-bell»[2]. Пошел я искать night-bell, нашел и стал звонить. Не отворяя дверей, из какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая, чего мне?

— Комнаты.

— Ни одной нет.

— Я в одиннадцать часов сам заказал.

— Говорят, что нет ни одной! — И он захлопнул дверь преисподней, не дождавшись даже, чтоб я его обругал, что́ я и сделал платонически, потому что он слышать не мог.

Дело было неприятное: найти в Лондоне в два часа ночи комнату, особенно в такой части города, не легко. Я вспомнил об небольшом французском ресторане и отправился туда.

— Есть комната? — спросил я хозяина.

— Есть, да не очень хороша.

— Показывайте.

Действительно, он сказал правду: комната была не только не

---

[1] изречение *(от итал. motto).— Ред.*

[2] ночной звонок *(англ.).— Ред.*

очень хороша, но прескверная. Выбора не было; я отворил окно и сошел на минуту в залу. Там все еще пили, кричали, играли в карты и домино какие-то французы. Немец колоссального роста, которого я видал, подошел ко мне и спросил, имею ли я время с ним поговорить наедине, что ему нужно мне сообщить что-то особенно важное.

— Разумеется, имею; пойдемте в другую залу, там никого нет.

Немец сел против меня и трагически начал мне рассказывать, как его патрон-француз надул, как он три года эксплуатировал его,— заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что он его примет в товарищи, и вдруг, не говоря худого слова, уехал в Париж и там нашел товарища. В силу этого немец сказал ему, что он оставляет место, а патрон не возвращается...

— Да зачем же вы верили ему без всякого условия?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin[1].

— Ну, это другое дело.

— Я хочу запечатать заведение и уйти.

— Смотрите, он вам сделает процесс; знаете ли вы здешние законы?

Немец покачал головой.

— Хотелось бы мне насолить ему... А вы, верно, были у Гарибальди?

— Был.

— Ну, что он? Ein famoser Kerl!..[2] Да ведь если б он мне не обещал целые три года, я бы иначе вел дела... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется, ничего.

— Эдакая бестия, все скрыл и в последний день говорит: у меня уж есть товарищ-associé... Я вам, кажется, надоел?

— Совсем нет, только я немного устал, хочу спать, я встал в шесть часов, а теперь два с хвостиком.

— Да что же мне делать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли: ich habe so bei mir gedacht, der wird Rat schaffen[3]. Так не запечатывать заведения?

— Нет, а так как ему полюбилось в Париже, так вы ему завтра же напишете: «Заведение запечатано, когда вам угодно принимать его?» Вы увидите эффект, он бросит жену и игру на бирже, прискачет сюда и — и увидит, что заведение не заперто.

— Sapperlot! das ist eine Idee — ausgezeichnet;[4] я пойду писать письмо.

---

[1] Потому что я глупый немец *(нем.).— Ред.*

[2] Великолепный малый!.. *(нем.)— Ред.*

[3] я подумал про себя: этот что-нибудь посоветует *(нем.).— Ред.*

[4] Черт возьми! вот так идея — прямо великолепно *(нем.).— Ред.*

— А я — спать. Gute Nacht.

— Schlafen sie wohl [1].

Я спрашиваю свечку. Хозяин подает ее собственноручно и объясняет, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сделался духовником.

— Что вам надобно? Оно немного поздно, но я готов.

— Несколько слов. Я вас хотел спросить, как вы думаете, ссли я завтра выставлю бюст Гарибальди, знаете, с цветами, с лавровым венком, ведь это будет очень хорошо? Я уж и о надписи думал... трехцветными буквами «Garibaldi — libérateur!» [2].

— Отчего же — можно! Только французское посольство запретит ходить в ваш ресторан французам, а они у вас с утра до ночи.

— Оно так... Но знаете, сколько денег зашибешь, выставивши бюст... а потом забудут...

— Смотрите,— заметил я, решительно вставая, чтоб идти,— не говорите никому: у вас украдут эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я надеюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомневайтесь,— и я отправился в нечистую спальню его.

Сим оканчивается мое первое свиданье с Гарибальди в 1864 году.

II. В СТАФФОРД ГАУЗЕ

В день приезда Гарибальди в Лондон я его не видал, а видел море народа, реки народа, запруженные им улицы в несколько верст, наводненные площади, везде, где был карниз, балкон, окно, выступили люди, и все это ждало в иных местах *шесть часов*... Гарибальди приехал в половине третьего на станцию Нейн-Эльмс и только в половине девятого подъехал к Стаффорд Гаузу, у подъезда которого ждал его дюк Сутерланд с женой.

Английская толпа груба, многочисленные сборища ее не обходятся без драк, без пьяных, без всякого рода отвратительных сцен и, главное, без организованного на огромную скáлу воровства. На этот раз порядок был удивительный; народ понял, что это *его* праздник, что он чествует одного из *своих*, что он больше чем свидетель, и посмотрите в полицейском отделе газет, сколько было покраж в день въезда невесты Вельского и сколько [3] при проезде

---

[1] Доброй ночи.
— Спите спокойно *(нем.)*.— *Ред.*

[2] Гарибальди — освободитель! *(франц.)* — *Ред.*

[3] Я помню один процесс кражи часов и две-три драки с ирландцами.

Гарибальди, а полиции было несравненно меньше. Куда же делись пикпокеты?[1]

У Вестминстерского моста, близ парламента, народ так плотно сжался, что коляска, ехавшая шагом, остановилась и процессия, тянувшаяся на версту, ушла вперед с своими знаменами, музыкой и проч. С криками *ура* народ облепил коляску; все, что могло продраться, жало руку, целовало края плаща Гарибальди, кричало: «Welcome!»[2] С каким-то упоением любуясь на великого плебея, народ хотел отложить лошадей и везти на себе, но его уговорили. Дюков и лордов, окружавших его, никто не замечал — они сошли на скромное место гайдуков и официантов. Эта овация продолжалась около часа; одна народная волна передавала гостя другой, причем коляска двигалась несколько шагов и снова останавливалась.

Злоба и остервенение континентальных консерваторов совершенно понятны. Прием Гарибальди не только обиден для табеля о рангах, для ливреи, но он чрезвычайно опасен как пример. Зато бешенство листов, состоящих на службе трех императоров и одного «imperial»-торизма, вышло из всех границ, начиная с границ учтивости. У них помутилось в глазах, зашумело в ушах... Англия дворцов, Англия сундуков, забыв всякое приличие, идет вместе с Англией мастерских на сретение какого-то «aventurier» — мятежника, который был бы повешен, если б ему не удалось освободить Сицилии. «Отчего,— говорит опростоволосившаяся «La France»,— отчего Лондон никогда так не встречал маршала Пелисье, которого слава так чиста?», и даже, несмотря на то, забыла она прибавить, что он выжигал сотнями арабов с детьми и женами так, как у нас выжигают тараканов.

Жаль, что Гарибальди принял гостеприимство дюка Сутерландского. Неважное значение и политическая стертость «пожарного» дюка до некоторой степени делали Стаффорд Гауз гостиницей Гарибальди... Но все же обстановка не шла, и интрига, затеянная *до въезда* его в Лондон, расцвела удобно на дворцовом грунте. Цель ее состояла в том, чтоб удалить Гарибальди от народа, то есть от работников, и отрезать его от тех из друзей и знакомых, которые остались верными прежнему знамени, и, разумеется,— пуще всего от Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдули большую половину этих ширм, но другая половина осталась,— именно невозможность говорить с ним без свидетелей. Если б Гарибальди не вставал в пять часов утра и не принимал в шесть, она удалась бы совсем; по счастию, усердие интриги раньше половины

---

[1] карманные воришки *(от англ. pickpocket).— Ред.*
[2] Добро пожаловать! *(англ.) — Ред.*

девятого не шло; только в день его отъезда дамы начали вторжение в его спальню часом раньше. Раз как-то Мордини, не успев сказать ни слова с Гарибальди в продолжение часа, смеясь, заметил мне: «В мире нет человека, которого бы было легче видеть, как Гарибальди, но зато нет человека, с которым бы было труднее говорить».

Гостеприимство дюка было далеко лишено того широкого характера, которое некогда мирило с аристократической роскошью. Он дал только комнату для Гарибальди и для молодого человека, который перевязывал его ногу; а другим, то есть сыновьям Гарибальди, Гверцони и Базилио, хотел нанять комнаты. Они, разумеется, отказались и поместились на свой счет в Bath Hôtel. Чтоб оценить эту странность, надо знать, что̀ такое Стаффорд Гауз. В нем можно поместить, не стесняя хозяев, все семьи крестьян, пущенных по миру отцом дюка, а их очень много.

Англичане — дурные актеры, и это им делает величайшую честь. В первый раз как я был у Гарибальди в Стаффорд Гаузе, придворная интрига около него бросилась мне в глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали беспрерывно. Какой-то итальянец сделался полицмейстером, церемониймейстером, экзекутором, дворецким, бутафором, суфлером. Да и как не сделаться за честь заседать с дюками и лордами, вместе с ними предпринимать меры для предупреждения и пресечения всех сближений между народом и Гарибальди, и вместе с дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянского вождя и которую хромой генерал рвал ежедневно, не замечая ее.

Гарибальди, например, едет к Маццини. Что делать? Как скрыть? Сейчас на сцену бутафоры, фактотумы,— средство найдено. На другое утро весь Лондон читает: «Вчера, в таком-то часу, Гарибальди посетил в Онсло-террас *Джона Френса*». Вы думаете, что это вымышленное имя,— нет, это — имя хозяина, содержащего квартиру.

Гарибальди не думал отрекаться от Маццини, но он мог уехать из этого водоворота, не встречаясь с ним при людях и не заявив этого публично. Маццини отказался от посещений к Гарибальди, пока он будет в Стаффорд Гаузе. Они могли бы легко встретиться при небольшом числе, но никто не брал инициативы. Подумав об этом, я написал к Маццини записку и спросил его, примет ли Гарибальди приглашение в такую даль, как Теддингтон; если нет, то я его не буду звать, тем дело и кончится, если же поедет, то я очень желал бы их обоих пригласить. Маццини написал мне на другой день, что Гарибальди очень рад и что если ему ничего не помешает, то они приедут в воскресенье, в час. Маццини в заклю-

чение прибавил, что Гарибальди очень бы желал видеть у меня Ледрю-Роллена.

В субботу утром я поехал к Гарибальди и, не застав его дома, остался с Саффи, Гверцони и другими его ждать. Когда он возвратился, толпа посетителей, дожидавшихся в сенях и коридоре, бросилась на него; один храбрый бритт вырвал у него палку, всунул ему в руку другую и с каким-то азартом повторял:

— Генерал, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше.

— Да зачем же? — спросил Гарибальди, улыбаясь,— я к моей палке привык.

Но видя, что англичанин без боя палки не отдаст, пожал слегка плечами и пошел дальше.

В зале за мною шел крупный разговор. Я не обратил бы на него никакого внимания, если б не услышал громко повторенные слова:

— Capite[1], Теддингтон в двух шагах от Гамптон Корта. Помилуйте, да это невозможно, материально невозможно... в двух шагах от Гамптон Корта,— это шестнадцать — восемнадцать миль.

Я обернулся и, видя совершенно мне незнакомого человека, принимавшего так к сердцу расстояние от Лондона до Теддингтона, я ему сказал:

— Двенадцать или тринадцать миль.

Споривший тотчас обратился ко мне:

— И тринадцать милей — страшное дело. Генерал должен быть в три часа в Лондоне... Во всяком случае, Теддингтон надо отложить.

Гверцони повторял ему, что Гарибальди хочет ехать и поедет.

К итальянскому опекуну прибавился англицкий, находивший, что принять приглашение в такую даль сделает гибельный антецедент... Желая им напомнить неделикатность дебатировать этот вопрос при мне, я заметил им:

— Господа, позвольте мне покончить ваш спор,— и тут же, подойдя к Гарибальди, сказал ему: — Мне ваше посещение бесконечно дорого, и теперь больше, чем когда-нибудь, в эту черную полосу для России ваше посещение будет иметь особое значение, вы посетите не одного меня, но друзей наших, заточенных в тюрьмы, сосланных на каторгу. Зная, как вы заняты, я боялся вас звать. По одному слову общего друга, вы велели мне передать, что приедете. Это вдвое дороже для меня. Я верю, что вы хотите приехать, но я не настаиваю (je n'insiste pas), если это сопряжено с такими непреоборимыми препятствиями, как говорит этот господин, которого я не знаю,— я указал его пальцем.

---

[1] Поймите *(итал.).— Ред.*

— В чем же препятствия? — спросил Гарибальди.

Impresario подбежал и скороговоркой представил ему все резоны, что ехать завтра в одиннадцать часов в Теддингтон и приехать к трем невозможно.

— Это очень просто,— сказал Гарибальди,— значит, надо ехать не в одиннадцать, а в десять; кажется, ясно?

Импрезарио исчез.

— В таком случае, чтоб не было ни потери времени, ни искания, ни новых затруднений,— сказал я,— позвольте мне приехать к вам в десятом часу и поедемте вместе.

— Очень рад, я вас буду ждать.

От Гарибальди я отправился к Ледрю-Роллену. В последние два года я его не видал. Не потому, чтоб между нами были какие-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общего. К тому же лондонская жизнь, и в особенности в его предместьях, разводит людей как-то незаметно. Он держал себя в последнее время одиноко и тихо, хотя и верил с тем же ожесточением, с которым верил 14 июня 1849 в близкую революцию во Франции. Я не верил в нее почти так же долго и тоже оставался при моем неверии.

Ледрю-Роллен, с большой вежливостию ко мне, отказался от приглашения. Он говорил, что душевно был бы рад опять встретиться с Гарибальди и, разумеется, готов бы был ехать ко мне, но что он, как представитель французской республики, как пострадавший за Рим (13 июня 1849 года), не может Гарибальди видеть в первый раз иначе, как у себя.

— Если,— говорил он,— политические виды Гарибальди не дозволяют ему официально показать свою симпатию французской республике в моем ли лице, в лице Луи Блана или кого-нибудь из нас — все равно, я не буду сетовать. Но отклоню свиданье с ним, где бы оно ни было. Как частный человек, я желаю его видеть, но мне нет особенного дела до него; французская республика — не куртизана, чтоб ей назначать свиданье полутайком. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете к себе, и скажите откровенно, согласны вы с моим рассуждением или нет?

— Я полагаю, что вы правы, и надеюсь, что вы не имеете ничего против того, чтоб я передал наш разговор Гарибальди?

— Совсем напротив.

Затем разговор переменился. Февральская революция и 1848 год вышли из могилы и снова стали передо мной в том же образе тогдашнего трибуна, с несколькими морщинами и сединами больше. Тот же слог, те же мысли, те же обороты, а главное — та же надежда.

— Дела идут превосходно. Империя не знает, что делать. Elle est débordée[1]. Сегодня еще я имел вести: невероятный успех в общественном мнении. Да и довольно, кто мог думать, что такая нелепость продержится до 1864.

Я не противоречил, и мы расстались довольные друг другом.

На другой день, приехавши в Лондон, я начал с того, что взял карету с парой сильных лошадей и отправился в Стаффорд Гауз.

Когда я взошел в комнату Гарибальди, его в ней не было. А ярый итальянец уже с отчаянием проповедовал о совершенной невозможности ехать в Теддингтон.

— Неужели вы думаете,— говорил он Гверцони,— что лошади дюка вынесут двенадцать или тринадцать миль взад и вперед? Да их просто не дадут на такую поездку.

— Их не нужно, у меня есть карета.

— Да какие же лошади повезут назад, все те же?

— Не заботьтесь, если лошади устанут, впрягут других.

Гверцони с бешенством сказал мне:

— Когда это кончится эта каторга! Всякая дрянь распоряжается, интригует.

— Да вы не обо мне ли говорите? — кричал бледный от злобы итальянец.— Я, милостивый государь, не позволю с собой обращаться, как с каким-нибудь лакеем! — и он схватил на столе карандаш, сломал его и бросил.— Да если так, я все брошу, я сейчас уйду!

— Об этом-то вас просят.

Ярый итальянец направился быстрым шагом к двери, но в дверях показался Гарибальди. Покойно посмотрел он на них, на меня и потом сказал:

— Не пора ли? Я в ваших распоряжениях, только доставьте меня, пожалуйста, в Лондон к двум с половиной или трем часам, а теперь позвольте мне принять старого друга, который только что приехал; да вы, может, его знаете,— Мордини.

— Больше, чем знаю, мы с ним приятели. Если вы не имеете ничего против, я его приглашу.

— Возьмем его с собой.

Взошел Мордини, я отошел с Саффи к окну. Вдруг фактотум, изменивший свое намерение, подбежал ко мне и храбро спросил меня:

— Позвольте, я ничего не понимаю, у вас карета, а едете — вы сосчитайте — генерал, вы, Мелотти, Гверцони, Саффи и Мордини... Где вы сядете?

---

[1] Ее захлестнуло *(франц.).— Ред.*

— Если нужно, будет еще карета, две...

— А время-то их достать...

Я посмотрел на него и, обращаясь к Мордини, сказал ему:

— Мордини, я к вам и к Саффи с просьбой: возьмите энзам[1] и поезжайте сейчас на Ватерлооскую станцию, вы застанете train, а то вот этот господин заботится, что нам негде сесть и нет времени послать за другой каретой. Если б я вчера знал, что будут такие затруднения, я пригласил бы Гарибальди ехать по железной дороге, теперь это потому нельзя, что я не отвечаю, найдем ли мы карету или коляску у теддингтонской станции. А пешком идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы едем сейчас,— отвечали Саффи и Мордини.

— Поедемте и мы,— сказал Гарибальди, вставая.

Мы вышли; толпа уже густо покрывала место перед Стаффорд Гаузом. Громкое продолжительное *ура* встретило и проводило нашу карету.

Менотти не мог ехать с нами, он с братом отправлялся в Виндзор. Говорят, что королева, которой хотелось видеть Гарибальди, но которая одна во всей Великобритании не имела на то права, желала *нечаянно* встретиться с его сыновьями. В этом деле же львиная часть досталась не королеве...

III. У НАС

День этот удался необыкновенно и был одним из самых светлых, безоблачных и прекрасных дней — последних пятнадцати лет. В нем была удивительная ясность и полнота, в нем была эстетическая мера и законченность — очень редко случающиеся. *Одним* днем позже — и праздник наш не имел бы того характера. Одним неитальянцем больше, и тон был бы другой, по крайней мере была бы боязнь, что он исказится. Такие дни представляют вершины... Дальше, выше, в сторону — ничего, как в пропетых звуках, как в распустившихся цветах.

С той минуты, как исчез подъезд Стаффорд Гауза с фактотумами, лакеями и швейцаром сутерландского дюка и толпа приняла Гарибальди своим *ура* — на душе стало легко, все настроилось на свободный человеческий диапазон, и так осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова теснимый, сжимаемый народом, целуемый в плечо и в полы, сел в карету и уехал в Лондон.

На дороге говорили об разных разностях. Гарибальди дивился, что немцы не понимают, что в Дании побеждает не их сво-

[1] кабриолет *(от англ. hansom).— Ред.*

Прибытие Д. Гарибальди в Англию.

Гравюра из газеты «The Illustrated London News» от 16 апреля 1864 года.

бода, не их единство, а две армии двух деспотических государств, с которыми они после не сладят[1].

— Если б Дания была поддержана в ее борьбе,— говорил он,— силы Австрии и Пруссии были бы отвлечены, нам открылась бы линия действий на противоположном береге.

Я заметил ему, что немцы — страшные националисты, что на них наклепали космополитизм, потому что их знали по книгам. Они патриоты не меньше французов, но французы спокойнее, зная, что их боятся. Немцы знают невыгодное мнение о себе других народов и выходят из себя, чтоб поддержать свою репутацию.

— Неужели вы думаете,— прибавил я,— что есть немцы, которые хотят отдать Венецию и квадрилатер? Может, еще Венецию,— вопрос этот слишком на виду, неправда этого дела очевидна, аристократическое имя действует на них; а вы поговорите о Триесте, который им нужен для торговли, и о Галиции или Познани, которые им нужны для того, чтоб их *цивилизовать*.

Между прочим, я передал Гарибальди наш разговор с Ледрю-Ролленом и прибавил, что, по моему мнению, Ледрю-Роллен прав.

— Без сомнения,— сказал Гарибальди,— совершенно прав. Я не подумал об этом. Завтра поеду к нему и к Луи Блану. Да нельзя ли заехать теперь? — прибавил он.

Мы были на Вондсвортском шоссе, а Ледрю-Роллен живет в Сен Джонс Вуд-парке, то есть за восемь миль. Пришлось и мне à l'impresario сказать, что это материально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчал, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминал. Он глядел вдаль, словно искал чего-то на горизонте. Я не прерывал его, а смотрел и думал: «Меч ли он в руках проведения» или нет, но наверное не полководец по ремеслу, не *генерал*. Он сказал святую истину, говоря, что он не солдат, а просто человек, вооружившийся, чтоб защитить поруганный очаг свой. Апостол-воин, готовый проповедовать крестовый поход и идти во главе его, готовый отдать за свой народ свою душу, своих детей, нанести и вывести страшные удары, вырвать душу врага, рассеять его прах... и, позабывши потом победу, бросить окровавленный меч свой вместе с ножнами в глубину морскую...

Все это и *именно это* поняли народы, поняли массы, поняла чернь — тем ясновидением, тем откровением, которым некогда римские рабы поняли непонятную тайну пришествия Христова, и

---

[1] Не странно ли, что Гарибальди в оценке своей шлезвиг-голштинского вопроса встретился с К. Фогтом?

толпы страждущих и обремененных, женщин и старцев — молились кресту казненного. Понять — значит для них уверовать, уверовать — значит чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейский Теддингтон и толпился у решетки нашего дома, с утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъехали, толпа в каком-то исступлении бросилась его приветствовать, жала ему руки, кричала: «God bless you, Garibaldi!»;[1] женщины хватали руку его и целовали, целовали край его плаща — я это видел своими глазами,— подымали детей своих к нему, плакали... Он, как в своей семье, улыбаясь, жал им руки, кланялся и едва мог пройти до сеней. Когда он взошел, крик удвоился — Гарибальди вышел опять и, положа обе руки на грудь, кланялся во все стороны. Народ затих, но остался и простоял все время, пока Гарибальди уехал.

Трудно людям, не видавшим ничего подобного,— людям, выросшим в канцеляриях, казармах и передней, понять подобные явления — «флибустьер», сын моряка из Ниццы, матрос, *повстанец*... и этот царский прием! Что он сделал для английского народа?.. И добрые люди ищут, ищут в голове объяснения, ищут тайную пружину. «В Англии удивительно с каким плутовством умеет *начальство* устроивать демонстрации... Нас не проведешь — Wir wissen, was wir wissen[2]— мы сами Гнейста читали!»

Чего доброго, может, и лодочник в Неаполе, который рассказывал[3], что медальон Гарибальди и медальон богородицы предохраняют во время бури, был подкуплен партией Сиккарди и министерством Веносты!

Хотя оно и сомнительно, чтоб журнальные Видоки, особенно наши москворецкие, так уж ясно могли отгадывать игру таких мастеров, как Палмерстон, Гладстон и К°, но все же иной раз они ее скорее поймут, по сочувствию крошечного паука с огромным тарантулом, чем секрет гарибальдиевского приема. И это превосходно для них,— пойми они *эту тайну*, им придется повеситься на ближней осине. Клопы на том только основании и могут жить счастливо, что они не догадываются о своем запахе. Горе клопу, у которого раскроется *человеческое* обоняние...

...Маццини приехал тотчас после Гарибальди, мы все вышли его встречать к воротам. Народ, услышав, кто это, громко приветствовал; народ вообще ничего не имеет против него. Старушечий страх перед конспиратором, агитатором начинается с лавочников, мелких собственников и проч.

---

[1] Господь да благословит вас, Гарибальди! *(англ.)* — *Ред.*
[2] Мы знаем, что знаем *(нем.)*.— *Ред.*
[3] «Колокол», № 177 (1864).

Несколько слов, которые сказали Маццини и Гарибальди, известны читателям «Колокола», мы не считаем нужным их повторять.

...Все были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини, тем искренним голосом, которым они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало в них, той торжественностью, которую они приобретали от ряда предшествовавших событий, что никто не отвечал, один Маццини протянул руку и два раза повторил: «Это слишком». Я не видал ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида recueilli[1] и не было бы взволновано сознанием, что тут пали великие слова, что эта минута вносилась в историю.

...Я подошел к Гарибальди с бокалом, когда он говорил о России, и сказал, что его тост дойдет до друзей наших в казематах и рудниках, что я благодарю его за них.

Мы перешли в другую комнату. В коридоре понабрались разные лица, вдруг продирается старик итальянец, стародавний эмигрант, бедняк, делавший мороженое; он схватил Гарибальди за полу, остановил его и, заливаясь слезами, сказал:

— Ну, теперь я могу умереть; я его видел, я его видел!

Гарибальди обнял и поцеловал старика. Тогда старик, перебиваясь и путаясь, с страшной быстротой народного итальянского языка, начал рассказывать Гарибальди свои похождения и заключил свою речь удивительным цветком южного красноречия:

— Я теперь умру покойно, а вы — да благословит вас бог — живите долго, живите для нашей родины, живите для нас, живите, пока я воскресну из мертвых!

Он схватил его руку, покрыл ее поцелуями и, рыдая, ушел вон.

Как ни привык Гарибальди ко всему этому, но, явным образом взволнованный, он сел на небольшой диван, дамы окружили его, я стал возле дивана, и на него налетело облако тяжелых дум — но на этот раз он не вытерпел и сказал:

— Мне иногда бывает страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишком много хорошего. Я помню, когда изгнанником я возвращался из Америки в Ниццу — когда я опять увидал родительский дом, нашел свою семью, родных, знакомые места, знакомых людей — я был удручен счастьем... Вы знаете,— прибавил он, обращаясь ко мне,— что и что было потом, какой ряд бедствий. Прием народа английского превзошел мои ожидания... Что же дальше? Что впереди?

Я не имел ни одного слова успокоения, я внутренно дрожал перед вопросом: *что дальше, что впереди?*

---

[1] сосредоточенного *(франц.)*. — *Ред.*

...Пора было ехать. Гарибальди встал, крепко обнял меня, дружески простился со всеми — снова крики, снова *ура*, снова два толстых полицейских, и мы, улыбаясь и прося, пли на брешу; снова «God bless you, Garibaldi, for ever»[1], и карета умчалась.

Все остались в каком-то поднятом, тихо торжественном настроении. Точно после праздничного богослужения, после крестин или отъезда невесты, у всех было полно на душе, все перебирали подробности и примыкали к грозному, безответному — «а что дальше?».

Князь П. В. Долгорукий первый догадался взять лист бумаги и записать оба тоста. Он записал верно, другие пополнили. Мы показали Маццини и другим и составили тот текст (с легкими и несущественными переменами), который, как электрическая искра, облетел Европу, вызывая крик восторга и рев негодования...

Потом уехал Маццини, уехали гости. Мы остались одни с двумя-тремя близкими, и тихо настали сумерки.

Как искренно и глубоко жалел я, дети, что вас не было с нами в этот день, такие дни хорошо помнить долгие годы, от них свежеет душа и примиряется с изнанкой жизни. Их очень мало...

IV. 26, PRINCE'S GATE

«Что-то будет?»... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Как в старых эпопеях, в то время как герой спокойно отдыхает на лаврах, пирует или спит,— Раздор, Месть, Зависть в своем парадном костюме съезжаются в каких-нибудь тучах, Месть с Завистью варят яд, куют кинжалы, а Раздор раздувает мехи и оттачивает острия. Так случилось и теперь, в приличном переложении на наши мирно-кроткие нравы. В наш век все это делается просто людьми, а не аллегориями; они собираются в светлых залах, а не во «тьме ночной», без растрепанных фурий, а с пудреными лакеями; декорации и ужасы классических поэм и детских пантомим заменены простой мирной *игрой* — в крапленые карты, колдовство — обыденными коммерческими проделками, в которых *честный* лавочник клянется, продавая какую-то смородинную ваксу с водкой, что это «порт» и притом «олдпорт***», зная, что ему никто не верит, но и процесса не сделает, а если сделает, то сам же и будет в дураках.

В то самое время, как Гарибальди называл Маццини своим «другом и учителем», называл его тем ранним, бдящим сеятелем,

---

[1] Бог да благословит вас, Гарибальди, навсегда *(англ.)*.— *Ред.*

который одиноко стоял на поле, когда все спало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указал его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, из которого вышел вождь народа итальянского; в то время как, окруженный друзьями, он смотрел на плакавшего бедняка изгнанника, повторявшего свое «ныне отпущаеши», и сам чуть не плакал — в то время, когда он поверял нам свой тайный ужас перед будущим, какие-то *заговорщики* решили отделаться во что б ни стало от неловкого гостя, и, несмотря на то что в *заговоре* участвовали люди, состарившиеся в дипломациях и интригах, поседевшие и падшие на ноги в каверзах и лицемерии, они сыграли свою игру вовсе не хуже честного лавочника, продающего на свое *честное* слово смородинную ваксу за Old Port***.

Английское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди; это все вздор, выдуманный глубокомысленными журналистами на континенте. Англичане, приглашавшие Гарибальди, не имеют ничего общего с министерством. Предположение правительственного плана так же нелепо, как тонкое замечание наших кретинов о том, что Палмерстон дал Стансфильду место в адмиралтействе *именно потому*, что он друг Маццини. Заметьте, что в самых яростных нападках на Стансфильда и Палмерстона об этом не было речи ни в парламенте, ни в английских журналах; подобная пошлость возбудила бы такой же смех, как обвинение Уркуарда, что Палмерстон берет деньги с России. Чамберс и другие спрашивали Палмерстона, не будет ли приезд Гарибальди неприятен правительству. Он отвечал то, что́ ему следовало отвечать: правительству не может быть неприятно, чтоб генерал Гарибальди приехал в Англию, оно, с своей стороны, не отклоняет его приезда и не приглашает его.

Гарибальди согласился приехать с целью снова выдвинуть в Англии итальянский вопрос, собрать настолько денег, чтоб начать поход в Адриатике и совершившимся фактом увлечь Виктора-Эммануила.

Вот и все.

Что Гарибальди будут овации — знали очень хорошо приглашавшие его и все желавшие его приезда. Но оборота, который приняло дело в народе, они не ждали.

Английский народ при вести, что человек «красной рубашки», что *раненный итальянской пулей* едет к нему в гости, встрепенулся и взмахнул своими крыльями, отвыкнувшими от полета и потерявшими гибкость от тяжелой и беспрерывной работы. В этом взмахе была не одна радость и не одна любовь — в нем была жалоба, был ропот, был стон,— в апотеозе одного было порицание другим.

Вспомните мою встречу с корабельщиком из Ньюкестля. Вспомните, что лондонские работники были первые, которые в своем адресе преднамеренно поставили имя Маццини рядом с Гарибальди.

Английская аристократия на сию минуту от своего могучего и забитого недоросля ничего не боится; сверх того, ее Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революции. Но все же ей был крайне неприятен характер, который принимало дело. Главное, что коробило народных пастырей в мирной агитации работников,— это то, что она выводила их из достодолжного строя, отвлекала их от доброй, нравственной и притом безвыходной заботы о хлебе насущном, от пожизненного hard labour, на который не они его приговорили, а наш общий фабрикант, our Maker[1], бог Шефсбюри, бог Дерби, бог Сутерландов и Девонширов — в неисповедимой премудрости своей и нескончаемой благости.

Настоящей английской аристократии, разумеется, и в голову не приходило изгонять Гарибальди; напротив, она хотела утянуть его в себя, закрыть его от народа золотым облаком, как закрывалась волоокая Гера, забавляясь с Зевсом. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему прийти в себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочет денег,— много ли могут ему собрать осужденные благостью нашего «фабриканта», фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира, на тихую и благословенную бедность? Мы ему набросаем полмиллиона, миллион франков, полпари за лошадь на эпсомской скачке, мы ему купим —

Деревню, дачу, дом,
Сто тысяч чистым серебром.

Мы ему купим остальную часть Капреры, мы ему купим удивительную яхту — он так любит кататься по морю,— а чтоб он не бросил на вздор деньги (под вздором разумеется освобождение Италии), мы сделаем майорат, мы предоставим ему пользоваться рентой[2].

Все эти планы приводились в исполнение с самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди, точно месяц в ненастную ночь, как облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались,— выходил светлый, ясный и светил к нам вниз.

---

[1] наш создатель *(англ.).— Ред.*

[2] Как будто Гарибальди просил денег для себя. Разумеется, он отказался от приданого английской аристократии, данного на таких нелепых условиях, к крайнему огорчению полицейских журналов, рассчитавших грош в грош, сколько он увезет на Капреру.

Аристократия начала несколько конфузиться. На выручку ей явились *дельцы*. Их интересы слишком скоротечны, чтоб думать о нравственных последствиях агитации, им надобно владеть минутой — кажется, один Цезарь поморщился, кажется, другой насупился — как бы этим не воспользовались тори... и то Стансфильдова история вот где сидит.

По счастью, в самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать в Тюльери. Нужда была небольшая, он тотчас возвратился. Наполеон говорил с ним о Гарибальди и изъявил свое удовольствие, что английский народ чтит великих людей, Дрюэн де Люис говорил, то есть он ничего не говорил, а если б он заикнулся —

Я близ Кавказа рождена,
Civis romanus sum![1]

Австрийский посол даже и не радовался приему *умвельцунгс-генерала*[2]. Все обстояло благополучно. А на душе-то кошки... кошки.

Не спится министерству; шепчется «первый» с вторым, «второй» — с другом Гарибальди, друг Гарибальди — с родственником Палмерстона, с лордом Шефсбюри и с еще большим его другом Сили. Сили шепчется с оператором Фергуссоном... Испугался Фергуссон, ничего не боявшийся, за ближнего и пишет письмо за письмом о болезни Гарибальди. Прочитавши их, еще больше хирурга испугался Гладстон. Кто мог думать, какая пропасть любви и сострадания лежит иной раз под портфелем министра финансов?..

...На другой день после нашего праздника поехал я в Лондон. Беру на железной дороге вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болезнь генерала Гарибальди», потом весть, что он на днях едет в Капреру, *не заезжая ни в один город*. Не будучи ни так первно чувствителен, как Шефсбюри, ни так тревожлив за здоровье друзей, как Гладстон, я нисколько не обеспокоился газетной вестью о болезни человека, которого вчера видел совершенно здоровым,— конечно, бывают болезни очень быстрые; император Павел, например, хирел не долго, но от *апоплексического* удара Гарибальди был далек, а если б с ним что и случилось, кто-нибудь из общих друзей дал бы знать. А потому нетрудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté[3].

Ехать к Гарибальди было поздно. Я отправился к Маццини и не застал его, потом — к одной даме, от которой узнал главные

---

[1] Я — римский гражданин! *(лат.)* — *Ред.*
[2] генерала от переворота *(от нем. Umwälzungsgeneral).— Ред.*
[3] заранее подготовленная проделка *(франц.).— Ред.*

черты министерского сострадания к болезни великого человека. Туда пришел и Маццини, таким я его еще не видал: в его чертах, в его голосе были слезы.

Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гиле Шеном, можно знать en gros[1], как было дело. «Заговорщики» были им названы, и обстоятельства описаны довольно верно. Шефсбюри приезжал советоваться с Сили; Сили, как деловой человек, тотчас сказал, что необходимо письмо Фергуссона; Фергуссон слишком учтивый человек, чтоб отказать в письме. С ним-то в воскресенье вечером, 17 апреля, явились заговорщики в Стаффорд Гауз и возле комнаты, где Гарибальди спокойно сидел, не зная ни того, что он так болен, ни того, что он едет, ел виноград,— сговаривались, что́ делать. Наконец храбрый Гладстон взял на себя трудную роль и пошел в сопровождении Шефсбюри и Сили в комнату Гарибальди. Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации, мудрено ли было заговорить Гарибальди, к тому же он речь вел на итальянском языке, и хорошо сделал, потому что вчетвером говорил без свидетелей. Гарибальди ему отвечал сначала, что он здоров, но министр финансов не мог принять случайный факт его здоровья за оправдание и доказывал по Фергуссону, что он болен, и это с документом в руке. Наконец Гарибальди, догадавшись, что нежное участие прикрывает что-то другое, спросил Гладстона, «значит ли все это, что они желают, чтоб он ехал». Гладстон не скрыл от него, что присутствие Гарибальди во многом усложняет трудное без того положение.

— В таком случае я еду.

Смягченный Гладстон испугался слишком *заметного* успеха и предложил ему ехать в два-три города и потом отправиться в Капреру.

— Выбирать между городами я не умею,— отвечал оскорбленный Гарибальди,— и даю слово, что через два дня уеду.

...В понедельник была интерпелляция в парламенте. Ветреный старичок Палмерстон в одной и быстрый пилигрим Кларендон в другой палате все объясняли по чистой совести. Кларендон удостоверил лэрдов, что Наполеон вовсе не требовал высылки Гарибальди. Палмерстон, с своей стороны, вовсе не желал его удаления, он только беспокоился о его здоровье... и тут он вступил во все подробности, в которые вступает любящая жена или врач, присланный от страхового общества,— о часах сна и обеда, о последствиях раны, о диете, о волнении, о летах. Заседание парламента сделалось консультацией лекарей. Министр ссылался не

[1] в общем *(франц.).— Ред.*

на Чатама и Кембеля, а на лечебники и Фергуссона, помогавшего ему в этой трудной операции.

Законодательное собрание решило, что Гарибальди болен. Города и села, графства и банки управляются в Англии по собственному крайнему разумению. Правительство, ревниво отталкивающее от себя всякое подозрение в вмешательстве, дозволяющее ежедневно умирать людям с голоду — боясь ограничить самоуправление рабочих домов, позволяющее морить на работе и кретинизировать целые населения,— вдруг делается больничной сиделкой, дядькой. Государственные люди бросают кормило великого корабля и шушукаются о здоровье человека, не просящего их о том, прописывают ему без его спроса — Атлантический океан и сутерландскую «Ундину», министр финансов забывает баланс, income-tax, debet и credit и едет на консилиум. Министр министров докладывает этот патологический казус парламенту. Да неужели самоуправление желудком и ногами меньше свято, чем произвол богоугодных заведений, служащих введением в кладбище?

Давно ли Стансфильд пострадал за то, что, служа королеве, не счел обязанностью поссориться с Маццини? А теперь самые *местные* министры пишут не адресы, а рецепты и хлопочут из всех сил о сохранении дней такого же революционера, как Маццини.

Гарибальди *должен был* усомниться в желании правительства, изъявленном ему слишком горячими друзьями его,— и остаться. Разве кто-нибудь мог сомневаться в истине слов первого министра, сказанных представителям Англии,— ему это советовали все друзья.

— Слова Палмерстона не могут развязать моего честного слова,— отвечал Гарибальди и велел укладываться.

Это Сольферино!

Белинский давно заметил, что секрет успеха дипломатов состоит в том, что они с нами поступают, как с дипломатами, а мы — с *дипломатами*, как с людьми.

Теперь вы понимаете, *что одним днем позже* — и наш праздник, и речь Гарибальди, его слова о Маццини не имели бы того значения.

...На другой день я поехал в Стаффорд Гауз и узнал, что Гарибальди переехал к Сили, 26, Prince's gate, возле Кензинтонского сада. Я отправился в Prince's gate; говорить с Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали с глаз; человек двадцать гостей ходило, сидело, молчало, говорило в зале, в кабинете.

— Вы едете? — сказал я и взял его за руку.

Гарибальди пожал мою руку и отвечал печальным голосом:

— Я покоряюсь необходимостям (je me plie aux nécessités).

Он куда-то ехал; я оставил его и пошел вниз, там застал я

Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, все были вне себя от отъезда Гарибальди. Вошла m-me Сили и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась с чрезвычайным красноречием к хозяйке дома, говоря о счастье познакомиться с такой personne distinguée[1]. M-me Сили обратилась к Стансфильду, прося его перевести, в чем дело. Француженка продолжала:

— Ах, боже мой, как я рада! Это, верно, ваш сын? позвольте мне ему представиться.

Стансфильд разуверил француженку, не заметившую, что m-me Сили одних с ним лет, и просил ее сказать, что́ ей угодно. Она бросила взгляд на меня (Саффи и другие ушли) и сказала:

— Мы не одни.

Стансфильд назвал меня. Она тотчас обратилась с *речью* ко мне и просила остаться, но я предпочел ее оставить в tête à tête со Стансфильдом и опять ушел наверх. Через минуту пришел Стансфильд с каким-то крюком или рванью. Муж француженки изобрел его, и она хотела одобрения Гарибальди.

Последние два дня были смутны и печальны. Гарибальди избегал говорить о своем отъезде и ничего не говорил о своем здоровье... во всех близких он встречал печальный упрек. Дурно было у него на душе, но он молчал.

Накануне отъезда, часа в два, я сидел у него, когда пришли сказать, что в приемной уже тесно. В этот день представлялись ему члены парламента с семействами и разная nobility и gentry[2], всего, по «Таймсу», до двух тысяч человек,— это было grande levée, царский выход, да еще такой, что не только король виртембергский, но и прусский вряд натянет ли без профессоров и унтер-офицеров.

Гарибальди встал и спросил:

— Неужели пора?

Стансфильд, который случился тут, посмотрел на часы и сказал:

— Еще минут пять есть до назначенного времени.

Гарибальди вздохнул и весело сел на свое место. Но тут прибежал фактотум и стал распоряжаться, где поставить диван, в какую дверь входить, в какую выходить.

— Я уйду,— сказал я Гарибальди.

---

[1] выдающейся личностью *(франц.).— Ред.*

[2] знать и дворянство *(англ.).— Ред.*

— Зачем, оставайтесь.

— Что же я буду делать?

— Могу же я,— сказал он, улыбаясь,— оставить одного знакомого, когда принимаю столько незнакомых.

Отворились двери; в дверях стал импровизированный церемониймейстер с листом бумаги и начал громко читать какой-то адрес-календарь: The right honourable so and so — honourable — esquire — lady — esquire — lordship — miss — esquire — M. P.—M. P.— M. P.[1] без конца. При каждом имени врывались в дверь и потом покойно плыли старые и молодые кринолины, аэростаты, седые головы и головы без волос, крошечные и толстенькие старички-крепыши и какие-то худые жирафы без задних ног, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что как-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы... Каждый имел три, четыре, пять дам, и это было очень хорошо, потому что они занимали место пятидесяти человек и таким образом спасали от давки. Все подходили по очереди к Гарибальди; мужчины трясли ему руку с той силой, с которой это делает человек, попавши пальцем в кипяток; иные при этом что-то говорили, большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрели так страстно и долго на Гарибальди, что в нынешнем году, наверное, в Лондоне будет урожай детей с его чертами, а так как детей и теперь уж водят в таких же красных рубашках, как у него, то дело станет только за плащом.

Откланявшиеся плыли в противуположную дверь, открывавшуюся в залу, и спускались по лестнице; более смелые не торопились, а старались побыть в комнате.

Гарибальди сначала стоял, потом садился и вставал, наконец просто сел. Нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать... кареты все подъезжали... церемониймейстер все читал памятцы.

Грянула музыка horse-guards'ов[2], я постоял, постоял и вышел сначала в залу, а потом вместе с потоком кринолинных волн достиг до каскады и с нею очутился у дверей комнаты, где обыкновенно сидели Саффи и Мордини. В ней никого не было; на душе было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка с позолотой и рядом эта комедия царского приема? Усталый, бросился

---

[1] Достопочтенный такой-то и такой-то — почтенный— эсквайр — леди — эсквайр — его светлость — мисс — эсквайр — член парламента — член парламента — член парламента *(англ.)*; М. Р.— член парламента *(от англ. Member of Parliament).— Ред.*

[2] конногвардейцев *(англ.).— Ред.*

я на диван; музыка играла из «Лукреции», и очень хорошо; я стал слушать.— Да, да, «Non curiamo l'incerto domani»[1].

В окно был виден ряд карет; эти еще не подъехали, вот двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка, и мне представилось, как Гарибальди, с раненой *рукой*, усталый, печальный, сидит, у него по лицу идет туча, этого никто не замечает, и всё плывут кринолины, и всё идут right honourable'и — седые, плешивые, скулы, жирафы...

...Музыка гремит, кареты подъезжают... Не знаю, как это случилось, но я заснул; кто-то отворил дверь и разбудил меня... Музыка гремит, кареты подъезжают, конца не видать... Они в самом деле его убьют!

Я пошел домой.

На другой день, то есть в день отъезда, я отправился к Гарибальди в семь часов утра и нарочно для этого ночевал в Лондоне. Он был мрачен, отрывист, тут только можно было догадаться, что он привык к начальству, что он был железным вождем на поле битвы и на море.

Его поймал какой-то господин, который привел сапожника — изобретателя обуви с железным снарядом для Гарибальди. Гарибальди сел самоотверженно на кресло — сапожник в поте лица надел на него свою колодку, потом заставил его потопать и походить; все оказалось хорошо.

— Что ему надобно заплатить? — спросил Гарибальди.

— Помилуйте-с,— отвечал господин,— вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

— На днях это будет на вывеске,— заметил кто-то, а Гарибальди с умоляющим видом сказал молодому человеку, который ходил за ним:

— Бога ради, избавьте меня от этого снаряда, мочи нет, больно.

Это было ужасно смешно.

Затем явились аристократические дамы — менее важные толпой ожидали в зале.

Я и Огарев, мы подошли к нему.

— Прощайте,— сказал я.— Прощайте и до свиданья в Капрере.

Он обнял меня, сел, протянул нам обе руки и голосом, который так и резнул по сердцу, сказал:

— Простите меня, простите меня; у меня голова кругом идет, приезжайте в Капреру.

---

[1] Мы не заботимся о неизвестном завтрашнем дне *(итал.)*.— *Ред.*

И он еще раз обнял нас.

Гарибальди после приема собирался ехать на свидание с дюком Вельским в Стаффорд Гауз.

Мы вышли из ворот и разошлись. Огарев пошел к Маццини, я — к Ротшильду. У Ротшильда в конторе еще не было никого. Я взошел в таверну св. Павла, и там не было никого... Я спросил себе ромстек и, сидя совершенно один, перебирал подробности этого «сновидения в весеннюю ночь»...

— Ступай, великое дитя, великая сила, великий юродивый и великая *простота*! Ступай на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир! Гонерилья тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, она не разлюбит тебя и не умрет!

Четвертое действие кончилось...

Что-то будет в пятом?

15 мая 1864

ГЛАВА I

АПОГЕЙ и ПЕРИГЕЙ

(1858—1862)

I

...Часов в десять утра я слышу снизу густой и недовольный голос.

— *Ме дит комса — колонель рюс вё вуар.*

— Monsieur ne reçoit jamais le matin et...

— *Же пар демен.*

— Et vorte nom, monsieur...

— Mais *ву дире колонель рюс*[1], — и полковник прибавил голосу.

Жюль был в великом затруднении. Я спросил сверху, подойдши к лестнице:

— Qu'est ce qu'il y a?

— *Се ву*? — спросил полковник.

— Oui, c'est moi[2].

— Велите, батюшка, пустить. Ваш слуга не пускает.

— Сделайте одолжение, взойдите.

Несколько рассерженный вид полковника прояснился, и он, вступая вместе со мной в кабинет, вдруг как-то приосанился и сказал:

— Полковник такой-то; находясь проездом в Лондоне, поставил за обязанность явиться.

Я тотчас почувствовал себя генералом и, указывая на стул, прибавил:

---

[1] Скажите просто: русский полковник желает видеть.— Господин никогда не принимает по утрам и...— Завтра я уезжаю.— Ваше имя, сударь?— Да вы скажите: русский полковник *(франц.).— Ред.*

[2] В чем дело?— Это вы?— Да, это я *(франц.).— Ред.*

— Садитесь.

Полковник сел.

— Надолго здесь?

— До завтрашнего числа-с.

— И давно приехали?

— Трое суток-с.

— Что же так мало погостили?

— Видите, здесь без языка-с, оно дико, точно в лесу. Душевно желал вас лично увидеть, благодарить от себя и от многих товарищей. Публикации ваши очень полезны: и правды много, и иногда животы надорвешь.

— Чрезвычайно вам благодарен, это — единственная награда на чужбине. И много получают у вас наших изданий?

— Много-с... Да ведь сколько и лист-то каждый читают, до дыр-с, до клочий читают и зачитывают; есть охотники — даже переписывают. Соберемся так, иногда, читать, ну, и критикуем-с... Вы, надеюсь, позволите с откровенностью военного и искренно уважающего человека?

— Сделайте одолжение, нам-то уж не приходится восставать против свободы слова.

— Мы так между собою часто говорим: польза большая в ваших обличениях; сами знаете, что́ скажешь у нас о Сухозанете, примерно,— держи язык за зубами; или вот об Адлерберге? Но, видите, вы давно оставили Россию, вы *слишком* ее забыли, и нам все кажется, что больно много напираете на крестьянский вопрос... не созрел...

— Будто?

— Ей, ей-с... Я совершенно согласен с вами, помилуйте, та же душа, образ, подобие божие... и все это, поверьте, теперь видят многие, но торопиться нельзя, *преждевременно*.

— Вы думаете?

— Полагаю-с... Ведь наш мужик — страшный лентяй... Он, пожалуй, и добрый малый — но пьяница и лентяй... Освободи его сразу—работать перестанет, полей не засеет, просто с голоду умрет.

— Да вам-то что же за забота? Ведь вам, полковник, никто не поручал продовольствие народа русского...

Из всех возможных и невозможных возражений полковник наименьше ждал того, которое я ему сделал.

— Оно, конечно-с, с одной стороны...

— Да вы не бойтесь *с другой*; ведь не в самом деле он умрет с голоду оттого, что хлеб сеять будет не для барина, а для себя?

— Вы меня извините, я счел долгом сказать... Мне кажется, впрочем, я слишком много отнимаю у вас вашего драгоценного времени... Позвольте откланяться.

— Покорнейше благодарю за посещение.

— Помилуйте, не беспокойтесь. *У е мон каб*?[1] Далеконько живете-с.

— Не близко.

Я хотел этой великолепной сценой начать эпоху нашего цветения и преуспеяния. Такие и подобные сцены повторялись беспрерывно; ни страшная даль, в которой я жил от Вест-Энда — в Путнее, Фуламе... ни постоянно запертые двери по утрам — ничего не помогало. Мы были в моде.

Кого и кого мы ни видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит... Но тогда, повторяю, *мы были в моде*, и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путнея.

Так было от 1857 до 1863, но прежде было не так. По мере того как росла после 1848 и утверждалась реакция в Европе, а Николай свирепел не по дням, а по часам, русские начали избегать меня и побаиваться... К тому же в 1851 стало известно, что я официально отказался ехать в Россию. Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужасом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечественника. Когда в Ницце ко мне заехал в карете и с лонлакеем А. И. Сабуров, я сам смотрел на это как на геройский подвиг. Проезжая тайком Францию в 1852, я в Париже встретил кой-кого из русских, это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы...

Ни звука русского, ни русского лица[2].

Писем ко мне никто не писал. М. С. Щепкин был первый сколько-нибудь близкий человек *из дома*, с которым я увидался в Лондоне. О свидании с ним я рассказывал в другом месте[3]. Его приезд был для меня чем-то вроде родительской субботы, мы справляли с ним поминки всему московскому, и самое настроение обоих было какое-то похоронное. Настоящим голубем ковчега с маслиной во рту был не он, а доктор В—ский.

Он был первый русский, приехавший к нам после смерти Николая, в Чомле-Лодж в Ричмонде, постоянно удивляясь, что она

---

[1] Где мой экипаж? (*франц.*) — *Ред.*

[2] Я, разумеется, не говорю о двух-трех эмигрантах.

[3] «Колокол», 1863 год.

называется так, а пишется Cholmondeley Lodge[1]. Вести, привезенные Щепкиным, были мрачны; он сам был в печальном настроении. В—ский смеялся с утра до вечера, показывая свои белейшие зубы; вести его были полны той надежды, того «сангвинизма», как говорят англичане, который овладел Россией после смерти Николая и сделал светлую полосу на суровом фонде петербургского императорства. Правда, он же привез плохие новости о здоровье Грановского и Огарева, но и это терялось в яркой картине проснувшегося общества, которого он сам был образчиком.

С какой жадностью слушал я его рассказы, переспрашивал, добивался подробностей... Я не знаю, знал ли он тогда или оценил ли после то безмерное добро, которое он мне сделал.

Три года лондонской жизни утомили меня. Работать, не видя близкого плода, тяжело, к тому же я слишком разобщенно стоял со всякой родственной средой. Печатая с Чернецким лист за листом и ссыпая груды отпечатанных брошюр и книг в подвалы Трюбнера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Не продолжать я не могу: русский станок был для меня делом жизни, доской из отчего дома, которую переносили с собой древние германы; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен. Но при всем том глухо пропадавший труд утомлял, руки опускались. Вера слабела минутами и искала знамений, и не только их не было, но не было *ни одного* слова сочувствия из дома.

С Крымской войной, с смертью Николая настает другое время, из-за сплошного мрака выступали новые массы, новые горизонты, чуялось какое-то движение; разглядеть издали было трудно,— очевидец был необходим. Он-то и явился в лице В—ского, подтвердившего, что эти горизонты не мираж, а быль, что барка тронулась, что она на ходу. Стоило взглянуть на светлое лицо его... чтоб ему поверить.— Таких лиц вовсе не было в последнее время в России...

Удрученный непривычным для русского чувством, я вспомнил Канта, снявшего бархатную шапочку при вести о провозглашении республики 1792 года и повторившего «ныне отпущаеши» Симеона-богоприимца. Да, хорошо уснуть на заре... после длинной ненастной ночи, с полной верой, что настает чудесный день!

Так умер Грановский...

---

[1] Милый В—ский попадал в удивительные просаки с английским языком. «Отсюда,— говорил он моему сыну,— судя по карте, недалек Кев?»— «Я не слыхивал такого места».— «Помилуйте, там огромный ботанический сад и первая оранжерея в Европе».— «Спросим у садовника».— Спросили, и он не знает. В—ский развернул план. «Да вот он возле самого Ришмон!» — Это был *Кью*.

...Действительно, наставало *утро* того дня, к которому стремился я с тринадцати лет — мальчиком в камлотовой куртке, сидя с таким же «злоумышленником» (только годом моложе) в маленькой комнате «старого дома», в университетской аудитории, окруженный горячим братством, в тюрьме и ссылке, на чужбине, проходя разгромом революций и реакций, на верху семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу с моим печатным *монологом*. Солнце, садившееся, освещая Москву под Воробьевыми горами[1], и уносившее с собой отроческую клятву... выходило после двадцатилетней ночи.

Какой же тут покой и сон. *За дело!* И за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве, громкие рукоплескания и горячие сочувствия неслись из России. «Полярная звезда» читалась нарасхват. Непривычное ухо русское примирялось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность.

Весной 1856 приехал Огарев: год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист «Колокола». Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается — журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того усвоивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслию. Если же читатель начнет забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее.

Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную звезду». «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, не искаженного цензурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение, были письма, от которых слезы навертывались на глазах... Но и не одно молодое поколение поддержало нас...

«Колокол» — власть»,— говорил мне в Лондоне, horribile dictu[2], *Катков* и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу... И прежде его повторяли то же и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П.— постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфлями... Недоставало только для полного торжества — искреннего врага. Мы были в веме[3], и долго ждать его не пришлось.

[1] «Былое и думы», часть I.
[2] страшно вымолвить *(лат.).— Ред.*
[3] судилище *(от старонем. Vehme).— Ред.*

Не прошел 1858 год, как явилось «обвинительное письмо» Чичерина. С высокомерным холодом несгибающегося доктринера, с roideur[1] судии неумытного позвал он меня к ответу и, как Бирон, вылил мне в декабре месяце ушат холодной воды на голову. Приемы этого Сен-Жюста бюрократизма удивили меня. А теперь... через семь лет[2] письмо Чичерина мне кажется цветом учтивости после крепких слов и крепкого патриотизма *михайловского* времени. Да и общество было тогда иначе настроено, «обвинительный акт» возбудил взрыв негодования, нам пришлось унимать раздраженных друзей. Мы получали десятками письма, статьи, протесты. Самому обвинителю писали его прежние приятели поодиночке и коллективно письма, полные упреков,— одно из них было подписано общими друзьями нашими (из них три четверти ближе теперь к Чичерину, чем к нам); он сам с античной доблестью прислал это письмо для хранения в нашей оружейной палате.

Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка Кочубея», подстрелившего своего управляющего. Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей, и говорят, что сам отважный статс-секретарь Бутков в припадке заносчивой самостоятельности повторял, что он ничего не боится; «жалуйтесь государю, делайте, что хотите,— пожалуй, пишите себе в «Колокол», мне все равно». Какой-то офицер, обойденный в повышении, серьезно просил нас напечатать об этом с особенным внушением государю. Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте,— таких анекдотов мог бы я рассказать десятек...[3]

...Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. «Кто же,— говорил он,— мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?»

Совет обеспокоился и как-то между «Бутковым и государем» келейно потолковал, как бы унять «Колокол». *Бескорыстный* Муравьев советовал подкупить меня; жираф в андреевской ленте, Панин, предпочитал сманить на службу. Горчаков, игравший между этими «мертвыми душами» роль Мижуева, усомнился в моей продажности и спросил Панина:

— Какое же место вы предложите ему?

— Помощника статс-секретаря.

— Ну, в помощники статс-секретаря он не пойдет,— отвечал Горчаков, и судьбы «Колокола» были предоставлены воле божией.

---

[1] непреклонностью *(франц.).— Ред.*

[2] Писано в 1864.

[3] Оставляются до полного издания.

А воля божия ясно обнаружилась в ливне писем и корреспонденций из всех частей России. Всякий писал, что́ попало: один, чтобы сорвать сердце, другой, чтобы себя уверить, что он опасный человек... но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей. Такие письма выкупали десятки «упражнений», так, как иное посещение платило за всех «колонель рюс».

Вообще *балласт* писем можно было разделить на письма без фактов, но с большим обилием души и красноречия, на письма с начальническим одобрением или с начальническими выговорами и, наконец, на письма с важными сообщениями из провинции.

Важные сообщения, обыкновенно писанные изящным канцелярским почерком, имели почти всегда еще более изящное предисловие, исполненное возвышенных чувств и неотразимой лести. «Вы открыли новую эру российского слова и, так сказать, мысли; вы первый с высоты лондонского амвона стали гласно клеймить людей, тиранствующих над нашим добрым народом — ибо народ наш *добрый*, вы недаром его любите. Вы не знаете, сколько сердец бьются любовью и благодарностью к вам в дальней дали нашего отечества...

От знойныя Колхиды до льдов

...скромной Оки, Клязьмы или *такой-то* губернии. Мы на вас смотрим, как на единственного защитника. Кто может, кроме вас, обличить изверга — по званию и месту, стоящего выше закона,— изверга вроде нашего председателя (казенной, уголовной, удельной палаты... имя, отчество, фамилья, чин)? Человек, не получивший образованья, доползший из низменных сфер канцелярского служения до почестей, он сохранил всю грубость старинного крючкотвора, не отказываясь вовсе от благодарности, подписанной князем Хованским (как говорят у нас старики). Грубость этого сатрапа известна во всех окольных губерниях, чиновники бегут казенной палаты, как окаянного места, он дерзок не только с *нами*, но и с столоначальниками. Жену свою он оставил и держит на содержании к общему соблазну вдову (имя, отчество, фамилья, чин покойного супруга), которую мы прозвали губернской Миной Ивановной, потому что ее руками все делается в палате. Пусть же звучный голос «Колокола» разбудит и испугает этого пашу среди оргий его, в преступных объятиях сорокалетней Иродиады. Если вы напечатаете об нем, мы готовы вам доставлять обильные сведения: у нас довольно «свиней в ермолках», как выразился бессмертный автор гениального «Ревизора».

P. S. С тем неподражаемым резцом, которым вы умеете писать ваши едкие сатиры, не забудьте черкнуть, что подполковник внут-

ренней стражи 6 декабря, на бале у дворянского предводителя,— куда приехал от градского головы подшофе,— к концу ужина так нализался, что при сановитых дамах и их дочерях начал произносить слова, более свойственные торговой бане и площади, чем салону предводителя образованнейшего сословия в обществе».

Рядом с письмами, сообщавшими тайны поведения председателя и председателевой жены и явное пьянство подполковника, приходили письма чисто поэтические, бескорыстные и бессмысленные. Многие из них я уничтожил и раздарил друзьям, но некоторые остались; я ими непременно поделюсь с читателями в конце этой части.

Одно из лучших было (по-видимому) от молодого офицера, в самой первой эмансиповке, оно начиналось с общих мест и с слов: «Милостивый государь» — очень скромно и лестно... Мало-помалу пульс подымался, пошли советы, потом увещания... Жар возрастает.— На четвертой странице (большого формата) дружба наша дошла до того, что незнакомец говорил мне: «Милый мой и мон шер». «Оттого,— заключал храбрый офицер,— я и пишу *тебе* так откровенно, что люблю тебя от души». Читая это письмо, я так и вижу молодого человека, садящегося, поужинавши, за письмо и за бутылку чего-нибудь очень неслабого... По мере того как бутылка пустеет, сердце наполняется, дружба растет, и с последним глотком добрый офицер меня любит и исправляет, любит и хочет меня поцеловать... Офицер, офицер, оботрите только губы, и я не буду иметь ничего против нашей быстрой дружбы in contumaciam[1].

Впрочем, говоря об офицерах, я должен сказать, что самые симпатичные и здоровые духом люди из посещавших нас — *офицеры*. Молодые люди из невоенных были по большей части непросты, нервны, очень поглощены делами своих литературных кружков и не выходили из них. Военные были скромнее и проще, они чувствовали за собой недостаточное воспитание кадетских корпусов и, как бы зная свою дурную репутацию, рвались вперед и старались чему-нибудь научиться. В сущности, они вовсе не были хуже приготовлены, чем другие,— и, по великому закону нравственных противудействий, под гнетом деспотизма корпусов воспитали в себе сильную любовь к независимости. В офицерском мире после Крымской войны начиналось серьезное движение, оно равно доказывается и казненными, как Сливицкий, Аргольдт... и убитыми, как Потебня, и сосланными на каторгу, как Красовский, Обручев и проч.

---

[1] заочной *(лат.)*.— *Ред.*

Конечно, многие и многие поворотили с тех пор оглобли и взошли в разум и в военный артикул, все это — дело обыкновенное...

Кстати, к ренегатам. Один молодой энтузиаст из офицеров, бывший у меня в одно время с благороднейшим и чистейшим Сераковским и двумя другими товарищами, прощаясь, вывел меня в сад и, крепко обнимая, сказал:

— Если вам занадобится когда-нибудь зачем-нибудь человек, преданный вам безусловно, вспомните обо мне...

— Сохраните себя и в своей груди те чувства, которыми вы полны, и пусть никогда вас не будет в рядах идущих против народа.

Он выпрямился. «Это невозможно!.. но... если вы услышите когда-нибудь что-нибудь такое обо мне, не щадите меня, пишите ко мне, пишите открыто и напомните этот вечер...»

...Сераковский был уже раненый вздернут на виселицу, часть молодых людей, бывших в то же время в Лондоне, вышла в отставку, рассеялась... Одно имя встречалось мне только *своими повышениями* — имя моего энтузиаста. Недавно он *на водах* встретил одного старого знакомого — бранил Польшу, хвалил правительство, и, видя, что разговор не вяжется, *генерал*, спохватившись, сказал:

— А вы, кажется, все еще не забыли наших глупых фантазий в Лондоне... Помните беседы в Alpha road? Что за ребячество и что за безумие!

Я не писал ему,— зачем?

II

. . . . . .

...Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди, и не только те славные юноши, о которых мне писал Ф. Капп из Нью-Йорка, но вообще между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой, свежей силой. Пример Трувеллера дополнит лучше всяких комментарий нашу мысль[1].

---

[1] Историю Трувеллера изложить стоит. В 1861 явился к нам молодой моряк; лет за десять перед тем я знал его мать в Ницце и помнил его мальчиком. Как его воспитывали, можно судить по тому, что лет восьми или девяти он говорил, что после бога и отца с матерью он никого не любит больше Николая Павловича.

— За что же вы его так любите? — спрашивал я его шутя.

— Он мой законный государь...

Дух такой в воспитанье, может, развили после 1848,— прежде ничего подобного у нас не было, и дети воспитывались равно без православия и самодержавия.

...У меня с *морским ведомством* было замечательное столкновение. Один капитан парохода бывал у меня с своим капитан-лейтенантом и другими офицерами и даже звал на свой пароход пировать какие-то именины. Дни за два до этого пира узнал я, что на его пароходе дали какому-то матросу сто линьков за тайком выпитое вино, другого матроса они приготовлялись истязать за побег. Я написал капитану следующее письмо и послал его по почте на борт парохода:

Жизнь излечила молодого человека. Он приехал к нам очень грустный и озабоченный. У него умер отец — и умер под судом, обвиняемый в разных злоупотреблениях по делу московской железной дороги. Он был новгородский помещик и взял какие-то подряды. Сын был уверен в невинности отца и решился во что б ни стало восстановить доброе имя его. Все, что он пробовал в России, не удалось ему, и он явился к нам с портфелем бумаг, контрактов, сенатских записок, экстрактов. Разобрать их и составить из них записку для «Колокола» было дело нешуточное. По счастью, оказалось, что Трувеллер — товарищ по университету Кельсиева, ему-то и поручили мы ее составление.

В Трувеллере поражало что-то твердое, печальное и детское вместе. Сильно работало в его груди, буравило его,— в «законного государя» он не верил больше — и с глубоким негодованием говорил о скверном обращении с матросами. В самое то время у нас шла забавная переписка с частью офицеров «Великого адмирала». Командир его, помнится, Андреев — beau parleur ⟨краснобай *(франц.).— Ред.*⟩, константиновский либерал и тогда в фавёре у великого князя, тоже мучил людей и бранил офицеров, как и нелибералы. Помнится, у него был лейтенант Стофреген, который не только зверски наказывал, но защищал в теории (как впоследствии князь Витгенштейн) военное палачество.

Мы поместили как-то в «Колоколе» несколько слов об этом. Вдруг получаем из Пирея ответ от *имени большинства офицеров* — что это неправда... *от имени, но без имени.* И как писанное письмо было без подписи, оттого мы и не поместили десятой доли того, что в нем было, помещенную же нами часть мы знали от десяти других офицеров. Поэтому мы коллективного письма не напечатали. Спустя несколько месяцев приехал Трувеллер во второй раз; я ему показал письмо офицеров, защищавших, не поднимая забрала, своего командира. Трувеллер вспыхнул,— он был уверен, что это интрига, и в доказательство привел несколько фактов. Я записал их на всякий случай и прочел Трувеллеру в другое посещение. Он нахмурился... Ну, думаю я, испугался.

— Позвольте вашу записку.

— Извольте.

Он ее прочитал, взял перо и подписал.

— Что вы делаете? — спросил я.

— А то, чтоб мои показания не были также безыменны.

Уплывая из Лондона, он накупил целую кипу «Что нужно народу?», «Колокола» и других вещей. Я об этом ничего не знал,— он простился и отправился в Россию. В Портсмуте он имел неосторожность раздать экземпляры, накупленные им, матросам. Кто-то донес, и началось дело, которое сгубило его. Вот его ответы и письмо к матери.

Это была героическая натура, и он, конечно, не скажет, что мы погубили его,— как нас винят многие.

«Милостивый государь,

вы были у меня, и я посещение ваше принял за знак сочувствия вашего к нашему труду, к нашим началам; я и теперь не перестал так думать, а потому решился с вами откровенно объясниться насчет одного обстоятельства, сильно огорчившего нас и заставившего сомневаться в том, чтоб мы понимали друг друга.

На днях, говоря с г. Тхоржевским, я узнал от него, что на пароходе, находящемся под вашим начальством, матросы сильно наказываются линьками. Причем я слышал историю несчастного моряка, хотевшего бежать и схваченного английской полицией (по гнусному закону, делающему из матроса раба).

Здесь невольно возникает вопрос — неужели закон обязывает вас к исполнению свирепых его распоряжений, и какая ответственность лежала бы на вас, если б вы не исполнили требований, естественно противных всякому человеческому чувству? При всей дикой нелепости наших военных и морских постановлений, я не помню, чтоб они под строгой ответственностью вменяли в обязанность телесно наказывать *без суда*, напротив, они стараются *ограничить* произвол начальнических наказаний, ограничивая число ударов. Остается предположить, что вы делаете эти истязания *по убеждению, что они справедливы*; но тогда подумайте, что же общего между нами, открытыми врагами всякого деспотизма, насилья и на первом плане телесных наказаний,— и вами?

Если это так, как я должен объяснить ваше посещение?

Вам может показаться странным мое письмо — та нравственная сила, которую мы представляем, мало известна в России, но к ней надобно приучиться. *Гласность* будет стоять возле всех злоупотребляющих властью, и если их совесть долго не проснется, наш «Колокол» будет служить будильником.

Дайте нам право надеяться, что вы не приведете нас к жесткой необходимости повторить наш совет печатно, и примите уверение, что Огарев и я — мы душевно были бы рады снова протянуть вам руку, но не можем этого сделать, пока она не бросит линька.

Park House, Fulham».

На это письмо капитан парохода отвечал:

«М. г. Ал. Ив.,

я получил ваше письмо и сознаюсь, что оно было для меня неприятно, не потому, чтоб я боялся встретить свое имя в «Колоколе», а собственно потому, что человек, которого я вполне почитаю, мог быть обо мне дурного мнения, которого я нисколько не заслуживаю.

Если б вы знали сущность дела, о котором вы так горячо пишете, то, верно, не написали бы мне столько упреков. Я объясню вам все и представлю доказательства, которым вы поверите, если назначите мне время, когда и где могу вас увидеть.

Примите и пр.

Green Drey Dock, Блакволь».

Вот мой ответ:

«М. г.,

поверьте, что мне очень больно, что я должен был писать к вам о предмете, неприятном для вас, но вспомните, что вопрос об уничтожении телесных наказаний для нас имеет чрезвычайную важность.

Русский солдат, русский мужик только тогда вздохнут свободно и разовьются во всю ширь своей силы, когда их перестанут бить. Телесное наказание равно растлевает наказуемого и наказывающего,— отнимая у одного чувство человеческого достоинства, у другого чувство человеческого сожаления. Посмотрите на результат помещичьего права и полицейски-военных экзекуций. У нас образовалась целая каста палачей, целые семьи палачей — женщины, дети, девушки розгами и палками, кулаками и башмаками бьют дворовых людей.

Великие деятели 14 декабря так поняли важность этого, что члены общества обязывались не терпеть дома телесных наказаний и вывели их в полках, которыми начальствовали. Фонвизин писал полковым командирам, под влиянием Пестеля, приказ о постепенном выводе телесных наказаний.

Зло это так вкоренилось у нас, что его последовательно не выведешь, его надобно разом уничтожить, как крепостное состояние. Надобно, чтоб люди, поставленные, как вы, отдельными начальниками, взяли благородную инициативу. Это, может, будет трудно,— что же из этого? Тем больше славы. Если б я мог надеяться, что наша переписка приведет к этому результату, я благословил бы ее, это была бы для меня одна из высших наград — моя андреевская лента.

Еще слово. Вы говорите, что могли бы показать обстоятельства дела, то есть доказать, что наказание было справедливо. Это все равно. Мы не имеем права сомневаться в вашей справедливости. Да и что же бы было писать к вам, если б у вас матросы наказывались *несправедливо?* Телесные наказания и тогда надобно уничтожить, когда они по смыслу татарски-немецкого законодательства совершенно справедливы.

Позвольте мне быть уверенным, что вы видите всю чистоту моих намерений, и почему я адресовался к вам. Мне кажется, что

вы можете сделать эту перемену у вас, другие последуют, это будет великое дело. Вы покажете пример русским, что древнеславянская кровь больше сочувствует народным страданиям, чем Петербург.

Я сказал все, что было на сердце; дайте мне надежду, что слова мои сколько-нибудь западут в душу, и примите уверение в желании всего благого».

...На праздник я не поехал. Многие находили, что я очень хорошо сделал и что, несмотря на все доблести капитана и его лейтенанта, не надобно было класть пальца в рот. Я этому не верю и никогда не верил. После 1862, конечно, я не поставил бы ноги на палубу русского корабля, но тогда еще не наставал период муравьево-катковский.

Праздник не удался. Переписка наша все испортила. Говорят, что капитан не был главным виновником наказаний, а — капитан-лейтенант. Поздней ночью, после попойки он мрачно сказал: «Такая судьба; другие и не так дерут матросов, да все с рук сходит, а я в кои-то веки употребил меру построже *да тотчас и попал в беду...*»

...Так дошли мы до конца 1862 года.

В дальних горизонтах стали показываться дурные знамения и черные тучи... Да и вблизи совершилось великое несчастье, чуть ли не единственное политическое несчастье во всей нашей жизни.

III

1862

...Бьет тоже десять часов утра, и я также слышу посторонний голос, уж не воинственный, густой и строгий, а женский, раздраженный, нервный и немного со слезами. «Мне непременно, непременно нужно его видеть... Я не уйду, пока не увижу».

И затем входит молодая русская девушка или барышня, которую я прежде видел раза два.

Она останавливается передо мной, пристально смотрит мне в глаза; черты ее печальны, щеки горят; она наскоро извиняется и потом:

— Я только что воротилась из России, из Москвы; ваши друзья, люди, любящие вас, поручили мне сказать вам, спросить вас...— она приостанавливается, голос ей изменяет.

Я ничего не понимаю.

— Неужели вы,— вы, которого мы любили так горячо, *вы?..*

— Да в чем же дело?

— Скажите, бога ради, *да или нет*,— вы участвовали в петербургском пожаре?

— Я?

— Да, да — вы,— вас обвиняют... по крайней мере, говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.

— Что за безумие, и вы это можете принимать так серьезно?

— Все говорят!

— Кто это все? Какой-нибудь Николай Филиппович Павлов? (Мое воображение в те времена дальше не шло!)

— Нет, люди близкие вам, люди страстно любящие вас,— вы для них должны оправдаться; они страдают, они ждут...

— А вы сами верите?

— *Не знаю*. Я затем и пришла, что не знаю; я жду от вас объяснения...

— Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы вам сказал это так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить... Лучше скажите, где во всем писанном мною есть что-нибудь, одно слово, которое бы могло оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтоб рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!

— Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? — заметила она, и в глазах ее было видно раздумье и сомнение.— Заклеймите печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними, или...

— Или что? Ну, полноте,— сказал я ей, улыбаясь,— играть роль Шарлотты Корде, у вас нет кинжала, и я сижу не в ванне. Вам стыдно, и нашим друзьям вдвое, верить такому вздору, а нам стыдно в нем оправдываться, да еще по дороге стараясь утопить и разобидеть каких-то нам совершенно незнакомых людей, которые теперь в руках тайной полиции и которые, очень может быть, столько же участвовали в пожарах, сколько и мы с вами.

— Так вы решительно не будете оправдываться?

— Нет.

— Что же я напишу туда?

— Да вот то, что мы с вами говорили.

Она вынула из кармана последний «Колокол» и прочла: «Что за огненная чаша страданий идет мимо нас? Огонь ли это безумного разрушения, кара ли, очищающая пламенем? Что довело людей до этого средства и что эти люди? Какие тяжелые минуты для отсутствующего, когда, обращаясь туда, где вся любовь его, все, чем живет человек, он видит одно немое зарево».

— Страшные, темные строки, ничего не говорящие против вас и *ничего за вас*. Верьте мне, оправдывайтесь — или вспомните мои слова: *друзья ваши и сторонники ваши вас оставят*.

...Так, как «колонель рюс» был тамбурмажором нашего успеха, так мирная Шарлотта Корде явилась провозвестницей нашего распадения с общественным мнением, и притом в обе стороны. В то время как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами, как с отсталыми на дороге. Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали, как суровые волны жизни сгубят уплывших далеко, и только часть причалит назад к берегам.

Клевета росла и вскоре, подхваченная печатью, разошлась по всей России. Тогда только что начинался фискальный период нашей журналистики. Я живо помню удивление людей простых, честных, вовсе не революционеров перед печатными доносами,— это было совершенно ново для них. Обличительная литература круто повернула оружие и сразу перегнулась в литературу полицейских обысков и шпионских наушничаний.

В самом обществе произошел переворот. Освобождение крестьян отрезвило одних, другие просто устали от политической агитации, им захотелось прежнего покоя — сытость одолела ими перед обедом, который доставался с такими хлопотами.

Нечего сказать, коротко у нас дыхание и длинна выносливость!

Семь лет либерализма истощили весь запас радикальных стремлений. Все накопившееся и сжатое в уме с 1825 года потратилось на восторги и радости, на предвкушение будущих благ. После усеченного освобождения крестьян слабым нервам казалось, что Россия далеко зашла, что она идет слишком быстро.

В то же время *радикальная* партия, юная и по тому самому теоретическая, начинала резче и резче высказываться, пугая без того испуганное общество. Она показывала казовым концом своим такие крайние последствия, от которых либералы и люди постепенного развития, крестясь и отплевываясь, бежали, зажимая уши, и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции. Студентская опрометчивость и помещичья непривычка выслушивать других не могли не довести их до драки.

Едва призванная к жизни, сила общественного мнения обличилась в диком консерватизме, она заявила свое участие в общем деле, толкая правительство во все тяжкие террора и преследования.

Наше положение становилось труднее и труднее. Стоять на грязи реакции мы не могли, вне ее у нас пропадала почва. Точно потерянные витязи в сказках, мы ждали на перепутье. Пойдешь направо — потеряешь коня, но сам цел будешь; пойдешь налево —

конь будет цел, но сам погибнешь; пойдешь вперед — все тебя оставят; пойдешь назад — этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынник, который бы снял с нас тяжесть раздумья...

По воскресеньям вечером собирались у нас знакомые, и преимущественно русские. В 1862 число последних очень увеличилось: на выставку приезжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всех вообще отделений, и Третьего в особенности. Делать строгий выбор было невозможно; коротких знакомых мы предупреждали, чтоб они приходили в другой день. Благочестивая скука лондонского воскресенья побеждала осторожность.

Отчасти эти воскресенья и привели к беде. Но прежде чем я ее передам, я должен познакомить с двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися в скромной зале Orset House'a. Наша галерея живых редкостей из России была, без всякого сомнения, замечательнее и занимательнее русского отдела на Great Exhibition[1].

...В 1860 получаю я из одного отеля на Гай-Маркете русское письмо, в котором какие-то люди извещали меня, что они, русские, находятся в услужении князя Юрия Николаевича Голицына, тайно оставившего Россию: «Сам князь поехал на Константинополь, а нас отправил по другой дороге. Князь велел дожидаться его и дал нам денег на несколько дней. Прошло больше двух недель — о князе ни слуха, деньги вышли, хозяин гостиницы сердится. Мы не знаем, что делать, по-английски никто не говорит». Находясь в таком беспомощном состоянии, они просили, чтоб я их выручил.

Я поехал к ним и уладил дело. Хозяин отеля знал меня и согласился подождать еще неделю.

Дней через пять после моей поездки подъехала к крыльцу богатая коляска, запряженная парой серых лошадей в яблоках. Сколько я ни объяснял моей прислуге, что как бы человек ни приезжал, хоть цугом, и как бы ни назывался, хоть дюком, все же утром не принимать,— уважения к аристократическому экипажу и титулу я не мог победить. На этот раз встретились оба искусительные условия — и потому через минуту огромный мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бога-вола, обнял меня, благодаря за мое посещение к его людям.

Это был князь Юрий Николаевич Голицын. Такого крупного, характеристического обломка всея России, такого specimen'a[2] нашей родины я давно не видал.

---

[1] Большой выставке *(англ.).— Ред.*

[2] образчика *(англ.).— Ред.*

Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой — как он давал кантонисту переписывать статью в «Колокол» и как он разошелся с своей женой, как кантонист донес на него, а жена не присылает денег, как государь его услал на безвыездное житье в Козлов, вследствие чего он решился бежать за границу и поэтому увез с собой какую-то барышню, гувернанту, управляющего, регента, горничную через молдавскую границу. В Галаце он захватил еще какого-то лакея, говорившего ломаным языком на пяти языках и показавшегося ему шпионом... Тут же объявил он мне, что он страстный музыкант и будет давать концерты в Лондоне; а потому хочет познакомиться с Огаревым.

— Дорого у вас здесь в Англии б-берут на таможне,— сказал он, слегка заикаясь, окончив курс своей всеобщей истории.

— За товары, может,— заметил я,— а к путешественникам custom-house[1] очень снисходителен.

— Не скажу — я заплатил шиллингов пятнадцать за крок-кодила.

— Да это что такое?

— Как что — да просто крок-кодил.

Я сделал большие глаза и спросил его:

— Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта — стращать жандармов на границах?

— Такой случай. Я в Александрии гулял; а тут какой-то арабчонок продает крокодила — понравился, я и купил.

— Ну, а арабчонка купили?

— Ха, ха — нет.

Через неделю князь был уже инсталирован[2] в Porchester terrace, то есть в очень дорогой части города, в большом доме. Он начал с того, что велел на веки вечные, вопреки английскому обычаю, открыть настежь вороты и поставил в вечном ожидании у подъезду пару серых лошадей в яблоках. Он зажил в Лондоне, как в Козлове, как в Тамбове.

Денег у него, разумеется, не было, то есть были несколько тысяч франков на *афишу и заглавный лист* лондонской жизни; их он тотчас истратил, но пыль в глаза бросил и успел на несколько месяцев обеспечиться, благодаря английской тупоумной доверчивости, от которой иностранцы всего континента не могут еще поднесь отучить их.

Но князь шел на всех парах... Начались концерты. Лондон был удивлен княжеским титулом на афише, и во второй концерт

---

[1] таможня *(англ.).— Ред.*

[2] водворен *(от франц. installer).— Ред.*

зала была полна (St. James's Hall, Piccadilly). Концерт был великолепный. Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр, это его тайна — но концерт был совершенно из ряду вон. Русские песни и молитвы, «Камаринская» и обедня, отрывки из оперы Глинки и из Евангелья («Отче наш») — все шло прекрасно.

Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой скипетр из слоновой кости. Старушки вспоминали атлетические формы императора Николая, победившего лондонских дам всего больше своими обтянутыми лосиными, белыми, как русский снег — кавалергардскими collants[1].

Голицын нашел средство и из этого успеха сделать себе убыток. Упоенный рукоплесканиями, он послал в конце первой части концерта за корзиной букетов (не забывайте лондонские цены) и перед началом второй части явился на сцену; два ливрейных лакея несли корзину, князь, благодаря певиц и хористок, каждой поднес по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громом рукоплесканий. Вырос, расцвел мой князь и, как только окончился концерт, пригласил *всех* музыкантов на ужин.

Тут, сверх лондонских цен, надобно знать и лондонские обычаи — в одиннадцать часов вечера, не предупредивши с утра, нигде нельзя найти ужин человек на пятьдесят.

Ассирийский вождь храбро пошел пешком по Regent street с музыкальным войском своим, стучась в двери разных ресторанов, и достучался наконец: смекнувший дело хозяин выехал на холодных мясах и на горячих винах.

Затем начались концерты его с всевозможными штуками, даже с политическими тенденциями. Всякий раз гремел Herzen's Walzer[2], гремела Ogareff's Quadrille[3] и потом «Emancipation Symphony»[4] — пьесы, которыми и теперь, может, чарует князь москвичей и которые, вероятно, ничего не потеряли при переезде из Альбиона, кроме собственных имен — они могли легко перейти на Potapoff's Walzer, Mina Walzer[5], а потом и в Komissaroff's Partitur[6].

При всем этом шуме денег не было — платить было нечем. Поставщики начали роптать, и дома начиналось исподволь спартаковское восстание рабов.

---

[1] рейтузами *(франц.).— Ред.*
[2] вальс Герцена *(нем.).— Ред.*
[3] кадриль Огарева *(англ.).— Ред.*
[4] «Симфония освобождения» *(англ.).— Ред.*
[5] вальс Потапова, вальс Мины *(нем.).— Ред.*
[6] партитуру Комиссарова *(нем.).— Ред.*

...Одним утром явился ко мне factotum[1] князя, его управляющий, переименовавший себя в секретаря, с «регентом», то есть не с отцом Филиппа Орлеанского, а с белокурым и кудрявым русским малым лет двадцати двух, управлявшим певцами.

— Мы, Александр Иванович, к вам-с.

— Что случилось?

— Да уж Юрий Николаевич очень обижает, хотим ехать в Россию — и требуем расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Так меня и обдало отечественным паром,— словно на каменку поддали...

— Почему же вы обращаетесь с этой просьбой ко мне? Если вы имеете серьезные причины жаловаться на князя,— на это есть здесь для всякого суд, и суд, который не покривит ни в пользу князя, ни в пользу графа.

— Мы, точно, слышали об этом, *да что ж ходить до суда*. Вы уж лучше разберите.

— Какая же польза будет вам от моего разбора? Князь скажет мне, что я мешаюсь в чужие дела,— я и поеду с носом. Не хотите в суд, — пойдите к послу; не мне, а ему препоручены русские в Лондоне...

— Это уж где же-с? Коль скоро русские господа сидят, какой же может быть разбор с князем; а вы ведь за народ: так мы так и пришли к вам — уж разберите дело, сделайте милость.

— Экие ведь какие; да князь не примет моего разбора — что же вы выиграете?

— Позвольте доложить-с,— с живостью возразил секретарь,— этого они не посмеют-с, так как они очень уважают вас, да и боятся-с сверх того: в «Колокол»-то попасть им не весело — амбиция-с.

— Ну, слушайте, чтоб не терять нам попусту время, вот мое решение: если князь согласен принять мое посредничество, я разберу ваше дело — если нет, идите в суд; а так как вы не знаете ни языка, ни здешнего хожденья по делам, то я, если вас в самом деле князь обижает, дам человека, который знает то и другое и по-русски говорит.

— Позвольте,— заметил секретарь.

— Нет, не позволяю, любезнейший. Прощайте.

Пока они ходят к князю, скажу об них несколько слов. Регент ничем не отличался, кроме музыкальных способностей,— это был откормленный, крупитчатый, туповато-красивый, румяный малый из дворовых — его манера говорить прикартавливая, не-

---

[1] правая рука *(лат.)*.— *Ред.*

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА

25 Іюля 1826 года.

ЛОНДОНЪ

S. THORZEWSKI & Co.

POLISH LIBRARY 10, GREEK STREET, SOHO;

TRÜBNER & Co., 12, PATERNOSTER ROW.

1855

«Полярная звезда на 1855 год».
Книга первая.

Обложка с портретами казненных декабристов.

сколько заспанные глаза напоминали мне целый ряд,— как в зеркале, когда гадаешь,— Сашек, Сенек, Алешек, Мирошек. И секретарь был тоже чисто русский продукт, но более резкий представитель своего типа. Человек лет за сорок, с небритым подбородком, испитым лицом, в засаленном сертуке, весь — снаружи и внутри — нечистый и замаранный, с небольшими плутовскими глазами и с тем особенным запахом русских пьяниц, составленным из вечно поддерживаемого перегорелого сивушного букета с оттенком лука и гвоздики, для прикрытия. Все черты его лица ободряли, внушали доверие всякому скверному предложению — в его сердце оно нашло бы, наверное, отголосок и оценку, а если выгодно, и помощь. Это был первообраз русского чиновника, мироеда, подьячего, коштана. Когда я его спросил, доволен ли он готовившимся освобождением крестьян, он отвечал мне:

— Как же-с,— без сомненья,— и, вздохнувши, прибавил: — Господи, что тяжеб-то будет-с, разбирательств! А князь завез меня сюда, как на смех, именно в такое время-с.

До приезда Голицына он мне с видом задушевности говорил:

— Вы не верьте, что вам о князе будут говорить насчет притеснения крестьян или как он хотел их без земли на волю выпустить за большой выкуп. Все это враги распускают. Ну, правда, мот он и щеголь, но зато сердце доброе и для крестьян отец был.

Как только он поссорился, он, жалуясь на него, проклинал свою судьбу, что «доверился такому прощелыге... ведь он всю жизнь беспутничал и крестьян разорил; ведь это он теперь прикидывается при вас таким — а то ведь зверь... грабитель...».

— Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили? — спросил я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился — я повернулся и ушел. Родись этот человек не в людской князей Голицыных, не сыном какого-нибудь «земского», давно был бы, при его способностях, министром — Валуевым, не знаю чем.

Через час явился регент и его ментор с запиской Голицына — он, извиняясь, просил меня, если могу, приехать к нему, чтоб покончить эти дрязги. Князь вперед обещал принять без спору мое решение.

Делать было нечего, я отправился. Все в доме показывало необыкновенное волнение. Француз слуга, Пико, поспешно мне отворил дверь и с той торжественной суетливостью, с которой провожают доктора на консультацию к умирающему, провел в залу. Там была вторая жена Голицына, встревоженная и раздраженная, сам Голицын ходил огромными шагами по комнате, без галстуха, богатырская грудь наголо,— он был взбешен и оттого вдвое

заикался, на всем лице его было видно страдание от внутрь взошедших — то есть не вышедших в действительный мир — зуботычин, пинков, треухов, которыми бы он отвечал инсургентам в Тамбовской губернии.

— Вы б-б-бога ради простите меня, что я в-вас беспокою из-за этих м-м-мошенников.

— В чем дело?

— Вы уж, п-пожалуйста, сами спросите — я только буду слушать.

Он позвал регента, и у нас пошел следующий разговор:

— Вы недовольны чем-то?

— Оченно недоволен... и оттого именно беспременно хочу ехать в Россию.

Князь, у которого голос лаблашевской силы, испустил львиный стон — еще пять зуботычин возвратились сердцу.

— Князь вас удержать не может, так вы скажите, чем недовольны-то вы?

— Всем-с, Александр Иванович.

— Да вы уж говорите потолковитее.

— Как же чем-с — я с тех пор, как из России приехал, с ног сбит работой, а жалованья получил только два фунта да третий раз вечером князь дали больше в подарок.

— А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-с...

— Есть же у вас определенный оклад?

— Никак нет-с. Князь, когда *изволили бежать* за границу (это без злого умысла), сказали мне: «Вот хочешь ехать со мной, я, мол, устрою твою судьбу и, если мне повезет, дам большое жалованье, а не то и малым довольствуйся». Ну, я так и поехал.

Это он из Тамбова-то в Лондон поехал на таком условии... О, Русь!

— Ну, а как, по-вашему, *везет* князю или нет?

— Какой везет-с... Оно, конечно, можно бы всё...

— Это другой вопрос,— если ему не везет, стало, вы должны довольствоваться малым жалованьем.

— Да князь сами говорили, что по моей службе, то есть и способности, по здешним деньгам меньше нельзя, как фунта четыре в месяц.

— Князь, вы желаете заплатить ему по четыре фунта за месяц?

— С о-о-хотой-с...

— Дело идет прекрасно, что же дальше?

— Князь-с обещал, что если я захочу возвратиться, то пожалует мне на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнул головой и прибавил:

— Да, но в том случае, если я им буду доволен!

— Чем же вы недовольны им?

Теперь плотину прорвало, князь вскочил. Трагическим басом, которому еще больше придавало веса дребезжание некоторых букв и маленькие паузы между согласными, произнес он следующую речь:

— Мне им быть д-довольным, этим м-м-молокососом, этим щ-щенком?! Меня бесит гнусная неблагодарность этого разбойника! Я его взял к себе во двор из самобеднейшего семейства крестьян, вшами заеденного, босого; я его сам учил, негодяя, я из него сделал ч-человека, музыканта, регента; голос каналье выработал такой, что в России в сезон возьмет рублей сто в месяц жалованья.

— Все это так, Юрий Николаевич, но я не могу разделять вашего взгляда. Ни он, ни его семья вас не просили делать из него Ронкони, стало, и особенной благодарности с его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, как учат соловьев, и хорошо сделали, но тем и конец. К тому же это и к делу не идет...

— Вы правы... но я хотел сказать: каково мне выносить это? Ведь я его... к-каналью...

— Так вы согласны ему дать на дорогу?

— Черт с ним, для вас... только для вас даю.

— Ну, вот дело и слажено — а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

— Говорят, фунтов двадцать.

— Нет, это много, отсюда до Петербурга сто целковых за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расчел на бумажке и передал Голицыну; тот взглянул на итог — выходило, помнится, с чем-то тридцать фунтов. Он тут же мне их и вручил.

— Вы, разумеется, грамоте знаете? — спросил я регента.

— Как же-с...

Я написал ему расписку в таком роде: «Я получил с кн. Ю. Н. Голицына должные мне за жалованье и на проезд из Лондона в Петербург тридцать с тем-то фунтов (на русские деньги столько-то). Затем остаюсь доволен и никаких других требований на него не имею».

— Прочтите сами и подпишитесь...

Регент прочел, но не делал никаких приготовлений, чтоб подписаться.

— За чем дело?

— Не могу-с.

— Как не можете?

— Я недоволен...

Львиный сдержанный рев,— да уж и я сам готов был прикрикнуть.

— Что за дьявольщина, вы сами сказали, в чем ваше требование. Князь заплатил все до копейки — чем же вы недовольны?

— Помилуйте-с; а сколько нужды натерпелся с тех пор, как здесь...

Ясно было, что легость, с которой он получил деньги, разлакомила его.

— Например-с, мне следует еще за переписку нот.

— В-время! — закричал Голицын так, как и Лаблаш никогда не кричал; робко ответили ему своим эхо рояли, и бледная голова Нико показалась в щель и исчезла с быстротой испуганной ящерицы. — Разве переписывание нот не входило в прямую твою обязанность?.. да и что же бы ты делал все время, когда концертов не было?

Князь был прав, хотя и не нужно было пугать Нико гласом контрбомбардосным.

Регент, привыкнувший к всяким звукам, не сдался — и, оставя в стороне переписывание нот, обратился ко мне с следующей нелепостью:

— Да вот-с еще и насчет одежды: я совсем обносился.

— Да неужели, давая вам в год около пятидесяти фунтов жалованья, Юрий Николаевич еще обязался одевать вас?

— Нет-с, но прежде князь все иногда давали, а теперь, стыдно сказать — до того дошел, что без носков хожу.

— Я сам хожу без и-и-носков!..— прогремел князь и, сложа на груди руки, гордо и с презрением смотрел на регента. Этой выходки я никак не ждал и с удивлением смотрел ему в глаза. Но, видя, что он продолжать не собирается, а что регент непременно будет продолжать, я очень серьезно сказал соколу-певцу:

— Вы приходили ко мне сегодня утром просить меня в посредники, стало, вы верили мне?

— Мы вас оченно довольно знаем, в вас мы нисколько не сомневаемся, вы уж в обиду не дадите...

— Прекрасно, ну, так я вот как решаю дело. Подписывайте сейчас бумагу или отдайте деньги, я их передам князю и с тем вместе отказываюсь от всякого вмешательства.

Регент не захотел вручить бумажки князю, подписался и поблагодарил меня. Избавляю от рассказа, как он переводил счет на целковые; я ему никак не мог вдолбить, что по курсу целковый стоит теперь не то, что стоил тогда, когда он выезжал из России.

— Если вы думаете, что я вас хочу надуть фунта на полтора, так вы вот что сделайте: сходите к нашему попу да и попросите вам сделать расчет.— Он согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не так грозно и бурно вздымалась — но судьба хотела, чтоб и финал так же бы напомнил родину, как начало.

Регент помялся, помялся, и вдруг, как будто между ними ничего не было, обратился к Голицыну с словами:

— Ваше сиятельство, так как пароход из Гулля-с идет только через пять дней, явите милость, позвольте остаться покамест у вас.

«Задаст ему,— подумал я,— мой Лаблаш»,— самоотверженно приготовляясь к боли от крика.

— Куда ты к черту пойдешь. Разумеется, оставайся.

Регент разблагодарил князя и ушел. Голицын в виде пояснения сказал мне:

— Ведь он предобрый малый. Это его этот мошенник, этот в-вор... этот поганый юс подбил...

Поди тут Савиньи и Митермайер, пусть схватят формулами и обобщат в нормы юридические понятия, развившиеся в православном отечестве нашем между конюшней, в которой драли дворовых, и бариновым кабинетом, в котором обирали мужиков.

Вторая cause célèbre[1], именно с «юсом» — не удалась. Голицын вышел и вдруг так закричал, и секретарь так закричал, что оставалось затем катать друг друга «под никитки», причем князь, конечно, зашиб бы гунявого подьячего. Но как все в этом доме совершалось по законам особой логики, то подрались не князь с секретарем — а секретарь с дверью; набравшись злобы и освежившись еще шкаликом джину, он, выходя, треснул кулаком в большое стекло, вставленное в дверь, *и расшиб его*. Стекла эти бывают в палец толщины.

— Полицию! — кричал Голицын.— Разбой! Полицию! — и, взошедши в залу, бросился изнеможенный на диван. Когда он немного отошел, он пояснил мне, между прочим, в чем состоит *неблагодарность* секретаря. Человек этот был поверенным у его брата и, не помню, смошенничал что-то и должен был непременно идти под суд. Голицыну стало жаль его — он до того взошел в его положение, что заложил последние часы, чтобы выкупить его из беды. И потом — имея полные доказательства, что он плут,— взял его к себе управляющим!

Что он на всяком шагу надувал Голицына, в этом не может быть никакого сомнения.

---

[1] славная операция *(франц.).— Ред.*

Я уехал, человек, который мог кулаком пробить зеркальное стекло, может сам себе найти суд и расправу. К тому же он мне рассказывал потом, прося меня достать ему паспорт, чтоб ехать в Россию, что он гордо предложил Голицыну — пистолет и жеребий, кому стрелять.

Если это было, то пистолет, наверное, не был заряжен.

Последние деньги князя пошли на усмирение спартаковского восстания — и он все-таки наконец попал, как и следовало ожидать, в тюрьму за долги. Другого посадили бы — и дело в шляпе,— с Голицыным и это не могло сойти просто с рук.

Полисмен привозил его ежедневно в Cremorn garden, часу в восьмом; там он дирижировал, для удовольствия лореток всего Лондона, концерт, и с последним взмахом скипетра из слоновой кости незаметный полицейский вырастал из-под земли и не покидал князя до каба, который вез узника в черном фраке и белых перчатках в тюрьму. Прощаясь со мной в саду, у него были слезы на глазах. Бедный князь! Другой смеялся бы над этим, но он брал к сердцу свое в неволю заключенье. Родные как-то выкупили его. Потом правительство позволило ему возвратиться в Россию — и отправили его сначала на житье в Ярославль, где он мог дирижировать духовные концерты вместе с Фелинским, варшавским архиереем. Правительство для него было добрее его отца — тертый калач не меньше сына, он ему советовал *идти в монастырь*... Хорошо знал сына отец — а ведь сам был до того музыкант, что Бетховен посвятил ему одну из симфоний.

За пышной фигурой ассирийского бога, тучного Аполлона-вола, не должно забывать ряд других русских странностей.

Я не говорю о мелькающих тенях, как «колонель рюс», но о тех, которые, причаленные разными превратностями судьбы,— приостанавливались надолго в Лондоне, вроде того чиновника военного интендантства, который, запутавшись в делах и долгах, бросился в Неву, утонул... и всплыл в Лондоне *изгнанником*, в шубе и меховом картузе, которые не покидал, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы. Вроде моего друга Ивана Ивановича Савича, которого англичане звали *Севидж*, который весь, целиком, с своими антецедентами и будущностью, с какой-то мездрой вместо волос на голове, так и просится в мою галерею русских редкостей.

Лейб-гвардии Павловского полка офицер в отставке, он жил себе да жил в странах заморских и дожил до февральской революции — тут он испугался и стал на себя смотреть как на преступника — не то чтоб его мучила совесть, но мучила мысль о жандармах, которые его встретят на границе, казематах, тройке, снеге...— и решился отложить возвращение. Вдруг весть о том, что его брата взяли по делу Шевченки,— сделалось в самом деле

что-то опасно, и он тотчас решился ехать. В это время я с ним познакомился в Ницце. Отправился Савич, купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переезжая границу, хотел как-то укрепить в дупле пустого зуба и раскусить в случае ареста.

По мере приближения к родине страх все возрастал и в Берлине дошел до удушающей боли; однако Савич переломил себя и сел в вагон. Станций на пять его стало — далее он не мог. Машина брала воду; он под совершенно другим предлогом вышел из вагона... Машина свистнула, поезд двинулся без Савича — того-то ему и было надобно. Оставив чемодан свой на произвол судьбы, он с первым обратным поездом возвратился в Берлин. Оттуда телеграфировал о чемодане и пошел визировать свой пасс в Гамбург. «Вчера ехали в Россию, сегодня в Гамбург»,— заметил полицейский, вовсе не отказывая в визе. Перепуганный Савич сказал ему: «Письма — я получил письма», и, вероятно, у него был такой вид, что со стороны прусского чиновника просто упущение по службе, что он его не арестовал. Затем Савич, спасаясь, никем не преследуемый, как Людвиг-Филипп, приехал в Лондон. В Лондоне для него началась, как для тысячи и тысячи других, тяжелая жизнь; он годы честно и твердо боролся с нуждой. Но и ему судьба определила комический бортик ко всем трагическим событиям. Он решился давать уроки математики, черченью и даже французскому языку (*для англичан*). Посоветовавшись с тем и другим, он увидел, что без объявления или карточек не обойдется.

— Но вот беда: как взглянет на это русское правительство... думал я, думал, да и напечатал *анонимные* карточки.

Долго я не мог нарадоваться на это великое изобретение — мне в голову не приходила возможность визитной карточки без имени.

С своими анонимными карточками, с большой настойчивостью труда и страшной бережливостью (он живал дни целые картофелем и хлебом) он сдвинул-таки свою барку с мели, стал заниматься торговым комиссионерством, и дела его пошли успешно.

И это именно в то время, когда дела другого лейб-гвардии павловского офицера пошли отвратительно. Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный, шеф Павловского полка отошел в вечность. Пошли льготы, амнистии. Захотелось и Савичу воспользоваться царскими милостями, и вот он пишет к Бруннову письмо и спрашивает, подходит ли он под амнистию. Через месяц времени приглашают Савича в посольство. «Дело-то,— думал он,— не так просто — месяц думали».

— Мы получили ответ,— говорит ему старший секретарь.— Вы нехотя поставили министерство в затруднение: ничего об вас нет. Оно сносилось с министром внутренних дел, и у него не могут

найти никакого дела об вас. Скажите нам просто, что с вами было — не может же быть ничего важного!..

— Да в сорок девятом году мой брат был арестован и потом сослан.

— Ну?

— Больше ничего.

«Нет,— подумал Николаи,— шалит».— и сказал Савичу, что, если так, министерство снова наведет справки. Прошли месяца два. Я воображаю, что было в эти два месяца в Петербурге... отношения, сообщения, конфиденциальные справки, секретные запросы из министерства в III Отделение, из III Отделения в министерство, справки у харьковского генерал-губернатора... выговоры, замечания... а дела о Савиче найти не могли. Так министерство и сообщило в Лондон.

Посылает за Савичем сам Бруннов.

— Вот,— говорит,— смотрите ответ. Нигде ничего об вас — скажите, по какому вы делу замешаны?

— Мой брат...

— Все это я слышал, да вы-то сами по какому делу?

— Больше ничего не было.

Бруннов, от рождения ничему не удивлявшийся, удивился.

— Так отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сделали...

— Я думал, что все же лучше...

— Стало, просто-напросто вам не амнистия нужна, а паспорт.

И Бруннов велел выдать пасс.

На радостях Савич прискакал к нам.

Рассказав подробно всю историю о том, как он добился амнистии, он взял Огарева под руку и увел в сад.

— Дайте мне, бога ради, совет,— сказал он ему.— Александр Иванович все смеется надо мной... такой уж нрав у него; но у вас сердце доброе. Скажите мне откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ехать Веной?

Огарев не поддержал доброго мнения и расхохотался. Да что Огарев,— я воображаю, как Бруннов и Николаи минуты на две расправили морщины от тяжелых государственных забот и осклабились, когда амнистированный Савич вышел из кабинета.

Но при всех своих оригинальностях Савич был честный человек. Другие русские, неизвестно откуда всплывавшие, бродившие месяц, другой по Лондону, являвшиеся к нам с собственными рекомендательными письмами и исчезавшие неизвестно куда, были далеко не так безопасны.

Печальное дело, о котором я хочу рассказать, было летом 1862. Реакция была тогда в инкубации и из внутреннего, скрытого гние-

ния еще вылазила наружу. Никто не боялся к нам ездить. Никто не боялся брать с собой «Колокол» и другие наши издания; многие хвастались, как они мастерски провозят. Когда мы советовали быть осторожными, над нами смеялись. Писем мы почти никогда не писали в Россию — старым знакомым нам нечего было сказать,— мы с ними стояли всё дальше и дальше, с новыми незнакомцами мы переписывались через «Колокол».

Весной возвратился из Москвы и Петербурга Кельсиев. Его поездка, без сомнения, принадлежит к самым замечательным эпизодам того времени. Человек, ходивший мимо носа полиции, едва скрывавшийся, бывавший на раскольничьих беседах и товарищеских попойках — с глупейшим турецким пассом в кармане — и возвратившийся sain et sauf[1] в Лондон, немного закусил удила. Он вздумал сделать пирушку в нашу честь в день пятилетия «Колокола», по подписке, в ресторане Кюна. Я просил его отложить праздник до другого, больше веселого времени. Он не хотел. Праздник не удался: не было entrain[2] и не могло быть — в числе участников были люди слишком посторонние.

Говоря о том и сем, между тостами и анекдотами, говорили, как о самопростейшей вещи, что приятель Кельсиева Ветошников едет в Петербург и готов с собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многие сказали, что будут в воскресенье у нас. Собралась действительно целая толпа, в числе которой были очень мало знакомые нам лица и, по несчастию, сам Ветошников; он подошел ко мне и сказал, что завтра утром едет, спрашивая меня, нет ли писем, поручений. Бакунин уже ему дал два-три письма. Огарев пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу — к ним я приписал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского (к которому я никогда не писал) на наше предложение в «Колоколе» «печатать на свой счет «Современник» в Лондоне». Гости стали расходиться часов около двенадцати; двое-трое оставались. Ветошников взошел в мой кабинет и взял письмо. Очень может быть, что и это осталось бы незамеченным. Но вот что случилось. Чтоб поблагодарить участников обеда, я просил их принять в память от меня по выбору что-нибудь из наших изданий или большую фотографию мою Левицкого. Ветошников взял фотографию; я ему советовал обрезать края и свернуть в трубочку; он не хотел и говорил, что положит ее на дно чемодана, и потому завернул ее в лист «Таймса» и так отправился. Этого нельзя было не заметить.

Прощаясь с ним с последним, я спокойно отправился спать —

---

[1] здравым и невредимым *(франц.)*.— *Ред.*
[2] воодушевления *(франц.)*.— *Ред.*

так иногда сильно бывает ослепленье — и уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне.

Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени... Можно было остановить Ветошникова до вторника — отправить в субботу. Зачем он не приходил утром, да и вообще зачем он приходил сам... да и зачем мы писали?

Говорят, что один из гостей телеграфировал тотчас в Петербург.

Ветошникова схватили на пароходе — остальное известно.

В заключенье этого печального сказанья скажу о человеке, вскользь упомянутом мною и которого пройти мимо не следует. Я говорю о Кельсиеве.

В 1859 году получил я первое письмо от него.

ГЛАВА II

В. И. КЕЛЬСИЕВ

Имя В. Кельсиева приобрело в последнее время печальную известность... быстрота внутренней и скорость внешней перемены, удачность раскаяния, неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной — в кающемся и прощенном — развязностью — все это, при непривычке нашего общества к крутым и гласным превращениям,— вооружило против него лучшую часть нашей журналистики. Кельсиеву хотелось во что бы ни стало занимать собою публику; он и накупился на видное место мишени, в которую каждый бросает камень, не жалея. Я далек от того, чтоб порицать нетерпимость, которую показала в этом случае наша дремлющая литература. Негодование это свидетельствует о том, что много свежих, неиспорченных сил уцелели у нас, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодование, опрокинувшееся на Кельсиева,— то самое, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения и отвернулось от Гоголя за его «Переписку с друзьями».

Бросать в Кельсиева камнем лишнее, в него и так брошена целая мостовая. Я хочу передать другим и напомнить ему, каким он явился к нам в Лондон и каким уехал во второй раз в Турцию.

Пусть он сравнит самые тяжелые минуты тогдашней жизни с лучшими своей теперичной карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я в них ничего не переменил и

добавил только отрывки из писем. В моем беглом очерке Кельсиев представлен так, как он остался в памяти до его появления на лодке в Скулянскую таможню в качестве запрещенного товара, просящего конфискации и поступления по законам.

Письмо от Кельсиева было из Плимута. Он туда приплыл на пароходе Североамериканской компании и отправился куда-то, в Ситку или Уналашку на службу. Поживши в Плимуте, ему расхотелось ехать на Алеутские острова, и он писал ко мне, спрашивая, можно ли ему найти пропитание в Лондоне. Он успел уже в Плимуте познакомиться с какими-то теологами и сообщал мне, что они обратили его внимание на замечательные истолкования пророчеств. Я предостерег его от английских клержименов[1] и звал в Лондон, «если он действительно хочет работать».

Недели через две он явился. Молодой, довольно высокий, худой, болезненный, с четвероугольным черепом, с шапкой волос на голове — он мне напоминал (не волосами, тот был плешив),— а всем существом своим Энгельсона, и действительно он очень многим был похож на него. С первого взгляда можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей,— но еще не приписался ни к какому делу и обществу — цеха не имел. Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей ширинге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки: учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодно голову. От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведенья[2].

Особенно оригинально было то, что в скептическом ощупывании Кельсиева сохранилась какая-то примесь мистических фантазий: он был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре. Церковный оттенок, наречие и образность остались у него в форме, в языке, в слоге и придавали всей его жизни особый характер и особое единство, основанное на спайке противуположных металлов.

У Кельсиева шел тот знакомый нам перебор, который делает почти всегда в самом деле проснувшийся русский внутри себя и

---

[1] служителей культа *(от англ. clergyman).— Ред.*

[2] Петрашевцами заключается у нас фаланга сильно занимавшихся юношей — их можно назвать последним классом нашего учебно-исторического развития.

о котором вовсе не думает за недосугом и заботами западный человек. Втянутые своими специальностями в другие дела, *старшие братия* наши не проверяют задов, и оттого у них сменяются поколенья, строя и разрушая, награждая и наказуя, надевая венки и кандалы,— твердо уверенные, что так и надобно, что они делают дело. Кельсиев, напротив, сомневался во всем и не принимал на слово ни добро — добра, ни зло — зла. Кобенящийся дух этот, отрешающийся от вперед идущей нравственности и готовых истин, накипел всего больше в mi-carême[1] нашего николаевского поста и резко стал высказываться, когда гиря, давившая наш мозг, приподнялась на одну линию. На этот-то, полный жизни и отваги, анализ и накинулась бог весть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробуждения — под звуки севастопольских пушек — с чужих слов, многие из наших умников начали повторять, что западный консерватизм у нас факт прививной, что нас наскоро подогнали к европейскому образованию — не для того, чтоб делиться с ним наследственными болезнями и застарелыми предрассудками, а для «сравнения со старшими», для того, чтоб была возможность с ними идти ровным шагом вперед... Но как только мы видим на самом деле, что у проснувшейся мысли, что у возмужалого слова нет ничего твердого, «ничего святого», а есть вопросы и задачи, что мысль ищет, что слово отрицает, что дурное раскачивается вместе с «заведомо» хорошим и что дух пытанья и сомненья влечет всё — всё без разбора — в пропасть, лишенную перил,— тогда крик ужаса и исступленья вырывается из груди и пассажиры первых классов закрывают глаза, чтоб не видать, когда вагоны сорвутся с рельсов, а кондукторы тормозят и останавливают всякое движенье.

Разумеется, бояться причины нет. Возникающая *сила* слишком слаба материально, чтоб сдвинуть шестидесятимиллионный поезд с рельсов. Но в ней была программа, может быть, пророчество.

Кельсиев развился под первым влиянием времени, о котором мы говорили. Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и очертя голову пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относился он к вере и к неверью, к русским порядкам и к порядкам западным. Одно, что пустило корни в его грудь, было сознание страстное и глубокое — экономической неправды современного государственного строя и, в силу

[1] страстной четверг *(франц.)*.— *Ред.*

этого, ненависть к нему и темное стремление к социальным теориям, в которых он видел выход.

На это сознание неправды и на эту ненависть, сверх пониманья, он имел неотъемлемое право.

В Лондоне он поселился в одной из отдаленнейших частей города, в глухом переулке Фулама, населенном матовыми, подернутыми чем-то пепельным, ирландцами и всякими исхудалыми работниками. В этих сырых каменных коридорах без крыши страшно тихо, звуков почти нет никаких, ни света, ни цвета; люди, платьи, дома — все полиняло и осунулось, дым и сажа обвели все линии траурным ободком. По ним не трещат тележки лавочников, развозящих съестные припасы, не ездят извозчичьи кареты, не кричат разносчики, не лают собаки — последним решительно нечем питаться... Изредка только выходит какая-нибудь худая, взъерошенная и покрытая углем кошка, проберется по крыше и подойдет к трубе погреться, выгибая спину и обличая видом, что внутри дома она передрогла.

Когда я в первый раз посетил Кельсиева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, с заплаканными глазами, сидела у тюфяка, постланного на полу, на котором, весь в лихорадке и жаре, метался, страдал, умирал ребенок, году или полутора. Я посмотрел на его лицо и вспомнил предсмертные черты другого ребенка. Это было *то же* выражение. Через несколько дней он умер,— другой родился.

Бедность была всесовершеннейшая. Молодая тщедушная женщина, или, лучше, замужняя девочка, выносила ее геройски и с необычайной простотой. Думать нельзя было, глядя на ее болезненную, золотушную, слабую наружность, что́ за мощь, что́ за сила преданности обитала в этом хилом теле. Она могла служить горьким уроком нашим заплечным романистам. Она была, хотела быть тем, что впоследствии назвали *нигилисткой*, странно чесала волосы, небрежно одевалась, много курила, не боялась ни смелых мыслей, ни смелых слов; она не умилялась перед семейными добродетелями, не говорила о священном долге, о сладости жертвы, которую совершает ежедневно, и о легости креста, давившего ее молодые плечи. Она не кокетничала своей борьбой с нуждой, а делала *все* — шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердым товарищем была она мужу и великой страдалицей сложила голову свою на дальнем Востоке, следуя за блуждающим, беспокойным бегом своего мужа и потеряв разом двух последних малюток.

...Поборолся я сначала с Кельсиевым, стараясь его убедить, чтоб он не отрезывал себе с самого начала, не изведавши жизни изгнанника, пути к возвращению. Я ему говорил, что надобно

прежде узнать нужду на чужбине, нужду в Англии, особенно в Лондоне; я ему говорил, что в России теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здесь делать? — спрашивал я его. Кельсиев собирался всему учиться и обо всем писать; пуще всего хотел он писать о женском вопросе — о семейном устройстве.

— Пишите прежде,— говорил я ему,— об освобождении крестьян с землей. Это первый вопрос, стоящий на дороге.

Но симпатии Кельсиева были не туда обращены. Он действительно принес мне статью о женском вопросе. Она была безмерно плоха — Кельсиев посердился, что я ее не напечатал, и сам благодарил меня за это года два спустя.

Возвращаться он не хотел.

Во что бы ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологические эксцентричности его нам помогли. Мы достали ему корректуру Св. писания, издаваемого по-русски Лондонским библейским обществом. Затем передали ему кипу бумаг, полученных нами в разное время, по части старообрядцев. За издание их и приведение в порядок Кельсиев принялся со страстью. То, о чем он догадывался и мечтал, то раскрывалось перед ним фактически: грубо-наивный социализм в евангельской ризе сквозил ему в расколе. Это было лучшее время в жизни Кельсиева; он с увлечением работал и прибегал иногда вечером ко мне указать какую-нибудь социальную мысль духоборцев, молокан, какое-нибудь чисто коммунистическое учение федосеевцев; он был в восторге от их скитания по лесам, ставил идеалом своей жизни скитаться между ними и сделаться учителем социально-христианского раскола в Белокринице или России.

И действительно, Кельсиев был в душе «бегуном», бегуном нравственным и практическим: его мучила тоска, неустоявшиеся мысли. На одном месте он оставаться не мог. Он нашел работу, занятие, безбедное пропитание, но не нашел *дела*, которое бы поглотило совсем его беспокойный темперамент; он был готов покинуть все, чтоб искать его, готов был не только идти на край света, но сделаться монахом, приняв священство без веры.

Настоящий русский человек, Кельсиев всякий месяц делал новую программу занятий, придумывал проекты и брался за новую работу, не кончив старой. Работал он запоем и запоем ничего не делал. Он схватывал вещи легко, но тотчас удовлетворялся до пресыщения, из всего тянул он сразу жилы до последнего вывода, а иногда и подальше.

Сборник о раскольниках шел успешно; он издал *шесть* частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародование сведений о старообрядцах. То же случилось с переводом Библии. Перевод с еврейского не удался. Кельсиев попробо-

вал сделать un tour de force[1] и перевести «слово в слово», несмотря на то что грамматические формы семитических языков вовсе не совпадают со славянскими. Тем не меньше выпущенные диврезоны[2] разошлись мгновенно, и святейший синод, испугавшись заграничного издания, *благословил* печатание Старого завета на русском языке. Эти обратные победы никогда никем не были поставлены в crédit нашего станка.

В конце 1861 Кельсиев отправился в Москву с целью завести прочные связи с раскольниками. Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать. Она невероятна, невозможна, а на деле действительно была. В этой поездке отвага граничит с безумием; в ней опрометчивость почти преступная, но уж, конечно, не я буду его винить в ней. Неосторожная болтовня за границей могла сделать много бед. Но к делу и оценке самой поездки это не идет.

Возвратясь в Лондон, он принялся, по требованию Трюбнера, за составление русской грамматики для англичан и за перевод какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого он не кончил: путешествие сгубило его последний Sitzfleisch[3]— он тяготился работой, впадал в ипохондрию, унывал; а работа была нужна: денег опять не было ни гроша. К тому же и новый червь начинал точить его. Успех поездки, бесспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, победа над опасностями раздули и в его груди без того сильную струю самолюбья; обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку Кельсиев, запуская руки в свои густые волосы, говорил, покачивая грустно головой:

— Еще нету тридцати лет — и уже такая ответственность взята мною на плечи.

Из всего этого легко можно было понять, что грамматики он не кончит, а уйдет. Он и ушел. Ушел он в Турцию, с твердым намерением еще больше сблизиться с раскольниками, составить новые связи и, если возможно, остаться там и начать проповедь вольной церкви и общинного житья. Я писал ему длинное письмо, убеждая его не ездить, а продолжать работу. Но страсть к скитанью, желание подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнее, и он уехал.

Он и Мартьянов исчезают почти в одно время. Один — чтоб, после ряда несчастий и испытаний, хоронить своих и потеряться между Яссами и Галацом, другой — чтоб схоронить себя на каторжной работе, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящих помещиков-сенаторов.

---

[1] невозможное *(франц.).— Ред.*
[2] тетради, выпуски *(от франц. livraison).— Ред.*
[3] усидчивость *(нем.). – Ред.*

После них являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имея большой глубины и захватывая очень тонкий слой, быстро изменяет и изнашивает формы и цветы.

Между Энгельсоном и Кельсиевым — уже целая формация, как между нами и Энгельсоном. Энгельсон был человек сломленный, оскорбленный; зло, сделанное ему всей средой, миазмы, которыми он дышал с детства, изуродовали его. Луч света скользнул по нем и отогрел его года за три до его смерти, когда уже неостанавливаемый недуг грыз его грудь. Кельсиев, тоже помятый и попорченный средой, явился однако без отчаяния и усталости; оставаясь за границей, он не просто шел на покой, не просто бежал без оглядки от тяжести — он шел *куда-то*. Куда — этого *он не знал* (и тут всего ярче выразился видовой оттенок его пласта), определенной цели он не имел; он ее искал и покамест осматривался и приводил в порядок, а пожалуй, и в беспорядок, всю массу идей, захваченных в школе, книгах и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существенным вопросом, которым он жил, выкидая или такого дела, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы он отдался.

Теперь воротимся к Кельсиеву. Потаскавшись в Турции, Кельсиев решился поселиться в Тульче; там он хотел учредить средоточие своей пропаганды между раскольниками, школу для казацких детей и сделать опыт общинной жизни, в которой прибыль и убыль должна была падать на всех, чистая и нечистая, легкая и трудная работа обделываться всеми. Дешевизна помещенья и съестных припасов делали опыт возможным. Он сблизился с старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале превозносил его до небес. Летом 1863 подъехал к нему его меньшой брат Иван, прекрасный, даровитый юноша. Он был по студентскому делу выслан из Москвы в Пермь, там попался к негодяю губернатору, который его теснил. Потом его опять вызвали в Москву для каких-то показаний — ему грозила ссылка далее Перми. Он бежал из частного дома и пробрался через Константинополь в Тульчу. Старший брат был чрезвычайно рад ему; он искал товарищей и наконец звал жену, которая рвалась к нему и жила на нашем попеченье в Теддингтоне. Пока мы ее снаряжали, явился в Лондон и сам Гончар.

Хитрый старик, почуявший смуты и войны, вышел из своей берлоги понюхать воздух и посмотреть, чего откуда можно ждать, то есть с кем идти и против кого. Не зная ни одного слова, кроме по-русски и турецки, он отправился в Марсель и оттуда в Париж. В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским, говорят даже, что его возили к Наполеону, — от него я этого не слыхал. Переговоры ни к чему не привели,— и седой казак, качая головой и

щуря лукавыми глазами, написал каракульками семнадцатого столетия ко мне письмо, в котором, называя меня «графом», спрашивал, может ли приехать к нам и как нас найти.

Мы жили тогда в Теддингтоне — без языка не легко было добраться до нас, и я поехал в Лондон на железную дорогу встретить его. Выходит из вагона старый русский мужик, из зажиточных, в сером кафтане, с русской бородой, скорее худощавый, но крепкий, мускулистый, довольно высокий и загорелый, несет узелок в цветном платке.

— Вы Осип Семенович? — спрашиваю я.

— Я, батюшка, я...— Он подал мне руку. Кафтан распахнулся, и я увидел на поддевке большую звезду — разумеется турецкую, *русских* звезд мужикам не дают. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой,— этого я в России не видал.

— Я такой-то, приехал вас встретить да проводить к нам.

— Что же ты это, ваше сиятельство, сам беспокоился... того?.. Ты бы того, кого-нибудь...

— Это уж оттого, видно, что я не сиятельство. С чего же, Осип Семенович, вы выдумали меня называть графом?

— А Христос тебя знает, как величать — ты небось в своем деле во главе стоишь. Ну, а я — того, человек темный... ну и говорю: граф, то есть сиятельный, то есть голова.

Не только оборот речи, но и произношение у Гончара было великорусское, крестьянское — как у них в захолустье, окруженном иноплеменниками, так славно сохранился язык,— трудно было б понять без старообрядческого мирщенья. Раскол их выделил так строго, что никакое чужое влияние не переходило за их частокол.

Гончар прожил у нас три дня. Первые дни он ничего не ел, кроме сухого хлеба, который привез с собой, и пил одну воду. На третий день было воскресенье; он разрешил себе стакан молока, рыбу, вареную в воде, и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себе на уме, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человека, привыкшего с детских лет к полному бесправию и к соседству сильных, к врагам, долгая жизнь, проведенная в борьбе, в настойчивом труде, в опасности,— все это так и сквозило из-за мнимо простых черт и простых слов седого казака. Он постоянно оговаривался, употреблял уклончивые фразы, тексты из Священного писания, делал скромный вид, очень сознательно рассказывая о своих успехах, и если иногда увлекался в рассказах о прошлом и говорил много, то, наверное, никогда не проговорился о том, о чем хотел молчать.

Этот закал людей на Западе почти не существует. Он не нужен, как не нужна дамаскирная сталь для лезвия... В Европе все

делается гуртом, массой; человеку одиночно не нужно столько силы и осторожности.

В успех польского дела он уже не верил и говорил о своих парижских переговорах, покачивая головой.

— Нам, конечно, где же сообразить: люди маленькие, темные, а они вон поди как,— ну, вельможи, как следует; только эдак нрав-то легкой... Ты, мол, Гончар, не сумлевайся: вот как справимся, мы и то и то сделаем для тебя, например. Понимаешь?.. Ну, все будет в удовольствие. Оно точно, люди добрые, да поди вот, *когда справятся...* с такой Палестиной.

Ему хотелось разузнать, какие у нас связи с раскольниками и какие опоры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами. В сущности, для него было все равно — он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с греками, с Россией или Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев. Он и от нас уехал, качая головой. Написал потом два-три письма, в которых, между прочим, жаловался на Кельсиева, и подал вопреки нашего мнения адрес государю.

В начале 1864 поехали в Тульчу два русских офицера, оба эмигранты, Краснопевцев и Васильев (?). Маленькая колония сначала дружно принялась за работу. Они учили детей и солили огурцы, чинили свои платья и копались в огороде. Жена Кельсиева варила обед и обшивала их. Кельсиев был доволен началом, доволен казаками и раскольниками, товарищами и турками[1].

Кельсиев писал еще нам свои юмористические рассказы о их водворении, а уже черная рука судьбы была занесена над маленькой кучкой тульчинских общинников. В июне месяце 1864, ровно через год после своего приезда, умер двадцати трех лет, на руках своего брата, в злейшем тифе, Иван Кельсиев. Смерть его была для брата страшным ударом; он сам занемог, но как-то отходился. Письма его того времени ужасны. Дух, поддерживавший отшельников, упал... угрюмая скука овладевала ими... начались препинания и ссоры. Гончар писал, что Кельсиев сильно пьет; Краснопевцев застрелился; Васильев ушел. Дольше не мог вытерпеть Кельсиев, он взял свою жену и своих детей (у него еще родился ребенок) и без средств, без цели отправился сначала в Константинополь, потом в Дунайские княжества. Совершенно от-

---

[1] И вот эта ужасная «Тульчинская агенция», имевшая сношения со всемирной революцией, поджигавшая русские деревни на деньги из мацциниевских касс, грозно действовавшая года через два после того, как перестала существовать... и теперь еще поминаемая в литературе сыщиков и в «Полицейских ведомостях» Каткова.

резанный от всех, отрезанный на время даже от нас, он в это время разошелся с польской эмиграцией в Турции. Напрасно искал он заработать кусок хлеба, с отчаянием смотрел он на изнурение бедной женщины и детей. Деньги, которые мы посылали иногда, не могли быть достаточны. «Случалось, что у нас вовсе не было хлеба»,— писала незадолго до своей смерти его жена. Наконец после долгих усилий Кельсиев нашел в Галаце место «надзирателя за шоссейными работами». Скука томила, грызла его... он не мог не винить себя в положении семьи. Невежество дико-восточного мира оскорбляло его, он в нем чахнул и рвался вон. Веру в раскольников он утратил, веру в поляков утратил... вера в людей, в науку, в революцию колебалась сильней и сильнее, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется... Он только и мечтал, чтоб во что б ни стало вырваться опять на свет, приехать к нам, и с ужасом видел, что ему покинуть семью нельзя. «Если б я был один,— писал он несколько раз,— я с дагерротипом или органом ушел бы, куда глаза глядят, и, потаскавшись по миру, пешком явился бы в Женеву».

Помощь была близка.

«Милуша» — так звали старшую дочь — легла здоровая спать... проснулась ночью больная; к утру умерла холерой. Через несколько дней умерла вторая дочь; мать свезли в больницу. У ней открылась острая чахотка.

— Помнишь ли, ты когда-то мне обещал сказать, когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?

— Смерть, друг мой, смерть.

И она еще раз улыбнулась, впала в забытье и умерла.

ГЛАВА III

‹МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ›

Едва Кельсиев ушел за порог, новые люди, вытесненные суровым холодом 1863, стучались у наших дверей. Они шли не из готовален наступающего переворота, а с обрушившейся сцены, на которой они уже выступали актерами. Они укрывались от внешней бури и ничего не искали внутри; им нужен был временный приют, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти в бой. Люди эти, очень молодые, покончили с идеями, с образованьем; теоретические вопросы их не занимали отчасти оттого, что они у них еще не возникали, отчасти оттого, что у них дело шло о приложении. Они были побиты материально, но дали доказательства своей отваги. Свернувши знамя, им приходилось

хранить его честь. Отсюда сухой тон, cassant, raide[1], резкий и несколько поднятый, отсюда военное, нетерпеливое отвращение от долгого обсуживания, критики, несколько изысканное пренебрежение ко всем умственным роскошам — в числе которых ставились на первом плане искусства... Какая тут музыка, какая поэзия! «Отечество в опасности, aux armes, citoyens!»[2] В некоторых случаях они были отвлеченно правы, но сложного и запутанного процесса уравновешения идеала с существующим они не брали в расчет и, само собой разумеется, свои мнения и воззрения принимали за воззрения и мнения целой России. Винить за это наших молодых штурманов будущей бури было бы несправедливо. Это — общеюношеская черта. Год тому назад один француз, поклонник Конта, уверял меня, что католицизм во Франции *не существует*, а complètement perdu le terrain[3], и, между прочим, ссылался на медицинский факультет, на профессоров и студентов, которые не только не католики, но и не деисты.

— Ну, а та часть Франции,— заметил я,— которая не читает и не слушает медицинских лекций?

— Она, конечно, держится за религию и обряды... но больше по привычке и по невежеству.

— Очень верю, но что же вы сделаете с нею?

— А что сделал тысяча семьсот девяносто второй год?

— Немного — революция <прзб.> сначала заперла церкви, а потом отперла. Вы помните ответ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордат. «Нравится ли тебе церемония?» — спросил консул, выходя из Нотр-Дам, якобинца-генерала. «Очень,— отвечал он,— жаль только, что недостает двухсот тысяч человек, которые легли костьми, чтоб уничтожить подобные церемонии».— «Ah bas! мы стали умнее и не отопрем церковных дверей или, лучше, не запрем их вовсе и отдадим капище суеверий под школы».

— L'infâme sera écrasée[4],— докончил я, смеясь.

— Да, без сомнения... это верно!

— Но мы-то с вами не увидим этого — это вернее.

В этом взгляде на окружающий мир сквозь подкрашенную личным сочувствием призму лежит половина всех революционных неуспехов. Жизнь молодых людей, вообще идущая в своего рода шумном и замкнутом затворничестве, вдали от будничной и валовой борьбы из-за личных интересов, резко схватывая общие

---

[1] надменный, непреклонный *(франц.).— Ред.*
[2] к оружию, граждане! *(франц.) — Ред.*
[3] совершенно потерял почву *(франц.).— Ред.*
[4] Гадина будет раздавлена *(франц.).— Ред.*

истины, почти всегда срезывается на ложном понимании их приложения к нуждам дня.

...Сначала новые гости оживили нас рассказами о петербургском движении, о диких выходках оперившейся реакции, о процессах и преследованиях, об университетских и литературных партиях... потом, когда все это было передано с той скоростью, с которой в этих случаях торопятся всё сообщить,— наступили паузы, гиатузы[1], беседы наши сделались скучны, однообразны...

«Неужели,— думал я,— это в самом деле старость, разводящая два поколенья? Холод, вносимый летами, усталью, испытаниями?»

Как бы то ни было, я чувствовал, что с появлением новых людей горизонт наш не расширился... а сузился, диаметр разговоров стал короче, нам иной раз нечего было друг другу сказать. Их занимали подробности их кругов, за границей которых их ничего не занимало. Однажды передавши все интересное об них, приходилось повторять, и они повторяли. Наукой или делами они занимались мало — даже мало читали и не следили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаниями и ожиданиями, они не любили выходить в другие области; а нам недоставало воздуха в этой спертой атмосфере. Мы, избаловавшись другими размерами,— задыхались!

К тому же, если они и знали известный слой Петербурга, то России вовсе не знали и, искренно желая сблизиться с народом, сближались с ним книжно и теоретически.

Общее между нами было слишком *обще*. Вместе идти, *служить*, по французскому выражению, вместе что-нибудь делать мы могли, но вместе стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезном влиянии и думать было нечего. Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила[2]. Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но, при всей искренности, это было не в самом деле. Они ждали, чтоб мы формулировали их собственное мнение, и только в том случае соглашались, когда высказанное нами нисколько не противуречило ему. На нас они смотрели как на почтенных инвалидов, как на прошедшее и наивно дивились, что мы еще не очень отстали от них.

Я всегда и во всем боялся «пуще всех печалей» *мезальянсов*,

---

[1] перерывы, пробелы *(от франц. hiatus).— Ред.*

[2] Самолюбие их не было так велико, как задорно и раздражительно, а главное — невоздержно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильного требования чинопочитанья по рангу, им присвоенному. При этом сами они смотрели на все свысока и постоянно трунили друг друга, отчего их дружбы никогда не продолжались дольше месяца.

всегда их допускал долею по гуманности, долею по небрежности и всегда страдал от них.

Предвидеть было не мудрено, что новые связи долго не продержатся, что рано или поздно они разорвутся и что этот разрыв, взяв в расчет шероховатый характер новых приятелей,— не обойдется без дурных последствий.

Вопрос, на котором покачнулись шаткие отношения, был именно тот старый вопрос, на котором обыкновенно разрываются знакомства, сшитые гнилыми нитками. Я говорю о деньгах. Не зная вовсе ни моих средств, ни моих жертв, они делали на меня требования, которые удовлетворять я не считал справедливым. Если я мог через все невзгоды, без малейшей поддержки, провести лет пятнадцать русскую пропаганду, то я мог это сделать, налагая меру и границу на другие траты. Новые знакомые находили, что все, делаемое мною, мало, и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом и не раздающего своего достояния на дуван людям, не работающим, но желающим деньги. Очевидно, они стояли еще на непрактической точке зрения христианской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практический социализм.

Опыты собрания «Общего фонда» не дали важных результатов. Русские не любят давать денег на общее дело, если при нем нет сооружения церкви, обеда, попойки и высшего одобряющего начальства.

В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды.

Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать.

Для того чтоб понять это, следует рассказать об одном странном случае, бывшем в 1858 году. Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого русского; он писал мне, что имеет «необходимость меня видеть», и просил назначить время. Я в это время шел в Лондон, а потому вместо всякого ответа зашел сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все молчал; видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать что.

Я ушел, пригласивши его дни через два-три обедать. Прежде этого я его встретил на улице.

— Можно с вами идти? — спросил он.

— Конечно,— не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик...

— Я не боюсь,— и тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию... нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию...

— Помилуйте, вы так молоды?

— Я Россию люблю, очень люблю; но там люди... там мне не житье, я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизовы острова.

Я смотрел на него с немым удивлением.

— Да... да. Это — дело решенное. Я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос?

— Сколько хотите.

— Имеете вы выгоду от ваших публикаций?

— Какая же выгода? Хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будет окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели?

Я расхохотался.

— Ну, да как же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима... вы меня простите, я не из любопытства спрашиваю — у меня была мысль, оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее, я и решился... да только прежде хотел знать от вас самих насчет дел... да-с, так я и решился оставить у вас немного денег. На случай, если вашей типографии нужно или для русской пропаганды вообще, так вы бы и распорядились.

Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением.

— Ни типография, ни пропаганда, ни я, в деньгах мы не нуждаемся — напротив, дело идет в гору — зачем же я возьму ваши деньги — но, отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за доброе намеренье.

— Нет-с, это дело решенное. У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.

— Куда же я их дену?

— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только,— добавил он, подумавши,— делайте, что хотите, но... но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сделайте одолжение, в банк и к Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умею по-английски и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и ехать.

— Извольте, я деньги принимаю, но вот на каких основаниях: я вам дам расписку...

— Никакой расписки мне не нужно...

— Да, но мне нужно дать, и без этого ваших денег не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах и у вас явится тоска по родине (он покачал головой)... почем знаешь, чего не знаешь,— то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует, а мы скажем, что... деньги эти отдаются в полное распоряжение мое и Огарева — буде же мы иного распоряжения не сделаем, то купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством, в пять процентов или около. Затем даю вам слово, что без явной крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем; вы на них можете считать во всех случаях, кроме банкрутства в Англии.

— Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их... а завтра едем за деньгами.

Следующий день был необыкновенно смешон и суетлив. Началось с банка и Ротшильда — деньги выдали ассигнациями. Бахметев возымел сначала благое намерение разменять их на *испанское* золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрели на него с изумлением, но когда вдруг, как спросонья, он сказал совершенно ломаным франко-русским языком: «Ну, так летр креди иль Маркиз»[1], тогда Кестнер, директор бюро, обернул на меня испуганный и тоскливый взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли?» К тому же никто еще никогда в доме у Ротшильда не требовал кредитива на Маркизские острова.

Решились тридцать тысяч взять золотом и ехать домой; по дороге заехали в кафе,— я написал расписку; Бахметев, с своей стороны, написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огарева восемьсот фунтов. Потом он ушел зачем-то домой, а я отправился его ждать в книжную лавку; через четверть часа он пришел бледный как полотно и объявил, что у него из 30 000 недостает 250 фр., то есть 10 liv. Он был совершенно сконфужен. Как потеря 250 фр. могла так перевернуть человека, отдававшего без всякой серьезной гарантии 20 000,— опять психологическая загадка натуры человеческой.

---

[1] аккредитив на Маркизские острова *(искаж. франц.).— Ред.*

— Нет ли лишней бумажки у вас?

— Со мной денег нет, я отдал Rothschild'у, и вот расписка: ровно 800 фунтов получено.

Бахметев, разменявший без всякой нужды на фунты свои ассигнации, рассыпал на конторке Тхоржевского 30 000 — считал, пересчитывал,— нету 10 фунтов, да и только. Видя его отчаянье, я сказал Тхоржевскому:

— Я как-нибудь на себя возьму эти проклятые десять фунтов, а то он же сделал доброе дело, да он же и наказан.

— Горевать и толковать тут не поможет,— прибавил я ему, — я предлагаю ехать сейчас к Ротшильду.

Мы поехали. Было уже позже четырех, и касса заперта. Я взошел с сконфуженным Бахметевым. Кестнер посмотрел на него и, улыбаясь, взял со стола десятифунтовую ассигнацию и подал ее мне.

— Это каким образом?

— Ваш друг, меняя деньги, дал вместо двух пятифунтовых две десятифунтовые ассигнации, а я сначала не заметил.

Бахметев смотрел, смотрел и прибавил:

— Как глупо — одного цвета и десять фунтов и пять фунтов; кто же догадается? Видите, как хорошо, что я разменял деньги на золото.

Успокоившись, он поехал ко мне обедать — а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем,— и... и *тридцать тысяч франков золотом, завязанные* в толстом фуляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов.

Так ехал этот человек в Маркизские острова.

— Помилуйте,— говорил я ему,— да вас убьют и ограбят прежде, чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги.

— Он полон.

— Я вам сак достану.

— Ни под каким видом.

Так и уехал. Я первые дни думал, чего доброго, его укокошат — а на меня падет подозрение, что подослал его убить.

С тех пор об нем не было ни слуху ни духу. Деньги его я положил в фонды с твердым намерением не касаться до них без крайней нужды типографии или пропаганды.

В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи... чему мы обязаны двум-трем нашим приятелям, давшим слово не говорить об этом. Наконец узнали, что деньги действительно есть и хранятся у меня.

Весть эта пала каким-то яблоком искушенья, каким-то хроническим возбуждением и ферментом. Оказалось, что деньги эти нужны всем, а я их не давал. Мне не могли простить, что я не потерял всего своего состояния, а тут у меня депо[1], данный для пропаганды; а кто же пропаганда, как не они. Сумма вскоре выросла из скромных франков в *рубли серебром* и дразнила еще больше желавших сгубить ее *частно* на общее дело. Негодовали на Бахметева, что он мне деньги вверил, а не кому-нибудь другому; самые смелые утверждали, что это с его стороны была ошибка, что он *действительно хотел* отдать их не мне, а одному петербургскому кругу и что, не зная, как это сделать, отдал в Лондоне мне. Отважность в этих суждениях была тем замечательнее, что о фамилии Бахметева так же никто не знал, как и о его существовании, и что он о своем предположении ни с кем не говорил до своего отъезда, а после его отъезда с ним никто не говорил.

Одним деньги эти нужны были для посылки эмиссаров, другим — для образования центров на Волге, третьим — для издания журнала. «Колоколом» они были недовольны и на наше приглашение работать в нем что-то поддавались туго.

Я решительно денег не давал, и пусть требовавшие их сами скажут, где они были бы, если б я дал.

— Бахметев,— говорил я,— может воротиться без гроша; трудно сделать аферу, заводя социалистическую колонию на Маркизских островах.

— Он, наверное, умер.

— А как, назло вам, жив?

— Да ведь он деньги эти дал на пропаганду.

— Пока мне на нее не нужно.

— Да нам нужно.

— На что именно?

— Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь в Одессу.

— Не думаю, чтоб очень нужно было.

— Так вы не верите в необходимость послать?

— Не верю.

«Стареет и становится скуп»,— говорили обо мне на разные тоны самые решительные и свирепые. «Да что на него смотреть; взять у него эти деньги, да и баста»,— прибавляли еще больше решительные и свирепые. «А будет упираться, мы его так продернем в журналах, что будет помнить, как задерживать чужие деньги».

Денег я не дал.

---

[1] вклад *(от франц. dépôt).— Ред.*

В журналах они не продергивали. Ругательства в печати являются гораздо позже, но тоже из-за денег.

...Эти *более свирепые*, о которых я сказал, были те ультра, те угловатые и шершавые представители «нового поколения», которых можно назвать *Собакевичами и Ноздревыми нигилизма*.

Как ни излишне делать оговорку, но я ее сделаю, зная логику и манеру наших противников. В моих словах нет ни малейшего желания бросить камень ни в молодое поколение, ни в нигилизм. О последнем я писал много раз. Наши Собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения их, а представляют их чересчурную крайность[1]. Кто же станет христианство судить по Ориговым хлыстам и революцию по сентябрьским мясникам и робеспьеровским чулочницам?

Заносчивые юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временной *тип*, очень определенно вышедший, очень часто повторявшийся, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя.

Большей частью они не имели той выправки, которую дает воспитание, и той выдержки, которая приобретается научными занятиями. Они торопились в первом задоре освобожденья сбросить с себя все условные формы и оттолкнуть все каучуковые подушки, мешающие жестким столкновениям. Это затруднило все простейшие отношения с ними.

Снимая все до последнего клочка, наши enfants terribles[2] гордо являлись, как *мать родила*, а родила-то она их плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наследниками дурной и нездоровой жизни низших петербургских слоев. Вместо атлетических мышц и юной наготы обнаружились печальные следы наследственного худосочья, следы застарелых язв и разного рода колодок и ошейников. Из народа было мало выходцев между ними. Передняя, казарма, семинария, мелкопоместная господская усадьба, перегнувшись в противуположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих. На это, сколько мне известно, не обращали должного внимания.

С одной стороны, реакция против старого, узкого, давившего мира должна была бросить молодое поколение в антагонизм и всяческое отрицание враждебной среды; тут нечего искать ни меры,

---

[1] В то самое время в Петербурге и Москве, даже в Казани и Харькове образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшие себя изучению науки, особенно между медиками. Честно и добросовестно трудились они, но, устраненные от бойкого участия в вопросах дня, они не были вынуждены покидать России, и мы их почти вовсе не знали.

[2] сорванцы *(франц.)*.— *Ред.*

ли справедливости. Напротив, тут делается назло, тут делается в отместку. «Вы лицемеры,— мы будем циниками; вы были нравственны на словах,— мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими,— мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая,— мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести,— мы за честь себе поставим попрание всех приличий и презрение всех points d'honneur'ов».

Но, с другой стороны, эта отрешенная от обыкновенных форм общежительства личность была полна своих наследственных недугов и уродств. Сбрасывая с себя, как мы сказали, все покровы, самые отчаянные стали щеголять в костюме гоголевского Петуха, и притом не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они остались чужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, строкулистами без места, немцами из русских.

Для полной свободы им надобно забыть свое освобождение и то, из чего освободились, бросить привычки среды, из которой выросли. Пока этого не сделано, мы невольно узнаем переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову.

Бить в рожу по первому возражению если не кулаком, то ругательным словом, называть Ст. Милля *ракальей*, забывая всю службу его,— разве это не барская замашка, которая «старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло»? Разве в этой и подобных выходках вы не узнаете квартального, исправника, станового, таскающего за седую бороду бурмистра? Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и в людях, говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине,— внучат Скалозуба, получивших воспитание в доме дедушки, хотевшего «дать фельдфебеля в Вольтеры»?

Самая проказа взяток уцелела в домогательстве денег нахрапом, с пристрастием и угрозами, под предлогом общих дел, в поползновении кормиться на счет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ.

Все это переработается и перемелется, но нельзя не сознаться,— странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизация в нашем «темном царстве»,— почву, в которой много-

обещающие всходы проросли, с одной стороны, поклонниками Муравьевых и Катковых, с другой — *дантистами* нигилизма и базаровской беспардонной вольницы.

Много дренажа требуют наши черноземы!

ГЛАВА IV

М. БАКУНИН И ПОЛЬСКОЕ ДЕЛО

В конце ноября мы получили от Бакунина следующее письмо:

«*15 октября 1861 г. С.-Франсиско.* Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско.

Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по *польско-славянскому* вопросу, который был моей idée fixe с 1846 и моей *практической специальностью* в 48 и 49 годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю — делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является *славная* вольная *славянская* федерация — единственный исход для России, Украйны, Польши и вообще для славянских народов...»

О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде.

К Новому году явилась и собственная пышная фигура Бакунина в наших объятиях.

В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз взошел новый элемент или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов, и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время «всеношных» споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов, и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революции, среди разгрома

и грозной обстановки[1]. Он и теперь, как в статьях Жюля Элизара, повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust»[2]. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейн в 1849, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости. Даже язык его напоминал лучшие статьи «Реформы» и «Vraie République», резкие речи de la Constituante[3] и клуба Бланки. Тогдашний дух партий, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции — все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят; они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания. Декабристы возвратились из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая их встретила. В то время как два поколенья французов несколько раз менялись, краснели и бледнели, поднимаемые приливами и уносимые назад отливами, Барбес и Бланки остались бессменными маяками, напоминавшими из-за тюремных решеток, из-за чужой дали прежние идеалы во всей чистоте.

«Польско-славянский вопрос... разрушение Австрийской империи... вольная славянская и *славная* федерация...» И все это сейчас, как только он приедет в Лондон... и пишется из С.-Франсиско,— одна нога в корабле!

Европейская реакция не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858 — они ему были известны вкратце, издалека, слегка. Он их *прочел* в Сибири так, как читал в Кайданове о Пунических войнах и о падении Римской империи. Как человек, возвратившийся после мора, он слышал, кто умер, и вздохнул об них обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 были возле, близки к сердцу, подробные и живые... разговоры с Косидьером, речи славян на Пражском съезде, споры с Араго или Руге — все это было для Бакунина вчера, звенело в ушах, мелькало перед глазами.

Впрочем, оно и, сверх тюрьмы, не мудрено.

Первые дни после февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речь на польской годовщине 29 ноября 1847, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними... и проповедовал... все проповедовал коммунизм, et l'égalité du salaire[4], нивe-

[1] О Бакунине в IV «Былого и дум», в главе «Сазонов».
[2] Страсть к разрушению есть страсть созидающая *(нем.).— Ред.*
[3] «Истинной республики»... Учредительного собрания *(франц.).— Ред.*
[4] равенство заработной платы *(франц.).— Ред.*

лирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революциею en permanence[1], войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший «порядок из беспорядка», Косидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его в самом деле к славянам с братской акколадой[2] и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. «Quel homme! Quel homme![3] — говорил Косидьер о Бакунине.— В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять»[4].

Когда я приехал в Париж из Рима, в начале мая 1848, Бакунин уже витийствовал в Богемии, окруженный староверческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витийствовал до тех пор, пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречья (и не воспользовался хорошим случаем, чтоб по сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены). Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов... советует им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet[5], чтоб осмелились стрелять по Рафаэлю.

Артиллерия ему вообще помогала. По дороге из Парижа в Прагу он наткнулся где-то в Германии на возмущение крестьян, они шумели и кричали перед замком, не умея ничего сделать. Бакунин вышел из повозки — и, не имея времени узнать в чем дело, построил крестьян и так ловко научил их, что, когда пошел садиться в повозку, чтоб продолжать путь,— замок пылал с четырех сторон.

Бакунин когда-нибудь переломит свою лень и сдержит обещание: он когда-нибудь расскажет длинный мартиролог, начавшийся для него после взятия Дрездена. Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король саксонский заменил топор вечной тюрьмой, потом, без всякого основания, передал его в Австрию. Австрийская полиция думала от него узнать что-нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Градчин и, ничего не добившись, отослали его в Ольмюц. Бакунина, скованного, везли

---

[1] непрерывную *(франц.).— Ред.*

[2] поцелуем *(от франц. accolade).— Ред.*

[3] Что за человек! Что за человек! *(франц.) — Ред.*

[4] «Скажите Косидьеру,— говорил я шутя его приятелям,— что тем-то Бакунин и отличается от него, что и Косидьер славный человек, но что его лучше бы расстрелять накануне революции». Впоследствии, в Лондоне в 1854 году, я ему помянул об этом. Префект в изгнании только ударял огромным кулаком своим в молодецкую грудь с той силой, с которой вбивают сваи в землю, и говорил: «Здесь ношу Бакунина... Здесь!»

[5] образованны в слишком классическом духе *(нем).— Ред.*

под сильным конвоем драгун; офицер, который сел с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.

— Это для чего же? — спросил Бакунин.— Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?

— Нет, но вас могут отбить ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае...

— Что же?

— Мне приказано посадить вам пулю в лоб.

И товарищи поскакали.

В Ольмюце Бакунина *приковали к стене* и в этом положении он пробыл *полгода*. Австрии наконец наскучило даром кормить чужого преступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи — об этом акте милосердия я слышал много раз; действительно, и цепи с него сняли, но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжелые. Офицер австрийский, сдавший арестанта, потребовал цепи как казенную к.-к.[1] собственность.

Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский равелин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку эту он «требовал не как царь, а как духовник». Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово «духовник»: в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать,— эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный leading article. Николай и этим был доволен. «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать назаперти», и *три целых года* после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском равелине. Содержание, должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишить себя жизни. В 1854 Бакунина перевели в Шлюссельбург. Николай боялся, что Чарльз Непир его освободит, но Чарльз Непир и С — nie освободили не Бакунина от равелина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милостей и великодуший, оставил Бакунина в крепости до 1857 года, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после девятилетнего заключения. Начальником края был там, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михайлы Бакунина и Михайлы Муравьева, и сам Муравьев, тогда еще не

[1] императорско-королевскую *(нем. kaiserliche-königliche).— Ред.*

Польское восстание 1863 года.

Акварель неизвестного художника.
1868 г.

Государственный литературный музей.

Амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и газеты и сам мечтал с ним... о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества.

В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию; государь сказал, что «при жизни его Бакунина из Сибири не переведут», но, чтоб и она не осталась без утешенья и царской милости, он разрешил ему *вступить в службу писцом*.

Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст императора, решился бежать; я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. Девяти лет каземата и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова? А что какой-нибудь Корсаков получил выговор... об этом не стоит и говорить. Жаль, что не два.

Бегство Бакунина замечательно пространствами, это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Хакодате другой американский капитан взялся его довезти до С.-Франсиско. Бакунин отправился к нему на корабль и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде; он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и, только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул.

Скрываться было поздно, опасно, смешно... он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву.

— Вы не с нашими ли возвращаетесь?— спросил консул.

— Я только что приехал,— отвечал Бакунин,— и хочу еще посмотреть край.

Вместе покушавши, они разошлись en bons amis[1]. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры... Кроме океана, опасности больше не было.

Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, то есть перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. С страстью проповедования, агитации... пожалуй, демагогии, с беспрерывными усилиями учреждать, устро-

[1] добрыми друзьями *(франц.).— Ред.*

ивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий...

Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества — крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни?

Говорят, будто И. Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине, но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина.

В Лондоне он, во-первых, стал *революционировать* «Колокол» и говорил в 1862 против нас почти то, что говорил в 1847 про Белинского. *Мало* было пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке — Иоанович, Данилович, Петрович, были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным *еско* на конце; наконец, был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий... бонапартовской, мерославской, чарторижской... демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком, социалисты-католики, анархисты-аристократы и просто солдаты, хотевшие гденибудь подраться, в Северной или Южной Америке... и преимущественно в Польше.

Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными,

он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Середь письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата... и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот,— все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой.

В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный bohème с rue de Bourgogne;[1] без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам готов отдать всякому последние деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил... он родился быть великим бродягой, великим бездомовником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что́ он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд Наполеону о боге: «Sire, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве!»

В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан[2].

Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи *родины*, то есть студентской жизни в Москве,— груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая... с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения.

Долго после отъезда Бакунина из Лондона — № 10 Paddington

---

[1] богема с Бургундской улицы *(франц.).— Ред.*

[2] Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали,— и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал: «Это, Олександр Иванович,— большая Лиза, как же на нее сердиться — дитя!»

green — рассказывали об его житье-бытье, писпровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его.

— Вчера,— говорит Бакунину один из его друзей,— приехал такой-то из России, прекраснейший человек, бывший офицер...

— Я слыхал об нем, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непременно, да что привести! Где он? Сейчас!

— Он, кажется, несколько конституционалист.

— Может быть, но...

— Но я знаю, рыцарски отважный и благородный человек.

— И верный?

— Его очень уважают в Orsett House'e.

— Идем.

— Куда же? Ведь он хотел к вам прийти,— мы так сговорились; я его приведу.

Бакунин бросается писать, пишет, кой-что перемарывает, переписывает и надписывает в Яссы, запечатывает пакет и в беспокойстве ожидания начинает ходить по комнате ступней, от которой и весь дом № 10 Paddington green ходит ходнем с ним вместе.

Является офицер — скромно и тихо. Бакунин le met à l'aise[1], говорит, как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает:

— Вы, наверно, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?

— Без сомнения...

— Вас здесь ничего не удерживает?

— Ничего — я только что приехал... я...

— Можете вы ехать завтра, послезавтра с этим письмом в Яссы?

Этого не случалось с офицером ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира, однако, привыкнувший к военному послушанию, он, помолчавши, говорит не совсем своим голосом:

— О да!

— Я так и знал. Вот письмо, совсем готовое.

— Да я хоть сейчас... только...— офицер конфузится,— я никак не рассчитывал на эту поездку.

— Что, денег нет? Ну, так и говорите. Это ничего не значит. Я возьму для вас у Герцена — вы ему потом отдадите. Что тут... всего... всего какие-нибудь двадцать liv. Я сейчас напишу ему.

---

[1] усаживает его поудобнее *(франц.).— Ред.*

В Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек...

Пораженный, удивленный офицер и его сопутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. Маленькая девочка, бывшая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад en losange[1], чтоб чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

— Скажите высокому gentleman'у, что я лично с ним переговорю.

Действительно, переписка оказывается излишней: к обеду, то есть через час, является Бакунин.

— Зачем двадцать фунтов для **?

— Не для него, для *дела*... а что, брат, ** — прекраснейший человек!

— Я его знаю несколько лет — он бывал прежде в Лондоне.

— Это такой случай... пропустить его грешно, я его посылаю в Яссы. Да потом он осмотрит Кавказ.

— В Яссы?.. И оттуда на Кавказ?

— Ты пойдешь сейчас острить. Каламбурами ничего не докажешь...

— Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах.

— Ты почем знаешь?

— Знаю потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было, ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность,— ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка, зачем?

— Какой любопытный. Ты в эти дела со мной не входишь, какое же ты имеешь право спрашивать?

— Это правда; я даже думаю, что этот секрет ты скроешь ото всех... ну, а только денег давать на гонцов в Яссы и Букарест я нисколько не намерен.

— Ведь он отдаст, у него деньги будут.

— Так пусть умнее употребит их — полно, полно, письмо пошлешь с каким-нибудь Петрейско-Манон-Лескo — а теперь пойдем есть.

И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: «Теперь настала счастливая минута», и закуривал папироску.

---

[1] в ромбиках *(франц.).— Ред.*

Бакунин принимал всех, всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж два-три славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате; он тяжело вставал, обливался водой и в ту же минуту принимался их поучать; никогда не скучал он, не тяготился ими; он мог не уставая говорить со свежей головой с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда пресмешные вещи.

Бакунин вставал поздно: нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.

— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.

— Русский.

— Ваша фамилия?

— Такой-то.

— Очень рад.

— Что вы это так поздно встаете — а еще демократ...

...Молчание... слышен плеск воды... каскады.

— Михаил Александрович!

— Что?

— Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?

— Да.

— Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности; вот и Тургенев свою дочь прочит замуж,— вы, старики, должны нас учить... примером...

— Что вы за вздор несете...

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вам что за дело?

— У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата[1].

— Что вы это — допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!

— Ну, вот вы и рассердились — а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.

— Хорошо, хорошо,— только будьте умнее.

...Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондоне Потебня. Грустный, чистый, беззаветно отдавшийся урагану,— он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и — все-таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки из края — их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву — прямо и сознательно.

---

[1] Бакунин ничего не взял за невестой.

Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потебню и его товарищей,— говорил я Бакунину,— и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками...

— По дороге, по дороге! — возражал Бакунин.— Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать, как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.

Бакунин помолодел — он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады, он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспираций, консультаций, неспаных ночей, переговоров, договоров, ректификаций[1] шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями *елки*, у меня на сердце скреблись кошки — я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел.

Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость — с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так; с другой,— готовность поступать совсем иначе. Эта шаткость, эта неспетость, dieses Zögernde[2] наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной; я делал промахи à contrecœur[3] — вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость движенья и его бессилие, народное равнодушие, осверепелость реакции и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь над людьми, которые шли.

Сколькими несчастиями было бы меньше в моей жизни... сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя... Меня упрекали в увлекающемся характере... Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобовпечатлительности, я тотчас останавливался — мысль, рефлекция и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи, почему я давал себя вести nolens-volens...[4] Причиной быстрой сговорчивости был

---

[1] исправлений *(от франц. rectification).— Ред.*
[2] эта нерешительность *(нем.).— Ред.*
[3] поневоле *(франц.).— Ред.*
[4] волей-неволей *(лат.).— Ред.*

ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения — любви, дружбы, снисхождения... но почему же все это побеждало логику?..

...После похорон Ворцеля — 5 февраля 1857, когда все провожавшие разбрелись по домам и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос: не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющим началом при беспрерывно возникавших недоразумениях, исчезла, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими — но вообще одинакого пониманья между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, *добросовестно* неоткровенны, мы делали друг другу уступки, то есть ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы.

Договориться до одинакого пониманья было невозможно. Мы шли с разных точек — и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью. Идеал поляков был *за ними:* они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У них была бездна мощей, а у нас — пустые колыбели. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаянья, сколько яркой веры.

Они ищут воскресения мертвых — мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышления, упованья не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то mésalliance'ом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины,— мы сознавали свою косвенную вину, мы любили их отвагу и уважали их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить? Что уважать? Они переламывали себя — сближаясь с нами, они делали для нескольких русских почетное исключение.

В острожной темноте николаевского царствования, сидя назаперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После Крымской кампании мы радостно вздохнули, а их наша радость оскорбила: новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований, мы рвались вперед, готовые все ломать... у них — с панихид и упокойных молитв.

Но правительство второй раз нас спаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятьям и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам замолкли все вопросы, стерлись все разницы...

Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков.

Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово; в Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный четырьмястами изгнанников, к которому присылались подписи отовсюду,— даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже — и рознь, резкая рознь бросалась в глаза.

...Раз у меня сидели Ксаверий Браницкий, Хоецкий и еще кто-то из поляков — все они были проездом в Лондоне и заехали пожать мне руку за статьи. Зашла речь о выстреле в Константина.

— Выстрел этот,— сказал я,— страшно повредит вам. Может, правительство и уступило бы кое-что, теперь оно ничего не уступит и сделается вдвое свирепее.

— Да мы только этого и хотим! — заметил с жаром Ш.-Э.— Для нас нет хуже несчастья, как уступки... мы хотим разрыва... открытой борьбы!

— Желаю от души, чтоб вы не раскаялись.

Ш.-Э. иронически улыбнулся, и никто не прибавил ни слова. Это было летом 1861. А через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь *через Петербург* в Польшу.

Кости были брошены!..

Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы — да *верило и само правительство* — как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм.

Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами — а желанием. Он *хотел* верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украйна восстанут, как один человек, услышав о Варшаве; он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтоб узаконить раскол.

В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому принадлежал Потебня, росло и крепло,— в этом сомнения не могло быть — но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин...

Как-то, в конце сентября, пришел ко мне Бакунин, особенно озабоченный и несколько торжественный.

— Варшавский Центральный комитет,— сказал он,— прислал двух членов, чтоб переговорить с нами. Одного из них ты знаешь —

это Падлевский, другой — Гиллер, закаленный боец, он из Польши прогулялся в кандалах до рудников и, только что возвратился, снова припялся за дело. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня — надобно *окончательно определить наши отношения*.

Тогда набирался мой ответ офицерам[1].

— Моя программа готова; я им прочту мое письмо.

— Я согласен с твоим письмом — ты это знаешь... но не знаю, все ли понравится им; во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало.

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух. Я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или с адвокатами, трепещущими, чтоб их клиент не проврался бы и не испортил бы всей *игры защиты* — хорошо налаженной, если не по всей правде, то к успешному концу.

Я видел по лицам, что Бакунин угадал и — что чтение не то чтоб особенно понравилось.

— Прежде всего,— заметил Гиллер,— мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета.

Читал Милович; документ этот, известный читателям «Колокола», *был написан по-русски*, не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил — *это неправда*. Все трое говорили хорошо по-русски.

Смысл акта состоял в том, чтоб через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий «*признание* ⟨*права*⟩ *крестьян на землю, обработываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой*». Это заявление, говорил Милович, обязывало меня смягчить вопросительную и «сомневающуюся» форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им, с своей стороны, посильнее оттенить и яснее высказать мысль об самозаконности провинций; они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было *одинаково*.

На другой день утром Бакунин уже сидел у меня. Он был недоволен мной, находил, что я слишком холоден, как будто не доверяю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не делали таких уступок. Они выражаются другими словами, принятыми у них, как катехизис; нельзя же им, подымая национальное знамя, на первом шаге оскорбить раздражительное народное чувство...

---

[1] «Колокол», 1862.

— Мне все кажется, что им до крестьянской земли, в сущности, мало дела, а до провинций слишком много.

— Любезный друг, у тебя в руках будет документ, поправленный тобой, подписанный при всех нас, чего же тебе еще?

— Есть-таки кое-что.

— Как для тебя труден каждый шаг — ты вовсе не практический человек.

— Это уже прежде тебя говорил Сазонов.

Бакунин махнул рукой и пошел в комнату к Огареву. Я печально смотрел ему вслед; я видел, что он запил свой революционный запой и что с ним не столкуешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколенья — за восстанием в Варшаве он уже видел свою «славную и славянскую» федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением... он уже видел красное знамя «Земли и воли» развевающимся на Урале и Волге, на Украйне и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости,— и *торопился* сгладить *как-нибудь* затруднения, затушевать противуречия, не выполнить овраги — а бросить через них *чертов мост*.

— Ты точно дипломат на Венском конгрессе,— повторял мне с досадой Бакунин, когда мы потом толковали у него с представителями жонда,— придираешься к словам и выражениям. Это не журнальная статья, не литература.

— С моей стороны,— заметил Гиллер,— я из-за слов спорить не стану, меняйте как хотите, лишь бы главный смысл остался тот же.

— Браво, Гиллер!— радостно воскликнул Бакунин.

«*Ну, этот*,— подумал я,— *приехал подкованный и по-летнему и на шипы*, он ничего не уступит на деле и оттого так легко уступает все на словах».

Акт поправили, члены жонда подписались; я его послал в типографию.

Гиллер и его товарищи были убеждены, что мы представляли заграничное средоточие целой организации, зависящей от нас, и которая по нашему приказу примкнет к ним или нет. Для них действительно дело было *не в словах* и не в теоретическом согласии; свое profession de foi они всегда могли оттенить толкованиями — так, что его яркие цвета пропали бы, полиняли и изменились.

Что в России клались первые ячейки *организации* — в этом не было сомнения — первые волокны, нити были заметны простому глазу, из этих нитей, узлов *могла* образоваться при тишине и времени обширная ткань — все это так, *но ее не было*, и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины.

Вот это-то я и сказал, отправив печатать письмо Комитета,

Гиллеру и его товарищам, говоря им о несвоевременности их восстания. Падлевский слишком хорошо знал Петербург, чтоб удивиться моим словам, хотя и *уверял меня*, что сила и разветвления общества «Земли и воли» идут гораздо дальше, чем мы думаем,— но Гиллер призадумался.

— Вы думали,— сказал я ему, улыбаясь,— что мы сильнее... Да, Гиллер, вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, то есть она может сейчас улетучиться; мы сильны *сочувствием* к нам, унисоном с своими. Организации, которой бы мы сказали: «Иди направо или налево»,— *нет*.

— Да, любезный друг... однако же...— начал Бакунин, ходивший в волнении по комнате.

— Что же, разве *есть?*— спросил я его и остановился.

— Ну, это как ты хочешь назвать—конечно, если взять внешнюю форму... это совсем не в русском характере... Да видишь...

— Позволь же мне кончить — я хочу пояснить Гиллеру, почему я так настаивал на слова. Если в России на вашем знамени не увидят *надел земли и волю провинциям* — то наше сочувствие *вам не принесет никакой пользы — а нас погубит...* потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца, у нас оно, может, бьется посильнее и потому ушло секундой вперед, чем у друзей наших, но они связаны с нами сочувствием, а не службой!

— Вы будете нами довольны,— говорили Гиллер и Падлевский.

Через день двое из них отправились в Варшаву — третий уехал в Париж.

Наступило затишье перед грозой. Время томное, тяжелое, в которое все казалось, что туча пройдет, а она все приближалась — тут явился указ о «подтасованном» наборе — это была последняя капля; люди, еще останавливавшиеся перед решительным и невозвратным шагом, рвались на бой. Теперь и *белые* стали переходить на сторону движенья.

Приехал опять Падлевский. Подождали дни два. Набор не отменялся. Падлевский уехал в Польшу.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского, о которой тогда никто не думал). Мельком явился Потебня и исчез вслед за Бакуниным.

Вслед за Потебней приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от «Земли и воли». Он с негодованием рассказывал, как поляки, пригласившие его в Варшаву, ничего не сделали. Он был первый русский, видевший начало восстания. Он рассказал об убийстве солдат, о раненом офицере, который был членом обще-

ства. Солдаты думали, что это предательство, и начали с ожесточеньем бить поляков. Падлевский — главный начальник в Ковно— рвал волосы... но боялся явно выступить против своих.

Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться *агентами* общества «Земли и воли». Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина, но и Огарева... Я сказал, что мне не нравится это битое французское название. Уполномоченный трактовал нас так, как комиссары Конвента 1793 трактовали генералов в дальних армиях. Мне и это не понравилось.

— А много вас?— спросил я.

— Это трудно сказать... несколько сот человек в Петербурге и *тысячи три* в провинциях.

— Ты веришь? — спросил я потом Огарева.

Он промолчал.

— Ты веришь? — спросил я Бакунина.

— Конечно, *он* прибавил... ну, *нет теперь столько, так будут потом!* — и он расхохотался.

— Это другое дело.

— В том-то все и состоит, чтоб поддержать слабые начинания; если б они были крепки, они и не нуждались бы в нас...— заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

— Они так и должны бы были явиться перед нами,—откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость...— прибавил Бакунин и уехал в Швецию.

А вслед за ним уехал и Потебня. Удручительно горестно я простился с ним — я ни одной секунды не сомневался, что он прямо идет на гибель.

...За несколько дней до отъезда Бакунина пришел Мартьянов, бледнее обыкновенного, печальнее обыкновенного; он сел в углу и молчал. Он страдал по России и носился с мыслью о возвращении домой. Шел спор о восстании. Мартьянов слушал молча, потом встал, собрался идти и вдруг, остановившись передо мной, мрачно сказал мне:

— Вы не сердитесь на меня, Олександр Иванович, так ли, иначе ли, а «Колокол»-то вы порешили. Что вам за дело мешаться в польские дела... Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское— не ваше. Не пожалели вы нас, бог с вами, Олександр Иванович. Попомните, что я говорил,— я-то сам не увижу,— я ворочусь домой. Здесь мне нечего делать.

— Ни вы не поедете в Россию, ни «Колокол» не погиб,— ответил я ему.

Он молча ушел, оставляя меня под тяжелым гнетом второго пророчества и какого-то темного сознания, что что-то ошибочное сделано.

Мартьянов как сказал, так и сделал, он воротился весной 1863 и пошел умирать на каторгу, сосланный своим «земским царем» за любовь к России, за веру в него.

К концу 1863 года расход «Колокола» с 2500, 2000 сошел на 500 и ни разу не подымался далее 1000 экземпляров.

Шарлотта Корде из Орла и Даниил из крестьян *были правы!*

(Писано в конце 1865 в Montreux и Лозанне.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

⟨ОБРАЩЕНИЯ К КОМИТЕТУ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ⟩

Друзья,

С глубокой любовью и глубокой печалью провожаем мы к вам вашего товарища; только тайная надежда, что *это* восстание будет отложено, сколько-нибудь успокаивает и за вашу участь, и за судьбу *всего дела.*

Мы понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию, какое бы оно ни было; вы искупите собой грех русского императорства; да сверх того, оставить Польшу на побиение без всякого протеста со стороны русского войска также имело бы свою вредную сторону безмолвно-покорного, безнравственного участия Руси в петербургском палачестве.

Тем не менее ваше положение трагично и безвыходно. Шанса на успех мы никакого не видим. Даже если б Варшава на один месяц была свободна, то оказалось бы только, что вы заплатили долг своим участием в движении *национальной независимости*, но что воздвигнуть русского социального знамени *Земли и воли* — Польше не дано, а вы слишком малочисленны.

При теперешнем преждевременном восстании Польша, очевидно, погибнет, а русское дело надолго потонет в чувстве народной ненависти, идущей в связь с преданностью царю, и воскреснет только после, долго после, когда ваш подвиг перейдет в такое же преданье, как 14 декабря, и взволнует умы поколения, теперь еще не зачатого.

Вывод отсюда ясен: отклоните восстание до лучшего времени *соединения сил*, отклоните его всем вашим влиянием на польский комитет и влиянием на само правительство, которое со страха еще

может отложить несчастный набор, отклоните всеми средствами, от вас зависящими.

Если ваши усилия останутся бесплодными, тут больше делать нечего, как покориться судьбе и принять неизбежное мученичество, хотя бы его последствием был застой России на десятки лет. По крайней мере, сберегите по возможности людей и силы, чтоб из несчастного проигранного боя оставались элементы для будущей отдаленной победы.

Если же вы успеете и восстание будет отложено, тогда вы должны начертить себе твердую линию поведения и не уклоняться от нее.

Тогда вам надо иметь одно в виду — делать общее русское дело, а не исключительно польское. Составить целую неразрывную цепь тайного союза во всех войсках во имя *Земли и воли* и Земского собора, как сказано в вашем письме к русским офицерам. Для этого надо, чтоб русский офицерский комитет стал самобытно; поэтому центр его должен быть вне Польши. Вы должны вне себя организовать центр, которому сами подчинитесь; тогда вы будете командовать положением и поведете стройно организацию, которая придет к восстанию не во имя исключительно польской национальности, а во имя *Земли и воли*, и которая придет к восстанию не вследствие минутных потребностей и тогда, когда все силы рассчитаны и успех несомнителен.

Для нас этот план так ясен, что вы не можете не сознавать того, что надо делать.

Добейтесь его, каких бы трудов оно ни стоило.

Н. Огарев.

Друзья и братья.— Строки, писанные другом нашим, Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннею и бесконечною преданностью к великому делу нашего народного да общеславянского освобождения. Нельзя не согласиться с ним, что общему мерному ходу славянского, и в особенности русского, поступательного движения преждевременное и частное восстание Польши грозит перерывом. Признаться надо, что, при настоящем настроении России и целой Европы, надежд на успех такого восстания слишком мало — и что поражение партии движения в Польше будет иметь непременным последствием временное торжество царского деспотизма в России.— Но, с другой стороны, положение поляков до того невыносимо, что вряд ли у них станет надолго терпения. Само правительство гнусными мерами систематического и жестокого притеснения вызывает их, кажется, на восстание, отло-

жить которое было бы по этому самому столько же нужно для Польши, как и необходимо для России.— Отложение его до более дальнего срока было бы, без всякого сомнения, и для них и для нас спасительно. К этому вы должны устремить все усилия свои, не оскорбляя, однако, ни их священного права, ни их национального достоинства. Уговаривайте их сколько можете и доколь обстоятельства позволяют, но вместе с тем не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми к решительной минуте,— и когда выведенные из последней меры и возможности терпения наши несчастные польские братья встанут, встаньте и вы не против них, а за них,— встаньте во имя русской чести, во имя славянского долга, во имя русского народного дела с кликом: «Земля и воля».— И если вам суждено погибнуть, сама погибель ваша послужит общему делу. А бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш, в противность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом?..

Что ж до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь.— Прощайте и, может быть, до скорого свидания.

М. Бакунин.

ГЛАВА V

ПАРОХОД «WARD JACKSON» R. WEATHERLEY & C°

I

Вот что случилось месяца за два до польского восстания. Один поляк, приезжавший ненадолго из Парижа в Лондон, Иосиф Сверцекевич,— по приезде в Париж,— был схвачен и арестован вместе с Хмелинским и Миловичем, о котором я упомянул при свидании с членами жонда.

Во всей арестации было много странного. Хмелинский приехал в десятом часу вечера; он никого не знал в Париже и прямо отправился на квартиру Миловича. Около одиннадцати явилась полиция.

— Ваш пасс,— спросил комиссар Хмелинского.

— Вот он,— и Хмелинский подал исправно визированный пасс на другое имя.

— Так, так — сказал комиссар,— я знал, что вы под этим именем. Теперь вашу портфель,— спросил он Сверцекевича.

Она лежала на столе. Он вынул бумаги, посмотрел и, передавая своему товарищу небольшое письмо с надписью Е. А., прибавил:

— Вот оно!

Всех трех арестовали, забрали у них бумаги, потом выпустили, дольше других задержали Хмелинского — для полицейского изящества им хотелось, чтобы он назвался своим именем. Он им не сделал этого удовольствия — выпустили и его через неделю.

Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс, прокурор в числе обвинительных документов представил бумаги, присланные из русской полиции и принадлежавшие Сверцекевичу. На возникший вопрос, каким образом бумаги эти очутились в России, прокурор спокойно объяснил, что, когда Сверцекевич был под арестом, некоторые из его бумаг были сообщены французской полицией русскому посольству.

Выпущенным полякам велено было оставить Францию — они поехали в Лондон. В Лондоне он сам рассказывал мне подробности ареста и, по справедливости, всего больше дивился тому, что комиссар знал, что у него есть письмо с надписью Е. А.— Письмо это из рук в руки ему дал Маццини и просил его вручить Этьенну Араго.

— Говорили ли вы кому-нибудь о письме?— спросил я.

— Никому, решительно никому,-- отвечал Сверцекевич.

— Это какое-то колдовство — не может же пасть подозрение ни на вас, ни на Маццини. Подумайте-ка хорошенько.

Сверцекевич подумал.

— Одно знаю я,— заметил он,— что я выходил на короткое время со двора и, помнится, портфель оставил в незапертом ящике.

— Clew! Clew![1] Теперь позвольте, где вы жили?

— Там-то, в furnished apartements[2].

— Хозяин англичанин?

— Нет, поляк.

— Еще лучше. А имя его?

— Тур — он занимается агрономией.

— И многим другим, коли отдает меблированные квартиры. Тура этого я немного знаю. Слыхали вы когда-нибудь историю о некоем Михаловском?

— Так, мельком.

— Ну, я вам расскажу ее. Осенью пятьдесят седьмого года я получил через Брюссель письмо из Петербурга. Незнакомая особа извещала меня со всеми подробностями о том, что один из сидельцев у Трюбнера, Михаловский, предложил свои услуги III Отделению шпионить за нами, требуя за труд двести фунтов, что в доказательство того, что он достоин и способен, он представлял список лиц, бывших у нас в последнее время, и обещал доставить образ-

---

[1] Ключ! Ключ! *(англ.)* — *Ред.*

[2] в меблированных комнатах *(англ.)*.— *Ред.*

чики рукописей из типографии. Прежде чем я хорошенько обдумал, что делать, я получил *второе письмо* того же содержания через дом Ротшильда.

В истине сведения я не имел ни малейшего сомнения. Михаловский, поляк из Галиции, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говоривший на четырех языках, имел все права на звание шпиона и ждал только случая pour se faire valoir[1].

Я решился ехать с Огаревым к Трюбнеру и уличить его, сбить на словах и во всяком случае прогнать от Трюбнера. Для большей торжественности я пригласил с собой Пианчиани и двух поляков. Он был нагл, гадок, запирался, говорил, что шпион — Наполеон Шестаковский, *который жил с ним* на одной квартире... Вполовину я готов был ему верить, то есть что и приятель его шпион. Трюбнеру я сказал, что я требую немедленной высылки его из книжной лавки... Негодяй путался, был гадок и противен и не имел ничего серьезного привести в свое оправдание.

— Это все зависть,— говорил он,— у кого из наших заведется хорошее пальто, сейчас другие кричат: «Шпион!»

— Отчего же,— спросил его Зено Свентославский,— у тебя никогда не было хорошего пальто, а тебя всегда считали шпионом?

Все захохотали.

— Да обидьтесь же наконец,— сказал Чернецкий.

— Не первый,— сказал философ,— имею дело с такими безумными.

— Привыкли,— заметил Чернецкий.

Мошенник вышел вон.

Все порядочные поляки оставили его, за исключением совсем спившихся игроков и совсем проигравшихся пьяниц. С этим Михаловским в дружеских отношениях остался один человек, и этот человек — ваш хозяин Тур.

— Да, это подозрительно. Я сейчас...

— Что сейчас?.. Дело теперь не поправите, а имейте этого человека в виду. Какие у вас доказательства?

Вскоре после этого Сверцекевич был назначен жондом в свои дипломатические агенты в Лондон. Приезд в Париж ему был позволен — в это время Наполеон чувствовал то пламенное участие к судьбам Польши, которое ей стоило целое поколение и, может, всего будущего.

Бакунин был уже в Швеции — знакомясь со всеми, открывая пути в «Землю и волю» через Финляндию, слаживая посылку «Колокола» и книг и видаясь с представителями всех польских партий. Принятый министрами и братом короля — он всех уверил в

---

[1] выдвинуться *(франц.).— Ред.*

неминуемом восстании крестьян и в сильном волнении умов в России. Уверил тем больше, что сам *искренно верил*, если не в таких размерах, то верил в растущую силу. Об экспедиции Лапинского тогда никто не думал. Цель Бакунина состояла в том, чтоб, устроивши все в Швеции, пробраться в Польшу и Литву и стать во главе крестьян.

Сверцекевич возвратился из Парижа с Домантовичем. В Париже они и их друзья придумали снарядить экспедицию на балтийские берега. Они искали парохода, искали дельного начальника и за тем приехали в Лондон. Вот как шла *тайная* негоциация дела.

...Как-то получаю я записочку от Сверцекевича — он просил меня зайти к нему на минуту, говорил, что очень нужно и что сам он распростудился и лежит в злой мигрени. Я пошел. Действительно, застал больным и в постели. В другой комнате сидел Тхоржевский. Зная, что Сверцекевич писал ко мне и что у него есть дело, Тхоржевский хотел выйти, но Сверцекевич остановил его, и я очень рад, что есть живой свидетель нашего разговора.

Сверцекевич просил меня, оставя все личные отношения и консидерации[1], сказать ему по чистой совести и, само собой разумеется, в глубочайшей тайне об одном польском эмигранте, рекомендованном ему Маццини и Бакуниным, но к которому он полной веры не имеет.

— Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дело идет первой важности, жду от вас истины, всей истины...

— Вы говорите о Булевском?— спросил я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовал, что могу повредить человеку, о котором все-таки не знаю ничего особенно дурного, и, с другой стороны, понимал, какой вред принесу общему делу, споря против совершенно верной антипатии Сверцекевича.

— Извольте, я вам скажу откровенно и все. Что касается до рекомендации Маццини и Бакунина, я ее совершенно отвожу. Вы знаете, как я люблю Маццини; но он так привык из всякого дерева рубить и из всякой глины лепить агентов и так умеет их в итальянском деле ловко держать в руках, что на его мнение трудно положиться. К тому же, употребляя все, что попалось, Маццини знает, *до какой степени* и что поручить. Рекомендация Бакунина еще хуже: это большой ребенок, «большая Лиза», как его называл Мартьянов, которому все нравятся. «Ловец человеков», он так радуется, когда ему попадется «красный» да притом славянин, что он далее не идет. Вы помянули о моих личных отношениях к Булевскому; следует же сказать и об этом. Л. Зенкович и Булевский хо-

[1] соображения *(от франц. considération).— Ред.*

тели меня эксплуатировать, инициатива дела принадлежала не ему, а Зенковичу. Им не удалось, они рассердились, и я все это давно бы забыл, но они стали между Ворцелем и мной, — и этого я им не прощаю. Ворцеля я очень любил, но, слабый здоровьем, он подчинился им и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, он шептал мне на ухо: «Да, вы были правы» (но свидетелей не было, а на мертвых ссылаться легко). Затем вот вам мое мнение: перебирая все, я не нахожу *ни одного поступка, ни одного слуха даже*, который бы заставлял подозревать политическую честность Булевского; но я бы не замешал его ни в какую серьезную тайну. В моих глазах он избалованный фразер, безмерно высокомерный и желающий во что бы то ни было играть роль; если же она ему не выпадет, он все сделает, чтоб испортить пьесу.

Сверцекевич привстал. Он был бледен и озабочен.

— Да, вы у меня сняли камень с груди... *если не поздно* теперь... я все сделаю.

Взволнованный Сверцекевич стал ходить по комнате. Я ушел вскоре с Тхоржевским.

— Слышали вы весь разговор?— спросил я у него, идучи.

— Слышал.

— Я очень рад; не забывайте его — может, придет время, когда я сошлюсь на вас... А знаете что, мне кажется, он ему *все сказал* да потом и догадался проверить свою антипатию.

— Без всякого сомнения.— И мы чуть не расхохотались, несмотря на то что на душе было вовсе не смешно.

1-е нравоучение

...Недели через две Сверцекевич вступил в переговоры с Blackwood — компанией пароходства — о найме парохода для экспедиции на Балтику.

— Зачем же,— спрашивали мы,— вы адресовались именно к той компании, которая десятки лет исполняет все комиссии по части судоходства для петербургского адмиралтейства?

— Это мне самому не так нравится, но компания так хорошо знает Балтийское море — к тому же она слишком заинтересована, чтоб выдать нас, да и это не в английских нравах.

— Все так — да как вам в голову пришло обратиться именно к ней?

— Это сделал наш комиссионер.

— То есть?

— Тур.

— Как, тот Тур?

— О, насчет его можно быть покойным. Его самым лучшим образом нам рекомендовал Булевский.

У меня на минуту вся кровь бросилась в голову. Я смешался от чувства негодования, бешенства, оскорбленья, да, да, личного оскорбленья... А делегат Речи Посполитой, ничего не замечавший, продолжал:

— Он превосходно знает по-английски — и язык и законодательство.

— В этом я не сомневаюсь, Тур как-то сидел в тюрьме в Лондоне за какие-то не совсем ясные дела и употреблялся присяжным переводчиком в суде.

— Как так?

— Вы спросите у Булевского или у Михаловского. Вы не знакомы с ним?

— Нет.

— Каков Тур — занимался земледельем, а теперь занимается вододельем...

Но общее внимание обратил на себя взошедший начальник экспедиции полковник Лапинский.

II

LAPINSKI-COLONEL. POLLES-AIDE DE CAMP[1]

В начале 1863 года я получил письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстом «Sinite venire parvulos»[2]. В самых изысканно льстивых, стелющихся выражениях просил у меня parvulus[3], называвшийся Polles, позволенья приехать ко мне. Письмо мне очень не понравилось. Он сам — еще меньше. Низкопоклонный, тихий, вкрадчивый, бритый, напомаженный, он мне рассказал, что был в Петербурге в театральной школе и получил какой-то пансион, прикидывался сильно поляком и, просидевши четверть часа, сообщил мне, что он из Франции, что в Париже тоска и что там узел всем бедам, а узел узлов — Наполеон.

— Знаете ли, что мне приходило часто в голову, и я больше и больше убеждаюсь в верности этой мысли,— надобно решиться и убить Наполеона.

— За чем же дело стало?

---

[1] Лапинский-полковник. Поллес-адъютант *(франц.).— Ред.*

[2] Позвольте детям приходить *(лат.).— Ред.*

[3] дитя *(лат.).— Ред.*

— Да вы как об этом думаете? — спросил parvulus, несколько смутившись.

— Я никак. Ведь это вы думаете...

И тотчас рассказал ему историю, которую я всегда употребляю в случаях кровавых бредней и совещаниях о них.

— Вы, верно, знаете, что Карла V водил в Риме по Пантеону паж. Пришедши домой, он сказал отцу, что ему приходила в голову мысль столкнуть императора с верхней галереи вниз. Отец взбесился. «Вот... (тут я варьирую крепкое слово, соображаясь с характером цареубийцы in spe...[1] *негодяй*, *мошенник*, *дурак*...) такой ты, сякой! Как могут такие преступные мысли приходить в голову... и если могут — то их иногда *исполняют*, но никогда об этом *не говорят*...»[2]

Когда Поллес ушел, я решился его не пускать больше. Через неделю он встретился со мной близ моего дома, говорил, что два раза был и не застал, потолковал какой-то вздор и прибавил:

— Я, между прочим, заходил к вам, чтоб сообщить, какое я сделал изобретение, чтоб по почте сообщить что-нибудь тайное, например в Россию. Вам, верно, случается часто необходимость что-нибудь сообщать?

— Совсем напротив, никогда. Я вообще ни к кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте,— вспомните, когда вам или Огареву захочется послушать кой-какой музыки — я и мой виолончель к вашим услугам.

— Очень благодарен.

И я потерял его из вида, с полной уверенностью, что это шпион — русский ли, французский ли, я не знал, может интернациональный, как «Nord» — журнал международный.

В польском обществе он нигде не являлся — и его никто не знал.

После долгих исканий Домантович и парижские друзья его остановились на полковнике Лапинском как на способнейшем военном начальнике экспедиции. Он был долго на Кавказе со стороны черкесов и так хорошо знал войну в горах, что о море и говорить было нечего. Дурным выбора назвать нельзя.

Лапинский был в полном слове кондотьер. Твердых политических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к

---

[1] в будущем *(лат.).— Ред.*

[2] Я к вам пришел спросить совета,— сказал мне один юный грузин, похожий на молодого тигра... снаружи.— Я хочу поколотить Скарятина... — Вы, верно, знаете, что Карла V...— Знаю, знаю! Бога ради, не рассказывайте! — и тигр с млеком в жилах ушел.

галицийской шляхте, по воспитанию — к австрийской армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе.

— Какой случай раз был со мной на Кавказе,— рассказывал Лапинский.— Русский майор, поселившийся с целой усадьбой своей недалеко от нас, не знаю, как и за что, захватил наших людей. Узнаю я об этом и говорю своим: «Что же это? Стыд и страм — вас, как баб, крадут! Ступайте в усадьбу и берите что попало и тащите сюда». Горцы, знаете,— им не нужно много толковать. На другой или третий день привели мне всю семью: и слуг, и жену, и детей, самого майора дома не было. Я послал повестить, что если наших людей отпустят да такой-то выкуп, то мы сейчас доставим пленных. Разумеется — наших прислали, рассчитались — и мы отпустили московских гостей. На другой день приходит ко мне черкес. «Вот, говорит, что случилось; мы, говорит, вчера, как отпускали русских, забыли мальчика лет четырех: он спал... так и забыли... Как же быть?» — Ах вы, собаки... не умеете ничего сделать в порядке. Где ребенок? — «У меня; кричал, кричал, ну, я сжалился и взял его».— Видно, тебе аллах счастье послал, мешать не хочу... Дай туда знать, что они ребенка забыли — а ты его нашел — ну, и спрашивай выкупа.— У моего черкеса так и глаза разгорелись. Разумеется, мать, отец в тревоге — дали все, что хотел черкес... Пресмешной случай.

— Очень.

Вот черта к характеристике будущего героя в Самогитии.

Перед своим отправлением Лапинский заехал ко мне. Он взошел не один и, несколько озадаченный выражением моего лица, поспешил сказать:

— Позвольте вам представить моего адъютанта.

— Я уже имел удовольствие с ним встречаться.

Это был *Поллес*.

— Вы его хорошо знаете? — спросил Огарев у Лапинского наедине.

— Я его встретил в том же Boarding House'е, где теперь живу, он, кажется, славный малый и расторопный.

— Да вы уверены ли в нем?

— Конечно. К тому же он отлично играет на виолончели и будет нас тешить во время плаванья...

Он, говорят, тешил полковника и кой-чем другим.

Мы впоследствии сказали Домантовичу, что для нас *Поллес* очень подозрительное лицо.

Домантович заметил:

— Да я *им обоим* не очень верю, но шалить они не будут.

И он вынул револьвер из кармана.

Приготовления шли тихо... Слух об экспедиции все больше и больше распространялся. Компания дала сначала пароход, оказавшийся негодным по осмотру хорошего моряка, графа Сапеги. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово и часть Лондона знала обо всем, случилось следующее. Сверцекевич и Домантович повестили всех участников экспедиции, чтоб они собирались к *десяти* часам на такой-то амбаркадер[1] железной дороги, чтоб ехать до Гулля в особом train, который давала им компания. И вот к десяти часам стали собираться будущие воины — в их числе были итальянцы и несколько французов; бедные отважные люди... люди, которым надоела их доля в бездомном скитании, и люди, истинно любившие Польшу. И 10 и 11 часов проходят, но train'а нет как нет. По домам, из которых таинственно вышли наши герои, мало-помалу стали распространяться слухи о дальнем пути... и часов в 12 к будущим бойцам в сенях амбаркадера присоединилась стая женщин, неутешных Дидон, оставляемых свирепыми поклонниками, и свирепых хозяек домов, которым они не заплатили, вероятно, чтоб не делать огласки. Растрепанные и нечистые, они кричали, хотели жаловаться в полицию... у некоторых были дети... все они кричали, и все матери кричали. Англичане стояли кругом и с удивлением смотрели на картину «исхода». Напрасно старшие из ехавших спрашивали, скоро ли пойдет особый train, показывали свои билеты. Служители железной дороги не слыхали ни о каком train'е. Сцена становилась шумнее и шумнее... Как вдруг прискакал гонец от шефов сказать ожидавшим, что они все с ума сошли, что отъезд вечером в 10, а не утром... и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли с узелками и котомочками к своим оставленным Дидонам и смягченным хозяйкам бедные воины...

В десять вечером они уехали. Англичане им даже прокричали три раза «ура».

На другой день утром рано приехал ко мне знакомый морской офицер с одного из русских пароходов. Пароход получил вечером приказ утром выступить на всех парах и следить за «Ward Jackson'ом».

Между тем «Ward Jackson» остановился в Копенгагене за водой, прождал несколько часов в Мальмё Бакунина, собиравшегося с ними для поднятия крестьян в Литве, и был захвачен по приказанию шведского правительства.

Подробности дела и второй попытки Лапинского рассказаны были им самим в журналах. Я прибавлю только то, что капитан

---

[1] платформу *(от франц. embarcadère).— Ред.*

уже в Копенгагене сказал, что он пароход к русскому берегу не поведет, нежелая его и себя подвергнуть опасности; что еще до Мальмё доходило до того, что Домантович пригрозил своим револьвером не Лапинскому, а капитану. С Лапинским Домантович все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поехали в Стокгольм, оставляя несчастную команду в Мальмё.

— Знаете ли вы,— сказал мне Сверцекевич или кто-то из близких ему,— что во всем этом деле остановки в Мальмё становится всего подозрительнее лицо Тугендгольда?

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну, как не знаете,— вы его видали у нас, молодой малый, без бороды. Лапинский был раз у вас с ним.

— Вы говорите, стало, о Поллесе.

— Это его псевдоним — настоящее имя его Тугендгольд.

— Что вы говорите?..— и я бросился к моему столу.

Между отложенными письмами особенной важности я нашел одно, присланное мне месяца два перед тем. Письмо это было из Петербурга — оно предупреждало меня, что некий доктор Тугендгольд состоит в связи с III Отделением, что он возвратился, но оставил своим агентом меньшого брата, что меньшой брат должен ехать в Лондон.

Что Поллес и он было одно лицо — в этом сомнения не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы перед отъездом экспедиции, что Поллес был Тугендгольд?

— Знал. Говорили, что он переменил свою фамилию, потому что в краю его брата знали за шпиона.

— Что же вы мне не сказали ни слова?

— Да так, не пришлось.

И Селифан Чичикова знал, что бричка сломана — а сказать не сказал.

Пришлось телеграфировать после захвата в Мальмё. И тут ни Домантович, ни Бакунин[1] не умели ничего порядком сделать,— перессорились. Поллеса сажали в тюрьму за какие-то брильянты, собранные у шведских дам для поляков и употребленные на кутеж.

В то самое время как толпа вооруженных поляков, бездна дорого купленного оружия и «Ward Jackson» оставались почетными пленниками на берегу Швеции, собиралась другая экспедиция, снаряженная *белыми;* она должна была идти через Гибралтарский пролив. Ее вел граф Сбышевский, брат того, который писал заме-

---

[1] Домантович, после долгих споров с Бакуниным, говорил: «А ведь что, господа, как ни тяжело с русским правительством, а все же наше положение при нем лучше, чем то, которое нам приготовят эти фанатики-социалисты».

чательную брошюру «La Pologne et la cause de l'ordre»[1]. Отличный морской офицер, бывший в русской службе, он ее бросил, когда началось восстание, и теперь вел тайно снаряженный пароход в Черное море. Для переговоров он ездил в Турин, чтоб там секретно видеться с начальниками тогдашней оппозиции и, между прочим, с Мордини.

— На другой день после моего свиданья с Сбышевским,— рассказывал мне *сам Мордини*,— вечером, в палате министр внутренних дел отвел меня в сторону и сказал: «Пожалуйста, будьте осторожнее... у вас вчера был польский эмиссар, который хочет провести пароход через Гибралтарский пролив — как бы дела не было, да зачем же они прежде болтают?»

Пароход, впрочем, и не дошел до берегов Италии: он был захвачен в Кадиксе испанским правительством. По миновании надобности оба правительства дозволили полякам продать оружие и отпустили пароходы.

Огорченный и раздосадованный приехал Лапинский в Лондон.

— Остается одно,— говорил он,— составить общество убийц и перебить большую часть всех царей и их советников... или ехать опять на Восток, в Турцию...

Огорченный и раздосадованный приехал Сбышевский...

— Что же, и вы бить королей, как Лапинский?

— Нет, поеду в Америку... буду драться за республику... Кстати,— спросил он Тхоржевского,— где здесь можно завербоваться? Со мной несколько товарищей и все без куска насущного хлеба.

— Просто у консула...

— Да нет, мы хотели на юг: у них теперь недостаток в людях, и они предлагают больше выгодные условия.

— Не может быть, вы не пойдете на юг!

...По счастью, Тхоржевский отгадал. На юг они не пошли.

3 мая 1867

ГЛАВА VI

PATER V. PETCHERINE[2]

— Вчера я видел Печерина.

Я вздрогнул при этом имени.

— Как,— спросил я,— *того* Печерина? Он здесь?

— Кто, reverend Petcherine?[3] Да, он здесь!

---

[1] «Польша и дело порядка» *(франц.).— Ред.*

[2] Отец В. Печерин *(лат.).— Ред.*

[3] его преподобие Печерин? *(англ.) — Ред.*

— Где же он?

— В иезуитском монастыре С. Мери Чапель в Клапаме.

Reverend Petcherine!.. И этот грех лежит на Николае. Я Печерина лично не знал, но слышал об нем очень много от Редкина, Крюкова, Грановского. Молодым доцентом возвратился он из-за границы на кафедру греческого языка в Московском университете; это было в одну из самых томных эпох николаевского гонения, между 1835 и 1840. Мы были в ссылке, молодые профессора еще не приезжали, «Телеграф» был запрещен, «Европеец» был запрещен, «Телескоп» запрещен, Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Только после 1848 года террор в России пошел еще дальше.

Но угорелое самовластие последних лет николаевского царствования явным образом было *пятым действием*. Тут уже становилось заметно, что не только что-то ломит и губит, но что-то само ломится и гибнет: слышно было, как пол трещит,— но под расседающимся сводом.

В тридцатых годах, совсем напротив, опьянение власти шло обычным порядком, будничным шагом; кругом глушь, молчание, все было безответно, бесчеловечно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор, искавший сочувствия, встречал лакейскую угрозу или испуг, от него отворачивались или оскорбляли его. Печерин задыхался в этом неаполитанском гроте рабства, им овладел ужас, тоска, надобно было бежать, бежать во что бы ни стало из этой проклятой страны. Для того чтоб уехать, надобны деньги. Печерин стал давать уроки, свел свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходил, миновал товарищеские сходки и, накопивши немного денег,— уехал.

Через некоторое время он написал гр. С. Строгонову письмо, он уведомлял его о том, что он не воротится больше. Благодаря его, прощаясь с ним, Печерин говорил о невыносимой духоте, от которой он бежал, и заклинал его *беречь* несчастных молодых профессоров, обреченных своим развитием на те же страдания, быть их щитом от ударов грубой силы.

Строгонов показывал это письмо многим из профессоров.

Москва на некоторое время замолкла об нем, и вдруг мы услышали, с каким-то бесконечно тяжелым чувством, что Печерин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре. Бедность, безучастие, одиночество сломили его; я перечитывал его «Торжество смерти» и спрашивал себя — неужели этот человек может быть католиком, иезуитом? Ведь он уже ушел из царства, в котором *история делается* под палкой квартального и под надзором жандарма. Зачем же ему так скоро занадобилась другая власть, другое указание?

Разобщенным показался себе, сирым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе, ему было слишком безродно.

Когда веревка, на которой он был привязан, порвалась и судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал, что делать, не умел с ней управляться и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ упал в иезуитский монастырь!

На другой день, часа в два, я отправился в St. Mary Chapel. Тяжелая дубовая дверь заперта,— я стукнул три раза кольцом; дверь отворилась, и явился тощий молодой человек лет восемнадцати, в монашеском подряснике; в руках у него был молитвенник.

— Кого вам?— спросил брат-привратник по-английски.

— Reverend Father Petcherine[1].

— Позвольте ваше имя.

— Вот карточка и письмо.

В письме я вложил объявление о Русской типографии.

— Взойдите,— сказал молодой человек, запирая снова за мною дверь.— Подождите здесь.— И он указал в обширных сенях на два-три больших стула со старинной резьбой.

Минут через пять брат-привратник возвратился и сказал мне с небольшим акцентом по-французски, что le père Pétchérine sera enchanté de me recevoir dans un instant[2].

После этого он повел меня через какой-то рефекторий[3] в высокую небольшую комнату, слабо освещенную, и снова просил сесть. На стене было высеченное из камня распятие и, если не ошибаюсь, с другой стороны также богородица. Кругом тяжелого массивного стола стояли большие деревянные кресла и стулья. Противуположная дверь вела сенями в обширный сад, его светская зелень и шум листьев были как-то не на месте.

Брат-привратник показал мне на стене надпись; в ней было сказано, что reverendes Fathers принимают имеющих в них нужду от четырех до шести часов. Еще не было четырех.

— Вы, кажется, не англичанин и не француз?— спросил я его, вслушиваясь в его акценты.

— Нет.

— Sind sie ein Deutscher?

— O, nein, mein Herr,— отвечал он, улыбаясь,— ich bin beinah ihr Landsmann, ich bin ein Pole[4].

Ну, брата-привратника выбрали недурно: он говорил на четырех языках. Я сел, он ушел; странно мне было видеть себя в этой

---

[1] Преподобного отца Печерина *(англ.).— Ред.*

[2] отец Печерин будет очень рад принять меня через минуту *(франц.).— Ред.*

[3] столовую, трапезную *(от англ. refectory).— Ред.*

[4] Вы немец? — О нет, сударь... я почти ваш земляк, я поляк *(нем.).— Ред.*

обстановке. Черные фигуры прохаживались в саду, человека два в полумонашеском платье прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво кланялись, глядя в землю, и я всякий раз привставал и также серьезно откланивался им. Наконец вышел небольшой ростом, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком:

— Вы желали видеть Печерина?

Я отвечал, что я.

— Чрезвычайно рад вашему посещению,— сказал он, протягивая руку,— сделайте одолжение, присядьте.

— Извините,— сказал я, несколько смешавшись, что не узнал его; мне в голову не приходило, что встречу его костюмированного,— ваше платье...

Он слегка улыбнулся и тотчас продолжал:

— Давно не слыхал я никакой вести о родном крае, об наших, об университете; вы, вероятно, знали Редкина и Крюкова.

Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет; видно было, что под этими морщинами много прошло, и прошло tout de bon[1], то есть умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым, особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи, и во всех движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии.

Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова, при которой я был, о том, как его студенты несли через весь город на кладбище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях,— мы оба как-то призадумались. Что́ происходило в черепе под граненой шапкой — не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел.

— Sortons un peu au jardin,— сказал Печерин,— le temps est si beau, et c'est si rare à Londres.

— Avec le plus grand plaisir[2]. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы с вами говорим по-французски?

— И то! Будемте говорить по-русски; я думаю, что уже совсем разучился.

---

[1] не на шутку *(франц.).— Ред.*

[2] Выйдем на минутку в сад, погода так хороша, а это так редко бывает в Лондоне.— С величайшим удовольствием *(франц.).— Ред.*

Мы вышли в сад. Разговор снова перешел к университету и Москве.

— О,— сказал Печерин,— что это было за время, когда я оставил Россию,— без содрогания не могу вспомнить!

— Подумайте же, что теперь делается; наш Саул совсем сошел с ума после 1848.— И я ему передал несколько гнуснейших фактов.

— Бедная страна, особенно для меньшинства, получившего несчастный дар образования. А ведь какой добрый народ; я часто вспоминаю наших мужиков, когда бываю в Ирландии, они чрезвычайно похожи; кельтийский землепашец — такой же ребенок, как наш. Побывайте в Ирландии, вы сами убедитесь в этом.

Так длился разговор с полчаса, наконец, собираясь оставить его, я сказал ему:

— У меня есть просьба к вам.

— Что такое? Сделайте одолжение.

— У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений — в числе их есть трилогия «Поликрат Самосский», «Торжество смерти» и еще что-то; нет ли у вас их, или не можете ли вы мне их дать?

— Как это вы вспомнили такой вздор? Это незрелые, ребяческие произведения иного времени и иного настроения.

— Может,— заметил я, улыбаясь,— *поэтому-то* они мне и нравятся. Да есть они у вас или нет?

— Нет, где же!..

— И продиктовать не можете?

— Нет, нет, совсем нет.

— А если я их найду где-нибудь в России,— печатать позволите?

— Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления.

— Коли вам дела нет, стало, я могу печатать их, положим, без имени?

— Неужели эти стихи вам нравятся до сих пор?

— Это мое дело; вы мне скажите, позволяете мне их печатать или нет?

Прямого ответа он и тут не дал, я перестал приставать.

— А что же,— спросил Печерин, когда я прощался,— вы мне не привезли ничего из ваших публикаций? Я помню, в журналах говорили, года три тому назад, об одной книге, изданной вами, кажется, на немецком языке.

— Ваше платье,— отвечал я,— скажет вам, по каким соображениям я не должен был привезти ее, примите это с моей стороны за знак уважения и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь, мы можем скорбеть о заблуждении, молиться об исправлении, желать его и во всяком случае любить человека.

Мы расстались.

Он не забыл ни книги, ни моего ответа и дня через три написал ко мне следующее письмо по-французски:

«I. M. I. A.[1]

St. Mary's, Clapham, 11 апреля 1853 г.

Я не могу скрыть от вас той симпатии, которую возбуждает в моем сердце слово свободы,— свободы для моей несчастной родины! Не сомневайтесь ни на минуту в искренности моего желания — возрождения России. При всем этом я далеко не во всем согласен с вашей программой. Но это ничего не значит. Любовь католического священника обнимает все мнения и все партии. Когда ваши драгоценнейшие упования обманут вас, когда силы мира сего поднимутся на вас, вам еще останется верное убежище в сердце католического священника: в нем вы найдете дружбу без притворства, сладкие слезы и мир, который свет не может вам дать. Приезжайте ко мне, любезный соотечественник. Я был бы очень рад вас видеть еще раз, до моего отъезда в Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру мне.

В. Печерин».

Я свез ему книги и через четыре дня получил следующее письмо:

«I. M. I. A.

St. Pierre, Islands of Guernsey, Chapelle Catholique, 15 апреля 1853 г.

Я прочел обе ваши книги с большим вниманием. Одна вещь особенно поразила меня; мне кажется, что вы и ваши друзья — вы опираетесь исключительно на философию и на изящную словесность (belle littérature). Неужели вы думаете, что они призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидетельство истории совершенно против вас. Нет примера, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философией и словесностью. Скажу просто (tranchons le mot[1]), одна религия служила всегда основой государств; философия и словесность, это — увы! — уже

[1] Iesus Misericors, Iesus Almus — Иисус милосердный, Иисус благодатный *(лат.)*.— *Ред.*

[2] будемте откровенны *(франц.)*.— *Ред.*

последний цветок общественного древа. Когда философия и литература достигают своей апогеи, когда философы, ораторы и поэты господствуют и разрешают все общественные вопросы, тогда конец, падение, тогда смерть общества. Это доказывает Греция и Рим, это доказывает так называемая александринская эпоха; никогда философия не была больше изощрена, никогда литература — цветущее, а между тем это была эпоха глубокого общественного падения. Когда философия бралась за пересоздание общественного порядка, она постоянно доходила до жестокого деспотизма, например, в Фридрихе II, Екатерине II, Иосифе II и во всех неудавшихся революциях. У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что «фаланстер — не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может быть только видоизменение николаевского самовластия». Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, то есть что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли перерождать общество на таких основаниях?

Может, я высказал вещь избитую и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобы начать контроверзу, но я считал себя обязанным сделать это замечание, потому что иногда лучшие умы и благороднейшие сердца ошибаются в основе, сами не замечая того. Для того я это пишу вам, чтоб доказать, как внимательно читал я вашу книгу, и дать новый знак того уважения и любви, с которыми...

В. Печерин».

На это я отвечал ему по-русски.

«25, Euston Square, 21 апреля 1853 г.

Почтеннейший соотечественник,

Душевно благодарю вас за ваше письмо и прошу позволение сказать несколько слов à la hâte[1] о главных пунктах.

Я совершенно согласен с вами, что литература, как осенние цветы, является во всем блеске перед смертью государств. Древний Рим не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтерианизмом Лукиана, ни немецкой философией Прокла. Но заметьте, что он равно не мог быть спасен ни элевзинскими таинствами, ни Аполлоном Тианским, ни всеми опытами продолжить и воскресить язычество.

---

[1] наскоро *(франц.).— Ред.*

Это было не только невозможно, но и не нужно. Древний мир вовсе не надобно было спасать, он дожил свой век, и новый мир шел ему на смену. Европа совершенно в том же положении; литература и философия не сохранят дряхлых форм, а толкнут их в могилу, разобьют их, освободят от них.

Новый мир точно так же приближается, как тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвав фаланстер — казармой, нет, все доселе явившиеся учения и школы социалистов, от С.-Симона до Прудона, который представляет одно отрицание,— бедны, это первый лепет, это чтение по складам, это терапевты и ессеняне древнего Востока. Но кто же не видит, не чует сердцем огромного содержания, просвечивающего через односторонние попытки, или кто же казнит детей за то, что у них трудно режутся зубы или выходят вкось?

Тоска современной жизни — тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери беспокоятся перед землетрясением.

К тому же все остановилось. Одни хотят насильственно раскрыть дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего; у одних впереди пророчества, у других — воспоминания. Их *работа* состоит в том, чтоб мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте.

Рядом другой мир — Русь. В основе его — коммунистический народ, еще дремлющий, покрытый поверхностной пленкой образованных людей, дошедших до состояния Онегина, до отчаяния, до эмиграции, до вашей, до моей судьбы. Для нас это горько. Мы жертвы того, что не вовремя родились; для *дела* это безразлично, по крайней мере не имеет того смысла.

Говоря о революционном движении в новой России, я вперед сказал, что с Петра I русская история — история дворянства и правительства. В дворянстве находится революционный фермент; он не имел в России другого поприща, яркого, кровавого, на площади, кроме поприща литературного, там я его и проследил.

Я имел смелость сказать (в письме к Мишле), что образованные русские — *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли в отрицании, чем, например, французы. В отрицании чего? Разумеется, старого мира.

Онегин рядом с праздным отчаянием доходит теперь до положительных надежд. Вы их, кажется, не заметили. Отвергая Европу в ее изжитой форме, отвергая Петербург, то есть опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы, слабые и оторванные от народа,— мы гибли. Но мало-помалу развивалось нечто новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистов. Этот новый элемент, элемент веры в силу народа, элемент, проникнутый любовью. Мы с ним только начали понимать народ. Но мы далеки от

него. Я и не говорю, чтоб *нам* досталась участь пересоздать Россию, и то хорошо, что мы приветствовали русский народ и догадались, что он принадлежит к грядущему миру.

Еще одно слово. Я не смешиваю науки с литературно-философским развитием. Наука, если и не пересоздает государства, то и не падает в самом деле с ним. Она средство, память рода человеческого, она победа над природой, освобождение. Невежество, *одно невежество* — причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно.

Я буду сердечно рад...»

Через две недели я получил от о. Печерина следующее письмо:

«I. M. I. A.

St. Mary's, Clapham, 3 мая 1853.

Я вам отвечаю по-французски, по причинам, которые вы знаете. Не мог писать я к вам прежде, потому что был обременен занятиями в Гернсее. Мало остается времени на философские теории, когда живешь в самой середине животрепещущей действительности; нет досуга разрешать спекулятивные вопросы о будущих судьбах человечества, когда человечество с костями и плотью приходит изливать в вашу грудь свои скорби и требует совета и помощи.

Признаюсь вам откровенно, ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом.

Что будет с нами, когда *ваше* образование (votre civilisation à vous) одержит победу. Для вас *наука* — все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука — так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть, поклонение личности (le culte de la personne), как бы сказал Мишель Шевалье. Если *эта* наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели, по крайней мере, возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает

пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах, рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!» Вот что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?

Простите, если я сколько-нибудь преувеличил темные краски. Мне кажется, что я только довел до законных последствий основания, положенные вами.

Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза (caprice de spiritualité)? Россия именно начала с науки так, как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи, она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния, она сделается самая образованная страна в мире, провидение ей дало в удел материальный мир, она сделает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело в этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным.

Я изложил мои идеи с простотою для того, чтоб уяснить нам друг друга. Извините, если я внес в слова мои излишнюю горячность. Так как я еду снова в Ирландию в пятницу утром, мне будет невозможно зайти к вам. Но я буду очень рад, если вам будет удобно посетить меня в середу или в четверг после обеда.

Примите и проч.

В. Печерин».

Я ему отвечал на другой день:

«*25, Euston Square, 4 мая 1853 г.*

Почтеннейший соотечественник,

Я был у вас для того, чтоб пожать руку русскому, которого имя мне было знакомо, которого положение так сходно с моим... Несмотря на то что судьба и убеждения вас поставили в торже-

ствующие ряды победителей, меня — в печальный стан побежденных, я не думал коснуться разницы наших мнений. Мне хотелось видеть русского, мне хотелось принесть вам живую весть о родине. Из чувства глубокой деликатности я не предложил вам моих брошюр, вы сами желали их видеть. Отсюда ваше письмо, мой ответ и второе письмо ваше от 3 мая. Вы нападаете на меня, на мои мнения (преувеличенные и не вполне разделяемые мною), нельзя же мне не защищаться. Я не давал того значения слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вам только писал, что я совокупность всех побед над природой и всего развития, разумеется, ставлю вне беллетристики и отвлеченной философии.

Но это предмет длинный, и, без особого вызова, не хочется повторять все, так много раз сказанное об нем. Позвольте мне лучше успокоить вас насчет вашего страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь. Наука не есть учение или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. Вы, верно, хотели сказать о торжестве социальных идей, свободы. В таком случае возьмите страну самую «материальную» и самую свободную — Англию. Люди созерцательные, так, как утописты, находят в ней угол для тихой думы и трибуну для проповеди. А еще Англия, монархическая и протестантская, далека от полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб.

Созерцательные натуры будут всегда, везде; им будет привольнее в думах и тиши, пусть ищут они себе тогда тихого места; кто их будет беспокоить, кто звать, кто преследовать? Их ни гнать, ни *поддерживать* никто не будет. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни масс потому, что производство этого улучшения *может* обеспокоить слух лиц, не хотящих слышать ничего внешнего. Тут даже самоотвержения никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенесть следует, а отойти от него. Но журналы всюду идут следом,— кто же из *созерцательных* натур зависит от premier-Paris или premier-Londres?[1]

Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите *нам* место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол — как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России.

---

[1] передовых статей парижских или лондонских газет *(франц.).— Ред.*

Кому же следует бояться? Оно, конечно, смерть не важна sub specie aeternitatis[1], да ведь с этой точки зрения и все остальное не важно.

Простите мне, п. с., откровенное противуречие вашим словам и подумайте, что мне было невозможно иначе отвечать.

Душевно желаю, чтоб вы хорошо совершили ваше путешествие в Ирландию».

Этим и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Серая мгла европейского горизонта зарделась заревом Крымской войны, мгла от него стала еще черней, и вдруг середь кровавых вестей, походов и осад читаю я в газетах, что там-то, в Ирландии, отдан под суд reverend Father Wladimir Petcherine, native of Russia[2] за публичное сожжение на площади протестантской Библии. Гордый британский судья, взяв в расчет безумный поступок и то, что виноватый — русский, а Англия с Россией в войне, ограничился отеческим наставлением вести себя впредь на улицах благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или он часто снимает граненую шапку и ставит ее устало на стол?

ГЛАВА VII

И. ГОЛОВИН

Несколько дней после обыска у меня и захвата моих бумаг, во время июньской битвы, явился ко мне в первый раз *И. Головин* — до того известный мне по бездарным сочинениям своим и по чрезвычайно дурной репутации сварливого и дерзкого человека, которую он себе сделал. Он был у Ламорисиера, хлопотал, без малейшей просьбы с моей стороны, о моих бумагах, ничего не сделал и пришел ко мне пожать скромные лавры благодарности и, пользуясь тем, втеснить мне свое знакомство.

— Я сказал Ламорисиеру: «Генерал, стыдно надоедать русским республиканцам и оставлять в покое агентов русского правительства».— «А вы знаете их?» — спросил меня Ламорисиер. «Кто их не знает!» — «Nommez-les, nommez-les»[3].— «Ну, да Яков Толстой

---

[1] с точки зрения вечности *(лат.).— Ред.*

[2] преподобный отец Владимир Печерин, родом русский *(англ.).— Ред.*

[3] Назовите их, назовите их *(франц.).— Ред.*

и генерал Жомини».— «Завтра же велю у них сделать обыск».— «Да будто Жомини русский агент?» — спросил я. «Ха, ха, ха! Это мы увидим теперь».

Вот вам человек.

Рубикон был перейден, и, что я ни делал, чтобы воздержать дружбу Головина, а, главное, его посещения,— все было тщетно. Он раза два в неделю приходил к нам, и нравственный уровень нашего уголка тотчас понижался — начинались ссоры, сплетни, личности. Лет пять спустя, когда Головин хотел меня додразнить до драки, он говорил, что *я его боюсь;* говоря это, он, конечно, не подозревал, как давно я его боялся до лондонской ссоры.

Еще в России я слышал об его бестактности, о нецеремонности в денежных отношениях. Шевырев, возвратившись из Парижа, рассказывал о процессе Головина с лакеем, с которым он подрался, и ставил это на счет нас, западников, к числу которых причислял Головина. Я Шевыреву заметил, что Запад следует винить только в том, что они *дрались*, потому что на *Востоке* Головин просто бы *поколотил* слугу и никто не говорил бы об этом.

Забытое теперь содержание его сочинений о России еще менее располагало к знакомству с ним. Французская риторика, либерализм Роттековой школы, pêle-mêle[1] разбросанные анекдоты, сентенции, постоянные личности и никакой логики, никакого взгляда, никакой связи. Погодин писал рубленой прозой — а Головин думал рублеными мыслями.

Я миновал его знакомство донельзя. Ссора его с Бакунинным помогла мне. Головин поместил в каком-то журнале дворянски-либеральную статейку, в которой помянул его. Бакунин объявил, что ни с русским дворянством, ни с Головиным ничего общего не имеет.

Мы видели, что далее Июньских дней я не пролавировал в моем почетном незнакомстве.

Каждый день доказывал мне, как я был прав. В Головине соединилось все ненавистное нам в русском офицере, в русском помещике, с бездною мелких западных недостатков, и это без всякого примирения, смягчения, без выкупа, без какой-нибудь эксцентричности, каких-нибудь талантов или комизмов. Его наружность vulgar, провокантная[2] и оскорбительная, принадлежит, как чекан, целому слою людей, кочующих с картами и без карт по минеральным водам и большим столицам, вечно хорошо обедающих, которых все знают, о которых всё знают, кроме двух вещей: чем они живут и зачем они живут. Головин — русский офицер, французский bretteur, hâb-

---

[1] как попало *(франц.).— Ред.*

[2] вызывающая (*от франц. provocant*). — *Ред.*

leur[1], английский свиндлер[2], немецкий юнкер и наш отечественный Ноздрев, Хлестаков in partibus infidelium[3].

Зачем он покинул Россию, что он делал на Западе,— *он*, так хорошо шедший в офицерское общество своих братий, им же самим описанных? Сорвавшись с родных полей, он не нашел центра тяжести. Кончив курс в Дерптском университете, Головин был записан в канцелярию Нессельроде. Нессельроде ему заметил, что у него почерк плох, Головин обиделся и уехал в Париж. Когда его потребовали оттуда, он отвечал, что не может еще возвратиться, потому что не кончил своего «каллиграфического образования». Потом он издал свою компиляцию «La Russie sous Nicolas»[4], в которой обидел пуще всего Николая тем, что сказал, что он *нѣт* пишет с *е*. Ему велели ехать в Россию — он не поехал. Братья[5] его воспользовались этим, чтобы посадить его на Антониеву пищу — они посылали ему гораздо меньше денег, чем следовало. Вот и вся драма.

У этого человека не было ни тени художественного такта, ни тени эстетической потребности, никакого научного запроса, никакого серьезного занятия. Его поэзия была обращена на него самого, он любил позировать, хранить apparence;[6] привычки дурно воспитанного барича средней руки остались в нем на всю жизнь, спокойно сжились с кочевым фуражированием полуизгнанника и полубогемы.

Раз в Турине я застал его в воротах Hôtel Feder с хлыстиком в руке... Перед ним стоял савояр, полунагой и босой мальчик лет двенадцати, Головин бросал ему гроши и за всякий грош стегал его по ногам; савояр подпрыгивал, показывая, что очень больно, и просил еще. Головин хохотал и бросал грош. Я не думаю, чтоб он больно стегал, но все же стегал — и это могло его забавлять?

После Парижа мы встретились сначала в Женеве, потом в Ницце. Он был тоже выслан из Франции и находился в очень незавидном положении[7]. Ему решительно нечем было жить, несмотря на

---

[1] бахвал *(франц.).— Ред.*

[2] мошенник *(от англ. swindler).— Ред.*

[3] в стране неверных *(лат.).— Ред.*

[4] «Россия под Николаем» *(франц.).— Ред.*

[5] A propos его братий. Один из них, кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что *отличился* 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом. «Умирающая мать,— говорил он,— написала несколько слов на прощанье сыну Ивану... тому... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?» — «*Снести на почту*»,— сказал, любезно улыбаясь, Дубельт.

[6] внешнее приличие *(франц.).— Ред.*

[7] Французская полиция не могла ему простить одну проделку. В начале 1849 была небольшая демонстрация. Президент, то есть Наполеон III, объезжал верхом бульвары. Вдруг Головин продрался к нему и закричал: «Vive

тогдашнюю баснословную дешевизну в Ницце.. Как часто и горячо я желал, чтоб Головин получил наследство или женился бы на богатой... Это бы мне развязало руки.

Из Ниццы он уехал в Бельгию, оттуда его прогнали; он отправился в Лондон и там натурализировался, смело прибавив к своей фамилии титул *князя Ховры*, на который не имел права. Английским подданным он возвратился в Турин и стал издавать какой-то журнал. В нем он додразнил министров до того, что они выслали его. Головин стал под покровительство английского посольства. Посол отказал ему — и он снова поплыл в Лондон. Здесь в роли *рыцаря индустрии*, числящегося по революции, он без успеха старался примкнуть к разным политическим кругам, знакомился со всеми на свете и печатал невообразимый вздор.

В конце ноября 1853 Ворцель зашел ко мне с приглашением сказать что-нибудь на польской годовщине. Взошел Головин и, смекнув, в чем дело, тотчас атаковал Ворцеля вопросом, может ли и он сказать речь.

Ворцелю было неприятно, мне вдвое, но тем не меньше он ему ответил:

— Мы приглашаем всех и будем очень рады; но чтоб митинг имел единство, надобно нам знать à peu près[1], кто что хочет сказать. Мы собираемся тогда-то, приходите к нам потолковать.

Головин, разумеется, принял предложение. А Ворцель, уходя, сказал мне, качая головой, в передней:

— Что за нелегкое принесло его!

С тяжелым сердцем пошел я на приуготовительное собрание; я предчувствовал, что дело не обойдется без скандала. Мы не были там пяти минут, как мое предчувствие оправдалось. После двух-трех отрывистых генеральских слов Головин вдруг обратился к Ледрю-Роллену, сначала напомнил, что они где-то встречались, чего Ледрю-Роллен все-таки не вспомнил, потом ни к селу ни к городу стал ему доказывать, что постоянно раздражать Наполеона — ошибка, что политичнее было бы его щадить для польского дела... Ледрю-Роллен изменился в лице, но Головин продолжал, что Наполеон один может выручить Польшу, и прочее. «Это,— добавил он,—

---

la République!» и «A bas les ministres!» (*«Да здравствует республика!» и «Долой министров!» (франц.).— Ред.*) — «Vive la République!» — пробормотал Наполеон. «Et les ministres?» — «On les changera!» (*«А министры?» — «Их сменят!» (франц.) — Ред.*) Головин протянул ему руку. Прошло дней пять, министры остались, и Головин напечатал в «Réforme» свою встречу с прибавлением, что так как президент не исполнил обещания, то он берет назад свое рукожатье (il retire sa poignée de main). Полиция промолчала и выслала его, несколько месяцев спустя, придравшись к 13 июню.

[1] приблизительно *(франц.).— Ред.*

не только мое личное мнение; теперь Маццини и Кошут это поняли и всеми силами стараются сблизиться с Наполеоном».

— Как же вы можете верить таким нелепостям? — спросил его Ледрю-Роллен вне себя от волнения.

— Я слышал...

— От кого? От каких-нибудь шпионов, честный человек не мог вам этого говорить. Господа, я Кошута лично не знаю, но все же уверен, что это не так; что же касается до моего друга Маццини, я смело беру на себя отвечать за него, что он никогда не думал о такой уступке, которая была бы страшным бедствием и вместе с тем изменою всей религии его.

— Да... да... само собой разумеется,— говорили с разных сторон; ясно было, что слова Головина рассердили всех. Ледрю-Роллен вдруг повернулся к Ворцелю и сказал ему:

— Вот видите, мои опасения были не напрасны; состав вашего митинга слишком разнообразен, чтоб в нем не заявились мнения, которые я не могу ни принять, ни даже слушать. Позвольте мне удалиться и отказаться от чести говорить двадцать девятого числа речь.

Он встал. Но Ворцель, останавливая его, заметил, что комитет, предпринявший дело митинга, избрал его своим председателем и что в этом качестве он должен просить Ледрю-Роллена остаться, пока он спросит своих товарищей, хотят ли они после сказанного допустить речь Головина и потерять содействие Ледрю-Роллена или наоборот.

Затем Ворцель обратился к членам Централизации. Результат был несомненен. Головин его очень хорошо предвидел и потому, не дожидаясь ответа, встал и высокомерно бросил Ледрю-Роллену:

— Я уступаю вам честь и место и сам отказываюсь от своего намерения сказать речь двадцать девятого ноября.

После чего он, доблестно и тяжело ступая, вышел вон.

Чтоб разом кончить дело, Ворцель предложил мне прочесть или сказать, в чем будет состоять моя речь.

На другой день был митинг — один из последних блестящих польских митингов; он удался, народу было бездна; я пришел часов в восемь,— все уже было занято, и я с трудом пробирался на эстраду, приготовленную для бюро.

— Я вас везде ищу,— сказал мне d-r Дараш.— Вас ждет в боковой комнате Ледрю-Роллен и непременно хочет с вами поговорить до митинга.

— Что случилось?

— Да все этот шалопай Головин.

Я пошел к Ледрю-Роллену. Он был рассержен и был прав.

— Посмотрите,— сказал он мне,— что этот негодяй прислал мне за записку четверть часа до того, как мне ехать сюда.

— Я за него не отвечаю,— сказал я, развертывая записку.

— Без сомнения, но я хочу, чтоб вы знали, кто он такой.

Записка была груба, глупа. Он и тут фанфаронством хотел покрыть fiasco. Он писал Ледрю-Роллену, что если у него нет французской учтивости, то пусть он покажет, что не лишен французской храбрости.

— Я его всегда знал за беспокойного и дерзкого человека, но этого я не ожидал,— сказал я, отдавая записку.— Что же вы намерены делать?

— Дать ему такой урок, которого он долго не забудет. Я здесь всенародно на митинге сорву маску с этого aventurier, я расскажу о нашем разговоре, сошлюсь на вас как на свидетеля, и притом *русского*, и прочту его записку — а потом увидим... я не привык глотать такие конфеты.

«Дело скверное,— подумал я,— Головин со своей весьма подозрительной репутацией окончательно погибнет. Ему один путь спасенья будет — дуэль. Этой дуэли нельзя допустить, потому что Ледрю-Роллен совершенно прав и ничего обидного не сделал. В его положении нельзя же было драться со всяким встречным. И что за безобразие — на польском митинге одного русского эмигранта затопчут в грязь, а другой поможет».

— Да нельзя ли отложить?

— Чтоб потерять такой случай?

Я еще постарался остановить дело, ввернувши предложение суда, jury d'honneur[1],— все удавалось плохо.

...Затем мы вышли на эстраду и были встречены френетическим[2] рукоплесканием. Рукоплескания и шум толпы, как известно, пьянят,— я забыл о Головине и думал о своей речи. Об речи я говорил в другом месте. Самое появление мое на трибуне было встречено с величайшим сочувствием поляками, французами и итальянцами. Когда я кончил, Ворцель, председатель митинга, подошел ко мне и, обнимая меня, повторял, глубоко тронутый: «Благодарю, благодарю!» Рукоплескания, шум удесятерились, и я под их громом отправился на свое место... Тут мне пришел в голову Головин, и я испугался близости той минуты, когда трибун 1848 сомнет в своих руках этого шута. Я вынул карандаш и написал на клочке бумаги: «Бога ради устройте, чтоб гнусное дело Головина не испортило вашего митинга». Эстрада была амфитеатром,

---

[1] суда чести *(франц.).— Ред.*

[2] бурным *(от франц. frénétique).— Ред.*

я записочку отдал сидевшему передо мной Пианчани, чтоб он ее передал Ворцелю. Ворцель прочитал, черкнул что-то карандашом и отдал в другую сторону, то есть отправил к Ледрю-Роллену, который сидел выше. Ледрю-Роллен достал меня рукой за плечо и, весело кивая, сказал:

— За вашу речь и для вас я оставляю дело до завтра,— и я, довольный как нельзя больше, отправился ужинать с Руге и Копингамом в American Store.

Не успел я на другой день встать, как комната моя наполнилась поляками, они пришли меня благодарить, но, вероятно, благодарность они принесли бы и попозже. Главное, что им не терпелось покончить спор — головинское дело. Бешенство на него распахнулось во всей силе. Они составили акт, в котором Головин был обруган, адрес Ледрю-Роллену, которому объявили, что решительно не допустят его до дуэли. Десять человек готовы были драться с ним. Требовали, чтоб я подписал и акт и адрес.

Я видел, что из одной истории выйдут пять, и, пользуясь вчерашним успехом, то есть авторитетом, который он мне дал, сказал им:

— В чем цель? — кончить ли это дело так, чтоб Ледрю-Роллен был удовлетворен и несчастный инцидент, чуть не испортивший ваш митинг, был стерт? Или наказать Головина во что бы ни стало? В последнем случае, господа, я не участвую, и делайте, как знаете.

— Конечно, главная цель — кончить дело.

— Хорошо. Имеете вы ко мне доверие?..

— Да, да... еще бы...

— Я поеду *один* к Головину... и если улажу дело так, что Ледрю-Роллен будет доволен,— то и конец.

— Хорошо — а если не уладите?

— Тогда я подпишу ваш протест и адрес.

— Ладно.

Головина я застал мрачным и сконфуженным, он явно ждал грозы и вряд был ли доволен, что вызвал ее.

Объяснение наше было недолго. Я сказал ему, что спас его от двух неприятностей, и предложил мои услуги отстранить третью, а именно — примирить его с Ледрю-Ролленом. Ему хотелось окончить дело, но надменная натура его не допускала до сознания своей вины, а еще больше — до признания ее.

— Я соглашаюсь только для вас,— пробормотал он наконец.

Для меня или для кого другого,— дело пошло на лад. Я поехал к Ледрю-Роллену, прождал его часа два в холодной комнате и простудился; наконец он приехал очень любезен и весел. Я рас-

сказал ему всю историю от появления повшехного[1] вооружения Посполитой Речи до ломаний нашего матамора[2], и Ледрю-Роллен со смехом согласился предать дело забвению и принять раскаявшегося грешника. Я отправился за ним.

Головин ждал в сильном волнении. Узнав, что все обстоит благополучно, он покраснел и, набивши все карманы пальто какими-то бумагами, поехал со мной.

Ледрю-Роллен принял настоящим gentleman'ом и тотчас стал говорить о посторонних делах.

— Я приехал к вам,— сказал Головин,— сказать, что мне очень жаль...

Ледрю-Роллен его перебил словами:

— N'en parlons plus...[3] Вот ваша записка, бросьте ее в огонь ..— и без запятой стал продолжать начатый рассказ. Когда мы встали, чтоб ехать, Головин выгрузил из карманов кипу брошюр и, подавая их Ледрю-Роллену, прибавил, что это его последние брошюры и что он просит его принять их в знак его особенного уважения. Ледрю-Роллен, рассыпаясь в благодарности, с почтением уложил кипу, до которой, вероятно, никогда не дотрогивался.

— Вот наш литературный век,— сказал я Головину, садясь в карету.— Слыхал я, что умные люди берут с собой на дуэли штопор, но чтоб вооружались брошюрами — это ново!

Зачем я спас этого человека от позора? Право, не знаю — и просто раскаиваюсь. Все эти попадья, великодушия, закрашивания, спасения падают на нашу голову по тому великому правилу, постановленному Белинским: что «мошенники тем сильны, что они с честными людьми поступают как с мошенниками, а честные люди с мошенниками — как с честными людьми». Бандиты журнального и политического мира опасны и неприятны по своему двусмысленному и затруднительному положению. Терять им нечего, выиграть они могут все. Спасая таких людей, вы их только снова приводите в прежний impasse[4].

В рассказе моем нет слова преувеличенного. Подумайте же, каково было мое удивление, когда Головин напечатал в Германии через *десять лет*, что *Людрю-Роллен извинялся перед ним*... зная, что и он и я, слава богу, живы и здоровы... Разве это не гениально!

Митинг был 29 ноября 1853 года. В марте 1854 я напечатал небольшое воззвание к русским солдатам в Польше от имени «Рус-

---

[1] всеобщего *(от польск. powszechny).— Ред.*
[2] забияки *(от франц. matamore).— Ред.*
[3] Не будем об этом больше говорить *(франц.).— Ред.*
[4] тупик *(франц.).— Ред.*

ской вольной общины в Лондоне». Головина это оскорбило, и он принес мне для напечатания следующий протест:

«Я прочел вашу «благовесть», писанную в день благовещения. Она надписана: «Вольная русская община в Лондоне», а между тем встречаются слова: «Не помню, в какой губернии».

Следовательно, для меня загадка, состоит ли эта община из вас и Энгельсона или из вас одного?

Здесь не место разбирать содержание, мне не бывшее показанное в рукописи. Чтобы упомянуть только о тоне, я бы не подписал обещание не оставить без совета людей, которые меня не просят об этом. Ни скромность, ни совесть не позволяют мне сказать, что я примирил имя народа русского с народами Запада.

Посему почитаю должным просить вас объявить при следующем и наискорейшем случае, что я до сих пор не участвовал ни в каких воззваниях, печатанных вашею типографией по-русски.

Надеясь, что вы не заставите меня прибегнуть к другого рода гласности.

Я пребываю вам покорный

Иван Головин

Лондон, 25 марта 1854 г.

(Г-ну Герцену-Искандеру)

P. S. Поставляю на ваше усмотрение напечатать мое письмо в настоящем его виде или объявить содержание оного вкратце».

Протесту я несказанно обрадовался — в нем я видел начало разрыва с этим невыносимо тяжелым человеком и публичное заявление нашего разногласия. Европа и сами поляки так поверхностно смотрят на Россию, особенно в промежутки, когда она не бьет соседей или не присоединяет целые государства в Азии, что я должен был работать десять лет, чтоб меня не смешивали с преславутым Ivan Golovine.

Вслед за протестом Головин прислал письмо, длинное, бессвязное, которое заключил словами: «Может быть, отдельно мы еще будем полезнее общему делу, если не станем тратить наши силы на борьбу друг с другом». На это я отвечал ему:

«30 марта, четверг.

Я считаю себя обязанным поблагодарить вас за письмо ваше, полученное вчера и которого добрую цель — смягчить печатное объявление — я вполне оценил.

Я совершенно согласен, что отдельно мы принесем больше пользы. Насчет борьбы, о которой вы пишете,— она не входила

в мою голову. Я не возьму никакой инициативы — не имея ничего против вас, особенно когда каждый пойдет своей дорогой.

Вспомните, как давно и сколько раз я говорил вам келейно то, что вы сказали теперь публично. Наши нравы, мнения, симпатии и антипатии — всё розно. Позвольте мне остаться с уважением к вам, но принять нашу раздельность за fait accompli[1] — и вы и я — мы будем от этого свободнее.

Письмо мое — ответ; вопросов в нем нет, я вас прошу не длить этой переписки и полагаюсь на вашу деликатность, что окончательное расставание наше не будет сопровождено ни жестким словом, ни враждебным действием.

Желаю вам всего лучшего».

Что Головину вовсе не хотелось разорвать сношения со мной — это было очевидно; ему хотелось сорвать сердце за то, что мы печатали воззвание без него, и потом примириться — но я уж не хотел упустить из рук этого горячо желанного случая.

Недели две-три после моего письма я получил от него пакет. Раскрываю — бумага с траурным ободком... Смотрю — это половина погребального приглашения, разосланного 2 мая 1852 года. В ответ на его письмо из Турина я ему его послал — и приписал: «Письмо ваше тронуло меня, я никогда не сомневался в добром сердце вашем...» На этом-то листе он написал, что просит у меня свиданья, и давал новый адрес и прибавлял: «Il ne s'agit pas d'argent»[2].

Я отвечал, что идти к нему не могу, потому что не я имею к нему дело, а он ко мне, потому, что он начал разрыв, а не я, наконец, потому, что он довел о том до посторонних. Но что я готов его принять у себя, когда ему угодно.

Он явился на другое утро — смирный и шелковый. Я уверял его еще и еще, что никакого враждебного шага с моей стороны сделано не будет — но что наши мнения, нравы до такой степени не сходны — что видаться нам незачем.

— Да как же вы это только теперь заметили?..

Я промолчал.

Мы расстались холодно — но учтиво.

Казалось бы, чего же еще? Нет, на другой же день Головин наградил меня следующим письмом:[3]

---

[1] совершившийся факт *(франц.).— Ред.*

[2] Дело идет не о деньгах *(франц.).— Ред.*

[3] «Morning Advertiser» тогда именно попавшийся в руки К. Блинда и немецких демократов марксовского толка,— поместил глупейшую статью, в которой доказывал единство видов моей пропаганды с русским правительством. Головин, дающий такие хорошие советы, сам впоследствии прибегнул к тем же средствам и в том же «Morning Advertiser».

«(Ad usum proprium)[1].

После сегодняшнего разговора не могу я вам отказать в сатисфакции иметь общинку, имейте! Полемики же вести я никакой не намерен, следовательно, избегайте все, что может дать повод к ней.

Когда ваши новые друзья перед вами согрешат, вы найдете во мне вам всегда преданного.

Мой совет написать в «M. Adv.», что вы процесса не заводите с ними потому только, что презираете невежество, которое не знает отличить патриота и друга свободы от агента, хвалит Бруннова и клевещет на Бакунина.

Я к вам ходить не буду, покуда буду занят делами более важными, нежели снисковать симпатии.

Когда же меня захотите посетить, всегда обрадуете тем более, что, имея кое-что общее, имеется также кое-что и переговорить.

И. Г.

26 апреля 1854 г.»

К лету я уехал в Ричмонд и некоторое время ничего не слыхал о Головине. Вдруг от него письмо. Он — не называя никого — говорил, что до него дошло, что я «смеялся над ним» у себя дома... и требовал (как у любовницы), чтоб я возвратил ему портрет его, подаренный в Ницце. Как я ни хлопотал, как ни рылся в бумагах, портрета найти не мог.

Досадно было... но пришлось передать ему, что портрет пропал. Я просил нашего общего знакомого, Савича, сказать ему, как я искал, и повторить, что я ни малейшего зла ему не желаю и прошу его оставить меня в покое.

В ответ на это — следующее письмо:

«Почтенный Александр Иванович,

Вы говорили Савичу, что если я вам напишу письмо, то вы мне возвратите 10 Liv. Мое распоряжение было дать вам 20 Liv. из последних денег, да и вы сами писали, что вы из 100 возьмете только 20. Я надеялся вывернуться скоро, вышло иначе. Но через неделю, много две, я бы мог вам возвратить эти 10 Liv. Вы говорите, что вы мне не враг, и я прошу об этом не как об одолжении от приятеля, а как об справедливости. Если вам это кажется иначе, то откажите, не барабаня об этом вашим поклонникам.

И. Г.

Август 16».

[1] Для собственного употребления *(лат.).— Ред.*

На это письмо я ничего не отвечал. Не нужно и говорить, что я Савичу никаких денежных поручений не давал. Он нарочно спутал два дела, чтоб придать вид какой-то *сделки* простой просьбе. О самом Савиче — одном из забавнейших полевых цветков нашей родины, занесенных на чужбину, мы поговорим еще когда-нибудь.

Вслед за тем второе письмо. Он догадался, что отсутствие ответа — отказ, и, разумеется, вымерил всю неосторожность своего поступка. Испугавшись, он решился взять дело приступом — он мне писал, что я «немец или жид», отослал назад мое письмо С.,[1] надписав на нем: «Вы трусите».

Затем два письма с поддельной надписью и с бранью внутри вроде D.[2]. Жалею, что часть их утратилась,— впрочем, тон один во всех.

---

[1] ⟨Письмо с пометой *B.*⟩

22 августа 1854. Ричмонд.

Милостивый государь,

Вы писали мне, что хотите прекратить всякое воспоминание нашего знакомства. Через несколько дней вы просили взаймы десять ливров.

На первое письмо я вам отвечал искренне и вежливо, не обращая внимания на тон вашего письма.

На второе я ничего не отвечал.

Переписка между нами невозможна. Я возвращаю вам письмо и не приму следующих. В полном сознании моей правоты в отношении к вам я буду упорно молчать, пока это возможно, надеясь на здравый смысл всякого беспристрастного человека.

А. Герцен.

23 августа 1854 г.

⟨Письмо с пометой *C.*⟩

Вы хотите меня заставить с вами драться, так, как заставляют мальчиков. Мне совершенно все равно, считаете ли вы меня трусом или храбрым, вором или фальшивым монетчиком.

Почему вы хотите драться теперь — потому что вам совестно, что попросили десять ливров у человека, с которым грубо прервали все сношения. Если б я вам их дал, у вас не было бы reconnaissance ⟨признательности *(франц.).— Ред.*⟩.

Я не буду с вами драться, потому что это глупо, потому что я ничего не сделал, за что обязан вам репарацией, и потому, наконец, что стою самобытно на своих ногах и не покоряюсь чужой воле или ругательным словам, диктованным каким-то помешательством.

Не думайте, что я из этого письма делаю тайну,— вы можете его читать, не читать. Вообще, делайте что хотите, только не пишите ко мне.

Я, с своей стороны, и говорить не буду, не только писать — так мне это надоело.

А. Герцен.

[2] ⟨Письмо с пометой *D.*⟩

Отослать письмо, не читая, есть дерзость, достойная храбрых. Отослать письмо, полагая, что оно содержит запрос денежный, между тем как ничего такого в нем нету, надо быть жидом. Отослать письмо, не зная, нет ли в нем чего, касающегося для чести, надо иметь об ней странные понятия.

Он ждал, что вслед за его письмом, в котором он говорит о трусости, я пришлю секундантов — мои понятия о чести были действительно странны и не совпадали с его понятиями. Что за шалость убить кандидата в Бисетр, в смирительный дом, или быть им убитым, искалеченным и наверное попасть под суд, бросить свои занятия, и все это для того, чтоб доказать, что я его не боюсь... Как будто одни бешеные собаки имеют привилегию вселять ужас, не лишая чести боящегося?

Опять пауза.— Головин не показывается в наших параж[1], кутит на чей-то *другой* счет, говорит дерзости кому-то *другому*, у кого-то другого берет деньги взаймы. Между тем последние светлые точки репутации тускнут, старые знакомые отрекаются от него, новые бегут. Луи Блан извиняется перед друзьями, встретившими его с Головиным на Regent street, дом Мильнер-Гибсона окончательно запирают для него, английские «симплетоны»[2], глупейшие из всего мира, догадываются, что он не князь и не политический человек, и вообще не человек, и только вдали одни немцы, знающие людей по книгопродавческим каталогам, считают его чем-то, «берюмтом»[3].

В феврале 1855 приготовлялся известный народный сход С.-Мартинс-Галля,— торжественный, но неудавшийся опыт — соединения социалистов всех эмиграций с чартистами. Подробности и схода, и марксовских интриг против моего избрания я рассказал в другом месте. Здесь о Головине.

Я не хотел произносить речи и пошел в заседание комитета, чтоб поблагодарить за честь и отказаться. Дело было вечером — и когда я выходил, я встретил одного чартиста на лестнице, который меня спросил, читал ли я письмо Головина в «Morning Advertiser'e»? Я не читал. Внизу был кафе и public-house; «Morning Advertiser» есть во всех кабаках — мы взошли, и Финлейн показал мне письмо Головина, в котором он писал, что до его сведения дошло, что Международный комитет меня избрал членом и просил как русского произнести речь на митинге, а потому он, *побуждаемый одной любовью к истине*, предупреждает, что я не русский, а немецкий жид, родившийся в России,— «раса, находящаяся под особым покровительством Николая».

Прочитав эту шалость, я возвратился в комитет и сказал председателю (Э. Джонсу), что беру назад мой отказ. Вместе с тем я показал ему и членам «Morning Adv.» и прибавил, что Головин очень хорошо знает мое происхождение — и «лжет из любви к истине».

---

[1] краях *(от франц. parage).— Ред.*
[2] простаки *(от англ. simpleton).— Ред.*
[3] знаменитостью *(от нем. Berühmt).— Ред.*

«Да и к тому же еврейское происхождение вряд могло либы служить препятствием,— прибавил я,— взяв во внимание, что первые изгнанники после сотворения мира были евреи — именно Адам и Ева».

Комитет расхохотался, и — с председателя начиная — приняли мое новое решение с рукоплесканием.

— Что касается до вашего выбора меня в члены — я обязан вас благодарить — но защищать ваш выбор ваше дело.

— Да! Да! — закричали со всех сторон.

Джонс на другой день напечатал несколько строк в своем «The People» и послал письмо в «Daily News».

«ALEXANDER HERZEN, THE RUSSIAN EXILE

Some sham democrat has written in the «Morning Advertiser» a libel with reference to Mr. Herzen, with a view to damage, if possible, the approaching demonstration in St. Martin's Hall. The effort is puerile, because that demonstration is one of *peoples* and *principles*, and does not in any way depend on the personality of any individual. But in justice to Mr. Herzen, we are bound to say that the ridiculous statement about his not being a Russian and an exile is a downright falsehood, and that the statement that he belongs to the same race as Joseph and Josephus is utterly without foundation; not that it is not just as honourable to belong to that once mighty and ever consistent people, as to any other. He was five years a captive in the Ural mountains, and liberated thence only to be banished from Russia, his native clime.

Mr. Herzen is at the head of Russian democratic literature, and the most distinguished exile of his country; as such, the representative of its proletarian millions. He will be at the demonstration in St. Martin's Hall, and will, we trust, receive a welcome, that will show the world the English can sympathise with the Russian people, while they desire to strike at the Russian tyrant»[1].

---

[1] «АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН, РУССКИЙ ИЗГНАННИК

Какой-то горе-демократ написал клеветническую заметку в «Morning Advertiser» о г. Герцене, очевидно с намерением, если возможно, повредить митингу, устраиваемому в St. Martin's Hall'е. Это мальчишеская выходка. Митинг устраивается различными *нациями во имя принципов* и ни в какой мере не зависит от личности какого-нибудь отдельного участника. Но чтобы быть справедливым к г. Герцену, мы обязаны сказать, что смехотворное заявление, будто он не русский и не изгнанник из своей страны, является чистей-

«MR. HERZEN

To the editor of «The Daily News»

Sir,— a letter inserted in one of your contemporaries denies Mr. Herzen, the well-known Russian exile, the right of representing, in the International Committee, Russian democracy, and even the Russian birthright.

Mr. Herzen already has disposed of the second allegation. Allow us, on behalf of the International Committee, to add to Mr. Herzen's reply a few facts respecting the first one, which very likely his modesty has prevented him alluding to.

At twenty years of age, condemned for a conspiracy against the despotism of the czar, he was sent to the frontier of Siberia, where he remained, an exile, for a period of seven years.

Pardoned a first time, he knew very soon how to deserve a second condemnation.

In the meantime, political pamphlets, philosophical writings, and novels secured him one of the most distinguished places in Russian literature.

However, for the literary and political part played by Mr. Herzen in his own country, we can do no better than to refer to an article published on the 6th inst. in the «Athenaeum», of which nobody will suspect the impartiality.

Arrived in Europe in 1847, Mr. Herzen occupied an important rank amongst the distinguished men who attached their names to the great revolutionary movement of 1848. Since that time he has started in London the first Russian free press, wherein he prosecutes against the czar Nicolas and Russian despotism a deadly and most useful war.

In consequence of these facts, anxious as we were to unite the whole democracy in a common manifestation, we neither hoped nor

---

шей ложью; а утверждение, будто он принадлежит к той же самой расе, что Иосиф и Иосиф Флавий, совершенно ни на чем не основано, хотя, разумеется, нет ничего дурного и постыдного принадлежать к этому некогда могущественному и всегда стойкому народу, как ко всякому другому. В течение пяти лет Герцен находился в ссылке на Урале, а освободившись оттуда, он был изгнан из России — своей родины.

Герцен стоит во главе русской демократической литературы, он является самым выдающимся из эмигрантов его страны, а как таковой — и представителем ее пролетарских миллионов. Он будет участвовать в митинге в St. Martin's Hall'e, и мы уверены, что прием, который ему будет оказан, покажет всему миру, что англичане могут симпатизировать русскому народу и в то же время намерены бороться с русским тираном» *(англ.).— Ред.*

wished to find in England or in Europe a nobler and truer representative of the revolutionary party in Russia. Yours, &c. (Signed on behalf of the International Committee.)

The President
Secretaries:
Robert Chapman.
Conrad Dombrowski.
Alfred Talandier»[1].

Головин умолк и уехал в Америку.

«Наконец,— думал я,— мы освободились от него. Он пропадет в этом океане всяких свиндлеров и искателей богатств и приключений, сделается там пионером или диггером[2], шулером или слев-

---

[1] «Г-Н ГЕРЦЕН
Издателю «The Daily News»

М. г.! В одном из нумеров Вашего издания помещено письмо, отрицающее за известным русским изгнанником г. Герценом не только право на представительство русской демократии в Международном комитете, но даже право на принадлежность к русской национальности.

Г-н Герцен уже отвечал на второе обвинение. Позвольте нам от имени Международного комитета присоединить к ответу г. Герцена несколько фактов касательно первого обвинения,— фактов, сослаться на которые г. Герцену, по всей вероятности, не позволила его скромность.

Осужденный, имея от роду двадцать лет, за заговор против царского деспотизма, г. Герцен был сослан на границу Сибири, где и проживал в качестве ссыльного в течение семи лет. Амнистированный в первый раз, он очень скоро сумел заслужить и вторую ссылку.

В то же самое время его политические памфлеты, философские статьи и беллетристические произведения доставили ему одно из самых выдающихся мест в русской литературе. Чтоб показать, какое место принадлежит г. Герцену в политической и литературной жизни его родины, мы не можем сделать ничего лучшего, как сослаться на статью, напечатанную 6 числа текущего месяца в «Athenaeum», журнале, который никто не заподозрит в пристрастии.

Прибывши в Европу в 1847 году, г. Герцен занял видное место в ряду тех выдающихся людей, имена которых тесно связаны с революционным движением 1848 года. С этого же времени он основал в Лондоне первое свободное русское издание, целью которого стала смертельная, в высшей степени полезная война против царя Николая и русского деспотизма.

Ввиду всех этих фактов, задавшись целью направить по единому руслу деятельность всей демократии в целом, мы не надеялись, да и не желали бы найти более благородного и более истинного представителя революционной партии в России, чем г. Герцен.

С почтением
по уполномочию Международного комитета
Председатель
Секретариат: *Роберт Чапмен*
Конрад Домбровский
Альфред Талландье» (англ.).— Ред.

[2] золотоискателем *(от англ. gold-digger).— Ред.*

гольдером;[1] разбогатеет ли он там или будет повешен по Lynch law[2] — все равно, лишь бы не возвратился». Ничуть не бывало — вернулся мой Головин через год в том же Лондоне и встретил на улице Огарева, который ему не кланялся; подошел и спросил его: «А что, это вам не велели, что ли, кланяться?» — и ушел. Огарев нагнал его и, сказав: «Нет, я по собственному желанию не кланяюсь с вами»,— пошел своей дорогой. Само собою разумеется, это тотчас вызвало следующую ноту:

«Приступая к изданию *Кнута*, я не ищу быть в ладу с моими врагами, но я не хочу, чтобы они думали обо мне всякий вздор. В двух словах я вам скажу, что было у меня с Герценом. Я был у него на квартире и просил не ссориться. «Не могу,— говорит,— не симпатизирую с вами, давайте полемику вести». Я ее не вел, но когда он отослал мне письмо нераспечатанное, тогда я его назвал немцем. Это — Брискорн, называвший Долгорукого немцем на смех солдатам. Но Герцену угодно было отвечать и рассказать свою историю, а потом разгневаться не на себя, а на меня. Но и в истории в этой ничего не было обидного. Допустим, что мое поведение с ним было дурно, а ваше со мною хорошо, хотя вы и не близнецы, все еще не за что становиться на дыбы, не лезя в драку.

Головин.

Ине. 12/57».

Мы решились, безусловно, молчать. Нет досаднее наказания крикунам и hâbleur'ам[3], как молчание, как немое, холодное пренебрежение. Головин еще раза два сделал опыт написать к Огареву колкие и остроумные записки, вроде приложенной второй миссивы[4], уже совершенно лишенной смысла и смахивающей на действительное сумасшествие.

«*Берлин, 20 августа.*

Я видел
бога цензуры русской
и не смолчал ему.

С Будбергом мы грызлись два часа; он рыдал, как теленок. Vous voulez la guerre, vous l'aurez[5].

---

[1] рабовладельцем *(от англ. slave-holder).— Ред.*
[2] закону Линча *(англ.).— Ред.*
[3] бахвалам *(франц.).— Ред.*
[4] послания *(от франц. missive).— Ред.*
[5] Вы желаете войны,— вы ее получите *(франц.).— Ред.*

Мы были врагами с Герценом два-три года. Что из этого произошло? Пользы никому! Хочет он стреляться! У меня *Стрела* готова! Но для пользы общей гораздо лучше подать руку!

Victoria Hôtel.

Вы издаете ваши полные сочинения. Пахнет ли в них мертвыми, как в Дании?»

Ни слова ответа.

А впрочем, с ума сойти было от чего. Мало-помалу все материальные и моральные средства иссякли, литературные аферы, поддерживавшие его, кредиту — нигде; он предпринимал всякого рода полусветлые и полутемные дела,— все падало на его голову или валилось из рук. На средства он не был разборчив.

Одним добрым утром, вероятно не зная, где бы на чужой счет хорошенько пообедать,— а хорошо обедать он очень любил,— Головин написал Палмерстону письмо и предложил себя... это было в конце Крымской войны,— тайным агентом английскому правительству, обещая быть очень полезным по прежним связям своим в Петербурге и по отличному знанию России. Палмерстону стало гадко, и он велел отвечать секретарю, что вискоунт благодарит г. Головина за предложение, но в настоящую минуту его услугами не нуждается. Это письмо в пакете с печатью Палмерстона Головин долго носил в кармане и *сам показывал его.*

После смерти Николая он поместил в каком-то журнале ругательную статью против новой императрицы, подписав ее псевдонимом,— и через день поместил в том же журнале возражение за своей подписью. Наш приятель Кауфман, редактор «Литографированной корреспонденции», обличил эту проделку, и об ней прокричали десятки журналов. Затем он предложил русскому посольству в Лондоне издавать *правительственную* газету. Но и Бруннов, как Палмерстон, еще не чувствовал настоятельной потребности в его услугах.

Тогда он просто попросил амнистию и тотчас получил ее с условием поступить на службу. Он испугался, стал торговаться о месте служения, просил, чтоб его взял к себе Суворов, бывший тогда генерал-губернатором остзейских провинций. Суворов согласился — Головин не поехал, а написал князю Горчакову письмо о своем сновидении: он видел — государь призывает его в свой совет и что он с рвением ему благие дела советует.

Сны не всегда сбываются, и, вместо места в царской думе, наш поседевший шалун чуть не попал в исправительный дом. Встретившись с каким-то коммерческим фактотумом Стерном, Головин,

без гроша денег, поднялся на всякие спекуляции, забывая, что еще в 1846 имя его было выставлено в Париже на бирже как человека, нечисто играющего. Он хотел надуть Стерна — Стерн надул его; Головин прибегнул к своей методе: он поместил в журналах статью о Стерне, в которой коснулся его семейной жизни. Стерн взбесился и потребовал его к суду. Головин явился растерянный, испуганный, к солиситору, он боялся тюрьмы, сильного штрафа, огласки. Солиситор предложил ему подписать какой-то документ на мировую, он подписал полное отречение от сказанного. Солиситор скрепил, а Стерн, вылитографировавши документ и снабдив его facsimil'ем, разослал ко всем своим и головинским знакомым. Один экземпляр получил и я.

«*4, Egremont Place, London.*
29 may 1857.

Dear Sir,

Your having commenced an action for libel against me in respect of certain statements I have made both verbally and in writing reflecting upon your character and your having through the intervention of mutual friends consented to forego further proceedings therein upon my paying the costs thereof and retracting such statements and also expressing my regret at having made use of them, I thus gladly avail myself of those terms and beg to assure you that if anything that I may have written or said has tended in the most remote degree to injure you I can only say that such was not my intention and that I am very sorry for having adopted the course I did which shall never be repeated by

yours truly
I. Golovin.

E. Stern Esq.

Witness: H. Empson, Solicitor. 61. Moorgate street, London» [1].

---

[1] «Милостивый государь! Так как вы возбудили против меня дело о клевете по поводу некоторых моих устных и письменных заявлений, бросающих тень на вас, и так как вы при посредничестве общих друзей согласились прекратить это дело в том случае, если я заплачу судебные издержки и откажусь от упомянутых заявлений, а также выражу сожаление, что сделал их,— то я с радостью принимаю эти условия и прошу вас верить, что если что-либо из сказанного или написанного мною хотя бы в малейшей степени повредило вам, я не имел такого намерения и крайне сожалею о том, что сделал и чего более никогда не повторит ваш покорный слуга

И. Головин.

Г-ну. Е. Стерну, эсквайру.
Свидетель: Г. Эмпсон, адвокат» *(англ.).— Ред.*

Затем Лондон оказался решительно невозможным... Головин оставил его, увозя с собой целую портфель незаплоченных счетов — портных, сапожников, трактирщиков, домохозяев... Он уехал в Германию и вдруг как-то скоропостижно женился. Замечательное событие это он телеграфировал в тот же день императору Александру II.

Года через два, прожившие приданое жены, он напечатал в фельетоне какой-то газеты о несчастиях гениального человека, женатого на простой женщине, которая не может его понимать.

Затем я не слыхал об нем больше пяти лет.

В начале польского восстания — новый опыт примириться: «Польские и русские друзья этого требуют, ждут!» — Я промолчал.

...В начале 1865 я встретил в Париже какого-то сгорбившегося старика, с осунувшимся лицом, в поношенной шляпе, в поношенном пальто... Было ветрено и очень холодно... Я шел на чтение к А. Дюма... которое тоже было ветрено — и вяло. Старик прятался в воротник; проходя, он, не глядя на меня, пробормотал: «Отзвонил!» — и пошел далее. Я приостановился... Головин шел прежней тяжелой ступней, не оборачивался,— пошел и я. Остановился я затем, что раза два он встречался со мной на лондонских улицах; раз он пробормотал: «Экой злой!» — другой — сказал себе что-то под нос, вероятно обругал, но я не слыхал, и ко мне он не обращался, а начинать с ним уличную историю мне не хотелось. Он рассказал впоследствии Савичу и Савашкевичу, что, встретившись, обругал меня, а я промолчал.

— Что же Головин здесь делает?— спросил я того же Гольтинского, о котором упомянул.

— Плохо ему; он сделался брокантером, менялой, покупает скверные картины, надувает ими дураков, а большей частью сам бывает надут... Стареет, брюзжит, пишет иногда статьи, которые никто не печатает, не может вам простить ваши успехи... и ругает вас на чем свет стоит.

...Сношений между нами не было с тех пор. Но через годы, когда всего менее ждешь,— получается письмо... то с предложением примириться, по просьбе каких-то поляков, то с какой-нибудь бранью. С нашей — ни слова ответа.

Я вздумал, как ни скучно, записать наши похождения и для этого развернул уцелевшие письма его. В то время как я взялся за перо и написал первые строки, мне подали письмо руки Головина. Вот оно, как достойный эпилог:

«Александр Иванович!

Напоминаю я Вам о себе редко, но разнесся слух, что вы «умываете себе руки» и сходите с колокольни.

По-моему, не берись за гуж, а взявшись за гуж, не говори, что дюж.

Ваши средства вам позволяют издавать «Колокол» и при потере. Если можно, поместите письмо, при сем приложенное.

Головин».

«Г-ну Каткову, редактору «Московских ведомостей»

Милостивый государь!

Извините меня, если я не знаю вас ни по имени, ни по отчеству, знаю вас только за вашу слепую ненависть к полякам, в которых вы не признаете ни людей, ни славян, знаю также за ваше незнание европейских вопросов.

Мне говорят, что в вашем журнале была фраза: «Дерптское перо сожалеет об России и утопает в ничтожестве» или нечто подобное. Я жалею Россию, жалею *опричничество* и неурядицу ее, жалею дворянство, которое принуждено делать фальшивые ассигнации и фальшивые билеты лотереїные, так что в настоящую минуту представлено три билета, выигравших сто тысяч рублей, и никто не может отличить, который настоящий, жалею унижающихся крестьян, ворующих чиновников и священников, врущих вздор; но я знаю, что *на Руси не красно жить*.

Угодно было его величеству не велеть мне прописать в паспорт глупый чин, добытый мною в университете, и я записал в его формулярный список титул *благонамеренного*, который ему и остается, так что написанное пером не вырубается и топором.

Украли у меня отечество за политическую экономию; я вспомнил, что я человек прежде, нежели русский, и служу человечеству — поприще гораздо большее, нежели служба государственная, которую мне возлагали в обязанность.

В моих глазах я не упал, а поднялся. Слышал я, что если б приехал, то заперли бы меня в дом умалишенных; но надо было бы выпустить много крови, чтоб ослабел мой мозг,— операция, известная под 53 градусом северной широты против людей, которым есть с чего сходить.

Имею честь быть ваш покорный слуга.

Ив. Головин.

Париж, февр. 1/66».

ГЛАВА I
БЕЗ СВЯЗИ

I
ШВЕЙЦАРСКИЕ ВИДЫ[1]

Лет десять тому назад, идучи поздним зимним, холодным, сырым вечером по Геймаркету, я натолкнулся на негра лет семнадцати; он был бос, без рубашки и вообще больше раздет тропически, чем одет по-лондонски. Стуча зубами и дрожа всем телом, он попросил у меня милостыни. Дня через два я опять его встретил, а потом — еще и еще. Наконец, я вступил с ним в разговор. Он говорил ломаным англо-испанским языком, но понять смысл его слов было не трудно.

— Вы молоды,— сказал я ему,— крепки, что же вы не ищете работы?

— Никто не дает.

— Отчего?

— Нет никого знакомого, кто бы поручился.

— Да вы откуда?

— С корабля.

— С какого?

— С испанского. Меня капитан очень бил, я и ушел.

— Что вы делали на корабле?

— Все — платье чистил, посуду мыл, каюты прибирал.

— Что же вы намерены делать?

— Не знаю.

— Да ведь вы умрете с холода и голода, по крайней мере, наверно схватите лихорадку.

[1] Небольшие отрывки из этого отдела были напечатаны в «Колоколе».

— Что же мне делать? — говорил негр с отчаянием, глядя на меня и дрожа всем телом от холода.

«Ну,— подумал я,— была не была — не первая глупость в жизни».

— Идите со мной, я вам дам угол и платье, вы будете чистить у меня комнаты, топить камины и останетесь, сколько хотите, если будете вести себя порядком и тихо. Se no — no[1].

Негр запрыгал от радости.

В неделю он потолстел и весело работал за четырех. Так прожил он с полгода; потом, как-то вечером, явился перед моей дверью, постоял молча и потом сказал мне:

— Я к вам пришел проститься.

— Как так?

— *Теперь довольно*, я пойду.

— Вас кто-нибудь обидел?

— Помилуйте, я всеми доволен.

— Так куда же вы?

— На какой-нибудь корабль.

— Зачем?

— Очень соскучился, не могу; я сделаю беду, если останусь, мне надобно море. Я поезжу и опять приеду, а *теперь довольно*.

Я сделал опыт остановить его, дня три он подождал и во второй раз объявил, что это сверх сил его, что он должен уйти, что *теперь довольно*.

Это было весной. Осенью он явился ко мне снова тропически раздетый, я опять его одел; но он вскоре наделал разных пакостей, даже грозил меня убить, и я был вынужден его прогнать.

Последнее к делу не идет, а идет к делу то, что я совершенно разделяю воззрение негра. Долго живши на одном месте и в одной колее, я чувствую, что на некоторое время *довольно*, что надобно освежиться другими горизонтами и физиономиями... и с тем вместе взойти в себя, как бы это ни казалось странным. Поверхностная рассеянность дороги не мешает.

Есть люди, предпочитающие отъезжать *внутренно*: кто при помощи сильной фантазии и *отвлекаемости* от окружающего — на это надобно особое помазание, близкое к гениальности и безумию,— кто при помощи опиума или алкоголя. Русские, например, пьют запоем неделю-другую, потом возвращаются ко дворам и делам. Я предпочитаю передвижение всего тела передвижению мозга и кружение по свету — кружению головы.

Может, оттого, что у меня похмелье тяжело.

Так рассуждал я 4 октября 1866 в небольшой комнате дрянной

[1] Если нет, так нет *(итал.)*.— *Ред.*

гостиницы на берегу Невшательского озера, в которой чувствовал себя как дома, как будто в ней жил всю жизнь.

С летами странно развивается потребность одиночества и, главное, тишины... На дворе было довольно тепло, я отворил окно... Все спало глубоким сном: и город, и озеро, и причаленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрыпу и видно по легкому уклонению мачты, никак не попадавшей в линию равновесия и переходившей ее то направо, то налево...

...Знать, что никто вас не ждет, никто к вам не взойдет, что вы можете делать что хотите, умереть, пожалуй... и никто не помешает, никому нет дела... разом страшно и хорошо. Я решительно начинаю дичать и иногда жалею, что не нахожу сил принять светскую схиму.

Только в одиночестве человек может работать во всю силу своей могуты. Воля располагать временем и отсутствие неминуемых перерывов — великое дело. Сделалось скучно, устал человек — он берет шляпу и сам ищет людей и отдыхает с ними. Стоит ему выйти на улицу — вечная каскада лиц несется, нескончаемая, меняющаяся, неизменная, с своей искрящейся радугой и седой пеной, шумом и гулом. На этот водопад вы смотрите, как художник. Смотрите на него, как на выставку, именно потому, что не имеете практического отношения. Все вам постороннее, и ни от кого ничего не надобно.

На другой день я встал ранехонько и уже в одиннадцать часов до того проголодался, что отправился завтракать в большой отель, куда меня с вечера не пустили за неимением места. В столовой сидел англичанин с своей женой, закрывшись от нее листом «Таймса», и француз лет тридцати — из новых, теперь слагающихся типов — толстый, рыхлый, белый, белокурый, мягко-жирный,— он, казалось, готов был расплыться, как желе в теплой комнате, если б широкое пальто и панталоны из упругой материи не удерживали его мясов. Наверно, сын какого-нибудь князя биржи или аристократ демократической империи. Вяло, с недоверием и пытливым духом продолжал он свой завтрак; видно было, что он давно занимается и — устал.

Тип этот, почти не существовавший прежде во Франции, начал слагаться при Людвиге-Филиппе и окончательно расцвел в последние пятнадцать лет. Он очень противен — и это, может, комплимент французам. Жизнь кухонного и винного эпикуреизма не так искажает англичанина и русского, как француза. Фоксы и Шериданы пили и ели за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Француз безнаказанно предается одной *литературной* гастрономии, состоящей в утонченном *знании* яств и витийстве при заказе блюд. Ни одна нация не *говорит* столько об

обеде, о приправах, тонкостях, как французы; но это все фиоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француза заедает, поглощает... оно ему не по нервам. Француз остается цел и невредим только при самом многостороннем волокитстве, это его национальная страсть и любимая слабость — в ней он силен.

— Прикажете десерт? — спросил гарсон, видимо уважавший француза больше нас.

Молодой господин варил в это время пищу в себе и потому, медленно поднимая на гарсона тусклый и томный взгляд, сказал ему:

— Я еще не знаю,— потом подумал и прибавил: — Une poire![1]

Англичанин, который в продолжение всего времени молча ел за ширмами газеты, встрепенулся и сказал:

— Et à moà aussi![2]

Гарсон принес две груши, на двух тарелках, и одну подал англичанину; но тот с энергией и азартом протестовал:

— No, no! Aucune chose pour poire![3]

Ему просто хотелось пить. Он напился и встал; я тут только заметил, что на нем была детская курточка, или спенцер, светло-коричневого цвета и светлые панталоны в обтяжку, страшно сморщившиеся возле ботинок. Встала и леди,— она подымалась все выше, выше — и, сделавшись очень высокой, оперлась на руку приземистого своего мужа и вышла.

Я их проводил улыбкой невольной, но совершенно беззлобной; они все же мне казались вдесятеро больше люди, чем мой сосед, расстегивавший, по случаю удаления дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейн — естественная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько невыразимой скуке обеих сторон. Тройная скука налегла здесь на все: немецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нет удивительного, что единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью; кроме мертвых, здесь никто не веселится, хотя немецкое общество сильно любит музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Город транзитный — все проезжают по нем и никто не останавливается, кроме комиссионеров и ломовых извозчиков высшего порядка.

---

[1] Грушу! *(франц.)* — *Ред.*

[2] И мне тоже *(искаж. франц.)*.— *Ред.*

[3] Нет, нет! Чего-нибудь попить! *(искаж. франц; boire — пить)* — *Ред.*

Жить в Базеле без особой любви к деньгам нельзя. Впрочем, вообще в швейцарских городах жить скучно, да и не в одних швейцарских, а во всех небольших городах. «Чудесный город Флоренция,— говорит Бакунин,— точно прекрасная конфета... ешь — не нарадуешься — а через неделю нам все сладкое смертельно надоедает». Это совершенно верно, что же и говорить после этого о швейцарских городах? Прежде было покойно и хорошо на берегу Лемана; но с тех пор, как от Вевея до Вето все застроили подмосковными и в них выселились из России целые дворянские семьи, исхудалые от несчастия 19 февраля 1861,— нашему брату там не рука.

Лозанна.

Я в Лозанне проездом. В Лозанне все проездом, кроме аборигенов.

В Лозанне посторонние не живут, несмотря ни на ее удивительные окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: раз после смерти Кромвеля, раз при жизни Гиббона и теперь, строя в ней домы и виллы. Живут туристы только в Женеве.

Мысль о ней для меня неразрывна с мыслью о самом холодном и сухом великом человеке и о самом холодном и сухом ветре — о Кальвине и о бизе[1]. Я обоих терпеть не могу.

И ведь в каждом женевце осталось что-то от бизы и от Кальвина, которые дули на него духовно и телесно со дня рождения, со дня зачатия и даже прежде — один из гор, другой из молитвенников.

Действительно, след этих *двух простуд*, с разными пограничными и чересполосными оттенками: савойскими, валлийскими, пуще всего французскими — составляет основной характер женевца — хороший, но не то чтоб особенно приятный.

Впрочем, я теперь описываю путевые впечатления,— а в Женеве — *я живу*. Об ней я буду писать, отойдя на артистическое расстояние...

...В Фрибург я приехал часов в десять вечера... прямо к Zähringhof'у. Тот же хозяин, в черной бархатной скуфье, который встречал меня в 1851 году, с тем же правильным и высокомерно-учтивым лицом русского обер-церемониймейстера или английского швейцара, подошел к омнибусу и поздравил нас с приездом.

...И столовая та же, те же складные четырехугольные диванчики, обитые красным бархатом.

---

[1] северный ветер *(от франц. bise)*.— *Ред.*

Четырнадцать лет прошли перед Фрибургом, как четырнадцать дней! Та же гордость кафедральным органом, та же гордость цепным мостом.

Веяние нового духа, беспокойного, меняющего стены, разбрасывающегося, поднятого эквинокциальными[1] бурями 1848 года — мало коснулось городов, стоящих в нравственной и физической стороне, вроде иезуитского Фрибурга и пиетистического Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашьим шагом, стали лучше — но нам кажутся отсталыми в своей каменной одежде, сшитой не по моде... А ведь многое в прежней жизни было недурно, прочнее, удобнее — она была лучше разочтена для *малого* числа избранных и именно поэтому не соответствует огромному числу вновь приглашенных — далеко не так избалованных и не так трудных во вкусе.

Конечно, при современном состоянии техники, при ежедневных открытиях, при облегчении средств можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человек, владеющий местом, довольствуется малым. Вообще на него наклепали, и, главное, наклепал он сам — то пристрастие к комфорту и ту избалованность, о которой говорят. Все это у него риторика и фраза, как и все прочее,— были же у него свободные учреждения без свободы, отчего же не иметь блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключения. Мало ли что можно найти у английских аристократов, у французских камелий, у иудейских князей мира сего... Все это личное и временное: лорды и банкиры не имеют будущности, а камелии — наследников. Мы говорим о *всем свете*, о золотой посредственности, о хоре и кордебалете, который теперь на сцене и жуирует, оставляя в стороне отца лорда Станлея, имеющего тысяч двадцать франков дохода в день, и отца того двенадцатилетнего ребенка, который на днях бросился в Темзу, чтоб облегчить родителям пропитанье.

Старый разбогатевший мещанин любит толковать об удобствах жизни, для него все это еще ново: *что он барин*, qu'il a ses aises[2], «что его средства ему позволяют, что это его не разорит». Он дивится деньгам и знает их цену и летучесть, в то время как его предшественники по богатству не верили ни в их истощаемость, ни в их достоинство — и потому разорялись. Но разорялись они со вкусом. У «буржуа» мало смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой, наследственной, скупой жизни осталась. Он, пожалуй, и тратит большие деньги, но не на то, что́ надобно. Поколение, прошедшее прилав-

---

[1] равноденственными *(от франц. equinoxial).— Ред.*
[2] что все к его услугам *(франц.).— Ред.*

ком, усвоило себе не те размеры, не те планы, в которых привольно, и не может от них отстать. У них все делается будто на продажу, и они, естественно, имеют в виду как можно большую выгоду, барыш и казовый конец. «Проприетер»[1] инстинктивно уменьшает размер комнат и увеличивает их число, не зная почему делает небольшие окны, низкие потолки; он пользуется каждым углом, чтоб вырвать его у жильца или у своей семьи. Угол этот ему не нужен, но на всякий случай — он его отнимает у кого-нибудь. Он с особенным удовольствием устроивает две неудобных кухни вместо одной порядочной, устроивает мансарду для горничной, в которой нельзя ни работать, ни повернуться, но зато сыро. За эту экономию света и пространства он украшает фасад, грузит мебелью гостиную и устроивает перед домом цветник с фонтаном — наказание детям, нянькам, собакам и наемщикам.

Чего не испортило скряжничество, то доделывает нерасторопность ума. Наука, прорезывающая мутный пруд обыденной жизни, не мешаясь с ней, бросает направо и налево свои богатства, но их не умеют удить мелкие лодочники. Вся польза идет гуртовщикам и ценится каплями для других, гуртовщики меняют шар земной, а частная жизнь тащится возле их паровозов в старой колымаге, на своих клячах... Камин, который бы не дымился,— мечта; мне один женевский хозяин успокоительно говорил: «Камин этот *только* дымит в бизу», то есть именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза как будто случайность или новое изобретение, как будто она не дула до рождения Кальвина и не будет дуть после смерти Фази. Во всей Европе, не исключая ни Испании, ни Италии, надобно, вступая в зиму, писать свое завещание, как писали его прежде, отправляясь из Парижа в Марсель, и в половине апреля служить молебен Иверской божией матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствий, что у них другого дела много, я им прощу и дымящиеся камины, и замки, которые разом отворяют дверь, и кровь, и вонь в сенях, и прочее, но спрошу, в чем их дело, в чем их высшие интересы? *Их нет*... они только выставляют их для скрытия невообразимой пустоты и бессмыслия...

В средние века люди жили наисквернейшим образом и тратились на совершенно ненужные и не идущие к удобствам постройки. Но средние века не толковали о страсти к удобствам — напротив, чем неудобнее шла их жизнь, тем она ближе была к их идеалу; их роскошь была в благолепии дома божия и дома общинного, и там они уж не скупились, не жались. Рыцарь строил тогда крепость,

[1] Собственник *(от франц. propriétaire).— Ред.*

Лондон. Чипсайд.

Гравюра из книги «The History of London, illustrated... by J. Woods», 1849.

а не дворец, и выбирал не наиудобнейшую дорогу для нее, а неприступную скалу. Теперь защищаться не от кого, в спасение души от украшения церквей никто не верит; от форума и ратуши, от оппозиции и клуба мирный гражданин порядка отстал; страсти и фанатизмы, религии и героизмы — все это уступило место материальному благосостоянию, *а оно-то и не устроилось*.

Для меня во всем этом есть что-то печальное, трагическое — точно этот мир живет кой-как в ожидании, что земля расступится под ногами, и ищет не устроиться, а забыться. Я это вижу не только в озабоченных морщинах, но и в боязни перед серьезной мыслью, в отвращении от всякого разбора своего положенья, в судорожной жажде недосуга, внешней рассеянности. Старики готовы играть в игрушки, «лишь бы дело не шло на ум».

Модный оттягивающий пластырь — всемирные выставки. Пластырь и болезнь вместе, какая-то перемежающаяся лихорадка с переменными центрами. Все несется, плывет, идет, летит, тратится, домогается, глядит, устает, живет еще неудобнее, чтоб следить за *успехом* — чего? Ну так, за успехами. Как будто в три-четыре года может быть такой прогресс во всем, как будто при железных дорогах такая крайность возить из угла в угол домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды...

...Ну, а выставки надоедят — примутся за войну, начнут рассеиваться грудами трупов, лишь бы не видеть каких-то *черных точек* на небосклоне...

II

БОЛТОВНЯ С ДОРОГИ И РОДИНА В БУФЕТЕ

. . . . . .

— Есть место в Андерматт?

— Вероятно, будет.

— В кабриолете?

— Может быть; вы заходите в половине одиннадцатого...

Я смотрю на часы — три без четверти... и я с чувством какого-то бешенства сажусь на лавочку перед кафе... Шум, крик, таскают чемоданы, водят лошадей, лошади стучат без нужды по камням, трактирные гарсоны завоевывают путешественников, дамы роются между саками... Щелк, щелк...— один дилижанс поскакал... щелк, щелк — другой поскакал за ним... Площадь пустеет, все разошлось... Жар смертельный, светло до безобразия, камни побледнели, собака легла было середь площади, но вдруг вскочила с негодованием и побежала в тень. Перед кафе сидит толстый хозяин в рубашке, он постоянно дремлет. Идет баба с рыбой. «Почем рыба?» — спрашивает с видом страшной злобы хозяин. Женщина говорит цену.— «Carrogna»,— кричит хозяин.—

«Ladro»[1],— кричит женщина.— «Иди мимо, старая чертовка».— «Берешь, что ли, разбойник?» — «Ну, отдавай за *три вентя* фунт».— «Чтоб тебе умереть без исповеди!» Хозяин берет рыбу, женщина — деньги, и дружески расстаются. Все эти ругательства — одна принятая форма, вроде вежливостей, употребляемых нами.

Собака продолжает спать, хозяин отдал рыбу и опять дремлет, солнце печет, сидеть дольше невозможно. Иду в кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу... Описание гор и пропастей, цветущих лугов и голых гранитов — все это есть в гиде... Лучше посплетничать. Сплетни — отдых разговора, его десерт, его соя; одни идеалисты и абстрактные люди не любят сплетней... Но о ком сплетничать?.. Разумеется, о предмете, самом близком нашему патриотическому сердцу,— о наших милых соотечественниках. Их везде много, особенно в хороших отелях.

Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи; они скоро знакомятся с гарсонами и туго — с соседями; они едят с ножа; военные похожи на немцев, но отличаются от них особенно дерзким затылком, с оригинальной щетинкой; дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за table d'hôte'ом[2] и проч.

Тунское озеро сделалось цистерной, около которой насели наши туристы высшего полета. Fremden-Liste[3] словно выписан из «Памятной книжки»: министры и тузы, генералы всех оружий и даже тайной полиции отмечены в нем. В садах отелей наслаждаются сановники, mit Weib und Kind[4], природой и в их столовой — ее дарами. «Вы через Гемми или Гримзель?» — спрашивает англичанка англичанку.— «Вы в «Jungfraublick'e» или в «Виктории» остановились?» — спрашивает русская русскую.— «Вот и «Jungfrau»!» — говорит англичанка.— «Вот и Рейтерн» (министр финансов),— говорит русская...

. . . . . .

Intcinq minutes d'arrêt...
Intcinq minutes d'arrêt...[5] —

---

[1] Стеррва... Разбойник *(итал.).— Ред.*
[2] обеденным столом *(франц.).— Ред.*
[3] Список приезжих *(нем.).— Ред.*
[4] с женами и детьми *(нем.).— Ред.*
[5] Скороговорка; надо: Vingt cinq minutes d'arrêt — двадцать пять минут остановки *(франц.).— Ред.*

и все, что было в вагонах, высыпалось в залу ресторана и бросилось за стол, торопясь съесть обед в какие-нибудь двадцать минут, из которых дорожное начальство непременно украдет пять-шесть да еще прежде испугает аппетит страшным звонком и криком: «En voiture»[1].

Взошла высокая барыня в темном и ее муж в светлом, с ними двое детей... Взошла с застенчивым, неловким видом бедно одетая девушка, у которой на руках были какие-то мешочки и баульчики. Она постояла... потом пошла в угол и села — почти возле меня. Зоркий взгляд гарсона ее заметил; прореяв с тарелкой, на которой лежал кусок ростбифа, он спустился, как коршун, на бедную девушку и спросил ее, что она желает заказать. — «Ничего»,— отвечала она, и гарсон, которого кликал английский клержимэн, побежал к нему... Но через минуту он опять подлетел к ней и, махая салфеткой, спросил ее: «Что, бишь, вы заказали?»

Девушка что-то прошептала, покраснела и встала. Меня так и кольнуло. Мне захотелось предложить ей чего-нибудь, но я не смел.

Прежде чем я решился, черная дама повела черными глазами по зале и, увидя девушку, подозвала ее пальцем. Она подошла, дама указала ей на недоеденный детьми суп, и та, *стоя* середь ряда сидящих и удивленных путешественников, смущенная и потерянная, съела ложки две и поставила тарелку.

— Messieurs les voyageurs pour Ucinnungen, Onction et Tontuyx — en voiture![2]

Все бросились с ненужной поспешностью к вагонам.

Молчать я не мог и сказал гарсону (не коршуну, другому):

— Вы видели?

— Как же не видать — это *русские*.

III
ЗА АЛЬПАМИ

...Архитектуральный, монументальный характер итальянских городов, рядом с их запущенностью, под конец надоедает. Современный человек в них не дома, а в неудобной ложе театра, на сцене которого поставлены величественные декорации.

---

[1] Занимайте места *(франц.)*.— *Ред.*

[2] Господа пассажиры на Uttingen, Mont-Sion и Tondu, занимайте места! *(искаж. франц.)*— *Ред.*

Жизнь в них не уравновесилась, не проста и не удобна. Тон поднят, во всем декламация, и декламация итальянская (кто слыхал чтение Данта, тот знает ее). Во всем та натянутость, которая бывала в ходу у московских философов и немецких *ученых* художников; все с высшей точки, vom höhern Standpunkt. Взвинченность эта исключает abandon[1], вечно готова на отпор и проповедь с сентенциями. Хроническая восторженность утомляет, сердит.

Человеку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, иметь *тугенды*[2], быть тронутым и носиться мыслью далеко в былом, а Италия не спускает с известного диапазона и беспрестанно напоминает, что ее улица не просто улица, а что она памятник, что по ее площадям не только надобно ходить, но должно их изучать.

Вместе с тем все особенно изящное и великое в Италии (а может, и везде) граничит с безумием и нелепостью,— по крайней мере, напоминает малолетство... Piazza Signoria — это детская флорентинского народа; дедушка Бонарроти и дядюшка Челлини надарили ему мраморных и бронзовых игрушек, а он их расставил зря на площади, где столько раз лилась кровь и решалась его судьба — без малейшего отношения к Давиду или Персею... Город в воде, так что по улицам могут гулять ерши и окуни... Город из каменных щелей,— так что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтоб ползать и бегать по узенькому дну, между утесами, составленными из дворцов... А тут Беловежская пуща из мрамора. Какая голова смела создать чертеж этого каменного леса, называемого Миланским собором, эту гору сталактитов? Какая голова имела дерзость привести в исполнение сон безумного зодчего... и кто дал деньги, огромные, невероятные деньги!

Люди только жертвуют на ненужное. Им всего дороже их фантастические цели. Дороже насущного хлеба, дороже своей корысти. В эгоизм надобно воспитаться так же, как в гуманность. А фантазия уносит без воспитанья, увлекает без рассуждений. Века веры были веками чудес.

Город поновее, поменее исторический и декоративный — Турин.

— Так и обдает своей прозой.

— Да, а жить в нем легче — именно потому, что он просто город, город не в собственное свое воспоминание, а для обыденной жизни, для настоящего; в нем улицы не представляют археологического музея, не напоминают на каждом шагу memento mori[3],

---

[1] непринужденность *(франц.).— Ред.*
[2] добродетели *(от нем. Tugend).— Ред.*
[3] помни о смерти *(лат).— Ред.*

а взгляните на его работничье населенье, на их резкий, как альпийский воздух, вид — и вы увидите, что это кряж людей бодрее флорентинцев, венециан, а может, и постойчее генуэзцев.

Последних, впрочем, я не знаю. К ним присмотреться очень трудно, они все мелькают перед глазами, бегут, суетятся, снуют, торопятся. В переулках к морю народ кипит, но те, которые стоят,— не генуэзцы, это матросы всех морей и океанов, шкиперы, капитаны.— Звонок там, звонок тут — Partenza! — Partenza![1]— и часть муравейника засуетилась — одни нагружают, другие разгружают.

IV

ZU DEUTSCH[2]

...Три дня льет проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется... В окне книжной лавки выставлена «Переписка Гейне», два тома. Вот спасенье — я взял их и принялся читать впредь до расчищения неба.

Много воды утекло с тех пор, как Гейне писал Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дело — с 1848 года мы всё пятились да отступали, всё бросали за борт да ежились, а кой-что сделалось, и все исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, то есть тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее, — может, оттого, что это в самом деле работа. Дон-Кихоты реакции пропороли много наших воздушных шаров, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, как дух божий, над водами с цевницей и пророческим песнопением, а цепляемся за деревья, крыши и за мать сыру-землю.

Где эти времена, когда «Юная Германия», в своем «прекрасном высоко», *теоретически* освобождала отечество и в сферах чистого разума и искусства покончивала с миром преданий и предрассудков? Гейне было противно на ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гете, грезя не совсем складные, но умные сны второй части «Фауста», однако и он ниже книжного магазина не опустился,— это все еще академическая aula[3], литературные кружки, журнальные приходы с их сплетнями и дрязгами, с их книжными Шейлохами в виде Котты

---

[1] Отплытие! Отплытие! *(итал.)* — *Ред.*
[2] Слишком по-немецки *(нем.).*— *Ред.*
[3] аудитория *(лат.).*— *Ред.*

или Гофмана и Кампе, с их геттингенскими архиереями филологии и епископами юриспруденции в Галле или Бонне. Ни Гейне, ни его круг народа не знали, и народ их не знал. Ни скорбь, ни радость низменных полей не подымалась на эти вершины — для того чтоб понять стон современных человеческих трясин, им надобно было переложить его на латинские нравы и через Гракхов и пролетариев добраться до их мысли.

Бакалавры мира *сублимированного*[1], они выходили иногда в жизнь, начиная, как Фауст, с полпивной и всегда, как он, с каким-нибудь духом школьного отрицанья, который им, как Фаусту, мешал своей рефлексией просто глядеть и видеть. Оттого-то они тотчас возвращались от живых источников к источникам историческим, тут они чувствовали себя больше дома. Занятия их, это особенно замечательно, не только не были *делом*, но и не были *наукой*, а, так сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчас бунтовал против архивного воздуха и аналитического наслаждения, хотел чего-то другого, а письма его — совершенно *немецкие письма* того немецкого периода, на первой странице которого Беттина-дитя, а на последней Рахель-еврейка. Мы свежее дышим, встречая в его письмах страстные порывы юдаизма; тут Гейне в самом деле увлекающийся человек — но он тотчас стынет, холодеет к юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не бескорыстную измену.

Революция 1830 и потом переезд Гейне в Париж сильно двинули его. «Der Pan ist gestorben!»[2] — говорит он с восторгом и торопится *туда* — туда, куда и я некогда торопился так болезненно страстно,— в Париж; он хочет видеть «великий народ» и «седого Лафайета, разъезжающего на серой лошади». Но литература вскоре берет верх, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями впересыпочку с жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположение духа, сквозь которого просвечивает безмерное, оскорбительное самолюбие. И тут же Гейне берет фальшивую ноту. Холодно вздутый риторический бонапартизм его становится так же противен, как брезгливый ужас гамбургского хорошо вымытого жида перед народными трибунами не в книгах, а на самом деле. Он не мог переварить, что рабочьи сходки не представлялись в чопорной обстановке кабинета и салона Варнгагена, «фарфорового» Варнгагена фон Энзе, как он его сам назвал.

Чистотой рук и отсутствием табачного запаха, впрочем, и огра-

---

[1] возвышенного *(от франц. sublime).— Ред.*

[2] Пан умер! *(нем.)* — *Ред.*

ничивается чувство его собственного достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не немецкое, не еврейское и, по несчастию, тоже не русское.

Гейне кокетничает с прусским правительством, заискивает в нем через посла, через Варнгагена и ругает его[1]. Кокетничает с баварским королем и осыпает его сарказмами, больше чем кокетничает с «высокой» германской диетой и выкупает свое дрянное поведение перед пей едкими насмешками.

Все это не объясняет ли, отчего учено-революционная вспышка в Германии так быстро лопнула в 1848 году? Она тоже принадлежала литературе и исчезла, как ракета, пущенная в Крольгардене; она имела своих вождей-профессоров и своих генералов от филологии, она имела свой народ в ботфортах и берстах, народ-студентов, изменивших революционному делу, как только оно перешло из метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кроме несколько забежавших или завлеченных работников, народ не шел за этими бледными *фюрерами*, они ему так и остались посторонними.

— Как вы можете выносить все обиды Бисмарка? — спросил я за год до войны у одного левого депутата из Берлина, в самое то время, когда граф набивал себе руку для того, чтоб повышибать зубы покрепче Грабова и К°.

— Мы все сделали, что могли, innerhalb[2] конституции.

— Ну, так вы бы, по примеру правительства, попробовали ausserhalb[3].

— То есть что же? Сделать воззвание к народу, остановить платежи налогов?.. Это мечта... *ни один человек не двинулся бы за нас*, не поддержал бы нас... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидетельствуя сами нашу слабость.

— Ну, так и я скажу, как ваш президент при всяком заушении: «Воскликните троекратно «Es lebe der König!»[4] и разойдитесь с миром!»

---

[1] Не то же ли делал и гений *на содержании* прусского короля? Его двуипостасность навлекла на него колкое слово. После 1848 король ганноверский, ультраконсерватор и феодал, приехал в Потсдам. На лестнице дворца его встретили разные придворные и Гумбольдт в ливрейном фраке. Злой король остановился и, улыбаясь, сказал ему: «Immer derselbe, immer Republikaner und immer im Vorzimmer des Palastes» ⟨Все тот же, всегда республиканец и всегда в прихожей дворца *(нем.).— Ред.*⟩.

[2] в пределах *(нем.).— Ред.*

[3] вне пределов *(нем.).— Ред.*

[4] Да здравствует король! *(нем.)— Ред.*

V

С ТОГО И ЭТОГО СВЕТА

1. С того

...«Villa Adolphina... Адольфина?.. что, бишь, такое?.. Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer...»[1]

Вхожу — все чисто, хорошо, деревья, цветы, английские дети на дворе, толстые, мягкие, румяные, которым от души желаю никогда не встречаться с антропофагами...[2] Выходит старушка и, спросив о причине прихода, начинает разговор с того, что она не *служанка*, «а больше по дружбе», что m-me Adolphine поехала в больницу или в богадельню, в которой она патронесса. Потом ведет меня показывать «необыкновенно удобную квартиру», которая первый раз еще не занята во время сезона и которую сегодня утром приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, в силу чего служащая «больше по дружбе» старушка искренно советовала мне не терять времени. Поблагодарив ее за такое внезапное сочувствие и предпочтение, я обратился к ней с вопросом:

— Sie sind eine Deutsche?

— Zu Diensten. Und der gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg[3]. Признаться сказать, такого города, кажется, нет, и не будет.

— Очень приятно слышать. Вы давно оставили Петербург?

— Да, не вчера-таки; мы вот уж здесь живем, на худой конец, лет двадцать. Я с детства была подругой с madame Adolphine и потом никогда не хотела ее покинуть. Она мало хозяйством занимается, все у нее идет так, некому присмотреть. Когда meine Gönnerin[4] купила этот маленький *парадиз*, она меня тотчас выписала из Брауншвейга...

— А где вы жили в Петербурге? — спросил я вдруг.

— О, мы жили в самой лучшей части города, где lauter Herrschaften und Generäle[5] живут. Сколько раз я видела покойного

---

[1] Вилла Адольфина, большие и малые комнаты, сад, вид на море... *(франц.)* — *Ред.*

[2] людоедами *(древнегреч.)*.— *Ред.*

[3] Вы немка? — К вашим услугам. А вы, сударь? — Русский. — Очень, очень приятно. Я так долго, так долго жила в Петербурге *(нем.)*.— *Ред.*

[4] моя покровительница *(нем.)*.— *Ред.*

[5] сплошь знатные господа и генералы *(нем.)*.— *Ред.*

государя, как он в коляске и в санях на одной лошади проезжал — so ernst...[1] можно сказать, настоящий потентат[2] был.

— Вы жили на Невском, на Морской?

— Да, то есть не совсем на Нефском, а тут возле, у Полицей-брюке.

«Довольно... довольно, как не знать»,— думаю я и прошу старушку, чтоб она сказала, что я приду к самой m-me Adolphine переговорить о квартире.

Я никогда не мог без особого умиления встречаться с развалинами давнишнего времени, с полуразрушенными памятниками — храма ли Весты или другого бога, все равно... Старушка «по дружбе» пошла меня провожать через сад к воротам.

— Вот наш сосед, тоже долго жил в Петербурге...— Она указала мне большой, кокетливо убранный дом, на этот раз с английской надписью: «Large and small appartement (furnished or unfurnished)»[3].— Вы, верно, помните Флориани? Coiffeur de la cour[4] был, возле Мильонной — он имел одну неприятную историю... был преследован, чуть не попал в Сибирь... знаете, за излишнее снисхождение,— тогда были такие строгости.

«Ну,— думаю,— она непременно произведет Флориани в мои «товарищи несчастья».

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту историю, в ней были замешаны синодский обер-прокурор и другие богословы и гвардейцы...

— Вот он сам.

...Высохший, беззубый старичишка, в маленькой соломенной шляпе, морской или детской, с голубой лентой около тульи, в коротеньком светло-гороховом полупальто и в полосатых штанишках... вышел за ворота. Он поднял скупо сухие, безжизненные глаза и, пожевывая тонкими губами, кивнул головой старушке «по дружбе».

— Хотите, я его позову?

— Нет, покорно благодарю... *я не по этой части* — видите, бороду не брею... Прощайте. Да скажите, пожалуйста, ошибся я или нет: у monsieur Floriani красная ленточка?

— Да, да,— он очень много жертвовал!

— Прекрасное сердце.

В классические времена писатели любили сводить на том свете давно и недавно умерших затем, чтоб они покалякали о том и о сем. В наш реальный век всё на земле и даже часть *того*

---

[1] так важно *(нем.).— Ред.*

[2] властитель *(от нем. Potentat).— Ред.*

[3] Большие и малые комнаты (с мебелью и без мебели) *(англ.).— Ред.*

[4] Придворный парикмахер *(франц.).— Ред.*

света на этом свете. Елисейские поля растянулись в Елисейские берега, Елисейские взморья и рассыпались там-сям по серным и теплым водам, у подножия гор, на рамках озер; они продаются акрами, обрабатываются под виноград... Часть умершего в треволненной жизни отправляет здесь первый курс переселения душ и гимназический класс Чистилища.

Всякий человек, проживший лет пятьдесят, схоронил целый мир, даже два — с его исчезновением он свыкся и привык к новым декорациям другого акта; вдруг имена и лица давно умершего времени являются чаще и чаще на его дороге, вызывая ряды теней и картин, где-то хранившихся на всякий случай, в бесконечных катакомбах памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной раз чуть не расплакаться...

Желающим, как Фауст, повидаться «с матерями» и даже «с отцами», не нужно никаких Мефистофелей, достаточно взять билет на железной дороге и ехать к югу. С Канна и Грасса начиная, бродят греющиеся тени давно утекшего времени; прижатые к морю, они, покойно сгорбившись, ждут Харона и свой черед.

На пороге этой Città, не то чтобы очень dolente[1], стоит привратником высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. После долгой, честной и исполненной бесплодного труда жизни он всем существом и одной седой бровью ниже другой — выражает часть дантовской надписи: Voi ch'entrate[2], *с мыслью домашними средствами поправить застарелое, историческое зло*, lasciate ogni speranza[3]. Старик Брум, лучший из ветхих деньми,— защитник несчастной королевы Каролины, друг Роберта Оуэна, современник Каннинга и Байрона, последний, ненаписанный том Маколея, поставил свою виллу между Грассом и Канном, и очень хорошо сделал. Кого было бы, как не его, поставить примиряющей вывеской в преддверии временного Чистилища, чтоб не отстращать живых?

Затем мы en plein[4] в мире умолкших теноров, потрясавших наши восьмнадцатилетние груди лет *тридцать* тому назад, ножек, от которых таяло и замирало наше сердце вместе с сердцем целого партера,— ножек, оканчивающих теперь свою карьеру в стоптанных, собственноручно вязанных из шерсти туфлях, попилепывающих за горничной из бесцельной ревности и по хозяйству — из очень целеобразной скупости...

---

[1] Città dolente — град скорбей *(итал.)*.— *Ред.*
[2] Вы, что входите сюда *(итал.)*.— *Ред.*
[3] оставьте всякую надежду *(итал.)*.— *Ред.*
[4] всецело *(франц.)*.— *Ред.*

...И все-то это с разными промежутками продолжается до самой Адриатики, до берегов Комского озера и даже некоторых немецких водяных *пятен* (Flecken). Здесь villa Taglioni, там Palazzo Rubini, тут Campagna Fanny Elssner и других *лиц*... du prétérit défini et du plus-que-parfait[1].

Возле актеров, сошедших со сцены маленького театра,— актеры самых больших подмосток в мире, давно исключенные из афиш и забытые — они в тиши доживают век Цинцинатами и философами против воли. Рядом с артистами, некогда отлично представлявшими царей, встречаются цари, скверно разыгравшие свою роль. Цари эти захватили с собой, как индейские покойники, берущие на тот свет своих жен, двух-трех преданных министров, которые так усердно помогли им пасть и сами свалились с ними. В их числе есть венценосцы, освистанные при дебюте и все еще ожидающие, что публика придет к больше справедливой оценке и опять позовет их. Есть и такие, которым impresario исторического театра не позволил и дебютировать — мертворожденные, имеющие *вчера*, но не имеющие *сегодня* — их биография оканчивается до их появления на свет; астеки давно ниспровергнутого закона престолонаследия — они остаются шевелящимися памятниками угасших династий.

Далее идут генералы, знаменитые победами, одержанными над ними, тонкие дипломаты, погубившие свои страны, игроки, погубившие свое состояние, и сморщенные седые старухи, погубившие во время бóно сердца этих дипломатов и этих игроков. Государственные фоссили[2], все еще понюхивающие табак так, как его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминают с «ископаемыми» красавицами времен M-me Récamier — залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибран и дивятся, что Патти смеет после этого петь... И в то же время люди зеленого сукна, прихрамывая и кряхтя, полурасшибленные параличом, полузатопленные водяной, толкуют с другими старушками о других салонах и других знаменитостях, о смелых ставках, о графине Киселевой, о гомбургской и баденской рулетке, об игре покойного Сухозанета, о тех патриархальных временах, когда владетельные принцы немецких вод были в доле с содержателями игр и опасный, средневековый грабеж путешественников перекладывали на мирное поприще банка и rouge ou noir...[3]

...И все это еще дышит, еще движется, кто не на ногах — в нерамбулаторе, в коляске, укрытой мехом, кто опираясь вместо клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимением слуги.

---

[1] прошедшего и давно прошедшего *(франц.).— Ред.*

[2] ископаемые *(от франц. fossile).— Ред.*

[3] красного или черного — рулетки *(франц.).— Ред.*

«Списки иностранцев» похожи на старинные адрес-календари, на клочья изорванных газет «времен наваринских и покорения Алжира».

Возле гаснущих звезд трех первых классов сохраняются другие кометы и светила, занимавшие собою, лет тридцать тому назад, праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, с которым люди следят за процессами, ведущими от трупов к гильотине и от кучей золота на каторгу. В их числе разные освобожденные от суда за «неимением доказательств» отравители, фальшивые монетчики, люди, кончившие курс нравственного лечения где-нибудь в центральной тюрьме или колониях, «контюмасы» [1] и проч.

Всего меньше встречаются в этих теплых чистилищах тени людей, всплывших середь революционных бурь и неудавшихся народных движений. Мрачные и озлобленные горцы *якобинских* вершин предпочитают суровую бизу: угрюмые лакедемоняне — они скрываются за лондонскими туманами...

II. *С этого*

1. ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ.— ПОСЛЕДНЯЯ МОГИКАНКА

— Поедемте на bal de l'Opéra — теперь самая пора — половина второго,— сказал я, вставая из-за стола в небольшом кабинете Café Anglais, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполне не протрезвлявшемуся. Мне хотелось на воздух, на шум, и к тому же я побаивался длинного tête-à-tête с моим невским Клод Лорреном.

— Поедемте,— сказал он и налил себе еще рюмку коньяку.

Это было в начале 1849 года, в минуту ложного выздоровленья между двух болезней, когда еще хотелось или казалось, что хотелось, иногда дурачества и веселья.

...Побродивши по оперной зале, мы остановились перед особенно красивой кадрилью напудренных дебардеров с намазанными мелом Пьерро. Все четыре девушки, очень молодые, лет восемнадцати — девятнадцати, были милы и грациозны, плясали и тешились от всей души, незаметно переходя от кадриля в канкан. Не успели мы довольно налюбоваться, как вдруг кадриль расстроился «по обстоятельствам, не зависевшим от танцевавших», как выражались у нас журналисты в счастливые времена цензуры. Одна из танцовщиц, и, увы, самая красивая, так ловко или так неловко опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину груди и часть спины — немного больше того,

[1] осужденные заочно *(от франц. contumace).— Ред.*

как делают англичанки, особенно пожилые, которым нечем взять, кроме плечей, на самых чопорных раутах и в самых видных ложах Ковентгардена (вследствие чего во втором ярусе решительно нет возможности с достодолжным целомудрием слушать «Casta diva» или «Sub salice»[1]).

Едва я успел сказать простуженному художнику: «Давайте-ка сюда Бонарроти, Тициана, берите вашу кисть, а то она поправится» — как огромная черная рука не Бонарроти и не Тициана, а gardien de Paris[2] схватила ее за ворот, рванула вон из кадриля и потащила за собой. Девушка упиралась, не шла, как делают дети, когда их собираются мыть в холодной воде, но человеческая справедливость и порядок взяли верх и были удовлетворены. Другие танцовщицы и их Пьерро переглянулись, нашли свежего дебардера и снова начали поднимать ноги выше головы и отпрядывать друг от друга, для того чтоб еще яростнее наступать, не обратив почти никакого внимания на похищение Прозерпины.

— Пойдемте посмотреть, что полицейский сделает с ней,— сказал я моему товарищу.— Я заметил дверь, в которую он ее повел.

Мы спустились по боковой лестнице вниз. Кто видел и помнит бронзовую собаку, внимательно и с некоторым волнением смотрящую на черепаху, тот легко представит себе сцену, которую мы нашли. Несчастная девушка в своем легком костюме сидела на каменной ступеньке и на сквозном ветру, заливаясь слезами; перед ней — сухопарый, высокий муниципал, с хищным и серьезно глупым видом, с запятой из волос на подбородке, с полуседыми усами и во всей форме. Он с достоинством стоял, сложив руки, и пристально смотрел, чем кончится этот плач, приговаривая:

— Allons, allons![3]

Для довершения удара девушка сквозь слезы и хныканье говорила:

— ...Et...et on dit... on dit que... que... nous sommes en République... et... on ne peut danser comme l'on veut!..[4]

Все это было так смешно и так в самом деле жалко, что я решился идти на выручку военнопленной и на спасение в ее глазах чести республиканской формы правления.

— Mon brave[5],— сказал я с рассчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому,— что вы сделаете с mademoiselle?

---

[1] «Непорочную богиню»... «Под ивою» *(итал.).— Ред.*

[2] полицейского *(франц.).— Ред.*

[3] Идем, идем! *(франц.) — Ред.*

[4] И... еще говорят... еще говорят... что... у нас республика... а... нельзя танцевать так, как хочешь!.. *(франц.) — Ред.*

[5] Почтеннейший *(франц.).— Ред.*

— Посажу au violon[1] до завтрашнего дня,— отвечал он сурово.

Стенания увеличиваются.

— Научится, как рубашку скидывать,— прибавил блюститель порядка и общественной нравственности.

— Это было несчастье, brigadier, вы бы ее простили.

— Нельзя. La consigne[2].

— Дело праздничное...

— Да вам что за забота? Etes-vous son réciproque?[3]

— Первый раз отроду вижу, parole d'honneur![4] Имени не знаю, спросите ее сами. Мы иностранцы, и нас удивило, что в Париже так строго поступают с слабой девушкой, avec un être frêle[5]. У нас думают, что здесь полиция такая добрая... И зачем позволяют вообще канканировать, а если позволяют, господин бригадир, тут иной раз поневоле или нога поднимется слишком высоко, или ворот опустится слишком низко.

— Это-то, пожалуй, и так,— заметил пораженный моим красноречием муниципал, а главное, задетый моим замечанием, что иностранцы имеют такое лестное мнение о парижской полиции.

— К тому же,— сказал я,— посмотрите, что вы делаете. Вы ее простудите,— как же из душной залы полуголое дитя посадить на сквозной ветер.

— Она сама не идет. Ну, да вот что, если вы дадите мне честное слово, что она в залу сегодня не взойдет, я ее отпущу.

— Браво! Впрочем, я меньше и не ожидал от господина бригадира — я вас благодарю от всей души.

Пришлось пуститься в переговоры с освобожденной жертвой.

— Извините, что, не имея удовольствия быть с вами знакомым лично, вступился за вас.

Она протянула мне горячую мокрую ручонку и смотрела на меня еще больше мокрыми и горячими глазами.

— Вы слышали, в чем дело? Я не могу за вас поручиться, если вы мне не дадите слова, или, лучше, если вы не уедете сейчас. В сущности, жертва не велика: я полагаю, теперь часа три с половиной.

— Я готова, я пойду за мантильей.

— Нет,— сказал неумолимый блюститель порядка,— отсюда ни шагу.

— Где ваша мантилья и шляпка?

---

[1] под арест *(франц.).— Ред.*

[2] Инструкция *(франц.).— Ред.*

[3] Вы ее друг? *(франц.) — Ред.*

[4] честное слово *(франц.).— ред.*

[5] с хрупким созданием *(франц.).— Ред.*

— В ложе — такой-то номер, в таком-то ряду.

Артист бросился было, но остановился с вопросом: «Да как же мне отдадут?»

— Скажите только, что было, и то, что вы от *Леонтины Маленькой*... Вот и бал! — прибавила она с тем видом, с которым на кладбище говорят: «Спи спокойно».

— Хотите, чтоб я привел фиакр?

— Я не одна.

— С кем же?

— С одним другом.

Артист возвратился окончательно распростуженный с шляпой, мантильей и каким-то молодым лавочником или commis-voyageur[1].

— Очень обязан,— сказал он мне, потрогивая шляпу, потом ей: — Всегда наделаешь историй! — Он почти так же грубо схватил ее под руку, как полицейский за ворот, и исчез в больших сенях Оперы... «Бедная... достанется ей... И что за вкус... она... и он!»

Даже досадно стало. Я предложил художнику выпить, он не отказался.

Прошел месяц. Мы сговорились человек пять: венский агитатор Таузенау, генерал Гауг, Мюллер-Стрюбинг и еще один господин, ехать в другой раз на бал. Ни Гауг, ни Мюллер ни разу не были. Мы стояли в кучке. Вдруг какая-то маска продирается, продирается и — прямо ко мне, чуть не бросается на шею и говорит:

— Я вас не успела тогда поблагодарить...

— Ah, mademoiselle Léontine... очень, очень рад, что вас встретил; я так и вижу перед собой ваше заплаканное личико, ваши надутые губки; вы были ужасно милы; это не значит, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрела на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

— Нимало.

— В воспоминание вашего плена вы должны бы были, если бы вы были очень, очень любезны...

— Ну что же? Soyez bref[2].

— Должны бы отужинать с нами.

— С удовольствием, ma parole[3], но только не теперь.

— Где же я вас сыщу?

— Не беспокойтесь, я вас сама сыщу, ровно в четыре. Да вот что, я здесь не одна...

---

[1] приказчиком *(франц.).— Ред.*

[2] Будьте кратки *(франц.).— Ред.*

[3] честное слово *(франц.).— Ред.*

— Опять с вашим другом? — и мурашки пробежали у меня по спине.

Она расхохоталась.

— Он не очень опасен,— и она подвела ко мне девочку лет семнадцати, светло-белокурую, с голубыми глазами.

— Вот мой друг.

Я пригласил и ее.

В четыре Леонтина подбежала ко мне, подала руку, и мы отправились в Café Riche. Как ни близко это от Оперы, но по дороге Гауг успел влюбиться в «Мадонну Андреа Del Sarto», то есть в блондинку. И за первым блюдом, после длинных и курьезных фраз о тинторе́ттовской прелести ее волос и глаз, Гауг, только что мы уселись за стол, начал проповедь о том, как с лицом Мадонны и выражением чистого ангела не эстетично танцевать канкан.

— Armes, holdes Kind![1] — добавил он, обращаясь ко всем.

— Зачем ваш друг,— сказала мне Леонтина на ухо,— говорит такой скучный fatras[2], да и зачем вообще он ездит на оперные балы,— ему бы ходить в Мадлену.

— Он *немец*, у них уж такая болезнь,— шепнул я ей.

— Mais c'est qu'il est ennuyeux votre ami avec son *mal de sermonts*. Mon petit saint, finiras-tu donc bientôt?[3]

И в ожидании конца проповеди усталая Леонтина бросилась на кушетку. Против нее было большое зеркало, она бесперестанно смотрелась и не выдержала; она указала мне пальцем на себя в зеркале и сказала:

— А что, в этой растрепавшейся прическе, в этом смятом костюме, в этой позе я и в самом деле будто недурна.

Сказавши это, она вдруг опустила глаза и покраснела, покраснела откровенно, до ушей. Чтоб скрыть, она запела известную песню, которую Гейне изуродовал в своем переводе и которая страшна в своей безыскусственной простоте:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hôtel-Dieu[4].

Странное существо, неуловимое, живое, «Лацерта» гетевских элегий, дитя в каком-то бессознательном чаду. Она действительно, как ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидеть, да

---

[1] Бедное, милое дитя! *(нем.)* — *Ред.*

[2] вздор *(франц.)*.— *Ред.*

[3] Однако он скучен, ваш друг, со своею *проповеднической болезнью*. Скоро ли ты кончишь, святенький? *(франц.)* — *Ред.*

[4] И я умру в собственном доме или в доме призрения *(франц.)*.— *Ред.*

и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пела, делала гримасы перед зеркалом, и все с непринужденностью ребенка и с грацией женщины. Ее frivolité[1] была наивна. Случайно завертевшись, она еще кружилась... неслась... того толчка, который бы остановил на краю или окончательно толкнул ее в пропасть, еще не было. Она довольно сделала дороги, но воротиться могла. Ее в силах были спасти светлый ум и врожденная грация.

Этот тип, этот круг, эта среда не существуют больше. Это la petite femme[2] студента былых времен, гризетка, переехавшая из Латинского квартала по сю сторону Сены, равно не *делающая* несчастного *тротуара*[3] и не имеющая прочного общественного положения камелии. Этот тип не существует, так, как не существует конверсаций[4] около камина, чтений за круглым столом, болтанья за чаем. Другие формы, другие звуки, другие люди, другие слова... Тут своя ска́ла, свое crescendo. Шаловливый, несколько распущенный элемент тридцатых годов — du leste, de l'espièglerie[5] — перешел в *шик* — в нем был кайеннский перец, но еще оставалась кипучая, растрепанная грация, оставались остроты и ум. С увеличением дел коммерция отбросила все излишнее и всем внутренним пожертвовала выставке, эталажу. Тип Леонтины — разбитной парижской gamine[6] — подвижной, умной, избалованной, искрящейся, вольной и, в случае надобности, гордой — не требуется, и *шик* перешел в *собаку*. Для бульварного Ловласа нужна женщина-собака, и пуще всего собака, имеющая своего хозяина. Оно экономнее и бескорыстнее,— с ней он может охотиться на чужой счет, уплачивая одни extra[7]. «Parbleu,— говорил мне старик, которого лучшие годы совпадали с началом царствования Людвига-Филиппа,— je ne me retrouve plus — où est le fion, le chic, où est l'esprit?.. *Tout cela*, monsieur... ne parle pas, monsieur,— c'est bon, c'est beau wellbredet, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens»[8].

Это мне напоминает, как в пятидесятых годах добрый, милый Таландье, с досадой влюбленного в свою Францию, объяснял мне с музыкальной иллюстрацией ее падение. «Когда,— говорил он,—

---

[1] легкомыслие *(франц.).— Ред.*

[2] подружка *(франц.).— Ред.*

[3] проститутка *(от франц. faire le trottoir).— Ред.*

[4] бесед *(от франц. conversation).— Ред.*

[5] вольная шутка, шалость *(франц.).— Ред.*

[6] девчонки *(франц.).— Ред.*

[7] излишки *(лат.).— Ред.*

[8] Черт возьми... я ничего больше не узнаю... Где изящество, шик, где остроумие?.. *Все это*, милостивый государь... ничего не говорит сердцу... Это красиво... это благоустроено, но это отдает мясной лавкой... отдает Рубенсом *(франц.).— Ред.*

мы были велики, в первые дни после февральской революции, гремела одна «Марсельеза» — в кафе, на улицах, в процессиях — все «Марсельеза». Во всяком театре была своя «Марсельеза», где с пушками, где с Рашелью. Когда пошло плоше и тише... монотонные звуки «Mourir pour la patrie»[1] заменили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... «Un sous-lieutenant accablé de besogne... drin, drin, din, din, din»...[2] — эту дрянь пел весь город, столица мира, вся Франция. Это не конец: вслед за тем мы заиграли и запели «Partant pour la Syrie» — вверху и «Qu'aime donc Margot... Margot»[3] — внизу, то есть бессмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя».

Можно! Таландье не предвидел ни «Ie suis la femme à barrrbe»[4], ни «Сапера»,— он еще остался в *шике* и до *собаки* не доходил.

Недосужий, мясной разврат взял верх над всеми фиоритурами. Тело победило дух и, как я сказал еще десять лет тому назад, Марго, la fille de marbre[5], вытеснила Лизетту Беранже и всех Леонтин в мире. У них была своя гуманность, своя поэзия, свои понятия чести. Они любили шум и зрелища больше вина и ужина и ужин любили больше из-за постановки, свечей, конфет, цветов. Без танца и бала, без хохота и болтовни они не могли существовать. В самом пышном гареме они заглохли бы, завяли бы в год. Их высшая представительница была Дежазе — на большой сцене света и на маленькой théâtre des Variétés. Живая песня Беранже, притча Вольтера, молодая в сорок лет Дежазе — менявшая поклонников, как почетный караул, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встречному, чтоб выручить свою приятельницу из беды.

Нынче все опрощено, сокращено, все *ближе к цели*, как говорили встарь помещики, предпочитавшие водку вину. Женщина с *фионом*[6] интриговала, занимала; женщина *с шиком* жалила, смешила, и обе, сверх денег, брали время. *Собака* сразу бросается на свою жертву, кусает своей красотой и тащит за полу sans phrases[7]. Тут нет предисловий,— тут в начале эпилог. Даже благодаря попечительному начальству и факультету нет двух прежних опасностей. Полиция и медицина сделали большие успехи в последнее время.

---

[1] «Умереть за отечество» *(франц.).— Ред.*

[2] «Подпоручик, изнемогший от работы... дрянь, дрянь, динь, динь, дрянь» *(франц.).— Ред.*

[3] «Уезжаю в Сирию»... «Что же, однако, любит Марго» *(франц.).— Ред.*

[4] «Я женщина с борррродою» *(франц.).— Ред.*

[5] мраморная девушка *(франц.). — Ред.*

[6] грацией, изюминкой *(от франц. fion).— Ред.*

[7] без лишних слов *(франц.).— Ред.*

...А что будет после *собаки*? Pieuvre[1] Гюго решительно не удалась, может, оттого, что слишком похожа на pleutre[2] — не остановиться же на собаке? Впрочем, оставим пророчества. Судьбы провидения неисповедимы.

Меня занимает другое.

Которое-то из двух будущих Кассандриной песни исполнилось над Леонтиной? Что ее некогда грациозная головка — покоится ли на подушке, обшитой кружевами, в *своем* отеле, или она склонилась на жесткий больничный валек, для того чтоб уснуть навеки или проснуться на горе и бедность? А может, не случилось ни того, ни другого, и она хлопочет, чтоб дочь выдать замуж, копит деньги, чтоб купить подставного сыну... Ведь она уже немолода теперь и небось давно перегнула за тридцать.

2. МАХРОВЫЕ ЦВЕТЫ

В *нашей Европе* повторялось в уменьшенном по количеству и в увеличенном или искаженном по качеству виде все, что́ делалось в Европе *европейской*. У нас были ультракатолики из православных, либеральные буржуа из графов, императорские роялисты, канцелярские демократы и лейб-гвардии преображенские или конногвардейские бонапартисты. Мудрено ли, что и по дамской части не обошлось без своих chic и chien[3]. С той разницей, что наш demi-monde[4] был *один с четвертью*.

Наши Травиаты и камелии большей частью титулярные, то есть почетные, растут совсем на другой почве и цветут в других сферах, чем их парижские первообразы. Их надобно искать не внизу, не долу, а на вершинах. Они не поднимаются, как туман, а опускаются, как роса. Княгиня-камелия и Травиата с тамбовским или воронежским имением — явление чисто русское, и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не-Европы, ее нравы много были спасены крепостным правом, на которое теперь так много клевещут. Любовь была печальна в деревне, она своего кровного называла «болезным», словно чувствуя за собой, что она краденая у барина и он может всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господский двор дрова, сено, баранов и своих дочерей по обязанности. Это был священный долг, коронная служба, от которой отказываться нельзя было, не делая преступ-

[1] Плевка *(франц.).— Ред.*
[2] ничтожество *(франц.).— Ред.*
[3] шик и собаки *(франц.).— Ред.*
[4] полусвет *(франц.).— Ред.*

ления против нравственности и религии и не навлекая на себя розог помещика и кнута всей империи. Тут было не до *шику*, а иногда до топора, чаще до реки, в которой гибла никем не замеченная Палашка или Лушка.

Что сталось после освобождения, мы мало знаем и потому больше держимся барынь. Они действительно за границей мастерски усвоивают себе, и с чрезвычайной быстротой и ловкостью, все ухватки, весь habitus лореток. Только при тщательном рассматривании замечается, что чего-то недостает. А недостает самой простой вещи — *быть лореткой*. Это все Петр I, работающий молотом и долотом в Саардаме, воображая, что делает дело. Наши барыни из ума и праздности, от избытка и скуки *шутят в ремесло* так, как их мужья играют в токарный станок.

Этот характер ненужности, махровости меняет дело. С русской стороны чувствуется превосходная декорация, с французской — правда и необходимость. Отсюда громадные разницы. Травиату tout de bon[1] бывает часто душевно жаль, «dame aux perles»[2] — почти никогда; над одной подчас хочется плакать, над другой — всегда смеяться. Имея наследственных две-три тысячи душ, сперва вечно, ныне временно разоряемых крестьян, многое можно — интриговать на игорных водах, эксцентрически одеваться, лежа сидеть в коляске, свистать, шуметь, делать скандалы в ресторанах, заставлять краснеть мужчин, менять любовников, ездить с ними на parties fines[3], на разные «каллистенические[4] упражнения и конверсации»[5], пить шампанское, курить гаванские сигары и ставить пригоршни золота на «черное или красное»... можно быть Мессалиной и Екатериной — но, как мы сказали, лореткой быть нельзя, несмотря на то что лоретки не родятся, как поэты, а делаются. У каждой лоретки своя история, свое посвящение, втесненное обстоятельствами. Обыкновенно бедная девушка идет, не зная куда, и наталкивается на грубый обман, на грубую обиду. От сломленной любви, от сломленного стыда у нее являются dépit[6], досада, своего рода жажда мести и с тем вместе жажда опьяненья, шума, нарядов — кругом нужда — деньги только *одним* путем и можно достать, а потому — vogue la galère![7] Обманутый ребенок без воспитания вступает в бой, победы ее балуют, завлекают (тех, которые не победили, мы не знаем,— те про-

---

[1] в самом деле *(франц.).— Ред.*
[2] даму с жемчугами *(франц.).— Ред.*
[3] интимные прогулки *(франц.).— Ред.*
[4] гимнастические *(от франц. callisthénique).— Ред.*
[5] беседы *(от франц. conversation).— Ред.*
[6] неудовольствие *(франц.).— Ред.*
[7] валяй вовсю! *(франц.) — Ред.*

падают без вести), у ней в памяти свои Маренго и Арколи — привычка владычества и пышности входит в кровь. Она же всем обязана одной себе. Начав с одного своего тела, она тоже приобретает души и так же разоряет временно привязанных к ней богачей, как наша барыня — своих нищих мужиков.

Но в этом *так же* и лежит вся непереходимая даль между лореткой по положению и камелией по дилетантизму. Та даль и та противуположность, которая так ярко выражается в том, что лоретка, ужиная в каком-нибудь душном кабинете Maison d'or, мечтает о своем будущем салоне, а русская дама, сидя в своем богатом салоне, мечтает о трактире.

Серьезная сторона вопроса состоит в том, чтоб определить, откуда у нас взялась в дамском обществе эта потребность разгула и кутежа, потребность похвастаться своим освобождением, дерзко, капризно пренебречь общественным мнением и сбросить с себя все вуали и маски? И это в то время, когда бабушки и матушки наших львиц, целомудренные и патриархальные, краснели до сорока лет от нескромного слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневским нахлебником, а за неимением его — кучером или буфетчиком.

Заметьте, что аристократический камелизм у нас не идет дальше начала сороковых годов.

И все новое движение, вся возбужденность мысли, исканья, недовольства, тоски идет от того же времени.

Тут-то и раскрывается человеческая и историческая сторона аристократического камелизма. Это своего рода полусознанный протест против старинной, давящей, как свинец, семьи, против безобразного разврата мужчин. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, был досуг читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идет с Ж. Санд, и, когда она наслушалась восторженных рассказов о Бланшах и Селестинах, у нее терпенье лопнуло, и она закусила удила. Ее протест был дик, но ведь и положение было дико. Ее оппозиция не была формулирована, а бродила в крови — она была обижена. Она чувствовала униженье, подавленность, но самобытной воли вне кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеньем, ее возмущенье было полно избалованности и дурных привычек, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась, не освобождаясь. В ней оставался внутренний страх и неуверенность, но ей хотелось делать назло и попробовать *этой другой* жизни. Против узкого своеволья притеснителей она ставила узкое своеволье лопнувшего терпенья без твердой направляющей мысли, но с заносчивой отроческой бравадой. Как ракета, она мерцала, искрилась и падала с шумом и треском, но очень неглубоко.

Вот вам история наших камелий с гербом, наших Травиат с жемчугом.

Конечно, и тут можно вспомнить желчевого Ростопчина, говорившего на смертном одре о 14 декабре: «У нас все наизнанку — во Франции la roture[1] хотела подняться до дворянства, ну, оно и понятно; у нас дворяне хотят сделаться чернью, ну, чепуха!»

Но нам именно этот характер вовсе не кажется чепухой. Он идет очень последовательно из двух начал: из чуждости образования, которое вовсе для нас не обязательно, и из основного тона другого общественного порядка, к которому мы сознательно или бессознательно стремимся.

Впрочем, это принадлежит к нашему катехизису — и я боюсь увлечься в повторения.

Травиаты наши в истории нашего развития не пропадут; они имеют свой смысл и значение и представляют удалую и разгульную ширингу авангардных охотников и песельников, которые с присвистом и бубнами, куражась и подплясывая, идут в первый огонь, покрывая собой более серьезную фалангу, у которой нет недостатка ни в мысли, ни в отваге, ни в оружии с «иголкой».

3. ЦВЕТЫ МИНЕРВЫ

Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет... Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума... Sans crinolines, идущие на замену sans-culotte'ам[2].

Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями Травиатами. Вакханки поседели, оплешивели, состарелись и отступили, а студенты заняли их место, еще не вступивши в совершеннолетие. Камелии и Травиаты салонов принадлежали николаевскому времени. Так, как выставочные генералы того же времени, щеголи-шагисты, победители своих собственных солдат, знавшие всю туалетную часть военного дела, все кокетство вахтпарадов и не замаравшие мундира неприятельской кровью. Публичных генералов, рысисто «делавших тротуар» на Невском, разом прихлопнула Крымская война. А «блеск упоительный бала», будуарная любовь и шумные оргии *генеральш* круто сменились академической аудиторией, анатомической залой, в которой подстриженный студент в очках изучал тайны природы.

Тут надобно забыть все камелии и магнолии, забыть, что су-

---

[1] чернь *(франц.).— Ред.*

[2] Без кринолинов (то есть «синие чулки»)... без коротких штанов (то есть санкюлотам) *(франц.).— Ред.*

ществуют два пола. Перед истиной науки, im Reiche der Wahrheit[1] различия полов стираются.

Камелии наши — жиронда, оттого они так и смахивают на Фобласа.

Студенты-барышни — якобинцы, Сен-Жюст в амазонке — все резко, чисто, беспощадно.

У камелий маска loup[2] из теплой Венеции.

У студентов маска же, но маска из невского льда. Первая может прилипнуть, вторая непременно растает... но это впереди.

Тут настоящий, сознательный протест, протест и перелом. Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution[3]. Разгул, роскошь, глумленье, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьем-четвертом плане. Афродита с своим голым оруженосцем надулась и ушла; на ее место Паллада с копьем и совой. Камелии шли от неопределенного волненья, от негодованья, от несытого и томного желанья... и доходили до пресыщения. Здесь идут от идеи, в которую верят, от объявления «прав женщины», и исполняют обязанности, налагаемые верой. Одни отдаются по принципу, другие неверны по долгу. Иногда *студенты* уходят слишком далеко, но все же остаются детьми — непокорными, заносчивыми, но детьми. Серьезность их *радикализма* показывает, что дело в голове, в теории, а не в сердце.

Они страстны в общем и в частную встречу вносят не больше «патоса» (как говаривали встарь), как всякие Леонтины. Может, меньше. Леонтины играют, играют огнем и очень часто, вспыхнув с ног до головы, спасаются от пожара в Сене; утянутые жизнью прежде всяких рассуждений, им иной раз трудно победить свое сердце. Наши бурши начинают с анализа, с разбора; с ними тоже многое может случиться, но сюрпризов не будет и падений не будет; они падают с теоретическим парашютом. Они бросаются в поток с руководством о плавании и намеренно плывут против течения.

Долго ли проплывут они à livre ouvert[4], я не знаю, но место в истории займут по всей справедливости.

Самые недогадливейшие в мире люди догадались об этом.

Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дедушки отечества, с улыбкой снисхожденья и даже поощренья смотрели на столбовых камелий (если только они не были супругами их сы-

---

[1] в царстве истины *(нем.).— Ред.*
[2] черная дамская полумаска *(франц.).— Ред.*
[3] Это не бунт, это революция *(франц.).— Ред.*
[4] Здесь: без оглядки *(франц.).— Ред.*

новей)... но *студенты* им не понравились... ничего не похожи на «милых шалуний», с которыми они иногда любили языком отогреть старое сердце.

Давно гневались старички на суровых нигилисток и искали случая их подвести под сюркуп[1].

А тут, как нарочно, Каракозов выстрелил... «Вот оно, государь (стали ему нашептывать), что значит не по форме одеваться... все эти очки, клочки».— «Как? не по утвержденной форме? — говорит государь.— Строжайше предписать».— «Попущенье, ваше величество, попущенье! Мы только и ожидали милостивого разрешения спасать священную особу вашего величества».

Дело не шуточное — принялись дружно. Совет, сенат, синод, министры, архиереи, военачальники, градоначальники и другие полиции совещались, думали, толковали и решили, во-первых, изгнать студентов женского пола из университетов. При этом один из архиереев, боясь подлога, приснопамятствовал, как во время оно, в лжекафолической церкве, на папеж избрана была папиха Анна, и предложил было своих иноков... так как «пред очами мертвецов срама телесного нет». Живые не приняли его предложения, генералы же, с своей стороны, думали, что такого рода экспертиза может быть только поручена высшему сановнику, который своим местом и доверием монарха поставлен вне соблазна; хотели от военного ведомства предложить это место Адлербергу-старшему и Буткову — от статских. Но и это не состоялось, говорят, потому, что великие князья домогались на этот пост.

Затем совет, синод, сенат приказали в двадцать четыре часа отрастить стриженые волосы, отобрать очки и обязать подпиской иметь здоровые глаза и носить кринолины. Несмотря на то что в «Кормчей книге» ничего не сказано о «обручеюбии» и «подолоразверстии», а волосы плести просто в ней запрещено, черное духовенство согласилось. На первый случай жизнь государя казалась обеспеченною до Елисейских полей. Не их вина, что в Париже тоже нашлись Елисейские поля, да еще с «круглой точкой».

Чрезвычайные меры эти принесли огромную пользу, и это я говорю без малейшей иронии — кому?

Нашим *нигилисткам*.

Им недоставало одного — сбросить мундир, формализм и развиваться с той широкой свободой, на которую они имеют большие права. Самому ужасно трудно, привыкнув к форме, ее отбросить. Платье прирастает. Архиерей во фраке перестанет благословлять и говорить на *о*...

---

[1] под проигрыш *(от франц. sur coupe).— Ред.*

Студенты наши и бурши долго не отделались бы от очков и прочих кокард. Их раздели на казенный счет, прибавляя к этой услуге ореолу туалетного мученичества.

Затем их дело — плыть au large[1].

P. S. Одни уже возвращаются с блестящим дипломом доктора медицины — и слава им!

Ницца, летом 1867.

ГЛАВА II

VENEZIA LA BELLA[2]

(Февраль 1867)

Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грандиознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои каюты.

Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город, крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это узел, которым привязано что-то за водами, торговый склад под военным флагом, город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер; на его площади толчется с утра до ночи все население, и молча текут из него реки улиц в море. Пока толпа шумит и кричит на площади св. Марка, никем не замеченная лодка скользит и пропадает — кто знает, что́ под ее черным пологом? Как тут было не топить людей возле любовных свиданий?

Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale[3], должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет — что за беда, давайте еще больше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваянья, картин, фресков. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с Евангельем св. Марка! Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками или Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамору, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. Павел Веронез, Тинторетт, Тициан, за

[1] на простор *(франц.).— Ред.*
[2] Красавица Венеция *(итал.).— Ред.*
[3] Дворце дожей *(итал.).— Ред.*

кисть, на помост,— каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом.

И так был живуч дух, обитавший эти камни, что мало было новых путей и новых приморских городов Колумба и Васко де Гама, чтоб сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтоб на развалинах французского трона явилась «единая и нераздельная» республика и на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет, отравленный Австрией. Но Венеция переработала яд и снова оказывается живою через полстолетия.

Да живою ли? Трудно сказать, что́ уцелело, кроме великой раковины, и есть ли новая будущность Венеции?.. Да и в чем будущность Италии вообще? — Для Венеции, может, она в Константинополе, в том вырезывающемся смутными очерками из-за восточного тумана свободном союзничестве воскресающих славяно-эллинских народностей.

А для Италии?.. Об этом после. Теперь в Венеции карнавал, первый карнавал на воле после семидесятилетнего пленения. Площадь превратилась в залу парижской Оперы. Старый св. Марк весело участвует в празднике с своей иконописью и позолотой, с патриотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющиеся всякий день в два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетают с карниза на карниз, чтоб убедиться, точно ли их столовая в таком беспорядке.

Толпа все растет, le peuple s'amuse[1], дурачится от души, из всех сил, с большим комическим талантом в декламации и словах, в выговоре и жестах, но без кантаридности[2] парижских Пьерро, без вульгарной шутки немца, без нашей родной грязи. Отсутствие всего неприличного удивляет, хотя смысл его ясен. Это шалость, отдых, забава целого народа, а не вахтпарад публичных домов, их сукурсалей[3], жительницам которых, снимая многое другое, прибавляют маску, вроде бисмарковой иголки, чтоб усилить и сделать неотразимее выстрелы. Здесь они были бы неуместны, здесь тешится народ, здесь тешится сестра, жена, дочь — и горе тому, кто оскорбит маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чем был Станислав в петлице для станционного смотрителя[4].

---

[1] народ веселится *(франц.).— Ред.*

[2] Здесь: язвительность *(от франц. cantharidine — шпанская мушка).— Ред.*

[3] отделений *(от франц. succursale).— Ред.*

[4] Год спустя я видел карнавал в Ницце. Какая страшная разница, не говоря о солдатах в полном боевом вооружении, ни жандармах, ни комиссарах полиции с шарфами... Сама масса народа, не туристов, дивила меня. Пьяные маски ругались и дрались с людьми, стоявшими в воротах, сильные тумаки сшибали в грязь белых Пьерро.

Сначала карнавал оставлял меня в покое, но он все рос и при своей стихийной силе должен был утянуть всякого.

Мало ли какой вздор может случиться, когда пляска св. Витта овладевает целым населением в шутовских костюмах. В большой зале ресторана сидят сотни, может больше, лилово-белых масок; они проехали по площади на раззолоченном корабле, который тащили быки (все сухопутное и четвероногое в Венеции — редкость и роскошь),— теперь они пьют и едят. Один из гостей предлагает курьезность и берется ее достать, *курьезность эта — я.*

Господин, едва знакомый со мной, бежит ко мне в Albergo Danieli, умоляет, просит явиться с ним на минуту к маскам. Глупо идти, глупо ломаться,— я иду. Меня встречают «evviva» и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздор, «evviva» сильнее; одни кричат — «Evviva l'amico di Garibaldi!»,— другие — «Poeta russo!». Боясь, что лилово-белые будут пить за меня, как за «pittore Slavo, scultore e maestro»[1], я ретируюсь на Piazza St. Marco.

На площади стена людей, я прислонился к пилястре, гордый титулом поэта; возле меня стоял мой проводник, исполнивший mandat d'amener[2] лилово-белых. «Боже мой, как она хороша!» — сорвалось у меня с языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый, не говоря худого слова, схватил меня и разом поставил перед ней. «Это тот *русский*»,— начал мой польский граф. «Хотите вы мне дать руку после этого слова?» — перебил я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по-русски, что давно хотела меня видеть, и так симпатически взглянула на меня, что я еще раз пожал ее руку и проводил глазами, пока было видно.

«Цветок, сорванный ураганом, смытый кровью с своих литовских полей,— думал я, глядя ей вслед,— не своим теперь светит твоя красота...»

Я сошел с площади и поехал встречать Гарибальди. На воде все было тихо... нестройно доносился шум карнавала. Строгие, насупившиеся массы домов теснятся все ближе и ближе к лодке, глядят на нее фонарями, у подъезда всплескивает правило, блеснет стальной крючок, прокричит лодочник: «Aprì — sia state»...[3] и опять тихо вода утягивает в переулок, и вдруг домы опять раздвигаются, мы в Gran Canal'e... «Fejovia, signoie»[4],— говорит гондольер, картавя, как картавит весь город. Гарибальди остался в Болонье и не приезжал. Машина, ехавшая в Флоренцию, стонала

---

[1] Да здравствует друг Гарибальди!.. Русский поэт!.. славянского художника, скульптора и маэстро *(итал.).— Ред.*

[2] приказ о приводе *(франц.).— Ред.*

[3] Дай дорогу — остановись *(итал.).— Ред.*

[4] Железная дорога, синьор *(итал. вместо ferrovia, signore).— Ред.*

в ожидании свистка. Уехать бы и мне: завтра маски надоедят, завтра не увижу я славянской красавицы...

...Город принял Гарибальди блестящим образом. Gran Canal представлял почти сплошной мост; для того чтоб попасть в нашу лодку, уезжая, нам надобно было перейти через десятки других. Правительство и его клиенты сделали все возможное, чтоб показать, что дуются на Гарибальди. Если принцу Амедею были приказаны его отцом все мелкие неделикатности, вся подленькая никировка — то отчего же у этого мальчика-итальянца не заговорило сердце, отчего он не примирил на минуту город с королем и королевского сына с совестью? Ведь Гарибальди им подарил две короны двух Сицилий!

Я нашел Гарибальди и не состаревшимся и не больным после лондонского свиданья в 1864. Но он был невесел, озабочен и неразговорчив с венецианцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящий хор — народные массы; он ожил в Киоджии, где его ждали лодочники и рыбаки; мешаясь в толпу, он говорил этим простым беднякам:

— Как мне с вами хорошо и дома! Как я чувствую, что родился от работников и был работником; несчастья нашей родины оторвали меня от мирных занятий. Я также вырос на берегу моря и знаю каждую работу вашу...

Стон восторга покрыл слова бывшего лодочника, народ ринулся к нему.

— Дай имя моему новорожденному! — кричала женщина.

— Благослови моего!..

— И моего! — кричали другие.

Храбрый генерал Ламармора и неутешный вдовец Рикасоли, со всеми вашими Шиаолами, Депретисами, вы уж отложите попеченье разрушить эту связь, она затянута мужицкой, работничьей рукой и такой веревкой, которую вам не перетереть со всеми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всеми вашими грошовыми Махиавелли.

Теперь воротимтесь к вопросу: что́ ждет Италию впереди, какую будущность имеет она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповедовал Маццини, ту ли, к которой ведет Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществлял Кавур?

Вопрос этот отбрасывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие самых скорбных и самых спорных предметов. Он прямо касается тех внутренних убеждений, которые легли в основу нашей жизни и той борьбы, которая так часто раздвоет нас с друзьями, а иной раз ставит на одну сторону с противниками.

Я сомневаюсь *в будущности латинских народов*, сомневаюсь в их *будущей* плодотворности: им нравится процесс переворотов,

но тягостен добытый прогресс. Они любят рваться к нему,— не достигая.

Идеал итальянского освобождения — беден; в нем опущен, с одной стороны, существенный, животворный элемент и, как назло, с другой — оставлен элемент старый, тлетворный, умирающий и мертвящий. Итальянская революция была до сих пор боем за независимость.

Конечно, если земной шар не даст трещины или комета не пройдет слишком близко и не накалит нашей атмосферы, Италия и в будущем *будет* Италией, страной синего неба и синего моря, изящных очертаний, прекрасной, симпатической породы людей,— людей музыкальных, художников от природы. Конечно и то, что весь этот военный и штатский remue-ménage[1], и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры — все это отразится в ее жизни, она из клерикально-деспотической сделается (и делается) буржуазно-парламентской, из дешевой — дорогой, из неудобной — удобной и проч. и проч. Но этого мало, и с этим еще далеко не уйдешь. Недурен и другой берег, который омывает то же синее море, недурна и та, доблестная и угрюмая, порода людей, которая живет за Пиренеями; внешнего врага у нее нет, камера есть, наружное единство есть... ну, что же при всем этом Испания?

Народы живучи, века могут они лежать *под паром* и снова при благоприятных обстоятельствах оказываются исполненными сил и соков. Но теми ли они восстают, как были?

Сколько веков, я чуть не сказал тысячелетий, греческий народ был стерт с лица земли как государство, и все же он остался жив, и в ту самую минуту, когда вся Европа угорала в чаду реставраций, Греция проснулась и встревожила весь мир. Но греки Каподистрии были ли похожи на греков Перикла или на греков Византии? Осталось одно имя и натянутое воспоминание. Обновиться может и Италия, но тогда ей придется начать другую историю. Ее освобождение — только *право на существование*.

Пример Греции очень идет; он так далек от нас, что меньше возбуждает страстей. Греция афинская, македонская, лишенная независимости Римом, является снова государственно самобытной в византийский период. Что же она делает в нем? Ничего или, хуже, богословскую контроверзу, *серальные* перевороты par anticipation[2]. Турки помогают застрялой природе и придают блеск зарева ее насильственной смерти. Древняя Греция *изжила свою жизнь*, когда римское владычество накрыло ее и спасло, как лава

---

[1] переполох *(франц.).— Ред.*
[2] до срока *(франц.).— Ред.*

и пепел спасли Помпею и Геркуланум. Византийский период поднял гробовую крышу, и мертвый остался мертвым, им завладели попы и монахи, как всякой могилой, им распоряжались евнухи, совершенно на месте как представители бесплодности. Кто не знает рассказов о том, как крестоносцы были в Византии — в образовании, в утонченности нравов не было сравнения, но эти дикие латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремлений, они шли вперед, с ними был *бог истории*. Ему люди не по хорошу милы, а по коренастой силе и по своевременности их propos[1]. Оттого-то, читая скучные летописи, мы радуемся, когда с северных снегов скатываются варяги, плывут на каких-то скорлупах славяне — и клеймят своими щитами гордые стены Византии. Я учеником не мог нарадоваться на дикаря в рубахе, одиноко гребущего свою комягу, отправляясь с золотой серьгой в ушах на свиданье с изнеженным, набогословленным, пышным, книжным императором Цимисхием.

Подумайте об Византии — пока наши славянофилы не пустили еще в свет новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее,— она многое объяснит из того, что́ так тяжело сказать.

Византия могла *жить*, но *делать* ей было нечего; а историю вообще только народы и занимают, пока они на сцене, то есть пока они что-нибудь делают.

...Помнится, я упоминал об ответе Томаса Карлейля мне, когда я ему говорил о строгостях парижской цензуры.

— Да что вы так на нее сердитесь? — заметил он.— Заставляя французов молчать, Наполеон сделал им величайшее одолжение: *им нечего сказать*, а говорить хочется... Наполеон дал им внешнее оправдание...

Я не говорю, насколько я согласен с Карлейлем или нет, но спрашиваю себя: *будет ли что* Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима? И иной раз, не приискав ответа, я начинаю желать, чтоб Рим остался еще надолго оживляющим desideratum'ом[2].

До Рима все пойдет недурно, хватит и энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Италия многое вынесет — и налоги, и пиэмонтское местничество, и грабящую администрацию, и сварливую и докучную бюрократию; в ожидании Рима все кажется неважным; для того чтобы иметь его, можно стесниться, надобно стоять дружно. Рим — черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он поддерживает лихорадку.

---

[1] Здесь: намерений *(франц.).— Ред.*

[2] стремлением *(лат.).— Ред.*

В Риме все переменится, все оборвется... там кажется заключение, венец; совсем нет — там *начало*.

Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают, и это превосходно, что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между пэрами, кроме признания гражданской способности *совершать акты* — и только.

Какой же *акт* возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что́ провозгласится миру на римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял «вселенную и город»?

Провозгласить «независимость» sans phrases[1] мало. А другого ничего нет... и мне подчас кажется, что в тот день, когда Гарибальди бросит свой ненужный больше меч и наденет тогу virilis[2] на плечи Италии, ему останется всенародно обняться на берегах Тибра с своим maestro[3] Маццини и сказать с ним вместе: «Ныне отпущаеши!»

Я это говорю за них, а не против них.

Будущность их обеспечена, их два имени станут высоко и светло во всей Италии от Фьюме до Мессины и будут подыматься выше и выше во всей печальной Европе по мере исторического понижения и измельчания ее людей.

Но вряд пойдет ли Италия по программе великого карбонаро и великого воина; их религия совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла меч, это труба, разбудившая спящих, знамя, с которым Италия завоевала себя... Половина идеала Маццини исполнилась и именно потому, что другая часть далеко перехватывала через возможное. Что Маццини теперь уж стал слабее, в этом его успех и величие; он стал *беднее* той частию своего идеала, которая перешла в действительность, это — слабость после родов. В виду берега Колумбу стоило плыть и нечего было употреблять все силы своего неукротимого духа. Мы в нашем круге испытали подобное... Где сила, которую придавала нашему слову борьба против крепостного права, против отсутствия всякого суда, всякой гласности?

Рим — Америка Маццини... Дальнейших зародышей viables[4] в его программе нет — она была рассчитана на борьбу за единство и Рим.

— А демократическая республика?

Это та великая *награда за гробом*, которой напутствовались

---

[1] без лишних слов *(франц.).— Ред.*
[2] совершеннолетия *(лат.).— Ред.*
[3] учителем *(итал.).— Ред.*
[4] жизнеспособных *(франц.).— Ред.*

люди на деяния и подвиги и в которую горячо и искренно верили и проповедники и мученики...

К ней идет и теперь часть твердых стариков, закаленных сподвижников Маццини, непреклонных, несдающихся, неподкупных, неутомимых каменщиков, которые вывели фундаменты новой Италии и, когда недоставало цемента, давали на него свою кровь. Но много ли их? И кто пойдет за ними?

Пока тройное ярмо немца, Бурбона и папы давило шею Италии — эти энергические монахи-воины ордена св. Маццини находили везде сочувствие. Принчипессы и студенты, ювелиры и доктора, актеры и попы, художники и адвокаты, все образованное в мещанстве, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты, все тайно, явно было с ними, работало для них. Республики хотели немногие,— независимости и единства — все. Независимости они добились, единство на французский манер им опротивело, республики они не хотят. Современный порядок дел во многом итальянцам по плечу, им, туда же, хочется представлять «сильную и величественную» фигуру в сонме европейских государств, и, найдя эту bella e grande figura[1] в Викторе-Эммануиле, они держатся за него[2].

Представительная система в ее континентальном развитии действительно всего лучше идет, когда нет ничего ясного в голове или ничего возможного на деле. Это — великое *покамест*, которое перетирает углы и крайности обеих сторон в муку и выигрывает время. Этим жерновом часть Европы прошла, другая пройдет, и мы грешные в том числе. Чего Египет — и тот въехал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником.

Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, так долго оставленные на воспитании клерикалов, я не виню даже правительство, да и как же его винить за ограниченность, за неуменье, за недостаток порыва, поэзии, такта? Оно родилось в Кариньянском дворце среди ржавых готических мечей, пудреных старинных париков

---

[1] прекрасную и величественную фигуру *(итал.)*.— *Ред.*

[2] Один милейший венгерец, граф Сандор Телеки, служивший потом в Италии кавалерийским полковником, смеясь как-то над мишурной роскошью флорентийских щеголей, сказал мне: «Помните бег в Москве или гулянье?.. Глупо, но имеет характер: кучер налит вином, шапка набекрень, лошади в несколько тысяч рублей, и барин замирает в блаженстве и соболях. А тут тощий граф какой-нибудь заложит чахлых кляч, с тиком в ногах, прядущих головой, и тот же неуклюжий худенький Жакопо, который у него садовник и повар, сидит на козлах, дергает вожжи, одетый в ливрею не по мерке, а граф просит его: «Жакопо, Жакопо, fate una grande e bella figura» ⟨сделайте величественную и прекрасную фигуру *(итал.)*.— *Ред.*⟩. Я прошу у графа Телеки ссудить меня этим выражением.

Провозглашение республики в Риме
9 февраля 1849 года.

Гравюра из газеты «L'Illustration» от 3 марта 1849 года.

и накрахмаленного этикета маленьких дворов с огромными притязаниями.

Любви оно не вселило к себе, совсем напротив, но от этого оно не слабже стало. Я был удивлен в 1863 общей нелюбовью в Неаполе к правительству. В 1867 в Венеции я видел без малейшего удивления, что через три месяца после освобождения его терпеть не могли. Но при этом я еще яснее увидел, *что бояться ему нечего*, если оно само не наделает ряда колоссальных глупостей, хотя и они ему сходят с рук необыкновенно легко.

Пример того и другого перед глазами, я его приведу в нескольких строках.

К разным каламбурам, которыми правительства иногда удостоивают отводить народам глаза, вроде «Prisonniers de la paix»[1] Людвига-Филиппа, «Империя — мир» Людвига-Наполеона, Рикасоли прибавил свой — и закон, которым *закреплял большую часть* достояния духовенству, назвал законом «*о свободе* (или независимости) *церкви в свободном государстве*». Все недоросли либерализма, все люди, не идущие дальше заглавия, обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало победу; сделка была явным образом выгодна духовенству. Явился бельгийский грешник и мытарь, за которого спрятались отцы-иезуиты. Он привез с собой груды золота, цвет которого в Италии давно не видали, и предлагал большую сумму правительству, с тем чтоб обеспечить духовенству законное владение имениями, выпытанными на духу, набранными у умирающих преступников и всяких нищих духом.

Правительство видело одно — деньги; дураки — другое: *американскую* свободу церкви в свободном государстве. Теперь же в моде прикидывать европейские учреждения на американский ярд. Герцог Персиньи находит неумеренное сходство между второй империей и первой республикой нашего времени.

Однако как ни хитрили Рикасоли и Шиаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована и подтасована без нее. Банкир прикидывался комprезарием и старался скупать итальянские голоса, но на этот раз, дело было в феврале, камера охрипла. В Неаполе подняли ропот, в Венеции созвали сходку в театр Малибран для протеста, Рикасоли велел запереть театр и поставить часовых. Без сомнения, из всех промахов, которые можно было сделать, нельзя было ничего придумать глупее. Венеция, только что освобожденная, хотела воспользоваться оппозиционным правом — и была полицейски подрезана. Собираться для празднования короля и подносить бу-

[1] «Пленников мира» *(франц.).— Ред.*

кеты al gran comandatore[1] Ламармора ничего не значит. Если б венецианцы хотели делать сходки для празднования австрийских архидюков, им, конечно, позволили бы. Опасности сходка в театре Малибран не представляла никакой.

Камера встрепенулась и спросила отчета. Рикасоли отвечал дерзко, высокомерно, как подобает последнему представителю Рауля Синей Бороды, средневековому графу и феодалу. Камера, «уверенная, что министерство не желает уменьшить право сходок», хотела перейти к очереди. Рауль, взбешенный уже тем, что его закон «о свободе церкви», в котором он не сомневался, стал проваливаться в комитетах, объявил, что он не может принять ordre du jour motivé[2]. Обиженная камера вотировала против него. За такую продерзость он на другой день отсрочил камеру, на третий — распустил, на четвертый — думал еще о какой-то крутой мере, но, говорят, Чальдини сказал королю, что на войско рассчитывать трудно.

Бывали примеры, что правительства, зарапортовавшись, прискивали дельный предлог, чтоб сделать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелепый предлог, чтоб засвидетельствовать свое поражение. Если правительство будет дальше и резче идти этим путем, может, оно и сломит себе шею; рассчитывать, предвидеть можно только то, что сколько-нибудь покорено разуму; всемогущество безумия не имеет границ, хотя и имеет почти всегда возле какого-нибудь Чальдини, который в опасную минуту выльет шайку холодной воды на голову.

А если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. Такого призрачного мира лжи и пустых слов, фраз без содержания трудно переработать народу *менее бывалому*, чем французы. У Франции все *не в самом деле*, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладает с этими тенями китайского фонаря, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать? Где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых

[1] великому командиру *(итал.)*.— *Ред.*

[2] мотивированный переход к очередным делам *(франц.)*. — *Ред.*

узлах может больше выработаться, если есть чему вырабатываться; оно же и совершенно в духе Италии.

...Середь этих рассуждений мне попалась брошюра Кине «Франция и Германия»; я ей ужасно обрадовался, не то чтоб я особенно зависел от суждений знаменитого историка-мыслителя, которого лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

В старые годы в Петербурге один приятель, известный своим юмором, найдя у меня на столе книгу берлинского Мишле «о бессмертии духа», оставил мне записочку следующего содержания: «Любезный друг, когда ты прочтешь эту книгу, потрудись сообщить мне вкратце, есть бессмертие души или нет. Мне все равно, но желал бы знать для *успокоения родственников*». Вот для *родственников*-то и я рад тому, что встретился с Кине. Наши друзья до сих пор, несмотря на заносчивую позу, которую многие из них приняли относительно европейских авторитетов, их больше слушают, чем своего брата. Оттого-то я и старался, когда мог, ставить свою мысль под покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть; держась за полу Стюарта Миля, я твердил об английском китаизме и очень доволен, что могу взять за руку Кине и сказать: «Вот и почтенный друг мой Кине говорит в 1867 о латинской Европе то, что́ я говорил обо всей в 1847 и во все последующие».

Кине с ужасом и грустью видит понижение Франции, размягчение ее мозга, ее омельчание. Причины он не понимает, ищет ее в отклонении Франции от начал 1789 года, в потере политической свободы, и потому в его словах из-за печали сквозит скрытая надежда на выздоровление возвращением к серьезному парламентскому режиму, к великим принципам революции.

Кине не замечает, что великие начала, о которых он говорит, и вообще политические идеи латинского мира потеряли свое значение, их пружина доиграла и чуть ли не лопнула. Les principes des 1789[1] не были фразой, но теперь стали фразой, как литургия и слова молитвы. Заслуга их огромна: *ими*, *через них* Франция совершила свою революцию, она приподняла завесу будущего и, испуганная, отпрянула.

Явилась дилемма.

Или свободные учреждения снова коснутся заветной завесы, или — правительственная опека, внешний порядок и внутреннее рабство.

Если б в европейской народной жизни была одна цель, одно стремление, та или другая сторона взяла бы давно верх. Но так,

[1] Принципы 1789 года *(франц.).— Ред.*

как сложилась западная история, она привела к вечной борьбе. В основном бытовом факте двойного образования лежит органическое препятствие последовательному развитию. Жить в две цивилизации, в два пласта, в два света, в два возраста, жить не целым организмом, а одной частью его, употреблять на топливо и корм другую и повторять о свободе и равенстве становится труднее и труднее.

Опыты выйти к более гармоническому, уравновешенному строю не имели успеха. Но если они не имели успеха в данном месте, это больше доказывает неспособность места, чем ложность начала.

В этом-то и лежит вся сущность дела.

Северо-Американские Штаты с своим единством цивилизации легко опередят Европу, их положение проще. Уровень их цивилизации ниже западноевропейского, *но он один* и до него достигают *все*, и в этом их страшная сила.

Двадцать лет тому назад Франция рванулась титанически к другой жизни, борясь впотьмах, бессмысленно, без плана и другого знания, кроме знания нестерпимой боли; она была побита «порядком и цивилизацией», а отступил победитель. Буржуазии пришлось за печальную победу свою заплатить всем, что́ она выработала веками усилий, жертв, войн и революций, лучшими плодами своего образования.

Центры сил, пути развития — все изменилось; скрывшаяся деятельность, подавленная работа общественного пересоздания бросились в другие части, за французскую границу.

Как только немцы убедились, что французский берег понизился, что страшные революционные идеи ее поветшали, что бояться ее нечего,— из-за крепостных стен прирейнских показалась прусская каска.

Франция все пятилась, каска все выдвигалась. Своих Бисмарк никогда не уважал, он навострил оба уха в сторону Франции, он нюхал воздух оттуда, и, убедившись в прочном понижении страны, он понял, что время Пруссии настало. Понявши, он заказал план Мольтке, заказал иголки оружейникам и систематически, с немецкой бесцеремонной грубостию забрал спелые немецкие груши и ссыпал смешному Фридриху-Вильгельму в фартух, уверив его, что он герой по особенному чуду лютеранского бога.

Я не верю, чтоб судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике. Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: «В тебе, Боруссия, нет ничего, что бы я мог назвать царем». Но все же Пруссия отодвинула

Францию на второй план и сама села на первое место. Но все же, окрасив в один цвет пестрые лоскутья немецкого отечества, *она* будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы ее будут предписывать штыком и исполнять картечью, по самой простой причине: потому что у нее больше штыков и больше картечей.

За прусской волной подымается уже *другая*, не очень заботясь, нравится это или нет классическим старикам.

Англия хитро хранит *вид силы*, отошедши в сторону, будто гордая в своем мнимом неучастии... Она почувствовала в глубине своих внутренностей ту же социальную боль, которую она так легко вылечила в 1848 полицейскими палками... Но потуги посильней... и она втягивает далеко хватающие щупальца свои на домашнюю борьбу.

Франция, удивленная, сконфуженная переменой положения, грозит не Пруссии войной, а Италии, если она дотронется до временных владений *вечного* отца, и собирает деньги на памятник Вольтеру.

Воскресит ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *последнего* военного суда, разбудит ли ее приближение *ученых* варваров?

Chi lo sa?[1]

...Я приехал в Геную с американцами, только что переплывшими океан. Генуя их поразила. Все читанное ими в книгах о Старом Свете они увидели очью и не могли насмотреться на средневековые улицы — гористые, узкие, черные, на необычайной вышины домы, на полуразрушенные переходы, укрепления и проч.

Мы взошли в сени какого-то дворца. Крик восторга вырвался у одного из американцев. «Как эти люди жили,— повторял он,— как они жили! Что за размеры, что за изящество! Нет, ничего подобного вы не найдете у нас». И он готов был покраснеть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева их в портретах, картины, картины, стены, сдавшие цвет, старая мебель, старые гербы, нежилой воздух, пустота и старик кустод[2] в черной вязаной скуфье, в черном потертом сертуке, с связкой ключей... все так и говорило, что это уж не дом, а редкость, саркофаг, *пышный след прошедшей жизни*.

— Да,— сказал я, выходя, американцам,— вы совершенно правы, люди эти хорошо *жили*.

(Март 1867)

---

[1] Кто знает? *(итал.)* — *Ред.*

[2] сторож *(от итал. custode)*.— *Ред.*

ГЛАВА III

LA BELLE FRANCE [1]

Ah! que j'ai douce souvenance
De ce beau pays de France! [2]

I

ANTE PORTAS [3]

Франция была для меня заперта. Год спустя после моего приезда в Ниццу, летом 1851, я написал письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутренних дел, и просил его дозволения приехать на несколько дней в Париж. «У меня в Париже дом, и я должен им заняться»; истый экономист не мог не сдаться на это доказательство, и я получил разрешение приехать «на самое короткое время».

В 1852 я просил права проехать Францией в Англию — *отказ*. В 1856 я хотел возвратиться из Англии в Швейцарию и снова просил визы — *отказ*. Я написал в фрибургский Conseil d'Etat [4], что я отрезан от Швейцарии и должен или ехать тайком, или через Гибралтарский пролив, или, наконец, через Германию, причем я, вероятнее всего, доеду в Петропавловскую крепость, а не в Фрибург. В силу чего я просил Conseil d'Etat вступить в сношение с французским министром иностранных дел, требуя для меня проезда через Францию. Совет отвечал мне 19 октября 1856 года следующим письмом:

«М. г.

Вследствие вашего желания мы поручили швейцарскому министру в Париже сделать необходимые шаги для получения вам авторизации проехать Францией, возвращаясь в Швейцарию. Мы передаем вам текстуально ответ, полученный швейцарским министром: «Г-н Валевский должен был совещаться по этому предмету с своим товарищем внутренних дел — *соображения особенной важности*, сообщил ему министр внутренних дел, заставили отказать г. Герцену в праве проезда Францией в прошлом августе, что он не может изменить своего решения» и проч.».

Я не имел ничего общего с французами, кроме простого знакомства; не был ни в какой конспирации, ни в каком обществе

---

[1] Прекрасная Франция *(франц.)*.— *Ред.*

[2] Ах! какое у меня приятное воспоминание об этой прекрасной стране Франции! *(франц.)* — *Ред.*

[3] Перед воротами *(лат.)*.— *Ред.*

[4] Государственный совет *(франц.)*.— *Ред.*

и занимался тогда уже исключительно русской пропагандой. Все это французская полиция, единая всезнающая, единая национальная и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня *гневались* за мои статьи и связи.

Про этот гнев нельзя не сказать, что он вышел *из границ*. В 1859 году я поехал на несколько дней в Брюссель с моим сыном. Ни в Остенде, ни в Брюсселе паспорта не спрашивали. Дней через шесть, когда я возвратился вечером в отель, слуга, подавая свечу, сказал мне, что из полиции требуют моего паспорта. «Вовремя хватились»,— заметил я. Слуга проводил меня до номера и паспорт взял. Только что я лег, часу в первом, стучат в дверь; явился опять тот же слуга с большим пакетом. «Министр юстиции покорно просит такого-то явиться завтра, в одиннадцать часов утра, в департамент de la sûreté publique»[1].

— И это вы из-за этого ходите ночью будить людей?

— Ждут ответа.

— Кто?

— Кто-то из полиции.

— Ну скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашения после полуночи.

Затем я, как Нулин, «свечку погасил».

На другое утро, в восемь часов, снова стук в дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгийская юстиция.

— Entrez![2]

Взошел господин, излишне чисто одетый, в очень новой шляпе, с длинной цепочкой, толстой и на вид золотой, в свежем черном сертуке и проч.

Я едва, и то отчасти, одетый представлял самый странный контраст человеку, который *должен* одеваться так тщательно с семи часов утра для того, чтоб его, хоть ошибкой, приняли за честного человека. Авантаж был с его стороны.

— Я имею честь говорить avec M. Herzen-père?[3]

— C'est selon[4], как возьмем дело. С одной стороны, я отец, с другой — сын.

Это развеселило шпиона.

— Я пришел к вам...

— Позвольте, чтоб сказать, что министр юстиции меня зовет в одиннадцать часов в департамент?

— Точно так.

---

[1] общественной безопасности *(франц.).— Ред.*

[2] Войдите! *(франц.) — Ред.*

[3] с господином Герценом-отцом *(франц.).— Ред.*

[4] Это смотря по тому *(франц.).— Ред.*

— Зачем же министр вас беспокоит и притом так рано? Довольно того, что он меня так поздно беспокоил вчера ночью, приславши этот пакет.

— Так вы будете?

— Непременно.

— Вы знаете дорогу?

— А что же, вам велено меня провожать?

— Помилуйте, quelle idée![1]

— Итак...

— Желаю вам доброго дня.

— Будьте здоровы.

В одиннадцать часов я сидел у начальника бельгийской общественной безопасности.

Он держал какую-то тетрадку и мой паспорт.

— Извините меня, что мы вас побеспокоили, но, видите, тут два небольших обстоятельства: во-первых, у вас паспорт швейцарский, а...— он, с полицейской проницательностью испытуя меня, остановил на мне свой взгляд.

— *А я русский*,— добавил я.

— Да, признаюсь, это показалось нам странно.

— Отчего же, разве в Бельгии нет закона о натурализации?

— Да вы?..

— Натурализован десять лет тому назад в Морате, Фрибургского кантона, в деревне Шатель.

— Конечно, *если так*, в таком случае я не смею сомневаться... Мы перейдем ко второму затруднению. Года три тому назад вы спрашивали дозволения приехать в Брюссель и получили отказ...

— Этого, mille pardons[2], не было и быть не могло. Какое же я имел бы мнение о *свободной* Бельгии, если б я, никогда не высланный из нее, усомнился в праве моем приехать в Брюссель?

Начальник общественной безопасности несколько смутился.

— Однако вот тут...— и он развернул тетрадь.

— Видно, не все в ней верно. Вот ведь вы не знали же, что я натурализован в Швейцарии.

— Так-с. Консул его величества Дельпьер...

— Не беспокойтесь, остальное я вам расскажу. Я спрашивал вашего консула в Лондоне, могу ли я перевести в Брюссель русскую типографию, то есть оставят ли типографию в покое, если я не буду мешаться в бельгийские дела, на что у меня не было никогда никакой охоты, *как вы легко поверите*. Господин Дельпьер

---

[1] что за мысль! *(франц.)* — *Ред.*

[2] тысяча извинении *(франц.)*.— *Ред.*

спросил министра. Министр просил его отклонить меня от моего намерения перевести типографию. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерский ответ, и он просил передать мне эту весть, как общего знакомого, Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просил его успокоить господина Дельпьера и уверить его, что я с большой твердостью духа узнал, что *типографию* не пустят в Брюссель, «если б,— прибавил я,— консулу пришлось мне сообщить обратное, то есть что меня и типографию во веки веков *не выпустят из Брюсселя*, может, я не нашел бы столько геройства». Видите, я очень помню все обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистил голос и, читая тетрадку, заметил:

— Действительно так, я о типографии и не заметил. Впрочем, я полагаю, вам все-таки необходимо разрешение от министра; иначе, как это ни неприятно будет для нас, но мы будем вынуждены просить вас..

— Я завтра еду.

— Помилуйте, никто не требует такой поспешности; оставайтесь неделю, две. Мы говорим насчет оседлой жизни... Я почти уверен, что министр разрешит.

— Я могу его просить для будущих времен, но теперь я не имею ни малейшего желания дальше оставаться в Брюсселе.

Тем история и кончилась.

— Я забыл одно,— запутавшись в объяснении, сказал мне опасливый хранитель безопасности,— мы малы, мы малы, вот наша беда. Il y a des égards...[1] — Ему было стыдно.

Два года спустя меньшая дочь моя, жившая в Париже, занемогла. Я опять потребовал визы, и Персиньи опять отказал. В это время граф Ксаверий Браницкий был в Лондоне. Обедая у него, я рассказал об отказе.

— Напишите к принцу Наполеону письмо,— сказал Браницкий,— я ему доставлю.

— С какой же стати буду я писать принцу?

— Это правда, пишите к императору. Завтра я еду, и послезавтра ваше письмо будет в его руках.

— Это скорее, дайте подумать.

Приехав домой, я написал следующее письмо:

«Sire,

Больше десяти лет тому назад я был вынужден оставить Францию по министерскому распоряжению. С тех пор мне два

---

[1] Есть соображения *(франц.).— Ред.*

раза был разрешен приезд в Париж[1]. Впоследствии мне постоянно отказывали в праве въезжать во Францию; между тем в Париже воспитывается одна из моих дочерей и я имею там собственный дом.

Я беру смелость отнестись прямо к в. в. с просьбой о разрешении мне въезда во Францию и пребывания в Париже, на сколько потребуют дела, и буду с доверием и уважением ждать вашего решения.

Во всяком случае, Sire, я даю слово, что желание моё иметь право ездить во Францию не имеет никакой политической цели.

Остаюсь с глубочайшим почтением вашего величества покорнейшим слугой.

А. Г.

31 мая 1861. Лондон, Орсет Гоус. Уэстборн Террас».

Браницкий нашел, что письмо *сухо*, потому, вероятно, и не достигнет цели. Я сказал ему, что другого письма не напишу и что, если он хочет сделать мне услугу, пусть его передаст, а возьмет раздумье, пусть бросит в камин. Разговор этот был на железной дороге. Он уехал.

А через четыре дня я получил следующее письмо из французского посольства:

«Кабинет префекта полиции. I бюро.
Париж, 3 июня 1861.

М. г.

По приказанию императора имею честь сообщить вам, что е. в. разрешает вам въезд во Францию и пребывание в Париже всякий раз, когда дела ваши этого потребуют, так, как вы просили вашим письмом от 31 мая.

Вы можете, следственно, свободно путешествовать во всей империи, соображаясь с общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префект полиции».

Затем — подпись эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на всё, но не на фамилию Boitelle.

В тот же день пришло письмо от Браницкого. Принц Наполеон сообщал ему следующую записку императора: «Любезный

[1] Второй раз мне был разрешен приезд в Париж в 1853, по случаю болезни М. К. Рейхель. Этот пропуск я получил по просьбе Ротшильда. Болезнь М. К. прошла, и я им не воспользовался. Года через два мне объявили в французском консульстве, что так как я тогда не ездил, то пропуск не имеет больше значения.

Наполеон, сообщаю тебе, что я сейчас разрешил въезд *господину*[1] Герцену во Францию и приказал ему выдать паспорт».

После этого «подвысь!» шлагбаум, опущенный в продолжение одиннадцати лет, поднялся, и я отправился через месяц в Париж.

II

INTRA MUROS[2]

— Maame Erstin! — кричал мрачный, с огромными усами жандарм в Кале, возле рогатки, через которую должны были проходить во Францию один за другим путешественники, только что сошедшие на берег с дуврского парохода и загнанные в каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандарм отдавал пассы, комиссар полиции допрашивал глазами, а где находил нужным, языком — и одобренный и найденный безопасным для империи терялся за рогаткой.

На крик жандарма в этот раз никто из путешественников не двинулся.

— Mame Ogle Erstin! — кричал, прибавляя голоса и махая паспортом, жандарм. Никто не откликался.

— Да что же, никого, что ли, нет с этим именем? — кричал жандарм и, посмотрев в бумагу, прибавил: — Mamselle Ogle Erstin.

Тут только девочка лет десяти, то есть моя дочь Ольга, догадалась, что защитник порядка вызывал ее с таким неистовством.

— Avancez donc, prenez vos papiers![3] — свирепо командовал жандарм.

Ольга взяла пасс и, прижавшись к Мейзенбуг, потихоньку спросила ее:

— Est-ce que c'est l'empereur?[4]

Это было с ней в 1860 году, а со мной случилось через год еще хуже, и не у рогатки в Кале (уже не существующей теперь), а *везде:* в вагоне, на улице, в Париже, в провинции, в доме, во сне, наяву — везде стоял передо мной сам император с длинными усами, засмоленными в ниточку, с глазами без взгляда, с ртом

---

[1] Я отметил слово *господин*, потому что при моей высылке префектура постоянно писала «Sieur» ⟨субъект *(франц.).— Ред.*⟩, а Наполеон в записке написал слово «monsieur» ⟨господин *(франц.).— Ред.*⟩ всеми буквами.

[2] В стенах *(лат.).— Ред.*

[3] Подойдите же, возьмите ваши бумаги! *(франц.) — Ред.*

[4] Это император? *(франц.) — Ред.*

без слов. Не только жандармы, которые по положению своему немного императоры, мерещились мне Наполеонами, но солдаты, сидельцы, гарсоны и особенно кондукторы железных дорог и омнибусов. Я только тут, в Париже 1861 года, перед тем же Hôtel de Ville'м, перед которым я стоял полный уважения в 1847 году, перед той же Notre-Dame, на Елисейских полях и бульварах, понял псалом, в котором царь Давид с льстивым отчаянием жалуется Иегове, что он не может никуда деться от него, никуда бежать: «В воду, говорит,— ты там, в землю — ты там, на небо — и подавно». Шел ли я обедать в Maison d'Or,— Наполеон, в одной из своих ипостасей, обедал через стол и спрашивал трюфли в салфетке; отправлялся ли я в театр,— он сидел в том же ряду, да еще другой ходил на сцене. Бежал ли я от него за город,— он шел по пятам дальше Булонского леса, в сертуке, плотно застегнутом, в усах с круто нафабренными кончиками. Где же его нет? — На бале в Мабиль? На обедне в Мадлен? — непременно там и тут.

La révolution s'est faite homme — «Революция воплотилась в человеке» — была одна из любимых фраз доктринерского жаргона времен Тьера и либеральных историков луи-филипповских времен — а тут похитрее: «революция и реакция», порядок и беспорядок, *вперед* и *назад* воплотились в одном человеке, и этот человек, в свою очередь, перевоплотился во всю администрацию, от министров до сельских сторожей, от сенаторов до деревенских мэров... рассыпался пехотой, поплыл флотом.

Человек этот не поэт, не пророк, не победитель, не эксцентричность, не гений, не талант, а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаический господин «средних лет, ни толстый, ни худой». Le bourgeois буржуазной Франции, l'homme du destin, le neveu du grand homme[1] — плебея. Он уничтожает, осредотворяет в себе все резкие стороны национального характера и все стремления народа, как вершинная точка горы или пирамиды оканчивает целую гору — *ничем*.

В 49, в 50 годах я не угадал Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценил. 1861 год был один из самых лучших для империи; все обстояло благополучно, все уравновесилось, примирилось, покорилось новому порядку. Оппозиций и смелых мыслей было ровно настолько, насколько надобно для тени и слегка пряного вкуса. Лабуле очень умно хвалил Нью-Йорк в пику Парижу, Прево Парадоль — Австрию

---

[1] Буржуа... человек, отмеченный роком, племянник великого человека *(франц.).— Ред.*

в пику Франции. По делу Мереса делали анонимные намеки. Пану было дозволено исподволь ругать, польскому движению — слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшиеся пофрондерствовать, как, бывало, мы собирались в Москве в сороковых годах у кого-нибудь из старых приятелей. Были даже свои недовольные знаменитости вроде статских Ермоловых, как Гизо. Остальное все было прибито градом. И никто не жаловался, отдых еще нравился так, как нравится первая неделя поста с своим хреном да капустой после семидневного масла и пьянства на масленице. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видеть: он исчезал на короткое или долгое время и возвращался с исправленным вкусом из Ламбессы или из Мазаса. Полиция, la grande police, заменившая la grande armée[1], была везде, во всякое время. В литературе — плоский штиль — плохие лодочники плавали спокойно на плохих лодках по некогда бурному морю. Пошлость пьес, даваемых на всех сценах, наводила к ночи тяжелую сонливость, которая утром поддерживалась бессмысленными журналами. Журналистика в прежнем смысле не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. После leading article[2] лондонских газет, писанных сжатым, деловым слогом, с «нервом», как говорят французы, и «мышцами» — premiers-Paris[3] нельзя было читать. Риторические декорации, полинялые и потертые, и те же возгласы, сделавшиеся больше чем смешными,— гадкими по явному противуречию с фактами, заменяли содержание. Страждущие народности постоянно приглашались по-прежнему надеяться на Францию: она все-таки оставалась во «главе великого движения» и все еще несла миру революцию, свободу и великие принципы 1789 года. Оппозиция делалась под знаменем бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвета, но их можно было означать в том роде, как моряки означают промежуточные ветры: N. N. W., N. W. N., N. W. W., W. N. W.... Бонапартизм отчаянный, беснующийся, умеренный, бонапартизм монархический, бонапартизм республиканский, демократический и социальный, бонапартизм мирный, военный, революционный, консервативный, наконец, пале-роялький и тюльерийский... Вечером поздно бегали по редакциям какие-то господа, ставившие на место стрелку газет, если она где уходила далеко за N. к W. или E. Они поверяли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились в следующую редакцию.

---

[1] великая полиция... великую армию *(франц.).— Ред.*
[2] передовых статей *(англ.).— Ред.*
[3] передовые статьи парижских газет *(франц.).— Ред.*

...В café, читая вечерний журнал, в котором было написано, что адвокат Мireса отказался указать какое-то употребление сумм, говоря, что тут замешаны «слишком высоко поставленные лица», я сказал кому-то из знакомых:

— Да как же прокурор не заставил его назвать и как же не требуют этого журналы?

Знакомый дернул меня за пальто, огляделся, сделал знак глазами, руками, тростью. Я недаром жил в Петербурге, понял его и стал рассуждать об абсинте с зельцерской водой.

Выходя из кафе, я увидел крошечного человека, бегущего на меня с крошечными объятиями. На близком расстоянии я разглядел Даримона.

— Как вы должны быть счастливы,— говорил левый депутат,— возвратившись в Париж! Ah! je m'imagine![1]

— Не то чтоб особенно!

Даримон остолбенел.

— Ну, что madame Darimon и ваш маленький, который, верно, теперь ваш большой, особенно если он не берет в росте примера с отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très bien[2],— и мы расстались.

Тяжело мне было в Париже, и я только свободно вздохнул, когда через месяц, сквозь дождь и туман, опять увидел грязно-белые, меловые берега Англии. Все, что жало, как узкие башмаки, при Людвиге-Филиппе, жало теперь, как колодка. Промежуточных явлений, которыми упрочивался и прилаживался новый порядок, я не видал, а нашел его через десять лет совершенно *готовым и сложившимся*... К тому же я Париж не узнавал, мне были чужды его перестроенные улицы, недостроенные дворцы и пуще всего — встречавшиеся люди. Это не тот Париж, который я любил и ненавидел, не тот, в который я стремился с детства, не тот, который покидал с проклятьем на губах. Это Париж, утративший свою личность, равнодушный, откипевший. Сильная рука давила его везде и всякую минуту готова была притянуть вожжи — но это было не нужно; Париж *принял* tout de bon[3] вторую империю, у него едва оставались наружные привычки прежнего времени. У «недовольных» ничего не было серьезного и сильного, что бы они могли противопоставить империи.

---

[1] О! воображаю! *(франц.)* — *Ред.*

[2] Все тот же... отлично *(франц.)*.— *Ред.*

[3] искренне *(франц.)*.— *Ред.*

Воспоминания тацитовских республиканцев и неопределенные идеалы социалистов не могли потрясти цезарский трон. С «фантазиями» *надзор полиции* боролся не серьезно, они его сердили не как опасность, а как беспорядок и бесчинство. «Воспоминания» досаждали больше «надежд», орлеанистов держали строже. Иногда самодержавная полиция нежданно разражалась ударом, несправедливым и грубым, грозно напомнная о себе; она нарочно распространяла ужас на два квартала и на два месяца и снова уходила в щели префектуры и коридоры министерских домов.

В сущности, все было тихо. Два самых сильных протеста были не французские. Покушениями Пианори и Орсини мстила Италия, мстил Рим. Дело Орсини, испугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлог, чтоб нанести последний удар — coup de grâce. Он удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительных людях Эспинаса, дала свой залог. Надобно было испугать, показать, что полиция ни перед чем не остановится, надобно было сломить всякое понятие о праве, о человеческом достоинстве, надобно было несправедливостью поразить умы, приучить к ней и ею доказать свою власть. Очистив Париж от *подозрительных* людей, Эспинас приказал префектам в *каждом* департаменте открыть заговор, замешать в него не меньше десяти человек заявленных врагов империи, арестовать их и представить на распоряжение министра. Министр имел право ссылать в Кайенну, Ламбессу без следствия, без отчета и ответственности. Человек сосланный погибал, ни оправданья, ни протеста не могло и быть; он не был судим, могла быть одна монаршая милость.

— Получаю это приказание,— рассказывал префект Н. нашему поэту Ф. Т.,— что тут делать? Ломал себе голову, ломал... положение затруднительное и неприятное; наконец мне пришла счастливая мысль, как вывернуться. Я посылаю за комиссаром полиции и говорю ему: можете вы в самом скором времени найти мне десяток отчаянных негодяев, воров, не уличенных по суду, и т. п.? Комиссар говорит, что ничего нет легче. Ну, так составьте список, мы их нынче ночью арестуем и потом представим министру как возмутителей.

— Ну, что же? — спросил Т.

— Мы их представили, министр их отправил в Кайенну, и весь департамент был доволен, благодарил меня, что так легко отделался от мошенников,— прибавил добрый префект, смеясь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилия, чем публика и общественное мнение. Времена тишины, покоя,

de la sécurité[1] наступали не по дням, а по часам. Мало-помалу разгладились морщины на челе полиции; дерзкий, вызывающий взгляд шпиона, свирепый вид sergent de ville[2] стали смягчаться; император мечтал о разных умных и кротких свободах и децентрализациях. Неподкупные в усердии министры удерживали его либеральную горячность.

...С 1861 двери были отворены, и я проезжал несколько раз Парижем. Сначала я торопился поскорее уехать, потом и это прошло, я привык к новому Парижу. Он меньше сердил. Это был другой город, огромный, незнакомый. Умственное движение, наука, отодвинутые за Сену, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свои «расширенные свободы» Наполеон дал; беззубая оппозиция подняла свою лысую голову и затянула старую фразеологию сороковых годов; работники не верили им, молчали и слабо пробовали ассоциации, кооперации. Париж становился больше и больше общим европейским рынком, в котором толпилось, толкалось все на свете: купцы, певцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всех стран и невиданная в прежние времена масса немцев. Вкус, тон, выражения — все изменилось. Блестящая, тяжелая роскошь, металлическая, золотая, ценная — заменила прежнее эстетическое чувство; в мелочах и одежде хвастались не выбором, не умеьем, а дороговизной, возможностью трат и беспрерывно толковали о наживе, об игре в карты, места, фонды. Лоретки давали тон дамам. Женское образование пало на степень прежнего итальянского.

— L'empire, l'empire...[3] вот где зло, вот где беда...

Нет, причина глубже.

— Sire, vous avez un cancer rentré,— говорит Антоммарки.

— Un Waterloo rentré[4],— отвечает Наполеон.

А тут две-три революции rentrées, avortées, внутрь взошедшие, недоношенные и выкинутые.

Оттого ли Франция не донашивает, что она слишком рано, слишком поспешно попала в интересное положение и хотела отделаться от него кесаревым сечением; оттого ли, что духа хватило на рубку голов, а на рубку идей недостало; оттого ли, что из революции сделали армию и права человека покропили святой водой; оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революция делалась не для крестьян?

---

[1] безопасности *(франц.).— Ред.*

[2] полицейского *(франц.).— Ред.*

[3] Империя, империя... *(франц.) — Ред.*

[4] Государь, у вас внутри рак.— У меня внутри Ватерлоо *(франц.).— Ред.*

III

ALPENDRÜCKEN[1]

Да здравствует свет!
Да здравствует разум!

Русские, не имея вблизи гор, просто говорят — что «домовой душил». Оно, пожалуй, вернее. Действительно, словно кто-то душит, сон не ясен, но очень страшен, дыханье трудно, а дышать надобно вдвое, пульс поднят, сердце ударяет тяжело и скоро... За вами гнались, гонятся по пятам не то люди, не то привидения, перед вами мелькают забытые образы, напоминающие другие годы и возрасты... тут какие-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенья нет, вы летите в темную пустоту, крик вырывается невольно, и вы проснулись... проснулись в лихорадке, пот на лбу, дыханье сперто — вы торопитесь к окну... Свежий, светлый рассвет на дворе, ветер осаживает в одну сторону туман, запах травы, леса, звуки и крики... все *наше*, земное... и вы, успокоенные, пьете всеми легкими утренний воздух.

...Меня на днях душил домовой не во сне, а наяву, не в постели, а в книге, и когда я вырвался из нее на свет, я чуть не вскрикнул: «Да здравствует разум! Наш простой, земной разум!»

Старик Пьер Леру, которого я привык любить и уважать лет тридцать, принес мне свое последнее сочинение и просил непременно прочесть его, «хоть текст, а примечания после, когда-нибудь».

«*Книга Иова*, трагедия в пяти действиях, *сочиненная* Исаией и переведенная Пьером Леру». И не только переведенная, но и приложенная к современным вопросам.

Я прочел *весь* текст и, подавленный печалью, ужасом, искал окна.

Что же это такое?

Какие антецеденты могли развить такой мозг, такую книгу? Где отечество этого человека и что за судьбы и страны и лица? Так сойти можно только *с большого ума*, это заключение длинного и сломленного развития.

Книга эта — бред поэта-лунатика, у которого в памяти остались факты и строй, упованья и образы, но смысла не осталось; у которого сохранились чувства, воспоминания, формы, но *разум* не сохранился или если и уцелел, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя из мыслей в фантазии, из истин в мистерии, из выводов в мифы, из знания в откровение.

---

[1] Гнет гор, кошмар *(нем.)*.— *Ред.*

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состояние, опьянение Пифии, шамана, дурь вертящегося дервиша, дурь вертящихся столов...

Революция и чародейство, социализм и талмуд, Иов и Ж. Санд, Исаия и Сен-Симон, 1789 год до р. Х. и 1789 после р. Х.— все брошено зря в кабалистический горн. Что же могло выйти из этих натянутых, враждебных совокуплений? Человек захворал от этой непереваримой пищи, он потерял здоровое чувство истины, любовь и уваженье к разуму. Где же причина, отбросившая так далеко от русла этого старика, некогда стоявшего в числе глав социального движения, полного энергии и любви,— человека, которого речь, проникнутая негодованьем и сочувствием к меньшей братии, потрясала сердца? Я это время помню. «Петр Рыжий», так называли мы его в сороковых годах, «становится моим Христом»,— писал мне всегда увлекавшийся через край Белинский,— и вот этот-то учитель, этот живой будящий голос после пятнадцатилетнего удаления в Жерсее является с «Grève de Samarez» и с книгой Иова, проповедует какое-то переселение душ, ищет развязки на том свете, *в этот не верит* больше. Франция, революция обманули его; он скинии свои разбивает в другом мире, в котором нет обмана, да и ничего нет, в силу чего большой простор для фантазии.

Может, это личная болезнь — идиосинкразия? Ньютон имел свою книгу Иова, Огюст Конт — свое помешательство.

Может... но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу — все книга Иова, все мутит ум и давит грудь, все заставляет искать света и воздуха, все носит следы душевной тревоги и недуга, чего-то сбившегося с пути. Вряд можно ли в этом случае многое объяснить личным безумием, напротив, надобно искать в общем расстройстве причину частного явления. Я именно в полнейших представителях французского гения вижу следы недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелым сном, в долгом лихорадочном ожидании, усталые от горечи дня и от жгучего нетерпения, они бредят в каком-то полусне и хотят нас и самих себя уверить, что их видения — действительность и что настоящая жизнь — дурной сон, который сейчас пройдет, особенно для Франции.

Неистощимое богатство их длинной цивилизации, колоссальные запасы *слов* и образов мерцают в их мозгу, как фосфоресценция моря, не освещая ничего. Какой-то вихрь, подметающий перед начинающимся катаклизмом осколки двух-трех миров, снес их в эти исполинские памяти без цемента, без связи, без *науки*. Процесс, которым развивается их мысль, для нас непонятен; они

идут от слов к словам, от антиномий к антиномиям, от антитезисов к синтезисам, не разрешающим их; иероглиф принимается за дело, и желанье — за факт. Громадные стремления без возможных средств и ясных целей, недоконченные очертания, недодуманные мысли, намеки, сближения, прорицания, орнаменты, фрески, арабески... Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франция, у них нет, истины они не ищут; она так страшна на деле, что они отворачиваются от нее. Романтизм ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкус от всего простого и здорового.

Размеры потеряны, перспективы ложны...

Да еще хорошо, когда дело идет о путешествиях душ по планетам, об ангельских хуторах Жана Рено, о разговоре Иова с Прудоном и Прудона с мертвой женщиной; хорошо еще, когда из целой тысячи и одной ночи человечества делается одна сказка, и Шекспир из любви и уважения заваливается пирамидами и обелисками, Олимпом и Библией, Ассирией и Ниневией. Но что сказать, когда все это врывается в жизнь, отводит глаза и мешает карты для того, чтоб ими ворожить о «близком счастье и исполнении желаний» на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блеском прошедшей славы заштукатуривают гнилые раны и сифилитические пятна на повислых щеках выдают за румянец юноши?

Перед падшим Парижем, в самую не жалкую минуту его паденья, когда он, довольный богатой ливреей и щедростью посторонних помещиков, бражничает на всемирном толкуне, повержен в прахе старик-поэт. Он приветствует Париж путеводной звездой человечества, сердцем мира, мозгом истории, он уверяет его, что базар на Champ de Mars — почин братства народов и примирения вселенной.

Пьянить похвалами поколение измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустых и выродившихся сыновей и внучат, покрывая одобрением гения их жалкое, бессмысленное существование — великий грех.

Делать из современного Парижа *спасителя и освободителя мира*, уверять его, что он велик в своем падении, что он, в сущности, вовсе не падал,— сбивает на апотеозу *божественного* Нерона и *божественного* Калигулы или Каракаллы.

Разница в том, что Сенеки и Ульпианы были в силе и власти, а В. Гюго — в ссылке.

Рядом с лестью вас поражает неопределенность понятий, смутность стремлений, незрелость идеалов. Люди, идущие вперед, ве-

дущие других, остаются в полумраке, без тоски о свете. Толки о преображении человечества, о пересоздании существующего... но о каком, но во что?

Это равно не ясно, ни *на том* свете Пьера Леру, ни *на этом* Виктора Гюго.

«В XX столетии будет чрезвычайная страна. Она будет велика, и это не помешает ей быть свободной. Она будет знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человечеству. Она будет иметь кроткую доблесть старшей сестры.

Эта центральная страна, из которой все лучится, эта образцовая ферма человечества, по которой все кроится, имеет свое сердце, свой мозг, называемый *Париж*.

Город этот имеет одно неудобство — кто им владеет, тому принадлежит мир. Человечество идет за ним. Париж работает для общности землюй. Кто б ты ни был, Париж твой господин... он иногда ошибается, имеет свои оптические обманы, свой дурной вкус... *тем хуже* для всемирного смысла, компас потерян, и прогресс идет ощупью.

Но Париж настоящий *кажется* не таков. Я не верю в этот Париж, это — призрак, а, впрочем, небольшая проходящая тень не идет в счет, когда дело идет об огромной утренней заре.

Одни дикие боятся за солнце во время затмений.

Париж — зажженный факел; зажженный факел имеет *волю*... Париж изгоняет из себя все нечистое, он *уничтожил* смертную казнь, насколько это было в его воле, и перенес гильотину в la Roquette. В Лондоне вешают, гильотинировать в Париже нельзя больше; если б вздумали снова поставить гильотину перед ратушей, камни восстали бы. Убивать в этой среде невозможно. Остается поставить вне закона, что́ поставлено вне города!

1866 был годом столкновения народов, 1867 будет годом их встречи. Выставка в Париже — великий собор мира, все препятствия, тормозы, палки в колесах прогресса сломятся в куски, разлетятся в прах... Война невозможна... Зачем выставили страшные пушки и другие военные снаряды?.. Разве мы не знаем, что война умерла? Она умерла в тот день, когда Иисус сказал: «Любите друг друга!», и бродила только, как привидение; Вольтер и революция убили ее еще раз. Мы не верим в войну. Все народы побратались на выставке, все народы, притекши в Париж, побывали Францией (ils viennent d'être France); они узнали, что есть город-солнце... и должны любить его, желать его, выносить его!»

И в полном умилении перед народом, который *испаряется братством*, которого свобода — свидетельство совершеннолетия человеческого рода, Гюго восклицает: «О Франция! прощай! Ты слишком велика, чтоб быть отечеством; с матерью, сделавшейся

богиней, следует расстаться. Еще шаг во времени, и ты исчезнешь, преображенная; ты так велика, что скоро тебя не будет. Ты не будешь Францией, ты будешь человечеством. Ты не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами... Решись принять бремя твоей бесконечности и, как Афины сделались Грецией, Рим — христианством, сделайся ты, Франция, миром!»

Когда я читал эти строки, передо мной лежала газета, и в ней какой-то простодушный корреспондент писал следующее: «То, что теперь творится в Париже,— необыкновенно занимательно, и не только для современников, но и для будущих поколений. Толпы, собравшиеся на выставку, кутят... все границы перейдены, оргия везде, в трактирах и домах, пуще всего на самой выставке. Приезд царей окончательно опьянил всех. Париж представляет какую-то колоссальную descente de la courtille[1].

Вчера (10 июня) это опьянение дошло до своего апогея. Пока венценосцы пировали во дворце, видавшем так много на своем веку, толпы наполняли окольные улицы и места. По набережной, на улицах Риволи, Кастилионе, Сен-Оноре пировали на свой манер до трехсот тысяч человек. От Маделены до théâtre Variétés шла самая растрепанная и нецеремонная оргия; большие открытые линейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложенные изнуренными, измученными клячами, едва, едва двигались по бульварам в сплошном множестве голов и голов. Линейки эти, в свою очередь, были битком набиты, в них стояли, сидели, больше всего лежали, растянувшись, мужчины и женщины во всевозможных позах с бутылками в руках; они с хохотом и песнями переговаривались с пешей толпой; шум и крик неслись им навстречу из кафе и ресторанов, совершенно полных; иногда крик и песни сменялись диким ругательством фиакрного извозчика или дружеской ссорой подпивших... На углах, в переулках валялись мертво-пьяные; сама полиция, казалось, отступила за невозможностью что-нибудь сделать. Никогда,— пишет корреспондент,— я не видал ничего подобного в Париже, а живу в нем лет двадцать».

Это на улице, «в канаве», как выражаются французы, а что внутри дворцов, освещенных более чем десятью тысячами свечей... что делалось на праздниках, на которые тратилось по миллиону франков?

«С бала, данного городом в Hôtel de Ville, государи уехали около двух часов,— это повествует официальный историограф императорских увеселений,— кареты не могли вовремя ни приехать, ни отвезти восемь тысяч человек. Часы шли за часами, усталь

[1] Здесь: уличную вакханалию *(франц.).— Ред.*

овладела гостями, дамы сели на ступенях лестницы, другие просто легли в залах на ковры и заснули у ног лакеев и huissiers[1], кавалеры шагали за них, цеплялись за кружева и уборы. Когда мало-помалу расчистилось место, ковров было не видно, все было покрыто завялыми цветами, раздавленными бусами, лоскутьями блонд и кружев, тюля, кисеи, оторванных эфесами, саблями, шитьем, царапавшим плечи», и проч.

А за кулисами шпионы били кулаками, ловили, выдавали за воров людей, кричавших «Vive la Pologne!»[2], и суд в двух инстанциях осудил их же на тюрьму за *препятствие* шпионам беззаконно, бесформенно арестовывать их с зуботычинами.

Я нарочно помянул одни *мелочи* — микроскопическая анатомия легче даст понятие о разложении ткани, чем отрезанный ломоть трупа...

IV
ДАНИИЛЫ

В июльские дни 1848 года, после первого террора и ошеломленья победителей и побежденных, явился представителем *угрызения совести* угрюмый и худой старик. Мрачными словами заклеймил он и проклял людей «порядка», расстреливавших сотнями, не спроси имени, ссылавших тысячами без суда и державших Париж в осадном положении. Окончив анафему, он обернулся к народу и сказал ему: «А ты молчи, ты слишком беден, чтоб тебе иметь речь».

Это был Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его седин, его морщин, его глаз, на которых дрожала старая слеза и на которых скоро ничего дрожать не будет.

Слова Ламенне прошли бесследно.

Через двадцать лет другие угрюмые старики явились с своим суровым словом, и их голос погиб в пустыне.

Они не верили в силу своих слов, но сердце не выдержало. Не сговариваясь в своих ссылках и удалениях, эти фемические судьи и Даниилы произнесли свой приговор, зная, что он не будет исполнен.

Они, на горе себе, поняли, что это «ничтожное облако, мешающее величественному рассвету», не так ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмелье после революции не так-то скоро пройдут, и сказали это.

«В худшие времена древнего цезаризма,— говорил Эдгар Кине на конгрессе в Женеве,— когда все было немо, за исключением

[1] сторожей *(франц.).— Ред.*

[2] Да здравствует Польша! *(франц.) — Ред.*

владыки, находились люди, оставлявшие свои пустыни для того, чтоб произнести несколько слов правды в глаза падшим народам.

Шестнадцать лет живу я в пустыне и хотел бы, в свою очередь, прервать мертвое молчание, к которому привыкли в наше время».

Какую же весть принес он с своих гор и во имя чего поднял речь? Он ее поднял для того, чтоб сказать своим соотечественникам (француз, о чем бы ни говорил, говорит всегда о Франции): «У вас нет совести... она умерла, раздавленная пятою сильного, она отреклась от себя. Шестнадцать лет искал я следов ее и не нашел!»

«То же было при цезарях в древнем мире. Душа человеческая исчезла. Народы помогали своему порабощению, рукоплескали ему, не показывая ни сожаления, ни раскаяния. Совесть человеческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всем, как теперь, и для того, чтоб ее наполнить, надобно было *нового бога*.

Кто же наполнит в наше время пропасти, вырытые новым цезаризмом?

На место стертой, упраздненной совести настала ночь, мы бродим впотьмах, не зная, откуда искать помощи, к кому обратиться. Всё — соучастник паденья: церковь и суд, народы и общество... Глуха земля, глуха совесть, глухи народы; право погибло с совестью; одна сила царит...

...Зачем вы пришли, что́ вы ищете в этих развалинах — развалин? Вы отвечаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились в обломках падшего зданья права. Вы ищете мира, вы ошибаетесь, его здесь нет. Здесь война. В этой ночи без рассвета должны сталкиваться народы и племена и уничтожать друг друга зря, исполняя волю властителей, перевязавших им ум и руки.

Народы подвинутся только тогда, когда *сознают всю глубину своего паденья!*»

Старик бросил для детей несколько цветов, чтоб уменьшить ужас картины. Ему рукоплескали. Они и тут не ведали, что творили. Через несколько дней отреклись от своих рукоплесканий.

Месяца два перед тем, как эти мрачные слова раздались на женевском сходе, в другом швейцарском городе другой изгнанный прежнего времени писал следующие строки:

«Я не имею больше веры во Францию.

Если когда-нибудь она воскреснет к новой жизни и оправится от страха самой себя, это будет чудо; из такого глубокого паденья не подымалась ни одна больная нация. Я не жду чудес. Забытые учреждения могут возродиться,— потухнувший дух народа не оживает. Несправедливое провидение не дало мне и того уте-

шенья, которым оно так щедро наделяет, в замену бедности, всех изгнанников,— всегдашней надежды и веры в мечты. От всего прожитого мною остались только уроки опытности, горькое разочарование и неизлечимая усталь (énervement). Мне *холодно* на сердце. Я не верю больше ни в право, ни в человеческую справедливость, ни в здравый смысл. Я отошел в равнодушие, как в могилу».

Жирондист Мерсье, одной ногой уже в гробу, говорил во время паденья первой империи: «Я живу еще только для того, чтоб увидеть, чем это кончится!» «Я и этого не могу сказать,— прибавил Марк Дюфресс,— у меня нет особого любопытства узнать, чем развяжется императорская эпопея».

И старик повернулся к прошедшему и с глубокой печалью показал его исхудалым потомкам. Настоящее ему незнакомо, чуждо, противно. Из его кельи веет могилой, от его слов дрожь пробирает постороннего.

Слова одного, строки другого — все скользнуло бесследно. Слушая их, читая их, у французов не сделалось «холодно в груди». Многие открыто негодовали: «Эти люди лишают нас сил, повергают в отчаяние... где в их словах *выход*, утешенье?»

Суд не обязан утешать; он должен обличать, уличать *там*, где нет сознания и раскаяния. Его дело вызвать *совесть*. Суд — и не пророчество, у него нет мессии в запасе для утешения в будущем. Он так же, как и подсудимый, принадлежит старой религии. Суд представляет чистую и идеальную сторону ее, а масса — ее практическое, уклонившееся, истощенное приложение. Осуждающий служит поневоле практическим обвинителем идеала; защищая его, он указывает его односторонность.

Ни Эдгар Кине, ни Марк Дюфресс действительно не знают *выхода* и зовут вспять. Не мудрено, что они его не видят, они к нему стоят спиной. Они принадлежат к прошедшему. Возмущенные бесчестной кончиной своего мира, они схватили клюку и явились незваными гостьми на оргию высокомерного, самодовольного народа и сказали ему: «Ты все утратил, все продал, тебя ничто не оскорбляет, кроме правды, у тебя нет ни прежнего ума, у тебя нет прежнего достоинства, у тебя нет совести, ты на дне паденья и не только не чувствуешь твоего рабства, но, туда же, имеешь притязание освобождать народы и народности; украшаясь лаврами войны — хочешь надеть на себя оливковые венки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающие, пришли тебя звать к раскаянию и, если не пойдешь, сломим жезл наш над тобою».

Они видят свое войско отступающим, бегущим от своего знамени, и карой своих слов хотят его возвратить в прежний стан *и не могут*. Для того чтоб их собрать, надобно новое знамя, а его

нет у них. Они, как языческие первосвященники, раздирают ризы свои, защищая падающую святыню свою. Не они, а гонимые назареи возвещали воскресение и жизнь будущего века.

Кине и Марк Дюфресс скорбят об осквернении храма своего, храма народного представительства. Они скорбят не только об утрате во Франции свободы, человеческого достоинства, они скорбят *о потере передового* места, они не могут примириться с тем, что империя не предупредила единства Германии, они ужасаются тому, что Франция сошла *на второй план*.

Вопрос о том, *зачем* Франции, в которую они сами не верят, быть *на первом месте*, не представлялся ни разу их уму...

Марк Дюфресс с раздраженным смирением говорит, что он не понимает *новых вопросов*, то есть экономических; а Кине ищет того бога, который сойдет, чтоб наполнить пустоту, оставленную потерей совести... Он прошел мимо их, они его не узнали и допустили его распятие.

P. S. Как комментарий к нашему очерку идет и странная книга Ренана о «современных вопросах». Его тоже пугает настоящее. Он понял, что дело идет плохо. Но что за жалкая терапия! Он видит больного по горло в сифилисе и советует ему хорошо учиться, и по классическим источникам. Он видит внутреннее равнодушие ко всему, кроме материальных выгод, и сплетает на выручку из своего рационализма некую религию — католицизм без настоящего Христа и без папы, но с плотоумерщвлением. Уму ставит он дисциплинарные перегородки или, лучше, гигиенические.

Может, самое важное и смелое в его книге — это отзыв о революции: «Французская революция была великим опытом, но *опытом неудавшимся*».

И затем он представляет картину ниспровержения всех прежних институтов, стеснительных с одной стороны, но служивших отпором против поглощающей централизации, и на месте их — слабого, беззащитного человека перед давящим, всемогущим государством и уцелевшей церковью.

Поневоле с ужасом думаешь о союзе этого государства с церковью, который совершается наглазно, который идет до того, что церковь теснит медицину, отбирает докторские дипломы у материалистов и старается решать вопросы о разуме и откровении — сенатским решением, декретировать libre arbitre, как Робеспьер декретировал l'Etre suprême[1].

Не нынче-завтра церковь захватит воспитание — тогда что?

---

[1] свободу воли... верховное существо *(франц.)*.— *Ред.*

Французы, уцелевшие от реакции, это видят, и положение их относительно иностранцев становится невыгоднее и невыгоднее. Никогда они не выносили столько, как теперь, и от кого же? В особенности от немцев. Недавно при мне был спор одного немецкого ex-réfugié[1] с одним из замечательных литераторов. Немец был беспощаден. Прежде была какая-то тайно соглашенная терпимость к англичанам, которым всегда позволяли говорить нелепости из уважения и уверенности, что они несколько поврежденные, и к французам — из любви к ним и из благодарности за революцию. Льготы эти остались только для англичан — французы очутились в положении состаревшихся и подурневших красавиц, которые долго не замечали, что средства их уменьшились, что на обаяние красотой надеяться больше нечего.

Прежде им спускалось невежество всего находящегося за границами Франции, употребление битых фраз, позолоченный стекляpус, слезливая сентиментальность, резкий, вершающий тон и les grands mots[2] — все это утратилось.

Немец, поправляя очки, трепал француза по плечу, приговаривал:

— Mais, mon cher et très-cher ami[3], эти готовые фразы, заменяющие разбор дела, вниманье, пониманье, мы знаем наизусть; вы нам их повторяли лет тридцать; они-то вам и мешают видеть ясно настоящее положение дел.

— Но как бы то ни было, все же,— говорил литератор, видимо желая заключить разговор,— однако же, мой милый философ, вы все склонили голову под прусский деспотизм; я очень понимаю, что для вас это — средство, что прусское владычество — ступень...

— Тем-то мы и отличаемся от вас,— перебил его немец,— что мы идем этим тяжелым путем, ненавидя его и покоряясь необходимости, имея цель перед глазами, а вы *пришли* в такое же положение, как в гавань спасенья; для вас это не ступень, а заключение,— к тому же большинство его любит.

— C'est une impasse, une impasse[4],— заметил печально литератор и переменил разговор.

По несчастью, он заговорил о речи Жюль Фавра в академии. Тут окрысился другой немец:

— Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословие может вам нравиться? Лицемерье, неправда о науке, неправда во всем; нельзя же два часа читать панегирик бледному Кузеню.

---

[1] бывшего изгнанника *(франц.).— Ред.*
[2] громкие фразы *(франц.).— Ред.*
[3] Но, друг мой, дорогой друг *(франц.).— Ред.*
[4] Это тупик, тупик *(франц.).— Ред.*

И что ему было за дело защищать казенный спиритуализм? И вы думаете, что эта оппозиция спасет вас? Это риторы и софисты, да и как смешна вся эта процедура речи и ответа, обязательная похвала предшественнику — весь этот средневековый бой пустословья.

— Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes...[1]

Мне было жаль литератора...

V
СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ

Но за Даниилами видны же и светлые точки, слабые, дальние, и в том же Париже. Мы говорим о Латинском квартале, об этой Авентинской горе, на которую отступили учащиеся и их учители, то есть те из них, которые остались верны великому преданию 1789 года, энциклопедистам, Горé, социальному движению. Там хранится евангелие первой революции; читают ее апостольские деяния и послания святых отцов XVIII века; там известны *великие вопросы*, которых не знает Марк Дюфресс; там мечтают о будущей «веси человеческой» так, как монахи первых веков мечтали о «веси божией».

Из переулков этого Лациума, из четвертых этажей невзрачных домов его, постоянно идут ставленники и миссионеры на борьбу и проповедь и гибнут большею частью морально, а иногда физически, in partibus infidelium[2], то есть по другую сторону Сены.

Объективная истина с их стороны, всяческая правота и дельность пониманья с их стороны,— но и только. «Рано или поздно истина всегда побеждает». А мы думаем, *очень поздно* и *очень редко*. Разум спокон века был недоступен или противен большинству. Для того чтоб *разум* мог понравиться, Анахарсис Клоц должен был одеть его в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага. Действовать на людей можно только грезя их сны яснее, чем они сами грезят, а не доказывать им свои мысли так, как доказывают геометрические теоремы.

Латинский квартал напоминает средневековые чертозы или камалдулы, отступившие на шаг от людского шума, с своей верой в братство, милосердие и, главное, в скорое пришествие царства божия. И это в самое то время, когда за их стенами рыцари и рейтеры жгли и резали, лили кровь, грабили, засекали вилла-

---

[1] Вот как! Вы забываете традиции, обычаи... *(франц.)* — *Ред.*

[2] в стране неверных *(лат.)*.— *Ред.*

нов, насиловали их дочерей... Потом наступили другие времена, также без братства и второго пришествия, и это прошло — а камалдулы и чертозы остались при своей вере. Нравы еще смягчились, изменилась манера грабить, насиловать стали с платой, обирать — по принятым уставам; но царство божие не приходило, а все неминуемо *наступало* (так казалось в чертозах), знамения становились все яснее, прямее; вера спасала иноков от отчаяния.

С каждым ударом, от которого разлетаются в прах последние убогие свободы, с каждым падением общества, с каждым наглым шагом назад Латинский квартал приподнимает голову, а mezza voce[1] у себя дома поет «Марсельезу» и, поправляя фуражку, говорит: «Этого-то и надобно было. Они дойдут до предела... чем скорее, тем лучше». Латинский квартал верит *в свой курс* и храбро чертит план свой, «весь истины», идя вразрез с «весью действительности».

А Пьер Леру верит в Иова!

А В. Гюго — в выставку братства!

VI
ПОСЛЕ НАБЕГА

«Святой отец — теперь ваше дело!»
(Филипп II великому инквизитору)

«Дон Карлос»

Эти слова мне так и хочется повторить Бисмарку. Груша зрела, и без его сиятельства дело не обойдется. Не церемоньтесь, граф!

Я не дивлюсь тому, что делается, и не имею права дивиться — я давно кричал свое: «Берегись, берегись!..» Я просто *прощаюсь*, и это тяжело. Тут нет ни противуречия, ни слабости. Человек может очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будет очень больно; он может, сверх того, предчувствовать, что она подымется, что ее ничем не остановишь; тем не меньше ему все же будет *больно*, когда она подымется.

Мне жаль личностей, которых люблю.

Мне жаль страны, которой первое пробуждение я видел своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обесчещенную.

Мне жаль этого Мазепу, которого отвязали от хвоста одной империи, чтоб привязать к хвосту другой.

---

[1] вполголоса *(итал.)*.— *Ред.*

Мне жаль, что я прав, я — словно соприкосновенный к делу тем, что в общих чертах его предвидел. Я досадую на себя, как досадует дитя на барометр, предсказавший бурю и испортивший прогулку.

Италия похожа на семью, в которой недавно совершилось какое-нибудь черное преступление, обрушилось какое-нибудь страшное несчастие, обличившее дурные тайны — на семью, по которой прошла рука палача, из которой кто-нибудь выбыл на галеры... все в раздражении, невинные стыдятся и готовы на дерзкий отпор. Всех мучит бессильное желание мести, страдательная ненависть отравляет, расслабляет.

Может, и *есть* близкие выходы, но разумом их не видать; они лежат в случайностях, во внешних обстоятельствах, они лежат *вне границ*. Судьба Италии *не в ней* Это само по себе одно из невыносимейших оскорблений; оно так грубо напоминает недавний плен и чувство собственной несостоятельности и слабости, которое начало было стираться.

И только *двадцать лет!*

Двадцать лет тому назад, в конце декабря, я в Риме оканчивал первую статью «С того берега» и *изменил* ей, увлеченный сорок восьмым годом. Я был тогда в полной силе развития и с жадностью следил за развертывающимися событиями. В моей жизни не было еще ни одного несчастия, которое оставило бы сильный, ноющий рубец, ни одного упрека совести внутри, ни одного оскорбительного слова снаружи. Я несся, слегка ударяя в волны, с безумным легкомыслием, с безграничной самонадеянностью, на всех парусах. И все их одни за одними пришлось подвязать!..

. . . . . .

Во время первого ареста Гарибальди я был в Париже. Французы не верили в вторжение их войск Мне случалось встречаться с людьми разных слоев общества. Заклятые ретрограды и клерикалы желали вмешательства, кричали о нем, но сомневались. На железной дороге один известный французский ученый, прощаясь со мной, говорил мне: «У вас, мой милый северный Гамлет, так фантазия настроена, вы видите одно черное, оттого вам и не очевидна невозможность войны с Италией; правительство слишком хорошо знает, что война за папу поставит против него все мыслящее, ведь все же мы — Франция 1789 года». Первая новость, которую я не прочел, а *увидел*, был флот, отправлявшийся из Тулона в Чивиту. «Это военная прогулка»,— говорил мне другой француз «On ne viendra jamais aux mains[1], да и не нужно нам мараться в итальянской крови».

---

[1] Дело никогда не дойдет до драки *(франц.)*.— *Ред.*

Оказалось *нужным*. Несколько юношей из «Лациума» протестовали, их посадили на съезжую, со стороны Франции тем и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италия, благодаря нерешительности короля, шулерству министерства, делала все уступки. Но рассвирепелого француза, упивающегося всякой победой, нельзя было остановить — к крови, к делу ему надобно было прибавить крепкое *слово*.

И на этом крепком слове, покрытом рукоплесканиями империи, подали руку ее злейшие враги: легитимисты в виде старого стряпчего Бурбонов — Берье, и орлеанисты в виде старого Фигаро времен Людвига-Филиппа — Тьера.

Я считаю *слово* Руэра историческим откровением. Кто после этого не понял Франции, тот слепорожденный.

Граф Бисмарк, теперь ваше дело!

А вы, Маццини, Гарибальди, последние угодники божии, последние могикане, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь вас не нужно. Вы свое сделали. Теперь дайте место безумию, бешенству крови, которыми или Европа себя убьет, или реакция. Ну, что же вы сделаете с вашими ста республиканцами и вашими волонтерами, с двумя-тремя ящиками контрабандных ружей? Теперь — миллион отсюда, миллион оттуда, с иголками и другими пружинами. Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов... а там тиф, голод, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотели даже и такой бледной республики, как февральская, не хотели подслащенной демократии, которую вам подносил кондитер Ламартин. Вы не хотели ни Маццини-стоика, ни Гарибальди-героя. Вы хотели *порядка*.

Будет вам за то война семилетняя, тридцатилетняя...

Вы боялись социальных реформ — вот вам фениане с бочкой пороха и зажженным фитилем.

Кто в дураках?

Генуя, 31 декабря 1867 года.

СТАРЫЕ ПИСЬМА

(Дополнение к «Былому и думам»)

Oh, combien de marins, combien de capitaines,
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce noir horizon, se sont évanouis...
Combien ont disparu...

V. Hugo[1]

Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил, не зная, по рассказам, по их сочинениям — и которых больше нет.

Недавно я это испытал еще раз, читая письма *Карамзина* в «Атенее» и *Пушкина* в «Библиографических записках». Дни целые они были у меня перед глазами, и не только они, но тогдашнее время, вся их обстановка, как я ее помнил, как я ее читал, воскресла с ними — вместе с 1812 г. и 1825 — император Александр, книги, костюмы.

Как сухие листы, перезимовавшие под снегом, письма напоминают *другое* лето, его зной, его теплые ночи, и то, что оно ушло на веки веков, по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в *книге*. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим.

---

[1] О, сколько исчезло моряков, капитанов, которые с радостью отправились в далекие странствия к этому черному горизонту... Сколько пропало без вести... — В. Гюго *(франц.)*.— *Ред.*

Жаль, что не много писем уцелело у меня. Моя жизнь прибивала меня к разным берегам, к разным слоям, я с многими входил в сношения, но три полицейских нашествия: одно в Москве и два в Париже, отучили меня от хранения всякого рода писем. Уезжая в 1852 из Италии и думая пробраться через *смирительную* империю, я сжег много дорогого мне и как бы в вознаграждение получил в Лондоне несколько пачек писем, оставленных мною в Москве.

С 1825 года *события* несущейся истории начинают цеплять больше и больше и наконец совсем увлекают в широкий поток общих интересов. С тем вместе прозелитизм, страстная дружба, вызывает на переписку; она растет и делается какой-то движущейся, раскрытой исповедью... все закреплено, все помечено в письмах и притом наскоро, то есть без румян и прикрас, и все остается, оседает и сохраняется, как моллюск, залитый кремнем, как бы для того, чтоб когда-нибудь свидетельствовать на Страшном суде или упрекнуть своим несправедливым; *таким ли был я, расцветая?* — как будто человек виноват в том, что стареет.

Но не из этой юной и лирической эпохи жизни хочу я на первый раз передать несколько писем. Те — когда-нибудь, после. Теперь на первый случай поделюсь десятком писем от лиц, большей частию известных и любимых у нас или уважаемых.

И — р

1 марта 1859.

ПИСЬМО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОЛЕВОГО

25 февраля 1836 г. Москва.

Зная, как всегда любил и уважал я вас, вы поверите искренности слов моих, когда я скажу, что я сердечно обрадовался, получив письмо ваше. Добрая весть эта была подарком для меня; слава богу, что вы уцелели, что вы не упали духом, что вы продолжаете занятия ваши, что можно иногда перекликнуться с вами. Бодрствуйте, любезнейший Александр Иванович! Время — драгоценное лекарство на все. Будем опять вместе, будем опять философствовать с тою же бескорыстною любовью к человечеству, с какою философствовали некогда. Наперед всего вы простите меня и не причтите мне в вину долговременное медление мое ответом на уведомление ваше. Причиною была полуожиданная, полунечаянная поездка моя в Петербург, отнявшая у меня почти месяц,

а потом тьма мелких забот и нездоровье мое по возвращении; не поверите, сколько различных досад и неприятностей перенес я с тех пор, как мы не видались, моральных и физических. Москва так надоела мне, что, может быть, я решусь совершенно оставить ее; по крайней мере, нынешнее лето с июня месяца я проживу в Петербурге. Если уж надобно, неволя велит продолжать мне мою деятельность, то надобно продолжать ее в Петербурге, который, как молодой красавец, растет и величится на счет Москвы, стареющей и дряхлеющей во всех отношениях. Но что в будущем, ведомо только богу, а пока я в Москве, прошу вас писать ко мне, когда вздумаете и что вздумаете. Мне приятно сделаться и посредником вашим с журналами и публикою, если вы захотите входить в какие-нибудь с ними сношения. Статью вашу о *Гофмане* я получил. Мне кажется, вы судите об нем хорошо и верно, но если вы хотите дать публичность этой статье, то примите мой дружеский совет: ее надобно поисправить в слоге, весьма небрежном, и необходимо, прежде цензуры, исключить некоторые выражения. Кроме того, что без этих поправок статья может навлечь на нас неприятности, положим хоть *журнальные*, спрашиваю: к чему эти выражения? Дело в деле, а не в них. Если вы доверите мне, я охотно приму на себя обязанность продержать над статьею вашею политическо-литературную корректуру и потом отдать ее в какой угодно журнал. Без вашего позволения приступить ни к чему не смею и, право, не советую без поправок посылать к другому. Верьте, что я желаю вам всякого добра, как родному, уверенный притом, что настоящее положение ваше продолжиться долго не может, если вы будете сколько возможно осторожнее во всех отношениях. Верю, что вы можете быть в состоянии оскорбленного и раздраженного человека, но кто из нас переходил путь жизни без горя и без страданий? Слава богу, если они постигают нас тяжелым опытом в юности. А как изменяются потом в глазах наших взгляды и отношения на все нас окружающее! Великий боже! Я сам испытывал и испытываю все это, а мне только еще *сорок* лет. Расстояние между мнениями и понятиями двадцати- и сорокалетнего человека делит бездна.— Братец ваш рассказывал мне, что вы принялись за географию, за статистику, дело доброе! Жаль, что по исторической части сторона ваша совершенно бесплодна. Об ней можно сказать одно: жили, а кто жил и зачем жили, бог весть; впрочем, если бы что открылось любопытное, пожалуйста, сообщите мне. Русская история сделалась моею страстью. Я охотно готов сообщить вам исторической пыли, сколько хотите. История теперь и кстати. Кажется, что вся литература наша сбивается на задние числа. Адрес мой теперь: *в Москве, под Новинским, в Кудрине, в приходе Девяти*

мучеников, в доме Сафонова. Буду ждать писем ваших, а в ожидании всегда сохраню к вам чувства совершенного почтения и преданности, с коими был и есть

ваш усердный и преданный

Н. Полевой[1].

ИЗ ПИСЕМ ВИССАРИОНА ГРИГОРЬЕВИЧА БЕЛИНСКОГО[2]

1

С.-Петербург, 2 января 1846.

Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою и о том, и о сем, и о твоих статьях «Об изучении природы», и о твоей статейке «О пристрастии», и о твоей превосходной повести, обнаружившей в тебе новый талант, который мне кажется лучше и выше всех твоих старых талантов (за исключением фельетонного — о Копернике, Ярополке Водянском и проч.), об истинном направлении и значении твоего таланта и обо многом прочем. Но все не было то случая, то времени. Потом я все ждал тебя и раз опять испытал понапрасну сильное нервическое потрясение по поводу прихода г. Герца, о котором мне возвестили как о г. Герцене. Наконец, слышу, что ты сбираешься ехать не то будущею весною, не то будущею осенью. Оставляя все прочее до другого случая, пишу теперь к тебе не о тебе, а о самом себе, о собственной моей особе. Прежде всего — твою руку и, с нею, честное слово, что все написанное здесь останется, впредь до разрешения, строгою тайною между тобою и твоими друзьями.

Вот в чем дело. Я теперь решился оставить «Отечественные записки». Это желание давно уже было моею idée fixe, но я все

---

[1] Статья, о которой идет речь, была напечатана в одной из последних книжек «Телескопа» и поссорила меня с Полевым. Кетчер, не зная вовсе, что я дал ее Полевому, напечатал ее в «Телескопе» и, считая неосторожным оставить под нею мою фамилью, поставил *Искандер*, подпись, которую я шутя употребил в одной статье, назначенной не для печати. Я был тогда в Вятке.

Полевой рассердился на меня и, не узнав дела, написал мне записочку, в которой говорил, что *серьезные* люди не дают одну и ту же статью в два журнала. Я ему отвечал на это, что *они* имеют еще и другие привычки, например, сперва узнать дело, а потом браниться. На этом переписка остановилась. В 1840 году в Петербурге он велел мне сказать через Вадима Пассека, что «стыдно сердиться». Но я вовсе не за «Гофмана» сердился тогда, это было время «Параши Сибирячки» и проч.

[2] Я должен предупредить, что я счел необходимым очень многое из писем Белинского и из писем Грановского не печатать.

падеялся выполнить его чудесным способом благодаря моей фантазии, которая у меня услужлива не менее фантазии г. Манилова, и надеждам на богатые земли. Теперь я увидел ясно, что это все вздор и что надо прибегнуть к средствам, более обыкновенным, более трудным, но зато и более действительным. Но прежде о причинах, а потом уже о средствах... Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь. Обыкновенно я недели две в месяц работаю с страшным лихорадочным напряжением, до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности. Здоровье, видимо, разрушается. Но труд мне не опротивел. Я больной писал большую статью «О жизни и сочинениях Кольцова» и работал с наслаждением; в другое время я в три недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и бодрым духом. Стало быть, мне невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер, и без того брюзгливый и мелочно-раздражительный, но труд не ex officio был бы мне отраден и полезен. Вот первая и главная причина...

К пасхе я издаю толстый огромный альманах. Достоевский дает повесть, Тургенев повесть и поэму, Некрасов — юмористическую статью в стихах («Семейство», он на эти вещи собаку съел), Панаев — повесть; вот уже пять статей есть; шестую напишу сам; надеюсь у Майкова выпросить поэму. Теперь обращаюсь к тебе: *повесть или жизнь!* Если бы, сверх этого, еще ты дал что-нибудь легонькое, журнальное, юмористическое о жизни или российской словесности или о том и другом вместе,— хорошо бы было! Но я хочу не одного легкого, а потому прошу Грановского — нельзя ли исторической статьи — лишь бы имела общий интерес и смотрела беллетристически. На всякий случай скажи юному профессору Кавелину, нельзя ли от него поживиться чем-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал мне (за что благодарен ему донельзя), чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории — гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Если бы он дал мне статью, в которой бы развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как благодарить его. Сам я хочу что-нибудь написать о современном значении поэзии. Таким образом, были бы повести, юмористические статьи, стихотворения и статьи серьезного содержания, и альманах вышел бы на славу. Теперь о твоей

повести. Ты пишешь вторую часть «Кто виноват?». Если она будет так же хороша, как первая часть, она будет превосходна; но если бы ты написал новую другую, и еще лучше, я все-таки лучше бы хотел иметь вторую часть «Кто виноват?». Анненков 8 января едет. В Берлине он увидится с Кудрявцевым, и, может быть, я и от этого получу повесть. Анненков тоже пришлет что-нибудь вроде путевых заметок. Я печатаю Кольцова с Ольхиным; он печатает, а барыш пополам: это еще вид в будущем, для лета. К пасхе же я кончу первую часть моей истории русской литературы. Лишь бы извернуться на первых-то порах, а там, я знаю, все пойдет лучше, чем было; я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будет легче и приятнее. Жму тебе руку и с нетерпением жду твоего ответа.

В. Б.

II

С.-Петербург, 14 января 1846.

Несказанно благодарен я тебе, любезный Герцен, что ты не замедлил ответом, которого я ожидал с лихорадочным нетерпением. Делай как знаешь. Но только на новую повесть твою мне плоха надежда. Альманах должен выйти к пасхе; времени мало. Пора уже собирать и в ценсуру представлять. Ценсоров у нас мало, а работы у них гибель, оттого они страшно задерживают рукописи; чтобы ты успел написать новую повесть, невероятно, даже невозможно. Притом же, бросившись продолжать и доканчивать старую, чтобы начать новую, ты испортишь обе.

Насчет писем Боткина, об Испании, нечего и говорить; разумеется, давайте. Анненков уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости, так что я теперь живу вовсе без радостей...

Ах, братцы, плохо мое здоровье,— беда! Иногда, знаете, лезет в голову всякая дрянь, например, как страшно оставить жену и дочь без куска хлеба и проч. До моей болезни прошлою осенью я был богатырь в сравнении с тем, что я теперь. Не могу поворотиться на стуле, чтоб не задохнуться от истощения.

Полгода, даже четыре месяца за границею, и, может быть, я лет на пяток или более опять пошел бы как ни в чем не бывало. Бедность не порок, а хуже порока. Бедняк — подлец, который должен сам себя презирать, как пария, не имеющего права даже на солнечный свет. Журнальная работа и петербургский климат доконали меня.

III

С.-Петербург, 6 февраля 1846.

Рад я несказанно, что нет причины опасаться не получить от тебя ничего для альманаха, так как «Сорока-воровка» кончена и придет ко мне вовремя. А все-таки грустно и больно, что «Кто виноват?» ушло у меня из рук. Такие повести (если 2 и 3 часть не уступают первой) являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальною статьею, разделяя восторг публики с повестью Достоевского «Сбритые бакенбарды», а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во сне, не только наяву. Словно бес какой дразнит меня этою повестью, и, расставшись с нею, я все не перестаю строить на ее счет предположительные планы, например, перепечатал бы я и первую часть вместе с двумя остальными и этим начал бы альманах... Тогда фурорный успех альманаха был бы вернее того, что А — вор, Б — дурак, а С — плут...

Что статья Кавелина будет хороша — в этом я уверен как нельзя больше. Ее идея (а отчасти и манера Кавелина развивать эту идею) мне известна, а этого довольно, чтобы смотреть на эту статью как на что-то весьма необыкновенное.

Впрочем, не подумай, чтобы я не дорожил твоею «Сорокой-воровкой»; уверен, что это грациозно-остроумная и, по твоему обыкновению, дьявольски умная вещь; но после «Кто виноват?» во всякой твоей повести не такой пробы ты всегда будешь без вины виноват. Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: «*Он прав*, давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур.

Ты пишешь: «Грановский *мог бы* прислать из лекций»; если *мог бы*, то почему же не пришлет? Зачем тут *бы?* Статье Соловьева я рад несказанно и прошу тебя поблагодарить его от меня за нее.

IV

С.-Петербург, 19 февраля 1846.

Ты пишешь, что не знаешь, радоваться или нет, что я оставил журнал. Отвечаю утвердительно: радоваться; дело идет не только о здоровье, о жизни, но и уме моем. Ведь я тупею со дня на день. Памяти нет, в голове хаос от русских книг, а в руке всегда гото-

вые общие места и казенная манера писать обо всем. «В дороге» Некрасова превосходно; он написал и еще несколько таких же, и напишет их еще больше; но он говорит — это оттого, что он не работает в журнале. Я понимаю это. Отдых и свобода не научат меня стихи писать, но дадут мне возможность так хорошо писать, как мне дано. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без «Отечественных записок», может быть, еще лучше, это, кажется, ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при прочих занятиях никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много.

Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь: всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды. Мысль записок медика прекрасна, и я уверен, что ты мастерски воспользуешься ею. «Даниил Галицкий» — дельный и занимательный монограф. О статье Кавелина нечего и говорить, это чудо. Итак, вы, ленивые и бездеятельные москвичи, оказались исправнее наших петербургских скорописцев. Спасибо вам!

А что мой альманах должен быть слоном или левиафаном, это так. Пьеса, как «В дороге», нисколько не виновата в успехе альманаха. «Бедные люди» — другое дело, и то потому, что о них заранее прошли слухи. Сперва покупают книгу, а потом читают; люди, поступающие наоборот, у нас редки, да и те покупают не альманахи. Поверь мне, между покупателями «Петербургского сборника» много есть людей, которым только и понравится что статья «О парижских увеселениях». Мне рисковать нельзя, мне нужен успех верный и быстрый; нужно, что называется, сорвать банк. Один альманах разошелся, глядь, за ним является другой, покупатели уж смотрят на него недоверчиво. Им давай нового, повторений не любят, у меня те же имена, кроме твоего и М. С. Когда альманах порядком разойдется, тогда статья Кавелина поможет его окончательному ходу, а сперва она только испугает всех своим названием, скажут: «Ученость, сушь, скука!» Итак, мне остается рассчитывать на множество повестей да на толщину баснословную. И верь мне: я не ошибусь — вы, москвичи, народ немножко идеальный, вы способнее написать или собрать хорошую книгу, но продать ее не ваше дело: тут вам остается только снять шляпу да низко нам поклониться.

Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже в объявлении для столиц: это вторая часть «Мертвых душ». Но ведь такая книга только одна и была на Руси.

Бедного Языкова постигло страшное несчастие — у него умер Саша, чудесный мальчик. Бедная мать чуть не сошла с ума,

молоко готовилось броситься ей в голову, она уже заговаривалась. Страшно подумать, смерть двухлетнего ребенка! Моей дочери только восемь месяцев, а я уж думаю: «Если тебе суждено умереть, зачем ты не умерла полгода назад!» Чего стоит матери родить ребенка, чего стоит поставить его на ноги, чего стоит ребенку пройти через прорезывание зубов, крупы, кори, скарлатины, коклюши, поносы, запоры,— смерть так и бьется за него с жизнью, а если жизнь побеждает, то для того, чтобы ребенок сделался со временем чиновником или офицером, барышнею и барыней. Было из чего хлопотать! Смешно и страшно! Жизнь исполнена ужасного юмора. Бедный Языков!

Коли мне не ехать за границу, так и не ехать. У меня давно уже нет жгучих желаний, и потому мне легко отказываться от всего, что не удается. С М. С. в Крым и Одессу очень бы хотелось; но семейство в Петербурге оставить на лето не хочется, а переехать ему в Гапсаль — двойные расходы.

Впрочем, посмотрю. Твоему приезду в апреле рад донельзя.

V

С.-Петербург, 20 марта 1846.

Получил я конец статьи Кавелина, «Записки доктора Крупова», отрывок М. С. и, наконец, статью Мельгунова — и все то благо, все добро. Статья Кавелина — эпоха в истории русской истории, с нее начнется философическое изучение нашей истории. Я был в восторге от его взгляда на Грозного. Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было знания для оправдания моего взгляда.

«Записки доктора Крупова» — превосходная вещь, больше пока ничего не скажу. При свидании мне много будет говорить с тобою о твоем таланте, твой талант — вещь нешуточная, и если ты будешь писать меньше тома в год, то будешь стоить быть повешенным за ленивые пальцы. Отрывок М. С.— прелесть. Читая его, я будто слушал автора, столько же милого, сколько и талантного. Статья Мельгунова мне очень понравилась, я очень благодарен ему за нее. Особенно мне нравится первая половина и тот старый румянцовский генерал, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называет мальчишками. Вообще, в этой статье много мемуарного интереса; читая ее, переносишься в доброе старое время и впадаешь в какое-то тихое раздумье. Ты что-то писал мне о статье Рулье, недурно бы; не мешало бы и Грановского что-нибудь. Чисто литературных статей у меня теперь по

горло, ешь не хочу, и потому ученых еще две было бы очень не худо. Имя моему альманаху «Левиафан». Выйдет он осенью, но в цензуру пойдет на днях и немедленно будет печататься.

Насчет путешествия с М. С., кажется, что поеду. Мне обещают денег, и как получу, сейчас же пишу, что еду. Семейство отправляю в Гапсаль, это и дача в порядочном климате, и курс лечения для жены, что будет ей очень полезно. Тарантас, стоящий на дворе М. С., видится мне и днем и ночью, это не соллогубовскому тарантасу чета. Святители! Сделать верст тысячи четыре, на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии,— да это для меня лучше Магометова рая, и гурий не надо, черт с ними!

Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать М. С., я так и буду готовиться. Альманаха при мне напечатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу[1].

Здравствуй, Николай Платонович, наконец-то твое возвращение уже не миф. Я был на тебя сердит и больно бранил, а за что, спроси у Герцена. А теперь я хотел бы поскорей увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редереру — что это за вино, братец ты мой! Сатину и всем вам жму руку.

VI

С.-Петербург, 6 апреля 1846.

Вчера написал было я к тебе письмо, сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго ожидал. Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой во сне даже брежу) черт положит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки? Я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнию. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это с таким спутником, как М. С., да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. Мой доктор (очень хороший доктор, хотя и не Крупов) сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, М. С. едет решительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться.

---

[1] Альманах этот никогда не выходил. Белинский вместо его поставил на ноги «Современник».

Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться; но во всяком случае я на днях беру место в мальпост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли М. С. и когда именно. Вот почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так, что куда девалась лень, и я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то что Тучков едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 рублей серебром тоже не последнее обстоятельство в письме твоем, меня обрадовавшее. Только этих денег мне не высылай, а отдай мне их в Москве, оно проще и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет; может быть, станет их на месяц и по приезде в Питер, а там что будет, то и будет, vogue la galère! Нашему брату *подлецу*, то есть нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего, а притом, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти.

Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?». Я из нее окончательно убедился, что ты большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт не только в «Генрияде», но и в «Кандиде» — однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие не великие уже пережил и еще больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию,— и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди — ограниченны и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот — талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который все родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом,— нет, твой талант — черт его знает — такой же бастард или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думал об этом вопросе) и мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу: «Эврика! Эврика!» Есть умы чисто спекулятивные, для которых мышление почти то же, что чистая математика, и вот, когда такие принимаются за поэзию, у них выходят аллегории, и тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума

с бездарностью родит камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Хроносу. Но у тебя, при уме живом и осердеченном, есть своего рода талант; в чем он состоит, не умею сказать, но дело в том, что я глупее тебя на много раз, а искусства (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе; фантазия у меня преобладает над умом, и, кажись, по всему этому, такому *своего рода* таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя (уже по одному тому, что тебе читать Канта, Гегелеву феноменологию и логику — нипочем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей), а ведь у меня такого *своего рода* таланта ни больше ни меньше, как на столько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты — большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как *Нос* в Гоголевой повести, ты можешь сказать: «*Я сам по себе!*» Дельные идеи и талантливое, живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностию автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя все оригинально, все свое — даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинство. Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши как можно более и не для себя, а для дела; у тебя такой талант, за скрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие.

Кончаю письмо известием, что мы с Некрасовым взяли билет в мальпост на 26 апреля.

В. Б.

VII

Одесса, 4 июля 1846.

Вчера получил письмо твое, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо. Насчет первого пункта вполне полагаюсь на тебя; не забывай только одного — распорядиться в том случае, если мы разъедемся.

Мои путевые впечатления, собственно, будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои «Письма об изучении природы» — вовсе

не об изучении природы. Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкой статьи или, лучше сказать, придиркою к ней. Они будут состоять больше в толках о скверной погоде и еще сквернейших дорогах.

А буду писать я вот о чем: 1. О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими и мною, но предмет будет рассмотрен à fond[1]. М. С. играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе и, может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и черт знает где еще. Я видел много, ходя и на репетиции и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, М. С. преусердно снабжает меня комментариями и фактами, так что все будет ново и сильно.

2. В Харькове я прочел «Московский сборник». Статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и зацепляет меня в лице «Отечественных записок». Как умно и зло казнил он аристократические замашки Соллогуба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Хомяков... я ж ему дам зацеплять меня — узнает он мои крючки!

3. Я не читал еще ругательства Сенковского; но рад ему как новому материалу для моей статьи.

Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячине, сдобренною полемическим задором.

В Калуге столкнулся я с И. Аксаковым. Славный юноша! Славянофил — а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!

Здоровье мое лучше. Я как-то свежее и заметно крепче, но кашель все еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30 опять посвежело; впрочем, все тепло, так что ночью потеешь в летнем пальто. Начал было я *читать Данта*, то есть купаться в море[2], да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал кровью; доктор велел на время прекратить купанья.

Вот что скверно. Последние два письма от жены получил я

---

[1] досконально *(франц.).— Ред.*

[2] Стих Шевырева: «Что в море купаться — что Данта читать».

в Харькове, от 22 и 27 мая, в обоих она жалуется на огорчения и на лихорадку; а с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с нею делается,— тоска! Без этого мне было бы весело far niente[1].

Соколов славный малый, но впал в провинциальное прекраснодушие. Оттого, что ты в письме ко мне не упомянул о нем, чуть не расплакался. О провинция, ужасная вещь! Одесса лучше всех губернских городов, это решительно третья столица России, очаровательный город, но *для проходящих*. Остаться жить в ней гибель.

Наталье Александровне мой поклон. А что ж ты не пишешь, где теперь пьет Огарев и селадонствует Сатин? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты Корша? Поклонись от меня его семейству и не сказывай Марии Федоровне, что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства: она, пожалуй, сочтет меня за *преступного семьянина*, а такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты Корша. Прощай. Если не поленишься, напиши что-нибудь.

В. Б.

VIII

Симферополь, 6 сентября 1846.

Здравствуй, любезный Герцен, пишу к тебе из тридевятого царства, тридесятого государства, чтобы знал ты, что мы еще существуем на белом свете, хотя он и кажется нам куда как черным. Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительными славянофилами. Но увы! в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большею частию носят на голове длинные волоса, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотеческих обычаев времен Кошихина — своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде, то есть татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему,

[1] ничего не делать *(итал.)*.— *Ред.*

будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом — принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснее того, что блеет Шевырев и вся почтенная славянофильская братия.

Несмотря на то, Симферополь, по своему местоположению, очень миленький городок; он не в горах, но от него начинаются горы, и из него видна вершина Чатыр-Дага. После степей Новороссии, обожженных солнцем, и пыльных и голых, я бы видел себя теперь как бы в новом мире, если б не страшный припадок геморроя, который теперь проходит, а мучить начал меня с 24 числа прошлого месяца.

Настоящая цель этого письма — напомнить вам о *Букиньоне* или *Букильоне* — пьесе, которую Сатин видел в Париже и о которой он говорил М. С. как о такой пьесе, в которой для него есть хорошая роль. А он давно уж подумывает о своем бенефисе и хотел бы узнать вовремя, до какой степени может он надеяться на ваше содействие в этом случае.

Нет! Я не путешественник, особенно по степям. Напишешь домой письмо — и получаешь ответ на него через полтора месяца: слуга покорный пускаться вперед в такие Австралии!

Когда ты будешь читать это письмо, я уже, вероятно, буду на пути в Москву. По сие время еще не пришли в Симферополь «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» за август. Прощай, кланяюсь всем нашим и остаюсь жаждущий увидеться с ними поскорее.

В. Б.

P. S. Не знаю, привезу ли с собою здоровье; но уж бороду непременно привезу — вышла, братец, бородка весьма недурная.

ИЗ ПИСЕМ ТИМОФЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРАНОВСКОГО

I

Москва, 1847.

«Опять романтизм»,— скажешь ты, может быть, прочитав это письмо. Пусть будет по-твоему, Герцен. Я остаюсь неизлечимым романтиком. Сегодня у меня потребность говорить с тобой. Ночь так хороша; Лиза до двух часов мне играла Моцарта, душа настроена тепло, как давно не было. И потом твой «Крутов»!

Я его слышал от тебя прежде, но он мало произвел на меня впечатления, не знаю почему. В «Современнике» он напечатан с большими выпусками, а я не могу его начитаться. Знаешь ли, что это просто гениальная вещь? Давно я не испытывал такого наслаждения, какое он мне дал. Так шутил Вольтер во время оно, и сколько теплоты и поэзии; мне от него повеяло тобою, днями, проведенными в Покровском и в деревянном доме;[1] Крупов снял у меня с души что-то ее сжимавшее, от чего ей было неловко с тобою. Мне кажется, что я опять слышу твой смех, что я опять вижу тебя во всей красоте и молодости твоей природы. Зачем же было надевать на себя какую-то *буржуазную* маску, которую ты так гонишь во Франции?[2] Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная arrière-pensée[3], которая поминутно пробивается наружу. То же чувствовал, кажется, и Корш, хотя мы не говорили с ним об этом. Твои прежние насмешки над близкими тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письме к Татьяне Алексеевне и т. д., это было нехорошо. Последние дни твои в многом могли доказать тебе, что соколовские споры не оставили следов и сколько любви и преданности оставил ты за собою. Корш умеет шутить и острить, когда его дети больны, но он плакал, провожая тебя. Неужели ты не оценил этих недешевых слез? К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.? Мы не писали к тебе, но разве твои письма из Парижа вызывали к ответу? Что мне за охота спорить с тобою о настоящем значении bourgeoisie — я говорю об этом довольно с кафедры. Я человек до крайности личный, то есть дорожу своими личными отношениями, а эти отношения к тебе были нелегки в последнее время. Дай же руку, carissime![4] Да здравствуют записки д-ра Крупова, они были для меня и художественным произведением, и письмом от тебя. Из них я опять услышал твой голос, увидел твое лицо.

---

[1] Грановский говорит о доме, в котором мы жили до кончины моего отца.

[2] Я этого упрека никогда не мог понять и относил его к дамским размолвкам перед нашим отъездом, об них я упомянул вскользь, см. «Былое и думы» в «Полярной звезде» на 1858.

[3] задняя мысль *(франц.)*.— *Ред.*

[4] дорогой мои *(итал.)*.— *Ред.*

Жду с нетерпением писем из Avenue Marigny и от тебя также. Наталье Александровне пожми от меня крепко обе руки. Когда же увижу вас, друзья мои? Покаместь будьте счастливы, прощайте! А Крупов дивно хорош! Марье Федоровне рукожатие.

II

Москва, 1849.

Х. берется доставить вам эти письма, друзья мои, следовательно, можно сказать несколько слов, не опасаясь почтовой цензуры. Положение наше становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университет предполагалось закрыть. Теперь ограничились пока следующими уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату с студентов и уменьшили их число законом, вследствие которого *ни в одном русском университете не может быть более 300 своекоштных студентов*. Приемы студентов в университет года на два остановлены. У нас, вероятно, до 1852 года, потому что в Московском университете 1400 студентов, надобно, следовательно, выпустить 1200, чтобы иметь право принять сотню новых. Даже невежды вопиют против этой меры, лишающей их детей в продолжение нескольких лет университетских аттестатов. Дворянский институт закрыт, учебным заведениям грозит та же участь, например, Лицею и Школе правоведения. Не устоят и университеты. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставлен образцом подчинения, дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древнего мира и показать величие *не понятой историками империи римской*, которой недоставало одного только — *наследственности*. Даже учителю танцевания поручена нравственная пропаганда. А между тем в Петербурге открыты три тайные общества разом, и в них много офицеров, вышедших из кадетских корпусов. О литературе и говорить нечего.

Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда ж развалится этот мир!

Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершение судьбы. Кое-что еще можно делать благородному человеку, пусть выгоняют сами...

Ты не понял, что я писал о деньгах, дело идет не лично о комнибудь, а о всех нас и о возможности еще действовать. Все мы держимся на волоске, каждому предстоит или отставка, или поездка в Вятку и, может, далее. Журналы едва существуют. Надобно дать публике книги, хорошие книги; они легче проходят через цензуру, у нас читают много; более делать нечего — а читать что? На все эти éventualités[1] нужен капитал, к которому мы могли бы прибегать и который был бы всегда готов, это дело общее и личное наше... Потеря этого капитала невозможна, ибо он гарантирован всеми нами и способом употребления. Пока будет лежать в банковых билетах, если случится что важное с кем-нибудь, ему будет тотчас выдано что-нибудь и будут средства для литературных изданий. Сверх того, Фролов и я затеяли всеобщую историю.

Голохвастов подал в отставку от страха, видя, что делается, на его место никто не идет. Что будет, не знаем. Строгонов в совершенной немилости. Все это для них либералы, даже Голохвастов. Первые казни, верно, будут в Петербурге. Вопрос об эманципации оставлен; приняты меры против фабричных работников, за ними строгий надзор. Слышен глухой общий ропот, но где силы для оппозиции? Тяжело, Герцен, а выхода нет живому!

Т. Г.

III

Село Ильинское,
в 20 верстах от Москвы, 1849.

Вчера привезли нам известие о смерти И. П. Галахова. Еще одним благородным человеком стало менее. На днях распустили в Москве слух о твоей смерти. Когда мне сказали об этом, я готов был хохотать от всей души. Этого недоставало еще, а впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального, пока хорошо, что ты жив. Есть о ком с любовью подумать. Поводом к слухам о твоей смерти было твое письмо к Егору Ивановичу, где ты говоришь о припадке холеры с И. Т., вас смешали. Галахов писал тебе много перед смертью, нельзя ли как-нибудь доставить интереснейшие письма Фролову? Он просит тебя об этом.

[1] возможные случаи *(франц.).— Ред.*

Жму вам обоим руку, обнимаю детей ваших. Учить их истории более не хочу, не стоит. Довольно им знать, что это глупая, ни к чему не ведущая вещь. Лето хорошее, на зиму я набрал много работы. Менее буду думать, grübeln[1], телом я очень здоров, но душа едва ли когда выздоровеет. Еще раз жму ваши руки.

Ваш *Грановский.*

IV

Весною 1851.

Пользуюсь наскоро, чтоб сказать вам несколько слов, друзья мои. Какой-то добрый немец берет письмо мое для доставления вам. Он едет через несколько часов.

Кроме отрывочных сведений, сообщаемых Мельгуновым, мы ровно ничего не знаем об вас, возвратились ли вы из Испании? и где намерены жить этот год?..

...Если б здешние друзья твои могли отправиться en pèlerinage[2] к тебе, они пошли бы и привели бы с собою много лиц, тебе неизвестных. О тебе осталось исполненное любви воспоминание не у одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои (кроме одного парижского) разным юношам. Есть негодяи, бранящие тебя, но они бедны умом и подлы сердцем.

Книги твои дошли до нас. Я читал их с радостью и с горьким чувством. Какой огромный талант у тебя и какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нас и говорить чужим языком; но, с другой стороны, я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека. Оно, пожалуй, оправдает Генау и tutti quanti[3]. Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей. Всякому правительству можно стать на твою точку зрения и наказывать революционеров за бесплодные и ни к чему не ведущие волнения.

Все, что ты писал до сих пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталь, отрешено от живого движения событий. Ты стоишь одинок. Ты, скажу без увлечения, значительный писатель, у тебя есть условия сделаться великим писателем, но то, что было в России живого и симпатичного для всех в твоем та-

[1] ломать голову *(нем.).— Ред.*
[2] на поклонение *(франц.).— Ред.*
[3] всех прочих *(итал.).— Ред.*

ланте, как будто исчезло на чужой почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею.— Скоро едут мои знакомые за границу, они привезут тебе *большое* письмо[1], там расскажу подробнее обо всех нас и скажу, может быть, еще что-нибудь о книгах твоих.

Мне открывалась возможность ехать на Лондонскую выставку, но она мелькнула только.

Наши все вам кланяются. Лиза была крепко больна, жму вам обоим крепко руку, ваш

Т. Г.

V

1854 года.

Годы прошли с тех пор, как мы слышали в последний раз живое слово от тебя. Отвечать не было возможности. Над всеми здешними друзьями твоими висела туча, которая едва рассеялась. Но утешительного мало и впереди, хотя живется как-то легче.

Из сочинений твоих некоторые дошли и к нам с большим трудом и в большой тайне. Друзья твои прочли их с жадностью, любовью и грустью. От них веет нашею прошлой, общей молодостью и нашими несбывшимися надеждами. Многого хотели — а на чем помирила нас судьба? Менее всего понравился здесь «Юрьев день». Зачем ты бросил камень в Петра, вовсе не заслужившего твоих обвинений, потому что ты привел неверные факты. Чем более живем мы, тем колоссальнее растет перед нами образ Петра. Тебе, оторванному от России, отвыкшему от нее, он не может быть так близок и так понятен; глядя на пороки Запада, ты клонишься к славянам и готов им подать руку. Пожил бы ты здесь, и ты сказал бы другое. Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет.

Еще одно замечание по поводу твоих сочинений. Если ты хочешь действовать на мнение у нас, не печатай таких вещей, как песня Соколовского[2]. Она оскорбила многих, которые иначе остались бы довольны книгой и согласились бы с нею. Вообще имей больше в виду твоих читателей и берегись неверных фактов, которые у тебя часто проскакивают.

---

[1] В конце 1851 г. Грановский написал мне длинное письмо; письмо это, отданное в Париже моей матери, погибло вместе с нею 16 ноября.

[2] «Тюрьма и ссылка».

Но довольно общего, перейдем к частному. У нас опять проснулась надежда когда-нибудь видеться с тобою и пожать тебе крепко, братски руку. Может, через год. Сколько перемен, сколько горя, сколько утрат со дня нашей разлуки...

...Что сказать тебе? Память о тебе свежо сохранилась в кружке твоих друзей. Когда случай сводит нас вместе, рассеянных теперь, твое имя чаще всех других раздается между нами. Где-то увидим тебя?.. Только не здесь!

Твой *Г.*

ПИСЬМО ПЕТРА ЯКОВЛЕВИЧА ЧААДАЕВА

Москва, 26 июля 1851.

Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что события мира разлучили нас с вами, может быть, навсегда. Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его так, чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне кажется, лучше было усвоить вам себе язык французский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при чтении хороших образцов, ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются. Тяжело, однако ж, будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались. Как бы то ни было, я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот, а это главное дело. Стыдно бы было, чтоб в наше время русский человек стоял ниже Кошихина.

Благодарю вас за известные строки. Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете не общие места — а общие мысли. Этому человеку, кажется, суждено было быть примером не угнетения, против которого восстают люди,— а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнее первого. N'allez pas prendre cela pour un lieu commun[1]. Может быть, дурно выразился.

Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите.

---

[1] Не примите это за общее место *(франц.).— Ред.*

ИЗ ПИСЕМ П.-Ж. ПРУДОНА[1]

I

St. Pélagie, 27 ноября 1851.

Весть о несчастии, вас поразившем, дошла до нас[2], она глубоко огорчила нас. Все наши друзья поручили мне от их имени передать вам слово их искреннего участия, живой симпатии, неизменной любви к вам.

Итак, видно, еще мало, что мы страдаем внутри нашего разумения в качестве мыслящих людей, страдаем в нашей совести — человека, гражданина... надо еще, чтоб несчастие за несчастием гналось за нами по пятам и преследовало бы нас в нашей любви сына, отца... Бедствия, так же как, с другой стороны, счастливые случаи, идут, цепляясь друг за друга, и когда вглядываешься поближе, то связь становится заметна, начинаешь разглядывать, что тот же самый гнет, который ведет нас в тюрьму, в ссылку, с другой стороны, морит голодом, болезнями.

Двадцать лет тому назад мой брат, молодой солдат, лишил себя жизни; капитан — вор, которому он не хотел помогать, довел его мелкими преследованиями до самоубийства. Отец и мать мои умерли преждевременно, одряхлевшие, изнуренные жизнию, исполненной горечи, побитые сборщиками податей, судейскими прижимками, всем, что называется властию.

В чем разница между крестьянином, у которого сын взят в солдаты, хозяйство разорено налогами и проч., который ломится под тяжестью безвыходного положения,— и вами, обреченным на скитанье из страны в страну, на все случайности переездов, и у которого часть семьи гибнет в волнах?

Я родился в семье земледельцев и очень знаю, сколько членов семьи нашей с отцовской и с материнской стороны были разорены, доведены до отчаяния, убиты всеми этими старыми и новыми рабствами в продолжение века. И будьте уверены, что эти наболевшие, глухие воспоминания очень взошли в счет, когда я предпринял мою борьбу. Несчастие, поразившее вас, разбередило мои раны больнее, чем когда-нибудь, и как ни печально и ни суетно такое утешение, но и этот новый зуб (grief)[3] не забудется в репертуаре выстраданных мною вещей.

Станемте теснее, чтоб лучше переносить наши невзгоды и бороться против наших врагов; чтоб увеличить, усилить нами,

---

[1] Из двух первых писем Прудона, одного, писанного 23 августа 1849, и другого, из *Консьержри*, от 15 сентября 1849, выписана вся общая часть в тексте «Былое и думы».

[2] Весть о гибели парохода 16 ноября 1851.

[3] урон *(франц.).— Ред.*

нашими словами — возмущающееся поколение, для которого мы ничего не можем сделать любовью и семейной жизнию.

Я сам отец, и скоро буду им во второй раз. Жена моя кормила ребенка своим молоком, растила его на моих глазах. Я знаю, что такое то беспрерывное чувство отцовской любви, которое ежеминутно растет каким-то беспрерывным, повторяющимся излиянием сердца. Я через два года чувствую, как неразрывно тверды стали цепи, которые приковывают нас к этим маленьким существам, которые словно сжимают в себе начало и конец нашей жизни, ее причину, ее цель. Из этого вы поймете, как отозвалось во мне ваше несчастие.

Не успел я оплакать нашего Бакунина [1], вдруг весть о гибели этого парохода. Ничего не подозревая, я на днях писал к Ш. Е. и писал об вас, шутя, с моей вечной иронией. Сегодня скорбь удручает меня; о, сколько слез, крови, в которых я имею право спросить отчета у гнетущей силы... так много, что я отчаиваюсь при жизни свести счеты и только повторяю с псалмопевцем: Beatus qui retribuit tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis! [2]

Да, Герцен, Бакунин, я вас люблю, вы тут, в этой груди, которую многие считают каменной. У русских, у казаков (простите выражение) (!?) — я нашел больше души, решимости, энергии. А мы выродившиеся *крикуны* (tapageurs), унижающиеся перед силой сегодня и завтра безжалостные гонители, если завладеем местом.

А между тем все распадается, оседает, все дрожит и готовится к борьбе, волны поднялись высоко, того и смотри затопят последние убежища реакции. По деревням, на полях являются страшные мести, невидимый враг поджигает житницы, валит деревья в лесу, уничтожает дичь, грозит и исполняет иной раз угрозы под штыками солдат и саблями конницы.

О друзья мои! торопитесь оплакать ваши частные горести, идет время, и если его не устранит последнее условие примиряющего разума, если оно не сведет покоя на землю, оно придет, и вы увидите вещи, от которых сердце ваше окаменеет, и вы сделаетесь нечувствительными к собственным бедствиям своим! Жму вашу руку.

П.-Ж. Прудон.

P. S. В ту минуту, как я хотел запечатать мое письмо, пришел меня навестить Мишле. Он знал уж о вашем несчастии, и мы вместе погоревали еще. Говорили мы много с ним о Рос-

---

[1] Слух о смерти М. Бакунина в шлюссельбургских казематах был тогда распространен во всей Европе.

[2] Блажен, кто так же воздает тебе по заслугам, как и ты воздаешь нам! *(лат.)* — *Ред.*

сии, о Польше, об иезуитах, об революции и об вашей брошюре[1]. Все люди с сердцем понимают друг друга от одного конца Европы до другого... но бегите *особенных кружков* (conciliabules) и *ложных пророков*...

II

Rue d'Enfer, 83, Париж, 23 июля 1855.

Письмо ваше от 14 было мне передано только 18 и именно в такую минуту, когда я был завален работой и делами. Отвечать прежде мне было невозможно.

Пользуюсь небольшим досугом, чтоб сердечно поблагодарить вас, что вы не забыли меня, предпринимая ваше «Русское обозрение». Наше воззрение, я думаю, сходно; мы связаны круговой порукой, у нас общие надежды и те же упования. С края на край Европы та же мысль, как молния, освещает все свободные сердца. Не говоря друг с другом, не переписываясь, хотим мы того или не хотим,— мы *сотрудники* друг друга. Я не могу теперь написать вам статьи, но чего нельзя сегодня, то можно завтра, и во всяком случае, живой или мертвый, я хочу быть одним из титулярных (honoraires) редакторов «Русской звезды»[2].

Наше положение ужасно трудно! Вы пока еще заняты правительствами, а я, напротив, смотрю на управляемых. Не следует ли прежде, чем нападать на деспотизм притеснителей, напасть на деспотизм освободителей? Видали ли вы что-нибудь ближе подходящее к тирании, чем народные трибуны, и не казалась ли вам иной раз нетерпимость мучеников так же отвратительной, как бешенство их гонителей? Деспотизм оттого так трудно сокрушить, что он опирается на внутреннее чувство своих антагонистов, я должен бы сказать — своих соперников, так что писатель, действительно любящий свободу, истинный друг революции, часто не знает, в которую сторону ему направлять свои удары, в скопище ли утеснителей или в недобросовестность утесненных.

Верите ли вы, например, что русское самодержавие произведено одной грубой силой и династическими происками?.. Смотрите, нет ли у него сокровенных оснований, тайных корней в самом сердце русского народа? Я спрашиваю вас — как одного из самых откровенных людей, которых я знал,— неужели вы не приходили в негодование, в отчаяние от притворства, от махиавеллизма тех, которых так или иначе европейская демократия признает или *выносит* своими главами? Не надо распадаться перед неприятелем —

[1] «La Russie et le socialisme, lettre à J. Michelet».

[2] Отрывок из этого письма был напечатан в 1 кн. «Полярной звезды».

скажете вы; но, любезный Герцен, что страшнее для свободы — распадение или измена?

То, что я вижу на Западе, дает мне право предположить о том, что будет на Востоке, которого я не знаю; люди всё те же под всеми меридианами. Я четыре года смотрю, как вслед за гибельным примером какое-то бешенство деспотизма охватило все души; как презрение масс, вчера объявляемых самодержавными, почти боготворимых, сделалось общим мнением; как люди, у которых свобода была девизом, ругаются теперь над ней; как социальная революция была осмеяна, посвящена смерти — лицемерами, которые со дня ее рождения поклонялись ей. Знаете ли вы, наконец, на ком хотят эти побежденные вчерашнего дня выместить горе своей неудачи?—На тирании, на привилегиях, на суеверии? Нет, на народе (la plèbe), на философии, на революции...

Speramini, populе meus![1] Какое же общение возможно с ними? Сделаемте союз, как Бертран дю Гесклин и Оливье де Клиссон, *за свободу* quand même[2] против всех живых и мертвых. Будем поддерживать дело освобождения, откуда бы оно ни шло и каким бы образом оно ни являлось, и будем без пощады сражаться против предрассудков, хотя бы мы их и встречали у наших единомышленников и братьев. Если газеты говорят правду, то Александр II собирается возвратить Польше долю ее прав[3], как будто исполняя программу вашу, любезный Герцен, и это в то время, как Запад воюет против него и против революции за Турцию. Кому же дать пальму? Английской ли аристократии, которая с высоты свободной трибуны всенародно отзывается с презрением о Венгрии и Польше, или царю, начинающему восстановление Польши? Римскому ли понтифу, проклинающему восстание Польши, или еретическому царю, зовущему ее на жизнь?

Снова будто с Востока занимается свобода, с Востока варварского, из этой родины рабов, кочующих дикарей отсвечивает на нас нравственная жизнь его, убитая на Западе эгоизмом мещан и нелепостию якобинцев; отсвечивает на нас в то время, как грубый материализм нас пожирает больше чумы и картечи; наше несчастное войско и народ русский увлекаются в бой благородными чувствами народности, религии, ненавистию к варварству и, может, надеждой на свободу, обещанную царем.

История полна этих противуречий.

Принесут ли наши солдаты, храбрые в опасности, герои перед смертию,— принесут ли они с собой заразу благородных чувств и широких помыслов? Не знаю. От Запада они отрезаны механиз-

[1] Надейся, народ мой! *(лат.)* — *Ред.*
[2] вопреки всему *(франц.)*.— *Ред.*
[3] Тогдашние слухи!

мом дисциплины; казарменный дух, жалкая страсть отличий их очень забили, — может, они придут так, как пошли солдатами папы и императора, Рима и 2 декабря.

Но чего не сделает «пушечное мясо», то сумеет сделать перо писателя. С берегов Черной, Днепра, Вислы — мысль о свободе придет пристыдить старую революционную весь. Она вызовет воспоминания 14 июля, 10 августа, 31 мая, 1830, 1848. Тогда мир узнает, может ли Франция, победоносная в Крыму (это предположение я поневоле должен сделать для моих суетных соотечественников), еще держать скипетр образования и прогресса...

Прощайте, любезный друг. Сохраните себя неприкосновенным и чистым в наших передрягах, это мое единственное желание вам, пусть оно будет залогом вашего успеха.

П.-Ж. Прудон.

ПИСЬМО ТОМАСА КАРЛЕЙЛЯ

5, Чайна Род, Челси, 13 апреля 1855.

Dear Sir[1],

Я прочел вашу речь[2] о революционных началах и элементах в России; много в ней мощного духа и сильного таланта, она особенно поражает трагической серьезностью тона, которого нельзя не видеть и нельзя легко принять читателю, какого бы мнения он ни был о вашей программе и о вашем пророчестве России и миру.

Что касается до меня, я признаюсь, что никогда не считал, а теперь (если это возможно) еще меньше, чем прежде, надеюсь на всеобщую подачу голосов, во всех ее видоизменениях. Если она может принести что-нибудь хорошее, то это так, как воспаление в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый царизм или даже великий туркизм (grand turkism) — чистой анархии (а я ее такою, по несчастию, считаю), развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов. «Ach, mein lieber Sultzer, er kennt nicht diese verdammte Rasse»[3],— сказал раз Фридрих II, и в этом он выразил печальную истину.

В вашей обширной родине, которую я всегда уважал как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя провидения, которого внутренний смысл еще неизвестен, но который, очевидно, не исполнен в наше время; она имеет талант, в котором она первенствует и который дает ей мощь, далеко превышающую другие страны,— *талант*, необходимый всем нациям, всем существам и

---

[1] Дорогой сэр *(англ.).— Ред.*

[2] Произнесенная в С. Мартин'с Галь 26 февраля 1855.

[3] Ах, мой дорогой Шультцер, он не знает этой проклятой расы *(нем.).— Ред.*

беспощадно требуемый от них всех под опасением наказаний— *талант повиновения*, который в других местах вышел из моды, особенно теперь. И я нисколько не сомневаюсь, что отсутствие его будет, рано или поздно, вымещено до последней копейки и принесет с собой страшное банкротство. Таково мое мрачное верование в эти революционные времена.

Несмотря на наши разномыслия, я буду очень рад, если вы заедете ко мне, будучи в городе; да я и сам надеюсь как-нибудь, прогуливаясь, завернуть в вашу Чомле-Лодж и потолковать с вами о разных разностях.

С искренним уважением и желанием всякого добра...

Т. Карлейль[1].

---

[1] Вот мой ответ на письмо Томаса Карлейля:

«Позвольте вам сказать несколько слов о тех близких мне предметах, которые вы затронули в вашем письме.

Я никогда не был горячим поклонником *всеобщей* подачи голосов. Она, как всякая форма, не связанная с необходимым содержанием, может быть хороша и дурна, может привести к результатам счастливым или совершенно нелепым. Социализм идет дальше арифметического сложения и вычитания голосов, которыми определяют *числовое* достоинство закона. Социализм старается раскрыть законы наиболее естественного устройства общества и стремится к данным историческим условиям.

«Анархия», «талант повиновения» — все это очень смутно и требует большей определительности. Если анархия значит беспорядок, произвол, разрыв круговой поруки, разрыв с разумом, то социализм больше борется с ней, чем монархия...

Талант повиноваться в согласии с нашей совестью — *добродетель*. Но талант *борьбы*, который требует, чтоб мы не повиновались против нашей совести,— тоже добродетель!

Природа представляется нам самою огромною гармоническою анархией, и именно оттого-то в природе все в порядке, что идет само по себе. Разумеется, анархия в этом смысле не значит tohu-bohu ⟨беспорядок *(франц.)*.— *Ред.*⟩, путаница капризов, странностей. Признание анархии в мысли не значит освобождение ее от логики, но дело в том, что я не из *повиновения* говорю, что 2×2==4. Религия — совсем напротив, она, как монархия, требует не только талант разумения, но и талант послушания и верования.

Без таланта борьбы и противудействия мир бы еще стоял на точке Японии, не было бы ни истории, ни развития...

«Всякая власть от бога»,— сказал ап. Павел, а сам был мятежный гражданин римский, богохулец Дианы Ефесской, бродящий демагог на Via Appia, общинник (partageux), казненный Цезарем именно за то, что он у него не находил достаточно развитым талант повиновения.

Вы как мыслитель должны извинить меня, что я против вас отстаиваю мои мнения, зная очень хорошо сравнительную слабость моих сил.

Как только я буду в Лондоне, непременно явлюсь с моим почтением к вам Карлейль, и очень буду рад вас видеть в моей Ричмондской пустыне, для того, чтобы продолжать viva voce ⟨в личной беседе *(лат.)*.— *Ред.*⟩ наши споры.

Чомле-Лодж, Ричмонд, 14 апреля 1855».

ПРИЛОЖЕНИЯ

БРАТЬЯМ НА РУСИ

Под сими строками покоится прах сорокалетней жизни, окончившейся прежде смерти. Братья, примите память ее с миром!

Наконец смятение и тревога, окружавшие меня, вызванные мною, утихают; людей становится меньше около меня, и так как нам не по дороге, я более и более остаюсь один.

Я не еду из Лондона. Некуда и незачем... Сюда прибило и бросило волнами, так безжалостно ломавшими, крутившими меня и все мне близкое... Здесь и приостановлюсь, чтоб перевести дух и сколько-нибудь прийти в себя.

Не знаю, успею ли я, смогу ли воспользоваться этим временем, чтоб рассказать вам страшную историю последних лет моей жизни. Сделаю опыт.

Каждое слово об этом времени тяжело потрясает душу, сжимает ее, как редкие и густые звуки погребального колокола, и между тем я хочу говорить об нем — не для того, чтоб от него отделаться, от моего прошедшего, чтоб покончить с ним,— нет, я им не поступлюсь ни за что на свете: у меня нет ничего, кроме его. Я благословил свои страдания, я примирился с ними; и я торжественно бы вышел из ряда испытаний, и не один, если б смерть не переехала мне дорогу. За пределами былого у меня нет ничего своего, личного. Я живу в нем, я живу смертью, минувшим,— так иноки, постригаясь, теряли свою личность и жили созерцанием былого, исповедью совершившегося, молитвой об усопших, об их светлом воскресении. Прошедшее живо во мне, я его

продолжаю, я не хочу его заключить, а хочу говорить, потому что я один могу свидетельствовать об нем.

Исповедь моя нужна мне, вам она нужна, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям.

Мы расстались с вами, любезные друзья, 21 января 1847 года.

Я был тогда во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне такие залоги и такие испытания, что я смело шел от вас с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение.

Я нашел все, чего искал,— да, сверх того, гибель, утрату всех благ и всех упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не останавливающееся ни перед чем, посягающее на все, и нравственное растление, о котором вы не имеете понятия...

Пятнадцать лет тому назад, будучи в ссылке, в одну из изящнейших, самых поэтических эпох моей жизни, зимой или весной 1838 года, написал я легко, живо, шутя воспоминания из моей первой юности. Два отрывка, искаженные цензурою, были напечатаны. Остальное погибло; я сам долею сжег рукопись перед второю ссылкой, боясь, что она попадет в руки полиции и компрометирует моих друзей.

Между теми записками и этими строками прошла и совершилась целая жизнь,— две жизни, с ужасным богатством счастья и бедствий. Тогда все дышало надеждой, все рвалось вперед, теперь одни воспоминания, один взгляд назад,— взгляд вперед переходит пределы жизни, он обращен на детей. Я иду спиной, как эти дантовские тени, со свернутой головой, которым

il veder dinanzi era tolto[1].

Пятнадцать лет было довольно не только чтоб развить силы, чтоб исполнить самые смелые мечты, самые несбыточные на-

---

[1] не дано было смотреть вперед *(итал.)*.— *Ред.*

дежды, с удивительной роскошью и полнотой, но и для того, чтоб сокрушить их, низвергая все, как карточный дом... частное и общее.

Продолжать «Записки молодого человека» я не хочу, да если б и хотел, не могу. Улыбка и излишняя развязность не идут к похоронам. Люди невольно понижают голос и становятся задумчивы в комнате, где стоит гроб—незнакомого даже им покойника.

2 ноября 1852, Лондон. *А. Герцен*
2 Barrow Hill Place, Primrose Road.

ПРЕДИСЛОВИЯ К РАННИМ ПУБЛИКАЦИЯМ

<К ПЕРВОЙ ЧАСТИ>

В октябре месяце нынешнего года Герст и Блякет издали английский перевод моих «Записок». Успех был полнейший: не только все свободомыслящие журналы и ревю поместили большие отрывки с самыми лестными отзывами (с особенной благодарностью вспоминаю я о статьях «The Athenaeum», «The Critic» и «Weekly Times»), но даже тайнобрачный орган палмерстоповского и бонапартовского союза «Morning Post» разбранил меня и советовал закрыть русскую типографию, если я хочу пользоваться уважением (кого? — их,— нисколько не хочу).

Этот успех вместе с разбором немецкого перевода в нью-йоркских и немецких журналах решил мое сомнение — печатать или нет часть, предшествующую «Тюрьме и ссылке». В этой части мне приходилось больше говорить о себе, нежели в напечатанных, и не только о себе, но и о семейных делах. Это вещь трудная,— не сама по себе, а потому, что по дороге невольно наталкиваешься на предрассудки, окружающие забором семейный очаг. Я не коснулся грубо ни одного воспоминания, не оскорбил ни одного истинного чувства, но я не хотел пожертвовать интересом, который имеет жизнь, искренно рассказанная,— целомудренной лжи и коварному умалчиванию.

Не знаю, стоит ли говорить о гнусных нападках, которым меня подвергла неосторожная проделка издателей, но чтоб не подумали, что я умолчал о них, скажу несколько слов. Издатели переводов, не имевшие никакого сношения со мной, смело поставили слово «Сибирь» в заглавии. Я протестовал. Это не помешало одному журналу напасть на меня. Я отвечал, рассказав дело. Он продолжал клевету — я не мог нагнуться до ответа. По счастью, я знаю, что в России не только между нашими друзьями,

по между нашими врагами не найдется ни один человек, который бы заподозрил меня в намеренном обмане à la Barnum или подумал бы, что ссылка на *чернильную* работу была для меня добровольной службой.

И — р.

ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ «ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ»

В конце 1852 года я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере, делами целого народа, знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось говорить.

...А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что *ни один человек*, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет и истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других, все старое, полузабытое воскресало — отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка[1] — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь.

Я не имел сил отогнать эти тени,— пусть они светлыми сенями, думалось мне, встречают в книге, как было на самом деле.

И я стал писать с начала; пока я писал две первые части, прошли несколько месяцев поспокойнее...

Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище...

Лондон, 1 мая 1854 г.

---

[1] Рассказ о «Тюрьме и ссылке» составляет вторую часть записок. В нем всего меньше речи обо мне, он мне показался именно потому занимательнее для публики.

<К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ «ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ»>

<Перевод>

Для того чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или видавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать.

Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес — если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила. Мы любим проникать во внутренний мир другого человека, нам нравится коснуться самой чувствительной струны в чужом сердце и наблюдать его тайные содрогания, мы стремимся познать его сокровенные тайны, чтобы сравнивать, подтверждать, находить оправдание, утешение, доказательство сходства.

Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь, в них рассказанная, бедной и незначительной. Тогда не читайте их — и это будет самым страшным приговором для книги. И в данном случае не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров. Мемуары Бенвенуто Челлини интересны не потому, что он был великим художником, а потому, что он затрагивает в них в высшей степени интересные вопросы.

«Право на те или иные слова» — это устаревшее выражение, относящееся к эпохе деградации интеллектуальной жизни, ко времени поэтов-лауреатов, докторов в шапочках, привилегированных философов, патентованных ученых мужей и других фарисеев академического мира. В те времена писательское искусство считалось таинством, доступным пониманию немногих избранников. «Официозный писатель» не только на бумаге, но и в жизни говорил напыщенным языком, выбирал самые неестественные обороты речи и пользовался наиболее редко употребляемыми словами,— словом, он то и дело проповедовал или восхвалял.

Что касается нас, то мы говорим совершенно понятным языком. Мы понимаем писательское искусство как такое дело, которым может заняться любой человек. Для этого не надо быть профессионалом, так как это самая обычная работа. Здесь, по крайней мере, нельзя подвергнуть сомнению «право на труд».

То, что не всякое произведение может найти читателей,— вопрос другого порядка.

Год назад, в Лондоне, я опубликовал на русском языке часть своих мемуаров под заглавием «Тюрьма и ссылка». Эта работа

появилась тогда, когда война уже началась и когда связь с Россией стала более затруднительной. Потому я и не ожидал большого успеха. Но случилось иначе. В сентябре месяце «Revue des Deux Mondes» поместил пространные выдержки из моей книги с крайне лестным отзывом обо мне самом (хотя я не разделяю мнения рецензента). В январе появились другие выдержки (соответственно переведенные с русского языка), напечатанные в лондонском «Athenaeum». В то же время Гофман и Кампе опубликовали в Гамбурге немецкий перевод этой работы.

Это побудило меня издать еще один том.

В другом месте я скажу, какой глубокий интерес для меня лично представляют эти мемуары и с какой целью я начал их писать. Теперь я довольствуюсь лишь констатацией того факта, что в настоящее время нет такой страны, в которой мемуары были бы более полезны, чем в России. Мы — благодаря цензуре — очень мало привыкли к гласности. Она пугает, удивляет и оскорбляет нас. Пора наконец имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что рано или поздно, но об их действиях, тайну которых так хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, станет всем известно и их позорные деяния будут разоблачены перед всем миром.

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ»

Когда *И. Трюбнер* просил у меня дозволение сделать *второе издание* моих сочинений, изданных в Лондоне, я потому исключил «Тюрьму и ссылку», что думал в скором времени начать полное издание моих воспоминаний под заглавием «Былое и думы».

Но, несмотря на то что скоро сказывается сказка, да не скоро делается дело, я увидел, что мой рассказ еще не так близок к полному изданию, как я думал. Между тем требования на «Тюрьму и ссылку» повторяются чаще и чаще. Книжка эта имеет свою относительную целость, свое единство, и я согласился на предложение г. Трюбнера.

Перечитывая ее, я добавил две-три подробности (мою встречу с Цехановичем и историю владимирского старосты...), но текст оставлен без значительных поправок. Я не разделяю шутя высказанного мнения Гейне, который говорил, что он очень доволен тем, что долго не печатал своих записок, потому что события доставляли ему случай проверить и исправить сказанное.

21 апреля 1858. *И — р.*
Путней, близ Лондона.

Отрывок, печатаемый теперь, следует прямо за той частью, которая была особо издана под заглавием «Тюрьма и ссылка»; она была написана тогда же (1853), но я многое прибавил и дополнил.

Странная судьба моих «Записок»: я хотел напечатать одну часть их, вместо того напечатал три и теперь еще печатаю *четвертую*.

Один парижский рецензент, разбирая, впрочем, очень благосклонно («La presse», 13 oct. 1856) третий томик немецкого перевода моих «Записок», изданных Гофманом и Кампе в Гамбурге, в котором я рассказываю о моем детстве, прибавляет шутя, что я повествую свою жизнь как эпическую поэму: начал in medias res[1] и потом возвратился к детству.

Это эпическое кокетство — совершенная случайность, и если кто-нибудь виноват в нем, то совсем не я, а скорее мои рецензенты и в том числе сам критик «Прессы». Если б они отрывки из моих «Записок» приняли строже, холоднее и, что еще хуже, пропустили бы их без всякого внимания, я долго не решился бы печатать еще и долго обдумывал бы, в каком порядке печатать.

Прием, сделанный им, увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать.

Я знаю, что большая часть успеха их принадлежит не мне, а предмету. Западные люди были рады еще раз заглянуть за кулисы русской жизни. Но, может, в сочувствии к моему рассказу доля принадлежит *простой правде* его. Эта награда была бы мне очень дорога, ее только я и желал.

Часть, печатаемая теперь, интимнее прежних; именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов; но мне было гораздо труднее ее писать... К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с внутренним трепетом, не давая себе отчета зачем...

...Может быть, кому-нибудь из тех, которым была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя. Ведь мы уже теперь старые знакомые.

И — р.

Лондон, 21 ноября 1856.

---

[1] с сути дела *(лат.)*.— *Ред.*

— Кто имеет право писать свои воспоминания?

— *Всякий.*

Потому, что *никто их* не обязан читать.

Для того чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком,— для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать.

Всякая жизнь интересна; не личность — так среда, страна занимают, *жизнь* занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению... Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания...

— Но могут же записки быть скучны, описанная жизнь бесцветна, пошла?

— Так не будем их читать — хуже наказания для книги нет.

Сверх того, этому горю не пособит никакое *право* на писание мемуаров Записки Бенвенуто Челлини совсем не потому занимательны, что он был отличный золотых дел мастер, а потому, что они сами по себе занимательны любой повестью.

Дело в том, что слово «иметь право» на такую или другую речь принадлежит не нашему времени, а времени умственного несовершеннолетия, поэтов-лауреатов, докторских шапок, цеховых ученых, патентованных философов, метафизиков по диплому и других фарисеев христианского мира. Тогда акт писания считался каким-то священнодействием, писавший для публики говорил свысока, неестественно, отборными словами, он «проповедовал» или «пел».

А мы просто говорим. Для нас писать — такое же светское занятие, такая же работа или рассеяние, как и все остальные. В этом отношении трудно оспоривать «право на работу». Найдет ли труд признание, одобрение,— это совсем иное дело.

Год тому назад я напечатал по-русски одну часть моих записок под заглавием «Тюрьма и ссылка», напечатал я ее в Лондоне во время начавшейся войны; я не рассчитывал ни на читателей, ни на внимание вне России. Успех этой книги превзошел все ожидания: «Revue des Deux Mondes», этот целомудреннейший и чопорнейший журнал, поместил полкниги в французском переводе. Умный, ученый «The Athenaeum» дал отрывки по-английски, на немецком вышла вся книга, на английском она издается.

Вот почему я решился печатать отрывки из других частей.

В другом месте скажу я, какое огромное значение для меня лично имеют мои записки и с какою целью я их начал писать. Я ограничусь теперь одним общим замечанием, что у нас особенно полезно печатание современных записок. Благодаря цензуре мы не привыкли к публичности, всякая гласность нас пугает, останавливает, удивляет. В Англии каждый человек, появляющийся на какой-нибудь общественной сцене разносчиком писем или хранителем печати, подлежит тому же разбору, тем же свисткам и рукоплескациям, как актер последнего театра где-нибудь в Ислингтоне или Падингтоне. Ни королева, ни ее муж не исключены. Это — великая узда!

Пусть же и наши императорские *актеры* тайной и явной полиции, так хорошо защищенные от гласности цензурой и отеческими наказаниями, знают, что рано или поздно дела их выйдут на белый свет.

ИЗ ДНЕВНИКА Н. А. ГЕРЦЕН

1846. Окт. 25. Так много жилось и работалось, что мне наконец жаль стало унести все это с собою. Пусть прочтут дети,— их жизнь не даст им, может быть, столько опыта. Не знаю, долго ли это будет и что́ будет потом, но пока я жива — более или менее,— они будут сохранены от этих опытов; хорошо ли это,— не знаю, но как-то нет сил не отдернуть свечи, когда ребенок протягивает к ней руку. Не так было со мною. С ранних лет или даже дней отданная случайности и себе, я часто изнемогала от блужданья впотьмах, от безответных вопросов, от того, что не было точки под ногами, на которой бы я могла остановиться и отдохнуть, не было руки, на которую б опереться... Мое прошедшее интересно внутренними и внешними событиями, но я расскажу его после как-нибудь, на досуге... Настоящее охватывает все существо мое; страшная разработка... до того все сдвинуто с своего места, все взломано и перепутано, что слова, имевшие ярко определенное значение целые столетия, для меня стерты и не имеют более смысла.

30-е, середа. Сегодня я ездила с Марьей Федоровной проститься к Огареву; он уезжает в свою пензенскую деревню, и, может быть, надолго... Горько расставаться с ним, он много увозит с собою. У Александра из нашего кружка не осталось никого, кроме его; я еще имею к иным слабость, но только слабость... религиозная эпоха наших отношений прошла; юношеская восторженность, фантастическая вера, уважение — все прошло! И как быстро. Шесть месяцев тому назад всем, протягивая друг другу руку, хотелось еще думать, что нет в свете людей ближе между собой; теперь даже и этого никому не хочется. Какая страшная тоска и грусть была во всех, когда сознали, что нет этой близости, какая пустота; будто после похорон лучшего из друзей. И в самом деле, были похороны не одного, а всех лучших

друзей. У нас остался один Огарев, у них — не знаю кто.— Однако же мало-помалу силы возвращаются; проще, самобытнее становишься, будто сошел со сцены и смотришь на нее из партера; игра была откровенна,— все же было трудно, тяжело, неестественно. Разошлися по домам, теперь хочется уехать подальше, подальше...

Ноябрь, 1-е. Да, уехать,— мы уже несколько лет собираемся в чужие краи, здоровье мое расстроено, для меня необходимо это путешествие, писала просьбу к императрице пять лет тому назад — все бесполезно; Александр ездил в Петербург в прошлом месяце, хлопотал, хлопотал, Ольга Александровна Жеребцова расположена к нам как нельзя лучше, она много может, и она хлопотала; Дубельт, Орлов желали этого и не могли ничего сделать. Прежде нужно освободиться от надзора полиции, который уже продолжается одиннадцать лет. Пошла бумага об этом в Петербург,— что-то будет? Впрочем, я как-то спокойнее ожидаю теперь позволенье и отказ. Что это — равнодушие или твердость?— но на все смотришь спокойнее, удовлетворения все меньше и меньше и требовательности меньше... Не резигнация[1] ли это? Какое жалкое чувство; нет, лучше сердиться или страдать. Отчего же я не сержусь, и не страдаю, и не сознаю резигнации — и не равнодушие это, стало — твердость. По временам я чувствую страшное развитие силы в себе, не могу себе представить несчастия, под которым бы я пала. Последний припадок слабости со мною был в июне, на даче, тогда, как разорвалась цепь дружеских отношений и каждое звено отпало само по себе. У меня поколебалась вера в Александра — не в него, а в нераздельность, в слитость наших существований, но это прошло, как болезнь, и не возвратится более. Теперь я не за многое поручусь в будущем, но поручусь за то, что это отношение останется цело, сколько бы ни пришлось ему выдержать толчков. Могут быть увлечения, страсть, но *наша любовь* во всем этом останется невредима.

2-е, суб. Теперь далеко Огарев. Как хорошо ему ins Freie!..[2] Что за чудный человек; по фактам, по внешней жизни его я никого не знаю нелепее; зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония,— в этом отношении он выше Александра; со мною никто в этом не согласен: все почитают его слабым, распущенным до эгоизма, избалованным до сухости, до равнодушия,— никто его не понимает вполне, даже Александр не совсем, оттого что наружное слишком противоречит с внутренним. И я не могу объяснить этого, доказать, но довольно видеть его наружность, чтоб

---

[1] покорность судьбе *(от франц. résignation).— Ред.*

[2] на свободе! *(нем.) — Ред.*

понять, что этот человек не рядовой, что натура его божественна (выражаясь прежним языком); в наше время он не мог ничего из себя сделать, и самое воспитание отняло у него много средств. Может быть, я и тут еще увлекаюсь; может быть, я не могу устоять против этого влечения; раз, просидевши со мной часа три, он сказал, что еще не соскучился,— приятнее этого комплимента я еще ни от кого не слыхала в мою жизнь, и это потому, что он сказал мне его. Любишь его бескорыстно,— как-то и не думается, чтоб он тебя любил; от других требуешь любви, уважения, требуешь покорности; отчего, почему все это так? не знаю. От иных не требуешь вовсе ничего, потому что не замечаешь их, от него — вовсе не потому. Ему не смеешь ничего пожелать,— так сильно сознание его свободы и воли.

4-е, пон. Как тяжело бывает с некоторыми из прежних близких; в беседе с ними нет более ни содержания, ни смысла. Как тяжело притворяться, и притворяться не для того, чтоб обмануть, а еще нет силы выказать, насколько мы стали далеки; мне об этом трудно говорить даже с Александром. И между тем есть полное убеждение, что мы не виноваты в том, что отошли от них далеко, что мы не можем быть близки,— некоторые благородные черты не удовлетворяют настолько; прежде это как-то натягивалось внутри себя, не отдавая себе полного отчета,— теперь это невозможно. Какая-то потребность, жажда открывать во всем истину, насколько б это ни было больно, хотя б куски собственного тела вырывались с ложным убеждением. Видно, возраст такой пришел; оттого и разошлись мы, что они боятся всякой правды, еще им нравятся сказки и детские игрушки, а это возбуждает негодование и сожаление. Иные это делают с хитростью, желая обмануть самих себя, — тут есть еще надежда, откровенное же ребячество жалко.— До такой степени для меня изменило все свое значение, что то, что прежде казалось трогательно и вызывало нежное, какое-то неопределенное сочувствие, теперь возмутительно и возбуждает гнев. Например, Сатин; мне его долго было жаль, долго хотелось сохранить его,— такая любящая натура... и он все хотел заменить любовью, но полного сочувствия, сознательного согласия никогда не было. В последний мой разговор с ним до того все натянулось, что порвалось. Я молчу сколько можно, и уж не прикрою ни одной правды, когда нужно говорить,— для меня это невозможно. Его нежность, его ласки, попечительная любовь, страдание о том, что никто не отвечает на эту любовь вполне,— все это не что иное, как слабость, недостаток содержания в самом себе и ограниченность притом. Пять лет тому назад, уезжая за границу, он оставил меня идеалом женщины, такою чистою, святою, погруженною совершенно в любовь к

Александру и Саше, не имеющею никаких других интересов; возвратившись, нашел холодною, жестокою и совершенно под влиянием Александра, распространяющего теорию ложной самобытности и эгоизма. Я не пережила ничего (то есть со мною не случилось никаких несчастий?) и потому не могу знать жизнь и понять истину, выработать же это мыслью — не свойственно женщине. Ну, тут трудно возражать. Такое понимание очень обыкновенно между людей, но пока С. не высказал его вполне, я никогда б не поверила, что он до такой степени туп. В нем много благородного, много готовности на всякую услугу,— я никогда не протяну ему руки без уважения и холодно.

5-е, середа. Что это, как нелепо устроена жизнь! и вместо того, чтобы облегчить, прочистить себе как-нибудь дорогу, люди отдаются слепому произволу, идут без разбору, куда он их ведет, страдают, погибают с каким-то самоотверженьем, как будто не в их воле существовать хорошо. Иные с большим трудом выработали себе внутреннюю свободу, но им нельзя проявить ее, потому что другие, оставаясь рабами в самих себе, не дают и другим воли действовать, и все это так бессмысленно, безотчетно, сами не понимая, что делают и зачем? Ну, а те, которые понимают? Им трудно отстать от предрассудков, как от верования в будущую жизнь, и они добровольно оставляют на себе цепи, загораживают ими дорогу другим и плачут о них и о себе.— Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение (но кому в отмщение?) за то, что другие имеют больше средств, она казнит их этими средствами, не желая разделить их с ними. И это истинная казнь! Сидеть за роскошным столом, покрытым драгоценными ненужностями, и *не сметь* предложить другому самого необходимого,— тут сделается противно все, и сам себе покажешься так жалок и ничтожен. Я всегда была довольно равнодушна к украшениям, даже к удобствам жизни; однако же иногда бывали желания иметь что-нибудь, чего нельзя было; теперь мне противно всякое излишнее удобство,— так бы хотелось поделиться с тем, у кого нет и необходимого,— единственное средство без угрызения пользоваться самому богатством, а тут не смеешь предложить или получаешь отказ... Непростительная жестокость!

11-е, пон. Получили письмо от Огарева. Он пишет, что для него Александр, я и еще одно существо нигде и никем не заменимы. У меня захватило дух, когда я прочла эту фразу. Он не лжет, но не ошибается ли? Если же это правда и если это долго не изменится,— я не могу себе представить выше счастья. Такая полная симпатия... а мне и прежде казалась иная симпатия полной... и наконец выходило из нее полное отчуждение... Пусть,

пусть это — юношеская мечта, увлеченье, ребячество, глупость,— я отдаюсь всей душой этой глупости; после Александра никого нет, кого бы я столько любила, уважала, никого, в ком бы было столько человечественного, истинного. Он грандиозен в своей простоте и верности взгляда. Мне тяжело бы было существовать, если б он перестал существовать, и у Александра это единственный человек, вполне симпатизирующий ему. И если все это — мечта, так уж, наверное, последняя. И то она одна в чистом поле, ничего нет, ничего нет кругом... так, кой-где былинка... Дети — это естественная близость: ей нельзя не быть; общие интересы — тоже, и это наполняет ужасно много; не прибавляя к этому ничего, можно просуществовать на свете, но я испытала больше: я отдавалась дружбе от всей души, и кто же этого не знает, что, отдавая, берешь вдвое более,— и все это исчезло, испарилось, и как грубо, как неблагородно разбудили и показали, что все это *мне* снилось... Разбудить надо было: горькое, реальное всегда лучше всякого бреда — это не естественная пища человеку, и рано или поздно он пострадает от нее,— но не так бы *бесчеловечно* разбудить; меня оскорбляет только манера,— в ней было даже что-то пошлое, а мне хотелось бы, чтоб память моего идеала осталась чиста и свята.

13. О, великая Санд! так глубоко проникнуть человеческую натуру, так смело провести *живую душу* сквозь падения и разврат и вывести ее невредимую из этого всепожирающего пламени. Еще четыре года тому назад Боткин смешно выразился об ней, что она Христос женского рода, но в этом правды много. Что бы сделали без нее с бедной Lucrezia Floriani, у которой в 25 лет было четверо детей от разных отцов, которых она забыла и не хотела знать, где они?.. Слышать об ней считали б за великий грех, а она становит ее перед вами, и вы готовы преклонить колена перед этой женщиной. И тут же рядом вы смотрите с сожаленьем на выученную добродетель короля, на его узкую, корыстолюбивую любовь. О! если б не нашлось другого пути, да падет моя дочь тысячу раз — я приму ее с такой же любовью, с таким же уваженьем, лишь бы осталась жива ее душа: тогда все перегорит, и все сгорит нечистое, останется одно золото.

Дочитала роман, конец неудовлетворителен.

1847-го января 10-е. Уезжаем 16-го. Опять все симпатично и тепло... всех люблю, вижу, что и они любят нас; с большою радостью уезжаю, чувствую, что с радостью буду возвращаться. Настоящее хорошо, отдаюсь ему безотчетно.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Стр. 9. *...искать суда своих.*— Поездка в Лондон была связана для Герцена с надеждами на проведение общественного суда представителей международной демократии над Гервегом.

Стр. 10. *...59 и 60 годы* — годы итало-франко-австрийской войны и национально-освободительной войны за объединение Италии.

...органами всех реакций... до либеральных кастратов Кавура.— Герцен подразумевает ряд газет Пьемонта, таких, как «Unione», «Il Dritto», «Il Parlamento», находящихся в зависимости от Кавура и являвшихся рупором его политики.

Стр. 11. *...«неколебим пред общим заблужденьем»...*— Из стихотворения Пушкина «Полководец».

...благословляющим с радостью и восторгом врагов и друзей, исполнявших его мысль, его план.— Герцен имеет в виду положение, создавшееся на юге Италии в сентябре—ноябре 1860 года после гарибальдийского похода и освобождения Неаполитанского королевства от власти Бурбонов. Первостепенной задачей Мадцини считал полное воссоединение Италии, включая Рим и Венецию. Не отказываясь от республиканских убеждений, он приветствовал и поддерживал всех, кто содействовал достижению этой цели, вплоть до монархистов. Ввиду того, что деятельность Мадцини грозила срывом планам Пьемонта, кавуровская пресса начала кампанию травли против него; агенты Кавура с помощью подкупленных лиц организовали в конце сентября — начале октября 1860 года демонстрации под лозунгом: «Смерть Мадцини!»; правитель Неаполя — ставленник Кавура — предложил Мадцини покинуть город.

«Народ, таинственно спасаемый тобою...» — Из стихотворения Пушкина «Полководец».

Как же Гарибольди не отдал ему полвенка своего?.. Зачем оставленный триумвир римский не предъявил своих прав? — По мнению Герцена, Гарибальди следовало бы во время освободительного похода на юг Италии в 1860 году

выступить с публичным признанием заслуг Маццини в деле объединения Италии и поддержать его в выдвигаемом им требовании полного завершения объединения Италии. Герцен не считал также правильными и действия Маццини, «оставленного триумвира римского», который без борьбы уступил требованию агентов Пьемонта и в конце ноября покинул Неаполь, а затем Италию и в декабре 1860 года вернулся в Англию.

V «Поляр. звезда».— Герцен ссылается на первую публикацию XXXVII главы.

...король отпустил его, как отпускают довезшего ямщика.— В 1860 году отряд Гарибальди, поддержанный народом, разбил армию неаполитанского короля Франциска II Бурбона и освободил Неаполитанское королевство. В конце октября 1860 года был проведен плебисцит о присоединении Неаполитанского королевства к Пьемонту. Король Виктор-Эммануил II, прибыв в свои новые владения, разоружил, а затем распустил гарибальдийские части, заменив их пьемонтскими войсками. Гарибальди была дана отставка; в качестве награды за оказанные услуги ему был предложен маршальский чин и ценные подарки. Гарибальди от всего отказался и 9 ноября 1860 года уехал на остров Капрера.

. перецеловал Австрию колоссальной неблагодарностью.— Австрия выступила во время Крымской войны против царской России, которая в 1849 году помогла австрийскому правительству подавить революцию в Венгрии.

...прогнать-белых кретинов — то есть освободить Италию от гнета Австрии, в армии которой была принята форма белого цвета.

...как он увлекся А. Дюма, так увлекается Виктором-Эммануилом.— Гарибальди предоставил в распоряжение А. Дюма-отца свои записки и часть корреспонденции с правом их издания. Дюма издал мемуары Гарибальди на французском языке, внеся в них много своих измышлений. Во время пребывания Дюма в Неаполе в 1860 году, по распоряжению Гарибальди, он был назначен директором музеев и реставрационных работ в Помпее и Геркуланум. В Неаполе Дюма начал издавать журнал «Indépendant» при прямой поддержке Гарибальди.

Гарибальди переоценивал короля Виктора-Эммануила II, считая его защитником национальных интересов Италии. Все антидемократические и антинациональные действия пьемонтского правительства Гарибальди приписывал проискам придворного окружения Виктора-Эммануила, и в первую очередь Кавура.

Стр. 12. *...с его маленьким Талейраном.*— Имеется в виду глава правительства Пьемонтского королевства К.-Б. Кавур.

.. экспедиции в Сицилию.— Имеется в виду поход Гарибальди и его отряда в Южную Италию в 1860 году, завершившийся освобождением территории Неаполитанского королевства от власти Бурбонов.

...о своих сношениях с Виктором-Эммануилом.— В сентябре 1859 года Маццини дважды обращался с предложением к Виктору-Эммануилу объединить силы революции и монархии для достижения единства Италии, обещая, что если король возьмет на себя руководство национально-освободительным

движением, то он, Маццини, устранится от политической деятельности. Никаких практических результатов эти обращения не дали.

Стр. 13. *...один молодой русский.*— Вероятно, это был Л. И. Мечников, участник гарибальдийского похода, находившийся в это время в Неаполе.

В Лондоне я спешил увидеть Маццини... я имел к нему особое поручение от его друзей.— Герцен приехал в Лондон 25 августа 1852 года, и в этот же день его посетил Маццини. На следующий день Герцен был с визитом у Маццини и передал ему мнение генуэзской группы соратников Маццини, отрицательно относившейся к политике, проводимой Итальянским национальным комитетом в Лондоне, руководимым Маццини. Для более серьезной подготовки восстания в Италии, в частности — в Милане, они предлагали использовать опыт военных, участвовавших в революции 1848—1849 годов, и привлечь их в ряды маццинистской организации.

Стр. 14. *Маццини тогда уже обдумывал свое 3 февраля 1853 года.*— Герцен имеет в виду восстание в Милане 6 февраля 1853 года.

Стр. 15. *Маццини вынул из кармана лист «Italia del Popolo».*— Издание газеты «Italia del Popolo» было прекращено ранее, в феврале 1851 года. С мая же 1851 по 1857 год в Генуе издавалась газета «Italia e Popolo».

...молодой человек.— Имеется в виду Виктор-Эммануил II.

Стр. 16. *...жил в карбонарских юнтах.*— Революционную деятельность Маццини начинал в рядах карбонарской организации — тайного заговорщического революционного общества, которое после 1851 года вело борьбу против австрийского господства и абсолютистско-феодальных режимов в итальянских государствах.

...был в сношениях с греческими гетериями и с испанскими exaltados.— Герцен имеет в виду тайные патриотические союзы в Греции, выступавшие против турецкого владычества, а также испанских республиканцев — exaltados, как их называет Герцен. Маццини считал, что восстания в Греции и Испании в будущем послужат сигналом для начала революции в Италии.

...с настоящим Каваньяком.— Речь идет о Годфруа Кавеньяке, деятеле республиканского движения при Луи-Филиппе, брате генерала Луи Эжена Кавеньяка, подавившего в июне 1848 года восстание парижских рабочих.

...поддельным Ромарино.— Генерал Ромарино в 1834 году по поручению Маццини возглавил экспедицию революционного отряда в Савойю; экспедиция потерпела неудачу в значительной мере по вине Ромарино, обнаружившего в решительный момент неспособность и нежелание руководить вверенным ему отрядом.

...с молдо-валахами.— С представителями молдо-валахского национально-освободительного движения Маццини работал в Центральном демократическом европейском комитете, в состав которого он привлек в 1851 году Дмитрия Братиано, деятеля либерально-буржуазного движения в Дунайских княжествах. От имени Центрального демократического европейского комитета Маццини написал обращение к румынскому народу, призывая его к борьбе за национальное освобождение.

Стр. 16. *Из его кабинета вышел... Конарский, пошел в Россию и погиб-нул.*— После подавления польского восстания 1830—1831 годов участник этого восстания польский революционер Конарский эмигрировал во Францию, где встречался с Маццини. Он стал активным деятелем «Молодой Польши» (1834 г.), которая входила в состав «Молодой Европы», руководимой Маццини. В 1835 году вернулся в Россию для ведения подпольной работы. В 1838 году был арестован царской полицией и расстрелян в 1839 году.

...как Бем, сделаться легендой.— Ю. Бем завоевал широкую известность как военный руководитель Венского восстания 1848 года и как генерал венгерской революционной армии. Маркс и Энгельс считали Бема «первоклассным военачальником» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 14, стр. 136).

...не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки... удивительная организация, о которой я говорил, разрушилась.— Герцен упоминает о событиях, связанных с деятельностью мацциниетской организации «Партия действия» в период 1853—1854 годов. В сентябре 1854 года Орсини по заданию Маццини пытался поднять восстание в Луниджиане, но был схвачен полицией. Летом 1853 года Маццини предполагал организовать выступление в Риме, но заговор был раскрыт, и в июле—августе 1853 года был арестован почти весь состав римского комитета «Партии действия». Такую же неудачу потерпела и вторичная попытка Маццини поднять восстание в Риме в августе 1854 года.

Стр. 17. *Король неаполитанский* — Фердинанд II Бурбон.

Его странная, непрямая роль в апреле и мае... отдалила от него часть красных — не сблизив с синими.— Герцен имеет в виду революционные события 1848 года. «Красными» тогда называли социалистов, «синими» — буржуазных республиканцев.

...когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне.— После поражения революции 1848—1849 годов французский политический деятель Ф. Пиа вынужден был эмигрировать; в 1852 году он приехал в Лондон, где возглавил эмигрантскую группу «Революционная коммуна», которая вела активную борьбу против Второй империи, но вместе с тем выступала и против идей пролетарского социализма.

Стр. 21. *...ни глюкистом, ни пиччинистом.* — Речь идет о сторонниках композиторов Глюка и Пиччини.

Стр 22. *...цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой.*— Подразумевается «Трактат вечного мира и дружбы», известный под названием Кучук-Кайнарджийского мирного договора, заключенного между Россией и Турцией в 1774 году. Часть статей этого договора касалась статуса дунайских земель.

Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания.— Имеется в виду интервенция царских войск в Венгрию в 1849 году.

Лебени, ткнувший ножом австрийского императора... — Венгр Янош Либени 18 февраля 1853 года совершил в Вене покушение на австрийского императора Франца-Иосифа, легко ранив его ударом кинжала в затылок.

Стр. 23. *...Николай не мог в Лондоне добиться ни протекции Веллингтона, ни статуей Нельсона.*— Во время посещения Лондона в 1848 году Николай I сделал пожертвование на памятники английским военным деятелям Нельсону и Веллингтону.

...когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре.— Речь идет о посещении Англии Наполеоном III в апреле 1855 года.

...«Таймс» нахмурил было брови.— Вероятно, имеется в виду недоброжелательная по отношению к Кошуту статья в связи с его приездом в Лондон, напечатанная в «Таймсе» 29 сентября 1851 года

...лекции о конкордате...— Конкордат — договор между правительством того или иного государства и римским папой как главой католической церкви, юридически оформляющий союз церкви и государства. Австрия, напуганная революцией 1848—1849 годов, поспешила заключить конкордат с римским папой в 1855 году.

Стр. 27. *...Шаранкро... Лестер-скуар* — французское произношение названий одной из главных улиц Лондона — Charing Cross и одной из площадей — Leicester Square.

Стр. 29. *...поднял гонение на журнал «L'Homme» за письмо Ф. Пи к королеве... и гордо отступили в Гернсей.*— 3 октября 1855 года в № 44 еженедельника «L'Homme», издававшегося французскими эмигрантами на острове Джерси (Джерсей), было напечатано сообщение о митинге, состоявшемся 22 сентября в Лондоне в годовщину первой французской революции. На этом митинге Ф. Пи огласил открытое письмо эмигрантской группы «Революционная коммуна» к английской королеве, полный текст которого был воспроизведен в следующем номере газеты. Письмо выражало возмущение состоявшимся в августе 1855 года визитом английской королевы Виктории в Париж, к Наполеону III. Губернатор выслал с острова Джерси трех редакторов газеты. В ответ на этот акт произвола тридцать пять проживавших на острове эмигрантов во главе с В. Гюго выступили в очередном номере «L'Homme» 17 октября с декларацией солидарности, заканчивавшейся словами: «А теперь высылайте и нас!» Когда же последовало распоряжение губернатора о высылке всех подписавших декларацию, французские эмигранты переехали на соседний остров Гернси (Гернсей).

Стр. 30. *...смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами.*— Герцен имеет в виду древнегреческое предание о спартанском царе Леониде, героически павшем в знаменитой битве при Фермопилах (480 г. до н. э.).

«Citoyen» — обращение, принятое с 1789 года у французских революционеров в отличие от обычного «monsieur».

Ликворист — продавец прохладительных напитков, а также растительных лекарств (от франц. liquoriste). В данном случае имеется в виду французский политический эмигрант, доктор Ж. Филипп.

Стр. 31. *...пошли в Кайенну или Ламбессу* — места ссылки на каторжные работы (Кайенна — во Французской Гвиане, Ламбесса — в Алжире).

Стр. 32. *Бель-Иль* — остров в Атлантическом океане у побережья Франции; находящаяся на этом острове крепость была в 1848—1852 годах местом заключения осужденных участников революции.

Стр. 33. *...через ров, их разделявший, ложный акробат бросил свою доску и провозгласил себя на ней императором.*— Президент Второй республики Луи Бонапарт 2 декабря 1851 года совершил государственный переворот, а год спустя, под именем Наполеона III, был провозглашен императором.

...один, празднуя 24 февраля, другой — июльские дни.— 24 февраля — день народного восстания в Париже в 1848 году; июльские дни — по-видимому, первые дни французской буржуазной революции 1830 года (27—30 июля).

...к торжественной прогулке Наполеона с королевой Викторией по Лондону.— Эта «прогулка», долженствовавшая демонстрировать единство союзников в Крымской войне, состоялась 19 апреля 1855 года.

Стр. 34. *...приехал в Лондон Феликс Пиа — из Швейцарии.*— Ф. Пиа приехал в Англию в 1852 году, но не из Швейцарии, куда он бежал в 1849 году, а из Бельгии, где он проживал с 1851 года. После переворота 2 декабря 1851 года Пиа вынужден был уехать из Бельгии в Лондон.

...он был известен процессом.— В 1844 году Ф. Пиа выступил с резкой статьей против реакционного и продажного журналиста Жюля Жанена; оскорбленный Жанен привлек Пиа к суду исправительной полиции, который приговорил Пиа к шести месяцам тюремного заключения.

Об этой пьесе я когда-то писал целую статью.— О драме Ф. Пиа «Парижский ветошник», впервые поставленной в Париже в 1847 году, Герцен рассказывал в «Письмах из Франции и Италии», письмо третье.

Ф. Пиа ...подрался как-то в палате с Прудоном.— Осенью 1848 года Прудон отозвался о Пиа как об «аристократе демократии». Пиа при встрече с Прудоном в кулуарах Учредительного собрания ответил резкостью. Между ними произошла драка, за ней последовала дуэль на пистолетах, которая состоялась 1 декабря и окончилась благополучно для обеих сторон.

...протест 13 июня 1849.— В этот день представители Горы (блок мелкобуржуазных демократов и социалистов в Законодательном собрании) организовали в Париже демонстрацию протеста против нарушения правительством конституции. Выступление окончилось провалом Горы.

...с Марьянной.— «Marianne» — символическое название республиканской Франции. Под этим наименованием после переворота 2 декабря 1851 года была создана тайная революционная организация, имевшая целью свержение наполеоновского режима и восстановление республики. Герцен в данном случае имеет в виду не только связь известной части лондонских эмигрантов с этой организацией, но и особое подчеркивание «Революционной коммуной» своей приверженности «делу демократической и социальной республики», высказанное в «Письме к Марианне», изданном в Лондоне в феврале 1856 года по случаю годовщины революции 1848 года.

Выходки Ф. Пиа в его письмах к королеве, к Валевскому.— Побочный сын Наполеона I к польской графини Валевской, Ф. Валевский участвовал в

польском восстании 1830—1831 годов, в ходе которого был послан с поручением в Лондон. После подавления восстания поселился в качестве политического эмигранта в Париже. При Наполеоне III, будучи назначен послом в Лондон, подготовил сближение Англии с Францией, завершившееся военным союзом. Эту политическую линию Валевский продолжал в дальнейшем, ставши министром иностранных дел. Письмо Ния разоблачало Валевского как ренегата революционного движения, предателя родины и пособника Наполеона III. О письме к королеве см. прим. к стр. 29.

Стр. 35. *...поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий,— виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря.*— В начале 20-х годов Гюго был легитимистом и католиком, затем отдал дань культу Наполеона. Он приветствовал июльскую революцию и революционное движение 30-х годов, а с 40-х годов поддерживал Июльскую монархию и в 1845 году был назначен пэром. С начала революции 1848 года Гюго примкнул к республиканцам, выступал как антиклерикал и сторонник «социальной демократии». Будучи депутатом Законодательного собрания, он протестовал против ряда антидемократических мероприятий правительства Второй республики, но призывал народ к сохранению спокойствия. Только после государственного переворота, совершенного Луи Бонапартом 2 декабря 1851 года, Гюго решительно выступил с призывом к революционной борьбе.

...он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции.— Речь, направленную против правительственной цензуры над театром, Гюго произнес в Учредительном собрании 3 апреля 1849 года в связи с обсуждением бюджета; позднее он отстаивал свободу театра от правительственной цензуры также в своих выступлениях в Государственном совете 17 и 30 сентября 1849 года в связи с рассмотрением законопроекта о театрах. Выступление Гюго против французской контрреволюционной интервенции в Риме состоялось 15 октября 1849 года в Законодательном собрании.

...он бросил в императора своего «Napoléon le petit», потом свои «Châtiments».— Памфлет В. Гюго «Наполеон малый» (1852) и сборник стихов «Возмездие» (1853) были направлены против Наполеона III.

Стр. 37. *...с того времени, как писал «Историю десяти лет» и «Организацию труда».*— «История десяти лет», охватывающая период 1830—1840 годов, была написана Луи Блаком в 1841—1844 годах, «Организация труда» — в 1840 году.

Стр. 38. *...в разгар Мексиканской войны.*— Авантюристическая война, которую Наполеон III вел против республиканцев в Мексике в 1861—1867 годах, закончилась поражением интервентов.

...за обедом, который давали в Брюсселе В. Гюго после издания «Les Misérables», Луи Блан в своей речи сказал...— Банкет по случаю выхода в свет романа В. Гюго «Отверженные» состоялся 16 сентября 1862 года. Посвятив большую часть своей речи борьбе за освобождение Италии, Луи Блан в связи

с этим сказал, что единственной ошибкой Гарибальди было то, что «он не знал, не хотел предвидеть, чтобы в момент, когда он, безоружный, вел высшее сражение за Италию, итальянский солдат стрелял в него». «Ему,— сказал Луи Блан,— не пришло на ум, что военная честь могла быть чем-то отличным от чести».

Стр. 39. *В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги Барбес.*— Освобожденный из тюрьмы в 1854 году, Барбес после короткого периода скитаний по разным странам поселился в Голландии. В Лондоне Барбес был в 1855 году.

Я звал их на другой день обедать, они пришли, и мы просидели до поздней ночи.— Встреча Герцена с Барбесом и Бланом произошла 27 февраля 1855 года на митинге, посвященном годовщине февральской революции; посещение ими Герцена относилось, следовательно, к 28 февраля.

Стр. 40. *...процесс Барбеса перед Камерой пэров...*— Барбес как главный организатор республиканского заговора и предводитель восстания 12 мая 1839 года вместе с другими его участниками был предан суду палаты пэров, которая приговорила его к смертной казни.

В ночь перед казнью Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал.— Вероятно, Герцен имеет в виду брошюру Барбеса «Deux jours de condamnation à mort» («Два дня приговоренного к смерти»), написанную им в тюрьме Ним в марте 1847 года.

Она выпросила без его ведома у Людвига-Филиппа перемену наказания...— Под давлением общественного протеста, проявившегося в массовой манифестации рабочих и студентов в защиту Барбеса и в обращении В. Гюго к королю, смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

...цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу.— Барбес, отбывавший пожизненное заключение в Ниме, был освобожден в первый день революции 1848 года и сразу же прибыл в Париж.

...он явился первым обвинителем Временного правительства за руанские убийства.— О кровавом подавлении восстания рабочих в Руане 27—28 апреля 1848 года и о выступлении Барбеса в Учредительном собрании Герцен рассказывает в «Письмах из Франции и Италии».

...Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Коссидьер! — 15 мая 1848 года в Париже состоялось выступление народных масс против реакционной политики Учредительного собрания. После провозглашения нового Временного правительства к исполнению обязанностей приступили только два члена правительства — Барбес и Альбер. Остальные либо заняли нерешительную и выжидательную позицию, как Луи Блан и Коссидьер, либо выступили против восставших, как Ледрю-Роллен. Стихийное выступление 15 мая было подавлено, а Барбес и другие революционные вожди в тот же день арестованы.

...письмо Барбеса...— Речь идет о письме Барбеса к Жорж Санд от 15 мая 1854 года из тюрьмы Бель-Иль.

Стр. 41. *Казните Наполеона, из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас, из этого не выйдет взятия Бастилии!* — 21 января 1793 года

был казнен Людовик XVI. Мазас — тюрьма, сооруженная в Париже Наполеоном III.

«Gottes feste Burg» — протестантский гимн на слова Лютера, начинающийся стихом: «Ein feste Burg ist unser Gott» («Наш бог — надежная крепость»).

Стр. 43. *...со времени ламарковских похорон.*— Похороны генерала Ж.-М. Ламарка, одного из самых популярных депутатов либеральной оппозиции в период Июльской монархии, состоялись 5 июня 1832 года и вылились в мощную демонстрацию приверженцев республики.

...праздник федерализации — состоялся на Марсовом поле в Париже 14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии.

Стр. 45. *...ко временам революции Нантского эдикта...*— В 1685 году Людовик XIV отменил изданный в 1598 году Генрихом IV акт, гарантировавший гугенотам свободу вероисповедания. Отмена Нантского эдикта вызвала эмиграцию нескольких тысяч гугенотов из Франции.

...эмигрантов в деревянных башмаках — то есть эмигрантов из крестьян.

...до реки Вара, составлявшей границу.— Река Вар являлась границей между Францией и Савойей. Драгиньян — город в нынешнем департаменте Вар.

Стр. 47. *...карманьолы* — здесь: короткой куртки французских революционеров конца XVIII века.

К чему была сделана дантонотомия, к чему эбертотомия? —Герцен говорит здесь о казни Дантона и Эбера. Окончание слов «...томия» — от древнегреч. tome (резание, сечение).

...латиклавами à la David . — Костюмы наподобие древнеримских сенаторских тунік, предназначавшиеся для театрализованных гражданских празднеств французской революции XVIII века, оформлявшихся художником Давидом.

...«Salus populi» одним добрым днем перевели на «Salvum fac imperatorem» и пропели его «соборне» во всем архиерейском орнате, в нотрдамском соборе.— Речь идет о коронации Наполеона Бонапарта в 1804 году в соборе Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris). «Salus populi suprema lex est» («Благоденствие народа да будет высшим законом») — древнеримский республиканский принцип. «Salvum fac imperatorem» («Храни императора») — слова молебствия.

...доктор Сœurderoy, посылая мне из Испании свою брошюру.— Э. Кердеруа, заимствуя свои положения из Фурье, Прудона и Огюста Конта, развивал свои весьма сумбурные идеи в брошюре, напечатанной в Женеве в октябре 1854 года под заглавием «Hurrah, ou la Révolution par les cosaques» («Ура, или Революция, совершенная казаками»).

Стр. 51. *...инициативе С.-Антуанского предместья.*— В Сент-Антуанском предместье Парижа, населенном трудовым людом, обычно начинались революционные выступления парижского пролетариата.

Стр. 53. *...Ваши письма к эсквайру Линтону, с которыми газета «L'Homme» познакомила своих читателей.*— Письма Герцена к Линтону были первоначально опубликованы в 1854 году в журнале «The English Republic».

«Мои бои изгнания» — двухтомное автобиографическое сочинение Кердеруа «Jours d'exil» вышло в свет в Лондоне в 1854—1855 годах. Отвечая Кердеруа в письме от 7 июня 1854 года, Герцен указывал, что «Россия не только казарма и царская канцелярия, но... она носит в себе глубоко революционные элементы», тогда как «Запад вовсе не так дьявольски революционен, как он воображает», и что в Николае I и его режиме «нет ничего славянского, национального» (Герцен, XXV, 184—185).

С того времени, как я печатал в «Современнике» мои «Письма из Avenue Marigny» — в октябрьской и ноябрьской книжках «Современника» за 1847 год.

Стр. 54. *...«kommt an die Sonnen».*— Из стихотворения Гете «Die Spinnerin» («Пряха»).

...в дело Орсини.— 14 января 1858 года в Париже Орсини совершил неудачное покушение на Наполеона III.

Стр. 55. *...он издал странную книгу в защиту свободы мысли, речи и лица.*— Герцен имеет в виду книгу Милля «On liberty», London, 1859.

...за два века Мильтон писал о том же.— В 1644 году в Лондоне была опубликована книга Мильтона «Areopagitica: A Speech for the liberty of unlicensed printing» («Ареопагитика, или Речь в защиту свободы печати»).

...печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской.— Произведения древнеримского историка и оратора Тацита, такие, как «История», «Анналы», были пронизаны возмущением против деспотизма и произвола, царивших в императорском Риме, и печалью по поводу исчезновения былых республиканских добродетелей.

Стр. 58. *...что было сказано об этом в «Западных арабесках», «Полярная звезда» на 1856 год.*— Герцен имеет в виду главу «Былого и дум» — «Западные арабески. Тетрадь вторая», напечатанную в «Полярной звезде» на 1856 год, кн. II (см. т. 1 наст. изд.).

Стр. 59. *...не пьют скидама* — голландской водки.

Стр. 60. *...меледа хозяйства* — то есть бесконечные хлопоты по хозяйству.

...пришествие Бонапартова брата.— В 1806 году на голландский престол Наполеоном был посажен его брат — Луи Бонапарт, который царствовал до 1810 года, когда Голландия была включена в состав наполеоновской империи.

Стр. 62. *Во Франции народ грозно заявил свой протест...*— Имеется в виду революционное выступление парижских рабочих в июне 1848 года; после Июньских дней и прихода к власти буржуазии А. Марраст возглавил Учредительное собрание.

«Rule, Britannia!» — начальные слова британского гимна.

...к отрывку, помещенному в VI кн. «Полярной звезды».— В этом номере

«Полярной звезды» был помещен отрывок из гл. 3 шестой части «Былого и дум» (до слов «...работника, я видел ближе» — см. стр. 46 наст. тома).

Стр. 63. *...к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням.*— Имеются в виду народные волнения в Париже 4—5 сентября 1793 года, приведшие к усилению революционного террора, который достиг крайнего развития в 1794 году.

Стр. 66. *...ланскене* — наемные солдаты в странах Западной Европы в средние века (франц. lansquenet, от нем. Landsknecht); впоследствии — название азартной игры в карты и ее любителей.

А уж помогая Наполеону ли в Страсбурге, герцогине ли Беррийской в Блуа, или красной республике в предместии св. Антона.— Герцен имеет в виду попытку Луи-Наполеона Бонапарта поднять восстание против правительства Луи-Филиппа 30 октября 1836 года, попытки герцогини Беррийской поднять в 1832 году восстание в пользу своего сына, претендовавшего на французский престол, и, наконец, восстания рабочих в Сент-Антуанском предместье Парижа.

...во время ссоры Франции с Португалией.— Речь идет о конфликте 1831 года, когда французская эскадра адмирала Руссена вторглась в португальские воды и появилась на реке Тахо.

Стр. 67. *Дрался в Бадене за народ, начальствуя орудиями во время Геккерова восстания.*— Восстание, организованное в апреле 1848 года в Бадене и Пфальце по призыву Геккера и Г. Струве под лозунгом объединения немецких земель в единую демократическую республику, не было поддержано народными массами и было легко подавлено через несколько дней.

Стр. 69. *...от границы внутрь королевства* — то есть от городской границы Лондона.

Стр. 70. *...«уаранд»... «абеас корпюс»* — произношение на французский лад английского слова «warrant» (приказ, полномочие) и латинского названия конституционного закона «Habeas corpus» — акта, гарантирующего личную свободу англичан.

Стр. 77. *...Бартелеми убил какого-то мелкого неизвестного английского купца и потом полицейского агента, который хотел его арестовать.*— Оба убийства произошли в Лондоне 8 декабря 1854 года; убитый купец — фабрикант шипучих вод Джордж Мур; второй убитый — сосед Мура, бакалейщик Коллар, пытавшийся задержать Бартелеми.

...в Ньюгете.— Ньюгет — лондонская тюрьма, в которой содержался Бартелеми.

Стр. 78. *Католический священник* — аббат Л. Ру.

...одной знакомой мне даме — М. фон Мейзенбуг, в воспоминаниях которой имеется много важных сведений о Бартелеми и его деле, об отношении к нему Герцена, а также письмо Бартелеми из тюрьмы и другое письмо аббата Ру о нем. На основании этих данных можно установить, что все дело было спровоцировано агентами французского правительства, чтобы погубить одного из наиболее активных революционеров-эмигрантов. Женщина, с которой жил

Бартелеми в последний период, бесследно исчезла. Это была, видимо, подосланная наполеоновским правительством шпионка, которая перед бегством завладела важнейшими бумагами, хранившимися на квартире Бартелеми, и передала их французским властям. Суд вынес смертный приговор, хотя обвинение в первом убийстве было отклонено присяжными, а за второе по английским законам полагалась ссылка. Смертный приговор был утвержден по настоянию французского правительства, хотя присяжные подписали просьбу о помиловании, а премьер-министр Пальмерстон обещал благоприятный ответ.

Стр. 85. *...madame Тюссо для ее.. особой галереи.*— Тюссо содержала музей восковых фигур в Лондоне, где в «комнате ужасов» находились фигуры казненных и предметы уголовной хроники.

Вчера арестовали... доктора Симона Бернара.— Бернар был арестован 15 февраля 1858 года.

Стр. 86. *Взятием Бернара думали отделаться... обдумывал свои гранаты.*— Агенты французского правительства утверждали, что Бернар организовал изготовление бомб, брошенных Орсини в Наполеона III 14 января 1858 года у здания Оперы в Париже.

Мабиль — парижский кафешантан с садом, известный устраиваемыми в нем балами-маскарадами.

Стр. 87. *За несколько дней до вотирования билля... на митинг в следующее воскресение в Hyde Park.*— Conspiracy to Murder Bill (Законопроект о заговоре с целью убийства) был внесен Пальмерстоном на рассмотрение парламента 8 февраля 1858 года; законопроект вотировался 19 февраля. Митинг, о котором здесь говорится, был назначен на воскресенье, 21 февраля 1858 года.

Mutiny Bill — Закон о мятеже служил в Англии основанием для объявления страны или ее части в угрожаемом состоянии; при этом допускалось использование вооруженной силы для поддержания порядка.

Классически-велеречивое и чопорно-консервативное министерство Дерби, с своими еврейскими мелодиями Дизраели и дипломатическими тонкостями времен Кастелри, сменило их.— Пришедшее в 1858 году на смену либеральному министерству Пальмерстона консервативное министерство лорда Дерби (Стенли) имело в своем составе деятельного, ловкого и беспринципного политика Дизраэли, еврея по происхождению. Кастелри руководил внешней политикой Англии в 1812 году.

Стр. 88. *...в Серпентину его!* — Серпентина (от англ. serpent — змея) — длинный, змеевидный пруд в лондонском Гайд-парке.

...знаменитое тургеневское «француза топим».— Герцен имеет в виду эпизод, описанный в рассказе Тургенева «Однодворец Овсяников».

...à la Prissnitz — в духе Присница, основателя новой в то время методы водолечения.

Стр. 89. *...начался в Old Bailey процесс Бернара, это «юридическое Ватерлоо» Англии, как мы сказали тогда в «Колоколе».*— Процесс Бернара состоялся 17 апреля 1858 года в верховном уголовном суде, помещавшемся тогда в лондонской Старой тюрьме. В заметке «Ватерлоо 17 апреля 1858 г.», напечатанной

в «Колоколе» 1 мая 1858 года, об оправдании Бернара присяжными, Герцен расценивал это событие как «мирное Ватерлоо».

Стр. 90. *Цезарь был испуган. Карфагены были испуганы!* — Под «Цезарем» Герцен разумеет здесь Наполеона III, под «Карфагенами» — правителей Англии.

Стр. 92. *Когда Пальмера судили...*— Речь идет о сложном и возбудившем общественное мнение процессе английского врача Уильяма Пальмера, которого судили по обвинению в отравлении его друга Джона Парсонса Кука с целью присвоения его бумаг и ценностей. Хотя виновность Пальмера полностью доказана не была, он был приговорен к смерти и казнен.

Гладстон... написал комментарии к Гомеру.— Герцен имеет в виду опубликованный в 1858 году в Оксфорде трехтомный труд Гладстона «Studies on Homer and the Homeric Age» («Исследования о Гомере и Гомеровом веке»).

Стр. 95. *...в участии аттентата 12 января.*— Покушение на Наполеона III было совершено не 12, а 14 января 1858 года.

Стр. 96. *...«Письмо» Маццини.*— По-видимому, Герцен имеет в виду написанное Маццини в 1858 году «Письмо к Луи-Наполеону».

Queen's Bench — королевский уголовный суд.

...в широких шароварах, couleur garance, в кепи несколько набок...—Форма французской пехоты.

Стр. 97. *«Пуще сердце замирает...»* — Из стихотворения Н. П. Огарева «Деревенский сторож».

Стр. 99. *В начале будущего года думаем мы издать IV и V томы «Былого и думы».*— Четвертый том «Былого и дум», содержавший главы пятой части, вышел в свет в 1867 году в Женеве. Пятый том издан не был.

Отрывки из них, напечатанные в «Полярной звезде», и три первые части...— Герцен имеет в виду I—III томы «Былого и дум», вышедшие в Лондоне в 1861—1862 годах и содержавшие четыре первые части «Былого и дум». В «Полярной звезде» печатались отдельные главы из пятой и шестой частей «Былого и дум».

Стр. 100 *Не дружеский букет на гробе доброго старика в Париже, не плач на Гайгетской могиле.*— В Париже — могила А. Бернацкого; на Гайгетском кладбище в Лондоне— могила С. Ворцеля.

...целый народ толкают в могилу.— Имеется в виду подавление царскими войсками польского восстания в 1863—1864 годах.

...справедливее.. назвать ее «Легендой о Ворцеле»...— Непосредственным поводом, побудившим Герцена написать главу о «польских выходцах», была смерть выдающегося деятеля польского национально-освободительного движения Станислава Ворцеля в феврале 1857 года. Герцен стремился увековечить образ неутомимого борца за освобождение польского народа и искреннего друга революционной России. В этой главе он высказывает и свое отношение к идеалам Ворцеля. Требование освобождения крестьян, борьба против аристократии, против социального и национального гнета, отрицательное отношение к буржуазному Западу роднили взгляды Герцена и Ворцеля. Но если

для Ворцеля и всей польской эмиграции основным вопросом был вопрос о борьбе за национальную независимость Польши, а вопрос о социальных преобразованиях отходил на второй план, то для Герцена главным вопросом и русского и польского революционного движения был крестьянский вопрос. Он понимал, что без разрешения крестьянского вопроса демократическим путем нельзя добиться подлинного освобождения ни русского, ни польского народов. Герцену были чужды мистические, мессианские взгляды, распространенные среди польских эмигрантов. Герцен подвергал острой критике националистические устремления польских эмигрантов и показывал, что они являются серьезным препятствием для тесного сотрудничества русских и польских революционеров и мешают организации совместной борьбы двух народов против царизма.

...один из крепких старцев — М. Квадрио.

Стр. 101, *Европа расступилась с уважением перед торжественным шествием отважных бойцов.*— После поражения восстания 1830—1831 годов Польшу покинули многие участники восстания. Они образовали польскую эмиграцию, находившуюся до революции 1848 года преимущественно во Франции и Бельгии. После поражения революции 1848 года польская демократическая эмиграция сосредоточилась в Лондоне.

Стр. 102. «*Здесь!*» — *как сказал Ворцель или старший Дараш Временному правительству в 1848 году.*— С. Ворцель и В. Дараш были участниками польской депутации к французскому Временному буржуазному правительству в 1848 году. Депутация стремилась добиться признания независимости Польши, однако эти стремления оказались тщетными.

Самые истые республиканцы вспомнили Польшу... 15 мая 1848.— В этот день в Париже произошла народная демонстрация, направленная против буржуазного Учредительного собрания Франции и разогнанная Временным правительством; во время демонстрации раздавались требования о помощи польскому национально-освободительному движению.

...легенда о Понятуски...— Князь Ю. Понятовский, возглавлявший польский корпус во время похода Наполеона в Россию в 1812 году, утонул в реке Эльстер в октябре 1813 года во время отступления наполеоновской армии после битвы при Лейпциге.

Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало.— В своих «Псалмах будущего» З. Красинский выступал против революционного движения и с религиозно-мистических позиций рисовал будущее Польши как время «Страшного суда» и «конца жизни».

Стр. 103. *...в польской демократической Централизацией* — руководящим органом Польского демократического общества, возникшего в 1832 году и игравшего видную роль в польском освободительном движении.

Они желали иметь сведения о каком-то заговоре... спрашивали, участвует ли в нем Ермолов...— А. П. Ермолов сочувствовал декабристам, которые рассчитывали на его поддержку во время своего выступления. В 1827 году по приказу Николая I вышел в отставку.

«*Stabat Mater*» — католический гимн.

Мицкевич, Товянский, даже математик Вронский, все способствовали мессианизму.— См. прим. к стр. 569 т. 1 наст. изд.

..граф Алоизий Бернацкий, нунций польской диеты... представлявший свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал, в 1814 году.— А. Бернацкий был послом (нунцием) польского сейма (диеты) и министром финансов во время восстания 1830—1831 годов. Александр I стремился привлечь польскую шляхту на свою сторону обещаниями о предоставлении польским землям автономии в составе России.

Стр. 105. *На польской годовщине 29 ноября 1853 года я сказал речь в Гановер-Руме.*— Митинг происходил в Лондоне и был посвящен годовщине польского восстания 1830 года.

Стр. 107 *...Краковское дело, процесс Мерославского.*— Краковское восстание 1846 года происходило под лозунгом борьбы за независимость Польши, безвозмездного освобождения крестьян и наделения их землей. Л. Мерославский в конце 1845 года прибыл в Познанщину для подготовки восстания, но незадолго до его начала был арестован прусскими властями. В 1847 году состоялся судебный процесс над Мерославским и другими лицами, арестованными вместе с ним. Их освободила из берлинской тюрьмы революция 1848 года.

...война Зондербунда.— См. прим. к стр. 612 т. 1 наст. изд.

...итальянское risorgimento.— В Италии с 40-х годов XIX века началось широкое национально-освободительное движение, которое к 60-м годам, когда Герцен писал главу, все более нарастало.

Стр. 108. *...Паскевич донес Николаю, что Венгрия у его ног.*— Революция 1848 года в Венгрии была подавлена Австрией при помощи русских войск под командованием Паскевича, который, сообщая о капитуляции 1 августа 1849 года командующего венгерской армии Гёргея, писал в рапорте: «Венгрия — у ног вашего императорского величества» («Русский инвалид», № 171, от 9 августа 1849 г.).

...его застал в конце 1852 членом Европейского комитета.— В состав Комитета от поляков вошел И. Дараш, которого с осени 1852 года заменил С. Ворцель.

Стр. 109. *Я написал: «Поляки прощают нас»...* — Воззвание Герцена было опубликовано Вольной русской типографией в июле 1853 года.

...произошла вечная сцена Трисотина и Вадиуса.— В сцене разговора двух литераторов — Триссотена (Трисотина) и Вадиуса, персонажей комедии Мольера «Ученые женщины», по мере развития их диалога взаимные восхваления сменяются язвительными насмешками и упреками; сцена кончается ссорой.

Стр. 114. *...поляки ставили свое дело под английский патронаж.*— С началом Крымской войны польские эмигранты, надеясь на помощь Англии и Франции в деле восстановления независимой Польши, старались заручиться поддержкой английского общественного мнения.

Стр. 115. *П. Тейлор велел хозяйке дома всякую неделю посылать к нему счет...*— Ворцель жил на квартире у Тейлора, который получал деньги для Ворцеля от его друзей, в том числе и от Герцена, стараясь при этом скрыть от Ворцеля, что тот живет на чужой счет.

Стр 116. *...Россель предал своих товарищей?* — Лорд Россель, министр иностранных дел Англии, вышел из кабинета министров в январе 1855 года, нарушив солидарную ответственность кабинета за проводимую им политику; вскоре после отставки Росселя министерство Эбердина пало.

Стр. 117. *...как идет невшательский вопрос...*— В конце 1856 года сторонники прусского короля попытались произвести в его пользу переворот в Невшателе, входившем в состав швейцарских кантонов, что едва не привело к войне между Пруссией и Швейцарией. Угроза войны была ликвидирована в 1857 году.

Стр. 118. *Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказал в другом месте.*— В некрологе «Смерть Станислава Ворцеля» (опубликован в «Полярной звезде» на 1857 год (кн. III) и в сборнике «Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне», 1863 г.).

Стр. 119. *Между ними, лучший из лучших* — И. Лелевель.

...finis Poloniae — слова, сказанные Костюшко после поражения польских повстанцев 10 октября 1794 года при Мацеевицах, во время которого раненый Костюшко был взят в плен.

Стр. 120. *Мир пана Тадеуша, мир Мурделио.*— Поэма А. Мицкевича «Пан Тадеуш» рисует жизнь шляхетской Польши начала XIX века. В повести З. Качковского «Мурделио» изображается шляхетский быт конца XVII— начала XVIII века.

Стр. 121. *...регента* — Филиппа Орлеанского, правившего во Франции в 1715—1723 годах в связи с малолетством Людовика XV.

Немцы в эмиграции.— Для правильного понимания этой главы, в особенности того, каким образом Герцен мог здесь прийти к грубому искажению деятельности и роли Маркса, необходимо остановиться хотя бы на основных фактах, характеризующих их взаимоотношения, на причинах отчужденности и даже враждебности, существовавших между ними.

Корни деятельности Герцена уходили в русскую почву; социальная обстановка, обусловившая формирование его мировоззрения и характер его политической деятельности, резко отличалась от той, в которой действовал пролетарский революционер Маркс. Герцен исходил из опыта отсталой крестьянской страны, в которой капитализм был развит слабо и революционная роль пролетариата еще совершенно не выявилась. Духовный крах после поражения революции 1848 года, глубокие сомнения в том, сумеет ли западноевропейский пролетариат после Июньских дней найти в себе новые силы для борьбы, «остановка» перед историческим материализмом — все это также помешало Герцену получить сколько-нибудь правильное представление о великой революционной и научной роли Маркса и Энгельса.

Герцен не был лично знаком с Марксом и Энгельсом. Лица же, с кото-

рыми писатель встречался в конце 40-х годов и которые поддерживали те или иные отношения с Марксом, или уже стали в то время идейными противниками основоположников научного социализма (Прудон, Бакунин), или, считая себя учениками последних, на самом деле не понимали истинной сути их учения (Сазонов, М. Гесс). Информация, исходившая из таких источников, способна была лишь дезориентировать Герцена.

С другой стороны, Маркс и Энгельс в конце 40-х и начале 50-х годов не имели в своем распоряжении объективных и бесспорных данных, которые давали бы им возможность судить о сильных сторонах революционной деятельности Искандера, о том, как глубоко и органически Герцен был связан с развитием русской передовой мысли, какое влияние он оказывал на пробуждение к революционной активности новых слоев русской интеллигенции, хотя книга «О развитии революционных идей в России» обратила на себя внимание Энгельса.

Маркс и Энгельс не имели также возможности правильно судить о философских взглядах Герцена. Им не были известны «Письма об изучении природы», при жизни Герцена не переиздававшиеся за границей, а в России уже ставшие библиографической редкостью. Между тем произведение это свидетельствовало о приближении Герцена к диалектическому материализму.

Зато некоторые стороны деятельности Герцена не могли не вызвать у Маркса и Энгельса крайней настороженности и даже враждебности. Особенно следует иметь в виду пессимистическое отношение Герцена к перспективам революционного движения на Западе и связанные с этим некоторые ошибочные прогнозы относительно будущего России, славянского мира и Западной Европы (см. «Письмо русского к Маццини», 1849, и статью «Старый мир и Россия», 1854.— Герцен, VI и XII) в духе «демократического панславизма» (под заглавием «Демократический панславизм» в 1849 году были опубликованы две направленные против Бакунина статьи Энгельса). Это впоследствии позволило сказать Марксу, что с точки зрения Герцена «...старая, прогнившая Европа должна быть возрождена путем победы панславизма» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 19, стр. 116), хотя Герцен и признал ошибочность многих положений, высказанных в статье «Старый мир и Россия» (см. предисловие 1858 года к русскому изданию статьи «Старый мир и Россия»), и не раз решительно выступал против «императорского панславизма».

Маркс критиковал народнические воззрения Герцена, видя в его упованиях на русскую общину прежде всего обоснование панславистских взглядов, и отмечал, что Герцен «...открыл русскую общину не в России, а в книге прусского регирунгсрата Гакстгаузена» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 19, стр. 116).

Все это привело к тому, что Маркс и Энгельс, живя в 50—60-х годах, так же как и Герцен, в Лондоне, считали для себя невозможными совместные с ним политические выступления. Это обнаружилось еще в связи с международным митингом «в память великого революционного движения 1848 года», организованным в 1855 году по инициативе вождя чартистского движения

Джонса. На афише митинга имя Герцена стояло рядом с именами виднейших представителей международной эмиграции, в том числе и Маркса. Однако Маркс, участвовавший в предварительных переговорах по организации митинга, затем отказался выступить на нем. Одной из причин отказа было нежелание Маркса выступать вместе с Герценом.

Герцен же, как то особенно ясно показывает глава «Немцы в эмиграции», склонен был свое отрицательное отношение к немецкой мелкобуржуазной эмиграции, свои адресованные ей обвинения в национализме, духовной ограниченности и сектантстве, длительное время относить также к Марксу и Энгельсу. Герцен не мог уяснить себе своеобразия того исторического места, которое им принадлежало. Этому также способствовали конфликты, возникшие вокруг деятельности М. А. Бакунина и К. Фогта (см. ниже примечания).

Неприязненные отношения между Марксом и Герценом в начале 50-х годов зашли так далеко, что сделали навсегда невозможным их сближение.

Плеханов был во многом прав, когда, касаясь в статье «Герцен-эмигрант» знакомства последнего с корифеями международной демократии, писал: «Только с Марксом и его кружком (с «марксидами», по его выражению) у него, как нарочно, были дурные отношения. Это произошло вследствие ряда печальнейших недоразумений. Точно какая-то злая судьба препятствовала сближению с основателем научного социализма того русского публициста, который сам всеми своими силами стремился поставить социализм на научную основу» (Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIII, стр. 443).

Вместе с тем можно утверждать, что в течение 60-х годов у Герцена интерес к деятельности Маркса усиливался.

К концу 60-х годов Герцен, как показал Ленин, характеризуя письма «К старому товарищу», все яснее чувствует и сознает силу Интернационала, международного рабочего движения. Еще в 1868 году, давая отповедь «нашим врагам» — реакционерам во главе с Катковым, пытавшимся утешить себя тем, что якобы «времена социализма прошли», Герцен указывал на Брюссельский конгресс Интернационала, на «движение немецких рабочих» и другие признаки революционного подъема.

В письме к Огареву от 29 сентября 1869 года Герцен, касаясь враждебных отношений, установившихся между ним и Марксом, отмечает: «Вся вражда моя с марксидами — из-за Бакунина». В этой связи существенно, что Герцен при своей жизни главу «Немцы в эмиграции» не напечатал.

Что же касается отношения Маркса к Герцену в 60-х годах, то следует прежде всего иметь в виду письмо Энгельсу от 13 февраля 1863 года, связанное с польским восстанием: «...теперь Герцену и К° представляется случай доказать свою революционную честность...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 30, стр. 266). Герцен, как известно, и доказал ее; встав на сторону восставшей Польши, он «спас честь русской демократии» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 260).

Во втором издании первого тома «Капитала» (1873) Маркс снял резкое ироническое замечание по адресу Герцена, помещенное в первом издании этого

труда (1867) (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 22, стр. 448), однако, как показывает «Письмо в редакцию «Отечественных записок» (1877), трудно судить о том, в какой мере этот факт отражает изменение оценки Герцена Марксом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 19, стр. 116—121)

Об интересе, который Маркс проявлял к творчеству Герцена, говорит в известной мере и тот факт, что он изучал русский язык по «Былому и думам».

Schwefelbande. — Выражение это принадлежит К. Фогту, употребившему его по адресу К. Маркса и его сторонников в 1859 году в книге «Мой процесс против «Augsburger Zeitung». Маркс не имел никакого отношения к «серной банде» — компании молодых немецких эмигрантов, которые в 1849—1850 годах пугали и смешили женевских мещан своими пьяными выходками. Стремление Фогта связать с ними имя Маркса объяснялось, очевидно, тем, что он «...хотел пугнуть чертом немецкого филистера или опалить его горящей серой»,— как об этом писал Марксу в 1860 году один из его приятелей (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 14, стр. 416). В своей книге «Господин Фогт» Маркс до конца разоблачил недостойные приемы, которыми не брезговал Фогт в политической борьбе.

Немецкая эмиграция отличалась от других... — Разгром пфальцско-баденского демократического восстания 1848 года положил начало широкой волне эмиграции из Германии. Подавляющее большинство эмигрантов направлялось в Швейцарию, а оттуда в Англию или США. С осени 1850 года Лондон стал основным центром немецкой эмиграции, где особенно остро разгорелась борьба между различными политическими группами или течениями.

К. Маркс и Ф. Энгельс с осени 1849 года находились в Англии. Спад революционной волны на континенте заставил их приступить к пересмотру тактики Союза коммунистов, что вызвало осенью 1850 года раскол в его ЦК и привело к выходу Маркса и Энгельса из Немецкого просветительного общества. Преобладающее влияние в нем получили Виллих и Шаппер. Они настаивали на поддержании коммунистами тесных связей с «лагерем буржуазно-демократических дел мастеров», которые «дюжинами создавали в Лондоне будущие временные правительства» и всерьез обсуждали вопрос о том, «...чтобы добыть путем революционного займа в Америке необходимые средства на осуществление европейской революции» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, стр. 230).

Лагерь мелкобуржуазной демократической эмиграции с самого начала распадался на ряд враждующих между собой групп, во главе которых стояли «великие мужи эмиграции», как называл их иронически Маркс,— Руге, Кинкель, Струве и Гейнцен. Ожидая с часу на час нового революционного взрыва, мелкобуржуазные демократы завязали тесные связи с основанным Маццини Европейским демократическим комитетом и создали в Лондоне ряд союзов и обществ.

После 1861 года политическая амнистия в Пруссии позволила большинству эмигрантов благополучно возвратиться на родину, где многие бывшие

революционные деятели 1848—1849 годов, подобно Бухеру или Блинду, скоро превратились в поддерживающих Бисмарка национал-либералов. Только одна группа коммунистов с Марксом и Энгельсом во главе, не имевшая возможности возвратиться в Германию, продолжала, оставаясь за границей, вести упорную борьбу против европейской реакции.

Стр. 122. *...он издавал знаменитые «Hallische Jahrbücher».*— В 1841 году Руге основал и редактировал журнал «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Künst», ставший органом левых гегельянцев.

...дела нашего сорокапятилетнего Вертера с баронессой? — Немецкая аристократка баронесса Брюнинг, знакомая Герцена, была русской по происхождению. Она сочувствовала демократическому движению и содействовала организации побега Кинкеля из тюрьмы. Руге упоминает здесь о ее романе с А. Виллихом.

Стр. 123. *Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне.*— Маркс в своем труде «Великие мужи эмиграции» уделяет много места Кинкелю, характеризуя его как человека внутренне фальшивого, умеющего ловко скрывать буржуазную сущность под маской показного демократизма и свободолюбия. В начале 60-х годов от былой «революционности» Кинкеля не осталось и следа: он примкнул к национал-либералам и кончил свои дни в Цюрихе в качестве заурядного университетского профессора.

...Руге был другом иезуита Ронге.— И. Ронге получил широкую известность в Германии в 1844 году благодаря своему выступлению против трирского католического епископа и требованиям реформы церкви. Лишенный священнического сана, он стал основателем так называемой «Немецко-католической церкви», а после начала мартовской революции примкнул к демократической партии.

Стр. 124. *...первого баденского Schilderhebung'а, первого австрийского Schwertfahrt'а и проч.*— Подразумеваются первое баденское восстание в апреле 1848 года и мартовское восстание в Вене в 1848 году. Говоря о «поднятии щитов» и «бряцании мечей» в начале мартовской революции, Герцен иронизирует над мелкобуржуазными демократами и поднятой ими в эмиграции, в обстановке спада революционной волны, воинственной шумихой.

Стр. 127. *Руге, разгневавшись на Эдгара Бауэра за его пустую брошюру о России — кажется, под заглавием «Kirche und Staat»...*— Имеется в виду брошюра «Russland und das Germanentum», изданная в 1853 году, но не Эдгаром Бауэром, а его братом Бруно, который в годы политической реакции выступил с рядом книг и брошюр, выразив в них свое разочарование в европейской культуре и свои надежды на ее обновление «девственными силами» царской России (ср. оценку К. Марксом взглядов Б. Бауэра на отношения между Западом и Востоком.— Сочинения, т. 29, стр. 2).

Маркс, очень хорошо знавший Бакунина... выдал его за русского шпиона. Он рассказал в своей газете целую историю.— Маркс никогда не выдавал Бакунина за русского шпиона. Клеветнические слухи о Бакунине как об агенте

царского правительства распространялись русским посольством в Париже еще до начала революции 1848 года и были затем подхвачены определенными кругами польской эмиграции. Распространялись они и после мартовской революции в Германии, в Бреславле, куда в конце апреля прибыл Бакунин, чтобы быть ближе к русской границе. Слухи эти носили тогда столь упорный характер, что парижское газетное агентство информировало о них редакции газет и в том числе редакцию «Новой Рейнской газеты» Маркса. О том же сообщал в своей корреспонденции также и парижский сотрудник газеты, немецкий эмигрант Эвербек, ссылавшийся на то, что у Ж. Санд находятся компрометирующие русского революционера документы. Сообщение Эвербека 6 июля 1848 года было помещено на страницах «Новой Рейнской газеты». «*Публичное* предъявление обвинения,— писал позднее Маркс,— было в интересах дела и в интересах Бакунина» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 30, стр. 409).

Протест самого Бакунина, а также его письмо к Ж. Санд с просьбой сейчас же опровергнуть указанные слухи вскоре появились на страницах бреславльской «Новой Одерской газеты» и 16 июля 1848 года были без промедления перепечатаны газетой Маркса. 3 августа Маркс опубликовал также заявление Ж. Санд, целиком реабилитирующее Бакунина. «Новая Рейнская газета» писала: «В № 36 нашей газеты мы сообщали, что в Париже распространился слух, будто Жорж Санд имеет в своем распоряжении документы, рисующие русского эмигранта Бакунина как агента императора Николая. Мы сообщили об этом, потому что эти сведения были нам переданы одновременно двумя корреспондентами, совершенно не связанными друг с другом. Поступая таким образом, мы лишь выполнили долг, лежащий на публичной печати, которая должна проявлять строгую бдительность по отношению к общественным деятелям. В то же самое время мы предоставили г-ну Бакунину возможность рассеять подозрения, выдвигаемые против него в некоторых парижских кругах» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 9, стр. 297). Бакунин был вполне удовлетворен опубликованием редакцией «Новой Рейнской газеты» как его собственного протеста, так и письма Ж. Санд. В последних числах августа 1848 года Маркс встретился с Бакуниным в Берлине и «...возобновил с ним тесную дружбу» (там же, стр. 297).

Бакунин тогда сидел, ожидая приговора в тюрьме,— и ничего не подозревал.— Бакунин был арестован в связи с участием в Дрезденском восстании в мае 1849 года, то есть почти через год после появления корреспонденции о нем в «Новой Рейнской газете».

Стр. 129. *С Уркуардом и публикой питейных домов взошли в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья.*— В действительности Маркс не только не поддерживал с редакцией «Morning Advertiser» сколько-нибудь близких отношений, но и неоднократно весьма резко отзывался как о политическом лице этой газеты, так и о личных качествах ее редактора и издателей. Маркс считал «Morning Advertiser» «предназначенным для толпы органом Пама», то есть Пальмерстона (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 29, стр. 99).

В январе 1855 года Маркс писал, что эта газета является «собственностью «Общества взаимопомощи патентованных трактирщиков», которое обеспечивает «продвижение «Advertiser» во все трактиры» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 10, стр. 621).

С Уркхартом Маркс познакомился лишь спустя несколько месяцев после развернувшейся на страницах «Morning Advertiser» полемики о Бакунине. Политические воззрения Маркса и Уркхарта не имели между собой ничего общего. Маркс и Энгельс неоднократно выступали в печати с резкой критикой Уркхарта и уркхартизма.

Уркхарт в течение долгих лет разоблачал в печати и парламенте происки царской дипломатии на Балканах. Поскольку и Маркс в начале 50-х годов резко критиковал деятельность царской дипломатии на Ближнем Востоке и отдельные его статьи, первоначально напечатанные в органе чартистов «People's Papers», были затем перепечатаны в провинциальных газетах уркхартистов, у Герцена могло создаться ошибочное представление о совпадении политических взглядов Маркса со взглядами Уркхарта. В действительности же позиция Маркса и Энгельса в восточном вопросе ни в чем не совпадала с позицией Уркхарта. Им совершенно чужда была мысль о поддержании статус-кво на Балканах. Энгельс в своем письме Марксу от 9 марта 1853 года прямо говорил об идее неделимости Турции как о «старой филистерской ерунде» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 28, стр. 187).

Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунин русский агент или нет?» — Речь идет о письме, напечатанном в «Morning Advertiser» 2 августа 1853 года под инициалами «Ф. М.». В этом письме Бакунин выставлялся тайным агентом царского правительства. Герцен совершенно необоснованно подозревал Маркса или кого-нибудь из «марксидов» в авторстве этого письма (см. прим. к стр. 127 наст. тома). В действительности за инициалами «Ф. М.» скрывался консервативный публицист Фрэнсис Маркс.

...подписать коллективную протестацию с Головиным...— Письмо, подписанное Головиным, Герценом и Ворцелем, было напечатано в «Morning Advertiser» 24 августа. В нем они брали под защиту Бакунина, указывая в то же время, что эта «клевета ...отнюдь не нова» и что ее уже в 1848 году распространяла одна немецкая газета, «не постеснявшаяся сослаться для подтверждения своих слов на Ж. Санд». 31 августа ненавидевший Маркса А. Руге с своей стороны услужливо сообщил в газете, что оклеветала Бакунина в 1848 году именно «Новая Рейнская газета», «издатель которой, «доктор Маркс», был в такой же мере, как и все остальные демократы, убежден в лживости этой клеветы».

Они затянули скучнейшую полемику с Головиным.— Маркс немедленно после появления клеветнических писем о Бакунине обратился в редакцию «Morning Advertiser» с заявлением, которое и было 2 сентября опубликовано на страницах газеты. В нем он с возмущением отверг «инсинуации гг. Герцена и Головина», связавших «Новую Рейнскую газету» с полемикой относительно

Бакунина, развернувшейся на страницах «Morning Advertiser» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, стр. 296). Маркс далее не только детально выясняет все обстоятельства, приведшие к появлению в 1848 году в «Новой Рейнской газете» корреспонденции о Бакунине, но и дает решительный отпор всем попыткам снова оклеветать русского революционера-демократа. «...я... первым из немецких писателей,— писал Маркс,— воздал Бакунину должное за его участие в нашем движении, и особенно в дрезденском восстании...» (там же, стр. 297).

После появления нового клеветнического письма «Ф. М.» Головин поместил в «Morning Advertiser» 3 сентября новую заметку — «Как следует писать историю». В ней Головин, возвращаясь к клевете на Бакунина в 1848 году, прямо приписал кампанию против него «д-ру Марксу». Маркс немедленно направил в редакцию газеты письмо, в котором, отвергая клеветнические утверждения Головина, снова возвращался к существу вопроса. «Разве не «глупый друг» тот,— писал Маркс,— кто не может понять, почему «консервативные газеты не захотели *опубликовать* клевету, которая *тайно* распространялась против Бакунина в Германии, в то время как самая революционная газета Германии была обязана опубликовать ее» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 28, стр. 242). Однако редакция газеты не напечатала этого второго письма Маркса. Полемика вокруг Бакунина не прекратилась, и еще 24 сентября на страницах «Morning Advertiser» помещена была статья Уркхарта, направленная против Бакунина.

Позднее, заканчивая дискуссию, редакция «Morning Advertiser» признала, что нет никаких оснований для подозрения Бакунина в шпионстве в пользу царской России.

Стр. 130. *...прежде напечатан по-немецки в «Deutsche Jahrbücher».*— Работа Герцена «О развитии революционных идей в России» была впервые напечатана в журнале А. Колачека «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben».

К марксидам присоединился вскоре рыцарь с опущенным забралом Карл Блинд — тогда famulus Маркса, теперь его враг.— Маркс познакомился с К. Блиндом в 1849 году в Карлсруэ. В дальнейшем Блинд вплоть до 1853—1854 годов в Париже и позднее в лондонской эмиграции много общался с Марксом. Однако об идейной близости между ними не могло быть и речи. В 1854 году отношения между Марксом и Блиндом делаются все более натянутыми, и Маркс прямо ставит Блинда в один ряд с идейно враждебными ему Руге и Геттом (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 28, стр. 287). В конце 50-х годов Блинд окончательно перекочевал в лагерь либеральной буржуазии. Позднее выступал как открытый сторонник Бисмарка и враг социализма.

Стр. 131. *...посольства... сына Р. Оуэна в Неаполь.*— Роберт Дэн Оуэн, сын Роберта Оуэна, остался жить в Америке и с 30-х годов принимал активное участие в политической жизни страны. В 1853—1858 годах он являлся американским посланником в Королевстве Обеих Сицилий.

Стр. 131. *...вскоре после дуэля Суле с Тюрго.*— В январе 1854 года посол США в Испании П. Суле дрался на дуэли с послом Франции Тюрго и ранил его. Дуэль вызвала осложнения в отношениях между Францией и США.

Стр. 133. *Подражатель Митридата...*— Понтийскому царю Митридату Евпатору легенда приписывала невосприимчивость к действию яда: опасаясь отравления, он с юности приучил себя к приему ядовитых веществ.

Стр. 134. *...митинг — в воспоминание 24 февраля 1848.*— Митинг в память годовщины февральской революции был организован в Сент-Мартинс Холле 27 февраля 1855 года.

...если б Маркс и Головин не вынудили меня явиться назло им на трибуне St.-Martin's Hall.— 13 февраля 1855 года в «Morning Advertiser» появилось письмо Головина под заглавием «Февральская революция», содержавшее протест против предстоящего выступления Герцена в качестве представителя России. Герцен, с своей стороны, опубликовал в той же газете 15 февраля протест против злобной выходки Головина, а Международный комитет в особом заявлении в редакцию газеты «People's Paper» подтвердил право Герцена на представительство русской демократии. Сам Герцен подробно рассказал об этом эпизоде в гл. «И. Головин» и привел в тексте указанное заявление комитета (см. стр. 339—340 наст. тома).

К. Маркс, получив от Джонса приглашение принять участие в митинге, отнесся отрицательно к самой идее его организации, считая объединение рабочих с представителями мелкобуржуазной демократической эмиграции не только ненужным, но и вредным делом. Уступая настояниям Джонса, Маркс все же принял 1 февраля участие в заседании организационного комитета, однако затем уклонился от участия в митинге и в своем письме Энгельсу от 2 февраля весьма резко отозвался о выступлении Герцена на заседании. Мотивы, заставившие Маркса уклониться от участия в митинге, не могут быть сведены к соображениям личного характера. Маркс исходил из общеполитических соображений, о которых рассказал Энгельсу в своих письмах от 2 и 13 февраля 1855 года. Он считал, что Джонс передал все руководство делом представителям мелкобуржуазной части эмиграции, что созыв митинга даст Пальмерстону предлог для возобновления закона о чужестранцах, что совместное участие в митинге с Герценом нежелательно, так как он сам не придерживается мнения, «будто старая Европа должна быть обновлена русскою кровью» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 28, стр. 364). Возможно, что в качестве предлога Маркс выдвинул именно свои политические расхождения с Герценом.

Герцен принял участие в указанном митинге и произнес основную речь. То, что в разгар войны Англии с Россией русский эмигрант публично выступил в защиту демократических и социалистических принципов, бесспорно, было прогрессивно и даже революционно. Но Герцен в своей речи также противопоставлял Восток Западу, что, по мнению Маркса, носило сугубо вредный характер.

Стр. 135. *...Герст и Блакет издали английский перевод одного тома «Былого и дум».*— См. т. 1 наст. изд., прим. к стр. 391.

Началась итальянская война.— Война Франции и Пьемонта против Австрии началась 29 апреля 1859 года.

...красный Маркс избрал самый черно-желтый журнал в Германии... стал выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона. — К. Фогт выступил с брошюрой «Исследования о современном положении Европы», в которой он открыто встал на защиту политики Наполеона III. Брошюра Фогта не оставила у Маркса «...никакого сомнения о связи его с бонапартистской пропагандой» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 14, стр. 485). В этом целиком убеждали Маркса и сообщенные ему Блиндом сведения о получении Фогтом от Наполеона III денежных субсидий. Маркс способствовал опубликованию на страницах находившейся под его идейным влиянием лондонской газеты «Das Volk» материалов, подтверждающих зависимость Фогта от Бонапарта.

Фогт ответил 23 мая 1859 года статьей «В предостережение», полной гнусных вымыслов. В ответ на клеветническое выступление Фогта на страницах «Аугсбургской газеты» 22 июня был опубликован текст составленной Блиндом и пересланной в редакцию В. Либкнехтом листовки «Предупреждение — для распространения», содержавшей полное разоблачение Фогта как агента Бонапарта. Герцен с самого начала полемики целиком встал на защиту Фогта. В вышедшем несколько позднее политическом памфлете «Господин Фогт» Маркс, с своей стороны, дал Герцену, повторившему клеветнические утверждения Фогта, исчерпывающий ответ по поводу упрека в сотрудничестве в «Аугсбургской газете» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 14, стр. 483).

...тощий лондонский журнал «Herrman» поместил статейку.— Полнейшая безосновательность подозрений Герцена о причастности марксистов к журналу «Herrman», органу правого крыла немецкой мелкобуржуазной эмиграции, становится вполне ясной из резко отрицательного отношения к журналу и его редактору Кинкелю со стороны К. Маркса и Ф. Энгельса (см. памфлет «Великие мужи эмиграции»).

...о злодействах, сделанных Урбаном с своими пандурами.— Войска австрийского фельдмаршала Урбана действовали в войне 1859 года на севере Италии против отрядов Гарибальди; пандуры — австрийские воинские части, состоявшие из венгров и представителей южнославянских национальностей, отличались особой жестокостью.

Стр. 136. *...бефрейюнгскриг* — освободительная война немецкого народа против наполеоновских войск в 1813 году.

Стр. 139. *...«о покушении Фиески на Людвига-Филиппа»... о выстреле Чеха в прусского короля.*— Покушение Фиеско на Луи-Филиппа произошло в 1836 году; покушение Чеха на прусского короля Фридриха-Вильгельма IV— в 1844 году.

Стр. 140. *«Луиза... обмани меня, солги, Луиза!»* — Слова Фердинанда из трагедии Шиллера «Коварство и любовь» (действ. V, сц. 2).

Стр. 140. *...философское правительство...*— Ироническое название правительства Фридриха-Вильгельма IV — прусского короля с 1840 по 1861 год, отличавшегося показным интересом к наукам и искусствам.

...отголоски гамбахского праздника.— В городке Гамбах в баварском Пфальце в 1832 году имела место крупная политическая демонстрация с требованием объединения Германии и проведения либеральных реформ. Эта демонстрация являлась одним из отголосков в Германии июльских событий 1830 года во Франции.

Стр. 144. *Из V тома «Былое и думы».*— Имеется в виду первое отдельное издание «Былого и дум»; четыре тома вышли в 1861—1866 годах. Герцен готовил к изданию пятый том, в который должны были войти главы, посвященные лондонской эмиграции. Смерть Герцена помешала выполнению этого замысла.

Стр. 145. *...орлеанская фамилия укладывается в Клермоне.*— Луи-Филипп после революции 1848 года эмигрировал в Англию и поселился в Клермоне, близ Виндзора, где после его смерти (в 1850 г.) оставалась жить его семья.

Стр. 148. *...индийской победе Гевлока.*— Речь идет о кровавом подавлении национально-освободительного движения в Индии в 1857 году.

...об этом в другой раз.— См. гл. «Немцы в эмиграции».

Стр. 158. *...из Порчмы* — английского порта Портсмута.

Стр. 161. *...помощником мэра XII округа.*— Речь идет о Бокэ.

В коммунистическом процессе в Кельне...— В октябре — ноябре 1852 года в Кельне состоялся сфабрикованный прусскими полицейскими властями процесс по делу арестованных за полтора года перед этим членов Союза коммунистов (см. статью К. Маркса, написанную в связи с этим событием, «Разоблачения о кельнском процессе коммунистов».— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 8, стр. 423—491).

Стр. 164. *...«вскипел бульон».*— Эти слова из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», неудачно переведенные А. Ф. Мерзляковым («Вскипел Бульон и в рать потек»), вошли в комическом переосмыслении в разговорный язык литературных кругов того времени.

Стр. 166. *«Ты все поймешь, ты все оценишь!»* — Из поэмы К. Ф. Рылеева «Войнаровский».

...от одной дамы — Матильды Биггс, дочери Дж. Стансфилда, вся семья которого была в дружеских отношениях с лондонской эмиграцией, в том числе с Герценом.

...Seven Oaks — старинный городок поблизости от Лондона.

...в Васильевском — подмосковной усадьбе отца Герцена.

Стр. 167. *Мы говорили об Италии, о поездке в Ментону.*— Герцен ездил в Ментону из Ниццы в июле 1851 года.

...как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре.— Видимо, имеется в виду оценка, данная Анаксагору в «Метафизике» Аристотеля, кн. 1, гл. 3.

...чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем.— Герцен подразумевает евангельскую притчу об Иисусе Христе и мытаре.

Стр. 168. *Драгоманы* — переводчики при дипломатических миссиях на Востоке.

А ведь он был у меня в Ленарке.— Николай I посетил Р. Оуэна в 1815 году в Нью-Ленарке, где находилась организованная Оуэном хлопчатобумажная фабрика. В своей автобиографии Оуэн рассказывает, как великий князь Николай приглашал его переселиться в Россию с целью устройства там, при материальной поддержке царского правительства, промышленных общин наподобие Нью-Ленарка. Оуэн это предложение отклонил.

...полуболезненный бред о духах...— В последние годы жизни Оуэн, увлекшись спиритизмом, стал связывать свои социальные идеи с мистическими представлениями.

Стр. 169. *...он хотел... отворить целлюлярную клетку, эту бесчеловечную mater dolorosa для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами.*— В числе всевозможных пыток, применявшихся инквизицией, практиковалось заключение жертвы в утыканный внутри острыми ножами ящик, на котором было изображение «скорбящей божьей матери».

Другой старик... столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе.— Иоанн Богослов, один из двенадцати апостолов христианской церкви, будучи сослан римскими властями на Патмос (остров в Эгейском море), написал там свой Апокалипсис и послания к верующим.

...пять лет после его смерти джефферсоновская республика... распадется во имя права сечь негров — Т. Джефферсон — автор Декларации независимости, провозглашенной в США в 1776 году. В 1861—1865 годах происходила гражданская война между северными штатами, выступившими против рабовладельческой системы, и южными штатами, представлявшими оплот рабовладения. Р. Оуэн умер за несколько лет до этой войны — в 1858 году.

...рочдельского общества.— Первое потребительское кооперативное общество, основанное в 1844 году рабочими ткацкой мануфактуры в английском городе Рочдейл.

...на «всемирную выставку».— Первая всемирная выставка, устроенная в 1851 году в Лондоне.

Стр. 170. *Английский поп втеснил его праху отпевание... Томас Олсоп протестовал смело, благородно...*— Местный приходский священник в Ньютауне заявил, что допустит погребение только при условии церковного отпевания и отказа друзей Оуэна от надгробных речей. Сын Оуэна и некоторые его друзья уступили этому требованию. Один только Томас Олсон, старый друг Оуэна, специально приехавший на похороны, отказался присутствовать на религиозной церемонии, устроенной вопреки взглядам покойного.

...and all was over.— Напечатанное в некоторых английских газетах письмо Роберта Дейла Оуэна от 17 ноября 1858 года, извещавшее о смерти его отца, начиналось словами: «It is all over» («Все кончено»).

Стр. 171. *Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашел статью о нем.*— Журнал «The Westminster and Foreign Quarterly Review» поместил

в октябрьской книжке за 1860 год большую статью об Оуэне, напечатанную без подписи.

«Ein unnütz Leben ist ein früher Tod...»— Слова Ифигении в трагедии Гете «Ифигения в Тавриде» (акт 1, сц. 2).

Стр. 172. *...Веллингтона, этой величественнейшей неспособности во время мира.*— Английский генерал, известный своей победой при Ватерлоо над Наполеоном в 1815 году, позднее, вступив на гражданское поприще, проявил себя как неудачливый и непопулярный реакционный политик.

С цинизмом Ноева сына покажет он наготу ..— По библейской легенде, Хам, насмехавшийся над наготой своего отца Ноя, был им проклят.

Стр. 173. *Какое подлое начало социализма!* — Эпитет «подлое» употреблен здесь в первоначальном значении слова, лишенном брапного оттенка: подлый — подлежащий податному обложению, то есть принадлежащий к низшему сословию.

Какой-то инквизитор и бумажных дел фабрикант Филипс.., пристал к Оуэну с допросом...— Член парламента Джордж Филипс, манчестерский хлопчатобумажный фабрикант, выступил особенно резко против Оуэна при рассмотрении фабричным комитетом палаты общин представленных Оуэном «Замечаний о влиянии промышленной системы» и законопроекта о ее преобразовании. Комитет единогласно отверг домогательства Филипса, пытавшегося своими вопросами дискредитировать Оуэна.

.. Оуэн предпочел отвечать... на публичном митинге... в London Tavern!— Оуэн не раз выступал на устраивавшихся в большом зале Таверны города Лондона собраниях Ассоциации для облегчения положения бедных. Произнесенная им 21 августа 1817 года речь, отмечаемая здесь Герценом, была тогда же напечатана под заглавием «New state of Society».

Он по сю сторону Темпль-Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится старый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и светской кафедральной синагоги банка.— Темпль-Бар (Храмовая застава) — историческое место на границе Сити, центральной части Лондона. Под «кафедральным зонтиком» Герцен, видимо, разумеет собор св. Павла. Две громадные фантастические деревянные фигуры, названные Гогом и Магогом, установлены в 1708 году в здании лондонской ратуши. Уайт-Холл—здание, в котором помещаются некоторые высшие правительственные учреждения Англии. Светской кафедральной синагогой банка Герцен называет Английский банк, занимавший главенствующее положение в экономической жизни Британской империи.

Стр. 173—174 *«Нелепости изуверства сделали из человека... но с ними рай недолго устоял бы раем!»* — Герцен неточно цитирует слова Оуэна из его выступления от 21 августа 1817 года.

Стр. 174. *...с другим биографом Оуэна.*— Герцен, вероятно, имеет здесь в виду Уильяма Л. Сарганта, перу которого принадлежит биография Оуэна, изданная в Лондоне в 1860 году под заглавием «Robert Owen and his social philosophy» («Роберт Оуэн и его социальная философия»).

Р. Оуэн назвал одну из статей... «An attempt to change this lunatic asylum into a rational world».— Статья Оуэна «The World a great lunatic asylum» («Мир — большой сумасшедший дом») была напечатана в первом номере журнала «Robert Owen's Journal», вышедшем в Лондоне 2 ноября 1850 года, и заканчивалась словами, которые Герцен почти буквально приводит как заглавие: «To change this lunatic asylum into a rational world, will be the work to be accomplished by this journal» («Превратить этот сумасшедший дом в разумный мир — вот что будет делом, которое должно осуществляться настоящим журналом»).

Один из биографов Оуэна.— Речь идет о Сарганте.

Стр. 176. «*Wenn er die Kette bricht*».— Из стихотворения Шиллера «Слова веры», в котором речь идет о рабе, разбивающем цепи и утверждающем себя свободным человеком.

Трелоне... спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел.— Речь идет о выступлении Дж. Трелоне при обсуждении в палате общин в феврале 1860 года билля об отмене так называемых «церковных норм».

Подобные случаи повторялись... с известным публицистом Голиоком.— Дж. Голиок в молодости пропагандировал антирелигиозное нравственное учение, именовавшееся «секуляризмом», и в 1841 году подвергся шестимесячному тюремному заключению за «святотатство» в публичном выступлении.

...она лет пятнадцать просидела в селлюлярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном.— Политика изоляции Англии от Европы завершилась в 1806 году так называемой континентальной блокадой, введенной Наполеоном I с целью закрыть английской торговле доступ на Европейский континент.

Стр. 176—177. *...один просит у ветра нести его куда-нибудь, только не на родину...*— Имеются в виду строки из прощальной песни Чайльд-Гарольда в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

Стр. 177. *...у другого судьи... отбирают детей, потому что он не верит в бога.*— Шелли в 1817 году решением лорда-канцлера был лишен права воспитывать своих детей, причем основанием для такого решения была «незаконная связь» его с Мэри Годвин и атеистические взгляды, высказанные в произведениях поэта.

...поэма Ариоста — «Неистовый Роланд».

Стр. 179. *...Кристального дворца.*— Здание Crystal-Palace сооружено из стекла и железа в южной части Гайд-парка для всемирной выставки 1851 года. Перенесенный после закрытия выставки в Сайденхем, в нескольких километрах от Лондона, Кристальный дворец был предоставлен для художественных выставок.

...кары небесные и бедствия земные на вульгарном языке шиллеровского капуцина в «Wallenstein's Lager».— В первой части трилогии Шиллера «Валленштейн» — «Лагерь Валленштейна» — «ученый» капуцин произносит пересыпанную латинскими изречениями длинную проповедь, в которой между прочим провозглашает наступление часа «великой вселенской кары».

Стр. 181. *...кипит кровь Януария.*— Согласно католической легенде, кровь епископа Януария, хранящаяся в особом сосуде в городе Неаполе, чьим патроном он считается, вскипает в день праздника этого святого, а также в случае возникновения чрезвычайных для жизни города обстоятельств.

Стр. 184. *...что делал неаполитанский король и венский император.*— Речь идет о кровавом подавлении народных восстаний в Неаполе и Сицилии в 1821 и 1849 годах и о разгроме вооруженной силой революционного движения 1848—1849 годов в Австрии и подвластных ей странах.

...облечения в виральную тогу.— Верхнее одеяние, которое древние римляне получали право носить по достижении совершеннолетия.

Стр. 185. *...с Икарии.*— Воображаемая страна с коммунистическим строем, представленная в романе-утопии Э. Кабе «Путешествие в Икарию».

«Что сделал Консидеран с Брейсбеном, что монастырь Сито, что портные в Клиши и Banque du peuple Прудона?» — Консидеран, эмигрировав в 1852 году в Америку, организовал два года спустя, при участии Брисбена, в Техасе колонию «Réunion». В монастыре Сито (департамент Кот-д'Ор) после революции 1848 года обосновалась одна из рабочих производственных ассоциаций. В Клиши, местечке невдалеке от Парижа, в марте 1848 года было организовано, по проекту Луи Блана и при поддержке Люксембургской комиссии, большое кооперативное производственное товарищество портных. Основанный Прудоном в 1849 году «Народный банк», который имел целью предоставлять трудящимся «даровой кредит», должен был, по мысли его учредителя, способствовать разрешению социального вопроса. Все эти мероприятия потерпели неудачу.

Доктор герцога Кентского... пишет герцогу...— Доктор Генри Грей Мак-Наб по совету герцога Эдуарда посетил Нью-Ленарк в 1819 году и написал благожелательный отчет об этом предприятии, опубликованный в Лондоне в том же году.

...какие-то два черных шута... это были двое квекеров.— Приезд в Нью-Ленарк У. Аллена и Фостера относится к августу 1822 года.

Стр. 186. *Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов... так греховная цифра была велика.*— Предприятие Оуэна в Нью-Ленарке дало за первые пять лет 160 000 фунтов чистой прибыли, а в дальнейшем годичные балансы сводились в среднем с прибылью в 15 000 фунтов.

«В таком случае,— сказал он им,— управляйте сами; я отказываюсь».— Требования компаньонов-квакеров были предъявлены Оуэну в январе 1824 года; Оуэн подписал их условия и согласился временно продолжать руководство предприятием до подыскания нового управляющего. Разрыв Оуэна с совладельцами и вынужденный уход его из Нью-Ленарка произошел позже — в 1829 году.

...за обедом во Франкфурте...— Банкет, устроенный банкиром Бетманом в 1818 году в связи с собравшимся тогда в Аахене конгрессом Священного союза.

Стр. 189. *...в Италии война, Америка распадается.*— Герцен имеет в виду начало войны за объединение Италии и назревание конфликта между Севером и Югом в Соединенных Штатах Америки, приведшего к гражданской войне.

Мак-Магон... истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны.— Мак-Магон участвовал в военной экспедиции 1830 года с целью захвата Алжира. Герцен отмечает здесь операции французских сухопутных войск, сопровождавшиеся массовым истреблением арабов. Французские солдаты носили штаны красного цвета; одежда арабов обычно белого цвета.

Стр. 190. *Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени — Разумом, были так же уверены во всех salus populi...*— Во Франции в 1793 году началось движение, стремившееся заменить христианскую веру революционным культом Разума. А. Клоотс и левые якобинцы, возглавлявшиеся Эбером («гебертисты»), были наиболее энергичными поборниками культа Разума, отвечавшего, по их мнению, требованиям блага народа.

Стр. 191. *...один... из самых смелых мыслителей нашего века* — П.-Ж. Прудон.

...«Ты прав, Платон, ты прав...» — Последний акт трагедии Д. Аддисона «Катон» открывается сценой, в которой Катон, держа в руках книгу Платона о бессмертии души, произносит монолог, начинающийся этими словами.

Делали же из базилик приходские церкви...— Здания, сооружавшиеся в Древней Греции и Риме для собраний, суда, торговли и других общественных нужд, впоследствии были использованы первыми христианами для богослужений; позднее стали строить и новые христианские храмы по архитектурной форме базилик.

...первый исторический брат — Иисус Христос.

Стр. 192. *Декреты... начинаются с декрета полиции.*— Будучи противником централизованного государства, Герцен пытается представить проекты Бабефа в невыгодном свете. Цитируемые им разделы «об общественном труде», «о распределении и использовании имущества общины», имевшиеся в наброске проекта экономического декрета, Герцен представляет в упрощенном и утрированном виде.

Стр. 194. *...на уничтожение федералистов.*— Федералистами в период французской буржуазной революции XVIII века называли противников революционно-демократической диктатуры, установленной якобинцами.

...«веселая Англия» — традиционное название старой Англии, распространенное в быту и литературе.

Стр. 195. *Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Граккх Бабёф.*— Бабувисты опирались в своей деятельности на конституцию, принятую Конвентом 24 июня 1793 года, считая ее подлинным выражением воли народа.

Стр. 196. *New Harmony* — кооперативная трудовая община, основанная Оуэном в 1824 году в штате Индиана (США) и просуществовавшая до 1829 года.

Стр. 196. *...журнал «The Co-operator»...*— Герцен имеет в виду журнал, издававшийся в Манчестере и Лондоне с июня 1860 года.

...со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны.— В 404 году до н. э. афинское народное собрание назначило тридцать мужей для выработки нового государственного устройства, но они узурпировали власть и в течение года правили самовольно, применяя жестокий террор. Тридцатилетняя война в Европе длилась с 1618 года, приведя к исключительно опустошительным последствиям.

Стр. 197. *...как «сестра Анна» в «Синей Бороде», смотрю для вас на дорогу.*— В сказке Перро о Рауле Синей Бороде прекрасная Изора, седьмая жена Синей Бороды, узнав об угрожающей ей смерти, посылает за двумя своими братьями, а сестру Анну, высматривающую их с башни, ежеминутно спрашивает, не видит ли она кого-нибудь на дороге.

...Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Бабёфа и Дорте.— Приговоренные к смерти Верховным судом в Вандоме Бабеф и Дарте были гильотинированы 27 мая 1797 года.

...один молодой офицер — Наполеон Бонапарт.

Стр. 198. *...питаться спартанской похлебкой и возвратиться к правам Брута Старшего.*— Быт и пища древних спартанцев отличались простотой и суровостью. Луций Юний Брут, освободитель Рима от власти царей и первый консул республики, был известен строгой требовательностью в вопросах морали.

Стр. 199. *Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал!*—В сражении при Ватерлоо 18 июня 1815 года Наполеон, отбросив пруссаков к реке Маас, поручил их преследование маршалу Груши и решил разбить Веллингтона до присоединения к нему пруссаков под командой Блюхера, который должен был подоспеть только через сутки. Но расчет Наполеона не оправдался, и он потерпел полное и окончательное поражение.

Стр. 200. *«Общее благосостояние или смерть!»* — лозунг плебейского крыла французских революционеров конца XVIII века.

Стр. 201. *«Сын человеческий должен быть предан, но горе тому, кто его предаст»* — из Евангелия от Матфея, гл. XXVI, 2, 24 и др.

Стр. 204. *...она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду.*— Уголино, правивший Пизой, был в 1288 году свергнут в результате заговора и замурован вместе с двумя своими сыновьями и двумя внуками в башню Гваланди, где пленники были обречены на голодную смерть.

Стр. 206. *Camicia rossa* — «красная рубашка», одежда итальянских волонтеров, сражавшихся под командованием Гарибальди за независимость Уругвайской республики, в революционных боях 1848—1849 годов и в 1860 году за освобождение Неаполитанского королевства от власти Бурбонов. С этого времени гарибальдийцев стали называть «краснорубашечниками».

Шекспиров день...— 23 апреля 1864 года отмечалось трехсотлетие со дня рождения Шекспира.

Народ, собравшись на Примроз-Гиль, чтоб посадить дерево... остался

там, чтоб поговорить о скоропостижном отъезде Гарибальди.— В лондонском парке Примроз-Гилль, где обычно происходили массовые собрания, 23 апреля 1864 года состоялась церемония посадки дерева в честь трехсотлетия со дня рождения Шекспира. В этот же день в лондонских газетах было опубликовано письмо Гарибальди «К английскому народу», в котором он благодарил английский народ за теплый прием и выражал сожаление, что по не зависящим от него причинам он не смог посетить всех своих друзей, приглашение которых он ранее принял. Полиция не дала провести митинг, посвященный выяснению причин отъезда Гарибальди, и разогнала собравшихся.

...это — вочью совершающееся hero-worship Карлейля.— Т. Карлейль утверждал, что всемирная история есть история великих людей, которым следует поклоняться.

...перед Стаффорд Гаузом.— Дворец герцога Сутерлендского, где жил Гарибальди с 11 по 19—20 апреля 1864 года во время пребывания его в Лондоне.

Стр. 207. *...старший сын королевы Виктории...*— Альберт Эдуард, принц Валлийский, будущий король Великобритании Эдуард VII.

Джон Буль — нарицательное прозвище англичан; дословно John Bull — Джон Бык.

Разве три министра, один не министр, один дюк, один профессор хирургии и один лорд пиетизма не засвидетельствовали... болен так, что его надобно послать на яхте вдоль Атлантического океана и поперек Средиземного моря?.. — 19 апреля 1864 года в палате лордов и 21 апреля в палате общин были сделаны запросы о причине досрочного отъезда Гарибальди из Англии. Член правительства лорд Кларендон, премьер-министр Пальмерстон, министр финансов Гладстон, член парламента писатель Сили, герцог Сутерлендский, лейб-медик королевы Виктории Фергюссон, лорд Шефтсбюри выступили в палатах и в печати с заявлениями о якобы плохом состоянии здоровья Гарибальди, требующем немедленного отъезда из Англии. Герцог Сутерлендский на своей яхте «Уидина» отвез Гарибальди на остров Мальту и предложил совершить совместное путешествие на Восток. Гарибальди отказался и возвратился к себе домой на остров Капрера.

...Газеты подробно рассказали о пирах и яствах... Чизвике и Гильдголле.— В английских газетах, в том числе и в «Таймс», ежедневно в период пребывания Гарибальди в Англии с 3 по 28 апреля 1864 года печатались отчеты о всех празднествах и приемах, устраиваемых в честь Гарибальди. Чизвик — предместье Лондона, где в вилле герцога Девонширского был устроен прием в честь Гарибальди. Гильдголл — здание Лондонского городского управления.

Стр. 208. *В Брук Гаузе.*— Дом Д. Сили на о. Вайт, где Гарибальди жил с 4 по 11 апреля 1864 года.

«Полярная звезда», кн. V. «Былое и думы».— Герцен отсылает к XXXVII главе «Былого и дум» (см. т. 1 наст. изд.).

...был отпущен из нее, как отпускают ямщика.—См. прим. к стр. 11 наст. тома.

Стр. 208. *...ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу.*— Во время похода гарибальдийцев на Рим с целью его освобождения от власти папы и французов в битве при Аспромонте 29 августа 1862 года Гарибальди был ранен и захвачен в плен войсками Виктора-Эммануила II, что вызвало бурю возмущения во всей Италии и усилило популярность Гарибальди.

...моряк, приведший «Cottton Wealth» из Бостона в Indian Docks.— Герцен встретился с Гарибальди в феврале 1854 года в Вест-Индских доках Лондона на корабле «Common Wealth», который Гарибальди привел из Северо-Американских Соединенных Штатов и на котором он был капитаном. См. рассказ Герцена об этой встрече также в главах XXXVII (т. 1 наст. изд.) и «Горные вершины» (стр. 10 наст. тома).

...о здешних интригах и нелепостях... людях... привязывавших Маццини к позорному столбу .. сковырнуть на Стансфильде пегое и бесхарактерное министерство... линялым тряпьем с гербами.— С 26 февраля по 30 марта 1864 года во французском суде рассматривалось дело по обвинению четырех итальянцев — Греко, Трибуко, Императори и Салио — в подготовке покушения на Наполеона III. Используя ложные показания Греко, прокуратура обвинила в соучастии также Маццини и Стансфилда, депутата английского парламента, входившего в правительство Пальмерстона. Английские консерваторы надеялись вызвать правительственный кризис и заменить либеральное правительство Пальмерстона правительством консерваторов. 14, 17 марта и 4 апреля 1864 года в парламенте обсуждался вопрос о возможности пребывания Стансфилда в составе правительства в связи с выдвинутыми против него обвинениями.

Он только что уехал на остров Вайт.— 4 апреля 1864 года Гарибальди из Саутгемптона выехал на о. Вайт, где до 11 апреля был гостем депутата парламента Сили в его поместье Брук Гауз.

Стр. 210. *...кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drappello гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии.*— Начав с пятнадцатилетнего возраста свою службу во флоте, Гарибальди был очень популярен среди моряков и рыбаков Ниццы. С большой любовью относились к нему и матросы, совершавшие с ним в 1851—1854 годах океанские рейсы в Лиму, Перу, Китай и Новую Зеландию. Drappello гверильясов в Монтевидео — итальянский легион, которым командовал Гарибальди с 1843 по 1848 год, воевавший за независимость Уругвайской республики. Войско ополченцев в Италии — волонтеры, сражавшиеся под командованием Гарибальди в 1848 году в Ломбардии, в 1849 году в Риме, в 1859 году вновь в Ломбардии и в 1860 году участвовавшие в гарибальдийском походе в Сицилию и Неаполь.

В ненапечатанной части «Былое и думы» обед этот рассказан.— Имеется в виду глава «Немцы в эмиграции», при жизни Герцена не напечатанная (см. рассказ об обеде у Бьюкенена на стр. 130—134 наст. тома).

Стр. 212. *...Гарибальди... был пожалован генералом — королем, которому он пожаловал два королевства.*— Король Пьемонта Виктор-Эммануил II пожаловал Гарибальди в 1859 году чин генерал майора. В 1860 году Гарибальди

в результате похода на юг Италии дал возможность Виктору-Эммануилу присоединить к Пьемонту Королевство Обеих Сицилий.

«Я не солдат... схватился за оружие, чтоб их выгнать» — цитата из речи Гарибальди, произнесенной им 16 апреля 1864 года в Кристальном дворце на торжественном заседании, созванном в честь Гарибальди итальянской колонией в Лондоне.

«Я работник, происхожу от работников и горжусь этим»,— сказал он в другом месте.— Ответ Гарибальди на адрес рабочего комитета Англии, зачитанный на митинге в день его прибытия в Лондон 11 апреля 1864 года.

Стр. 213. *...принялся читать «Таймс». С первых строк я был ошеломлен.*— В номере газеты «Таймс» за 5 апреля 1864 года был помещен отчет о заседании палаты общин от 4 апреля, на котором обсуждался вторично поставленный Стансфилдом вопрос об его отставке с поста младшего лорда адмиралтейства. Отставка Стансфилда была принята Пальмерстоном.

Семидесятипятилетний Авраам... принес окончательно на жертву своего галифакского Исаака.— Согласно библейской легенде, бог, желая проверить силу веры Авраама, повелел ему принести в жертву своего сына Исаака. В деле Стансфилда роль Авраама Герцен отвел Пальмерстону, который, начиная с бонапартистского переворота во Франции в декабре 1851 года, проводил политику сближения с Наполеоном III. Последнего Герцен иронически сравнивает с библейской Агарью, наложницей Авраама. Профранцузская политика Пальмерстона не раз подвергалась критике в палате общин. Пальмерстон, желая примирить с правительством оппозицию консерваторов и вернуть расположение Наполеона, принес им в жертву Стансфилда. Герцен называет Стансфилда галифакским Исааком, так как Стансфилд был уроженцем Галифакса и был избран в парламент от Галифакского избирательного округа.

С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике...— Герцен передает смысл речи Пальмерстона на заседании палаты общин 4 апреля 1864 года. Выразив сожаление, что, в силу настойчивости Стансфилда, он вынужден принять его отставку, Пальмерстон заявил затем, что члены парламента проникнуты сознанием важности личной безопасности Наполеона III и устойчивости его династии, так как Наполеон является верным другом и союзником Англии и оплотом мира в Европе.

Стр. 214. *Это была Мажента.*— Сравнением позиции Пальмерстона в деле Стансфилда с положением Австрии после битвы при Мадженте 4 июня 1859 года, в которой австрийские войска потерпели поражение, Герцен подчеркивает унизительную роль Пальмерстона, пожертвовавшего Стансфилдом в угоду Наполеону III.

...прочесть «Таймс» Гарибальди... о безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями Маццини.— В номере «Таймса» от 5 апреля 1864 года рядом с отчетом о заседании парламента, где обсуждался вопрос о Стансфилде и Маццини, было напечатано подробное описание пышного церемониала встречи Гарибальди в Саутгемптоне 3 апреля 1864 года.

Стр. 215. *...депутация от Лондона... к Гарибальди.*— Делегация от

Совета лондонского графства передала Гарибальди приглашение на торжественную церемонию в связи с присвоением ему звания почетного гражданина Лондона, которая состоялась 20 апреля 1864 года.

Стр. 219. *...бешенство листов, состоящих на службе трех императоров и одного «imperial»-поризма.*— Герцен имеет в виду официозную прессу Австрийской, Французской и Русской империй, а также консервативную (торийскую) прессу Британской империи.

...Лондон никогда так не встречал маршала Пелисье... он выжигал сотнями арабов с детьми и женами...— В 1854 году по приказу маршала Пелисье, командовавшего французскими войсками в Алжире, было задушено в дыму большое количество мирного арабского населения, находившегося в пещерах.

Стр. 220. *Какой-то итальянец сделался полицмейстером... бутафором, суфлером.*— По-видимому, Герцен имеет в виду Негретти, члена итальянского комитета в Англии, который взял на себя роль импрессарио при Гарибальди, всемерно содействуя осуществлению задуманной против Гарибальди великосветской интриги.

...такую даль, как Теддингтон — пригород Лондона, где Герцен жил с 28 июня 1863 года до июня 1864 года.

Стр. 222. *Ледрю-Роллен... как пострадавший за Рим (13 июня 1849 года).*— В этот день в Париже Ледрю-Роллен возглавил демонстрацию, организованную мелкобуржуазными группировками, и призвал к восстанию в знак протеста против отправки Наполеоном Бонапартом экспедиции Удино для свержения Римской республики и восстановления светской власти папы. Демонстрация была разогнана; Ледрю-Роллен был привлечен к судебной ответственности, но ему удалось бежать за границу.

Стр. 224. *День этот...*— Гарибальди был у Герцена 17 апреля 1864 года. Газета «Таймс», обычно подробно описывавшая аристократические приемы в честь Гарибальди, по поводу его поездки к Герцену ограничилась сообщением, в котором даже не упомянула фамилии Герцена. «Вчера в $10^1/_2$ часа Гарибальди отправился из Стаффорд Гауза в Теддингтон, откуда Гарибальди вернулся в Лондон в $2^1/_2$ часа» («Таймс», 18 апреля 1864 г.). Поездка Гарибальди к Герцену сыграла немаловажную роль в провале заговора английской аристократии против Гарибальди, и не случайно сообщение о его «болезни» и отъезде из Англии появилось в лондонских газетах на следующий день после посещения Гарибальди дома Герцена.

Стр. 224—225. *...немцы не понимают, что в Дании побеждает не их свобода, не их единство, а две армии двух деспотических государств.*— Имеется в виду война Австрии и Пруссии против Дании в 1864 году из-за герцогств Шлезвиг и Гольштиния, находившихся тогда в зависимости от Дании.

Стр. 225. *...Гарибальди в оценке своей шлезвиг-гольштинского вопроса встретился с К. Фогтом.*— Ратуя за объединение Германии на основе единого демократического законодательства и демократических принципов, К. Фогт в брошюре «Andeutungen zur gegenwärtigen Lage» выступил против расширения

территории Германии за счет захвата новых земель и считал, что в современной Европе на основе поглощения малых независимых государств образуются сильные милитаризованные державы, как Австрия и Пруссия. В войне 1864 года Фогт был на стороне Дании, утверждая, что для свободного человека ее господство предпочтительнее австро-прусского.

...отдать Венецию и квадрилатер...— Опираясь на Венецию и четырехугольник крепостей — Мантуя, Пескьера, Леньяго и Верона, австрийская армия господствовала над верхней Италией и охраняла Бреннерский проход в Альпах.

...о Триесте, который им нужен для торговли, и о Галиции или Познани.— Решением Венского конгресса в 1815 году Триест и Галиция были переданы Австрии, а Познань — Пруссии.

Стр. 226. *...мы сами Гнейста читали!* — Иронический намек на Каткова, который выдавал себя сторонником английского конституционализма «по Гнейсту»; Гнейст — автор ряда работ об английском парламентаризме и самоуправлении.

...лодочник в Неаполе... был подкуплен партией Сиккарди и министерством Веносты...— Герцен иронизирует над клерикалами, утверждавшими, что популярность Гарибальди создана искусственно, а не является выражением подлинных чувств народа. Д. Сиккарди в 1850 году провел закон об отмене судебных привилегий духовенства. Э. Висконти-Веноста подготовил итало-французское соглашение 1864 года о выводе французских войск из Папской области.

...журнальные Видоки, особенно наши москворецкие, так уж ясно могли отгадывать игру таких мастеров, как Палмерстон, Гладстон и К° .— Герцен неоднократно называл М. Н. Каткова «Видоком», то есть сыщиком, доносчиком. В данном случае Герцен, видимо, имеет в виду передовую статью газеты Каткова «Московские ведомости» от 23 апреля 1864 года, в которой утверждалось, что теплый прием, оказанный Гарибальди в Англии, не выражал чувства английского народа, а был инсценирован членами правительства в дипломатических целях. Статья носила характер пасквиля и содержала ряд грубых выпадов против Гарибальди, в частности, в связи с его поездкой к Герцену 17 апреля 1864 года.

Стр. 227. *Несколько слов, которые сказали Маццини и Гарибальди, известны читателям «Колокола».*— Речи Маццини и Гарибальди, произнесенные на обеде у Герцена, приведены в статье Герцена «17 апреля 1864 г.», напечатанной в «Колоколе», л. 184, 1 мая 1864 года. Герцен несколько преувеличивает значение состоявшейся у него встречи Гарибальди и Маццини, которая не привела, и не могла привести, к устранению противоречий между ними.

Стр. 228. *«Prince's Gate»* — «Ворота принца», название дома Д. Сили, в котором жил Гарибальди в Лондоне после отъезда из дворца герцога Сутерлендского с 20 по 28 апреля 1864 года.

Стр. 229. *...как обвинение Уркуарда, что Палмерстон берет деньги с России.*— Утверждение Уркхарта, что Пальмерстон подкуплен царским пра-

вительством и является наемником России, было излюбленной темой его статей и памфлетов.

Чамберс и другие спрашивали Палмерстона, не будет ли приезд Гарибальди неприятен правительству.— Крупный английский книгоиздатель и писатель Чамберс был в дружеских отношениях с Гарибальди. Будучи у Гарибальди на острове Капрера, Чамберс усиленно приглашал его совершить поездку в Англию и вместе с ним приехал на пароходе «Ripon» в Саутгемптон 3 апреля 1864 года. Запрос Пальмерстону об отношении правительства к приезду Гарибальди в Англию был сделан председателем Комитета по организации встречи Гарибальди Ричардсоном.

Гарибальди согласился приехать...— Мнение Герцена о цели поездки Гарибальди в Англию полностью подтверждается итальянскими источниками; А. Саффи в своих воспоминаниях пишет, что Гарибальди надеялся получить в Англии денежные средства и корабль для похода в Адриатику, чтобы поднять восстание в Венеции и среди балканских народов против поработившей их Австрии.

Стр. 230. *...поставили имя Мадцини рядом с Гарибальди.*— Лондонский рабочий комитет в день приезда Гарибальди в Лондон 11 апреля 1864 года от имени рабочих Англии преподнес ему адрес, в котором, отмечая выдающуюся роль Гарибальди в освобождении и объединении Италии, также напоминал о не менее выдающихся заслугах Мадцини в деле национального возрождения Италии.

Стр. 231. *...Кларендону занадобилось попилигримствовать в Тюльери.*— Лорд Кларендон в апреле 1864 года вошел в состав английского кабинета и для урегулирования ряда спорных вопросов англо-французских отношений, в частности, чтобы рассеять недовольство, возникшее у французского правительства в связи с приездом Гарибальди в Англию, был направлен для конфиденциальной беседы с Наполеоном III в Париж, где пробыл с 14 по 19 апреля 1864 года.

...Друэн де Люис говорил, то есть он ничего не говорил.— Герцен в завуалированной форме высказывает мысль, что английское правительство не допустило бы вмешательства Франции в дела Англии в нежелательном для ее правящих кругов направлении и что французский министр иностранных дел Друэн де Люис отлично понимал невозможность подобной попытки.

«Я близ Кавказа рождена».— Цитируя строку из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина, Герцен иронизирует над английскими притязаниями на особые привилегии. Свою мысль Герцен подкрепляет приводимым затем латинским изречением «Civis romanus sum» («Я римский гражданин»), намекая на речь Пальмерстона, которую тот произнес в палате общин в 1850 году в связи с греко-английским конфликтом (дело Пасифико), когда Англия отклонила посредничество Франции и принудила Грецию подчиниться своим требованиям. Пальмерстон в своей речи утверждал, что как в древности принадлежность к римскому гражданству обеспечивала право на господствующее положение, так ныне английское подданство обеспечивает господствующее положение в мире.

Австрийский посол даже и не радовался приему умвельцунгс-генерала.— Австрийским послом в Англии в 1864 году был Аппоньи. «Умвельцунгс-генерал» — Гарибальди. Австрийское правительство было крайне недовольно дружеским приемом Гарибальди в Англии, поскольку Гарибальди в прошлом руководил борьбой за освобождение Италии от австрийского ига, а целью его приезда в Англию было получение помощи для изгнания австрийцев из Венеции.

Стр. 232. *Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гиле Шеном.*— Первый митинг в Примроз-Гилле в связи с отъездом Гарибальди был разогнан полицией 23 апреля 1864 года (см. прим. к стр. 206). Второй митинг, созванный в Примроз-Гилле комитетом рабочих в знак протеста против недоброжелательного и лицемерного отношения английского правительства к Гарибальди, состоялся 7 мая 1864 года. Речь Шена, видного юриста, друга Маццини, опубликованную в газете «Таймс» от 9 мая 1864 года, Герцен взял за основу при изложении закулисной истории событий, вынудивших Гарибальди покинуть Англию.

Стр. 233. *Это Сольферино!* — деревня в Северной Италии, где 24 июня 1859 года во время австро-франко-итальянской войны произошло сражение, в котором австрийская армия была разбита французскими и пьемонтскими войсками. Напоминанием о Сольферино Герцен намекал на моральное поражение Пальмерстона.

И. Белявская, И. Зильберфарб, С. Кан, И. Орлик, И. Твердохлебов, З. Цыпкина, Я. Эльсберг

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Стр. 238. *Апогей и перигей.*— История «Колокола» в период с 1857 по 1862 год, быстрый и неуклонный рост его влияния до апогея, после которого начинается спад в распространении герценовских изданий,— такова центральная тема данного очерка. Характерно, что об успехе «Колокола» в среде, чуждой и, по существу, враждебной его издателям, Герцен пишет в ироническом тоне, начиная свой рассказ «великолепной сценой» беседы с «колонель рюс». Герцен в своем очерке, однако, не раскрывает полностью истоки и всю противоречивую природу успеха «Колокола».

Стр. 239. *...что скажешь у нас о Сухозанете... или вот об Адлерберге?* — Разоблачительные материалы о Н. О. Сухозанете и В. Ф. Адлерберге систематически помещались на страницах «Колокола».

Стр. 240. *...А. И. Сабуров...*— Генерал-майор А. И. Сабуров был у Герцена в Ницце между июлем 1851 года и январем 1852 года; с ним Герцен передал письма для московских друзей.

...встретил кой-кого из русских.— В августе 1852 года на пути в Лондон Герцен без разрешения французских властей пробыл восемь дней в Париже,

где встречался с М. К. Рейхель, А. В. и Е. К. Станкевичами, Н. А. Мельгуновым.

«Ни звука русского, ни русского лица».— Из монолога Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действ. III, явл. 22).

О свидании с ним я рассказывал в другом месте.— О своей встрече с М. С. Щепкиным в Лондоне в сентябре 1853 года Герцен писал в статье «Михаил Семенович Щепкин», опубликованной в «Колоколе» от 1 октября 1863 года.

...доктор В—ский.— Под этим псевдонимом из-за конспиративных соображений Герцен скрыл фамилию П. Л. Пикулина, который, уехав из России в начале июня 1855 года, до приезда в Лондон к Герцену некоторое время пробыл в Вене (отсюда — псевдоним Венский). Пикулин был связан с московскими друзьями Герцена и привез ему письмо от Т. Н. Грановского с припиской Н. Х. Кетчера.

Стр. 241. *...«ныне отпущаеши» Симеона-богоприимца.*— По евангельской легенде, Симеону, жителю Иерусалима, было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Иисуса. После долгого ожидания, увидя его, он произнес: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром...».

Стр. 242. *...в маленькой комнате «старого дома»...*— См. прим. к стр. 83 т. 1 наст. изд.

...приветствовало нас молодое поколение.— О многих сторонах организационной и идейной работы заграничного революционного центра и его связях с Россией Герцен не мог писать в своих мемуарах, которые именно в этой своей части особенно конспиративны. Герцен не мог рассказать о тех важных встречах с представителями русской революционной демократии, которые составляли конспиративную тайну, например, о встречах и беседах в июне 1859 года в Лондоне с Чернышевским.

...говорил мне в Лондоне, horribile dictu, Катков.— Встреча произошла в 1859 году во время заграничного путешествия М. Н. Каткова.

В. П. — В. П. Боткин.

Стр. 243. *...«обвинительное письмо» Чичерина.*— О полемике с Б. Н. Чичериным в связи с его письмом, опубликованным в «Колоколе» от 1 декабря 1858 года под названием «Обвинительный акт», Герцен рассказывает в главе «Н. Х. Кетчер» (т. 1 наст. изд.).

...как Бирон, вылил... ушат холодной воды на голову.— В романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» описывается, как люди Бирона, выливая на непокорного украинца ушаты холодной воды, превратили его в ледяную статую.

...крепкого патриотизма михайловского времени.— Период разгула реакции и поворота части либерального общества к национализму, шовинизму и черносотенству в начале 60-х годов Герцен называет по имени тех деятелей, которые олицетворяли собою реакцию, — Михаила Каткова, Михаила Муравьева.

...одно из них было подписано общими друзьями нашими...— Герцен имеет в виду письмо К. Д. Кавелина, к которому присоединились И. С. Тургенев, П. В. Анненков, И. К. Бабст, А. Д. Галахов и некоторые другие, пересланное ему в марте 1859 года Б. Н. Чичериным.

...дело «стрелка Кочубея»...— Кн. Л. В. Кочубей в 1853 году стрелял в управляющего имением И. Зальцмана и ранил его, однако не только остался безнаказанным, но, подкупив суд, добился заключения Зальцмана в тюрьму. Разоблачению этих злоупотреблений Герцен посвятил ряд заметок в «Колоколе» за 1858—1859 годы, в результате чего дело было пересмотрено и Зальцман освобожден.

Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей.— «Письмо к императрице Марии Александровне» Герцена было напечатано в «Колоколе» от 1 ноября 1858 года. Об отношении императрицы к «Письму» Герцен, очевидно, узнал от К. Д. Кавелина. Письмо Герцена, пронизанное горячим стремлением к изменению порядков в России и улучшению жизни русского народа, было, однако, написано в сентиментально-либеральном тоне и выражало надежду, что перестройка системы воспитания царских детей будто бы может «увеличить счастливые шансы в пользу ближайшего будущего России». Письмо Герцена к императрице относится к той серии слащавых писем в «Колоколе», которые, как писал В. И. Ленин, «нельзя теперь читать без отвращения» (Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 259) и утопическо-либеральный тон которых вызывал справедливое возмущение лидеров русской революционной демократии и их молодых последователей.

...напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу.— В «Колоколе» от 1 марта 1861 года были помещены материалы об обсуждении проекта крестьянской реформы на заседании Государственного совета 28 января 1861 года.

Бескорыстный Муравьев... жираф в андреевской ленте, Панин.— М. Н. Муравьев и В. Н. Панин, прозванный жирафом за большой рост, были объектом систематических разоблачений в «Колоколе», первый, в частности, как казнокрад и крупный взяточник.

Горчаков, игравший между этими «мертвыми душами» роль Мижуева.— А. М. Горчакова, выразившего сомнение в возможности подкупа издателя «Колокола», Герцен уподобляет Мижуеву, «зятю» Ноздрева, принадлежавшего, по словам Гоголя, к тем, кто «согласятся именно на то, что отвергали» («Мертвые души», т. I, гл. IV).

Стр. 244. *...от благодарности, подписанной князем Хованским...*— то есть взятки; в начале XIX века на бумажных деньгах была подпись князя А. Н. Хованского, управляющего государственным банком.

...прозвали губернской Миной Ивановной...— В «Колоколе» часто печатались материалы, разоблачавшие различные финансовые махинации придворно-правительственной среды, в которых видную роль играла, в частности, Мина Ивановна Буркова — наглая и корыстолюбивая фаворитка министра двора В. Ф. Адлерберга.

Стр. 245. *...казенными, как Сливицкий, Аргольдт... и убитыми, как Потебня, и сосланными на каторгу, как Красовский, Обручев и проч.*— П. М. Сливицкий и И. Н. Аргольдт за участие в революционной военной организации были расстреляны по приговору военно-полевого суда в 1862 году. Герцен в заметке «Аргольдт, Сливицкий и Ростковский», напечатанной в «Колоколе» 1 августа 1862 года, назвал день их казни «черным днем». А. А. Потебня дважды был у Герцена в Лондоне (см. главу «М. Бакунин и польское дело»), принял участие в польском восстании и был убит в бою с русскими войсками 4 марта 1863 года; в «Колоколе» за 1863 год был помещен ряд статей, посвященных Потебне. А. А. Красовский за распространение среди солдат прокламаций был в 1862 году приговорен к смертной казни, замененной двенадцатью годами каторжных работ, которые он отбывал в Нерчинске на Александровском заводе одновременно с Н. Г. Чернышевским. «Колокол» 1 января 1863 года откликнулся на приговор сочувственной статьей. Во время неудачной попытки бежать с каторги в 1868 году Красовский покончил жизнь самоубийством. В. А. Обручев в 1862 году был приговорен к каторжным работам за распространение прокламации «Великорусс».

Стр. 246. *...Alpha road* — лондонская улица, на которой Герцен жил с мая по ноябрь 1860 года.

...славные юноши, о которых мне писал Ф. Капп из Нью-Йорка.— Ф. Капп, принимавший участие в революционных событиях 1848—1849 годов в Париже, в это время познакомился с Герценом. Переехав вскоре в Соединенные Штаты Америки, Капп поддерживал переписку с Герценом. Русские моряки, о которых писал Герцену Ф. Капп, были из команд кораблей эскадры Лесовского, прибывшей в сентябре 1863 года в Нью-Йорк.

Историю Трувеллера изложить стоит.— В. В. Трувеллер в 1861—1862 годах находился в заграничном плавании на фрегате «Олег», посетил Герцена в Лондоне и приобрел революционные издания лондонской типографии для распространения в России, в первую очередь среди моряков. Трувеллер при помощи гардемарина В. Дьяконова пытался также приобрести типографский шрифт для организации в России нелегальной типографии. По доносу судового священника в июне 1862 года по прибытии в Кронштадт на судне был произведен обыск, при котором обнаружены герценовские издания. Трувеллер был арестован, приговорен к каторжным работам, замененным ссылкой в Западную Сибирь, откуда он вернулся в 1865 году больным.

Стр. 247. *...переписка с частью офицеров «Великого адмирала».*— Переписка с офицерами фрегата «Генерал-адмирал», о которой упоминает Герцен, завязалась в связи со статьей «Константин Николаевич за линьки», напечатанной в «Колоколе» 15 декабря 1860 года. О письмах офицеров, бравших под защиту командира фрегата И. И. Шестакова или сообщавших новые сведения об истязаниях матросов на корабле, часто писалось в «Колоколе» (например, в листах 93, 95, 114, 212).

Командир его, помнится, Андреев.— Андреев был командиром другого фрегата — «Олег», на котором также систематически избивали матросов, о

чем в «Колоколе» 15 октября 1861 года была помещена специальная заметка «Олег» и Андреев».

...константиновский либерал... в фавёре у великого князя.— Вокруг великого князя Константина Николаевича группировались сторонники умеренных реформ.

Вот его ответы и письмо к матери.— Эти материалы не были приведены Герценом. В «Колоколе» были опубликованы лишь некоторые сведения о Трувеллере и его деле (листы 143, 152). Материалы «Из военно-судного дела о гардемарине 8-го флотского экипажа Владимире Трувеллере» (опубликованы в «Историческом архиве», 1955, № 5, стр. 114—137) включают ответы Трувеллера на вопросы следствия, в которых он смело и откровенно изложил свои революционные убеждения.

Стр. 250. *...совершилось великое несчастье* — арест П. А. Ветошникова, повлекший за собой массовые аресты в России (см. прим. к стр. 266).

Стр. 251. *...вы участвовали в петербургском пожаре?* — Большие пожары в Петербурге, начавшиеся 28 мая 1862 года, продолжались несколько дней. Царское правительство воспользовалось этим поводом для проведения ряда репрессивно-террористических мер против революционного лагеря и стремилось распространением провокационных слухов о том, что пожары якобы являлись делом рук студентов, подстрекаемых Герценом и Н. Г. Чернышевским, поднять волну ненависти к революционной молодежи и ее идейным руководителям.

...Николай Филиппович Павлов?..— Герцен упомянул в качестве одного из вероятных источников провокационных слухов Н. Ф. Павлова, литератора, который к 1860 году перешел на сторону открытой реакции и издавал в Москве газету «Наше время», находившуюся на содержании у министерства внутренних дел.

Стр. 252. *...притом в обе стороны.*— По мере дальнейшего обострения классовой борьбы в России и поляризации общественных сил либералы начали отворачиваться от Герцена и его «Колокола». Поворот либералов к реакции, который ярко охарактеризован в данной главе, встретил со стороны Герцена достойную отповедь. Вместе с тем Герцен пишет о части молодежи, которая «прощалась с нами как с отсталыми на дороге», имея в виду прокламацию «Молодая Россия», распространявшуюся в Москве и в Петербурге во второй половине мая 1862 года. В этой прокламации наряду с заявлением о глубоком уважении к Герцену содержалась критика направления «Колокола», который, по мнению автора прокламации — П. Г. Заичневского и его единомышленников, не выражает стремлений и взглядов революционной партии.

Стр. 253. *...на выставку...*— на всемирную выставку 1862 года в Лондоне.

...зале Orset House'a.— Название дома в Лондоне, в котором Герцен жил с ноября 1860 до июня 1863 года.

Это был князь Юрий Николаевич Голицын.— В этом очерке Герцен кратко рассказывает историю жизни Ю. Н. Голицына — помещика Там-

бовской губернии, талантливого музыканта и композитора, временного эмигранта и изгнанника. Голицын, окончив в семнадцать лет пажеский корпус, вел широкую и беспорядочную жизнь. Ему не удалась ни служба, ни хозяйственная деятельность, ни семейная жизнь. В 1858 году во время поездки за границу он познакомился с Герценом, которому позже послал из России несколько корреспонденций, использованных в «Колоколе». Голицын за сношения с Герценом был лишен придворного звания и выслан под надзор полиции в г. Козлов. В феврале 1860 года он тайно выехал за границу и обосновался в Лондоне. Без всяких политических и вообще серьезных оснований он стал эмигрантом, и правительство объявило его изгнанным из пределов России. Герцен и Огарев оказывали ему материальную и моральную поддержку, помогали организовать в Лондоне концертные выступления, ставшие важным событием в музыкальной жизни английской столицы. Знакомство и связи Герцена и Огарева с Голицыным не имели никакой политической основы. Голицын после возвращения в Россию долго жил в Ярославле и продолжал заниматься музыкальной деятельностью.

Стр. 256. *...с «регентом»... с отцом Филиппа Орлеанского.*— Регентом Франции в 1715—1723 годах, в период малолетства Людовика XV, был сам Филипп II Орлеанский, а не отец его (Филипп I Орлеанский).

Стр. 262. *...Бетховен посвятил ему одну из симфоний.*— Речь идет, по-видимому, о трех струнных квартетах Бетховена (Es-dur, A-moll, B-dur), написанных им в 1823 году по заказу Н. Б. Голицына, отца Ю. Н. Голицына.

...Ивана Ивановича Савича...— Савич, отставной офицер, выехавший за границу в 1844 году для лечения, стал эмигрантом из-за опасения полицейских репрессий в связи с арестом его брата — Н. И. Савича, участника тайного Кирилло-Мефодиевского общества. И. Савич политической деятельностью не занимался и в делах политической эмиграции не участвовал.

Стр. 263. *...никем не преследуемый, как Людвиг-Филипп, приехал в Лондон.*— Герцен проводит ироническую аналогию с бегством в Англию французского короля Луи-Филиппа, свергнутого февральской революцией 1848 года.

...шеф Павловского полка...— Николай I был шефом Измайловского полка.

...пишет к Бруннову письмо.— Русским представителем в Лондоне в то время (1856—1858 гг.) был не Бруннов, а М. И. Хребтович.

Стр. 266. *...один из гостей...*— Среди гостей Герцена находился агент III Отделения Г. Г. Перетц, который и донес о возвращении П. А. Ветошникова с «опасными» документами.

Ветошникова схватили на пароходе — остальное известно.— Все письма, переданные П. А. Ветошникову, оказались после его ареста в руках III Отделения. В июле 1862 года были арестованы Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич. Особо назначенная следственная комиссия под председательством А. Ф. Голицына начала вести «Дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», по которому было привлечено

тридцать два человека. Дело Н. Г. Чернышевского было выделено из «процесса 32-х» в самостоятельное. Массовые аресты в России ослабили связи Герцена и Н. П. Огарева с русским революционным движением.

...всенародной исповеди...— Мемуары В. И. Кельсиева, вышедшие под названием «Пережитое и передуманное», СПб. 1868. Эти воспоминания являются подцензурной редакцией обширной «Исповеди» Кельсиева, написанной им в тюрьме при III Отделении и адресованной шефу жандармов (см. «Литературное наследство», т. 41—42).

...вооружило против него лучшую часть нашей журналистики.— Публичная исповедь и ренегатство В. И. Кельсиева были встречены резкими отзывами в ряде органов русской легальной печати (см. «Вестник Европы», 1868, № 7; «Неделя», 1868, №№ 11, 27, 46; 1869, №№ 1—4; «Отечественные записки», 1868, № 12). Возвращению Кельсиева в Россию Герцен посвятил в 1868 году статью «В. И. Кельсиев».

...не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения.— Герцен имеет в виду стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и, очевидно, «Стансы», в которых передовые современники усматривали отход поэта от своих свободолюбивых позиций. Об этом писал и В. Г. Белинский в 1847 году в своем «Письме к Гоголю».

Стр. 267. *...в Скулянскую таможню.*— 19 мая 1867 года Кельсиев, явившись в Скулянскую таможню на русско-румынской границе, добровольно отдал себя русским пограничным властям. Раскаявшись и выразив верноподданнические чувства, он получил быстрое и полное прощение.

...в Ситку или Уналашку...— Острова, принадлежавшие до 1867 года России, позже перешли во владение Соединенных Штатов Америки.

Стр. 268. *...mi-carême нашего николаевского поста.*— Здесь: середина тридцатилетнего царствования Николая I, разгул реакции.

Стр. 269. *...великой страдалицей сложила голову свою на дальнем Востоке... двух последних малюток.*— 29 августа 1863 года В. Т. Кельсиева с дочерью приехала в Константинополь. После смерти сына и дочери она умерла 15 октября 1865 года в Галаце. Герцен в некрологе «Две кончины», напечатанном в «Колоколе» 15 ноября 1865 года, с большой теплотой писал о В. Т. Кельсиевой. Она, очевидно, верила в прочность революционных убеждений своего мужа и именно поэтому перед смертью, по словам В. И. Кельсиева, завещала ему «ехать на Запад» («Литературное наследство», т. 41—42, стр. 397).

Стр. 270. *...в Белокринице.*— Селение в Буковине, входившей в состав Австрии, ставшее с 40-х годов XIX века местом пребывания главы «австрийской» иерархии старообрядцев-поповцев.

Сборник о раскольниках шел успешно; он издал шесть частей.— «Сборник правительственных сведений о раскольниках», составленный В. И. Кельсиевым на основе материалов, переданных ему Герценом, был издан Вольной русской типографией в четырех выпусках в течение 1860—1862 годов. Кроме четырех выпусков этого сборника, в 1863 году были изданы две книги «Сборника постановлений по части раскола».

Стр. 271. *Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать.*— Поездка Кельсиева в Россию весной 1862 года, о которой так осторожно и глухо пишет Герцен, очевидно, была связана с осуществлением планов объединения революционных сил. Он встречался не только с представителями старообрядческих общин, но и с видными участниками революционного движения: братьями Н. А. и А. А Серно-Соловьевичами, В. И. Касаткиным, А. Бени.

...обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку... взята мною на плечи.— Герцен иронически противопоставляет честолюбивое хвастовство В. И. Кельсиева самооценке названных лиц. При этом Герцен имеет в виду слова Цезаря, который, читая о жизни Александра Македонского, сказал своим друзьям: «...в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего блестящего!» Дон Карлос в одноименной драме Шиллера восклицает: «Мне двадцать третий год! А что успел я сделать для бессмертья?» О сходных рассуждениях университетского товарища Герцена В. И. Пассека см. в гл. XXV «Былого и дум».

...потеряться между Яссами и Галацом.— Осенью 1862 года Кельсиев уехал на Восток, и с этого времени началась его кочевая жизнь. Потеряв брата, двух детей, жену, он в последние два года своей эмигрантской жизни побывал в Вене, Венгрии, Галиции, Яссах. В эти годы в мировоззрении Кельсиева намечается перелом, приведший его к измене революционному делу и переходу в лагерь реакции.

...другой—чтоб схоронить себя... злоба мстящих помещиков-сенаторов.— Вернувшись добровольно в Россию, 12 апреля 1863 года П. А. Мартьянов был арестован и осужден сенатом на пять лет каторжных работ и вечное поселение в Сибирь; в сентябре 1865 года умер в Иркутской тюремной больнице. Во время пребывания Мартьянова в Лондоне в «Колоколе» 8 мая 1862 года было напечатано его «Письмо к Александру II». В конце 1862 года в издании Трюбнера вышла написанная им брошюра «Народ и государство». Во взглядах Мартьянова причудливо сочетались ненависть к дворянству и чиновничеству с утопической верой в «хорошего» царя и в возможность созыва царем Земской думы. Мартьянов выступал против идеи русско-польского революционного союза и не одобрял отношения Герцена к восстанию в Польше.

Стр. 272. *...целая формация.*— Характеристику В. И. Кельсиева Герцен связывает с особенностями идейного формирования молодого поколения революционеров в России, указывает на идейные и нравственные предпосылки, определившие возможность бегства Кельсиева из революционного лагеря. После того как в 1863 году общественный подъем сменился реакцией, случайные и неустойчивые элементы, вовлеченные в водоворот движения, отошли от революции и демократии. Такую эволюцию проделал и Кельсиев, ставший одним из первых ренегатов в истории русского освободительного движения.

Он сблизился с старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале превозносил его до небес.— В. И. Кельсиев в письме к Герцену от 11 июня 1863 года сообщал, что он установил контакт с О. С. Гончаровым (он же Гончар), поддерживающим связи с турецкими властями, представителями поль-

ской аристократической эмиграции и французской дипломатии и принимающим участие в осуществлении различных мероприятий, направленных против России. В 60-х годах Гончаров вступил в сношения с представителями царского правительства, которым давал информацию о русских эмигрантах.

Летом 1863 подъехал к нему его меньшой брат Иван, прекрасный, даровитый юноша.— Герцен и Н. П. Огарев высоко оценивали И. И. Кельсиева как одного из талантливых представителей молодого революционного поколения. Он отличался от своего брата В. И. Кельсиева политической зрелостью, последовательностью революционно-демократических убеждений, стремлением к активной деятельности, к сближению с народными массами.

...говорят даже, что его возили к Наполеону,—от него я этого не слыхал.— По поводу встречи О. С. Гончарова с Наполеоном III Кельсиев категорически утверждал: «Это неправда; я знаю дело от него самого и от его переводчика». По словам Кельсиева, Гончаров был принят французским министром иностранных дел Э. Тувенелем (см. «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 368—369).

Стр. 273. *...письмо, в котором, называя меня «графом», спрашивал, может ли приехать к нам и как нас найти.*— О. С. Гончаров 21 и 30 июня 1863 года отправил к Герцену два письма из Марселя. Первое письмо начиналось обращением: «Его снятельству господину Герцену». В этих письмах Гончаров рассказывал о своих беседах с В. И. Кельсиевым и выражал сомнения в возможности своей поездки в Лондон.

Мы жили тогда в Теддингтоне.— Район Лондона, в котором Герцен жил с июня 1863 года. В. Т. Кельсиева с дочерью до своего отъезда в Константинополь жила в доме Герцена.

Гончар прожил у нас три дня. — О. С. Гончаров прожил у Герцена с 14 по 19 августа 1863 года.

Стр. 274. *Он и от нас уехал, качая головой. Написал потом два-три письма... и подал вопреки нашего мнения адрес государю.*— Герцен справедливо не разделял надежд Кельсиева на возможность прочного союза русских революционеров со старообрядцами и скептически оценивал обещания Гончарова оказывать помощь революционной работе. В тех письмах, о которых упоминает Герцен, Гончаров писал о столкновениях с Кельсиевым в связи с отказом верхушки старообрядцев содействовать созданию русской типографии в Константинополе. Второй причиной конфликта был адрес на имя Александра II с просьбой прекратить гонение старообрядческой веры, проект которого был Гончаровым переслан в Лондон и вызвал возражения Герцена и Н. П. Огарева.

И вот эта ужасная «Тульчинская агенция»... в «Полицейских ведомостях» Каткова.— Статья «Агенция Герцена в Тульче» была помещена в газете Каткова «Московские ведомости» 2 сентября 1865 года. В этой статье изображена фантастическая картина деятельности «герценовской агентуры», виновной будто бы в организации пожаров в России. Герцен в своих статьях «Агентство Герцена в Тульче и «Московские ведомости» и «Агентство в Тульче» тогда же

опроверг эту клевету Каткова и раскрыл ее истинный, провокационный смысл.

Стр. 275. *«Милуша» — так звали старшую дочь...*— Дочь В. И. Кельсиева — Мария, «Малуша», как ее называли родители (а не «Милуша»), умерла осенью 1865 года в Галаце в возрасте около пяти лет.

И она еще раз улыбнулась... и умерла.— В письме к Герцену 26 октября 1865 года В. И. Кельсиев подробно описал последние минуты своей жены, умершей в больнице Галаца 15 октября 1865 года. Из этого письма Герцен и взял приведенный им диалог умирающей В. Т. Кельсиевой со своим мужем.

Стр. 276. *«Отечество в опасности, aux armes, citoyens!»* — Из декрета Законодательного собрания Франции от 11 июля 1792 года, объявившего отечество в опасности в связи с наступлением интервенционистских войск коалиции феодальных монархий.

Год тому назад один француз, поклонник Конта...— Г. Н. Вырубов в 1864 году уехал из России за границу и большую часть жизни прожил во Франции. Познакомившись с Герценом в ноябре 1865 года, он поддерживал с ним связь и был единственным, кто выступил с речью на могиле Герцена. Позже опубликовал свои «Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров)» («Вестник Европы», 1913, №№ 1, 2), в которых рассказал об этой беседе с Герценом. Вырубов в своих мемуарах тенденциозно изображал Герцена либеральным мыслителем и преувеличивал степень своей близости к нему. Герцен критически относился к взглядам и деятельности Вырубова, называя его «французом», «доктринером», и осуждал за полный отрыв от родины.

...когда праздновали конкордат.— Соглашение между первым консулом Французской республики Наполеоном и римской курией предусматривало отмену провозглашенных во время революции законов, направленных против католической церкви. Это было отмечено 12 августа 1802 года торжественным молебствием в соборе Парижской богоматери.

«L'infâme sera écrasée».— Герцен вольно передает известное выражение Вольтера: «Раздавите гадину!» («Ecrasez l'infâme!»), призывавшего к решительной борьбе против католической церкви и реакционного духовенства.

Стр. 277. *...«пуще всех печалей»...* — Слова Лизы из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действ. 1, явл. 2).

Стр. 278. *Опыты собрания «Общего фонда» не дали важных результатов.*— Об учреждении «Общего фонда» сообщалось в «Колоколе» от 15 мая 1862 года в извещении «От издателей». В дальнейшем в «Колоколе» регулярно печатались сведения о поступивших взносах в «Общий фонд» и неоднократно отмечалось, что приток денег очень невелик. Герцен был одним из учредителей и распорядителей фонда и лично оказывал через фонд и непосредственно помощь нуждающимся молодым эмигрантам. В практике распределения средств фонда возникали конфликты между отдельными эмигрантами и Герценом. 15 мая 1867 года в «Колоколе» было опубликовано сообщение о ликвидации «Общего фонда».

...странном случае, бывшем в 1858 году.— П. А. Бахметев был в Лондоне у Герцена в августе 1857 года.

Стр. 279. *На Маркизовы острова.*— П. А. Бахметев, по словам знавшего его Д. Л. Мордовцева, собирался уехать в Новую Зеландию (см. Д. Л. Мордовцев, О Рахметове.— «Северный курьер», 1900, 18 апреля (1 мая), № 164).

Стр. 280. *Во-первых, в расписке будет сказано... кроме банкрутства в Англии.*— Рассказ Герцена точно соответствует содержанию письма П. А. Бахметева к Герцену от 31 августа 1857 года (см. «Литературное наследство», т. 41—42, стр. 526). После отъезда из Лондона Бахметев в Европе не появлялся, и о его дальнейшей судьбе ничего не известно. До 1869 года фонд Бахметева оставался нетронутым. В июле 1869 года Герцен, по требованию Огарева, отдал ему половину фонда, которая была передана С. Г. Нечаеву. После смерти Герцена и вторая половина фонда была Огаревым отдана Нечаеву. Опасения Герцена сбылись, и фонд Бахметева был растрачен на бесполезные для русского революционного движения бакунинско-нечаевские авантюристические предприятия.

Стр. 283. *...христианство судить по Оригеновым хлыстам и революцию по сентябрьским мясникам и робеспьеровским чулочницам...*— Герцен имеет в виду последователей богослова и изувера Оригена, призывавшего к самооскоплению во имя достижения христианского идеала праведной жизни. Во втором случае подразумевается стихийное движение во Франции 2—5 сентября 1792 года, когда народ, опасаясь соединения внешних и внутренних врагов революции, ворвался в тюрьмы, где по приговору импровизированных судов, а иногда и в порядке самосуда были казнены заключенные изменники и контрреволюционеры. Под «робеспьеровскими чулочницами» Герцен, вероятно, подразумевает плебейские слои населения, поддерживавшие якобинскую диктатуру и революционный террор.

Стр. 284. *...гоголевского Петуха...* — Помещик Петух из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» встретился Чичикову в голом виде (т. II, гл. III).

...называть Ст. Милля ракальей. — Экономист «Русского слова» Н. В. Соколов в статье «Милль» писал: «...в одном томе сочинений Милля найдется множество таких замечательных софизмов и гнусных правил и выводов, которые обратят имя этого писателя в синоним английского слова «Rascal» («Русское слово», 1865, июль, отд. «Литературное обозрение», стр. 47).

...«старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло»...— Из стихотворения Д. Давыдова «Современная песня».

Стр. 285. *...наши черноземы...*— Основным содержанием главы являются отношения между Герценом и русской «молодой эмиграцией», проживавшей в Швейцарии после наступления реакции 60-х годов. Вопрос об установлении сотрудничества и преодолении разногласий между «старыми» лондонскими эмигрантами и «молодой эмиграцией» становится важным вопросом русского революционного движения. Герцен, стремясь к соглашению, принял участие в женевском съезде эмигрантов в конце декабря 1864 года — в начале января

1865 года. Однако эта попытка объединения всех эмигрантских сил закончилась полной неудачей и стала исходным этапом дальнейшего роста напряженности в отношениях между Герценом и «молодой эмиграцией».

Представители «молодой эмиграции» продолжали ту линию критики либеральных колебаний и ошибок Герцена, которая была начата революционной демократией в конце 50-х годов. Они хотели создать общеэмигрантский центр со своим печатным органом и требовали от Герцена передачи «фонда Бахметева» «на общее дело». Герцен скептически относился к этим планам, расценивая их как революционную декламацию и опасное фразерство. Герцен и представители «молодой эмиграции» проявляли взаимную несправедливость и резкость. В своей критике ошибок Герцена молодые эмигранты игнорировали всю его предыдущую деятельность, его разрыв с либералами и решительный поворот к революционному демократизму. Герцен в своих оценках и характеристиках не смог исторически верно и всесторонне определить особенности молодого революционного поколения. В них сквозит раздраженность и обида, неоправданные придирчивость и резкость. Реакционная печать пыталась использовать эту главу для того, чтобы фальсифицировать характер и направленность идейной эволюции Герцена в последние годы его жизни. Но, несмотря на разногласия, Герцен живо ощущал историческую связь со своими преемниками по революционной борьбе. С подлинным историческим оптимизмом и глубокой проницательностью он увидел в революционерах-разночинцах «молодых штурманов будущей бури».

...готов идти... в прохвосты.— От немецкого Profoß — полицейская должность в старой армии.

Стр. 286. *...как в статьях Жюля Элизара, повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust».*— М. А. Бакунин опубликовал под псевдонимом Жюля Элизара в 1842 году статью «Реакция в Германии. Очерк француза», где он впервые высказал свой девиз, цитируемый Герценом.

...его заперли в Кенигштейн — крепость в Саксонии.

...речи славян на Пражском съезде.— Съезд славян в Праге происходил с 31 мая по 12 июня 1848 года. На съезде были представлены преимущественно славяне Австрийской империи. В работе съезда принимал участие и М. А. Бакунин, блокировавшийся с левыми радикальными элементами съезда. Руководящую роль на съезде играла чешская либеральная буржуазия, выдвинувшая идею преобразования Австрийской империи в федерацию славянских государств под эгидой Габсбургской монархии.

...его речь на польской годовщине 29 ноября 1847.— На собрании, состоявшемся в Париже 29 ноября 1847 года по случаю 17-й годовщины польского восстания 1830—1831 годов, М. А. Бакунин произнес речь, в которой обличал политику царизма в Польше и призывал к свержению самодержавия совместными силами русского и польского народов.

Стр. 287. *...отправить его... к славянам.*— Герцен имеет в виду отъезд М. А. Бакунина из Парижа в конце марта 1848 года с целью направиться в Познаньщину. Однако берлинская полиция помешала осуществлению этого

намерения Бакунина. Он смог посетить только Вроцлав, откуда в мае 1848 года направился в Прагу.

...пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречья... не подстрелить невзначай своей жены...— Виндишгрец командовал австрийскими войсками, подавившими восстание в Праге в июне 1848 года. Во время перестрелки была смертельно ранена в своем доме жена Виндишгреца, подошедшая к окну.

Стр. 288. *Бакунин написал журнальный «leading article».*— В Петропавловской крепости летом 1851 года М. А. Бакунин написал для Николая I свою «Исповедь», в которой нашли выражение его панславистские тенденции. «Я буду исповедоваться Вам как духовному отцу»,— писал он царю. В «Исповеди» Бакунин покаялся перед царем во всех своих проступках, а свою революционную деятельность назвал безумием и преступлением, вызванным незрелостью ума (см. М. А. Бакунин, Собр. соч. и писем..., т. IV, стр. 104—206). Бакунин понимал, что «Исповедь» может только скомпрометировать его в глазах революционеров, и поэтому стремился скрыть ее действительное содержание. Он уверял Герцена в своем письме от 8 декабря 1860 года, что «...письмо мое ‹то есть «Исповедь».— *Ред.*› ...было написано очень твердо и смело...» (там же, стр. 366).

Стр. 289. *Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова?* — Осужденный в конце 1861 года на шесть лет каторги и вечное поселение в Сибири, М. Л. Михайлов был закован в цепи и направлен на тяжелейшие каторжные работы на Кандинские прииски, где и погиб в 1865 году.

А что какой-нибудь Корсаков получил выговор...— Генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков в июне 1861 года дал М. А. Бакунину разрешение на поездку по Амуру, чем Бакунин воспользовался для побега. За это Корсаков получил строжайший выговор от Александра II.

Стр. 290. *...он... стал революционировать «Колокол»...*— Эта фраза указывает на наличие больших разногласий между Герценом и Бакуниным, возникших вскоре после приезда последнего в Лондон. Суть этих расхождений состояла в том, что первый стремился сохранить за собой и за «Колоколом» пропагандистскую идеологическую деятельность, тогда как второй хотел ограничить эту деятельность чисто «практическим» направлением, превратить «Колокол» в руководящий центр заговорщической деятельности среди русских, поляков и других славянских народов. Разногласия между Герценом и Бакуниным привели к тому, что стремление Бакунина «быть третьим» в союзе издателей «Колокола» не осуществилось и он должен был занять позицию «дружеского и союзного возле». Это «союзное возле» выражалось в некоторой общности в постановке ряда вопросов Герценом и Бакуниным, в их совместной деятельности в начале 60-х годов. Однако с течением времени разногласия между ними усилились.

Стр. 296—297. *Перед выстрелами по попам и детям... написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков.* — В 1861 году в Польше проходили

массовые демонстрации и манифестации протеста против политики усиления национального гнета, осуществлявшегося русским царизмом; в костелах распевались национально-религиозные гимны. Некоторые из этих манифестаций завершились кровавыми столкновениями с царскими войсками. Герцен откликнулся на события в Польше рядом статей: «Vivat Polonia», «10 апреля и убийства в Варшаве», «Mater Dolorosa» и др., опубликованных тогда же в «Колоколе».

Стр. 297. *Старик Адам Чарторижский... прислал мне... теплое слово.*— В связи с публикацией в «Колоколе» статей о Польше Герцен получил ряд приветственных посланий от поляков. По-видимому, «теплое слово» от А. Чарторыского (его письмо, пересланное с сыном Герцена в конце марта — начале апреля 1861 года) также было откликом на эти статьи.

Зашла речь о выстреле в Константина.— Великий князь Константин Николаевич в 1862 году был назначен наместником Царства Польского. В первый же день его пребывания в Варшаве, в июне 1862 года, на него было совершено покушение.

Ш.-Э.— Шарль Эдмон, литературный псевдоним Хоецкого.

А через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь через Петербург в Польшу.— В сентябре 1862 года Падлевский участвовал в переговорах между представителями Центрального национального комитета и издателями «Колокола» в Лондоне, а в конце ноября того же года — в переговорах с представителями общества «Земля и воля» в Петербурге. З. Падлевский играл видную роль в начальном периоде восстания 1863 года, но вскоре был взят в плен и казнен царскими властями.

Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России...— В вопросе о восстании в России в период 1861—1863 годов Бакунин занимал совершенно иную, нежели Герцен, позицию. Он требовал от Герцена осенью 1862 года «поднимать знамя на дело», то есть на восстание. Герцен был решительным противником авантюристического подхода к восстанию и нигилистического отношения к программным, теоретическим вопросам борьбы, что так свойственно было Бакунину. Одновременно с этим он выступал против преувеличения Бакуниным численности революционных организаций в России и их готовности незамедлительно выступить на стороне польских повстанцев.

Приветствуя начавшееся в январе 1863 года польское восстание и считая необходимым практически поддержать его действиями русских революционеров, Герцен не делал уступки Бакунину в этом вопросе, как это может показаться на первый взгляд из текста данной главы. Позиция Герцена определялась его верой в возможность военно-крестьянского восстания в России в связи с окончанием срока подписания уставных грамот и под влиянием польского восстания. Однако польское восстание не переросло в крестьянское. Надежды на восстание в России оказались ошибочными. Именно это прежде всего и имеет в виду Герцен, когда говорит о своих ошибках в «польском деле».

Стр. 298. *Гиллер... прогулялся в кандалах до рудников... снова принялся*

за дело.— За участие в восстании 1830—1831 годов А. Гиллер был сослан в Сибирь. Возвратившись в Польшу в конце 50-х годов, он примкнул к правому крылу повстанческой организации.

Тогда набирался мой ответ офицерам.— Статья Герцена «Русским офицерам в Польше» была напечатана в «Колоколе» 15 октября 1862 года.

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух.— Третьим, помимо З. Падлевского и А. Гиллера, был В. Милович, представитель правого крыла «красных».

...документ этот, известный читателям «Колокола».— Письмо Центрального национального комитета издателям «Колокола» было опубликовано 1 октября 1862 года.

Стр. 300. *Через день двое из них отправились в Варшаву — третий уехал в Париж.*— Во второй половине октября 1862 года в Варшаву уехали З. Падлевский и А. Гиллер, в Париж — В. Милович.

...тут явился указ о «подтасованном» наборе.— Осенью 1862 года царские власти издали указ о рекрутском наборе в Царстве Польском, который должен был проводиться по заранее составленным спискам. Этой мерой царские власти пытались покончить с революционным движением в Польше. Проведение набора в январе 1863 года послужило поводом для начала восстания.

Теперь и белые стали переходить на сторону движенья.— В национальном движении в Польше в начале 60-х годов XIX века «белые» объединяли либеральную шляхту и буржуазию, были против революционных методов борьбы и выступали сторонниками умеренных реформ.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского, о которой тогда никто не думал). — М. А. Бакунин выехал из Лондона 21 февраля 1863 года, за месяц до экспедиции Т. Лапинского, и присоединился к экспедиции в шведском порту Хальсингборге, чтобы пробраться в восставшую Польшу. После провала экспедиции в конце марта 1863 года он направился в Стокгольм для установления связей с финскими и шведскими революционерами и находился там почти до конца 1863 года. Об экспедиции Лапинского Герцен рассказал в главе «Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley and C°».

Мельком явился Потебня и исчез вслед за Бакуниным.— Потебня прибыл в Лондон в середине февраля 1863 года и после свидания с Герценом 22 февраля выехал в Польшу.

...приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от «Земли и воли».— А. А. Слепцов приехал в Лондон для переговоров с Герценом и Н. П. Огаревым. Он предлагал превратить «Колокол» в орган «Земли и воли», а также создать в Лондоне главный совет общества. Первое предложение не было принято Герценом, а совет общества был создан.

Стр. 301. *...он прямо идет на гибель.*— А. А. Потебня возглавил отряд, принявший непосредственное участие в польском восстании 1863 года, и погиб в марте 1863 года в сражении у Песчаной Скалы.

Стр. 302. *Шарлотта Корде из Орла и Даниил из крестьян были правы!* — Герцен имеет в виду, в первом случае, описанную им в главе «Апогей и перигей» встречу с русской девушкой, заявившей ему: «Друзья ваши и сторонники ваши вас оставят». В другом случае, подразумевая под именем библейского пророка Даниила — П. А. Мартьянова, Герцен имеет в виду его высказывания о падении влияния «Колокола» в связи с выступлениями Герцена в защиту восставшей Польши.

Стр. 304. *...Сверцекевич... арестован вместе с Хмелинским и Миловичем...*— И. Цверцякевич, И. Хмеленский и В. Милович были арестованы в декабре 1862 года. Однако вскоре, за неимением улик, были освобождены.

Стр. 305. *Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс...*— В период польского восстания 1863 года прусские власти арестовали ряд деятелей княжества Познанского, принимавших участие в восстании либо причастных к нему; к судебной ответственности было привлечено свыше ста человек. Судебный процесс происходил в июле 1864 года в Берлине.

Стр. 309. *«Sinite venire parvulos».*— Из Евангелия от Матфея.

Стр. 310—311. *Лапинский был в полном слове кондотьер... вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе.*— Лапинский в 1849 году сражался в рядах революционной армии Венгрии против австрийских и русских войск; во время Крымской войны под именем Тевфик-бея сражался против России на стороне турок. В конце 50-х годов принимал участие в так называемой Черкесской экспедиции, снаряженной «партией» Чарторыского при содействии английского и турецкого правительств для борьбы против русского влияния на Кавказе и создания в Черкесии своей военной базы. В начале 60-х годов XIX века он прибыл в Англию и предложил английскому правительству план организации интервенции на Кавказ. После неудачи экспедиции на пароходе «Ward Jackson» он жил некоторое время во Франции, Италии и других западноевропейских странах. В начале 70-х годов был амнистирован австрийским правительством, после чего поселился в Галиции. Упоминаемая Герценом книга Лапинского о борьбе горцев против России — T. Lapinski, «Die Bergvölker des Kaukasus und ihr Freiheitkampf gegen die Russen», bd. 1—2, Hamburg, 1863.

Стр. 311. *...в Самогитии.*— Самогития—современная Жемайте (Жмудь), область Литвы между низовьем Немана и верхним течением Венты.

Стр. 312. *Подробности дела и второй попытки Лапинского...*— В начале июня 1883 года Лапинским была предпринята новая попытка морской экспедиции. Датская шхуна «Эмилия» с отрядом добровольцев на борту вышла из Копенгагена и направилась к берегам Литвы. 11 июня во время высадки у мыса Паланги разыгралась буря. Часть людей утонула, а часть удалось спасти. От высадки пришлось отказаться. Шхуна направилась к шведскому острову Готланд, где и была интернирована.

Стр. 313. *...доктор Тугендгольд... оставил своим агентом меньшого брата.*— Фамилия Поллеса также значилась в списке шпионов, опубликован-

ном польским повстанческим правительством. В 1863 году Поллес опубликовал на шведском языке брошюру, в которой пытался рассеять подозрения в шпионаже с его стороны.

...собиралась другая экспедиция, снаряженная белыми.— Во второй половине 1863 года «белые» подготовили морскую экспедицию, которая должна была направиться через Гибралтар в Черное море к берегам Кавказа, в Черкесию, где участники экспедиции предполагали организовать борьбу горских народов против России. Одновременно с этим организаторы экспедиции рассчитывали, что они смогут использовать экспедицию в качестве повода для признания европейскими державами польских повстанцев воюющей стороной. Эти замыслы не осуществились.

Стр. 314. *...мы хотели на юг.*— Речь идет о гражданской войне в Америке (так называемая война Севера и Юга) в 1861—1865 годах.

Стр. 315 *...это было... между 1835 и 1840* — В. С. Печерин вернулся из-за границы в 1835 году.

...молодые профессора.— Имеются в виду П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков, М. С. Куторга и их товарищи по «профессорскому институту», созданному в конце 20-х годов при Дерптском университете и состоявшему из лучших студентов, окончивших Московский, Петербургский и Харьковский университеты. Подготовка к профессуре завершалась заграничной командировкой. С 1833 года все кандидаты, предназначенные к профессуре, стали называться членами профессорского института, независимо от того, при каком университете они оставлены.

...написал гр. С. Строгонову письмо — Письмо Печерина от 23 марта 1837 года из Брюсселя было ответом на письмо С. Г. Строганова, предлагавшего Печерину вернуться в Россию.

...мы услышали... что Печерин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре — Печерин в 1840 году принял католичество, затем стал монахом, а в 1843 году — священником ордена редемптористов, близкого к иезуитам.

«*Торжество смерти*» — поэма Печерина, написанная за границей в 1834 году, была напечатана впервые в «Полярной звезде» на 1861 год (кн. VI) и в сборнике «Русская потаенная литература» (Лондон, 1861).

Стр. 318. *...наш Саул...*— Так Герцен иронически называет Николая I; Саул — израильский царь, правление которого, согласно библейскому преданию, было омрачено жестокостями и самовластием. Саул покончил жизнь самоубийством, потерпев поражение в войне с филистимлянами.

«*Поликрат Самосский*».— Это произведение Печерина неизвестно.

...об одной книге, изданной... на немецком языке.— Вероятно, книга Герцена «С того берега» («Vom anderen Ufer»), вышедшая в Гамбурге в 1840 году без имени автора.

Стр. 319. *Я прочел обе ваши книги.*— Судя по содержанию следующих писем, это были работы Герцена «Русский народ и социализм» и «О развитии революционных идей в России».

Одна вещь особенно поразила меня.— Вероятно, Печерин имеет в виду главу «Литература и общественная мысль после 14 декабря 1825 года» в работе Герцена «О развитии революционных идей в России».

Стр. 320. ...*«фаланстер — не что иное, как... видоизменение николаевского самовластия».*— Неточная цитата из работы Герцена «О развитии революционных идей в России».

Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины...— Печерин ссылается на работу Герцена «О развитии революционных идей в России», глава IV «1812—1825».

...*элевзинскими таинствами...*— Тайный культ Деметры в начале нашей эры ставил своей задачей воскресить древнегреческий религиозный культ. Герцен сопоставляет элевзинские таинства с реакционными попытками реставрации католицизма в XIX веке.

Стр. 321. ...*терапевты и ессеяне* — древнеиудейские секты.

...*русская история — история дворянства и правительства.*— Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» полемизирует с славянофилами, прикрывавшими идеализацией крестьянства свои реакционные взгляды. Указывая на революционизирующее значение петровской реформы, Герцен подчеркивает, что именно в передовой дворянской интеллигенции, образовавшейся в результате «произведенной Петром I революции», сосредоточивалось «все умственное и политическое движение».

...*в письме к Мишле.*— Имеется в виду статья Герцена «Русский народ и социализм», написанная в форме письма к Ж. Мишле.

Стр. 325. ...*за публичное сожжение на площади протестантской Библии.* — «Дело о сожжении Библии» было возбуждено в 1855 году. Печерин был оправдан, так как на суде выяснилось, что по указанию Печерина сжигалась порнографическая литература, а не протестантская Библия.

...*после обыска у меня и захвата моих бумаг, во время июньской битвы.*— Июньская битва — восстание парижских рабочих 23—26 июня 1848 года. Об обыске, захвате и возвращении бумаг Герцен подробно рассказывает в главе «Западные арабески. Тетрадь первая. II. В грозу».

...*И. Головин — до того известный мне по бездарным сочинениям своим.*— До 1848 года были опубликованы следующие произведения И. Головина: «Поездка в Швецию в 1839 г.» (СПб. 1840); «Vom Vesen des Geldes» (Leipzig, 1842); «Esprit de l'économie politique» (Paris, 1843); «Discour sur Pierre le Grand. Réfutation du livre de M. de Custine: «La Russie en 1839» (Paris, 1843); «La Russie sous Nicolas I» (Paris, 1845).

Стр. 325—326. «*Ну, да Яков Толстой и генерал Жомини*».— Я. И. Толстой в 1826 году был привлечен к следствию по делу декабристов, но, находясь в это время за границей, отказался вернуться в Россию. Стремясь вымолить прощение у царского правительства, стал с 1837 года агентом III Отделения в Париже. Шпионско-осведомительная деятельность Толстого была разоблачена во время февральской революции 1848 года. Данных для утверждения о

том, что Жомини, проживавший в 1840 году в Париже, был агентом русского правительства, нет.

Стр. 326. *...либерализм Роттековой школы.*— Герцен имеет в виду либерально-оппозиционное движение в Германии 30—40-х годов XIX века, видным представителем которого был Карл Роттек.

Головин поместил в каком-то журнале дворянски-либеральную статейку.— Имеется в виду письмо Головина, опубликованное 18 января 1845 года в парижской «Gasette des Tribunaux», в котором он, ссылаясь на «хартию», якобы дарованную Романовыми русскому дворянству, доказывал юридическую незаконность приговора, заочно вынесенного Николаем I ему и М. А. Бакунину.

Бакунин объявил, что... с Головиным ничего общего не имеет.— В статье, напечатанной в виде письма к редактору в газете «La Réforme» от 27 января 1845 года, М. А. Бакунин, отмежевавшись от апелляции Головина к «правам российского дворянства», выступил с разоблачением самодержавного деспотизма и изложением своих революционных убеждений, побудивших его стать политическим эмигрантом.

Стр. 328. *...Головин напечатал в «Réforme» свою встречу.*— Письмо Головина по поводу его встречи с Луи-Наполеоном, происшедшей 28 января 1849 года, было напечатано в «La Réforme» и «Le Voix du Peuple».

...придравшись к 13 июню.— О выступлении мелкобуржуазной демократии в Париже 13 июня 1849 г. см. в главе XXXVI «Былого и дум».

...смело прибавив к своей фамилии титул князя Ховры, на который не имел права.— Головин подписывал некоторые свои произведения именем «князя Ховры», стремясь, без всяких оснований, подчеркнуть свою принадлежность к графскому роду Головиных, родоначальником которого был грек — князь С. В. Ховра, переселившийся в конце XIV века из Крыма в Москву.

...возвратился в Турин и стал издавать какой-то журнал.— В 1852 году Головин издавал в Турине газету «Journal de Tourin», в которой печатал свои фельетоны под названием «Русские портреты и эскизы». По требованию австрийского посла газета была закрыта, а Головин выслан из Турина.

...печатал невообразимый вздор.— Головин, приехавший в начале 1853 года в Лондон, безуспешно пытался широко развернуть свою литературно-публицистическую деятельность. Он написал два романа: рукопись одного из них была куплена английским издателем, но не издана, второй роман («Der Flüchtig») был напечатан лейпцигским издателем. Головин тогда же опубликовал анонимно «Письма русского дипломата», сотрудничал в некоторых лондонских изданиях.

...на польской годовщине.— В 1853 году отмечалась двадцать третья годовщина польского восстания 1830 года.

Стр. 330. *Об речи я говорил в другом месте* — в главе «Польские выходцы».

Стр. 332. *...великому правилу, постановленному Белинским: что «мошенники тем сильны... как с честными людьми».*— В. Г. Белинский в письме к

Герцену от 6 февраля 1846 года писал: «...история этой повести мне сильно открыла глаза на причину успехов в жизни мерзавцев: они поступают с честными людьми, как с мерзавцами, а честные люди за это поступают с мерзавцами, как с людьми, которые словно во сто раз честнее их, честных людей» (В. Г. Белинский, Собр. соч., т. 12, М. 1956, стр. 261).

Головин напечатал в Германии через десять лет, что Ледрю-Роллен извинялся перед ним.— Герцен имеет в виду тенденциозное освещение данного эпизода в «Записках» И. Головина, опубликованных в Лейпциге в 1859 году.

Стр. 332—333. *...воззвание к русским солдатам в Польше от имени «Русской вольной общины в Лондоне».*— Герцен подразумевает свою прокламацию «Вольная русская община в Лондоне русскому воинству в Польше». Прокламация датирована «25 марта 1854 г. День благовещения».

Стр. 333. *«Я прочел... содержание оного вкратце».*— Данное письмо Головина Герцен опубликовал отдельным листком, над текстом которого напечатано: «По желанию г. Головина я печатаю немедленно письмо его, полученное мною 26 марта. 27 марта 1854 г. А. Герцен». Внизу под текстом: «Лондон, Вольная русская книгопечатня, 38, Regent Square».

...не смешивали с пресловутым Ivan Golovine.— Знакомство Герцена с Головиным состоялось в Париже в 1848 году и продолжалось до 1853 года. С самого начала для Герцена была очевидна вся глубина идейных расхождений между ними. Однако русская эмиграция в то время была малочисленна, и в этих условиях Герцен был вынужден пойти на некоторое сближение с Головиным, видя в нем временного союзника в деле разоблачения николаевского деспотизма. В 1853 году в связи с созданием Вольной русской типографии Герцен рвет с Головиным и политически отмежевывается от его деятельности, все более приобретавшей авантюристический характер.

Стр. 334. *...погребального приглашения, разосланного 2 мая 1852 года.*— Извещение о похоронах жены Герцена — Натальи Александровны.

«Morning Advertiser»... поместил глупейшую статью.— Герцен имеет в виду письмо, опубликованное в газете «The Morning Advertiser» 24 апреля 1854 года за подписью «Democrat». Автор статьи подверг резкой критике Герцена за его статью «Старый мир и Россия», рассматривая ее как апологию панславизма и агрессии русского царизма.

Стр. 336. *О самом Савиче... поговорим еще когда-нибудь.*— Об И. И. Савиче Герцен говорит в главе «Апогей и перигей».

Стр. 337. *Подробности и схода и марксовских интриг против моего избрания я рассказал в другом месте*— в главе «Немцы в эмиграции».

...я встретил одного чартиста — Джемса Финлейна, участника чартистского движения и кассира Международного комитета, организовавшего митинг 27 февраля 1855 года в Лондоне.

...письмо Головина в «Morning Advertiser'e»... — В газете «The Morning Advertiser» от 18 февраля 1855 года было опубликовано клеветническое письмо Головина, демагогически оспаривавшего право Герцена представлять рево-

люционную Россию на международном демократическом митинге. В своих «Записках» Головин позже признал свою неправоту в этом поступке.

Стр. 338. *Джонс на другой день напечатал несколько строк в своем «The People» и послал письмо в «Daily News».*— Заметка Э. Джонса «Александр Герцен — русский изгнанник» напечатана в газете «The People Paper» 17 февраля 1855 года. Письмо Международного комитета «Г. Герцен. Издателю «The Daily News» было опубликовано в газете «The Daily News» 20 февраля.

Стр. 340. *Г-н Герцен уже отвечал.*— Имеется в виду следующее письмо Герцена, опубликованное в газете «The Morning Advertiser» 15 февраля 1855 года под названием «Ответ г. Головину. Издателю «The Morning Advertiser»:

«М. г.

Вы поместили в вашей газете письмо, в котором автор, воспользовавшись моей немецкой фамилией, отрицает мое русское происхождение. Незаконный сын Ивана Яковлева, я ношу не фамилию моего отца, а ту фамилию, которую он счел нужным мне дать. Я родился в Москве, учился в университете этого города и всю свою жизнь, вплоть до 1847 года, провел в России. Русский по рождению, русский по воспитанию и, позвольте прибавить, вопреки или скорее благодаря теперешнему положению дел, русский всем своим сердцем, я считаю своим долгом требовать в Европе признания моего русского происхождения, что никогда не ставилось даже под сомнение в России ни со стороны признававшей меня революционной партии, ни со стороны царя, преследовавшего меня. Что же касается того, что Международный комитет избрал меня представителем русской революционной партии, то полагаю, что Комитет сам намерен нести за это ответственность.

Остаюсь, м. г., искренне преданный вам

Александр Герцен.

Твикенхэм, Ричмонд Хауз, 14 февраля 1855 г.»

...статью, напечатанную... в «Athenaeum».— Имеется в виду напечатанная 6 января 1855 года в английском еженедельнике «The Athenaeum» статья, дававшая положительную оценку опубликованной части «Былого и дум» Герцена — «Тюрьма и ссылка». В статье отмечалось, что произведение Герцена «самое интересное из всех существующих сочинений о России».

Стр. 342. *У меня Стрела готова!* — По-видимому, Головин имел в виду два номера своего журнала «Стрела», вышедших позже, в декабре 1858 и январе 1859 года.

...благие дела советует.— В 1855 году Головин вступил в переписку с представителями царского правительства по поводу своего возвращения в Россию и в августе 1856 года добился разрешения на въезд, но остался за границей. Вместе с тем он не раз предлагал царскому правительству свои литературные и осведомительско-шпионские услуги для борьбы против революционного движения и, в частности, против революционной деятельности Герцена.

И. Белявская, А. Сабуров,
И. Твердохлебов, М. Хейфец

Стр. 346. *Лет десять тому назад...*— Рассказанная Герценом встреча произошла осенью 1858 года.

Стр. 349. *...единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью.*— Имеется в виду серия рисунков Г. Гольбейна «Образы смерти».

Стр. 354. *...«Памятной книжки».*— В ежегоднике «Памятная книжка» помещался список высших военных и гражданских чинов Российской империи.

Стр. 358. *...немецкие письма того немецкого периода, на первой странице которого Беттина-дитя, а на последней Рахель-еврейка.*— Беттина фон Арним — автор известной в свое время книги «Goetes Briefwechsel mit einem Kinde» («Переписка Гете с ребенком»); Рахель фон Энзе Варнгаген — автор «Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang und Briefwechsel» («Портретная галерея знакомых Рахели и ее переписка»). Гейне был частым посетителем литературного салона Рахели, которая взяла молодого поэта под свою защиту.

«Der Pan ist gestorben!» — Неточная цитата из второй книги «Ludvig Börne» Гейне.

Стр. 359. *...за год до войны* — войны между Пруссией и Австрией в 1866 году.

Стр. 361. *...у Полицей-брюке.*— Около Полицейского моста в Петербурге прежде находился полицейский участок; неподалеку (на Гороховой улице, у Красного моста) помещалось III Отделение.

Стр. 362. *Старик Брум... защитник несчастной королевы Каролины.*— Г. Брум был известен своей защитительной речью на процессе английской королевы в 1820 году, которая обвинялась в измене супругу, Георгу IV, добивавшемуся ее отречения. Каролина была оправдана.

Стр. 364. *...«времен наваринских и покорения Алжира».*— Герцен перефразирует слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действ. II, явл. 5). Под Наварином в 1827 году англо-русско-французский флот одержал победу над египетско-турецким; с 1830 года Алжир стал французской колонией.

...напудренных дебардеров.— Дебардер — здесь: карнавальный персонаж, одетый в костюм грузчика.

Стр. 365. *...в ...ложах Ковентгардена.*— Ковент-Гарден — один из известнейших и старейших оперных театров Лондона.

...похищение Прозерпины.— По античной мифологии, Прозерпина была похищена богом подземного мира Гадесом.

Стр. 368. *... Café Riche* — одно из самых модных кафе на Итальянском бульваре в Париже.

...влюбиться в «Мадонну Андреа Del Sarto».— Из мадонн, созданных кистью Андреа Анджели ди Франческо, шедевром художника считается Madonna del Sarto, которую, вероятно, имеет здесь в виду Герцен.

...ходить в Мадлену.— Одна из аристократических церквей Парижа, незадолго до того законченная и известная богатством своего внутреннего убранства и архитектуры.

...«Лацерта» гетевских элегий... — Гете в ряде стихотворений цикла «Эпиграммы. Венеция, 1790» называет «лацертами» (от лат. lazerta — ящерица) молодых венецианок легкого нрава.

Стр. 369. *...перешел в собаку.*— От франц. вульг. avoir du chien; женщина-собака — женщина, привлекающая мужчину всем своим поведением, рассчитанным взглядом, походкой и т. д.

Стр. 370. *...звуки «Mourir pour la patrie»...*—песня Руже де Лилля, получившая широкое распространение в среде парижского мещанства во время февральской революции 1848 года и прозванная тогда «второй Марсельезой».

«Un sous-lieutenant accablé de besogne...» — Кафешантанная песенка, популярная в конце 50-х годов XIX века, так же как и упомянутая ниже песня «Partout pour la Syrie».

«Qu'aime donc Margot... Margot»... — Не совсем точная цитата из получившей известность в то время песенки из пьесы Т. Барьера и Л. Тибу «Les filles de marbre» («Мраморные девы»). Правильное имя героини пьесы — Марко (Marco).

...ни «Je suis la femme à barrrbe», ни «Сапера».—Песенки, которые стали в то время особенно любимыми в Париже благодаря исполнению певицы Эммы Валадон, известной под псевдонимом Терезы, выступавшей в самых модных кафешантанах.

...как я сказал еще десять лет тому назад, Марго, la fille de marbre, вытеснила Лизетту Беранже.— Герцен ссылается на написанный им в 1856 году очерк «Оба лучше», где затрагивается та же тема — о нравственной деградации буржуазного общества и упоминается та же героиня пьесы «Мраморные девы» — Марко. Лизетта-гризетка — героиня известной песни Беранже «Неверность Лизетты».

Дежазе — на большой сцене света и на маленькой théâtre des Variétés. Живая песня Беранже, притча Вольтера, молодая в сорок лет.— Дежазе с 1845 года выступала в парижском театре Варьете, где она наибольший успех имела в 1858 году, исполняя песни Беранже. В конце 60-х годов, когда Герцен писал эти строки, Дежазе, которой было уже около семидесяти лет, продолжала играть, выступая, в частности, в пьесе «Вольтер на отдыхе».

Стр. 371. *Pieuvre Гюго.*— В 1866 году, после выхода в свет «Тружеников моря» Виктора Гюго, где имеется яркое описание спрута (франц. pieuvre — женского рода), некоторые газетчики стали сравнивать со спрутом красивых женщин легкого поведения, появились рисунки, изображающие спрута в виде очаровательницы, стали модными платья, шляпки и т. п. *à* la pieuvre (под спрута), и вскоре слово pieuvre приобрело во французском языке новое значение: женщина легкого поведения, «высасывающая» все состояние своего поклонника.

...Кассандриной песни.— По древнегреческой мифологии, Кассандра обладала даром прорицания.

Стр. 372. *...Петр I, работающий молотом и долотом в Саардаме.*— Имеется в виду пребывание Петра I на голландских верфях в Амстердаме и Саардаме в 1697 году.

...можно быть Мессалиной и Екатериной.— Герцен сравнивает распущенность и развращенность части женщин из русского великосветского общества с нравами и поведением Мессалины, казненной по приказу ее мужа, римского императора Клавдия, за распутство, и Екатерины II, имевшей многочисленных фаворитов.

Стр. 373. *...свои Маренго и Арколи.*— Имеются в виду победы наполеоновских войск над австрийцами в Северной Италии у деревни Маренго 14 июня 1800 года и при Арколе 15—17 ноября 1796 года.

Maison d'or — фешенебельный ресторан на Итальянском бульваре в Париже.

...тургеневским нахлебником...— Кузовкин, персонаж комедии И. С. Тургенева «Нахлебник», бедный дворянин, приживальщик в доме богатого помещика Корина.

«Домострой» плохо идет с Ж. Санд.— Герцен сравнивает житейские правила, выраженные в памятнике русской литературы XVI века «Домострое» и утверждавшие бесправное положение женщины в патриархальной семье, с идеями равноправия женщины и освобождения ее от семейного гнета, проповедовавшимися Ж. Санд в ее литературных произведениях.

Стр. 374. *...ни с оружии с «иголкой».*— Герцен упоминает здесь об игольчатых ружьях (см. прим. к стр. 378) для того, чтобы образно подчеркнуть вооруженность русской революционной молодежи передовыми идеями.

Sans crinolines, идущие на замену sans-culotte'ам.— Герцен проводит аналогию между молодыми женщинами-студентками, отказавшимися от ношения кринолинов, и санкюлотами, активными участниками французской революции, заменившими дворянскую одежду — короткие брюки (кюлоты) с чулками — длинными панталонами, которые носили тогда трудящиеся.

Стр. 375. *Камелии наши — жиронда, оттого они так и смахивают на Фобласа.*— Луве де Кувре, автор романа «Жизнь и любовные похождения кавалера де Фобласа», во время революции сначала стал якобинцем, а потом примкнул к жирондистам и сделался одним из наиболее ярых поборников их взглядов.

«Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution».— Узнав о взятии Бастилии восставшим народом (14 июля 1789 г.), французский король Людовик XVI воскликнул: «Да ведь это настоящий бунт!» Один из придворных, герцог де Лианкур, возразил: «Это не бунт, это революция».

Афродита с своим голым оруженосцем надулась и ушла; на ее место Паллада с копьем и совой...— Богиня любви Афродита изображалась в сопровождении ее сына Эрота, несущего лук со стрелами. Девственная Паллада, мудрая

богиня-воительница, изображалась часто в шлеме со щитом и копьем, а также с совой — одной из ее эмблем.

Стр. 376. *Каракозов выстрелил...*— Студент Московского университета Д. В. Каракозов неудачно покушался на Александра II 4 апреля 1866 года.

...изгнать студентов женского пола из университетов.— Запрещение женщинам посещать университет было введено еще в 1864 году. Здесь Герцен имеет, очевидно, в виду «Правила о надзоре за студентами», утвержденные в мае 1867 года и вводившие систему полицейской слежки в высшей школе.

...во время оно, в лжекафолической церкве, на папеж избрана была папиха Анна.— По средневековому преданию, возникшему в связи с исключительной развращенностью папского двора того времени, на папский престол в середине IX века была избрана женщина Иоанна. Это обнаружилось, когда она, пробыв два года в роли римского папы, во время торжественной церковной процессии родила ребенка и тут же умерла.

...в «Кормчей книге»...— См. прим. к стр. 487 т. 1 наст. изд.

...до Елисейских полей — то есть до естественной смерти. В греческой мифологии, Елисейские поля (Элизиум) — место, куда после смерти праведников переселяются их души.

...в Париже тоже нашлись Елисейские поля, да еще с «круглой точкой».— В Париже Елисейские поля — большой проспект для прогулок, на котором имеется площадь под названием «Круглая точка» (Point Rond), где 6 июня 1867 года польский эмигрант Антон Березовский неудачно стрелял в Александра II.

Стр. 377. *Одни уже возвращаются с блестящим дипломом доктора медицины — и слава им!* — Герцен имеет в виду первую русскую женщину-врача Н. П. Суслову, изгнанную вместе с другими студентками-женщинами в 1864 году из Медико-хирургической академии в Петербурге и закончившую в 1867 году Цюрихский университет со степенью доктора медицины. Суслова была близка к революционным кружкам и сотрудничала в 1864 году в «Современнике», а за границей поддерживала сношения с некоторыми русскими революционными эмигрантами и была знакома с Герценом.

Стр. 378. *...на развалинах французского трона явилась «единая и неразделыная» республика и на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет, отравленный Австрией.*— Речь идет о событиях, приведших к падению Венецианской республики. Наполеон Бонапарт, уроженец Корсики, генерал директории, утвердивший свою власть во Франции на развалинах республики, провозглашенной во Франции в сентябре 1792 года после свержения монархии Бурбонов, ликвидировал и Венецианскую республику. Эмблемой Венеции являлась фигура льва, увенчивающая гранитную колонну на площади Пиацетта в Венеции и изображенная на гербе города. Во время итальянской кампании 1796—1797 годов Наполеон захватил и упразднил Венецианскую республику, имевшую за своими плечами трина-

дцативековую историю. По заключенному им от имени французской директории с австрийской империей мирному договору в Кампо-Формио в октябре 1797 года Венеция передавалась Австрии в качестве компенсации за ее уступки Франции на Рейне.

...первый карнавал на воле после семидесятилетнего пленения.— В 1867 году исполнилось семьдесят лет с того времени, как в 1797 году по Кампо-Формийскому миру Венеция утратила свою самостоятельность и была подчинена Австрийской империи, под властью которой находилась, за исключением короткого времени, вплоть до 1866 года. В 1866 году в результате австро-итальянского соглашения после австро-прусской войны Венеция вошла в состав итальянского королевства.

...вроде бисмарковой иголки, чтоб усилить и сделать неотразимее выстрелы.— Герцен имеет в виду игольчатое ружье, изобретенное Дрейзе. Хотя игольчатое ружье было принято на вооружение прусской армии еще в 1841 году, но только при Бисмарке, в середине 60-х годов, оно начало широко применяться. В австро-прусской войне 1866 года игольчатое ружье дало прусской армии военно-технический перевес над австрийской.

Стр. 379. *Мой провожатый...*— Герцен был с графом Хотомским; дама была полька.

Я... поехал встречать Гарибальди.— Гарибальди приехал в Италию с острова Капрера по приглашению венецианцев, а также выполняя просьбу левой оппозиции принять личное участие в избирательной кампании и поддержать кандидатов оппозиции против кандидатов правительства. Кроме того, Гарибальди свой приезд хотел использовать для ускорения подготовки похода на Рим. В своих выступлениях Гарибальди указывал на то, что без освобождения Рима не может быть завершено воссоединение Италии.

Стр. 380. *...принцу Амедею были приказаны его отцом все мелкие неделикатности, вся подленькая пикировка.*— Принц Амедей, сын короля Виктора-Эммануила II, находившийся в Венеции во время пребывания Гарибальди, демонстративно игнорировал его, всячески стремился подорвать его популярность. Демонстрации в честь Гарибальди принц Амедей пытался представить как выражение верноподданнических чувств к Савойской династии, превратить в чествования королевского дома и его лично.

...Гарибальди им подарил две короны двух Сицилий! — См. прим. к стр. 212.

...после лондонского свиданья в 1864.— О встрече с Гарибальди в Лондоне в 1864 году Герцен рассказал в главе «Camicia rossa».

...он ожил в Киоджии, где его ждали лодочники и рыбаки.— Киоджио — город рыбаков и моряков, расположенный на островах в лагунах Адриатического моря южнее Венеции; Гарибальди посетил его 28 февраля 1867 года.

Храбрый генерал Ламармора и неутешный вдовец Рикасоли, со всеми вашими Шиволами, Депретисами, вы уж отложите попеченье разрушить эту связь.— Герцен имеет в виду бесчисленные интриги, которые были пущены в

ход итальянским правительством Риказоли в 1866—1867 годах против Гарибальди с целью подорвать его влияние на народные массы. Генерал Ламармора, которого Герцен иронически называет «храбрым», командовал итальянской армией во время войны с Австрией 1866 года и был одним из главных виновников поражения Италии в этой войне; «неутешным вдовцом» Герцен именует премьер-министра Риказоли, потерявшего в 1852 году жену и вторично не женившегося. Ламармора и Риказоли намеренно ставили армию волонтеров, которой командовал Гарибальди, в тяжелые условия, лишали ее необходимого вооружения, обмундирования и питания, то есть хотели обречь отряды Гарибальди на поражение. Во время избирательной кампании, которую проводил Гарибальди в феврале — марте 1867 года, итальянское правительство чинило ему бесконечные препятствия, инспирировало направленные против Гарибальди провокационные выступления. Но так как все это не приводило к желаемым результатам, то Риказоли обратился с письмом к Гарибальди, в котором в оскорбительном тоне потребовал от Гарибальди возвращения на о. Капрера. В аналогичном духе действовали министр финансов Шиалоя и морской министр Депретис, заменивший после 13 февраля 1867 года (в дни, когда Герцен был в Венеции) Шиалоя на посту министра финансов.

...какую будущность имеет она... Ту ли, которую проповедовал Маццини, ту ли, к которой ведет Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществлял Кавур? — Маццини призывал итальянский народ к созданию единой демократической республики. Гарибальди возглавлял вооруженные силы волонтеров и объединял народ Италии в борьбе за создание единого итальянского государства. Ради единства Италии он поступался республиканскими принципами и шел на компромисс с итальянскими монархистами, содействуя созданию в Италии единого королевства. Кавур, являясь премьер-министром Пьемонта, проводил политику объединения Италии в интересах имущих классов — дворянства и буржуазии, осуществляя это с помощью династических войн и дипломатических маневров.

Стр. 382. *...отправляясь... на свиданье с... императором Цимисхием.*— Великий князь Святослав Игоревич встретился на Дунае с византийским императором Иоанном Цимисхием и заключил с ним в 971 году мирный договор после войны 968—971 годов.

...я упоминал об ответе Томаса Карлейля мне, когда я ему говорил о строгостях парижской цензуры.— Ответ Т. Карлейля на замечание о строгостях наполеоновской цензуры Герцен приводил в своей статье 1855 года «Renaissance» par J. Michelet».

Стр. 383. *Какой же акт возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял «вселенную и город»?* — Капитолий и Квиринал — названия двух из семи римских холмов. В древнем Риме Капитолий являлся центром религиозной и политической жизни, на площади Форум происходили народные собрания и ораторы обращались с речами к народу. На Квиринале в XIV—XVIII веках был сооружен папский дворец. В Ватиканском дворце

имеется специальный балкон, носящий название loggia della benedizione, с которого папа показывался римскому народу.

Стр. 384. *Чего Египет — и тот въехал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником.*— Герцен имеет в виду реформы, осуществленные правителем Египта Мухаммед-Али в первой половине XIX века. Характерной чертой этих реформ являлось сочетание сохраненных крепостнических отношений с введением буржуазных форм правления.

Оно родилось в Кариньянском дворце.— Герцен намекает на царствовавшую в Италии Савойскую династию. Первым королем объединенной Италии стал Виктор-Эммануил II, сын Карла-Альберта, принца Кариньянского, резиденцией которого был Кариньянский дворец в Турине, где 14 марта 1820 года родился будущий король Италии.

Стр. 385. *«Империя — мир» Людвига-Наполеона.*— Лозунг «Империя — это мир» был демагогически выдвинут Луи-Наполеоном Бонапартом в целях завоевания популярности и привлечения на сторону империи большинства населения Франции. Впервые этот лозунг Луи-Наполеон провозгласил 10 октября 1852 года в Бордо во время своей агитационной поездки по Франции накануне провозглашения Второй империи.

...закон, которым закреплял большую часть достояния духовенству, назвал законом «о свободе (или независимости) церкви в свободном государстве».— Внесенный правительством Риказоли на рассмотрение итальянского парламента 17 января 1867 года законопроект предусматривал предоставление духовенству церковных земель за выкуп на льготных условиях в полную и безраздельную собственность. Маскируя подлинные цели законопроекта, правительство наименовало его законом «о свободе церкви и ликвидации церковного имущества».

Явился бельгийский грешник и мытарь, за которого спрятались отцы-иезуиты.— Остро нуждаясь в деньгах, итальянское правительство поспешило, не дожидаясь решения парламента, дать согласие на предложение бельгийского банкира Лагран-Димонсо, являвшегося ставленником римского папы. Согласно заключенному соглашению, банкир должен был в течение четырех лет выплатить итальянскому правительству всю сумму выкупных платежей за церковные земли, которую церковь впоследствии должна была ему вернуть. Эта мошенническая операция обеспечила бы за счет ограбления народа сохранение церковных земель за церковью, сулила большие барыши бельгийскому банкиру и была выгодна правящей верхушке Италии.

Герцог Персиньи находит неумеренное сходство между второй империей и первой республикой нашего времени.— Выйдя в 1863 году в отставку, в своих многочисленных выступлениях Персиньи восхвалял бонапартистский режим как якобы наиболее демократический из всех современных форм правления, наилучшим образом гарантирующий свободу, подобно республиканскому режиму в Соединенных Штатах Америки.

Стр. 385—386. *Собираться для празднования короля и подносить букеты al gran comandatore Ламармора ничего не значит.*— 7 ноября 1866 года в Ве-

нецию прибыл король Италии Виктор-Эммануил II, где ему была устроена торжественная встреча. Муниципалитет Венеции обратился тогда же к генералу Ламармора, находившемуся в отставке, с письмом, в котором от имени венецианцев выражал благодарность за его «заслуги» в деле освобождения Венеции от австрийского ига.

Стр. 386. *Чальдини сказал королю, что на войско рассчитывать трудно.*— Чальдини, начальник штаба итальянской армии, занял этот пост после поражения Италии в битве при Кустоце против австрийцев 24 июня 1866 года.

Стр. 387. *Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть.*— Несколько измененное выражение Прудона: «Ce n'est pas Catilina qui est à vos portes — c'est la mort!» («Это не Катилина у ваших ворот, а смерть!») — Герцен привел в качестве эпиграфа к своей статье «Omnia mea mecum porto», написанной в 1850 году и вошедшей в книгу «С того берега».

Les principes des 1789 — принципы, провозглашенные французской буржуазной революцией 1789 года: «Свобода, Равенство и Братство».

Стр. 388. *...Бисмарк... заказал план Мольтке... забрал спелые немецкие груши и ссыпал смешному Фридриху-Вильгельму в фартух.* — Герцен имеет в виду один из этапов объединения Германии, осуществлявшегося под руководством Бисмарка, а именно австро-прусскую войну 1866 года. В дипломатической подготовке войны Бисмарку важен был нейтралитет Франции, которого он добился, воспользовавшись внутренним кризисом империи, порожденным политикой Наполеона III. План военной кампании 1866 года был разработан начальником генерального штаба прусской армии Мольтке. В результате победы, одержанной Пруссией над Австрией в войне 1866 года, Пруссия получила Шлезвиг, Гольштинию, Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау и Франкфурт. Королем Пруссии был тогда Вильгельм I Фридрих Людвиг, которого Герцен ошибочно называет Фридрихом-Вильгельмом.

Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: «В тебе, Боруссия, нет ничего, что бы я мог назвать царем».— Герцен имеет в виду ответ Кента Лиру в I действии, IV сцене, трагедии Шекспира «Король Лир»: «Я вижу на твоем челе нечто такое, что меня заставляет тебя почитать царем». Боруссия — новолатинское название Пруссии.

Стр. 389. *Англия... почувствовала в глубине своих внутренностей ту же социальную боль... Но потуги посильней... и она втягивает далеко хватающие щупальца свои на домашнюю борьбу.*—В 1860-е годы рабочее движение в Англии значительно активизировалось, чему содействовала деятельность I Интернационала. Английское правительство вынуждено было пойти на расширение избирательных прав населения (реформа 1867 г.) и улучшение рабочего законодательства.

Франция... грозит... Италии, если она дотронется до временных владений вечного отца. — Правительство Наполеона III, стремясь помешать возникновению сильного итальянского государства и желая сохранить свое

влияние в Италии, противодействовало присоединению Рима к итальянскому королевству и поддерживало своими вооруженными силами светскую власть папы в Римской области.

Стр. 390. «*Ah! que j'ai douce... de France!*» — Несколько измененные слова романса Лотрека из романа Шатобриана «Приключения последнего из Абенсерагов».

Я написал в фрибургский Conseil d'Etat.— После того как сенат лишил Герцена всех прав состояния и возможности вернуться в Россию, Герцен в 1851 году принял швейцарское подданство в Фрейбургском кантоне.

Стр. 393. «*Напишите к принцу Наполеону письмо,— сказал Браницкий,— я ему доставлю*».— Браницкий был в большой дружбе с принцем Наполеоном, которого он сопровождал в поездке в Константинополь во время Крымской войны, когда Браницкий пытался организовать польский легион.

Стр. 396. *...одна из любимых фраз доктринерского жаргона времен Тьера и либеральных историков луи-филипповских времен.*— Доктринерами называли защищавшую интересы крупной буржуазии политическую группировку, которая в эпоху Реставрации отвергала абсолютизм, но в то же время была враждебна демократии. Говоря о доктринерском жаргоне времен Тьера, Герцен имеет в виду 20-е годы, когда Тьер в начале своей политической деятельности подвизался на страницах газеты доктринеров «La Constitutionnel». Виднейшими из либеральных историков периода Июльской монархии были О. Тьерри, Ж. Мишле, Э. Кине.

Стр. 396—397. *Лабуле... хвалил Нью-Йорк в пику Парижу, Прево Парадоль — Австрию в пику Франции.*— Лабуле в своей трехтомной «Истории Соединенных Штатов Америки» (1854), в очерках «Соединенные Штаты и Франция» (1862) и в сатирическом романе «Париж и Америка» выступал против режима Второй империи, противопоставляя ему американскую буржуазную демократию. Прево Парадоль выступил в 1866 году на страницах газеты «Courrier de Dimanche» со статьями, в которых он в связи с австро-прусской войной говорил об угрозе европейскому миру со стороны Пруссии, становившейся гегемоном Германии.

Стр. 397. *По делу Мireса делали анонимные намеки.*— Финансовый делец Мирес за мошенничество был осужден в 1861 году на пять лет тюремного заключения, но наказания не отбывал.

Были даже свои недовольные знаменитости вроде статских Ермоловых, как Гизо.— Генерал А. П. Ермолов, подозревавшийся в сочувствии к декабристам, дважды подвергался опале. Гизо, чья широкая деятельность в качестве реакционного политика была прекращена революцией 1848 года, не мог вернуться к ней и позднее, после государственного переворота Луи Бонапарта в 1851 году, так как был противником бонапартистов.

...la grande police, заменившая la grande armée.— Армия Наполеона I была прозвана «великой армией»; соответственно полицию Наполеона III иронически называли «великой полицией».

Бонапартизм... пале-роялький и тюльерийский...— Пале-Рояль являлся резиденцией экс-короля Жерома, объявленного наследником престола; дворец Тюильри — резиденция Наполеона III.

Стр. 398. *...я Париж не узнавал, мне были чужды его перестроенные улицы, недостроенные дворцы.*— При Второй империи были предприняты большие работы по строительству и перепланировке Парижа, имевшие целью также изгнание трудящейся бедноты из центра, затруднение возведения баррикад на улицах в случае народного восстания и облегчение действий войск против восставших.

Стр. 399. *Покушениями Пианори и Орсини мстила Италия.*— Покушение Пианори на жизнь Наполеона III состоялось в 1855 году, покушение Орсини — в 1858.

...законы о подозрительных людях Эспинаса.— Герцен имеет в виду изданный в 1858 году «Закон об общественной безопасности», для проведения которого в жизнь Наполеон III назначил министром внутренних дел генерала Эспинаса, одного из участников государственного переворота, приведшего Наполеона III к власти.

...поэту Ф. Т.— С Ф. И. Тютчевым Герцен встретился в Париже в марте 1865 года и тогда, вероятно, узнал от него о сообщаемой здесь истории.

Стр. 400. *Умственное движение, наука, отодвинутые за Сену...*— Латинский квартал, где находятся Сорбонна, Французская академия, ряд высших учебных заведений и научных учреждений, расположен на левом берегу Сены, тогда как политический и деловой центр Парижа — на правом берегу.

Стр. 401. *«Книга Иова... сочиненная Исаией и переведенная Пьером Леру».* — Повествование об Иове Пьер Леру приписал древнееврейскому пророку Исайе, хотя ни автор этой легенды, ни даже время ее сочинения не установлены.

Стр. 402. *«Петр Рыжий», так называли мы его в сороковых годах, «становится моим Христом»,— писал мне... Белинский.*— Письмо В. Г. Белинского, из которого Герцен приводит цитату, датируемое предположительно октябрем—ноябрем 1842 года, до нас не дошло. «Рыжий» — буквальный перевод французского Leroux (Леру).

...этот-то учитель... после пятнадцатилетнего удаления в Жерсее является с «Grève de Samarez» и с книгой Иова.— Пьер Леру прожил в изгнании на острове Джерси и на острове Гернси с 1841 по 1859 год. «La grève de Samarez» — социально-философское сочинение Леру с мистическими тенденциями, вышедшее в свет в Париже в 1863 году.

Ньютон имел свою книгу Иова, Огюст Конт — свое помешательство.— Герцен имеет в виду проникнутые религиозным мистицизмом комментарии Ньютона к «Апокалипсису» и уход Конта в мистику в последний период его жизни, когда он стал выступать с идеями культа земли, девственного материнства и т. п.

Стр. 403. *...дело идет о путешествиях душ по планетам.*— Пьер Леру развивал учение о метемпсихозе (переселении душ).

...бражничает на всемирном толкуне, повержен в прахе старик-поэт. Он приветствует Париж... уверяет его, что базар на Champ de Mars — почин братства народов и примирения вселенной.— Всемирным толкуном Герцен называет всемирную выставку 1867 года в Париже, расположенную на Марсовом поле, а под стариком поэтом разумеет Виктора Гюго, написавшего очерк «Париж» в качестве введения к альманаху-путеводителю, изданному к открытию выставки.

...сбивает на апотеозу божественного Нерона и божественного Калигулы или Каракаллы... Сенеки и Ульпианы были в силе и власти...— Сенека занимал высокие должности при требовавших себе божеских почестей императорах-самодурах Калигуле и Нероне, которых он поддерживал, так же как Ульпиан — при императоре Каракалле.

Стр. 404. «*В XX столетии будет чрезвычайная страна...*» — Приведенные выдержки составлены Герценом из различных мест очерка Гюго «Париж».

La Roquette — одиночная тюрьма для пересыльных и приговоренных к смерти, построенная в 1830 году.

1866 год был годом столкновения народов.— Имеются в виду австро-прусская война, предъявление Францией Пруссии требования уступить ей Майнц и часть левого берега Рейна и война Италии против Австрии за Венецию.

Стр. 405. *...какой-то простодушный корреспондент писал следующее.*— Кем написаны и где напечатаны приводимые здесь Герценом строки, установить не удалось.

Стр. 406. *Даниилы.*— Этим названием очерка Герцен сравнивал обличителей Второй империи с библейским пророком Даниилом.

«*А ты молчи, ты слишком беден, чтоб тебе иметь речь*».— См. прим. к стр. 686 т. 1 наст. изд.

...фемические судьи...— См. прим. к стр. 771 т. 1 наст. изд.

...«ничтожное облако, мешающее величественному рассвету» — выражение, употребленное Наполеоном III в речи, произнесенной в Лилле 27 августа 1867 года, в которой он говорил о внешнеполитических неудачах Второй империи.

«*В худшие времена древнего цезаризма*»,— *говорил Эдгар Кине на конгрессе в Женеве.*— Речь, из которой Герцен приводит выдержки, была произнесена Кине 9 сентября 1867 года на конгрессе Лиги мира и свободы в Женеве.

Стр. 407. *Месяца два перед тем... изгнанный прежнего времени писал следующие строки.*— Герцен имеет в виду изгнанного Наполеоном III видного французского мелкобуржуазного республиканца Марка Дюфресса и далее приводит несколько мест из его «Страниц археологии» — введения к написанной им в Цюрихе в 1864 году и изданной в Париже в 1867 году книге «Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815» («История права войны и мира с 1789 по 1815 г.»).

Стр. 408. *Жирондист Мерсье...говорил во время паденья первой империи... чтоб увидеть, чем это кончится...*— Замечание о Мерсье приведено Герценом по рассказу Дюфресса. Мерсье на протяжении всего царствования Наполеона I

высказывал свое возмущение его политикой, несмотря на угрозы тюремного заключения, и не раз выражал горячее желание увидеть конец наполеоновского деспотизма. Это желание сбылось. Мерсье умер в 1814 году, дожив до падения Наполеона.

Стр. 409. *...странная книга Ренана о «современных вопросах»*.— В письме к М. Мейзенбуг от 13 апреля 1860 года Герцен очень резко отозвался о вышедшей в свет в 1858 году книге Ренана «Les questions contemporaines», охарактеризовав при этом ее автора как «скучного доктринера, ни свободного, ни раба».

...как Робеспьер декретировал l'Etre suprême.— Культ «Верховного существа» был введен во Франции декретом Конвента от 18 флореаля II года Республики (7 мая 1794 г.).

Стр. 410. *...о речи Жюль Фавра в академии...*— Речь Ж. Фавра по случаю избрания его во Французскую академию была произнесена им 23 апреля 1868 года; посвященная философу-эклектику Кузену, она, по сути, была направлена против материализма и социализма.

Стр. 411. *Мы говорим о Латинском квартале, об этой Авентинской горе, на которую отступили учащиеся и их учители.*— На Авентинскую гору в Древнем Риме в V веке до н. э. удалились плебеи, боровшиеся против патрициев (см. прим. к стр. 400 о Латинском квартале).

Для того чтоб разум мог понравиться, Анахарсис Клоц должен был одеть его в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага.— По решению Парижской коммуны от 20 брюмера II года Республики (10 ноября 1793 г.) в Соборе Парижской богоматери было организовано народное празднество в честь Разума. Одним из инициаторов этого празднества был Анахарсис Клоотс. На проведенном торжестве «богиню Разума» изображала артистка оперы Тереза Обри в одеянии трех цветов национального знамени: белое платье, голубой плащ и красный колпак.

...чертозы или камалдулы — названия итальянских монастырей орденов картезианцев и камальдулян.

Стр. 412. *«После набега»*.— Этот очерк написан Герценом в связи с выступлением в конце октября 1867 года войск Наполеона III против отрядов Гарибальди, за месяц до того вторгшихся на папскую территорию с целью освободить Рим от власти папы и включить его в состав объединенной Италии.

«Святой отец — теперь ваше дело!»— Неточная цитата из заключительной сцены «Дон Карлоса» Шиллера.

Мне жаль этого Мазепу, которого отвязали от хвоста одной империи, чтоб привязать к хвосту другой.— Герцен имеет в виду Италию, освободившуюся от австрийского ига, но подпавшую под влияние политики Наполеона III. Писатель использует здесь образ Мазепы из одноименной поэмы Байрона и из стихотворения Гюго «Мазепа» (из книги «Восточные мотивы»).

Стр. 413. *Во время первого ареста Гарибальди я был в Париже.*— Когда Гарибальди в сентябре 1867 года приблизился со своими отрядами к границе папских владений, итальянское правительство по требованию Наполеона III

приказало насильно отвезти его на о. Капреру, где за ним был установлен строжайший надзор.

На железной дороге один известный французский ученый, прощаясь со мной...—Случай, о котором говорится здесь, произошел при отъезде Герцена из Парижа 26 сентября 1867 года. Имя французского ученого, его провожавшего, не установлено.

...флот, отправлявшийся из Тулона в Чивиту.—По приказу Наполеона III французские войска, сосредоточенные за несколько недель перед тем в Тулоне, были погружены на корабли, прибыли в итальянский порт Чивита-Веккия и 30 октября вступили в Рим.

Стр. 414. *И на этом крепком слове... подали руку ее злейшие враги...*— В Законодательном корпусе, где 5 декабря 1867 года обсуждались итальянские дела, Беррье и Тьер выступили против движения за объединение Италии и требовали от Наполеона III, чтобы он не выводил французских войск из Рима.

Я считаю слово Руэра историческим откровением.— Французский министр внутренних дел Э. Руэр, отвечая на требование демократической оппозиции в Законодательном корпусе очистить Рим от французских войск, выступил 5 декабря 1867 года со следующими словами: «Италия жаждет иметь Рим, который она считает непременным условием объединения. Ну, так мы от имени французского правительства заявляем, что Италия не завладеет Римом. Никогда Франция не допустит этого посягательства на свою честь и на католичество».

...подслащенной демократии, которую вам подносил кондитер Ламартин.— Герцен называет фактического главу правительства Второй республики «кондитером» за слащавые речи, при помощи которых Ламартин усыплял бдительность народных масс, обуздывал их революционный порыв и содействовал утверждению буржуазной республики. Двойственный и, по сути, контрреволюционный характер политической деятельности этого «Манилова французской революции» был разоблачен Герценом в его «Письмах из Франции и Италии».

...фениане с бочкой пороха и зажженным фитилем — члены Ирландского республиканского братства, боровшиеся за освобождение родины от английского ига и действовавшие заговорщическими и террористическими методами, пренебрегая социальными требованиями трудящихся Ирландии и организацией их массового движения. Их восстание в 1867 году окончилось неудачей.

И. Зильберфарб, И. Твердохлебов, М. Хейфец, З. Цыпкина

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Это «Дополнение к «Былому и думам» было напечатано Герценом в «Полярной звезде» на 1859 год, кн. V. Ряд писем был опубликован Герценом с отступлением от подлинников.

Стр. 416. *...три полицейских нашествия: одно в Москве и два в Париже.*— О полицейском обыске в Москве в июле 1834 года Герцен рассказывает в гл. IX;

об обыске в Париже в июне 1848 года — в гл. «Западные арабески. Тетрадь первая»; об обыске в июне 1849 года — в гл. XXXVI.

...таким ли был я, расцветая? — Не вполне точная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина («Путешествие Евгения Онегина»).

ПИСЬМО Н. А. ПОЛЕВОГО

Стр. 417. *Братец ваш...*— Е. И. Герцен.

...вы принялись за географию, за статистику.— В 1835 году Герцен, находившийся в ссылке в Вятке, был привлечен к работам губернского статистического комитета и писал «Монографию Вятской губернии», из которой известны отрывки: «Вотяки и черемисы», «Русские крестьяне Вятской губернии».

Стр. 418. *Я ему отвечал... а потом браниться.*— В письме к Н. А. Полевому от 2 сентября 1836 года, в котором Герцен объясняет недоразумение с публикацией статьи «Гофман» в журнале «Телескоп», 1836, № 10, этой фразы нет. Из письма видно, что Герцен предварительно писал брату, Е. И. Герцену, поручая ему объяснение с Полевым, и получил от брата известие о результатах разговора.

...это было время «Параши Сибирячки»...— Пьеса Н. А. Полевого «Параша Сибирячка», написанная в духе официальной народности, была поставлена на сцене Александринского театра 17 января 1840 года и получила одобрение в придворно-бюрократических кругах. К этому времени уже отчетливо определился переход Полевого на реакционно-охранительные позиции.

ИЗ ПИСЕМ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Из переписки Герцена с В. Г. Белинским сохранилось только два письма Герцена и десять писем Белинского. Герцен почти вдвое сократил текст публикуемых писем Белинского. Полный текст см. в издании: В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XII, М. 1956.

Стр. 418. *...«Об изучении природы».*— Белинскому в это время могли быть известны «Письма об изучении природы» с первого по шестое, напечатанные в №№ 4, 7, 8 и 11 «Отечественных записок» за 1845 год.

...«О пристрастии».— Речь идет о первой редакции четвертой главы очерка Герцена «Новые вариации на старые темы» из серии «Капризы и раздумье».

...о твоей превосходной повести.— «Кто виноват?», часть первая.

...о Копернике, Ярополке Водянском.— Речь идет о фельетонах Герцена «Москвитянин» о Копернике» и «Москвитянин» и вселенная», подписанных псевдонимом «Ярополк Водянский».

Стр. 419. *К пасхе я издаю толстый огромный альманах.*— Белинский задумал издание альманаха «Левиафан», чтобы создать себе материальную базу для ухода из «Отечественных записок». Все друзья и знакомые критика

охотно пошли ему навстречу, понимая, как важно было помочь Белинскому освободиться от эксплуатации Краевского. Однако альманах в свет не вышел, и в конце 1846 года Белинский уступил все собранные произведения вновь организованному журналу Н. А. Некрасова и И. И. Панаева «Современник».

Достоевский даст повесть... у Майкова выпросить поэму.— Достоевский обещал для альманаха Белинскому задуманную им повесть «Сбритые бакенбарды»; Тургенев дал, видимо, рассказ «Петр Петрович Каратаев», А. Н. Майков — поэму «Барышня», И. И. Панаев — повесть «Родственники»; произведение Некрасова «Семейство» неизвестно; есть предположение, что это — «Секрет» («В счастливой Москве, на Неглинной...»).

...обращаюсь к тебе: повесть или жизнь! — Герцен написал для альманаха Белинского повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов».

Если бы он дал мне статью...— К. Д. Кавелин прислал статью «Взгляд на юридический быт древней Руси»: см. о ней далее в письмах IV и V.

Сам я хочу что-нибудь написать о современном значении поэзии.— Белинский не выполнил своего замысла, но возможно, что задуманные им положения вошли в обзор «Взгляд на русскую литературу 1846 года», напечатанный в первой книжке «Современника» 1847 года.

Стр. 420. *...с Кудрявцевым... и от этого получу повесть.*— Кудрявцев прислал из Берлина Белинскому повесть «Без рассвета».

Анненков тоже пришлет что-нибудь вроде путевых заметок.— С начала 1847 года П. В. Анненков регулярно посылал в «Современник» свои «Парижские письма».

...первую часть моей истории русской литературы.—В конце 1840 — начале 1841 года Белинским была задумана «Критическая история русской литературы». Он написал несколько глав, входящих в его собрание сочинений как отдельные статьи («Идея искусства», «Разделение поэзии на роды и виды», «Общее значение слова литература» и «Общий взгляд на народную поэзию и ее значение»). По свидетельству Н. Х. Кетчера, критик работал над этой книгой до конца жизни.

...ты не замедлил ответом.— Письмо Герцена не сохранилось.

...новую повесть — вероятно, «Сорока-воровка».

...продолжать и доканчивать старую.— Подразумевается роман Герцена «Кто виноват?».

Пасчет писем Боткина об Испании.— Первая серия «Писем об Испании» В. П. Боткина появилась в «Современнике», 1847, № 3.

Полгода, даже четыре месяца за границею... ни в чем не бывало.— Надежды Белинского на лечение за границей в 1846 году не сбылись. После поездки в Зальцбрунн летом 1847 года болезнь усилилась, и 26 мая 1848 года Белинский умер.

Стр. 421. *...А — вор, Б — дурак, а С — плут.*— В автографе написано: «Погодин — вор, Шевырко — дурак, а Аксаков — шут».

...как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира».— По

преданию, Г. А. Потемкин сказал Д. И. Фонвизину после первого представления «Недоросля»: «Умри, Денис! Лучше не напишешь!»

...Грановский мог бы прислать из лекций.— Т. Н. Грановский в учебный 1845/46 год читал вторично в Московском университете курс лекций по средней истории. Для альманаха Белинского Грановский не прислал ничего.

Статье Соловьева...— Статья С. М. Соловьева «Даниил Романович, король Галицкий».

Стр. 422. *«В дороге» Некрасова превосходно.*— Стихотворение Некрасова «В дороге», напечатанное в изданном им в 1846 году «Петербургском сборнике». В статье «Петербургский сборник» Белинский также выделил «В дороге» из всех других стихотворений Некрасова, напечатанных там.

...записок медика.— Повесть Герцена «Доктор Крупов».

...статья «О парижских увеселениях».— Очерки И. И. Панаева «Парижские увеселения», как и упоминаемая выше повесть Достоевского «Бедные люди», вошли в «Петербургский сборник» Некрасова.

...те же имена, кроме твоего и М. С.— М. С. Щепкин дал для альманаха Белинского воспоминания о своем детстве — «Из записок артиста».

Стр. 423. *...статью Мельгунова.*— Статья Н. А. Мельгунова «Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель. Из воспоминаний обыкновенного человека».

...и все то благо, все добро... — Из стихотворения Г. Р. Державина «Утро».

Я был в восторге от его взгляда на Грозного... не было знания для оправдания моего взгляда. — В статье К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней Руси» Иван IV был представлен борцом против родового дворянства и защитником людей незнатного происхождения.

Стр. 424. *...Николай Платонович, наконец-то твое возвращение уже не миф.*— Н. П. Огарев приехал из-за границы в начале марта 1846 года.

Вчера написал было я к тебе письмо... получил твое, которого так долго ожидал.— Ни начатое письмо Белинского, ни письмо Герцена не сохранились.

Стр. 425. *...интермедию к «Кто виноват?».*— Белинский имеет в виду отрывок из повести «Кто виноват?» — «Владимир Бельтов», напечатанный в «Отечественных записках», 1846, № 4.

Стр. 426. *...показывала вместо детей Рея Хроносу.*— В древнегреческом мифе рассказывается, что Кроносу было предсказано, что один из его сыновей лишит его престола. Из опасения, что предсказание сбудется, Кронос съедал своих новорожденных детей. Рея спасла Зевса, подсунув Кроносу камень, завернутый в пеленку.

...письмо твое.— Это письмо Герцена не сохранилось.

Насчет первого пункта...— Речь идет, несомненно, о материальной помощи, которую Герцен оказал Белинскому для его поездки на юг в 1846 году.

Мои путевые впечатления...— Замысел написать о своей южной поездке с М. С. Щепкиным Белинский не осуществил.

Стр. 427. *«Московский сборник».*— «Московский литературный и ученый сборник»; вышел весной 1846 года.

Статья Самарина...— Статья Ю. Ф. Самарина «Тарантас. Путевые впечатления», помещенная в «Московском сборнике» за подписью М... З... К...

...зацепляет меня в лице «Отечественных записок».— В начале статьи Самарин, делая обзор критических выступлений, посвященных книге В. А. Соллогуба «Тарантас», полемизировал со статьей Белинского, напечатанной без подписи в «Отечественных записках», 1845, № 6.

Зато Хомяков... узнает он мои крючки!— В статье «Мнение русских о иностранцах», напечатанной в «Московском сборнике», А. С. Хомяков возражал против оценки, которую дал Белинский «Борису Годунову» в десятой статье «Сочинения Александра Пушкина» («Отечественные записки», 1845, № 11), и его оценки русского фольклора. Имени Белинского он не называл. Во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» Белинский упомянул о содержательности статьи Самарина, но специального разбора «Московского сборника» не написал.

...ругательства Сенковского — недоброжелательная рецензия О. И. Сенковского на брошюру Белинского «Николай Алексеевич Полевой» (СПб. 1846), напечатанная в «Библиотеке для чтения», 1846, № 6, без подписи.

В Калуге столкнулся я с И. Аксаковым.— В Калуге Белинский был с М. С. Щепкиным с 18 по 30 мая; с И. С. Аксаковым он встречался в доме А. О. и Н. М. Смирновых.

Стр. 428. *...для проходящих.*— Из басни И. И. Дмитриева «Прохожий».

Марии Федоровне — сестре Е. Ф. Корша.

Стр. 429. *...о Букиньоне* — водевиле Ж. Баяра и Ф. Дюмануара «Bouquillon à la recherche d'un père».

ИЗ ПИСЕМ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

Полный текст публикуемых писем Т. Н. Грановского см. в изданиях: сб. «Звенья», кн. VI, и «Литературное наследство», т. 62.

Стр. 429. *Москва, 1847.*— Более точная дата — начало сентября 1847 года.

Стр. 430. *...письме к Татьяне Алексеевне.* — Это письмо Герцена к Т. А. Астраковой неизвестно.

К чему же повторять... в апатии и пр.? — В письме Огареву из Парижа от 3 августа 1847 года Герцен высказывал недовольство молчанием московских друзей и упрекал их в «холодном невнимании» к нему.

Стр. 431. *...писем из Avenue Marigny.*— «Письма из Avenue Marigny» Герцена были напечатаны в «Современнике» на 1847 год, №№ 10, 11.

Москва, 1849.— Более точная дата — июнь 1849.

Х.— В подлиннике письма: Кошелев.

Стр. 432. *...1849.*— Более точная дата — июль 1849 года.

...письмо к Егору Ивановичу.— Письмо Герцена к брату неизвестно.

Галахов писал тебе много перед смертью.— О предсмертном письме И. П. Галахова Герцен упоминает также в письме к Грановскому от 2—5 августа 1849 года, а также в гл. XXIX.

Стр. 433. *Весною 1851.* — Более точная дата — май—июнь 1851 года.

Книги твои дошли до нас.— В 1850 году впервые вышли на немецком языке книги Герцена «С того берега» и «Письма из Италии и Франции».

Стр. 434. *1854 года.*— Более точная дата — конец мая — начало июня 1855 года. На подлиннике надпись Герцена: «Последнее письмо Грановского».

Зачем ты бросил камень в Петра...— Грановский ошибся: о Петре I Герцен писал не в брошюре «Юрьев день!», а в вышедшей в том же 1853 году брошюре «Крещеная собственность».

«Тюрьма и ссылка».— Песенку «Русский император в вечность отошел...», приписывавшуюся В. И. Соколовскому, Герцен приводит в XII главе «Былого и дум», впервые опубликованной в книге «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера», Лондон, 1854.

ПИСЬМО П. Я. ЧААДАЕВА

По словам Герцена, это письмо было единственным, которое П. Я. Чаадаев прислал ему за границу. Письмо Чаадаева являлось, вероятно, откликом на упоминание его имени в работе Герцена «О развитии революционных идей в России».

ИЗ ПИСЕМ П.-Ж. ПРУДОНА

Переписка Герцена с Прудоном, известная до настоящего времени в печати и дошедшая до нас не в полном виде, относится к 1849—1861 годам и включает восемь писем Герцена и одиннадцать писем Прудона (см. «Литературное наследство», тт. 15, 39—40, 62).

Первое письмо — отклик на постигшее Герцена в 1851 году несчастье: гибель матери и сына Коли. Второе письмо — ответ на приглашение Герцена сотрудничать в создававшейся тогда «Полярной звезде».

Стр. 436. *St. Pélagie* — парижская тюрьма, в которой Прудон, приговоренный в 1849 году к трехгодичному тюремному заключению за резкие статьи против президента республики Луи Наполеона Бонапарта, отбывал тогда наказание.

Из двух первых писем Прудона... выписана вся общая часть в тексте «Былое и думы» — в главе XLI.

Стр. 437. *Ш. Е.*— Шарль Эдмон — литературный псевдоним Хоецкого.

...торопитесь оплакивать ваши частные горести... к собственным бедствиям своим! — В своем ответе Прудону, написанном уже после бонапартистского переворота, Герцен цитирует эти слова и называет их пророческими.

Стр. 438. *«Русское обозрение»* — альманах «Полярная звезда».

Я не могу теперь написать вам статьи... редакторов «Русской звезды».— Отвечая Прудону в письме от 25—31 июля 1855 года, Герцен снова настой-

чиво напоминал ему о статье для «Полярной звезды», однако статья Прудона в «Полярной звезде» не появилась.

...нет ли у него... тайных корней в самом сердце русского народа? — С рассуждением Прудона о народных корнях русского самодержавия Герцен не мог согласиться. Неприемлемы для него и другие высказывания Прудона о России, содержавшиеся в письме: например, приписывание царю особо прогрессивной роли, преувеличенный взгляд на русскую исключительность, таивший в себе тенденцию оторвать Россию от общеевропейского революционного движения. В ответном письме от 25—31 июля 1855 года Герцен, не вступая в полемику, в кратких тезисах сформулировал свою точку зрения на затронутые Прудоном вопросы. Ответ этот, несмотря на дружеский его тон и выраженные в нем чувства симпатии и уважения к Прудону, свидетельствует о резком с ним расхождении. Это и побудило, очевидно, Герцена ограничиться краткой выдержкой из письма Прудона при его публикации в I кн. «Полярной звезды» на 1855 год.

Стр. 439. *Римскому ли понтифу...*— Подразумевается папа римский.

Стр. 440. *...воспоминания 14 июля, 10 августа, 31 мая, 1830, 1848.*— Даты происходивших в Париже народных восстаний, определивших этапы развития французской буржуазной революции: 14 июля 1789 года — взятие Бастилии, положившее начало революции; 10 августа 1792 года — свержение монархии; 31 мая 1793 года — установление якобинской диктатуры; в 1830 году — июльская революция; в 1848 году — февральская революция.

ПИСЬМО ТОМАСА КАРЛЕЙЛЯ

Письмо Карлейля Герцен напечатал в русском переводе; подлинный английский текст его в печати неизвестен. Ответ Герцена написан по-французски. Перевод, напечатанный Герценом, является свободным авторским переводом.

О знакомстве и встречах с Карлейлем Герцен упоминает в письмах 1852—1853 годов к М. К. Рейхель и Карлу Фогту. В этих письмах и в статье «Еще вариации на старую тему» он вспоминает о своих спорах с Карлейлем о России. В связи с этими спорами и возникло приведенное Герценом письмо. Непосредственным поводом для письма Карлейля послужила присылка ему Герценом текста своей речи, произнесенной 27 февраля 1855 года в С.-Мартинс-Холле в Лондоне на интернациональном митинге в годовщину февральской революции. Карлейлевская проповедь пассивности и застоя вызвала, естественно, резко отрицательное отношение Герцена. Отвечая Карлейлю, Герцен противопоставил реакционной апологии «таланта повиновения» революционный «талант борьбы».

К. Богаевская, И. Твердохлебов, Е. Черняк, Н. Эфрос

ПРИЛОЖЕНИЯ

БРАТЬЯМ НА РУСИ

«Братьям на Руси» — самый ранний из известных нам текстов, связанных с «Былым и думами»,— было написано как вступление к мемуарам. Затем Герцен отказался от своего намерения, и этот текст при его жизни напечатан не был.

Стр. 445. *...если б смерть не переехала мне дорогу.*— Имеется в виду смерть Н. А. Герцен.

Стр. 446. *Мы расстались... 21 января 1847 года.*— Герцен с семьей выехал за границу 19 января 1847 года.

...написал... воспоминания...— Имеется в виду ранняя редакция «Записок одного молодого человека»... — автобиографическая повесть «О себе».

...«il veder dinanzi era tolto»...—Неточная цитата из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь XX).

ПРЕДИСЛОВИЯ К РАННИМ ПУБЛИКАЦИЯМ

К первой части (стр. 447).— Предисловие к первой части «Былого и дум», опубликованной в «Полярной звезде» на 1856 год, кн. II.

Введение к первому изданию «Тюрьмы и ссылки» (стр. 448).— Предисловие ко второй части «Былого и дум», выпущенной отдельной книгой: «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера», Лондон, 1854.

К английскому изданию «Тюрьмы и ссылки» (стр. 448).— Английский текст предисловия был напечатан в издании «My Exile», London, 1855. В наст. изд. печатается только перевод этого предисловия.

Ко второму изданию «Тюрьмы и ссылки» (стр. 450).— Предисловие ко второму изданию книги «Тюрьма и ссылка», Лондон, 1858.

К третьей части (стр. 450). — Предисловие к третьей части «Былого и дум», опубликованной в «Полярной звезде» на 1857 год, кн. III.

К главам четвертой части (стр. 451). — Предисловие к отдельным главам четвертой части, опубликованным в «Полярной звезде» на 1855 год, кн. I.

Стр. 452. *Год тому назад я напечатал по-русски одну часть моих записок... во время начавшейся войны...* — Имеется в виду издание «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера», Лондон, 1854.

«Revue des Deux Mondes»... поместил полкниги в французском переводе.— В журнале «Revue des Deux Mondes» (выпуск 1 сентября 1854 г.) под заголовком «Les années de Prison et d'Exil d'un écrivain russe» был помещен пересказ всей

книги «Тюрьма и ссылка» с приведением обширных отрывков в переводе Делаво.

...«The Athenaeum» дал отрывки по-английски... — в выпуске журнала от 6 января 1855 года (№ 1419).

...на немецком вышла вся книга... — Немецкое издание «Тюрьмы и ссылки» в переводе М. Мейзенбуг — «Aus den Memoiren eines Russen. Im Staatsgefängniß und in Sibirien von Alexander Herzen...», Hamburg, 1855.

...на английском она издается. — Английское издание «Тюрьмы и ссылки» вышло в свет в октябре 1855 года — «My Exile», v. 1—2, London, 1855.

ИЗ ДНЕВНИКА Н. А. ГЕРЦЕН

Дневниковые записи Н. А. Герцен автор «Былого и дум» намеревался напечатать в виде прибавления к главе XXXII.

Стр. 453. *...с Марьей Федоровной* — М. Ф. Корш.

Стр. 457. *Lucrezia Floriani* — героиня одноименного романа Жорж Санд.

И. Жданов ский, И. Твердохлебов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А. А.— т. 1: 193.
Абеляр (Абелард) Пьер (1079—1142), французский философ и богослов — т. 1: 344.
Абенсераги, старинный мавританский род, игравший большую роль в арабских государствах на Пиренейском полуострове в VIII—XV веках — т. 1: 113, *850*.
Абердин (Эбердин) Джордж Гамильтон Гордон, лорд (1784—1860), английский политический деятель, консерватор — т. 2: 363.
Август Гай Октавий (63 до н. э.— 14 н. э.), римский император — т. 1: 65, 535, *887*.
Авдей, кучер — т. 1: 80.
Авигдор Юлий (ум. в 1856), банкир и политический деятель в Ницце — т. 1: 668, 680, *907*.
Агассис Жан Луи Рудольф (1807—1873), швейцарский естествоиспытатель — т. 1: 421.
Агриппина Младшая (16—59), жена римского императора Клавдия — т. 1: 630, *902*.
Адамс, английский публицист — т. 2 : 89.
«Тираноубийство — законно» — т. 2: 89.
Аддисон Джозеф (1672—1719), английский писатель — т. 1: *873*; т. 2: 191, 491.
«Катон» — т. 1: 420, *873*; т. 2: 191, *491*.
Адлерберг Владимир Федорович, граф (1791—1884), министр императорского двора и уделов с 1852 года—т. 2: 239, 376, *499*, *501*.
Азаис Пьер Гиацинт (1766—1845), французский философ — т. 1: 490, *884*.
«Об уравновешении человеческих судеб» — т. 1: 490, *884*.
Адзелио (Адзелио) Массимо (1798—1866), глава правительства и министр иностранных дел Пьемонта в 1849—1852 годах, писатель — т. 1: 680, *906*.
«Барлетский турнир» — т. 1: 680, *906*, *907*.
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист и поэт, славянофил — т. 1: 360; т. 2: 242, 427, *536*.
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), публицист, историк и писатель, славянофил — т. 1: 360, 365, 437, 449, 454, 456, 461, 462, 465, 467—469, 520, *881*.
«Союзникам» — т. 1: 465, *881*.
Аксберг Эмилия Михайловна, гувернантка и подруга Н. А. Захарьиной — т. 1: 277, 278, 299, 329, 331, *862—864*.
Аларих I (ок. 370—410), вестготский король — т. 1: 647.

Алфавитный указатель имен к «Былому и думам» А. И. Герцена составлен: к тому 1 (1—5 частям) — Н. Ф. Рябовой, к тому 2 (6—8 частям)— Н. И. Хуцишвили.

Александр, камердинер в доме Голохвастовых — т. 1: 482.
Александр Македонский (356—323 до н. э.) — т. 1: 478, *864*; т. 2: 201, *506*.
Александр I (1777—1825) — т. 1: 30—32, 34, 60, 61, 65, 69, 80, 86, 95, 117, 127, 170, 179, 205, 209—211, 220, 221, 239—241, 243—245, 247, 260, 269, 358, 385, 388, 393, 397—399, 439, 440, 445—448, *843*, *844*, *847*, *851*, *861*, *869—871*, *878*, *889*; т. 2: 42, 103, 415, *475*.
Александр II (1818—1881) — т. 1: 217, 233, 250—253, 279, 463, 679, 832, *906*; т. 2: 243, 254, 271, 274, 288, 289, 302, 342, 344, 345, 376, 439, *506*, *507*, *511*, *523*.
Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I — т. 1: 65, 102, 125, 400, *872*; т. 2: 455.
Алексей, крепостной повар Л. А. Яковлева — т. 1: 51, 52.
Алексей (1690—1718), царевич, сын Петра I — т. 1: 439.
Аленицын Петр Яковлевич, правитель канцелярии вятского губернатора во время ссылки Герцена — т. 1: 204, 205, 212, 214.
Алибо Луи (1810—1836), казнен за покушение на жизнь Луи-Филиппа — т. 1: 62.
Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.), политический деятель древних Афин. Обвиненный в святотатстве, бежал в Спарту и сражался на стороне спартанцев против своей родины — т. 2: 160.
Аллен Уильям, квакер, совладелец основанной Р. Оуэном фабрики в Нью-Ланарке — т. 2: 185, *490*.
Альба Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1507—1582), испанский полководец и государственный деятель; в 1567—1573 годах — наместник Нидерландов — т. 1: 686.
Альбер Александр (настоящая фамилия Мартен) (1815—1895), участник февральской революции 1848 года во Франции, член временного правительства — т. 2: 161, *468*.
Альберт фон Заксен Кобург, принц (1819—1861), муж английской королевы Виктории — т. 1: 526, 527; т. 2: 453.
Альберт Эдуард, принц Уэльский (Вельский) (1841—1910), старший сын королевы Виктории, английский король Эдуард VII с 1901 года — т. 2: 207, 218, 237, *493*.
Альтон-Ше Эдмонд де, граф (1810—1874), французский роялист, примкнувший к революционному движению в феврале 1848 года — т. 1: 695, *911*.
Альфиери Витторио, граф (1749—1803), поэт, сторонник объединения Италии — т. 1: 489.
Алякринский Митрофан Иванович (1794—1872), доктор медицины, инспектор врачебной управы во Владимире во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 263.
Амадей, герцог Аостский (1845—1890), сын Виктора-Эммануила II, короля Италии — т. 2: 380, *524*.
Амати Николо (1596—1684), итальянский скрипичный мастер — т 1: 37.
Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.), древнегреческий философ — т. 2: 167, *486*.
Анахарсис, скиф, побывавший в Афинах в VII—VI веке до н. э.— т. 1: 801, *918*.
Андреев Николай Николаевич (1824—1888), вице-адмирал, командир фрегата «Олег» в 1861 году — т. 2: 247, *502*, *503*.
Андриане (Адриани) Александре (1797—1863), политический деятель, участник революционного движения в Италии и Франции — т. 1: 446.
«Записки государственного преступника»— т. 1: 446.
Андросов Василий Петрович (1803—1841), статистик, редактор «Атенея» и «Московского наблюдателя», участник кружка Станкевича — т. 1: 441.
Анна Якимовна, приживалка в доме М. А. Хованской — т. 1: 97, 98.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887), русский критик и мемуарист — т. 1: 355, 361, 559, 723, 725, 739, *867*, *868*; т. 2: 420, *501*, *534*.
«Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография» — т. 1: 355, *867*, *868*.
«Парижские письма» — т. 2: 420, *534*.
Антиной (ум. в 130), юноша, отличавшийся необычайной красотой, любимец римского императора Адриана — т. 1: 65.
Антоммарки Франческо (1780—1838), врач из Флоренции, с 1818 года был при Наполеоне I на острове Св. Елены — т. 2: 400.
Антонов Василий, повар Аракчеева — т. 1: 398, 399, *871*.
Антонович (Войшин) Платон Александрович (1812—1883), товарищ А. И. Герцена по университету, участник Сунгуровского дела. В 1833 году был послан рядовым на Кавказ. В 1839 году произведен в офицеры, впоследствии крупный чиновник — т. 1: 126, 135, 514, 515, *848*, *853*.
Анфантен Бартелеми Проспер (1796—1864), французский утопист-социалист, один из виднейших последователей Сен-Симона — т. 1: 147.
Аполлон (м и ф.) — т. 2: 262.
Аполлоний (Аполлон) Тианский (I век), представитель религиозно-мистической школы (Новопифагорейской), боровшейся против христианства — т. 2: 320.
Аппоньи Рудольф (1812—1876), австрийский дипломат, с 1856 года поверенный в делах, с 1860 года посол в Лондоне — т. 2: 231, *499*.
Апраксин Петр Иванович, граф (1784—1852), жандармский генерал-майор в Казани в 1835 году — т. 1: 196.
Апраксин Степан Степанович (1757—1827), генерал от кавалерии, московский сановник — т. 1: 58.
Араго Этьен (1803—1892), французский политический деятель, республиканец, один из основателей газеты «Реформа», участник революции 1848 года — т. 1: 577, 578; т. 2: 286, 304, 305.
Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769—1834) — т. 1: 32, 61, 124, 205, 206, 210, 217, 221, 244, 269, 389, 397—399, 797, *844*, *870*, *871*; т. 2: 194.
Арапетов Иван Павлович (1811—1887), студент Московского университета, участник «маловской истории», впоследствии либеральствующий чиновник — т. 1: 113.
Арапов Пимен Николаевич (1796—1861), видный чиновник, драматург-переводчик, историк театра — т. 1: 95, 402.
Аргу Антуан Морис Аполлинарий де, граф (1782—1858), глава ряда министерств при Луи-Филиппе, директор французского банка — т. 1: 552, 553.
Аргу, дочь — т. 1: 552.
Ардашев, чиновник в канцелярии вятского губернатора — т. 1: 652.
Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — т. 2: 177, *489*.
«Неистовый Роланд» — т. 2: 177, *489*.
Аристотель (Стагирит) (384—322 до н. э.) — т. 2: 167, *486*.
«Метафизика» — т. 2: 167, *486*.
Аркадий, официант кн. М. А. Хованской — т. 1: 307—309.
Армелини Карло (1777—1863), глава первого республиканского правительства в Риме в 1849 году — т. 1: 600, *895*.
Арнгольдт Иван Николаевич (ок. 1840—1862), член военно-революционного кружка, ведшего пропаганду среди русских войск в Польше, расстрелян в 1862 году — т. 2: 245, *502*.
Арним Беттина (1785—1859), немецкая писательница — т. 1: 82, 734, *847*; т. 2: 358, *520*.
Арсеньев Константин Иванович (1789—1865), географ, историк и статистик, с 1819 года адъюнкт-профессор Петербургского университета, в 1828—1835 годах преподаватель будущего

императора Александра II — т. 1: 252.
Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — т. 1: 804; т. 2: 166.
Астраков Николай Иванович (1809—1842), преподаватель математики, друг юности А. И. Герцена — т. 1: 309—311, *863*.
Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892), писательница, жена Н. И. Астракова, друг А. И. Герцена — т. 1: 311; т. 2: 430, *536*.
Астраковы — т. 1: 310.
Ауэрбах Бертольд (1812—1882), немецкий писатель — т. 2: 139.
Афина Паллада (м и ф.)— т. 2: 375, *523*.
Афродита (м и ф.)— т. 1: 327; т. 2: 375, *523*.
Ахилл (м и ф.)—т. 1: 281; т. 2: 178, 230.

Б. (дочери) — т. 1: 54.
Бабеф Гракх (настоящее имя Франсуа Ноэль) (1760—1797), коммунист-утопист, руководитель движения «равных» — т. 1: 590, 793, *896*; т. 2: 31, 32, 192—198, *491*, *492*.
Бадер Франц (1765—1841), немецкий философ-богослов — т. 2: 138.
Базилевский Петр Андреевич (род. в 1795), помещик киевской губернии — т. 1: 397, *870*.
Базилио, врач Гарибальди, сопровождавший его в Англию — т. 2: 220.
Байи (Бальи) Жан Сильвен (1736—1793), астроном, деятель французской революции конца XVIII века — 1: 155.
Байков Илья Иванович (1769—1838), лейб-кучер Александра I — т. 1: 61.
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — т. 1: 60, 357, 446, 565, 600, 631, 632, 634—636, 720, *903*, *913*; т. 2: 166, 171, 176, 177, 362, *489*, *531*.
«Абидосская невеста» — т. 1: 720, *913*.
«Дон Жуан» — т. 1: 60, 635; т. 2: 166.
«Каин» — т. 1: 635.
«Манфред» — т. 1: 368, 635.
«Паломничество Чайльд-Гарольда» — т. 1: 368, 634, *903*; т. 2: 177, *489*.
«Сон» — т. 1: 558, 634, 635, *891*, *903*.
«Тьма» — т. 1: 635.
Бакай Яков Игнатьевич, лакей в доме И. А. Яковлева — т. 1: 49, 50, 59, 88, 123.
Бакунин Александр Михайлович (ум. в 1854), отец М. А. Бакунина — т. 1: 362.
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)—т. 1: 334, 340, 341, 345, 360, 362, 363, 427, 454, 511, 538, 550, 605, 606, 610, 674, 692, 733, 793, 794, 796, 799, 802, *842*, *865*, *901*, *917*; т. 2: 123, 127—129, 265, 285—295, 297—301, 303, 304, 306, 307, 312, 313, 326, 335, 350, 437, *477*, *478*, *480—483*, *502*, *508—513*, *517*.
«Исповедь» — т. 2: 288, *511*.
«Реакция в Германии» — т. 2: 286, *510*.
Бакунина Варвара Александровна (1792—1864), мать М. А. Бакунина — т. 2: 289.
Бальзак Оноре де (1799—1850) — т. 1: 277; т. 2: 146.
«Человеческая комедия» — т. 2: 146.
Бальи — см. Байи.
Бандьера (Бандиера), братья Аттило (1810—1844) и Эмилио (1819—1844), деятели итальянского национально-освободительного движения — т. 1: 590, *896*.
Барбаросса (Рыжая борода), прозвище Фридриха I (ок. 1123—1190), императора (с 1152) Священной Римской империи — т. 1: 438; т. 2: 136.
Барбес Арман (1809—1870), французский революционер, участник революции 1848—1849 годов — т. 1: 567; т. 2: 25, 39—41, 65, 74, 286, *468*,
«Два дня приговоренного к смерти» — т. 2: 40, *468*.
Барбье Анри Огюст (1805—1882), французский поэт — т. 1: 600.
«Ямбы» — т. 1: 600.
Барер Бертран (1755—1841), политический деятель французской ре-

волюции конца XVIII века, адвокат — т. 1: 543, *888*.

Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818), генерал-фельдмаршал — т. 1: 439.

Барле, комиссар парижской полиции в 1848 году — т. 1: 562—564.

Барнум Финеас Тейлор (1810—1891), американский цирковой антрепренер — т. 2: 448.

Бароне, секундант Курне в его дуэли с Бартелеми — т. 2: 70, 72—76, 113.

Барош Пьер Жюль (1802—1870), французский политический деятель, министр внутренних дел в 1850—1851 годах — т. 1: 651.

Барро Одилон (1791—1873), французский государственный деятель, глава министерства при Луи-Бонапарте — т. 1: 694, *894*.

Бартелеми Жан Жак (1716—1795), аббат, французский ученый и писатель — т. 1: *842*, *846*.

«Путешествие младшего Анахарсиса по Греции» — т. 1: 70, *846*.

Бартелеми Эммануэль (ок. 1820—1855), французский рабочий-механик, участник революции 1848 года, эмигрант — т. 2: 46, 62—85, 89, 113, *471*, *472*.

Барьер Теодор (1823—1877), французский драматург, пьесу «Мраморные девы» написал совместно с Л. Тибу— т. 2: *521*.

«Мраморные девы» — т. 2: 370, *521*.

Бастид Жюль (1800—1879), французский политический деятель, министр иностранных дел в кабинете Кавеньяка — т. 1: 577.

Бауэр Бруно (у Герцена ошибочно Эдгар Бауэр) (1809—1882), в 40-х годах левогегельянец; автор работ по истории христианства. После революции 1848 года перешел в ряды консерваторов — т. 2: 127, *480*.

«Россия и германский мир» — т. 2: 127, *480*.

Бах Иоганн Себастьян (1685—1750)— т. 1: 440.

Бахметев Алексей Николаевич (1774—1841), генерал, в 1816—1820 годах наместник в Бессарабии, впоследствии губернатор в ряде губерний; член Государственного совета; товарищ И. А. Яковлева — т. 1: 42, 43, 94, 100, *844*, *848*.

Бахметев Николай Николаевич (ок. 1770— ок. 1830), генерал, в 1798—1803 годах оренбургский губернатор, товарищ И. А. Яковлева — т. 1: 86, 94.

Бахметев Павел Александрович, русский помещик, покинувший Россию в 1857 году — т. 2: 278—280, 282, *509*, *510*.

Баяр Жан Франсуа (1796—1853), французский драматург, водевиль «Букильон» написал совместно с Дюманауром — т. 2: *536*.

«Букильон» («Букиньон») — т. 2: 429, *536*.

Бедо Мари Альфонс (1804—1863), французский генерал, командующий одной из частей правительственных войск в Париже в июне 1848 года — т. 1: 719.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — т. 1: 24, 115, 248, 334, 340, 341, 345, 349—356, 360, 362—364, 410, 427, 429, 435, 441, 454, 461—465, 467, 494, 495, 498, 511, 516, 540—543, 796, 799, 800, 802, 816, 826, *861*, *865—868*, *879*, *884*; т. 2: 103, 233, 290, 332, 402, 418—429, 431, *505*, *517*, *518*, *529*, *533—536*.

«Бородинская годовщина» — т. 1: 345, 349, *866*.

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» — т. 2: 419, *534*, *536*.

«Взгляд на русскую литературу 1847 года» — т. 1: 820, *920*.

«О жизни и сочинениях Кольцова» — т. 2: 419.

«Письмо к Гоголю» — т. 1: 355, *505*.

«Русская литература в 1841 году» — т. 1: 248, *861*, *920*.

«Сочинения Александра Пушкина» — т. 1: 350, *867*.

Бельджиойозо Тривульцио Христина (1808—1871), итальянская писательница, участница национально-освободительного движения — т. 1: 594.

Бем Юзеф (1795—1850), участник

польского национально-освободительного движения 1830 — 1831 годов. В 1848—1849 годах командовал венгерской революционной армией в Трансильвании — т. 2: 16, *464*.

Бенаи Джузеппе (род. в 1817), итальянский народный поэт — т. 1: 558, *890*.

Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1783—1844), ближайший помощник и приближенный Николая I — т. 1: 45, 63, 101, 209, 365, 369, 371, 373—379, 387, 388, 400, 503, 507, 508, *869*, *872*, *876*, *885*; т. 2: 132.

Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745—1826), генерал-лейтенант, участник дворцового переворота 1801 года — т. 2: 42.

Бентам Иеремия (1748—1832), английский юрист и философ — т. 1: 639; т. 2: 191.

Беранже Пьер Жан (1780—1857), французский поэт — т. 1: 58, 146, 417, 437, 735, 799, 801, *844*, *855*, *873*, *876*; т. 2: 370, *521*.

«Жалоба одной из этих девиц на современные дела» — т. 1: 58, *844*.

«Месса св. духа» — т. 1: 417, *873*.

«Мнение этих девиц» — т. 1: 437, *876*.

«Неверность Лизетты» — т. 2: 370, *521*.

Бернадот Жан Батист Жюль (1763—1844), маршал Франции, король Швеции в 1818—1844 годах под именем Карла XIV Иоанна — т. 1: 33.

Бернар Симон Франсуа (1817—1862), врач, участник революции 1848 года в Париже — т. 2: 85, 86, 88—91, 93—96, *472*, *473*.

Бернацкий Алоизий Проспер (1778—1855), участник польского восстания 1830—1831 годов — т. 2: 100, 101, 103—106, *473*, *475*.

Бернгарди Теодор фон (1802—1887), немецкий дипломат и историк. «Denkwürdigkeiten aus dem Leben des kaiserlich russischen Generals der Infanterie Karl Friedrich Grafen von Toll» («Записки») — т. 1: 398, *871*.

Беррийская герцогиня Каролина Фердинанда Луиза (1798—1870) — т. 2: 66, *471*.

Беррье Антуан (1790—1868), французский адвокат и политический деятель, легитимист — т. 2: 414, *532*.

Бертани Агостино (1812—1886), деятель итальянского национально-освободительного движения, сподвижник Гарибальди — т. 1: 771, *916*; т. 2: 13.

Бертье Луи Александр (1753—1815), маршал Франции; в 1812—1814 годах начальник штаба наполеоновской армии — т. 1: 31.

Бестужев (псевдоним — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837), писатель, декабрист — т. 1: 135, 199, *854*.

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803—1826), декабрист — т. 1: 121, 149.

Беттина — см. Арним Беттина.

Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — т. 1: 343, 692; т. 2: 262, *504*.

Биггс Матильда (ум. в 1867), дочь Джемса Стансфилда, близкий друг Маццини — т. 2: 166, *486*.

Бийо (Билье) Огюст Адольф Мари (1805—1863), французский политический деятель, во время Июльской монархии примыкал к оппозиции; министр в правительстве Наполеона III — т. 1: 659; т. 2: 113.

Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — т. 1: 79, 115, 269, 439, 453, 468; т. 2: 243, *500*.

Бисмарк Отто фон Шенгаузен, князь (1815—1898) — т. 2: 359, 378, 388, 412, 414, *480*, *483*, *524*, *527*.

Бичурин Никита Яковлевич, в монашестве Иоакинф (1777—1853), священник, востоковед, в 1807—1823 годах служил в русской миссии в Китае — т. 1: 351.

Биша Мари Франсуа Ксавье (1771—1802), французский анатом, физиолог и врач — т. 2: 176.

Блан Луи (1811—1882) — т. 1: 648, 691, 711, 802, *908*, *918*; т. 2: 21, 25, 32—34, 37—41, 63, 68, 127, 128, 156, 222, 225, 337, 393, *467*, *468*, *490*.

«История десяти лет» — т. 1: 802, *918*; т. 2: 37, 39, 40, *467*.
«История французской революции» — т. 1: 691.
«Организация труда» — т. 2: 37, *467*.
Блан Шарль (1813—1882), брат Луи Блана, французский художественный критик — т. 2: 39.
Бланки Луи Огюст (1805—1881) — т. 2: 34, 65, 74, 286.
Бленкер Людвиг (1812—1863), участник революционного движения в Южной Германии в 1848 году — т. 1: 622, 623.
Бленкер, его жена — т. 1: 623.
Блинд Карл (1824—1907), участник революции 1848 года в Бадене, находился в Париже в качестве представителя революционного правительства Бадена-Пфальца, публицист — т. 1: 579; т. 2: 122, 130, 334, *480*, *483*, *485*.
Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864), государственный деятель, с 1832 года министр внутренних дел, в 1837—1839 годах министр юстиции — т. 1: 218, 235, 251, 260, 261, 382, *862*.
Блюм (Блум) Роберт (1807—1848), глава демократической партии Саксонии во время революции 1848 года — т. 1: *905*; т. 2: 124.
Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819), прусский фельдмаршал времен войн с Наполеоном — т. 1: 58; т. 2: 198, 199, *492*.
Боголепов Василий Васильевич, законоучитель А. И. Герцена в детстве — т. 1: 58, 59.
Бокэ Жан Батист, участник революции 1848 года в Париже, эмигрировал в Англию — т. 2: 151, 161, *476*.
Болдырев Алексей Васильевич (1780—1842), ректор Московского университета, цензор до 1836 года — т. 1: 116, 443.
Болман, фармацевт в вятской аптеке во время ссылки Герцена — т. 1: 293.
Бологовский (Болговский) Дмитрий Николаевич (1775—1852), сослуживец И. А. Яковлева по Измайловскому полку, участник дворцового переворота в 1801 году, впоследствии губернатор в различных губерниях — т. 1: 388, 389.
Бомарше (наст. фамилия — Карон) Пьер Огюстен де (1732—1799) — т. 1: 85, 455, 652.
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» — т. 1: 44, 54, 455; т. 2: 220, 414.
«Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» — т. 1: 44.
Бонапарт Жером (1784—1860), брат Наполеона I, вестфальский король — т. 1: 39, 603, *844*; т. 2: 397, *529*.
Бонапарт Луи (Людовик) (1778—1846), брат Наполеона I, в 1806—1810 годах король Голландии — т. 2: 60, *470*.
Бонапарты — т. 1: 568, *901*.
Бонарроти — см. Буонарроти Ф.
Бонфис, врач в Ницце — т. 1: 767, 779—781.
Борджа (Борджиа) Лукреция (1480—1519), дочь папы Александра VI (Родриго Борджа) — т. 1: 123.
Борис Годунов (1551—1605), царь с 1598 года — т. 1: 450.
Борромео Арезе (1792—1874), член временного правительства Ломбардии, образованного в марте 1848 года — т. 1: 594.
Боткин Василий Петрович (1811—1869), критик и публицист — т. 1: 360, 363, 364, 418, 420, 421, 454, 537—543, *865*, *873*, *887*, *888*; т. 2: 97—99, 242, 420, 458, *500*, *534*.
«Письма об Испании» — т. 1: 420, *873*; т. 2: 420, *534*.
Боткин Петр Кононович — т. 1: 539, *888*.
Боткина Арманс, жена В. П. Боткина — т. 1: 537—543, *887*, *888*.
Бошар Александр Кентен (1809—1887), французский монархист, докладчик следственной комиссии по делу об Июньском восстании 1848 года — т. 1: 584, *894*.
Браницкий Ксаверий Владиславович, граф (1812—1879), один из руководителей польской аристократической эмиграции — т. 1: 565, *891*; т. 2: 297, 393, 394, *528*.

Братиано Димитр (1818—1892), румынский политический деятель и журналист; принимал участие в революционном движении 1848 года в Валахии; эмигрировал в Англию; в 1859 году возвратился в Бухарест — т. 2: 108, 112, *463*.

Бриарей (м и ф.) — т. 1: 614.

Брисбен (Брейсбен) Альбер (1809—1890), основатель фурьеристского движения в Америке — т. 2: 185, *490*.

Брискорн Максим Максимович (1794—1872), русский чиновник, фактически управляющий военным министерством в конце 30-х годов — т. 2: 341.

Бровцын Алексей Платонович (1807—1883), новгородский предводитель дворянства — т. 1: 395.

Броневский Дмитрий Богданович (1797—1867), генерал, в 1840—1853 годах директор Царскосельского лицея — т. 1: 497.

Броневский Семен Богданович (1786—1858), генерал-губернатор Восточной Сибири в 1834—1857 годах — т. 1: 221.

Брум Генри, лорд (1778—1868), английский государственный деятель, юрист — т. 2: 169, 170, 172, 362, *520*.

Брунетти Чичеруаккьо (Чичероваккио) Анджело (1800—1849), итальянский революционер, участник защиты Римской республики в 1849 году — т. 1: 432, 558, 574, 575, *875*, *890*, *893*.

Брунетти, сын Брунетти Анджело — т. 1: 432, *875*.

Бруннов Филипп Иванович, граф (1797—1875), русский посол в Лондоне в 1840—1854 и в 1858—1874 годах — т. 2: 158, 263, 264, 335, 342. *504*.

Бруно Джордано (1548—1600) — т. 1: 364; т. 2: 175.

Брут Луций Юний (ум. в 509 до н. э.), первый консул Римской республики; в борьбе с врагами республики не останавливался перед самыми жестокими мерами — т. 1: 430, 444, 665; т. 2: 198, *492*.

Брут Марк Юлий (85—42 до н. э.), римский политический деятель, республиканец, один из инициаторов заговора против Цезаря — т. 1: 639, 658.

Брюнинг Мария, урожд. Лиven (ум. в 1853), баронесса, сочувствовала демократическому движению, участвовала в организации побега Кинкеля, эмигрировала в Англию — т. 2: 122, 123, *480*.

Брянчанинов Дмитрий Петрович, московский полицмейстер в 1834 году — т. 1: 170.

Буатель Сенфоньен (род. ок. 1814), префект парижской полиции в 1858—1866 годах — т. 2: 394.

Буашо Жан Батист (род. в 1820), французский революционер, один из руководителей выступления 13 июня 1849 года, эмигрант — т. 2: 161.

Будберг Андрей Федорович (1817—1881), русский посланник в Берлине в 1861—1868 годах — т. 2: 341.

«*Букильон*» («Букиньон») — см. Баяр.

Булатов Иван Михайлович, крепостной дядька, воспитывавший Н. П. Огарева в детские годы — т. 1: 79.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), реакционный писатель и критик — т. 1: 440, 463, 533.

Булевский Людвиг, польский эмигрант, член «Централизации» с 1854 года — т. 2: 307—309.

Буллей Эмилий (Емилий), комиссар парижской полиции — т. 1: 652, 653.

Буонарроти Филипп (1761—1837), революционер, сподвижник Бабефа, пропагандист его идей — т. 1: 590, *896*.

Бурдах Карл Фридрих (1776—1847), немецкий физиолог и анатом — т. 1: 348, *866*.

«Физиология как опытная наука» — т. 1: 348, *866*.

Бурдин Ф., пермский жандарм, сопровождавший А. И. Герцена в Вятку — т. 1: 202.

Буркова Минна Ивановна, фаворитка графа В. Ф. Адлерберга — т. 2: 244, 255, *501*.

Бурмейстер Христиан (1709—1785), немецкий философ, автор переведенного на русский язык учебника «Логика» — т. 1: 496.
Бурцев (Бурцов) Алексей Петрович (ум. в 1813), гусар, однополчанин Дениса Давыдова — т. 2: 65.
Бурьенн Луи Антуан (Фовеле де) (1769—1834), секретарь Наполеона I — т. 1: 99, *848*.
Бутков Владимир Петрович (1820—1881), государственный секретарь в 1853—1865 годах, участник судебной реформы 1864 года — т. 2: 243, 376.
Бухер Лотар (1817—1892), немецкий публицист и политический деятель, радикал. В 1850—1860 годах эмигрант в Лондоне, с 1864 года сотрудничал с Бисмарком — т. 2: 136, *480*.
Бушо, учитель А. И. Герцена — т. 1: 58, 60, 66, 67, 78, 479.
Буэ, французский поэт — т. 1: 801.
Бьюкенен (Бюкенан) Джемс (1791—1868), посол США в Англии в 1853—1856 годах, президент США в 1857—1861 годах — т. 2: 131—133, 210, *494*.
Бэкон Френсис (1561—1626), английский философ-материалист — т. 2: 200.
Бюжо Тома Робер (1784—1849), французский маршал — т. 2: 146, 160.
Бюше Филипп (1796—1865), французский политический деятель, историк, один из идеологов так называемого «христианского социализма» — т. 1: 422, 446.

В.— см. Зубков В. Л.
Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор — т. 1: 789, *917*; т. 2: 148.
«Тангейзер» — т. 2: 148.
Вагнер Рудольф (1805—1864), немецкий физиолог и антрополог, спиритуалист — т. 1: 678.
Вайгель Федор Иванович, городничий в Перми в 1835 году — т. 1: 198.
Валевский Александр Флориан (1810—1868), министр иностранных дел Франции в 1855—1860 годах — т. 2: 34, 390, *466*, *467*.
Валерио Лоренцо (1810—1865), член парламента в Турине в 1851 году —т. 1: 681, *907*.
Валуев Петр Александрович (1814—1890), министр внутренних дел в 1861—1868 годах — т. 2: 257.
Вальдегамас Хуан Франциско Донозо Кортес, маркиз (1803—1853), испанский политический деятель, публицист, проповедник католицизма — т. 1: 695, *910*, *911*.
Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — т. 1: 326, 599.
«Мадонна» — т. 1: 326.
Ванини Лючилио (1585—1619), итальянский философ, атеист, казнен по приговору инквизиции — т. 2: 175.
Варнгаген фон Энзе Карл Август (1785—1858), немецкий писатель, критик, публицист — т. 1: 538; т. 2: 357—359.
Варнгаген фон Энзе Рахиль (Рахель) (1771—1833), немецкая писательница, в 30-х годах хозяйка литературного салона в Берлине — т. 1: 454; т. 2: 358, *520*.
Василий Великий (ок. 320—379), архиепископ кесарийский, богослов — т. 1: 631.
Васильев Елистрат, жандарм в Крутицких казармах, сопровождал А. И. Герцена из Москвы в Пермь— т. 1: 191—197, 279, 332.
Васильев Михаил Семенович, русский офицер, служивший в Польше; не желая участвовать в подавлении польского восстания в 1863 году, эмигрировал в Париж — т. 2: 274.
Васильчиков Илларион Васильевич, князь (1777—1847), генерал, командир гвардейского корпуса в 1817—1823 годах — т. 1: 445, 446, *878*.
Васко да Гама (1469—1524) — т. 2: 378.
Ватке Вильгельм (1806—1882), немецкий философ-теолог — т. 1: 342.
Вауверман (Вуверман) Филипс (1619—1668), голландский художник — т. 1: 178.

Вашингтон Джордж (1732—1799), первый президент США (1789)— т. 1: 587; т. 2: 104.
Вейер Никола (1786—1841), французский вице-консул в Москве— т. 1: 504.
Вейс (Вейссе) Христиан Герман (1801—1866), немецкий философ — т. 1: 481.
Вейтлинг Вильгельм (1808—1871), немецкий революционер, коммунист-утопист, один из теоретиков утопического «уравнительного» коммунизма — т. 1: 613, 793.
Вела Винченцо (1822—1891), каменотес, а затем скульптор, участник войны за освобождение Италии — т. 2: 101.
Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852), герцог, английский полководец и государственный деятель — т. 1: 58, *844*; т. 2: 23, 172, 199, 423, *465*, *488*, *492*.
Вельский дюк — см. Альберт Эдуард.
Вельяминов Иван Александрович (1771—1837), генерал, в 1827—1834 годах генерал-губернатор Западной Сибири — т. 1: 219.
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт — т. 1: 132, 795, *854*.
«Поэт и друг» — т. 1: *854*.
Вепрев, чиновник в канцелярии вятского губернатора — т. 1: 652.
Вера Артамоновна, няня А. И. Герцена — т. 1: 27—29, 33—35, 41—43, 53, 75, 76, 90, 109, 264, 476.
Вергилий (70—19 до н. э.) — т. 1: *899*, *916*; т. 2: 139, 142.
«Энеида» — т. 1: 595, *899*, *916*.
Вердер Карл (1806—1893), немецкий философ, драматург и поэт — т. 1: 342, 802, *918*; т. 2: 138.
Вернер Абрам Готлиб (1750—1817), немецкий минералог и геолог — т. 1: 119.
Верниковский Иван Антонович, ориенталист, в 1822 году был причастен к делу тайного студенческого общества в Вильно, позднее — преподаватель Казанского университета, в 1836 году был сослан в Вятку — т. 1: 294.
Веронезе Паоло (наст. имя Паоло Кальяри) (1528—1588), итальянский художник эпохи Возрождения — т. 2: 377.
Веста (м и ф.)— т. 2: 361.
Ветошников Павел Александрович (род. в 1831), служащий торговой фирмы — т. 2: 265, 266, *503*, *504*.
Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821—1910), французская певица — т. 2: 140—142.
Вигель Надежда Ивановна — т. 1: 482, *883*.
Вигель Филипп Филиппович (1786—1856), крупный чиновник, мемуарист — т. 1: 443, 465, *877*, *881*.
Видок Эжен Франсуа (1775—1857), французский сыщик — т. 1: 284; т. 2: 226, *497*.
Виктор-Эммануил II (1820—1878), король Сардинии в 1849—1861 годах и объединенной Италии с 1861 года — т. 1: 592, *897*, *906*; т. 2: 11, 12, 15, 212, 229, 380, 384, 385, *462*, *463*, *465*, *466*, *494*, *495*, *524*, *526*, *527*.
Виктория (1819—1901), королева Великобритании с 1837 года — т. 1: 526; т. 2: 8, 23, 29, 31, 33—36, 69, 87, 97, 144, 154, 207, 224, 233, 453, *465—467*, *493*.
Виланд Кристоф Мартин (1733—1813), немецкий писатель эпохи Просвещения — т. 1: 734.
Вилле Франсуа, цюрихский врач — т. 1: 789, *917*.
Виллие Яков Васильевич, баронет (1765—1854), врач, лейб-хирург Павла I и Александра I — т. 1: 398.
Виллих Август (1810—1878), немецкий революционер, участник Пфальцско-Баденского восстания в 1849 году — т. 1: 739, *915*; т. 2: 62, 67, 68, 122, *479*, *480*.
Вильгельм I (1797—1888), король Пруссии с 1861 года, германский император с 1871 года — т. 1: 583, *894*; т. 2: 53, 234, 388, *527*.
Вильгельм I (1781—1864), король вюртембергский с 1816 года — т. 1: 738, *915*; т. 2: 234.
Вильгельм Оранский, принц Нассауский (1533—1584), правитель Голландии, деятель нидерландской

буржуазной революции XVI века — т. 1: 700.

Вильгельм III Оранский (1650—1702), правитель Нидерландов с 1674 года, король Англии с 1689 года — т. 2: 32.

Вильмот Кэтрин, сестра Мэри Вильмот — т. 1: 385, ***869***.

Вильмот Мэри, англичанка, близкий друг и компаньонка Е. Р. Дашковой — т. 1: 385, 454, ***869***. «Записки» — т. 1: 385, ***869***.

Виндишгрец Альфред, князь (1787—1862), австрийский фельдмаршал, в 1848 году подавил восстание в Праге и Вене — т. 1: ***894***; т. 2: 287, ***511***.

Винтерсберг (у Герцена ошибочно Винтергальтер), немецкий эмигрант в Лондоне — т. 2: 165.

Винценгероде Фердинанд Федорович (1770—1818), генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года — т. 1: 31.

Висконти-Веноста Эмилио, маркиз (1829—1914), итальянский государственный деятель — т. 1: 594; т. 2: 226, ***497***.

Витберг Александр Лаврентьевич (1787—1855), архитектор и живописец — т. 1: 80, 81, 238—248, 289—291, 295, 296, 347, 402, 442, 459, ***847***, ***863***.

Витберг Евдокия (Авдотья) Викторовна, урожд. Пузыревская (ум. в 1851), вторая жена А. Л. Витберга — т. 1: 239, 291.

Витгенштейн Эмилий Карл Людвигович (1824—1878), немецкий офицер, поступивший на русскую службу — т. 2: 247.

Вогюе Леонс, маркиз (1805—1877), французский политический деятель, легитимист — т. 1: 782.

Волабель Ашиль де (1799—1879), министр народного просвещения в кабинете Кавеньяка — т. 1: 446. «История двух Реставраций» — т. 1: 446.

Волков Александр Александрович (1779—1833), генерал, начальник корпуса жандармов Московского округа — т. 1: 134.

Волков Иван Федорович, учитель гимназии, преподавал математику Герцену и Огареву — т. 1: 103.

Волконский Петр Михайлович, князь (1776—1852), генерал-фельдмаршал, начальник Главного штаба с 1814 года, министр императорского двора в 1826—1837 годах — т. 1: 122, 125, 387, ***869***.

Вольмслей (Вомслей) Джошуа (Жозуа) (1794—1871), английский политический деятель — т. 2: 114, 131.

Вольтер (наст. фамилия — Аруэ) Франсуа Мари (1694—1778) — т. 1: 58, 59, 61, 85, 95, 106, 147, 244, 265, 389, 439, 454, 500, 565, 613, 632, 642, 652, 688, 735, ***876***, ***902***; т. 2: 39, 53, 82, 83, 86, 176, 276, 320, 370, 389, 404, 425, 430, ***508***, ***521***.

«Генриада» — т. 2: 425.

«Кандид» — т. 2: 425.

«Танкред» — т. 1: 439, ***876***.

Вольф (Вольфий) Христиан (1679—1754), немецкий философ и математик, с конца XVIII века по его работам велось преподавание в духовных учебных заведениях России — т. 1: 496.

Воронцов Михаил Семенович, князь (1782—1856), государственный и военный деятель, в 1823—1844 годах генерал-губернатор Новороссии и наместник Бессарабской области — т. 1: 388.

Воронцов Семен Романович, граф (1744—1832), дипломат, посол в Лондоне в 1784—1806 годах — т. 1: 39.

Ворцель Станислав (1799—1857), один из руководящих деятелей польского национально-освободительного движения, после поражения восстания 1830—1831 годов эмигрант — т. 1: 502, 566, 804, 828, ***842***; т. 2: 21, 23, 25, 100—102, 105—112, 114—121, 123, 129, 131—133, 296, 308, 328—331, ***473—476***, ***482***.

Вронский (Гёне) Юзеф (1778—1853), польский математик и философ — т. 1: 569, ***892***; т. 2: 103, ***475***.

Вронченко Федор Павлович, граф (1780—1852), министр финансов в 1844—1852 годах — т. 1: 485, 648, 649, ***883***.

Вуверман — см. Вауверман.
Вулкан (м и ф.)— т. 2: 202.
Вырлина Саша, горничная в доме М. А. Хованской — т. 1: 275, 276, 278, 307, *862*.
Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), естествоиспытатель, философ-позитивист — т. 2: 276, *508*.
Высоцкий Юзеф (1809—1873), деятель польского национально-освободительного движения, участник венгерской революции 1848 года, эмигрант — т. 1: 799; т. 2: 103.
Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт и критик — т. 1: *891*. «Русский бог» — т. 2: 341.

Гааг Луиза Ивановна (1795—1851), мать А. И. Герцена — т. 1: 31—33, 40, 41, 54, 59, 87, 161, 279, 296, 329, 405, 477, 546, 570, 571, 580, 624, 631, 643, 644, 647, 650, 664, 667—669, 696, 744, 746—748, 761—763, 765, 766, 768, 791, *843*, *847*, *893*, *915*, *916*; т. 2: 434, *537*.
Гаал Федор Петрович (1780—1853), старший врач тюремных больниц в Москве, известный своей филантропической деятельностью — т. 1: 185, 186.
Гагарин Федор Федорович («Адамова головка»), князь (1787—1863), командир гусарского полка — т. 2: 65.
Гай Людевит (1809—1872), хорватский политический деятель, реакционный панславист — т. 1: 441, *877*.
Гайдн Иосиф (1732—1809) — т. 1: 672, *905*.
«Сотворение мира» — т. 1: 672, *905*.
Гайнау (Генау) Юлиус (1786—1853), австрийский фельдмаршал, проявил исключительную жестокость при подавлении революции в Венгрии и национально-освободительного движения в Италии — т. 2: 433.
Гайю Рене Жюст (1743—1822), французский минералог — т. 1: 119.
Гакстгаузен Август, барон (1792—1866), немецкий литератор и экономист, в 1843—1844 годах совершил путешествие по России— т. 1: 462; т. 2: *477*.
Галахов Иван Павлович (1809—1849), друг Герцена и Огарева — т. 1: 421—426, 435; т. 2: 432, *501*, *536*.
Галилей Галилео (1564—1642) — т. 1: 364, 696.
Галль Франц Иосиф (1758—1828), австрийский анатом, врач, основатель псевдонауки — френологии — т. 1: 586.
Гальба (Галба) (5 до н. э. — 69 н. э.), римский император (68—69)— т. 1: 65.
Гальванью, министр внутренних дел в Пьемонте в 1851 году — т. 1: 681, 682, *907*.
Ганно («Мапа») (ум. в 1852), французский скульптор, основал в 40-х годах религиозно-мистическую секту и принял имя «Мапа» — т. 1: 347, 802, *866*.
Ганс Эдуард (1797—1839), немецкий профессор права, гегельянец — т. 1: 344, 436.
Гарибальди Анита (ум. в 1849), жена Дж. Гарибальди — т. 1: 595, *899*.
Гарибальди Джузеппе (1807—1882)— т. 1: 117, 583, 589, 592, 594, 595, 598, 669, 772, 782. *895*, *897—899*, *916*; т. 2: 11, 12, 14—17, 100, 107, 130—132, 158, 159, 167, 206—237, 379, 380, 383, 413, 414, *461—463*, *468*, *485*, *492—499*, *524*, *525*, *531*, *532*.
Гарибальди Менотти (1840—1903), итальянский генерал, сын Дж. Гарибальди — т. 2: 216, 220, 223, 224.
Гарибальди Риччотти (1847—1924), итальянский генерал, сын Дж. Гарибальди — т. 2: 216, 220, 224.
Гарибальди Роза Раймонда, мать Дж. Гарибальди — т. 1: 782; т. 2: 130.
Гассер Карл, банкир в Петербурге — т. 1: 647—649.
Гауг Эрнест, участник революции в Вене в 1848 году, защитник Римской республики в 1849 году— т. 1: 594, 750, 772, 774, 775, 779, 783—791, 803, 804, 825—827, *898*,

916—919; т. 2: 8, 14, 157, 163—165, 367, 368.

Гверцони Джузеппе (1835—1886), итальянский писатель, участник военных походов Гарибальди и его секретарь — т. 2: 209, 214, 215, 220, 221, 223, 234.

Гвичардини Франческо (1483—1540), итальянский политический деятель и историк — т. 1: 594, *898*.

Ге Дельфина — см. Гэ Д.

Гебель Франц Ксавер (1787—1843), композитор, пианист и дирижер, преподавал музыку А. И. Герцену — т. 1: 248.

«Потерянный рай» — т. 1: 248.

Геберт — см. Эбер.

Гевлок Генри (1795—1857), английский полковник, участвовал в подавлении восстания индийских войск (сипаев) в 1857 году — т. 2: 148, *486*.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — т. 1: 137, 334, 340—342, 344—346, 348, 350, 358, 360, 362, 428, 429, 436, 453, 454, 457, 460, 495, 509, 536—540, 687, 688, 692, 699, 701, 703, 793, 794, 802, 815, *865*, *884*, *917*, *918*; т. 2: 138, 192, 216, 426.

«Лекции по эстетике» — т. 1: 342.

«Наука логики» — т. 1: 342; т. 2: 426.

«Публичная казнь» — т. 1: 344, *865*.

«Феноменология духа. Система науки» — т. 1: 342, 344, 345, *865*; т. 2: 426.

«Философия права» —т. 1: 539.

«Энциклопедия философских наук в сжатом очерке» — т. 1:342.

Гедеонов Александр Михайлович (1791—1867), директор императорских театров в 1833—1858 годах— т. 2: 243.

Гедеонов Степан Александрович (1818—1878), археолог и драматург—т. 1: 440, *877*.

«Смерть Лапупова» — т. 1: 440, *877*.

Гейм Иван Андреевич (1758—1821), профессор истории, статистики и географии (с 1784 г.); ректор Московского университета в 1806—1818 годах — т. 1: 112, 512, *886*.

Гейман Родион Григорьевич (1802—1865), профессор химии Московского университета с 1833 года— т. 1: 111, 137.

Гейне Генрих (1797—1856) — т. 1: 25, 124, 342, 357, 526, 538, 733—735, *852*, *865*, *887*, *888*; т. 2: 125, 126, 357—359, 368, 450, *520*.

«Лирическое интермеццо» — т. 1: 538, *888*.

«Людвиг Бёрне» — т. 1: 124, *852*; т. 2: 358, *520*.

«Переписка» — т. 2: 357.

Гейне Эжени (Матильда), жена Г. Гейне —т. 1: 526, *887*.

Гейнцен Карл Петер (1809—1880), немецкий республиканец, публицист, участник баденского восстания 1848 года — т. 1: 584, 585, 588, 609, 619, 620, 622, *895*.

Геккер Фридрих (1811—1881), немецкий демократ, один из руководителей восстания в Бадене в 1848 году — т. 1: 739, *915*; т. 2: 67, *471*.

Гелиогабал (Элагабал) Варий Авит Бассиан (204—222), римский император с 218 года — т. 1: 65.

Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843), немецкий поэт-романтик — т. 1: 344.

Гемпден Джон (1594—1643), деятель английской буржуазной революции XVII века — т. 1: 155, 165.

Генау — см. Гайнау.

Генрих IV (1553—1610), французский король с 1594 года — т. 1: 463; т. 2: 32, *469*.

Генц (Гейнц) Фридрих (1764—1832), австрийский государственный деятель, секретарь конгрессов Священного союза — т. 2: 186.

Георг IV (1762—1830), английский король с 1820 года — т. 1: 383, 384.

Гера (м и ф.) — т. 1: 100.

Гервег Ада (1849—1921), дочь Г. Гервега — т. 1: 741, 743, 752, 753, 755, 769.

Гервег Георг (Г. Г.) (1817—1875), немецкий поэт и политический деятель — т. 1: 625, 626, 732, 733, 735—749, 751—757, 768—776, 783—785, 788—790, *902*, *914—917*; т. 2: *461*.

«Стихи живого человека» — т. 1: 735, *914*.
Гервег Горас (1843—1901), сын Г. Гервега — т. 1: 741, 743, 752—755, 769.
Гервег Эмма (1817—1904), жена Г. Гервега — т. 1: 732, 733, 735—747, 749, 751—756, 768—771, 776, 778, 783, 789, 790, *915*.
Гёргей Артур (1818—1916), главнокомандующий венгерской революционной армией; изменнически капитулировал в августе 1849 года — т. 1: 583, *904*.
Герен Арнольд Герман (1760—1842), профессор истории Геттингенского университета — т. 1: 463.
Геринг, лондонский адвокат — т. 2: 84, 85.
Геркулес (м и ф.) — т. 1: 241, 539, 707, *888*.
Гермафродит (м и ф.)— т. 1: 65.
Геродот (ок. 484—425 до н. э.), древнегреческий историк — т. 1: 361.
Герц Карл Карлович (1820—1883), профессор археологии и истории искусств в Московском университете с 1857 года — т. 2: 418.
Герцен Александр Александрович («Саша») (1839—1906), сын А. И. Герцена—т. 1: 82, 99, 325, 326, 353, 370, 373, 375, 402, 404, 410, 411, 413, 425, 517—519, 527, 571, 643, 721, 722, 741, 745, 747, 749, 751, 752, 755, 758—763, 772, 774, 779—783, 791, 822, 834, 835, *863*, *867*, *872*, *873*, *915*; т. 2: 8, 9, 16, 24, 210, 241, 297, 391, 433, 446, 454, 457, *512*.
Герцен Владимир Александрович (род. и ум. в 1852), сын А. И. Герцена — т. 1: 779, 781, 782, 825, *916*.
Герцен Егор Иванович (1803—1882), брат А. И. Герцена по отцу — т. 1: 36, 87, 296, 304, 305, 329, *844*, *847*; т. 2: 417, 432, *533*, *536*.
Герцен Иван Александрович (род. и ум. в 1841), сын А. И. Герцена — т. 1: 372, 402, 490, *869*, *872*.
Герцен Наталья Александровна, урожд. Захарьина (1817—1852), жена А. И. Герцена — т. 1: 21, 23, 54, 81, 105, 137, 160, 191, 248, 270—279, 282, 291—303, 306, 308, 309, 311—313, 316—321, 325, 326, 328—334, 336—338, 370, 372, 373, 375, 378, 382, 383, 389, 400, 402—409, 411, 412, 490, 499, 500, 507, 519, 527—529, 537, 541, 542, 558, 562, 571, 600, 636, 644, 717, 720—725, 728, 741, 743—761, 763, 766—769, 772—774, 776—784, 787, 788, 790—792, 822, 825, 838, *843*, *847*, *857*, *858*, *861*—*863*, *872*, *885*, *890*, *897*, *903*, *915*, *916*; т. 2: 428, 431, 434, 446, 454—458, *518*, *539*, *540*.
Герцен Наталья Александровна («Тата») (1844—1936), старшая дочь А. И. Герцена—т. 1: 510, 571, 643, 721, 722, 728, 729, 741, 745, 747, 749, 751, 752, 758—763, 772, 774, 779—783, 791, 822, 835, *889*, *915*; т. 2: 8, 433, 446, 453.
Герцен Николай Александрович («Коля») (1843—1851), сын А. И. Герцена — т. 1: 666—669, 696, 723, 741, 745, 747, 748, 751, 758—763, 765—767, 791, 821, *843*, *915*, *916*; т. 2: *537*.
Герцен Ольга Александровна, в замужестве Моно (1850—1953), дочь А. И. Герцена — т. 1: 643, 747, 751, 752, 758—763, 772, 774, 777, 779, 780, 783, 791, 822, *915*; т. 2: 8, 393—395, 446.
Гесс Александра, жена И. Г. Головина — т. 2: 344.
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — т. 1: 108, 117, 118, 322, 343, 348, 357, 377, 403, 494, 513, 527, 537, 603, 605, 635, 642, 673, 693, 701, 733—735, 815, *847*, *851*, *852*, *863*—*865*, *868*, *869*, *880*, *884*, *891*, *901*, *903*, *910*; т. 2: 54, 175, 357, *488*, *520*, *521*.
«Генерал-гражданин» — т. 1: 605.
«Герман и Доротея» — т. 1: 673.
«Гец фон Берлихинген»—т. 1: 463.
«Годы учения и странствий Вильгельма Мейстера» — т. 1: 494, 537, *884*, *888*.
«Горные вершины» — т. 1: 459.
«Западно-восточный диван» — т. 1: 357, *868*.
«Ифигения в Тавриде» — т. 1: 357, *868*; т. 2: 171, *488*.

«Кроткие ксении» — т. 1: 403.
«Миньона» — т. 1: 326, *864*.
«Надежда» — т. 1: 424, *852*.
«Певец» — т. 1: 693, *910*.
«Пряха» — т. 1: 322, *863*; т. 2: 54, *470*.
«Рейнеке Лис» — т. 1: 377, *869*.
«Римские элегии» — т. 1: 322, *863*.
«Страдания молодого Вертера» — т. 1: 54, 71, 482, 747; т. 2: 122.
«Фауст» — т. 1: 108, 322, 325, 343, 635, 673, 735, *864*, *865*. *903*; т. 2: 172, 173, 357, 358, 362.
«Эгмонт» — т. 1: 537, *888*.
«Эпиграммы. Венеция. 1790» — т. 2: 368, *521*.

Гете Христина, урожд. Вульпиус (1765—1816), жена Гете—т. 1: 527.

Гефнер Леопольд (род. в 1820), участник революционных событий в Вене 1848 года, эмигрант. В дальнейшем разоблачен как шпион парижской префектуры — т. 2: 161, 162.

Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк — т. 2: 176, 350.

Гибин, купец—т. 1: 401.

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и реакционный политический деятель — т. 1: 303, 694; т. 2: 129, 286, 397, *528*.

Гийо Жак (1810—1876), итальянский художник — т. 1: 747, *915*.

Гиллер Агатон (1831—1887), польский писатель, один из руководителей польского восстания 1863 года — т. 2: 298—300, *512*, *513*.

Гильтебрандт (Гильдебрандт) Федор Андреевич (1773—1845), профессор хирургии в Московском университете в 1804—1830 годах — т. 1: 112, 513, *886*.

Гинар Огюст Жозеф (1799—1874), французский политический деятель, участник революции 1830 года, начальник штаба Национальной гвардии в 1848 году — т. 1: 579.

Гиперион (м и ф.)— т. 2: 56.

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898), английский государственный деятель, в 1852—1855 годах министр финансов в коалиционном кабинете, в 1859—1866 годах министр финансов в либеральном кабинете Пальмерстона — т. 2: 92, 226, 231, 232, *473*, *493*, *497*.
«Исследование о Гомере и о Гомеровом веке» — т. 2: 92, *473*.

Глазенап Владимир Григорьевич (1784—1862), генерал, участник подавления польского восстания 1830—1831 годов и венгерской революции 1848—1849 годов — т. 2: 153.

Глинка Авдотья (Евдокия) Павловна, урожд. Голенищева-Кутузова (1795—1863), писательница, жена Ф. Н. Глинки — т. 1: 466, *881*.
«Жизнь пресвятые девы богородицы». Из книги «Четьи-Минеи»— т. 1: 466, *881*.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — т. 2: 255.

Глинка Сергей Николаевич (1775—1847), писатель и журналист, участник Отечественной войны 1812 года—т. 1: 116, 117, 459, *879*.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт — т. 1: 466.

Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), немецкий композитор — т. 2: 21, *464*.

Гмелин Самуил Готлиб (1745—1774), немецкий натуралист и путешественник. В 1767 году был приглашен в Петербург и избран академиком по кафедре ботаники — т. 1: 35.
«Путешествие по России для исследования трех царств естества» — т. 1: 35.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт, переводчик — т. 1: 68, *846*.
«Илиада» (перевод)—т. 1: 68, *846*.

Гнейст Рудольф Генрих (1816—1895), немецкий юрист, автор работ по теории и истории английской конституции—т. 2: 226, *497*.

Гоббс Томас (1588—1679), английский философ-материалист — т. 1: 632.

Гогарт Уильям (1697—1764), английский живописец, гравер и рисовальщик — т. 1: 482, *883*.

«Трудолюбие и лень» — т. 1: 482, *883*.

Гогенлоэ Александр Леопольд, принц (1794—1849), немецкий мистик, занимался лечением «магическими» средствами — т. 1: 447.

Гогенштауфены, династия германских императоров (1138—1254)— т. 1: 438.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — т. 1: 114, 218, 355, 421, 461, 488—490, *857*, *879*, *883*; т. 2: 244, 266, 321, 425, *501*, *509*.

«Выбранные места из переписки с друзьями» — т. 2: 266.

«Мертвые души» — т. 1: 114, 169, 170, 456, 575, 584, 799, *857*, *879*; т. 2: 111, 243, 283, 284, 313, 327, 357, 419, 422, 426, *501*, *509*, *532*.

«Нос» — т. 2: 426.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — т. 1: 516.

«Ревизор» — т. 1: 184, 489, 490, *889*; т. 2: 244, 327.

«Тарас Бульба» — т. 1: 411.

«Шинель» — т. 1: 488.

Гокс Эмилия, дочь лондонского адвоката В. Шерста, близкий друг, секретарь, переводчик и корреспондент Маццини — т. 2: 113.

Голиок Джордж Джекоб (1817—1906), английский политический деятель и публицист, чартист, участник кооперативного движения и его историк — т. 2: 176, 216, *489*.

Голицын Александр Николаевич, князь (1773—1844), министр духовных дел и народного просвещения в 1816—1824 годах — т. 1: 61, 121, 244, 247, 398, *844*.

Голицын Александр Федорович (junior), князь (1796—1864), камергер, состоял при Николае I по III Отделению, член второй следственной комиссии по делу Герцена, Огарева и других в 1834 году — т. 1: 140, 169, 178, 180—183, 190, 370, *857*.

Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844), генерал, московский генерал-губернатор в 1820—1843 годах, владелец имения «Вяземы» — т. 1: 73, 116, 118, 122, 154—156, 159, 161, 168—171, 191, 204, 243, 246, 480, 483, 503, 504.

Голицын Николай Борисович, князь (1794—1866), публицист, музыкальный деятель, отец Ю. Н. Голицына — т. 2: 262. *504*.

Голицын Сергей Михайлович, князь (1774—1859), попечитель Московского учебного округа (1830—1835), в 1834 году председатель второй следственной комиссии по делу Герцена, Огарева и других — т. 1: 101, 111, 113, 119, 169, 178, 181—184, 187, 189, 190, 279, 484—488; т. 2: 120.

Голицын Юрий Николаевич, князь (1823—1872), хоровой дирижер — т. 2: 253—262, *503*, *504*.

Головин Иван Гаврилович (1816—1890), эмигрант, публицист — т. 1: 770, *918*; т. 2: 129, 134, 325—337, 340—345, *482—484*, *516—519*.

«Записки» — т. 2: 332, *518*, *519*.

«Россия под Николаем» — т. 2: 327, *516*.

Головинский Андрей Егорович, незаконный сын А. В. Толстого, деда декабриста Ивашева В. П., брат матери Ивашева В. П. — т. 1: 64, *845*.

Головков Федор Васильевич (ум. в 1864), новгородский губернский прокурор во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 394.

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849), двоюродный брат А. И. Герцена, помощник попечителя Московского учебного округа с 1831 года, попечитель в 1847—1849 годах—т. 1: 37, 299—301, 469—487, 492, 493, *844*, *882*; т. 2: 432.

«Замечания об осаде Троицкой лавры 1608—1610 годов и описание оной историками XVII, XVIII и XIX столетий» — т. 1: 479, *882*.

Голохвастов Николай Павлович (1800—1846), двоюродный брат А. И. Герцена — т. 1: 143, 479—484, 493.

Голохвастов Павел Иванович (ум. в 1812), дядя А. И. Герцена, по-

мещик, офицер в отставке — т. 1: 27—29, 31—33, 143, 475, 479.
Голохвастова Елизавета Алексеевна, урожд. Яковлева (1763—1822), тетка А. И. Герцена — т. 1: 35, 37, 265, 415, 474, 475, 479, 480, 482—484, *862*.
Голохвастова Надежда Владимировна, урожд. Новосильцева, жена Д. И. Голохвастова — т. 1: 483.
Голохвастова Наталья Павловна, в замужестве Шатилова, двоюродная сестра А. И. Герцена — т. 1: 479, 483.
Голохвастовы — т. 1: 95.
Голынский Александр Викентьевич (род. в 1816), поляк, примыкавший к демократическому крылу польской эмиграции — т. 1: 804; т. 2: 344.
Гольбах Поль Анри (1723—1789), французский философ, представитель механистического материализма — т. 1: 455, 526.
Гольбах, жена философа — т. 1: 526.
Гольбейн Ганс Младший (1497 или 1498—1543).
«Образы смерти» — т. 2: 349, *520*.
Гомер — т. 1: 621, *902*; т. 2: 11, 92.
«Илиада» — т. 1: 33, 621, *902*.
«Одиссея» — т. 1: 33; т. 2: 60, 160.
Гонзаго (Гонзага) Пьетро ди Готтардо (1751—1831), итальянский художник и театральный декоратор, работал в России — т. 1: 85.
Гончаров (Гончар) Осип Семенович (1796—1880), один из руководителей находившихся в Турции старообрядцев — т. 2: 272—274, *506*, *507*.
Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.) — т. 1: 208; т. 2: 92.
«Искусство поэзии»—т. 1: 697.
Горбунов Иван Федорович (1831—1895), актер и автор рассказов из народного быта — т. 1: 812.
Горгий (Горгиас) (ок. 483—375 до н. э.), древнегреческий философ-софист — т. 1: 456.
Горский Григорий, староста в подмосковном имении Яковлевых Васильевском — т. 1: 72, 73, 76.
Горчаков Александр Михайлович, князь (1798—1883), дипломат, министр иностранных дел с 1856 года, государственный канцлер с 1867 года — т. 2: 243, 342, *501*.
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), немецкий писатель — т. 2: 417, *481*.
Гош Лазар (1768—1797), военный деятель французской революции конца XVIII века — т. 1: 138.
Грабов Вильгельм (1802—1847), немецкий либерал, председатель франкфуртского и берлинского учредительных собраний в 1848—1849 годах, руководитель либерально-монархической оппозиции в 60-х годах против Бисмарка — т. 2: 359.
Гракхи, братья: Тиберий (163—132 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.)— т. 1: 460; т. 2: 31, 358.
Гранвиль Жан Изидор (псевдоним Жана Жерара) (1803—1847), французский график-карикатурист и иллюстратор — т. 1: 583, *894*.
Грановская Елизавета Богдановна, урожд. Мюльгаузен (1824—1857), жена Т. Н. Грановского — т. 1: 429, 430, 717, *885*; т. 2: 429, 434.
Грановский, отец Т. Н. Грановского— т. 1: 428.
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — т. 1: 341, 360, 363, 364, 385, 411, 418, 426—436, 453, 454, 456, 459, 461—466, 495, 498—501, 528—532, 539, 540, 567, 625, 642, 717, 796, 799, *864*, *865*, *874*, *875*, *879—881*, *884*, *888*, *892*; т. 2: 103, 241, 315, 317, 418, 419, 421, 423, 429—435, *500*, *535—537*.
Грассо Поль Луи (1800—1860), французский комический актер — т. 1: 812.
Грез Жан Батист (1725—1805), французский художник — т. 1: 481.
Греко Паскуале, участник итальянского национально-освободительного движения, сторонник Маццини, арестован в 1863 году в Париже как организатор покушения на Наполеона III — т. 2: 214, *494*.
Гренвиль Уильям Уинхэм, лорд (1759—1834), министр иностранных дел Англии в 1791—1801 годах — т. 1: 39, 386.

Грессе, горничная у М. А. Бакунина — т. 2: 291, 292.
Греч Николай Иванович (1787—1867), реакционный журналист — т. 1: 463.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — т. 1: 211, 453, 513, 734, *859*, *886*, *891*, *914*; т. 2: *500*, *508*, *520*.
«Горе от ума» — т. 1: 68, 104, 211, 442, 454, 513, 565, 689, 734, *859*, *886*, *914*; т. 2: 97, 139, 240, 277, 284, 364, *500*, *508*, *520*.
Григорий XVI (у Герцена ошибочно Григорий XIV) (1765—1846), папа римский с 1831 года — т. 1: 596.
Григорий Назианзин, или Богослов (ок. 329 — ок. 389), патриарх Константинополя — т. 1: 631.
Гризи Джулия (1811—1869), итальянская певица — т. 2: 34.
Гримм Мельхиор, барон (1723—1807), немецкий литератор и дипломат, живший в Париже — т. 1: 455, 526.
Грузинский Георгий Александрович (Егор Вахтангеевич), князь (1762—1852), помещик, отличавшийся жестокостью и самодурством — т. 1: 210, *859*.
Груши Эммануэль (1766—1847), французский маршал, сподвижник Наполеона в кампании 1815 года — т. 2: 199, *492*.
Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859), немецкий естествоиспытатель и путешественник — т. 1: 115—117, 513, 734, 788, *851*; т. 2: 137, 175, 359.
Густав II Адольф (1594—1632), шведский король с 1611 года — т. 1: 584.
Гуттен Ульрих фон (1488—1523), немецкий гуманист, деятель Реформации, писатель-сатирик — т. 1: 642.
Гэ Дельфина (1804—1855), французская писательница (жена журналиста Э. Жирардена), хозяйка салона в Париже — т. 1: 455, 714.
Гюго Виктор Мари (1802—1885) — т. 1: 277, 292, 364, 447, 629, 652, 761, *868*, *902*, *908*, *916*; т. 2: 25, 29, 35, 36, 38, 63, 371, 403, 404, 412, *465*, *467*, *468*, *521*, *530—532*.
«Возмездие» — т. 2: 35, *467*.
«Лучи и тени» — т. 1: 757, *916*.
«Наполеон Малый» — т. 2: 35, *467*.
«Отверженные» — т. 2: 38, *467*.
«Париж» — т. 2: 403—405, *530*.
«Последний день приговоренного к смерти» — т. 2: 35.
«Труженики моря» — т. 2: *521*.
«Что слышится на горе» — т. 1: 629, *902*.
«Oceano nox» — т. 1: 761, 766; т. 2: 415.

Давид Жак Луи (1748—1825), французский живописец — т. 2: 47, *469*.
Давид Д'Анже Пьер Жан (1788—1856), французский скульптор и мастер портретов-медальонов — т. 1: 566, *891*.
Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), поэт и военный писатель — т. 1: 125, *846*; т. 2: 65, *509*.
«Записки» — т. 1: 125.
«Современная песня» — т. 1: 70, *846*; т. 2: 284, *509*.
Давыдов Петр Дмитриевич, городничий г. Орлова Вятской губернии — т. 1: 250—252.
Далес, французский актер, дававший А. И. Герцену уроки декламации — т. 1: 55, 56
Даль-Верме (Дель-Верме) Мария, участница национально-освободительного движения в Италии — т. 1: 594.
Данило, кучер И. А. Яковлева — т. 1: 93, 94.
Данте Алигьери (1265—1321) — т. 1: 191, 442, 466, 597, 600, 647, 674, *858*, *877*, *903*; т. 2: 128, 154, 160, 356, 362, 427, 446, *539*.
«Божественная комедия» — т. 1: 191, 442, 597, 647, 674, 726, *858*, *877*, *903*, *905*, *913*; т. 2: 101, 128, 153, 154, 160, 362, 446, *539*.
Дантес Жорж Шарль, барон Геккерен (1812—1895), французский эмигрант, убийца Пушкина — т. 1: 772.
Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель французской революции конца XVIII века — т. 1: 138, 605; т. 2: 47, 56, 101, *469*.

Дараш Войцех (1808—1852), участник польского национально-освободительного движения, эмигрант — т. 1: 202, *474*.

Дараш Павел (1809—1871), участник польского восстания 1830—1831 годов и революционных событий в Галиции в 1848 году, эмигрант — т. 2: 101, 163, 329, *475*.

Даримон Луи Альфред (1819—1902), французский публицист, в молодости был сторонником Прудона, после переворота 1851 года поддерживал режим Наполеона III — т. 2: 398.

Дарте (Дорте) Огюстен Александр (1769—1797), деятель французской революции конца XVIII века, ближайший соратник Бабефа — т. 2: 197, *492*.

Дарья, горничная П. П. Медведевой — т. 1: 287, 288.

Дарья, кормилица А. И. Герцена — т. 1: 28, 31, 409, *872*.

Дашков Дмитрий Васильевич (1784—1839), министр юстиции с 1829 года — т. 1: 368.

Дашкова Екатерина Романовна, урожд. Воронцова, княгиня (1743—1810), участница дворцового переворота 1762 года, первый президент Петербургской академии наук и Российской академии — т. 1: 347, 385, 454, *866*, *869*.
«Записки» — т. 1: 385, 454, *869*.

Двигубский Иван Алексеевич (1771—1839), естествоиспытатель, профессор и ректор Московского университета — т. 1: 110—113, 116.

Дебро Поль Эмиль (1796—1831), французский поэт-песенник — т. 1: *890*.
«Te souviens-tu» — т. 1: 555, *890*.

Девиер — семья, родственная Яковлевым — т. 1: 36.

Девлет-Кильдеев, исправник Уржумского уезда Вятской губ. — т. 1: 218, 230, *860*.

Девонширы, старинный английский дворянский род — т. 2: 230, *493*.

Дежазе Виржини (1798—1875), французская актриса — т. 2: 370, *521*.

Дезирабод, парижский зубной врач — т. 1: 802.

Де-Кандоль Огюстен Пирам (1778—1841), швейцарский ботаник — т. 1: 106.
«Растительная органография» — т. 1: 106.

Деку — см. Эскус В.

Делаво Анри, переводчик произведений А. И. Герцена на французский язык — т. 1: 364, *868*.

Де Ла Год Люсьен (1808—1865), французский журналист, участник тайных обществ эпохи Июльской монархии, разоблачен как шпион — т. 2: 160, 161.
«Записки» — т. 2: 160.

Делеклюз Луи Шарль (1809—1871), французский революционер, журналист, после поражения революции 1848 года эмигрировал в Англию, в 1853 году нелегально вернулся во Францию и был арестован — т. 2: 161.

Делессер Габриэль Абрагам (1786—1858), префект парижской полиции в 1836—1848 годах — т. 1: 573, 574; т. 2: 41, 42.

Делич Богдан Иванович, учитель латинского языка во владимирской гимназии во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 489.

Дель Бальцо, участник итальянского национально-освободительного движения — т. 1: 804.

Дель-Верме — см. Даль-Верме М.

Дельпьер Жозеф (1802—1879), бельгийский литератор, секретарь посольства и затем генеральный консул Бельгии в Лондоне — т. 2: 392, 393.

Демонтович (Домантович) Иосиф, деятель польского национально-освободительного движения, заграничный представитель Варшавского центрального комитета перед восстанием 1863 года — т. 2: 307, 310—313.

Демосфен (384—322 до н. э.) — т. 1: 666.

Демулен Камилл (1760—1794), деятель французской революции конца XVIII века, журналист — т. 1: 138, 494, 550, *845*, *884*.

Демулен Люсиль, урожд. Дюплесси (1771—1794), жена К. Демулена — т. 1: 62, *845*.

Денисов Федор Алексеевич (ум. в 1830), профессор технологии Московского университета с 1818 года — т. 1: 120.
Депретис Агостино (1813—1887), в молодости принадлежал к «Молодой Италии», участвовал в 1860 году в походе Гарибальди, но вскоре стал сторонником Кавура. После объединения Италии занимал ряд министерских постов — т. 2: 380, *524*, *525*.
Дерби Эдуард, лорд Стэнли (1799—1869), английский политический деятель, лидер консерваторов — т. 2: 54, 87—89, 96, 129, 207, 230, 351, *472*.
Державин Гаврила Романович (1743—1816) — т. 1: 86, 350, 476, *847*, *881*; т. 2: *535*.
«Вельможа» — т. 1: 466, *881*.
«К Степану Васильевичу Перфильеву на смерть князя Александра Ивановича Мещерского»— т. 1: 86, *847*.
«Утро» — т. 2: 423, *535*.
Деруан Жанна, французская публицистка — т. 1: 322.
«Альманах для женщин» — т. 1: 322.
Дефо Даниель (ок. 1660—1731) — т. 1: 304.
«Робинзон Крузо» — т. 1: 304.
Джемс Эдвин Джон (1812—1882), английский адвокат—т. 2: 90—92.
Джефферсон Томас (1743—1826), президент США в 1801—1809 годах — т. 2: 169, *487*.
Джонс Эрнст Чарльз (1819—1868), один из руководителей левого крыла чартистского движения, поэт и публицист — т. 2: 134, 337, 338, *478*, *484*, *519*.
Диана (м и ф.)— т. 1: 281; т. 2: 441.
Дибич Иван Иванович (1785—1831), фельдмаршал, участник войн с наполеоновской Францией. В 1831 году был командующим армией, посланной Николаем I для подавления польского восстания — т. 1: 124, 151.
Дидона (м и ф.) — т. 2: 312.
Дидро Дени (1713—1784) — т. 1: 85, 244, 454, 500, 526, 632, 688, *887*; т. 2: 39, 176.
«Жак-фаталист» — т. 1: 537, *887*.
Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804—1881), лидер английских консерваторов — т. 2: 87, *472*.
Диккенс Чарльз (1812—1870) — т. 2: 143.
Дильтей Филипп Генрих (ум. в 1781), первый профессор права в Московском университете — т. 1: 113.
Дифффенбах Иоганн Фридрих (1795—1847), немецкий хирург — т. 1: 548, 549.
Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт и баснописец — т. 1: 95, 118, 260, 476; т. 2: *536*.
«Прохожий» — т. 2: 428, *536*.
Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович, граф (1790—1863), генерал-майор, публицист. Был связан с декабристами. За отказ присягнуть Николаю I объявлен сумасшедшим — т. 1: 211.
Довиат, политический деятель, проповедник немецкого неокатолицизма — т. 1: 730.
Долгорукие, князья — т. 1: 439.
Долгорукий Василий Андреевич, князь (1804—1868), военный министр в 1852—1856 годах; шеф жандармов и начальник III Отделения в 1856—1866 годах — т. 2: 341.
Долгорукий Петр Владимирович, князь (1816—1868), публицист-памфлетист 60-х годов; в 1859 году эмигрировал, сотрудничал в «Колоколе» — т. 2: 228.
Долгорукий Яков Федорович, князь (1659—1720), государственный деятель, ближайший сотрудник Петра I — т. 1: 279.
Долгоруков (Долгорукий) Михаил Михайлович (1794—1841), отставной капитан, был сослан в 1831 году в Вятку, затем в Пермь и в Верхотурье — т. 1: 210, 211.
Домажиров, ординарец генерал-фельдмаршала Прозоровского — т. 1: 794.
Доманже Жозеф, французский эмигрант в Лондоне, учитель сына

А. И. Герцена — т. 1: 829, *920*; т. 2: 81.
Домантович — см. Демонтович.
Домбровский Конрад, польский эмигрант — т. 2: 340.
Доницетти Гаэтано (1797—1848), итальянский композитор — т. 1: 425, *874*.
«Линда ди Шамуни» — т. 1: 425, *874*.
«Лукреция Борджиа» — т. 2: 236.
Донозо Кортес — см. Вальдегамас.
Дон-Хуан (1823—1887), претендент на испанский престол — т. 2: 145.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — т. 2: 419, 421, *534*, *535*.
«Бедные люди» — т. 2: 422, *535*.
Драшусов Александр Николаевич (1816—1890), астроном и преподаватель Московского университета в 1840—1855 годах — т. 1: 137.
Друэ Анри (1799—1855), министр юстиции и полиции федерального совета Швейцарии — т. 1: 620.
Друэн де Люис Эдуард (1805—1881), французский министр иностранных дел в 1862—1866 годах — т. 2: 231, *498*.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), начальник штаба корпуса жандармов с 1835 года и управляющий III Отделением (1839—1856) — т. 1: 365, 370, 373—379, 389, 404, 503, 505—509, 533, 546, 562, 655, 664, 681, *872*, *885*, *904*; т. 2: 327, *455*.
Дюгеклен (дю Геклин) Бертран (ок. 1320—1380), коннетабль (командующий) французских войск во время Столетней войны — т. 2: 439.
Дюку Франсуа Жозеф (1808—1872), префект парижской полиции после подавления июньского восстания 1848 года — т. 1: 564.
Дюма Александр (отец) (1802—1870) — т. 1: 730, *913*; т. 2: 11, 344, *462*.
«Катилина» (в соавторстве с А. Маке) — т. 1: 730, *913*.
Дюпон де Лэр Жак Шарль (1767—1855), французский политический деятель, в 1830 году был министром юстиции — т. 1: 124.
Дюрам Джон Джордж, граф (1792—1840), английский политический деятель, посол в России в 1835—1837 годах — т. 1: 116.
Дюфресс Марк (1814—1876), французский политический деятель, был близок к Прудону, изгнан из Франции после 2 декабря 1851 года — т. 2: 407—409, 411, *530*.
«История права войны и мира с 1789 по 1815 год» — т. 2: 407, 408, *530*.
Дюшен Жорж (1824—1876), французский журналист, один из редакторов прудоновской газеты «Народ» — т. 1: 686.
Дядьковский Иустин Евдокимович (1784—1841), в 1816—1836 годах профессор Московской медико-хирургической академии, в 1831—1835 годах профессор патологии и директор клиники Московского университета — т. 1: 513.

Евгения (1826—1920), французская императрица, жена Наполеона III — т. 1: 526.
Екатерина II (1729—1796) — т. 1: 64, 94, 102, 115, 123, 170, 181, 244, 248, 296, 381, 383—385, 392, 439, 453, 474, 475, 480, 486, 532, *845*, *849*, *852*, *861*, *866*; т. 2: 22, 55, 320, 372, *464*, *522*.
Елагина Авдотья Петровна, урожд. Юшкова, по первому браку Киреевская (1789—1877), мать И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка литературного салона в Москве в 30—40-х годах — т. 1: 456, 692.
Елачич (Исллачич) Иосиф (1801—1859), хорватский националист, участвовал в подавлении венгерской революции 1848—1849 годов — т. 1: 441, *877*.
Елена, горничная в доме М. А. Хованской — т. 1: 276.
Елена Павловна (1806—1873), великая княгиня, жена вел. кн. Михаила Павловича — т. 1: 533.
Елизавета Алексеевна (1779—1826), жена Александра I — т. 1: 69.
Елизавета Петровна (1709—1761),

императрица с 1741 года — т. 1: 69, 229, 439, *845*.

Елизавета Тюдор (1533—1603), английская королева с 1558 года — т. 1: 357; т. 2: 166.

Енохин Иван Васильевич (1791—1863), лейб-медик, главный инспектор медицинской части по армии — т. 1: 252.

Енфантен — см. Анфантен.

Епифанов Василий, в годы детства и юности Герцена земский чиновник в селе Васильевском — т. 1: 72, 76, 652.

Еремей, кучер Н. П. Огарева — т. 1: 143.

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), полководец и дипломат, герой Отечественной войны 1812 года, в 1816—1827 годах главнокомандующий на Кавказе — т. 1: 125, 158, 342, 385, 453; т. 2: 103, 397, *474*, *528*.

Жабицкий Антоний (1810—1871), польский революционер, эмигрант, член «Централизации» с 1851 года — т. 2: 115—117.

Жанна Д'Арк (Орлеанская дева) (ок. 1412—1431) — т. 2: 210.

Жаннета, горничная Эммы Гервег — т. 1: 754.

Жеребцов Дмитрий Сергеевич (1777—1845), новгородский губернатор в 1818—1825 годах — т. 1: 399.

Жеребцова Ольга Александровна, урожд. Зубова (1766—1849), приятельница И. А. Яковлева — т. 1: 365, 380—388, 473, 503, 507, *885*; т. 2: 455.

Жирарден Эмиль де (1806—1881), французский публицист, издатель газеты «Пресса» в 1836—1866 годах — т. 1: 687, 692, *907*, *908*.

Жомини Антуан Анри, барон (1779—1869), французский генерал, теоретик, в 1813 году перешел на русскую службу, в 40-х годах жил в Париже — т. 2: 326, *516*, *517*.

Жорж, негр, служил в доме Герцена в 1858 году — т. 2: 346, 347.

Жорж (наст. фамилия Веймер) Маргерит Жозефин (1787—1867), французская актриса — т. 1: 55.

Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876) — т. 1: 62, 304, 339, 364, 367, 455, 456, 466, 537, 543, 596, 652, 707, 749, 769, 802, 811, 813, *879*, *887*, *898*, *899*, *913*, *915*; т. 2: 120, 127, 141, 142, 373, 402, 458, *468*, *481*, *482*, *522*, *540*.

«Жак» — т. 1: 537, 543, *887*.

«Леон Леони» — т. 1: 707, *913*.

«Лукреция Флориани» — т. 2: 458, *540*.

«Орас» — т. 1: 304, 749, 769, 802, *915*.

«Теверино» — т. 1: 596, *899*.

«Чертово болото» — т. 1: 466.

Жоффруа Сент Илер Этьен (1772—1844), французский естествоиспытатель — т. 1: 106.

Жуи де (наст. имя — Виктор Жозеф Этьен) (1764—1846), французский писатель и политический деятель — т. 1: 61, 481, *882*.

«Пустынник с улицы д'Антэн» — т. 1: 481, *882*.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — т. 1: 247, 252, 260, 352, 375, 490, *851*, *891*.

«Бородинская годовщина» — т. 1: 118, *851*.

Жюль, служил в доме Герцена в Лондоне — т. 2: 238.

Жюльвекур, французский журналист — т. 1: 801.

Жюльен Луи Антуан (1812—1860), французский композитор, автор легких музыкальных пьес — т. 2: 147, 148.

З., полковник — см. Снаксарев А. И.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель, в 1831—1842 годах директор императорских театров Москвы — т. 1: 62, 199, 440.

Замойский Владислав, граф, польский политический деятель, эмигрант, во время Крымской войны пытался организовать в Турции польский легион против России — т. 2: 272.

Замятнин Александр Гаврилович (ум. в 1868), жандармский штаб-офицер в Вятке в 1836—1838 годах — т. 1: 119, 120, *851*.

Замятнина Прасковья Андреевна, урожд. Волконская (ум. в 1873), жена А. Г. Замятнина — т. 1: 119, 120, *851*.
Занд Карл (1795—1820), студент Иенского университета, убивший реакционного писателя Коцебу — т. 1: 134, 671.
Захарьина Ксения (Аксинья) Ивановна, мать Н. А. Захарьиной-Герцен — т. 1: 270—272.
Захарьины, дети А. А. Яковлева и К. И. Захарьиной, братья и сестры Н. А. Захарьиной-Герцен: Петр, Павел, Екатерина (в замуж. Селина), Софья (в замуж. Семичева), Анна (в замуж. Орлова) — т. 1: 103, 270.
Зевс (м и ф.) — т. 2: 123, 230, *535*.
Зенкович Леон (1803—1871), польский революционер, публицист, выбран в «Централизацию» в 1852 году — т. 2: 109—111, 114, 115, 307, 308.
Зигмунд, отец Эммы Гервег, богатый торговец — т. 1: 735, 738, 741, 742, *914*.
Златовратский Петр Иванович, дьякон во Владимире — т. 1: 317.
Зонненберг Карл Иванович (ум. после 1862), гувернер Н. П. Огарева, позднее жил в доме И. А. Яковлева — т. 1: 77, 79, 80, 83, 84, 90—92, 95, 99, 258, 283—285, 296, 413, 510.
Зубков Василий Петрович (В.) (1799—1862), советник Московской палаты гражданского в 1824 году и уголовного суда в 1829—1837 годах, впоследствии обер-прокурор сената — т. 1: 153—156, *856*.
Зубов Платон Александрович (1767—1822), фаворит Екатерины II — т. 1: 383, 384; т. 2: 42.
Зурбаран — см. Сурбаран.
Зуров Епидифор Антиохович (1798—1871), новгородский военный губернатор в 1839—1846 годах — т. 1: 389—392, 394, 400, 402, 588.

Ибаев Лев Константинович (род. ок. 1804), отставной поручик, был арестован в 1834 году одновременно с Герценом, сослан в Пермь, освобожден в 1842 году — т. 1: 187, 188, *858*.
Ивакин Михаил Петрович, губернский землемер в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 368.
Иван IV Васильевич (1530—1584), с 1533 года великий князь, с 1547 года царь — т. 1: 195, 241, 450, 463, 479; т. 2: 423, *535*.
Ивашев — см. Головинский А. Е.
Ивашев Василий Петрович (1797—1840), декабрист, до ареста ротмистр — т. 1: 62—64, *845*.
Ивашев Петр Никифорович (ум. в 1838), был адъютантом у Суворова, отец декабриста В. П. Ивашева, генерал-майор, симбирский помещик — т. 1: 62, 64, *845*.
Ивашева Камилла Петровна, урожд. Ле-Дантю (1808—1839), жена декабриста В. П. Ивашева — т. 1: 62—64.
Ивашевы, сестры декабриста В. П. Ивашева: Ел. П. Языкова и Ек. П. Хованская — т. 1: 63.
Ивашевы — т. 1: 62—64.
Иеллачич — см. Елачич И.
Измайлов Лавр Тимофеевич, полковник, городничий г. Покрова — т. 1: 192—194.
Измайлов Лев Дмитриевич (1763—1836), генерал, помещик Рязанской губ., известный истязаниями крепостных — т. 1: 210, 211; т. 2: 120.
Измайлова, жена Л. Т. Измайлова — т. 1: 194.
Изяславичи, древнерусский княжеский род — т. 1: 86.
Иловайский Иван Дмитриевич (1767 — после 1827), генерал — т. 1: 27, 31, 32.
Иммерман Карл Лебрехт (1796—1840), немецкий писатель, друг Гейне — т. 2: 357.
Иоанн, священник в селе Покровском — т. 1: 401, 414—417, 539, 540, 542, *888*, *889*.
Иоанн Златоуст (347—407), архиепископ Константинопольский в 398—404 годах — т. 2: 26.
Иоанн Лейденский (Ян Бокельзон) (ок. 1510—1536), один из руководителей нидерландских ана-

баптистов, глава Мюнстерской коммуны в 1534—1535 годах—т. 2: 210.
Иоанн I Цимисхий (925—976), византийский император с 969 года — т. 2: 382, *525*.
Иоанн Прочида — см. Прочида Джованни.
Иоанна (Анна-папиха), по преданию, занимала папский престол под именем Иоанна VIII в 855—858 годах — т. 2: 376, *523*.
Иоганн, австрийский эрцгерцог (1782—1859), сын Леопольда II, в 1848 году был избран франкфуртским парламентом «блюстителем империи», затем встал на сторону контрреволюции — т. 1: 675, 676, *905*.
Иокиш, немец гувернер А. И. Герцена —т. 1: 57.
Иосиф II (1741—1790), соправитель Марии-Терезии в 1765—1780 годах, император т. н. «Священной римской империи германской нации» с 1780 года, венгерский король — т. 1: 80, 269; т. 2: 320.
Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 95), древнееврейский историк и военачальник — т. 2: 338, 339.

К.— т. 1: 351, *867*.
Кабанис Пьер Жан Жорж (1757—1808), французский врач и философ — т. 2: 176.
Кабе Этьен (1788—1856), французский публицист, писатель, идеолог утопического «мирного коммунизма» — т. 1: 422, 570, *873*, *874*; т. 2: *490*.
«Путешествие в Икарию» — т. 1: 422, 687, *874*; т. 2: 185, *490*.
Кабрит Андрей Федорович, пермский вице-губернатор в 1835 году — т. 1: 197.
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк и юрист, профессор Московского (1844—1848) и Петербургского (1857—1861) университетов — т. 1: 115, 467, *881*; т. 2: 166, 242, 419, *501*, *534*, *535*.
«Взгляд на юридический быт древней Руси» — т. 1: 467, *881*; т. 2: 421—423, *534*, *535*.
Кавеньяк (Каваньяк) Годфруа (1801—1845), французский политический деятель, участник революции 1830 года — т. 1: 617, 618; т. 2: 16, 107, *463*.
Кавеньяк (Каваньяк) Луи Эжен (1802—1857), французский генерал, военный диктатор в Июньские дни, подавил восстание пролетариата, глава правительства в июне — декабре 1848 года — т. 1: 563, 564, 686, 720, *913*; т. 2: 62, *463*.
Кавур Камилло Бензо, граф (1810—1861), государственный деятель Пьемонта; проводил политику национального объединения Италии в буржуазно-монархическое государство — т. 2: 10, 12, 135, 136, 380, *461*, *462*, *525*.
Калдези, лондонский фотограф — т. 2: 16, 210.
Калигула Гай Цезарь (12—41), римский император с 37 года — т. 2: 403, *530*.
Калкрафт, лондонский палач — т. 2: 81.
Калло Жак (ок. 1592 — 1635), французский художник — т. 1: 177.
Кало Карл Иванович (ум. в 1842), камердинер Л. А. Яковлева — т. 1: 27, 34, 35, 38, 41, 52, 53, 469.
Кальвин Жан (1509—1564), деятель Реформации, основатель кальвинистского вероучения — т. 1: 613, 617, 620; т. 2: 12, 350, 352.
Кальпурний (Калпурний) Люций («Бестия»), римский консул — т. 1: 665.
Камбасерес Жан Жак Режи (1753—1824), член Конвента в 1792 году, автор проекта гражданского кодекса в период якобинской диктатуры, участвовал в составлении кодекса Наполеона — т. 1: 706, *913*.
Каменский Павел Павлович (1812—1870), студент Московского университета, участник «маловской истории» — т. 1: 113, *850*.
Канкрин Егор Францевич (1774—1845), министр финансов России в 1823—1844 годах — т. 1: 205, 232, *859*.

Каннинг Джордж (1770—1827), английский министр иностранных дел в 1807—1809 и 1822—1827 годах и премьер-министр в 1827 году— т. 1: 386, 447; т. 2: 362.
Кант Иммануил (1724—1804) — т. 1: 106, 362, 495, 701; т. 2: 175, 191, 241, 426.
Каподистрия Иоаннис, граф (1776—1831), греческий государственный деятель, президент Греческой республики с 1827 года — т. 2: 381.
Капп Фридрих (1824—1884), немецкий политический деятель и литератор, участник революции 1848 года — т. 1: 584, 606; т. 2: 246, *502*.
Капцевич Петр Михайлович (1772—1840), генерал от артиллерии, в 1822—1828 годах генерал-губернатор Западной Сибири — т. 1: 221.
Каракалла Марк Аврелий Антонин (186—217), римский император с 211 года — т. 2: 403, *530*.
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) революционер-террорист. Был повешен за покушение на Александра II — т. 2: 376, *523*.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — т. 1: 82, 86, 95, 106, 260, 395, 439; т. 2: 415, 426. «История государства Российского» — т. 1: 86, 106; т. 2: 426. «Цветок на гроб моего Агатона»— т. 1: 82.
Карл-Альберт (1798—1849), король Сардинии (Пьемонта) с 1831 года — т. 1: 557, 680, *890*, *906*.
Карл Великий (ок. 742—814), франкский король с 768 года, римский император с 800 года — т. 1: 798, *917*.
Карл Смелый (1433—1477), последний бургундский герцог с 1467 года, убит в бою с швейцарцами— т. 1: 679, 684, *906*.
Карл V (1500—1558), император Священной Римской империи в 1519—1555 годах — т. 2: 310.
Карл X (1757—1836), французский король в 1824—1830 годах. До занятия престола носил титул графа д'Артуа — т. 1: 124, 386, 461, *852*; т. 2: 86.
Карлейль Томас (1795—1881), английский писатель, историк и философ-идеалист — т. 1: 493; т. 2: 54, 206, 382, 440, 441, *493*, *525*, *538*.
Карлье Пьер (1799—1858), префект парижской полиции в 1849—1851 годах — т. 1: 507, 651—656, 725, *911*; т. 2: 104.
Карно Лазар Никола (1753—1823), военный деятель французской революции конца XVIII века — т. 1: 605.
Каролина Шарлотта (1768—1821), жена английского короля Георга IV — т. 2: 94, 362, *520*.
Каррель Арман (1800—1836), французский публицист, один из основателей газеты «Насьональ»— т. 1: 124, 155, 618.
Картуш Луи Доминик (1693—1721), глава разбойничьей шайки, действовавшей в Париже и окрестностях Парижа; его имя стало впоследствии нарицательным — т. 1: 476.
Карус Карл Густав (1789—1869), немецкий естествоиспытатель; был последователем Ф. Шеллинга — т. 1: 348.
Карье Жан Батист (1756—1794), деятель французской революции конца XVIII века. В 1793—1794 годах был комиссаром Конвента в Нанте — т. 1: 206.
Кассандра (м и ф.) — т. 2: 371, *522*.
Кастельри Роберт Стюарт, лорд Лондондерри (1779—1822), английский министр иностранных дел в 1812—1822 годах — т. 2: 87, *472*.
Кастн Джованни Баттиста (1724—1803), итальянский поэт, аббат. В 1778 году посетил Россию — т. 1: 85.
Катанн Михаил Иванович («колчевский»), полицмейстер в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 204, 222, 235.
Катерина, горничная в семье А. И. Герцена — т. 1: 405—407.
Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.), политический деятель Древнего Рима, глава неудавшегося заговора против республ-

лики — т. 1: 691, 730, *910*; т. 2: 387, *527*.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), реакционный публицист; в 30-х годах был близок к кружку Станкевича, в конце 40-х годов открыто перешел в антидемократический лагерь — т. 1: 360, 533; т. 2: 242, 243, 250, 274, 285, 345, *478*, *497*, *500*, *507*, *508*.

Каульбах Вильгельм (1805—1874), немецкий живописец и рисовальщик — т. 2: 137, 138.

Кауниц (сын) — т. 1: 269.

Кауниц-Ритберг Венцель Антон, князь (1711—1794), австрийский государственный деятель и дипломат — т. 1: 269.

Кауфман, немецкий журналист, издавал в 50-х годах в Париже, а затем в Лондоне бюллетень для редакций газет и журналов — т. 2: 342.

Каховский Петр Григорьевич (1797—1826), декабрист, один из наиболее активных участников вооруженного восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года — т. 1: 64, 121, 149.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк и критик; с 1810 года профессор теории изящных искусств и археологии Московского университета; с 1821 года — профессор по кафедре истории, статистики и географии России; с 1835 года — профессор истории и литературы славянских народов; с 1837 года — ректор Московского университета — т. 1: 114, 118, 463.

Качковский Зыгмунт (1825—1896), польский писатель — т. 2: *476*.

«Мурделио» — т. 2: 120, *476*.

Кашенцов Андрей Степанович, камердинер Л. А. и И. А. Яковлевых, впоследствии проживал в их подмосковном имении Покровском — т. 1: 47, 409.

Кашовская Саломея, жена С. Ворцеля — т. 2: 106.

Квадрио Маурицио (1800—1876), публицист, ближайший сотрудник Маццини — т. 2: 100, *474*.

Келли Фицрой (1796—1888), английский королевский прокурор — т. 2: 90, 94, 98, 99.

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — т. 1: 842; т. 2: 247, 265—272, 274, 275, *505—508*.

«Пережитое и передуманное» — т. 2: 266, *505*.

«Сборник правительственных сведений о раскольниках» — т. 2: 270, *505*.

Кельсиев Иван Иванович (1841—1864) — т. 2: 272, 274, *506*, *507*.

Кельсиева Варвара Тимофеевна (ок. 1840—1865) — т. 2: 269, 272, 274, 275, *505—508*.

Кельсиева Мария Васильевна («Милуша», «Малуша») (1860—1865) — т. 2: 269, 274, 275, *505—508*.

Кемпбель (Кембель) Джон, лорд (1779—1861), английский юрист, главный судья в 1850—1859 годах, лорд-канцлер с 1859 года — т. 2: 70—76, 78, 90—92, 94, 95, 97—99, 233.

Кеннингам (у Герцена ошибочно: Конингам) Уильям, английский политический деятель, радикал, сочувствовал польскому освободительному движению — т. 2: 331.

Кенсона, граф, французский эмигрант-монархист, состоял на русской военной службе — т. 1: 33, 34.

Кентский герцог Эдуард (1767—1820), отец английской королевы Виктории — т. 2: 171, 185, *490*.

Кеплер Иоганн (1571—1630), немецкий астроном — т. 1: 500.

Кердеруа Эрнест (1825—1862), врач, участник революции 1848 года во Франции, примыкал к крайним левым республиканцам, эмигрант, публицист — т. 2: 47—53, *469*, *470*.

«Мои дни изгнания» — т. 2: 51, 53, *470*.

«Ура, или Революция, совершенная казаками» — т. 2: 47, 48, *469*.

Кернер Карл Теодор (1791—1813), немецкий поэт и драматург, автор патриотических песен, погиб во время войны против Наполеона — т. 1: 603, *901*.

«Лира и меч» — т. 1: 603, *901*.

Керсози Иоахим Рене Теофиль (1798—1874), французский революционный деятель, автор военного плана июньского восстания 1848 года — т. 1: 577, 578.

Кестнер, служащий банкирской конторы Ротшильда в Лондоне — т. 2: 280, 281.

Кетчер Николай Христофорович (1809—1886), поэт-переводчик, врач — т. 1: 126, 127, 134, 139, 141, 142, 144, 304—312, 336, 337, 409—411, 421, 499, 511—522, 525—533, 536, 540, 758, 798, *842*, *854*, *864*, *867*, *875*, *880*, *886*, *887*; т. 2: 418, *500*, *534*.

Кетчер Пелагея Васильевна (1781—1841), мать Н. Х. Кетчера — т. 1: 306, 512.

Кетчер Серафима Николаевна, жена Н. Х. Кетчера — т. 1: 520—522, 525—530, 532.

Кетчер Христофор Яковлевич (1757—1829), отец Н. Х. Кетчера — т. 1: 512.

Киарамонти — см. Пий VII.

Кине Эдгар (1803—1875), французский политический деятель, историк и публицист, член Учредительного и Законодательного собраний 1848—1851 годов, эмигрант после переворота 2 декабря 1851 года — т. 2: 387, 396, 406—409, *528*, *530*.

«Франция и Германия» — т. 2: 387.

Кинкель Готфрид (1815—1882), немецкий поэт и историк искусства — т. 1: 833; т. 2: 113, 121, 123—126, *479*, *480*, *485*.

Кинкель Иоанна (1810—1858), немецкая писательница, жена Г. Кинкеля — т. 2: 124—126.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), публицист, философ, критик, один из основателей славянофильства — т. 1: 133, 351, 360, 437, 458—462, 465—469, 502, *879*, *881*.

«Обозрение русской словесности 1829 года» — т. 1: 458, *879*.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), фольклорист, писатель-славянофил — т. 1: 360, 437, 458—461, 465, 467—469, *881*.

Кирилл (монашеское имя Константина) (827—869) и его брат *Мефодий* (ум. в 885), византийские монахи, славянские просветители — т. 1: 230.

Киселев Николай Дмитриевич (1800—1869), русский посол в Париже в 1844—1854 годах — т. 1: 648, 654, 655, *903*.

Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872), с 1837 по 1856 год министр государственных имуществ; в 1856—1862 годах посол в Париже — т. 1: 234, 648, *860*, *861*.

Киселева Софья Станиславовна, жена Н. Д. Киселева — т. 2: 363.

Кларендон Джордж Уильям Фредерик Вильерс, граф (1800—1870), английский государственный деятель, министр иностранных дел в 1853—1858, 1865—1866, 1868—1870 годах — т. 2: 231, 232, *493*, *498*.

Клебер Жан Батист (1753—1800), сын каменщика, вступивший в 1792 году волонтером во французскую армию и ставший крупным полководцем — т. 1: 601, 602, *900*.

Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), реакционный государственный деятель, в 1842—1855 годах главноуправляющий путями сообщения — т. 1: 45, 205, 210, 217, 399, *859*.

Клеопатра (69—30 до н. э.), египетская царица — т. 1: 535, *887*.

Клиссон Оливье де (1336—1407), бретанский аристократ — т. 2: 439.

Клиффорд, лорд (1790—1858), член верхней палаты английского парламента, публицист — т. 2: 83, 84.

Клоотс (Клоц) Анахарсис (настоящее имя Жан Батист) (1755—1794), деятель французской революции конца XVIII века, пропагандист идеи всемирной республики — т. 1: 678, 793; т. 2: 190, 411, *491*, *531*.

Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803), немецкий поэт — т. 1: 673.

Клоц — см. Клоотс Анахарсис.
Ключарев Григорий Иванович (1793—1868), московский чиновник, вел денежные дела И. А. Яковлева, после отъезда А. И. Герцена за границу вел дела последнего — т. 1: 89, 471, 472, 477, *847*, *882*.
Ключарев Павел Сергеевич, дьякон, давал уроки Н. А. Захарьиной — т. 1: 274, 276, 278, *862*.
Ключарева Татьяна Ивановна, попадья, приживалка М. А. Хованской, мать П. С. Ключарева — т. 1: 274, *862*.
Клюшников Иван Петрович (1811—1895), поэт — т. 1: 361.
Княжнин Яков Борисович (1742—1791), драматург, поэт, переводчик — т. 1: 113.
Кобден Ричард (1804—1865), английский политический деятель, идеолог промышленной буржуазии, основал «Лигу борьбы с хлебным законом», выступавшую против аграрного протекционизма — т. 2: 129.
Ковалевский Осип Михайлович (1800—1878), один из основоположников русского монголоведения; с 1833 года профессор, с 1855 по 1860 год ректор Казанского университета — т. 1: 294.
Козенц Энрико (1820—1898), итальянский революционер, в 1859 году вступил в армию Гарибальди — т. 1: 594, 599, 771, 823, *897*, *916*; т. 2: 13.
Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт и переводчик — т. 1: 272, 310, *862*.
«Безумная» — т. 1: 310.
«Черпец» — т. 1: 272, *862*.
Кок Шарль Поль де (1793—1871), французский писатель — т. 1: 139.
Кокорев Василий Александрович (1817—1889), откупщик, финансовый делец — т. 1: 531.
Кокошкин Сергей Александрович (1785—1861), флигель-адъютант Николая I, петербургский обер-полицмейстер с 1830 года — т. 1: 503, 505, 506, 508, 509, 546.
Колачек Адольф (1796—1861), немецкий публицист, член «левой» франкфуртского парламента 1848 года, эмигрант — т. 2: 130, 161, *483*.
Колиньи Гаспар, граф де Шатийон (1519—1572), французский адмирал и политический деятель, вождь гугенотов с 1569 года — т. 1: 428.
Коллар, английский купец — т. 2: 77, *471*.
Колло д'Эрбуа Жан Мари (1750—1796), член Комитета общественного спасения в 1793 году — т. 1: 605; т. 2: 30.
Колумб Христофор (1451—1506) — т. 1: 587, 597, 641, 794; т. 2: 200, 378, 383.
Колрейф Юлий Павлович (Колрейф Юлиус Эммануэль) (1813—1844), студент Московского университета, участник Сунгуровского дела, был послан рядовым в Оренбургский корпус. В 1842 году вернулся в Москву — т. 1: 126, 131, 135, 514, 515, *848*, *853*, *854*.
Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — т. 1: 354, 360, 362, 722, *913*; т. 2: 51, 53, 420.
«Дума сокола» — т. 1: 722, *913*.
Комаровский Евграф Федотович, граф (1769—1843), генерал, в 1816—1828 годах командир корпуса внутренней стражи — т. 1: 61.
Коменский Ян Амос (1592—1670), чешский педагог — т. 1: *903*.
«Мир в картинках» — т. 1: 637, *903*.
Комиссаров Осип Иванович (1838—1892), в 1866 году спас Александра II, толкнув покушавшегося на царя Каракозова — т. 2: 255.
Конарский Шимон (1808—1839), польский политический деятель, участник восстания 1830—1831 годов — т. 1: 216, 659, *859*; т. 2: 16, *464*.
Конгрив Уильям (1772—1828), английский генерал, артиллерист, изобретатель зажигательной ракеты — т. 1: 454.
Кондорсе Жан Антуан де, маркиз (1743—1794), французский философ-просветитель, в Конвенте примыкал к жирондистам — т. 1: 657.

Консидеран Виктор (1808—1893), французский социалист-утопист, ученик Фурье — т. 1: 687, 688; т. 2: 185, *490*.
Констан де Ребек Бенжамен Анри (1767—1830), французский писатель, публицист — т. 1: 124, 146.
Константин (274—337), римский император с 306 года — т. 1: 452.
Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), управлял морским министерством в 1855—1881 годах — т. 2: 247, 297, *502*, *503*, *512*.
Константин Павлович («цесаревич») (1779—1831), великий князь — т. 1: 61, 66, 79, 179, 252, 393.
Константинова Дарья, крепостная Аракчеева — т. 1: 399, *871*.
Конт Огюст (1798—1857), французский философ и социолог, основатель позитивизма — т. 1: 701, 816, *912*; т. 2: 176, 276, 402, *469*, *508*, *529*.
Коперник Николай (1473—1543) — т. 1: 641; т. 2: 418, *533*, *534*.
Копингам — см. Кеннингам У.
Корде Шарлотта (1768—1793), убийца Марата—т. 2: 251, 252, 302, *514*.
Корменен Луи Мари (1788—1868), французский юрист и политический деятель, вице-президент Учредительного собрания 1848 года — т. 2: 73.
Корнелий Непот (ок. 100 — ок. 27 до н. э.), древнеримский историк — т. 1: 594; т. 2: 11, 208.
Корнелиус Петер (1783—1867), немецкий живописец — т. 2: 137.
Корнель Пьер (1606—1684) — т. 1: 154, *856*.
«Горациі» — т. 1: 154, *856*.
Корнилов Александр Алексеевич (1801—1856), вятский губернатор в 1837—1838 годах — т. 1: 231, 254—257, 260, *860*.
Корнилова Софья Дмитриевна, жена А. А. Корнилова — т. 1: 254.
Корсаков А. А., драматург и переводчик начала XIX века — т. 1: 119, *851*.
«Марфа и Угар, или Лакейская война, комедия в одном действии, переделанная с французского из сочинений Дюбуа» — т. 1: 119, *851*.
Корсаков Михаил Семенович (1826—1871), генерал-губернатор Восточной Сибири с 1862 года — т. 2: 289, *511*.
Корф Николай Алексеевич, барон, офицер—т. 1: 71.
Корш Евгений Федорович (1810—1897), редактор «Московских ведомостей», участник кружка А. И. Герцена в 40-х годах — т. 1: 411, 418, 421, 424, 428, 488, 495, 499, 501, 502, 529, 531, *885*; т. 2: 415, 428, 430, *536*.
Корш Мария Федоровна (1809—1883), близкий друг семьи А. И. Герцена, сестра Е. Ф. Корша — т. 1: 546, 558, 723, 724, *890*; т. 2: 428, 431, 454, *526*, *540*.
Коссидьер Марк (1808—1861), участник революции 1848 года во Франции, префект парижской полиции в феврале — мае 1848 года — т. 1: 658, 737, 793; т. 2: 40—42, 161, 286, 287, *468*.
Костенецкий Яков Иванович (1811—1885), студент Московского университета, участник Сунгуровского дела. Был послан рядовым на Кавказ, в 1839 году произведен в офицеры. С 1842 года поселился в деревне — т. 1: 101, 125, 126, 135, *848*, *853*, *854*.
Костенька — см. Наталья Константиновна.
Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796), поэт и переводчик—т. 1: 113.
Костюшко Тадеуш (Фаддей) (1746—1817), руководитель польского национально-освободительного движения 1794 года — т. 1: 124, 200; т. 2: 119, *476*.
Котельницкий Василий Михайлович (1770—1844), профессор Московского университета в 1810—1835 годах, был несколько раз деканом медицинского факультета — т. 1: 112.
Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подьячий Посольского приказа, бежал за границу, написал в Стокгольме сочинение «О России в цар-

ствование Алексея Михайловича» — т. 2: 428, 435.
Котта Иоганн Фридрих (1764—1832), немецкий издатель — т. 2: 357.
Кох — т. 1: 769, *916*.
Коцебу Август Фридрих Фердинанд (1761—1819), немецкий писатель, монархист и реакционер, шпион царского правительства и агент Священного союза — т. 1: 53.
Кочубей Лев Викторович (1810—1890), князь — т. 2: 243, *501*.
Кошелев Александр Иванович (Х.) (1806—1883), публицист и общественный деятель, славянофил — т. 2: 431, *536*.
Кошут Лайош (1802—1894), венгерский политический деятель, главный организатор борьбы венгерского народа во время революции 1848—1849 годов — т. 1: 117, 610, 660; т. 2: 10, 14, 18—24, 63, 108, 109, 114, 115, 128, 130—133, 135, 152—154, 326, *465*.
Краевский Андрей Александрович («А. К.») (1810—1889), либеральный публицист, издатель журнала «Отечественные записки» с 1839 года — т. 1: 349, 351, 543, *867*.
Красинский (Красиньский) Зыгмунт (1812—1859), польский поэт — т. 1: 446; т. 2: 102, 103, *474*.
«Псалмы будущего» — т. 2: 102, *474*.
Краснопевцев Петр Иванович (ум. в 1865), русский офицер, член революционной группы офицеров в Польше; в 1863 году перешел на сторону польских революционеров; после подавления восстания был арестован, бежал в Париж — т. 2: 274.
Красов Василий Иванович (1810—1855), поэт, друг Станкевича и Белинского — т. 1: 363.
Красовский Андрей Афанасьевич (1822—1868), подполковник, приговорен к каторжным работам за распространение прокламаций среди солдат — т. 2: 245, *502*.
Краут, немецкий скульптор — т. 2: 148.
Крейц Циприан Антонович (1777—1850), генерал от кавалерии, принимал участие в подавлении польского восстания 1830—1831 годов — т. 1: 199.
Кремье Исаак Адольф (1796—1880), французский министр юстиции во временном правительстве 1848 года — т. 2: 64.
Критский Василий Иванович (1810—1831), студент Московского университета, участник тайного общества, арестован в 1827 году и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер — т. 1: 101, 125, *848*, *853*.
Критский Михаил Иванович (1809—1836), студент Московского университета, участник тайного общества, арестован в 1827 году и заключен в тюрьму Соловецкого монастыря; в 1834 году послан рядовым на Кавказ, где был убит — т. 1: 101, 125, *848*, *853*.
Критский Петр Иванович (1806—после 1855), чиновник, участник тайного общества, арестован в 1827 году; шесть лет провел в ссылке, потом был переведен в солдаты. В 1855 году вернулся в Москву — т. 1: 101, 125, *848*, *849*, *853*.
Кромвель Оливер (1599—1658) — т. 1: 696, *912*; т. 2: 32, 56, 350.
Кронос (Хронос) (м и ф.) — т. 2: 426, *535*.
Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — т. 1: 86, 260, 427, *874*, *891*.
«Прохожий и собаки» — т. 2: 124.
Крылов Никита Иванович (1807—1879), профессор Московского университета по кафедре римского права с 1836 года, цензор в 1839—1844 годах — т. 1: 436, *876*.
Крюков Дмитрий Львович (1809—1845), профессор римской словесности и древностей Московского университета; участник кружка А. И. Герцена в 40-х годах — т. 1: 418, 421, 436, 454, 494; т. 2: 315, 317, *515*.
Ксанф (жил в первой половине V века до н. э.), древнегреческий историк — т. 1: 349, *867*.

Кудлих Ганс (1823—1917), участник венской революции 1848 года— т. 1: 673, 674.
Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858), историк, писатель, профессор Московского университета, друг Грановского — т. 2: 420, *534*.
«Без рассвета» — т. 2: 420, *534*.
Кузен, хозяйка отеля «Мирабо» в Париже — т. 1: 653.
Кузен (Кузень) Виктор (1792—1867), французский философ-идеалист, эклектик — т. 2: 410, *531*.
Кузьма, камердинер Н. М. Сатина — т. 1: 142, *855*.
Кук Джемс (1728—1779), английский мореплаватель — т. 1: 464.
Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель — т. 1: 368, 440, *877*.
«Рука всевышнего отечество спасла» — т. 1: 440, *877*.
Кулаков Григорий Иванович, советник губернского правления в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 224.
Купер Джемс Фенимор (1789—1851), американский писатель — т. 1: 304, 798, *863*.
«Последний из могикан»— т. 1: 304.
«Следопыт» («Патфайндер») — т. 1: 304, *863*.
Курбановский Николай — т. 1: 229, 230, *860*.
Курне Фредерик (1808—1852), участник французской революции 1848—1849 годов, эмигрант — т. 2: 65—75.
Курута Иван Эммануилович (1782—1852), владимирский губернатор в 1838—1842 годах, впоследствии сенатор —т. 1: 237, 238, 259, 313, 316, 318, 365, 393.
Курута Юлия Федоровна, урожд. Капнель (ум. в 1874), жена И. Э. Куруты — т. 1: 318.
Курье Поль Луи де Мере (1772—1825), французский либеральный публицист, писатель, филолог-эллинист — т. 1: 373.
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813) — т. 1: 30; т. 2: 11, 423.
Кутюр Тома (1815—1879), французский живописец — т. 1: 724, *913*.
«Римляне времен упадка» («Римская оргия времен упадка») — т. 1: 724, *913*.
Кучин Алексей Петрович (ок. 1808—после 1839), уланский офицер, брат Т. П. Пассек — т. 1: 43, 69, 70, *844*, *846*.
Кучин Петр Иванович, помещик, отец Т. П. Пассек — т. 1: 69—71, *846*.
Кучина Елизавета Михайловна, урожд. Тушнева, вторая жена П. П. Кучина, мачеха Т. П. Пассек — т. 1: 69, 70, *846*.
Кучина Наталья Петровна, урожд. Яковлева (ум. в 1822), мать Т. П. Пассек — т. 1: 69, *846*.
Кушников Сергей Сергеевич (1765—1839), сенатор, член комиссии по постройке храма по проекту Витберга, позднее следователь по его делу — т. 1: 243, 244, 246.
Кювье Жорж (1769—1832), французский естествоиспытатель — т. 1: 106, 182, 688, *850*.
«Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара» — т. 1: 106, 182, *850*.

Лабзин Александр Федорович (1766—1825), писатель-мистик, с 1799 года конференц-секретарь, с 1818 — вице-президент Петербургской академии художеств— т. 1: 61, 244, *861*.
Лаблаш Луиджи (1794—1858), оперный певец — т. 2: 34, 258, 260, 261, 363.
Лабочета Доменик (1823—1896), певец и виолончелист — т. 2: 137.
Лабуле Эдуард Рене (1811—1883), французский публицист — т. 2: 396, *528*.
«История Соединенных Штатов Америки» — т. 2: 396, *528*.
«Париж в Америке» — т. 2: 396, *528*.
«Соединенные Штаты и Франция» — т. 2: 396, *528*.
Лавиron Габриэль Инполит, французский революционер, участник революции 1848 года, погиб в июле 1849 года при защите Римской республики от французов — т. 1: 598, 601—603.

Лагран-Димонсо, бельгийский банкир — т. 2: 385, *526*.
Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — т. 2: *500*.
«Ледяной дом» — т. 2: 243, *500*.
Лазарев Николай Емельянович, исправник в городе Яранске Вятской губернии в 1837 году; в 1846 году — чиновник особых поручений при министре внутренних дел Перовском — т. 1: 256, 257.
Лазаревич С., капитан парохода «Великий адмирал» — т. 2: 247—250.
Лакордер Жан Батист Анри (1802—1861), французский католический проповедник, в 1848 году член Учредительного собрания—т. 1: 121, 446.
Лакруа, французский министр при Луи-Наполеоне — т. 1: 577.
Лаланд Жозеф Жером Франсуа (1732—1807), французский астроном и математик— т. 1: 106; т. 2: 291.
Ламарк Жан Максимилиан, граф (1770—1832), французский военный и политический деятель. В 1828 году был избран в палату депутатов — т. 1: 124, 155; т. 2: 43, *469*.
Ламармора Альфонсо Ферреро, маркиз (1804—1878), итальянский генерал и политический деятель, глава правительства объединенной Италии в 1864—1866 годах — т. 2: 380, 386, *524*, *525*, *527*.
Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт, публицист и политический деятель — т. 1: 555, 641, 657, 730, 738; т. 2: 102, 108, 414, *532*.
Ламенне Фелисите Робер де (1782—1854), французский аббат, публицист, идеолог «христианского социализма» — т. 1: 446, 447, 686, 805, *907*, *918*; т. 2: 124, 406.
Ламорисьер Луи Кристоф (1806—1865), военный министр в кабинете Кавеньяка — т. 1: 564; т. 2: 325.
Лампи Иоганн Батист (1751—1830), австрийский художник, в 1791—1797 годах жил в России — т. 1: 480.
«Портрет Екатерины II» — т. 1: 480.
Ланкло Нинон (1616—1706), французская куртизанка, хозяйка литературного салона — т. 1: 327.
Лапинский Теофил (1827—1886), деятель польского национально-освободительного движения, участник венгерской революции 1848—1849 годов, на Кавказе принимал участие в борьбе горцев против царских войск — т. 2: 300, 307, 309—314, *513*, *514*.
«Горные народы Кавказа и их освободительная война против русских» — т. 2: 311, *514*.
Лаплас Пьер Симон (1749—1827), французский астроном, математик и физик — т. 2: 176.
Ларошжаклен Анри Огюст Дювержье, маркиз (1805—1867), французский политический деятель, сторонник Бурбонов, в феврале 1848 года признал республику, позже примкнул к бонапартистам — т. 1: 659.
Ларошфуко Франсуа де, герцог (1613—1680), французский писатель-моралист — т. 1: 95, 826, *919*.
«Размышления, или Сентенции и максимы о морали» — т. 1: 826, *919*.
Лас-Каз Эмануэль Огюст Дьедоне, граф (1766—1842), приближенный и биограф Наполеона — т. 1: 99, *848*.
«Memorial de Sainte Hélène» — т. 1: 99, *848*.
Латур Теодор (1780—1848), австрийский военный министр, казнен в Вене в октябре 1848 г. восставшим народом — т. 2: 163.
Лау — см. Ло.
Лафайет Мари Жозеф Поль, маркиз (1757—1834), деятель французской революции конца XVIII века и революции 1830 года — т. 1: 124, 146, 587, 617; т. 2: 358.
Лафонтен Август (1758—1831), немецкий романист, автор сентиментальных романов — т. 1: 53, 514, *886*.
«Чудак» — т. 1: 514, *886*.

Лафонтен Жан де (1621—1695), французский поэт-баснописец — т. 1: 621, *902*.
«Волк и овца» — т. 1: 621, *902*.
Лаффит Жак (1767—1844), французский банкир и политический деятель, сторонник Луи-Филиппа Орлеанского — т. 1: 617.
Лахтин Алексей Козмич (1808—1838), университетский товарищ А. И. Герцена, член его кружка — т. 1: 189, 190.
Лебра Огюст (1811—1832), французский поэт и драматург, покончил самоубийством вместе со своим другом, поэтом В. Эскусом—т. 1: 138.
Лебцельтерн Людвиг, граф (1774—1854), австрийский дипломат, посол в России в 1816—1826 годах — т. 1: 446, 491, *884*.
Лев, епископ Катанский (в Сицилии) (XVIII век) — т. 1: 95.
Левассор Пьер Тома (1808—1870), французский комический актер — т. 1: 812.
Левашева Екатерина Гавриловна, урожд. Решетова (ум. в 1839), хозяйка салона в Москве, друг многих русских писателей — т. 1: 310, 311.
Левенталь Густав Осипович (1788—1865), московский врач — т. 1: 472.
Левицкая Софья Львовна, дочь Л. А. Яковлева, двоюродная сестра А. И. Герцена —т. 1: 477, *882*.
Левицкий (Львов-Львицкий) Сергей Львович (1819—1898), сын Л. А. Яковлева, двоюродный брат А. И. Герцена, чиновник, впоследствии известный фотограф — т. 1: 297, 366, 477, *863*, *882*; т. 2: 265.
Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808—1874), французский политический деятель, мелкобуржуазный республиканец; по профессии адвокат, во время революции 1848 года был министром внутренних дел, в 1849 году бежал в Англию. В 1871 году избран членом Национального собрания — т. 1: 120, 157, 579, 581, 585, 658, 660, 686, 711, 730, *894*; т. 2: 10, 14, 17, 18, 20—22, 24, 25, 32, 33, 37, 40, 63, 65, 68, 107, 108, 112—114, 127, 131—133, 221—223, 225, 328—332, *468*, *496*, *518*.
Лелевель Иоахим (1786—1861), польский политический деятель, историк, возглавлял революционное крыло во время восстания 1830 года, затем играл руководящую роль в польской демократической эмиграции — т. 2: 119, 167, *476*.
Ленкло Нинон — см. Ланкло Н.
Ленорман Мария (1772—1843), известная в свое время парижская гадальщица на картах—т. 1: 653.
Лео Генрих фон (1799—1878), немецкий реакционный историк — т. 1: 447.
Леонард — т. 1: 804.
Леонид, царь Спарты в 488—480 годах до н. э.— т. 2: 30, 465.
Леонтина — т. 2: 367—371, 375.
Леопарди Джакомо, граф (1798—1837), итальянский поэт — т. 1: 446, 600, 601, 643.
«Рейн и его мумии» — т. 1: 643.
Леопольд (1790—1852), герцог Баденский—т. 1: 738, *915*.
Леопольд II (1747—1792), император Священной Римской империи в 1790—1792 годах — т. 1: 269.
Лепе Шарль Мишель (1712—1789), французский изобретатель системы обучения глухонемых с помощью жестов — т. 1: 667, *905*.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — т. 1: 115, 304, 461, 600, *863*, *879*, *886*; т. 2: 51, 53.
«Герой нашего времени» — т. 1: 461, 511.
«Завещание» — т. 1: 304, *863*.
«Из Гете» («Горные вершины»)— т. 1: 459, *879*.
«На светские цепи...» («М. А. Щербатовой»)— т. 1: 521, *886*; т. 2: 374.
Леру Пьер (1797—1871), французский социалист-утопист, по профессии наборщик — т. 1: 248, 561, 562, 570, 687, 688, 802, 808, 833, *908*; т. 2: 54, 120, 181, 401, 402, 404, 412, *529*.
«Книга Иова, трагедия в пяти частях, сочиненная Исаией и пере-

веденная Пьером Леру» — т. 2: 401, 402, 404, *529*.
Лесовский Степан Иванович (1782—1839), в 1833—1834 годах начальник корпуса жандармов Московского округа — т. 1: 100, 134, 515, *851*.
Лессепс Жан Батист Бартелеми, барон (1766—1834), французский дипломат, в 1812 году обер-полицмейстер Москвы — т. 1: 31.
Лессинг Готгольд Эфраим (1729—1781), немецкий писатель — т. 1: 696; т. 2: 125, 175.
Лешевалье Жюль (1806—1862), один из редакторов французской газеты «Народная трибуна» — т. 1: 566, *891*.
Лещинский Станислав (1677—1766), польский король в 1704—1709 годах. Впоследствии жил во Франции — т. 1: 105.
Либени (Лебени) Янош (ок. 1832—1853), венгерский портной-подмастерье, неудачно покушался в 1853 году на австрийского императора Франца-Иосифа; казнен — т. 2: 22, *464*.
Либих Юстус (1803—1873), немецкий химик — т. 1: 675.
Ливен (Ливенша) Доротея (Дарья Христофоровна), княгиня (1785—1857), жена князя Ливена, русского посла в Англии — т. 2: 363.
Ливен Карл Андреевич, князь (1767—1844), министр народного просвещения в 1828—1833 годах — т. 1: 150, *855*.
Линдсей (Линдзей) Уильям (1816—1877), английский писатель, судовладелец, член палаты общин — т. 2: 215.
Линтон Уильям Джемс (1812—1897), английский поэт и публицист, чартист. По профессии гравер — т. 1: 834, 835; т. 2: 51, 53, 134, *470*.
Липранди Иван Петрович (1790—1880), генерал-майор, историк. Наблюдая по поручению министра внутренних дел Л. А. Перовского за Петрашевским и его кружком, представил именные списки лиц, прикосновенных к тайному обществу — т. 1: 180, *874*.
Лист Ференц (Франц) (1811—1886), венгерский композитор — т. 1: 117, 734, *851*.
Литта Помпео (1781—1852), итальянский историк, военный министр миланского временного правительства во время революции 1848 года — т. 1: 594.
Ло (Лау) Джон (1671—1729), министр финансов Франции в 1719 году, привел к банкротству государственный банк выпуском необеспеченных банкнотов — т. 2: 39.
Лобанов, купец — т. 1: 245.
Лов — см. Лоу.
Ловецкий Алексей Леонтьевич (1787—1840), врач и натуралист, с 1834 года профессор Московского университета — т. 1: 118, 119.
Лодер Христиан Иванович (1753—1832), врач-анатом, лейб-медик, в 1818—1831 годах читал лекции в Московском университете — т. 1: 112, 513.
Лойола Игнатий (Иниго Лопес де Рекальдо) (1491—1556), основатель ордена иезуитов — т. 1: 667.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — т. 1: 189.
Лопухина Анна Петровна, в замужестве Гагарина, княгиня (1777—1805), фаворитка Павла I — т. 1: 65.
Лоррен Клод (наст. фамилия—Желле) (1600—1682), французский живописец, пейзажист — т. 2: 364.
Лоу (Лов), сэр Гудсон (1769—1844), английский генерал, губернатор острова Св. Елены в годы пребывания там Наполеона — т. 1: 767.
Луве де Кувре Жан Батист (1760—1797), французский писатель и политический деятель — т. 1: 85; т. 2: *522*.
«Жизнь и любовные похождения кавалера де Фобласа» — т. 1: 85; т. 2: 375, *522*.
Лужин Иван Дмитриевич, московский обер-полицмейстер — т. 1: 167, 503, 509.
Луи-Филипп (Людвиг-Филипп)

(1773—1850), французский король 1830—1848 годов — т. 1: 124, 215, 351, 352, 476, 573, 616, 617, 658, 659, 684, 686, 699, 700, *852*, *859*, *882*; т. 2: 32, 36, 40, 46, 64, 70, 86, 107, 139, 146, 263, 348, 369, 385, 396, 398, 414, *463*, *468*, *471*, *485*, *486*, *504*.

Луиза, горничная, служившая у А. И. Герцена — т. 1: 728, 729, 764.

Лукиан (ок. 117—ок. 190), древнегреческий писатель-сатирик — т. 2: 182, 320

Лукулл Луций Лициний (106—56 до н. э.), римский политический деятель, известный своим огромным богатством — т. 1: 117, 412, 604, *851*.

Львов Алексей Федорович (1798—1870), композитор, автор музыки царского гимна — т. 1: 246, 440, *876*.

Львов-Левицкий С. Л.— см. Левицкий С. Л.

Людвиг-Филипп — см. Луи-Филипп.

Людовик XIV (1638—1715), французский король с 1643 года — т. 1: 182, 449; т. 2: *469*.

Людовик XV (1710—1774), французский король с 1715 года — т. 2: 26, 62, *476*, *504*.

Людовик XVI (1754—1793), французский король в 1774—1792 годах — т. 1: 67, 78, 138, 493, 752, *866*, *884*; т. 2: 194, *469*, *522*.

Людовик XVII (1785—1795), французский принц Луи-Шарль, сын Людовика XVI — т. 1: 493, *884*.

Людовик XVIII (1755—1824), французский король с 1814 года — т. 1: 34, 455.

Людовик-Наполеон — см. Наполеон III.

Людовик-Филипп — см. Луи-Филипп.

Лютер Мартин (1483—1546) — т. 1: 428, 587, 667, 671, 696; т. 2: 31, *469*.

Лялин Василий, новгородский земский исправник в 1825 году — т. 1: 399, *871*.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), реакционный государственный деятель, известен борьбой против передовой русской культуры и просвещения. Попечитель Казанского учебного округа в 1819—1826 годах — т. 1: 244, 513.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — т. 2: 419, *534*.

«Барышня» — т. 2: 419, *534*.

Майковы — т. 1: 542, *888*.

Макашина Марья Степановна, компаньонка М. А. Хованской — т. 1: 269—271, 273—275, 298, 300, 302, 303, *862*.

Макиавелли (Махиавелли) Никколо (1469—1527), итальянский писатель и политический деятель эпохи Возрождения — т. 1: 597; т. 2: 380, 438.

Мак-Магон Мари Эдм Патрис Морис (1808—1893), французский генерал и реакционный политический деятель — т. 2: 189, *491*.

Мак-Наб Генри Грей, врач герцога Кентского — т. 2: 185, *490*.

Маколей Томас Бабингтон, лорд (1800 — 1859), английский историк, публицист и политический деятель — т. 1: 481; т. 2: 362

Максимович Михаил Александрович (1804—1873), ботаник, фольклорист и историк. С 1833 года профессор естественных наук Московского университета; с 1834 года профессор русской словесности в Киевском университете — т. 1: 140.

Малибран Мария Фелиция, урожд. Гарсиа (1808—1836), французская певица — т. 2: 363.

Малов Михаил Яковлевич (1790—1849), в 1828—1831 годах профессор права в Московском университете — т. 1: 100, 110, 111, 113, 114, *850*.

Мамонов — см. Дмитриев-Мамонов.

Манин Даниеле (1804—1857), итальянский политический деятель — т. 1: 592, *897*.

Манюэль Жак Антуан (1775—1827), адвокат, лидер либеральной оппозиции во время реставрации Бурбонов — т. 1: 124.

Мапа — см. Гашно.

Марат (Мара) Жан Поль (1743—1793) — т. 1: 304, 514, 585, ***863***.
Маргейнеке Филипп Конрад (1780—1846), немецкий философ-теолог — т. 1: 342; т. 2: 138.
Мариво Пьер Карле де Шамблен (1688—1763), французский писатель — т. 1: 95.
Марий Гай (156—86 до н. э.), римский полководец и политический деятель — т. 1: 558; т. 2: 186.
Мария Александровна (1824—1880), императрица, жена Александра II— т. 2: 243, 342, ***501***.
Мария-Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI — т. 1: 33, 455.
Мария Николаевна (1819—1876), великая княгиня, дочь Николая I— т. 1: 60.
Мария Федоровна (1759—1828), императрица, жена Павла I — т. 1: 65, 69.
Маркс Карл (1818—1883) — т. 1: 609, ***910***, ***914***, ***918***; т. 2: 127—130, 134, 135, 144, 334, 337, ***464***, ***476—486***.
Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799), французский писатель — т. 1: 95.
Марраст Арман (1801—1852), французский политический деятель, республиканец, редактор газеты «Насьональ»; член временного правительства в 1848 году; позднее один из руководителей контрреволюции, автор буржуазной конституции 1848 года — т. 1: 617, 618, 658, 690, 801, ***909***, ***910***; т. 2: 62, 141, ***470***.
Марс (м и ф.)— т. 2: 56.
Марс (псевдоним Анны Буте) (1779—1847), французская актриса — т. 1: 55.
Марсо Франсуа Северен (1769—1796), генерал, военный деятель французской революции конца XVIII века — т. 1: 138.
Мартьянов Петр Алексеевич (1835—1865), бывший крепостной, автор «Письма к Александру II» о созыве Земской думы — т. 2: 271, 291, 301, 302, 307, ***506***, ***514***.
«Письмо к Александру II» — т. 2: ***506***.
Марченко Василий Романович (1782—1841), чиновник военно-походной канцелярии Аракчеева, впоследствии член Государственного совета — т. 1: 398, ***871***.
«Записки статс-секретаря тайного советника Марченко о событиях, совершившихся при восшествии на престол императора Николая I» — т. 1: 398, ***871***.
Маршаль, гувернер в доме Голохвастовых — т. 1: 479, 480.
Масальский Петр Григорьевич (ум. в 1839), близкий друг М. М. Сперанского — т. 1: 85.
Массена Андре (1756—1817), французский маршал при Наполеоне I— т. 2: 132.
Матвей Савельевич (ок. 1821—1843), камердинер А. И. Герцена с декабря 1835 года — т. 1: 212, 258, 289, 296, 305, 306, 309, 310, 312, 317—319, 325, 369, 373, 401, 411—415, 517.
Матеи Анна Ивановна, гувернантка-француженка в доме М. А. Хованской, давала уроки французского языка Н. А. Захарьиной — т. 1: 270, ***862***.
Матье, участник революции 1848 года во Франции, эмигрант, живший в Ницце и Женеве — т. 1: 710—714.
Матью (Метью) Теобальд (1790—1856), ирландский священник, организатор обществ трезвости — т. 1: 45, ***844***.
Мадцини Джузеппе (1805—1872)— т. 1: 502, 583, 588—592, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 610, 617—619, 660—663, 678, 686, 771, 772, 805, 828, ***878***, ***895—897***, ***899***, ***900***, ***902***, ***904***; т. 2: 10—22, 24, 25, 32, 33, 63, 68, 69, 96, 100, 107—109, 111—113, 118, 120, 123, 128—133, 165, 166, 181, 208, 211, 214, 216, 219, 220, 226—233, 237, 274, 305, 307, 329, 380, 383, 384, 414, ***461—464***, ***473***, ***477***, ***479***, ***494***, ***495***, ***497—499***, ***525***.
«Письмо к Луи-Наполеону» — т. 2: 96, ***473***.
Мадцолени Периклес, доверенное лицо Мадцини в Лондоне во время

миланского восстания 1853 года — т. 2: 112, 113.
Машковцев Егор Петрович (1812—1855), товарищ А. И. Герцена по Московскому университету—т. 1: 179, *857*.
Машковцевы, сибирские купцы — т. 1: 223, 224.
Меассалер Адельгейда, горничная Л. И. Гааг, ходившая за сыном А. И. Герцена Колей — т. 1: 762, 765, 767.
Медведев Петр Алексеевич (ум. в 1836), асессор губернской строительной комиссии в Вятке, муж П. П. Медведевой — т. 1: 285—290.
Медведева Прасковья Петровна (Р.) (ум. в 1860), вятская приятельница А. И. Герцена — т. 1: 248, 285—293, 295, 296, *861*.
Медичи Джакомо (1817—1882), деятель итальянского национально-освободительного движения — т. 1: 589, 598, 599, 601, 771, 823, *895*, *897*, *900*, *916*; т. 2: 13, 167.
Медичи Козимо (1519—1574), великий герцог Тосканы, добившийся власти жестоким террором — т. 1: 597.
Мейендорф Александр Казимирович, барон (1798—1865), крупный чиновник, экономист — т. 1: 351.
Мейзенбуг Мальвида Амалия фон, баронесса (1816—1903), немецкая писательница; в эпоху революции 1848 года порвала с семьей, эмигрировала в Англию, была воспитательницей дочерей А. И. Герцена — т. 1: 834, 835, *876*; т. 2: 78, 395, *471*, *531*, *540*.
Мелхиседек (Сокольников) (1773—1853), архимандрит Симонова монастыря в Москве — т. 1: 132.
Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), писатель — т. 1: 772; т. 2: 240, 423, *500*, *535*.
«Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель. Из воспоминаний обыкновенного человека» — т. 2: 423, *535*.
Мемнон (м и ф.) — т. 1: 119.
Мен Ричард (Роберт) (1796—1868), начальник лондонской полиции с 1850 года — т. 2: 33, 90, 91.
Менотти — см. Гарибальди Менотти.
Менотти Чиро (1798—1831), итальянский революционер, карбонарий, глава заговора в Модене в 1831 году; казнен — т. 1: 590, *896*.
Меншиков Александр Данилович (1673—1729), государственный деятель, сподвижник Петра I— т. 1: 439.
Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869), генерал-адъютант и адмирал, дипломат; начальник морского генерального штаба в 1827—1828 годах — т. 1: 445, *883*.
Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), поэт, переводчик, профессор по кафедре российского красноречия и поэзии в Московском университете в 1804—1830 годах — т. 1: 112.
Меркантини Луиджи (1821—1872), итальянский поэт, участник движения за объединение Италии, гарибальдиец — т. 1: 591, *897*.
«Собирательница колосьев на Сапри» — т. 1: 591, *897*.
Меровинги, династия французских королей — т. 2: 182.
Мерославский Людвик (1814—1878), польский политический деятель, участник восстания 1830—1831 годов, командовал революционной армией Юго-Западной Германии в мае 1849 года — т. 2: 107, 122, 290, *475*.
Мерсье Луи Себастьян (1740—1814), французский писатель, в годы революции 1789—1794 годов примыкал к жирондистам — т. 2: 408, *530*, *531*.
Мессалина Валерия (15—48), жена императора Клавдия —т. 2: 372, *522*.
Мессенгаузер Цезарь Венцель (1813—1848), командир национальной гвардии в Вене во время революции 1848 года, расстрелян после взятия Вены — т. 1: 803, *918*.
Меттерних Клеменс, князь (1773—

1859), министр иностранных дел, канцлер Австрии, вдохновитель европейской реакции после победы над Наполеоном — т. 1: 438, 446, 587, 676, *876*; т. 2: 153, 186.

Метью — см. Матью Т.

Меццокапо Карло (1817—1905), участник защиты Венеции от австрийцев и Рима от французов в 1849 году — т. 1: 594, 771.

Меццокапо Лунджи (1814—1886), брат К. Меццокапо, участник защиты Венеции от австрийцев и Рима от французов в 1849 году — т. 1: 594, 771, *916*; т. 2: 13.

Мечников Лев Ильич (1838—1888), географ, социолог, публицист, сотрудничал в «Колоколе» — т. 2: 13, *463*.

Мещерская Анна Борисовна («княжна») (1738—1827), сестра Н. Б. Яковлевой, бабушки А. И. Герцена; в ее доме воспитывался И. А. Яковлев — т. 1: 28, 40, 97, 264, 265, 267—270, 381, *862*.

Мещерский, князь, попечитель московской больницы — т. 1: 170.

Мещерский Александр Иванович, князь (1730—1779), сановник, родственник бабушки А. И. Герцена Н. Б. Яковлевой, урожд. Мещерской — т. 1: 86.

Микеланджело Буонарроти (Бонарроти) (1475—1564) — т. 1: 241, 326; т. 2: 356, 365.

«Давид» — т. 2: 356.

«Страшный суд» — т. 1: 326.

Миллер Федор Иванович, полицмейстер Пречистенской части, арестовавший А. И. Герцена в 1834 году — т. 1: 160—164, 166, 370, 562.

Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ и экономист, позитивист — т. 1: 689; т. 2: 53—58, 60—62, 88, 176, 284, 387, *470*, *509*.

«О свободе» — т. 2: 53—62, *470*.

Милович Владимир, деятель польского национально-освободительного движения — т. 2: 298, 304, 305, *513*, *514*.

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825), генерал, в 1818—1825 годах генерал-губернатор Петербурга — т. 1: 33, 61, 220, 243.

Мильнер-Гибсон Сюзанна (1814—1885), жена Т. Мильнер-Гибсона — т. 1: 836; т. 2: 87.

Мильнер-Гибсон Томас (1806—1884), английский политический деятель, член парламента — т. 1: 836; т. 2: 87, 337.

Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт и публицист — т. 2: 55, *470*.

«Ареопагитика, или Речь в защиту свободы печати» («Ареопагитика») — т. 2: 55, *470*.

Минерва (м и ф.) — т. 1: 137; т. 2: 374.

Миних (Мюних) Бурхардт Кристоф (Христофор Антонович) (1683—1767), генерал-фельдмаршал, на русской службе с 1721 года. В 1742 году был сослан в Пелым, вернулся в Петербург в 1762 году — т. 1: 215.

Миницкий Александр Осипович, офицер, в начале 1838 года сватался к Н. А. Захарьиной — т. 1: 300, 301.

Минкина Анастасия Федоровна (1800 — 1825), домоправительница Аракчеева, убита крестьянами — т. 1: 398, *871*.

Миньона — т. 1: 143, 144.

Мирабо Оноре Габриэль Рикети де, граф (1749—1791), деятель французской революции конца XVIII века — т. 1: 652; т. 2: 172.

Мирес Жюль Исаак (1809—1871), финансовый делец при Наполеоне III, осужден за мошенничество — т. 2: 397, 398, *528*.

Мирович Василий Яковлевич (1740—1764), подпоручик, казнен за попытку произвести дворцовый переворот в пользу Ивана VI Антоновича — т. 1: 64, *845*.

Митридат VI Евпатор (Дионис) (132—63 до н. э.), царь Понтийского царства с 114 года до н. э.— т. 2: 133, *484*.

Миттермайер Карл Иосиф Антон (1787—1867), немецкий юрист-криминалист — т. 2: 261.

Митчерлих Эйльхард (1794—1863), немецкий химик — т. 1: 119.
Михаил Павлович (1798—1849), великий князь — т. 1: 188, 386, 393, 497.
Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), поэт, писатель, переводчик, революционный деятель 60-х годов, за распространение прокламации «К молодому поколению» в 1861 году сослан на каторгу — т. 2: 289, *511*.
Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал, военный историк — т. 1: 30, *843*.
«Описание Отечественной войны в 1812 году» — т. 1: 30, *843*.
Михаловский Генрих, поляк, эмигрант, служил в издательстве Трюбнера — т. 2: 305, 306, 309.
Михелет Карл Людвиг (1801—1893), немецкий философ-идеалист, правый гегельянец — т. 1: 342, 346, *866*; т. 2: 387.
«Лекции о личности бога и бессмертии души» — т. 1: 346, *866*; т. 2: 387.
Мицкевич Адам (1798—1855) — т. 1: 294, 446, 564, 566—570, 805, *891—893*; т. 2: 103, *475*, *476*.
«Пан Тадеуш» — т. 2: 120, *476*.
«Ad Napoleonem III — Caesarem Augustum ode in Bomarsundum captum» — т. 1: 570, *893*.
Мицкевич Целина (1815?—1855), урожд. Шимановская, жена Адама Мицкевича — т. 1: 570.
Мишле Жюль (1798—1874), французский историк — т. 1: 466, 582, 696; т. 2: 321, 387, 396, 437, 438, *516*, *525*, *528*.
«Народ» — т. 1: 466.
Моген Франсуа (1785—1854), французский политический деятель, член палаты депутатов с 1827 года, находился в оппозиции к Луи-Филиппу — т. 1: 155.
Мозер Моисей (1796—1838), немецкий филолог, друг Гейне — т. 2: 357.
Мольер (псевдоним; настоящее имя — Жан Батист Поклен) (1622—1673) — т. 1: 526; т. 2: *475*.
«Ученые женщины» — т. 2: 109, *475*.
Мольтке (Старший) Хельмут Карл Бернхард, граф (1800—1891), немецкий фельдмаршал — т. 2: 388, *527*.
Монталамбер Шарль (1810—1870), французский политический деятель, глава партии либеральных католиков — т. 2: 53.
Монтемолино Карлос, граф (1818—1861), внук испанского короля Карла IV, претендент на престол в Испании — т. 2: 145.
Монтень Мишель де (1533—1592), французский философ и писатель — т. 1: 688, 691, 692; т. 2: 39.
Монтес Лола (1818—1861), испанская танцовщица, фаворитка баварского короля Людвига I — т. 2: 8.
Монтефиоре Моисей (1784—1885), лондонский банкир — т. 2: 189.
Морган Сидней (1786—1859), ирландская писательница — т. 1: 446.
«Письма» — т. 1: 446.
Мордвинов Александр Николаевич (1792—1869), директор канцелярии III Отделения, непосредственный помощник Бенкендорфа — т. 1: 180.
Мордвинов Николай Семенович (1754—1845), государственный деятель, экономист — т. 1: 220.
Мордини Антонио (1819—1902), участник национально-освободительного движения в Италии в 1848—1849 годах — т. 1: 599, 756, 771, 776, 823; т. 2: 220, 223, 224, 234, 235, 314.
Морошкин Федор Лукич (1804—1857), профессор Московского университета по кафедре права — т. 1: 456.
Мортье Эдуар Адольф, герцог Тревизский (1768—1835), французский маршал, губернатор Москвы во время захвата ее Наполеоном — т. 1: 29, 31.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — т. 1: 343, 601, 673; т. 2: 429.
«Дон-Жуан» — т. 1: 673.

«Свадьба Фигаро» — т. 1: 673.
Мочалов Павел Степанович (1800—1848), актер-трагик — т. 1: 350.
Мур Джордж, английский фабрикант — т. 2: 77, *471*.
Муравьев Михаил Николаевич («Вешатель») (1796—1866), государственный деятель. В молодости примыкал к «Союзу благоденствия», в декабре 1825 года перешел на сторону правительства. Участвовал в подавлении польских восстаний 1830—1831 годов и 1863 года — т. 1: 200; т. 2: 243, 250, 285, 288, *500*, *501*.
Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф (1809—1881), государственный деятель, в 1847—1861 годах генерал-губернатор Восточной Сибири — т. 1: 221; т. 2: 288, 289.
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826), декабрист — т. 1: 121, 149, 399.
Муратори Лодовико Антонио (1672—1750), итальянский историк — т. 1: 594, *898*.
Мурильо Бартоломе Эстеван (1617—1682), испанский живописец — т. 2: 287.
Мурчисон Родерик Импи (1792—1871), английский геолог — т. 1: 788; т. 2: 190.
Мусин-Пушкин, новгородский помещик — т. 1: 400.
Мухаммед (Магомет) (ок. 570—632), религиозный проповедник, считается основателем ислама — т. 2: 424.
Мухаммед II Эль Фатих (Османлис) (1430—1481), турецкий султан с 1451 года, в 1453 году взял штурмом Константинополь и завершил завоевание Византии — т. 2: 195.
Мюллер-Стрюбинг Герман (1810—1893), участник революционных событий в Берлине в 1848 году, эмигрировал в Париж — т. 1: 578; т. 2: 121, 136—143, 148, 367. «Эрик» — т. 2: 143, 148.
Мюних — см. Миних Б. К.
Мюнцер (Мюнстер) Томас (ок. 1490—1525), вождь и идеолог крестьянско-плебейского лагеря во время Реформации и Крестьянской войны 1525 года в Германии — т. 2: 31, 178.
Мюрат Наполеон Люсьен Шарль (1803—1878), сын маршала Франции, претендент на неаполитанский престол — т. 1: 598.
Мюссе Альфред де (1810—1857), французский поэт — т. 1: 364. «Исповедь сына века» — т. 1: 364.
Мягков Гавриил Иванович, экстраординарный профессор военных наук в Московском университете в 1831 году — т. 1: 115.
Мясков (Маслов) Павел Николаевич, член московского общества сельского хозяйства — т. 1: 487, *883*. «О воспитании скаковых лошадей в России и о приготовлении оных к скачке в отношении улучшения всех видов коннозаводства в государстве» — т. 1: 487, *883*.

Надеждин Николай Иванович (1804—1856), критик, журналист и этнограф, издатель журнала «Телескоп» — т. 1: 443, 515.
Найденов Гаврила Семенович, староста в имении И. А. Яковлева во Владимирской губернии — т. 1: 236—238, 259.
Нани, граф, участник национально-освободительного движения в Италии — т. 1: 594; т. 2: 106.
Наперсток, чешский общественный деятель и музыкант — т. 2: 290.
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — т. 1: 27, 29—32, 39, 58, 72, 73, 101, 106, 123, 138, 147, 239, 241, 253, 269, 278, 344, 347, 385, 492, 499, 549, 577, 597, 598, 603, 634, 658, 706, 812, *844*, *855*, *865*, *885*, *892*, *893*, *900*, *902*, *905*, *912*, *913*, *918*; т. 2: 102, 118, 176, 197, 198, 276, 291, 378, 396, 400, 423, *466*, *467*, *469*, *470*, *474*, *488*, *489*, *492*, *508*, *523*, *524*, *528*, *530*, *531*.
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), французский император в 1852—1870 годах, племянник Наполеона I — т. 1: 259, 559, 560, 567—570, 584, 591, 592, 598, 616, 624, 641, 657—659,

679, 689, 694, 695, 710, 729, 769, 828, *891—893*, *897*, *899*, *901*, *903*, *904*, *906—908*, *913*, *920*; т. 2: 17, 23, 28, 33, 35, 40, 41, 65, 90, 95, 98, 109, 131, 135 197, 213, 231, 232, 272, 306, 309, 327—329, 382, 385, 393—397, 399, 400, *465—473*, *485*, *494—496*, *498*, *507*, *517*, *525—532*, *537*.

Наполеон, принц (1822—1891), сын Жерома Бонапарта — т. 1: 790; т. 2: 135, 393—395, *528*.

Нарбон (Нарбонн-Лара) Луи де, граф (1755—1813), французский политический деятель и дипломат, адъютант Наполеона I в 1810—1812 годах — т. 1: 31, 569.

Насакина Наталья Федоровна — см. Н. Ф. Хованская.

Насакины, семья Василия Абрамовича Насакина (1779—1843), полковника, первым браком был женат на Н. Ф. Хованской — т. 1: 300.

Наталья Константиновна («Костенька»), няня А. И. Герцена, впоследствии няня Н. А. Захарьиной в доме М. А. Хованской — т. 1: 29, 271, 307—310.

Небаба Дмитрий Васильевич (ок. 1806—1839), учитель математики во Владимирской гимназии — т. 1: 259, 262, 263, *861*.

Неверов Януарий Михайлович (1810—1893), педагог и писатель, друг Станкевича — т. 1: 353—355, *854*, *867*.

Негретти — т. 2: 220, *496*.

Ней Мишель (1769—1815), маршал Франции — т. 1: 31.

Неккер Жак (1732—1804), французский политический деятель, стоял во главе финансового ведомства в 1776—1781 годах при Людовике XVI — т. 1: 89.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — т. 2: 419, 422, 426, *534*, *535*.

«В дороге» — т. 2: 422, *535*.

«Секрет» — т. 2: 419, *534*.

Нельсон Горацио, виконт, лорд (1758—1805), английский адмирал — т. 2: 23, 142, *465*.

Непир Чарльз (1786—1860), английский адмирал, командовал в 1854 году британским флотом в Балтийском море, угрожавшим Кронштадту и Петербургу — т. 2: 288.

Нептун (м и ф.)— т. 2: 202.

Нерваль Жерар де (наст. фамилия Лабрюни) (1808—1855), французский поэт — т. 1: 325.

Нерон Клавдий Цезарь (37—68), римский император с 54 года — т. 1: 630, *902*; т. 2: 403, *530*.

Нессельроде Карл Васильевич, граф (1780—1862), министр иностранных дел России в 1816—1856 годах — т. 1: 647, 649, 663; т. 2: 327, *522*.

Нестор (года рожд. и смерти неизв.), летописец XI — начала XII веков — т. 1: 147, 466, *881*.

Нидергубер, офицер венской национальной гвардии во время революции 1848 года, затем эмигрант— т. 2: 162—165.

Никита Андреевич, камердинер И. А. Яковлева — т. 1: 72, 84, 88, 90, 92, 93, 99, 160.

Никифор, молочный брат А. И. Герцена — т. 1: 409.

Николаи Николай Павлович (1818—1869), дипломат, советник посольства в Лондоне — т. 2: 263, 264.

Николай I (1796—1855) — т. 1: 60—66, 78, 82, 101, 102, 111, 115, 120—122, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 134—136, 146, 149—152, 157, 159, 169—172, 179, 180, 183, 185, 188—190, 200, 203—205, 210, 217, 220, 233, 235, 239, 241, 243—247, 251, 252, 260, 279, 312, 350, 355, 356, 366, 370—374, 378, 380, 385, 387, 388, 393, 396, 398—400, 402, 422, 427, 435, 440—443, 445, 447, 448, 453, 456, 458, 461, 464, 467, 482, 484—488, 491, 493, 497, 502—505, 507, 508, 533, 545—547, 567, 570, 572, 575, 587, 617, 624, 643, 647, 650, 651, 655, 659, 663, 664, 666, 669, 679, 680, 683, 684, 794, 798, 799, 808, 812, 813, 817, 828, 831, 832, *845*, *848—850*, *852*, *853*, *859*, *860*, *862*, *864*, *869*, *871*, *872*, *877—879*, *883—885*, *902*, *904*, *906*; т. 2: 22, 23, 32, 48—50, 52, 75, 102, 107, 108, 117, 132, 139, 168, 173, 183, 185, 240, 241, 246, 255, 263, 268, 284, 288, 296,

315, 318, 320, 327, 337, 339, 340, 342, 361, 374, *465*, *470*, *474*, *475*, *481*, *487*, *504*, *505*, *511*, *515—519*.

Ноайль (Ноаль) де, герцог (1802—1885) — т. 1: 550—554, *889*.

Новиков Николай Иванович (1744—1818), писатель-сатирик, журналист, книгоиздатель — т. 1: 458, *879*.

Новосильцев Владимир Дмитриевич (1800 — 1825), флигель-адъютант Александра I — т. 1: 63, *845*.

Ньютон Исаак (1642—1727) — т. 2: 402, *529*.

О., князь — т. 1: 79.

Оболенский Андрей Александрович, князь (1813—1855), товарищ А. И. Герцена по Московскому университету, участник «маловской истории» — т. 1: 113.

Оболенский Андрей Петрович, князь (1769—1852), попечитель Московского учебного округа в 1817—1825 годах — т. 1: 112. *850*.

Оболенский Евгений Петрович, князь (1796—1865), декабрист — т. 1: 63.

Оболенский Иван Афанасьевич (1813—1849), товарищ А. И. Герцена по Московскому университету, арестованный вместе с ним в 1834 году — т. 1: 134, 182, 189, 191, 332, *854*, *857*, *858*.

Обри Тереза, актриса—т. 2: 411, *531*.

Обручев Владимир Александрович (1836—1912), участник революционно-демократического движения 60-х годов в России, сотрудник «Современника»; арестован в 1861 году, сослан в Сибирь на каторжные работы — т. 2: 245, *502*.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — т. 1: 21, 26, 27, 77—83, 90, 103, 108, 126, 127, 133, 134, 139, 140, 142—147, 153, 154, 156, 158—160, 164, 166, 179, 182, 189, 191, 248, 281, 283, 307, 320, 329, 331, 332, 335—341, 349, 355, 400, 418, 426, 430, 443, 476, 498—501, 510, 528—531, 556, 642, 717, 733, 791, 836, *841*, *843*, *847*, *853*, *854*, *856*, *858*, *864*, *866*, *867*, *874*, *875*, *878*, *882*, *886*, *914*; т. 2: 236, 237, 241, 242, 248, 254, 255, 264, 265, 280, 299, 301—303, 306, 310, 311, 341, 424, 428, 454—458, *473*, *478*, *487*, *504*, *505*, *507*, *509*, *513*, *535*, *536*.

«Деревенский сторож» — т. 2: 97, *473*.

«Искандеру» — т. 1: 26, 426, *843*, *874*.

«Мертвому другу» — т. 1: 433, 434, *875*.

«Старый дом» — т. 1: 83, 84, *847*.

«Юмор» — т. 1: 27, 75, 78, 100, 366, 509, 510.

Огарев Платон Богданович (ум. в 1838), помещик, отец Н. П. Огарева — т. 1: 77, 81, 127, 143, 144, 189, 336, *846*, *856*, *882*.

Огарева (ум. в 1825), бабушка Н. П. Огарева — т. 1: 77, 78.

Огарева Елизавета Ивановна, урожд. Баскакова (1784—1815), мать Н. П. Огарева — т. 1: 77.

Огарева Мария Львовна, урожд. Рославлева (ок. 1817—1853), первая жена Н. П. Огарева — т. 1: 336—339, *864*, *874*.

Одоевская — т. 1: 351.

Одоевский Владимир Федорович, князь (1804—1869), писатель и музыкальный критик — т. 1: 351.

Ожеро Пьер Франсуа Шарль (1757—1816), французский военный деятель, вступил в революционную армию в 1792 году солдатом, впоследствии маршал — т 2: 276.

Окен Лоренц (1779—1851), немецкий натурфилософ и естествоиспытатель — т. 1: 106, 340, 348.

О'Коннел Даниель (1775—1847), деятель ирландского освободительного движения — т. 1: 680, *907*; т. 2: 104.

Оливье Эмиль (у Герцена ошибочно Демосфен Оливье) (1825—1913), комиссар двух департаментов во время французской революции 1848 года — т. 1: 554, *889*.

Олсоп Томас (1795—1880), английский политический деятель и публицист, друг Р. Оуэна — т. 2: 54, 170, *487*.

Ольговичи, князья в Древней Руси XII—XIII веков; потомки Олега Святославича — т. 1: 86.

Ольхин Михаил Дмитриевич, петер-

бургский книгопродавец и издатель — т. 2: 420.
Омер-Паша (1806—1871), командующий турецкой армией на Дунае во время Крымской войны — т. 2: 153.
Омфала (м и ф.) — т. 1: 539, 707, *888*.
Оппенгейм Генрих Бернгард (1819—1880), немецкий публицист, с 1848 года эмигрант — т. 2: 162.
Оранский Николай Диомидович (ум. в 1847), секретарь канцелярии московского губернатора, участвовал в качестве секретаря в обеих следственных комиссиях по делу Герцена, Огарева и других в 1834 году — т. 1: 169, 181, 185, 187—189, 336.
Ориген из Александрии (ок. 185—254), христианский богослов и философ — т. 2: 283, *509*.
Орлов, студент Московского университета, участник «маловской истории» — т. 1: 113.
Орлов Алексей Григорьевич, граф (1737—1807), государственный деятель, участник дворцового переворота 1762 года, приведшего к власти Екатерину II — т. 1: 244, 385.
Орлов Алексей Федорович, граф (1786—1861), реакционный государственный и военный деятель, дипломат. В 1825 году участвовал в подавлении восстания декабристов; с 1844 года шеф жандармов и начальник III Отделения — т. 1: 157, 212, 232, 384, 386—388, 503, 505—507, 509, 659, 663—666, *885*; т. 2: 132, 288, 455.
Орлов Михаил Федорович (1788—1842), декабрист, до ареста генерал-майор, участник походов 1805—1807 годов и Отечественной войны 1812 года — т. 1: 89, 153, 156—159, 385, 443, 447, 453, *847*, *856*.
«О государственном кредите» — т. 1: 89, 158, *847*.
Орлов Сергей Васильевич, исправник в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 204.
Орлова Екатерина Николаевна, урожд. Раевская (1797—1885), жена М. Ф. Орлова — т. 1: 158, 443.
Орлова Ольга Александровна, графиня, жена А. Ф. Орлова, внучка О. А. Жеребцовой — т. 1: 383, 384, 387, 388, *885*.
Орлова-Чесменская Анна Алексеевна, графиня (1785—1848), владелица многомиллионного состояния, близкая ко двору Александра I и Николая I — т. 1: 89, 244, 513, *847*.
Орсини Феличе (1819—1858) — т. 1: 583, 590, 594, 596—598, 600, 660, 661, 710—712, 755—757, 763, 769, 771, 772, 774—776, 778, 786, 790, 835—838, *897*, *899*, *900*, *904*, *916*; т. 2: 14, 16, 19, 54, 65, 85, 86, 89, 91, 130—132, 167, 170, 399, *464*, *470*, *472*, *529*.
«Воспоминания и приключения Орсини, написанные им самим» («Записки») — т. 1: 598, 757, *916*.
Османлис — см. Мухаммед II.
Остерман Иван Андреевич, граф (1725—1804), дипломат, канцлер в 1775—1797 годах — т. 1: 385.
Остерман-Толстой Александр Иванович, граф (1770—1857), генерал, отличившийся в боях под Бородиным и под Кульмом, с 1837 года жил в Женеве — т. 1: 617, 618.
Остроумов Иоанн Петрович (ум. в 1841), протопереи, ректор Владимирского духовного училища, венчал Герцена — т. 1: 313, 316, 317.
Отто Иоганн Карл Теодор (1816—1897), немецкий философ-теолог — т. 1: 342.
Оуэн Роберт (1771—1858) — т. 1: 798; т. 2: 56, 131, 166—179, 182—188, 190—192, 194—199, 201, 362, *483*, *487—491*.
«Мир — большой сумасшедший дом» — т. 2: 158, *489*.
Оуэн Роберт Дейл (1801—1877), сын Р. Оуэна — т. 2: 131, 168, 170, 173, *483*, *487*.
Офрен (наст. фамилия Риваль) Жан (1720—1806), французский актер, с 1785 года поселившийся в России — т. 1: 55.

Павел I (1754—1801) — т. 1: 39, 40, 64, 65, 94, 101, 127, 167, 168, 231, 232, 383, 384, 388, 389, 393, 398, 553, 794, *860*, *870*, *889*; т. 2: 120, 231.

Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), профессор физики, минералогии и сельского хозяйства в Московском университете с 1820 года — т. 1: 114, 340—342.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель и журналист — т. 1: 212; т. 2: 251, *503*.

Падлевский Зыгмунт (1835—1863), польский революционный демократ, один из руководителей восстания 1863—1864 годов в Польше — т. 2: 297, 298, 300, 301, *512*, *513*.

Пакье Этьен Дени (1767—1862), орлеанист, председатель палаты пэров во Франции до 1848 года — т. 1: 695; т. 2: 40.

Пален Петр Алексеевич фон, граф (1745—1826), государственный деятель, один из организаторов дворцового переворота 1801 года — т. 1: 383.

Палицын Аверкий Иванович, в монашестве Авраамий (ум. в 1625), в 1608—1619 годах келарь Троицко-Сергиевского монастыря — т. 1: 479.

«Сказание об осаде Троицко-Сергиевского монастыря от поляков Литвы» — т. 1: 479.

Паллас Петр Симон (1741—1811), естествоиспытатель, член Петербургской академии наук с 1767 года, возглавлял ряд экспедиций в Сибирь, Поволжье, на Урал и Северный Кавказ — т. 1: 35.

Пальмер Уильям (1824—1856), английский врач — т. 2: 92, *473*.

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865), английский государственный деятель, министр иностранных дел в 1830—1841 и 1846—1851 годах, министр внутренних дел в 1852—1855 годах, премьер-министр в 1855—1865 годах — т. 1: 634; т. 2: 78, 81, 86—89, 92, 96, 97, 128, 174, 211, 213, 226, 229, 231—233, 342, *472*, *481*, *484*, *493—495*, *497—499*.

Пальмье, парижский врач — т. 1: 656.

Панаев Владимир Иванович (1792—1859), поэт, автор сентиментальных идиллий — т. 1: 95.

Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель и журналист, совместно с Н. А. Некрасовым издавал «Современник» с 1847 года — т. 1: 353, *867*; т. 2: 419, *534*, *535*.

«Парижские увеселения» — т. 2: 422, *535*.

«Родственники» — т. 2: 419, *534*.

Пандора (м и ф.) — т. 2: 142.

Панин Александр Никитич, граф (1791—1850), чиновник особых поручений, прикомандированный в 1830—1833 годах к попечителю Московского учебного округа С. М. Голицыну: в 1834 году — товарищ попечителя Харьковского университета — т. 1: 113, 114, 130, 485, 486, *853*.

Панин Виктор Никитич (1801—1874), граф, министр юстиции в 1841—1861 годах — т. 1: 113, 553, 680; т. 2: 243, *501*.

Панчулидзев Александр Алексеевич (1789—1867), пензенский губернатор — т. 1: 397.

Паоли Паскаль (1725—1807), корсиканский патриот, боролся за независимость Корсики, эмигрант в Англии в 1769—1790 и 1795—1807 годах — т. 2: 86.

Парадоль — см. Прево-Парадоль.

Пардигон, участник революции 1848 года во Франции, эмигрант — т. 2: 73, 74, 76.

Парфений (Павел Васильевич Васильев-Чертков) (1782—1853), в 1821—1850 годах владимирский архиепископ — т. 1: 313—318.

Паскаль Блез (1623—1662), французский математик и физик — т. 1: 688.

Паскевич Эриванский Иван Федорович, граф (1782—1856), генерал-фельдмаршал; командовал в 1849 году русской армией, подавившей революцию в Венгрии — т. 1: 583, 799; т. 2: 108, *475*.

Пассек Вадим Васильевич (1808—1842), историк и этнограф — т. 1: 100, 126, 127, 129—132, 134, 144,

146, 153, 154, 335, 514, 781, *853*, *854*; т. 2: 271, 418, *506*.
«Описание царства Московского» — т. 1: 132, *854*.
«О состоянии Москвы и Московской губернии в царствование Петра Великого» — т. 1: 132, *854*.
Пассек Василий Васильевич (1772—1831), отец В. В. Пассека — т. 1: 126—129, *853*.
Пассек Диомид Васильевич (1807—1845), генерал-майор, в 1841 году был назначен в Кавказскую армию, где был убит — т. 1: 129, 132, *853*.
Пассек Евгений Васильевич (1804—1842), старший из братьев Пассеков, окончил юридическое отделение Петербургского университета, служил в министерстве внутренних дел — т. 1: 129, 132, *853*, *854*.
Пассек Екатерина Ивановна, урожд. Вилефельд, вторая жена Вас. Вас. Пассека, мать В. В. и Д. В. Пассеков — т. 1: 127—130, 132, 153, 154, *853*.
Пассек Зинаида Васильевна, сестра Вад. Вас. Пассека — т. 1: 128, 129, *853*.
Пассек Леонид Васильевич, второй по старшинству из братьев Пассеков, морской офицер — т. 1: 129, *853*.
Пассек Людмила Васильевна («Гаетана»), сестра Вад. Вас. Пассека — т. 1: 128, 280—282, *862*.
Пассек Ольга Васильевна, старшая сестра Вад. Вас. Пассека — т. 1: 128, 129, *853*.
Пассек Петр Богданович (1736—1804), сановник, дядя и опекун Вас. Вас. Пассека — т. 1: 127, *853*.
Пассек Помпей Васильевич (р. в 1817), брат Вад. Вас. Пассека, в 1839 году окончил Московский университет кандидатом математического отделения — т. 1: 129, *853*.
Пассек Татьяна Петровна, урожд. Кучина («корчевская кузина», «корчевская племянница») (1810—1889), автор мемуаров «Из дальних лет» — т. 1: 60, 67—71, 77, 130, 131, 270, 277, 280, *846*,
Патти Аделина (1843—1919), итальянская певица — т. 2: 363.
Пачелли, муж и жена, итальянцы, жители Ниццы — т. 1: 776, 777.
Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790—1873), хирург, профессор и ректор Вильненского университета в 1826—1830 годах, противник польского революционно-освободительного движения — т. 1: 180.
Пелисье Жан Жак (1794—1864), французский маршал — т. 2: 219, *496*.
Пен (Пенн) Уильям (1644—1718), английский политический деятель, член секты квакеров и основатель колонии Пенсильвания в США — т. 1: 248.
Пепе Гульельмо (1782—1855), итальянский военный и политический деятель, в 1848 году руководил обороной Венецианской республики — т. 2: 13.
Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880), астроном и математик, академик, профессор с 1826 года и ректор в 1848—1851 годах Московского университета — т. 1: 137, 342.
Перекусихина Марья Саввишна (1739—1824), камер-юнгфера и наперсница Екатерины II — т. 1: 45.
Перетц Г. Г., агент III Отделения — т. 2: 266, *504*.
Перикл (Периклес) (ок. 490—429 до н. э.), древнегреческий государственный деятель — т. 1: 444, 555; т. 2: 381.
Перовский Лев Алексеевич (1792—1856), государственный деятель, в 1841—1852 годах министр внутренних дел — т. 1: 257, 505, 545, 546, *876*.
Перро Шарль (1628—1703).
«Рауль Синяя борода» — т. 1: 705, 706, 750; т. 2: 197, 386, *492*.
Персиньи Жан Жильбер Виктор Фиален, герцог (1808—1872), французский министр внутренних дел в 1852—1854 и 1860—1863 годах — т. 2: 385, 393, *526*.

Перье Казимир Пьер (1777—1832), французский политический деятель, банкир, сторонник Луи-Филиппа — т. 1: 617.

Пестель Иван Борисович (1765—1843), генерал-губернатор Восточной Сибири в 1806—1819 годах, отец П. И. Пестеля — т. 1: 220, 221.

Пестель Павел Иванович (1793—1826), декабрист — т. 1: 64, 109, 121, 149, 220, 399, 461, 661; т. 2: 249.

Петр I (1672—1725) — т. 1: 79, 101, 105, 115, 116, 123, 182, 218, 229, 246, 357, 366, 397, 438, 439, 442, 443, 448—450, 460, 462, 463, 468, 511, 522, 525, *858*, *868*, *869*; т. 2: 49, 52, 194, 201, 321, 372, 434, *516*, *522*, *537*.

Петр II (1715—1730) — т. 1: 439.

Петр III (1728—1762)— т. 1: 123, 127, 170, 244, 439.

Петр, слуга П. П. Медведевой—т. 1: 290.

Петр Федорович, камердинер А. И. Герцена со студенческих лет до сентября 1837 года — т. 1: 109, 110, 142, 144, 195, 212.

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866)— т. 1: 132, 133, 796, 809, 816, *918*, *919*; т. 2: 267.

Петровская Клеопатра Степановна, сестра чиновника А. С. Петровского — т. 1: 209.

Петровский Александр Степанович, чиновник в Перми — т. 1: 209, 252, 291.

Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885), профессор греческой филологии в Московском университете в 1835—1836 годах, впоследствии принял монашество — т. 1: 436, 461, *875*, *876*; т. 2: 314—325, *515*, *516*.

«Поликрат Самосский» — т. 2: 318.

«Торжество смерти» — т. 2: 315, 318, *515*.

Пиа Феликс (1810—1889), французский политический деятель и драматург — т. 1: 581; т. 2: 17, 25, 29, 34—36, 89, 99, *464—467*.

«Диоген» — т. 2: 34.

«Парижский вестовщик» — т. 2: 34, *466*.

Пианори Джованни (1827—1855), участник революции 1848 года в Италии, эмигрировавший после падения Рима, казнен за покушение на жизнь Луи-Наполеона— т. 1: 590, 594, 598; т. 2: 399, *529*.

Пианчани (Пьянчани) Луиджи (1810—1890), итальянский политический деятель, участник национально-освободительного движения — т. 1: 836; т. 2: 114, 306, 331.

Пиетри Пьер Мари (1810—1864), префект парижской полиции в 1851—1857 годах — т. 2: 164, 165.

Пизакане Карло (1818—1857), итальянский революционер, начальник штаба войск Римской республики в 1849 году — т. 1: 590, 591, 594, 598, 599, 771, 823, *896*, *897*, *916*; т. 2: 13.

Пий VII (1742—1823), папа римский с 1800 года — т. 1: 65, 598, *900*.

Пий IX (1792—1878), папа римский с 1846 года — т. 1: 149, 327, 446, 557, 596, 598, 678, *890*, *905*; т. 2: 15, 32, 440.

Пико, француз, слуга Ю. Н. Голицына — т. 2: 257, 260.

Пико делла Мирандола (Пик де ла Мирандоль) Джованни (1463—1494), итальянский философ и ученый — т. 1: 118.

Пикулин Павел Лукич (1822—1885), врач, профессор Московского университета, в юности был близок к герценовскому кружку 40-х годов — т. 1: 531; т. 2: 240, 241, *500*.

Пилад (м и ф.) — т. 1: 622.

Пиле Леон (1803—1868), французский консул в Ницце в 1849 году— т. 1: 763, 764.

Пименов Дмитрий Иванович, литератор — т. 1: 95—97, *848*.

«Нравственные рассуждения герцога де ла Рошфуко» (перевод)— т. 1: 95, *848*.

«О сущности красоты и прелести» (перевод) — т. 1: 95, *848*.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881), хирург и анатом — т. 1: 115.

Пирс Франклин (1804—1869), президент США в 1853—1857 годах — т. 2: 130.
Писарев Александр Александрович (1780—1848), писатель, попечитель Московского учебного округа в 1825—1830 годах — т. 1: 101, 116, 484, 486.
«Калужские вечера» — т. 1: 101.
Питт Уильям Старший, граф Чатам (1708—1778), английский государственный деятель, лидер партии вигов — т. 2: 233.
Пиччини Никколо (1728—1800), итальянский композитор — т. 2: 21, *464*.
Платон (427—347 до н. э.) — т. 1: 420, 636, 698, *873*; т. 2: 191, *491*.
Платон, крепостной И. А. Яковлева — т. 1: 28.
Плутин Сергей Федорович (1798—1881), муж сестры Н. П. Огарева Анны Платоновны — т. 1: 144.
Плутарх (ок. 46—126), древнегреческий писатель-моралист — т. 1: 74, 96; т. 2: 208.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, публицист, писатель — т. 1: 248, 440, 452, 463, 464, 466, 531, 536, *861*, *877*, *880*, *881*; т. 2: 326.
«Гец фон Берлихинген» (перевод трагедии Гете) — т. 1: 463, *880*.
«Год в чужих краях» — т. 1: 464, *880*.
«Лекции профессора Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира» — т. 1: 463, *880*.
«Марфа, посадница новгородская» — т. 1: 248, *861*.
«О прибытии царской фамилии в Москву» — т. 1: 440, *877*.
Покровский Александр, священник, посланный митрополитом Филаретом в Вятскую губернию миссионером — т. 1: 229, 230, *860*.
Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867), брат Н. А. Полевого, писатель, журналист, сотрудник «Московского телеграфа» — т. 1: 148.
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, журналист и историк — т. 1: 136, 140, 148, 149, 260, 350, 514, *855*; т. 2: 416—418, *533*.
«Параша Сибирячка» — т. 1: 149, *855*; т. 2; 418, *533*.
Полежаев Александр Иванович (ок. 1805—1838), поэт — т. 1: 101, 131, 135, 140, 149—152, *848*, *850*, *853*, *855*, *856*, *858*.
«К сивухе» — т. 1: 152.
«Провидение» — т. 1: 151, *856*.
«Сашка» — т. 1: 149, 150.
Поллес — см. Тугендгольд.
Поллок Фредерик (1783—1870), английский судебный деятель — т. 2: 94.
Поль Карл Карлович фон, директор канцелярии министерства внутренних дел — т. 1: 369, 379, 380, *869*.
Поль Петр Иванович, жандармский полковник в Казани в 1835 году — т. 1: 196.
Полье Варвара Петровна, урожд. Шаховская, графиня (1796—1870), богатая помещица—т. 1: 208.
Помпадур, маркиза де (наст. имя Жанна Антуанетта Пуассон) (1721—1764), фаворитка французского короля Людовика XV — т. 1: 45.
Понца (Понс) де ла Мартино, граф (1810—1876), чиновник министерства внутренних дел Пьемонта в 1851 году — т. 1: 681, 682, *907*.
Понятовский Юзеф (1762—1813), польский военный деятель, маршал наполеоновской армии — т. 1: 216; т. 2: 102, *474*.
Попов Андрей Александрович (1821—1898), адмирал — т. 2: 289.
Попов Стахий Ефимович, советник новгородского губернского правления во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 390, 392, 399.
Поппея Сабина (ум. в 65), вторая жена римского императора Нерона — т. 1: 65.
Потапов Александр Львович (1818—1886), генерал, московский обер-полицмейстер в 1860—1861 годах, затем начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением до 1864 года — т. 2: 255.

Потебня Андрей Афанасьевич (1838—1863), организатор военной революционной группы среди офицеров в войсках, расположенных в Польше, участник польского восстания 1863—1864 годов — т. 2: 245, 294, 295, 297, 300, 301, *502*, *513*.

Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791), государственный деятель, генерал-фельдмаршал — т. 1: 37, 215; т. 2: 421, *534*.

Потоцкие, польские магнаты — т. 2: 106.

Поццо ди Борго Карл Андрей, граф (1764—1842), родом из Корсики, русский дипломат, посланник в Париже после реставрации Бурбонов — т. 2: 363.

Прево д'Экзиль Антуан Франсуа (1697—1763).
«История кавалера де Грие и Манон Леско» — т. 2: 293.

Прево-Парадоль Люсьен (1829—1870), французский либерал, впоследствии стал сторонником Наполеона III — т. 2: 53, 396, *528*.

Прейс, братья, немецкие цирковые артисты и антрепренеры, гастролировавшие неоднократно в России — т. 1: 143.

Присниц Винценц (1799—1851), основатель гидротерапии — т. 2: 88, *472*.

Про, французский путешественник — т. 1: 503—505.

Прово Елизавета Ивановна (ум. около 1822), бонна А. И. Герцена, жена садовника-француза в имении П. А. Яковлева — т. 1: 34, 41—43, 66.

Прозерпина (м и ф.) — т. 2: 365, *520*.

Прозоровский Александр Александрович, князь (1732—1809), генерал-фельдмаршал, сенатор — т. 1: 475, 794.

Прокл (410—485), греческий философ-идеалист — т. 2: 320.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762—1848), профессор естественных наук и ректор Московского университета — т. 1: 149.

Прометей (м и ф.) — т. 1: 81, 116, 117; т. 2: 201.

Пронька, крепостной — т. 1: 73.

Протопопов Иван Евдокимович, домашний учитель А. И. Герцена с 1826 года — т. 1: 66, 68, 71.

Прочида Джованни (ок. 1225—после 1299), один из организаторов освобождения Сицилии от власти французов — т. 1: 597, *899*, *900*; т. 2: 12.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — т. 1: 148, 345, 362, 419, 429, 446, 524, 647, 686—701, 703, 797, 802, 805, 825, 832, *873*, *907—912*; т. 2: 33, 34, 54, 173, 185, 191, 321, 387, 403, 436—440, *466*, *469*, *477*, *490*, *491*, *527*, *537*, *538*.
«Да здравствует император!» — т. 1: 695, *911*.
«Исповедь революционера» — т. 1: 689, 690, 694, *909*.
«О пользе празднования воскресенья»—т. 1: 689.
«О справедливости в революции и в церкви» — т. 1: 697—701, *912*.
«Руководство биржевого игрока» — т. 1: 689, *909*.
«Система экономических противоречий, или Философия нищеты» — т. 1: 345, 687, 689, *909*.
«Что такое собственность?» — т. 1: 419, 689, *873*, *909*.

Пуансо Луи (1777—1859), французский математик и механик — т. 1: 115.
«Начала статики» — т. 1: 115.

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — т. 1: 64, 156, 439, 482, *845*; т. 2: 107.

Пульская Тереза — т. 2: 153, 154.

Пульский Ференц (Франц) (1814—1897), писатель, участник венгерской революции 1848 года, эмигрант — т. 2: 131, 135.

Пухта Георг Фридрих (1798—1846), немецкий юрист, профессор Мюнхенского, Марбургского и Берлинского университетов — т. 1: 420.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — т. 1: 61, 63, 66, 78, 85, 117, 123, 209, 254, 323, 345, 348, 350, 385, 397, 439, 443, 444, 447, 448, 453, 481, 497, 549, 567, 642, 680, 748, 772, 779, 793, 832, *846*, *847*, *850—852*, *859*, *862*,

863, *865—867*, *871*, *876*, *878*, *883*, *889*, *891*, *903*, *906*, *916*, *917*, *920*; т. 2: 51, 53, 266, 284, 415, 425, *461*, *498*, *505*, *533*, *536*.
«Бахчисарайский фонтан» — т. 1: 199, *859*; т. 2: 231, *498*.
«Бородинская годовщина» — т. 1: 345, *865*, *866*; т. 2: 266, *505*.
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» — т. 1: 779, *916*.
«Вакхическая песнь» — т. 1: 832, *920*; т. 2: 401.
«Вольность» («Ода на свободу») — т. 1: 66, *846*, *850*.
«Граф Нулин» — т. 1: 279, 680, *862*, *906*; т. 2: 391.
«Евгений Онегин» — т. 1: 69, 123, 149, 281, 350, 454, 461, 511, 533, 549, 748, 795, *846*, *852*, *863*, *867*, *887*, *889*; т. 2: 65, 294, 320, 321, 416, *516*.
«Египетские ночи» — т. 1: 209.
«Из письма к Вигелю» — т. 1: 443, *878*.
«К вельможе» — т. 1: 85, *847*.
«К портрету Чаадаева» — т. 1: 444, 793, *878*, *917*.
«К Чаадаеву» — т. 1: 447, 448, *846*, *878*.
«Кавказский пленник» — т. 1: 199.
«Каменный гость» — т. 1: 323.
«Кинжал» — т. 1: 66, *850*.
«Клеветникам России» — т. 1: 440, *866*, *876*; т. 2: 266, *505*.
«На выздоровление Лукулла» — т. 1: 117, *851*.
«На Стурдзу» — т. 1: 397, *871*.
«Полководец» — т. 1: 444, *878*; т. 2: 11, *461*.
«Полтава» — т. 1: 158.
«Послание Дельвигу» — т. 1: 642, *903*.
«Путешествие Онегина» — т. 1: 82, *847*; т. 2: 416, *533*.
«Стансы» — т. 2: 266, *505*.
«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» — т. 1: 343, *865*.
«Царь Никита и сорок его дочерей» — т. 1: 63, 481, *883*.
«Цыганы» — т. 1: 746.
«Чаадаеву» — т. 1: 447, 448, *878*, *879*.
Пушкин Василий Львович (1767—1830), поэт, дядя А. С. Пушкина — т. 1: 95.
Пьянчани — см. Пианчани.

Р., женевский врач — т. 1: 585.
Р., синьора — т. 1: 807.
Р. — см. Медведева П. П.
Рабле Франсуа (1483 или ок. 1494—1553) — т. 1: 688; т. 2: 50, 52.
Рабус Карл Иванович (1800—1857), художник, член Академии художеств с 1827 года — т. 1: 131, 132.
Раглан Джемс Генри, лорд (1788—1855), английский фельдмаршал, лишившийся в битве под Ватерлоо руки, командовал английскими войсками под Севастополем — т. 2: 153, 154.
Радецкий Иозеф, князь (1766—1858), австрийский фельдмаршал, возглавлял борьбу с национально-освободительным движением в Италии — т. 1: 604, 619, *902*.
Радзивилл, один из представителей старинного литовского княжеского рода — т. 2: 120, 121.
Радклиф Анна (1764—1823), английская писательница, создатель жанра «романа ужасов и тайн» — т. 1: 23.
Радовиц Иозеф Мария (1797—1853), прусский политический деятель, реакционер — т. 1: 678.
Раевская Софья Алексеевна (1769—1844), мать Е. Н. Орловой — т. 1: 443, 444.
Раевский Александр Николаевич (1796—1868), полковник, друг Пушкина — т. 1: 158.
Раевский Николай Николаевич (1771—1829), генерал, герой Отечественной войны 1812 года, отец А. Н. и Н. Н. Раевских и Е. Н. Орловой — т. 1: 158.
Раевский Николай Николаевич (1801—1843), друг Пушкина, в конце 20-х годов и в 1837—1841 годах участвовал в военных действиях на Кавказе — т. 1: 158, 159, *856*.
Райе Пьер Франсуа Олив (1793—1867), французский врач — т. 1: 570, 571, 728.
Расин Жан (1639—1699) — т. 1: 55; т. 2: 29.

«Гофолия» — т. 1: 55, *844*.
«Федра» — т. 1: 55, *844*.
Распайль (Распаль) Франсуа Венсан (1794—1878), французский республиканец-радикал, естествоиспытатель — т. 2: 30.
Рафаэль (Рафаил) Санти (1483—1520) — т. 1: 326, 440.
«Сикстинская мадонна» — т. 1: 326; т. 2: 210, 287.
Рахель — см. Варнгаген фон Энзе Рахиль.
Рашель Элиза (1821—1858), французская актриса—т. 1: 721; т. 2: 370.
Ребильо, префект парижской полиции с октября 1848 года по 10 декабря 1849 года — т. 1: 646, 725.
Регул Марк Атилий (ум. ок. 248 до н. э.), римский полководец и политический деятель, консул — т. 1: 85, 158.
Редкин Петр Григорьевич (1809—1891), юрист, профессор Московского университета в 1835—1848 годах — т. 1: 418, 420, 421, 436, 454, 494, 495, *873*, *876*; т. 2: 315, 317, *515*.
Рейер Клеман, секретарь парижской префектуры в 1850 году — т. 1: 651.
Рейсс (Рейс) Август Христиан, немецкий химик, профессор в Тюбингенском университете, дядя Ф. Ф. Рейсса — т. 1: 113, 115.
Рейсс (Рейс) Фердинанд Фридрих (Федор Федорович) (1778—1852), профессор химии в Московском университете в 1804—1832 годах — т. 1: 113, 115.
Рейтерн Михаил Христофорович, граф (1820—1890), министр финансов в 1862—1878 годах — т. 2: 354.
Рейхель Адольф (1817—1897), немецкий музыкант, один из ближайших друзей А. И. Герцена, в 1850 году женился на М. К. Эрн — т. 1: 692, *893*; т. 2: 127, 162—165.
Рейхель Казимир Яковлевич (1797—1871), военный инженер, археолог, в 40-х годах жил в Новгороде — т. 1: 398.
Рейхель Мария Каспаровна, урожд. Эрн (1823—1916), друг семьи А. И. Герцена — т. 1: 472, 546, 761, 768, 772, 778, 779, 783, 822, 825, 828, *841*, *882*, *916*; т. 2: 240, 394, *500*, *538*.
Рейхель Четта, первая жена Адольфа Рейхеля — т. 1: 570, 571, *893*.
Рейхенбах Оскар, граф (1815—1893), немецкий демократ, участник движения 1848 года, эмигрант — т. 2: 113, 122.
Рекамье Жюли (1777—1849), жена банкира, хозяйка одного из парижских салонов во времена Империи и Реставрации — т. 1: 454, 455, 622; т. 2: 363.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — т. 1: 579, 670; т. 2: 56.
Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892), французский историк христианства — т. 2: 409, *531*.
«Современные вопросы» — т. 2: 409, *531*.
Рено Жан, французский поэт, живший в XII веке — т. 2: 403.
Речер Генрих Теодор (1803—1871), немецкий драматург и теоретик в области эстетики, правый гегельянец — т. 1: 538.
Рея (м и ф.) — т. 2: 327, 426, *535*.
Рибейроль (Рибероль) Шарль (1812—1861), редактор газеты «Реформа» в 1848 году в Париже, редактор «L'Homme», газеты французских эмигрантов в Англии — т. 1: 801.
Ригби — т. 2: 170, 172.
Ридигер Федор Васильевич, граф (1783—1856), генерал-адъютант, участник подавления польского восстания в 1830—1831 годах и венгерской революции в 1849 году — т. 1: 199; т. 2: 152.
Риенцо (Ринзи) Кола ди (наст. имя—Никкола ди Лоренцо Габрини) (1313—1354), политический деятель средневекового Рима, вел борьбу с феодалами за объединение Италии — т. 1: 460, 596, 793.
Риказоли (Рикасоли) Беттино (1809—1880), премьер-министр Италии в 1861—1862 и 1866—1867 годах — т. 2: 380, 385, 386, *524*—*526*.

Риттер Генрих (1791—1869), немецкий философ — т. 1: 436.
Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (псевдоним Жан Поль) (1763—1825), немецкий писатель — т. 1: 178.
Рихтер Михаил Вильгельмович (1799—1874), врач, профессор акушерства в Московском университете в 1827—1851 годах — т. 1: 101.
Ричардсон Самюэль (1689—1761), английский писатель.
«Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» — т. 1: 91, 215; т. 2: 369.
Ричардсон, английский журналист и политический деятель — т. 2: 229, 234, *498*.
Робеспьер Максимилиан Мари Изидор (1758—1794) — т. 1: 138, 149, 390, 464, 494, 514, 605, 678, *845*, *855*, *884*; т. 2: 39, 47, 53, 146, 283, 409, *509*.
Родбертус (Родбартус) Карл Иоганн (1805—1875), немецкий экономист, консерватор — т. 2: 136.
Роджерс, сыщик лондонской полиции — т. 2: 90, 91.
Роза Сальватор (1615—1673), итальянский живописец — т. 1: 579.
Розе Густав (1798—1873), немецкий минералог и географ, участвовал в экспедиции Гумбольдта в Сибири и на Урале в 1829 году — т. 1: 117.
Розенгейм Михаил, студент Московского университета, участник «маловской истории» — т. 1: 113.
Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), немецкий философ-гегельянец — т. 1: 342, 344, *865*; т. 2: 138.
«Жизнь Гегеля» — т. 1: 344, *865*.
Ройе-Коллар (правильнее: Руайе-Коллар) Пьер Поль (1763—1845), французский политический деятель и философ, глава т. н. школы «доктринеров»—т. 1: 447.
Рокка Паскале, повар, служивший у А. И. Герцена в Ницце в 1851—1852 годах — т. 1: 710—712, 753, 755, 762, 763.
Ромарино Жером (1792—1849), итальянский генерал — т. 2: 16, *463*.
Ромео Джиованандреа (1786—1862), участник карбонарского движения, один из руководителей Калабрийского восстания в 1847 году — т. 1: 594, *898*.
Ронге Иоганн (1813—1887), немецкий пастор, один из «немецких католиков» — т. 1: 446; т. 2: 123, *480*.
Ронкони Доменико (1772—1839), итальянский певец — т. 2: 259.
Россель Джон (1792—1878), английский политический деятель, премьер-министр в 1846—1852 годах — т. 1: 634; т. 2: 116, *476*.
Россини Джоаккино Антонио (1792—1868) — т. 1: 343, 679, *906*; т. 2: 148.
«Вильгельм Телль» — т. 1: 679, *906*.
Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), государственный деятель, генерал, автор доноса на декабристов; с 1857 года член секретного и главного комитетов, а с 1859 года председатель т. н. редакционных комиссий, созданных для составления законопроекта об отмене крепостного права — т. 1: 279; т. 2: 242.
Ростопчин Федор Васильевич, граф (1763—1826), государственный деятель. В мае 1812 года был назначен военным губернатором и главнокомандующим в Москве — т. 1: 28, 30, 90, 220, 439, *876*; т. 2: 374.
Ростопчина Екатерина Петровна, урожд. Протасова, графиня (1775—1859), жена Ф. В. Ростопчина — т. 1: 90.
Роттек Карл Венцеслав Роденер фон (1775—1840), немецкий либеральный историк и политический деятель — т. 1: 421; т. 2: 326, *517*.
Ротшильд Джемс (1792—1868), парижский банкир — т. 1: 643—651, 654, 656; т. 2: 394.
Ротшильд Лионель (1808—1879), лондонский банкир — т. 2: 174, 189, 237, 280, 281, 306.
Ру Л., аббат — т. 2: 78, 81—84, *471*.
Рубенс Питер Пауль (1577—1640) — т. 2: 369.
Рубини Джованни Баттиста (1794—

1854), итальянский певец — т. 2: 363.

Руге Арнольд (1802—1880), немецкий радикал, левый гегельянец — т. 1: 342, 579, 609, 660, 662, 730, 802, *865*, *918*; т. 2: 108, 113, 121—123, 127, 286, 331, *479*, *480*, *482*, *483*.

Рулковиус Фердинанд, аптекарь в Вятке во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 293—295.

Рулковиус, жена Ф. Рулковиуса — т. 1: 293—295.

Рулье Карл Францевич (1814—1858), профессор зоологии Московского университета с 1842 года — т. 2: 423.

Румянцев Петр Александрович, граф (1725—1796), генерал-фельдмаршал, полководец, оказал большое влияние на развитие военного искусства XVIII века — т. 2: 423.

Румянцевы, графский и дворянский род — т. 1: 498.

Рунич Дмитрий Павлович (1778—1860), чиновник, мистик, в 1821—1826 годах попечитель Петербургского учебного округа — т. 1: 244, 513.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — т. 1: 138, 248, 277, 514, 518, 525, 526, 613, 632, 639, 642, *886*; т. 2: 39, 120, 176.

«Новая Элоиза» — т. 1: 673, *814*.

«Общественный договор» — т. 1: 691.

«Эмиль, или О воспитании» — т. 1: 518, *886*.

Руссо Тереза, урожд. Левассер, жена Ж.-Ж. Руссо — т. 1: 525, 526.

Руэр Эжен (1814—1884), французский политический деятель, занимал высшие государственные посты при Наполеоне III — т. 2: 414, *532*.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — т. 1: 66, 78, 109, 661, *846*, *891*; т. 2: *486*.

«Войнаровский» — т. 1: 199; т. 2: 166, *486*.

«Думы» — т. 1: 66.

Рыхлевский Андрей Иванович (1783—1830), вятский губернатор в 1825—1830 годах — т. 1: 222, 224.

С.— см. Свечина.

С. (офицер) —см. Соколов.

Сабуров Алексей Иванович, генерал-майор, был женат на Е. М. Сатиной, сестре Н. М. Сатина — т. 2: 240 *499*.

Савашкевич Леопольд, польский эмигрант, примыкал к левым группам эмиграции — т. 2: 344.

Савелий Гаврилович, староста с 1831 года в подмосковном имении И. А. Яковлева Покровском — т. 1: 410, 411, 414—417.

Савиньи Фридрих Карл (1779—1861), немецкий юрист, глава реакционной исторической школы права — т. 1: 420; т. 2: 261.

Савич Алексей Николаевич (1810—1883), участник студенческого кружка Герцена — Огарева, впоследствии выдающийся астроном — т. 1: 126, *853*.

Савич Иван Иванович (1808—1892), эмигрант, давал уроки русского языка детям А. И. Герцена в Лондоне, брат Н. И. Савича — т. 1: 834; т. 2: 262—264, 335, 336, 344, *504*, *518*.

Савич Николай Иванович (1808—1892), участник Кирилло-Мефодиевского общества; в 1847 году, после разгрома общества, был отправлен в ссылку — т. 2: 262, 264, *504*.

Сагра Рамон де ля (1798—1871), испанский политический деятель, живший в Париже в 1848—1854 годах — т. 1: 564, 568, 569.

Сагтынский (Сахтынский) Адам Александрович, чиновник III Отделения, ближайший помощник Дубельта — т. 1: 370—372, 374, 375, 507, 508, 546, 655.

Сазиков Павел Игнатьевич (ум. в 1868), скульптор, серебряных дел мастер — т. 1: 492.

Сазонов Николай Иванович (1815—1862), публицист и писатель, участник кружка Герцена — Огарева, впоследствии эмигрант — т. 1: 126, 139, 143, 165, 514, 550, 571, 572, 576, 625, 656, 663, 685, 687, 692, 733, 756, 757, 768, 769, 793—795, 798—808, *853*, *908*, *918*; т. 2: 286, 299, *477*.

«О месте России на всемирной выставке» — т. 1: 808.
Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна, урожд. Сухово-Кобылина, графиня (1815—1892), писательница (псевдоним — Евгения Тур)—т. 1: 81, 515, *847*, *886*.
Саломка (Соломка) Афанасий Данилович (1786—1872), придворный чиновник, приближенный Александра I; сопровождал его во время путешествий — т. 1: 209.
Салтыкова Дарья Николаевна («Салтычиха») (1730—1801), помещица, известная зверским обращением с крепостными — т. 1: 396.
Самарин Юрий Федорович (1819—1876), публицист, славянофил— т. 1: 360, 461, 465, 467, *877*, *880*, *881*; т. 2: 242, 427, *536*.
«О мнениях «Современника», исторических и литературных» — т. 1: 467, *881*.
Самойлов Николай Александрович, граф (ум. в 1842), флигель-адъютант при Александре I — т. 1: 62.
Санглен (Де-Санглен) Яков Иванович (1776—1864), в 1812—1816 годах начальник тайной полиции, приближенный Александра I — т. 1: 61, 95.
Сайдерс — см. Сондерс Томас.
Санти Александр Львович, граф (1769—1838), генерал-лейтенант, в 1811 году был киевским губернатором — т. 1: 85.
Сантин (Сентин) (наст. фамилия Бонифас) Жозеф Ксавье (1798—1865), французский писатель — т. 1: 280, 281.
«Изувеченный» — т. 1: 280.
Сапега, граф — т. 2: 312.
Саргант Уильям Л., биограф Р. Оуэна — т. 2: 174, *488*, *489*.
Сарто Андреа дель (наст. имя Андреа д'Аньоло) (1486—1531), итальянский живописец эпохи Возрождения — т. 2: *520*.
«Мадонна» — т. 2: 368, *520*.
Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт и переводчик, друг А. И. Герцена — т. 1: 25, 126, 133, 134, 139, 140, 142—144, 179, 182, 187, 189, 332, 340, 498, 514, *843*, *853—855*, *858*, *863*, *864*, *874*; т. 2: 424, 428, 429, 456, 457.
Сатурн (м и ф.) — т. 1: 754, 796, 823.
Сафо (конец VII в.— первая половина VI в. до н. э.), древнегреческая поэтесса; по преданию, отвергнутая любимым, бросилась в море — т. 1: 555, 821.
Саффи Аурелио (Марк Аврелий) (1819—1890), итальянский революционер — т. 1: 589, 598—601, 835—837, *895*, *900*; т. 2: 19, 123, 130, 221, 223, 224, 234, 235, *498*.
Сахаров Иван Петрович (1807—1863), этнограф, палеограф и фольклорист — т. 1: 351.
Сахтынский А. А.— см. Сагтынский А. А.
Сбышевский, граф, офицер русского военного флота, во время польского восстания 1863 года эмигрировал — т. 2: 313, 314.
Сбышевский (псевдоним «Un polonais») — т. 2: 313, 314.
«Польша и дело порядка» — т. 2: 314.
Сведенборг (Шведенборг) Эммануил (1688—1772), шведский мистик, теософ — т. 1: 247.
Свентославский Зенон (род. в 1811), участник польского национально-освободительного движения, эмигрировал в Англию — т. 1: 834; т. 2: 35, 36, 306.
Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1876), московский дворянин, в его доме бывали славянофилы и западники—т. 1: 105, 456.
Сверцекевич — см. Цверцякевич.
Свечина (С.), знакомая М. А. Хованской — т. 1: 299, *863*.
Свифт Джонатан (1667—1745).
«Путешествие Гулливера в отдаленные страны» — т. 2: 37.
Святослав Игоревич (ум. в 972), великий князь Киевский с 945 года — т. 2: 382, *525*.
Северин Дмитрий Петрович (1792—1865), дипломат — т. 1: 470.
Сегюр Луи Филипп (1753—1830), французский дипломат и историк — т. 1: 70, 386, *846*.
«Краткая всеобщая история...»— т. 1: 70, *846*.
Селастенник Гаврила Корнеевич,

пермский губернатор в 1835 году — т. 1: 196—199.
Семенов Иван Семенович (1797—1848), жандармский полковник, начальник части, расположенной в Крутицких казармах — т. 1: 174, 175, 329, 332.
Семенова Екатерина Семеновна, в замужестве кн. Гагарина (1786—1849), актриса — т. 1: 174.
Сенар Антуан Мари (1800—1885), председатель Учредительного собрания во Франции в 1848 году, один из руководителей подавления июньского восстания — т. 1: 561, 562.
Сенека Луций Анней (между 6 и 3 до н. э.— 65 н. э.), римский философ-стоик, воспитатель Нерона — т. 2: 403, *530*.
Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794), деятель французской революции конца XVIII века, один из руководителей якобинской революционно-демократической диктатуры — т. 1: 138, 605, 617, 632; т. 2: 47, 63, 243, 375.
Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (псевдоним «Барон Брамбеус») (1800—1858), журналист, редактор журнала «Библиотека для чтения»— т. 1: 45, 428; т. 2: 427, *536*.
Сен-Симон де Рувруа Анри Клод (1760—1825) — т. 1: 101, 136, 138, 147, 148, 181, 182, 297, 795, 798, *855*, *917*; т. 2: 178, 321, 402.
Сен-Симон де Рувруа Луи, герцог (1675—1755), французский политический деятель и писатель — т. 1: 182.
«Подлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства» — т. 1: 182.
Сент-Арно Арман Жак Леруа (1802—1854), французский политический и военный деятель, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года, военный министр в 1851—1854 годах — т. 2: 153.
Сенявин Иван Григорьевич (1801—1851), в 1838—1840 годах новгородский губернатор, в 1840—1845 годах московский губернатор — т. 1: 219.
Сераковский Зыгмунт (1827—1863), польский революционер, участник восстания 1863 года в Литве, захвачен в плен царскими войсками и казнен — т. 2: 246.
Сервантес Мигель де Сааведра (1547—1616).
«Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» — т. 1: 638, 691, 713; т. 2: 357.
Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), революционер-демократ, сотрудник журнала «Современник», один из организаторов «Земли и воли», поддерживал деятельную связь с Герценом и Огаревым — т. 2: 265, *504*, *506*.
Сеславин Александр Никитич (1780—1858), офицер, герой-партизан Отечественной войны 1812 года — т. 1: 222, 223.
Сибур Луи (1807—1860), священник, член Учредительного собрания во Франции в 1848 году — т. 1: 550, 554, 555.
Сибур Мари Доминик (1792—1857), парижский архиепископ с 1848 года — т. 1: 555.
Сидонский Федор Федорович (1805—1873), протоиерей, профессор философии и богословия — т. 1: 542, 543.
«Введение в науку философии» — т. 1: 542.
Сийес Эммануэль Жозеф (1748—1836), аббат, деятель французской революции конца XVIII века— т. 1: 633, *902*; т. 2: 165.
«Что такое третье сословие?»— т. 1: 633, *902*.
Сиккарди Джузеппе (1804—1857), министр юстиции в Пьемонте в 1850 году — т. 2: 226, *497*.
Сикст V (1521—1590), папа римский с 1585 года — т. 1: 280, 821.
Силен (м и ф.) — т. 2: 165.
Сили Роберт (1798—1886), лондонский издатель, писатель по ис-

торическим и религиозным вопросам—т. 2: 231—233, *493*, *494*, *497*.

Сильвестр (род. в конце XV в.— ум. в 60—70-х. XVI в.), священник, политический и церковный деятель, духовник Ивана IV Грозного — т. 1: 241.

Симеон Столпник (356—459), христианский подвижник — т. 1: 534.

Симон Людвиг (1810—1872), немецкий политический деятель, адвокат, эмигрант после 1848 года— т. 1: 744.

Сиртори Джузеппе (ум. в 1874), участник итальянского национально-освободительного движения — т. 1: 594, *898*.

Сиэс — см. Сийес.

Скаретка (Скарятка) Иван Павлович, офицер, полицейский провокатор, инициатор дела «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» в 1834 году — т. 1: 179, *857*, *858*.

Скарятин Владимир Дмитриевич, реакционный публицист, с 1863 года редактировал газету «Весть»—т. 2: 310.

Скворцов Андрей Ефимович, друг А. И. Герцена в период вятской ссылки, учитель вятской гимназии — т. 1: 249, 442, *861*.

Скобелев Иван Никитич (1778—1849), генерал, с 1839 года комендант Петропавловской крепости — т. 1: 351.

Скотт Вальтер (1771—1832) — т. 1: 481.

Слепушкин, московский торговец — т. 1: 89.

Слепцов Александр Александрович (1835—1906), один из организаторов и членов центрального комитета общества «Земля и воля» в начале 60-х годов—т. 2: 300, *513*.

Сливицкий Петр Михайлович, член революционной группы в русских войсках, расположенных в Польше, расстрелян в 1862 году — т. 2: 245, *502*.

Служальский, польский эмигрант в Париже — т. 1: 800.

Смаллан Елизавета Петровна, урожд. Яковлева (1784—1855), тетка Т. П. Пассек и двоюродная сестра А. И. Герцена — т. 1: 67.

Смирнов Константин Петрович, чиновник во Владимире, содействовавший свадьбе А. И. Герцена — т. 1: 313.

Снексарев Афанасий Иванович (3.) (1793—1851), полковник, сватался к Н. А. Захарьиной — т. 1: 299, 300, *863*.

Соколов (С.), офицер в Крутицких казармах — т. 1: 332.

Соколов Александр Иванович, одесский чиновник, близкий к литературным кругам, бывший студент Московского университета— т. 2: 428.

Соколов Георгий Васильевич, священник — т. 1: 167, 184.

Соколов Николай Васильевич (1832—1889), публицист, участник революционного движения 1860—1870-х годов; в 60-х годах сотрудничал в «Русском слове» — т. 2: 284, *509*.

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839), поэт, в 1832 году сблизился с московским кружком Герцена — Огарева, в 1834 году был арестован — т. 1: 133, 140, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 332, *854*, *857*, *858*; т. 2: 434, *537*.

«Мироздание» — т. 1: 184.

«Русский император в вечность отошел...» — т. 1: 179, *857*, *858*; т. 2: 434, *537*.

«Хеверь» — т. 1: 140, 184, *854*.

Сократ (ок. 469—399 до н. э.) — т. 1: 696, 821.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882), писатель — т. 1: 259, *861*; т. 2: 424, 427, *536*.

«Тарантас» — т. 1: 259, 350, *861*; т. 2: 424, *536*.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк — т. 2: 421, *535*.

«Даниил Романович, князь Галицкий» — т. 2: 421, 422, *535*.

Соломка — см. Саломка.

Сондерс (Сандерс) Томас (1786—1872), начальник сыскной поли-

ции в Лондоне в 1858 году — т. 2: 93.
Сондерс (Соундерс), консул США в Лондоне в 1864 году — т. 1: *898*; т. 2: 130, 131, 133, 210.
Сондерс, жена консула Сондерса — т. 2: 132, 133.
Сорокин Михаил Федорович, художник, был арестован в 1834 году одновременно с А. И. Герценом и выслан в Костромскую губернию. В 1842 году вернулся в Москву — т. 1: 189, *857*.
Софокл (ок. 497—406 до н. э.) — т. 1: 633, *902*.
«Царь Эдип» — т. 1: 633, *902*.
Спартак (ум. в 71 до н. э.) — т. 2: 63, 255, 262.
Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), государственный и политический деятель в царствование Александра I; в 1812 году был выслан в Нижний Новгород. В 1819—1821 годах генерал-губернатор Сибири — т. 1: 219, 388, *869*.
Спини Леопольд, участник итальянского национально-освободительного движения, эмигрант — т. 1: 589, *895*.
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—1677) — т. 1: 535, 696, *887*; т. 2: 191.
Спиридон, повар в доме И. А. Яковлева — т. 1: 73, 89, 92, 94, 142.
Стааль Карл Густавович (1777—1853), участник войн с Наполеоном, в 1830—1853 годах комендант Москвы, сенатор — т. 1: 133, 134, 169, 174, 178, 180, 181, 184, 187.
Сталь (Стааль) Анна Луиза Жермен де (1766—1817), французская писательница — т. 1: 455, 622.
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), руководитель московского философско-литературного кружка 30-х годов — т. 1: 334, 340, 341, 355, 356, 359—364, 421, 428, 429, 454, 461, 796, *854*, *864—866*, *874*.
«Переписка... 1830—1840» — т. 1: 355, 356.
Стансфилд Джемс (1820—1898), английский политический деятель, член палаты общин в 1859—1895 годах, примыкал к левой фракции либеральной партии, друг Маццини — т. 2: 208, 211, 213, 229, 231, 233, 234, *486*, *494*, *495*.
Степли (Станли) — см. Дерби.
Степанов Андрей — см. Кашенцов А. С.
Стерн Е., лондонский биржевой маклер — т. 2: 342, 343.
Стофреген — см. Штофреген.
Стрекалов Степан Степанович (1781—1856), генерал-адъютант при Александре I — т. 1: 246.
Стремоухов, офицер — т. 2: 157, 158.
Строганов Александр Григорьевич, граф (1795—1891), министр внутренних дел в 1839—1841 годах — т. 1: 192, 193, 365, 368, 375, 378—380, 386, 389, 490, 507.
Строганов Сергей Григорьевич, граф (1794—1882), государственный и военный деятель, в 1835—1847 годах попечитель Московского учебного округа — т. 1: 279, 365, 420, 421, 440, 464, 488—492, 495, *873*, *883*, *885*; т. 2: 315, 432, *515*.
Струве Амалия, жена Г. Струве — т. 1: 584, 586, 587.
Струве Густав (1805—1870), немецкий республиканец, один из руководителей восстания в Бадене в 1848 году — т. 1: 584—588, 606, 607, 619—622, *895*.
Струве Густав Андреевич (1801—1866), русский министр-резидент в Гамбурге — т. 1: 621.
Струговщиков Федор Федорович, помещик Новгородской губернии, отставной офицер — т. 1: 394—396, *870*.
Струговщикова, мать Ф. Ф. Струговщикова — т. 1: 395.
Студеникин Дмитрий Игнатьевич — т. 1: 166, *857*.
Стюарты, династия английских королей — т. 2: 32.
Суворов Александр Аркадьевич, князь (1804—1882), генерал-губернатор остзейских провинций в 1848—1862 годах — т. 2: 342.

Суворов Александр Васильевич (1730—1800) — т. 1: 211, 223; т. 2: 132, 423.
Суле Пьер (1801—1870), американский политический деятель, посол США в Мадриде в 1853—1854 годах — т. 2: 131, *484*.
Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.), древнеримский диктатор — т. 2: 32.
Сулук Фаустин (ок. 1782—1867), негр, с 1847 года президент острова Гаити, в 1849 году провозгласил себя императором, свергнут в 1858 году — т. 2: 32.
Сунгуров Николай Петрович (род. в 1805), возглавлял тайное общество в Москве в конце 20-х годов, был арестован в 1831 году и приговорен к каторжным работам, умер в Сибири — т. 1: 100, 132—136, 359, *852—854*, *868*.
Сурбаран (Зурбаран) Франсиско (1598—ок. 1664), испанский художник — т. 1: 420.
Суслова Надежда Прокофьевна (1843—1918), одна из первых в России женщин-врачей — т. 2: 377, *523*.
Сутерленд Джордж, герцог (1828—1892) — т. 2: 209, 213, 218—220, 223, 224, 230, 233, *493*, *497*.
Сухозанет Иван Онуфриевич (1785—1861), генерал-адъютант — т. 2: 363.
Сухозанет Николай Онуфриевич (1794—1871), военный министр с 1856 года — т. 2: 239, *499*.

Т.— см. Тучков.
Таландье Альфред (1822—1890), французский политический деятель и публицист, участник революции 1848 года, эмигрировал в Англию, где близко сошелся с А. И. Герценом — т. 1: 432; т. 2: 340, 369, 370.
Талейран Шарль Морис (1754—1838), французский политический деятель и дипломат — т. 1: 392, *870*; т. 2: 12.
Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826), французский актер — т. 1: 602, *900*; т. 2: 139, *462*.
Тальони Мария (1804—1884), танцовщица — т. 2: 363.
Тансен (1685—1749), фаворитка регента — герцога Орлеанского — т. 2: 39.
Тардиф Мело де, французский литератор — т. 1: 801, 804.
Тассо Торквато (1544—1595) — т. 2: *486*.
«Освобожденный Иерусалим» — т. 1: 673; т. 2: 164, *486*.
Тата — см. Герцен Н. А. (дочь).
Татьяна, кормилица Н. А. Герцен, старшей дочери Герцена — т. 1: 510, 546, *889*.
Таузенау Карл (1808—1873), участник революционного движения 1848 года в Вене, эмигрант в Лондоне — т. 2: 163—165, *367*.
Тацит Публий Корнелий (ок. 55—ок. 120) — т. 2: 55, 399, *470*.
Тейлор Питер Альфред (1819—1891), английский политический деятель, радикал, друг Маццини, председатель английского «Общества друзей Италии» — т. 2: 115, *476*.
Телеки Сандор, граф (1821—1892), венгерский политический деятель, сражался в рядах венгерской революционной армии, в 1849 году эмигрировал в Англию — т. 2: 36, 135, 153, 154, 384.
Темпль, английский судья — т. 2: 176.
Теннисон Альфред (1809—1892), английский поэт — т. 2: 213.
Теренций Публий (ок. 185—159 до н. э.), римский комедиограф — т. 1: 633, *902*.
«Андриа» — т. 1: 633, *902*.
Тернер (Турнер) Джозеф Мэллорд Уильям (1775—1851), английский живописец — т. 2: 35.
Терновский Петр Матвеевич (1798—1874), профессор богословия в Московском университете с 1827 года — т. 1: 60, 101.
Теруань де Мерикур (наст. имя Анна Жозефа Теруань) (1762—1817), участница французской революции конца XVIII века — т. 1: 347, *866*.
Тесье дю Моттэ Мари Эдмонд, фран-

цузский химик, участник революции 1848 года, в 1852 году учитель сына А. И. Герцена — т. 1: 610, 763, 774, 783—788, 790, 825—827, *917*.

Тесье дю Моттэ, жена М. Э. Тесье — т. 1: 826.

Тимашев Александр Егорович (1818—1893), генерал-адъютант, управляющий III Отделением и начальник штаба корпуса жандармов в 1856—1867 годах — т. 1: 533.

Тиме Карл Иванович, врач, инспектор врачебной управы в Новгороде — т. 1: 348, 349.

Тимолеон (Тимолеот) (ок. 411—336 или 337 до н. э.), коринфянин, в борьбе с тиранией не пощадивший родного брата, стремившегося захватить власть — т. 1: 658.

Тимофеев Алексей Васильевич (1812—1883), поэт — т. 1: 368.

Тинторетто (наст. фамилия Робусти) Якопо (1518—1594) — т. 2: 368, 377.

Тирье Франц Николаевич, учитель французского языка А. И. Герцена — т. 1: 95.

Титан (м и ф.) — т. 1: 635; т. 2: 201.

Тициан Вечеллио (ок. 1477, по другим данным 1487 или 1488—1576) — т. 2: 365, 377.

Товянский Андрей (1799—1878), польский мистик, глава религиозной секты — т. 1: 347, 569, 570, 801, *892*; т. 2: 103, *475*.

Токвиль Алексис (1805—1859), французский историк и политический деятель, член Учредительного собрания в 1848 году, министр иностранных дел в кабинете Барро в 1849 году — т. 1: 254, 560, *861*, *891*; т. 2: 55.

«О демократии в Америке» — т. 1: 254, 560, *861*, *891*.

«Старый порядок и революция» — т. 2: 55.

Толочанов Константин Дмитриевич (ум. в 1821), крепостной Яковлевых — т. 1: 52, 53.

Толочанова, жена К. Д. Толочанова — т. 1: 52.

Толстая Авдотья Максимовна, урожд. Тучаева, графиня (ум. в 1861), жена Ф. И. Толстого — т. 1: 211.

Толстая Сарра Федоровна, графиня (1821—1838), дочь Ф. И. Толстого — т. 1: 211.

Толстой Николай Иванович (1792—1854), сенатор, ревизовавший Сибирь — т. 1: 215.

Толстой Федор Иванович («Американец»), граф (1782—1846), богатый помещик, авантюрист и дуэлянт, похождения его неоднократно описаны современниками — т. 1: 211, 212, 445.

Толстой Яков Николаевич (1791—1867), русский эмигрант; стал в 1837 году агентом III Отделения в Париже — т. 2: 325, *516*.

Толь Карл Федорович, граф (1777—1842), генерал, участник подавления декабрьского восстания 1825 года — т. 1: 398, *871*.

Тон Константин Андреевич (1794—1881), архитектор, автор проекта, по которому был построен храм Христа Спасителя в Москве — т. 1: 241.

Торвальдсен Бертель (1768—1844), датский скульптор — т. 1: 159, *857*.

Торе Теофиль (1807—1869), французский левый республиканец, участник революции 1848 года — т. 1: 576.

Тохтамыш (ум. ок. 1406), хан Золотой орды — т. 1: 252.

Трабуко Рафаэль, итальянский эмигрант, привлекался по делу о покушении на Наполеона III в 1863 году — т. 2: 214, *494*.

Тредиаковский (Тредьяковский) Василий Кириллович (1703—1769), поэт и теоретик литературы — т. 1: 113.

Трелони, член английского парламента — т. 2: 176, *489*.

Трескин Николай Иванович (1763—1842), иркутский губернатор в 1805—1820 годах — т. 1: 221.

Тромпетер Полина (Паулина), в замужестве Скворцова, друг А. И.

Герцена в период вятской ссылки — т. 1: 293—295, *863*.
Трубецкая, княгиня — т. 1: 51.
Трубецкая Екатерина Ивановна, урожд. Лаваль (ум. в 1854), жена декабриста С. П. Трубецкого — т. 1: 63.
Трубецкой, князь, помещик Орловской губернии — т. 1: 397, *870*.
Трубецкой Сергей Петрович, князь (1790—1860), полковник, декабрист — т. 1: 491, *884*.
Трувеллер Владимир Васильевич (род. в 1842), флотский юнкер, сосланный в 1862 году в Сибирь за распространение нелегальной литературы — т. 2: 246, 247, *502*, *503*.
Трулов Эдуард (род. в 1809), английский общественный деятель, издатель радикальной литературы в Лондоне — т. 2: 89, 97—99.
Трюбнер Николай (1817—1884), английский библиограф и издатель. Печатал и распространял издания А. И. Герцена — т. 1: 833; т. 2: 94, 241, 271, 305, 306, 450, *506*.
Тугенгольд, брат С. Тугенгольда (Поллеса), врач — т. 2: 313, *514*.
Тугенгольд (псевдоним «Поллес») Стефан — т. 2: 309—311, 313, *514*, *515*.
Тур Альберт, польский эмигрант в Лондоне — т. 2: 305, 306, 308, 309.
Тургенев Александр Иванович (1785—1846), друг Пушкина, Вяземского, Чаадаева; собрал в заграничных архивах ценные документы по русской истории — т. 1: 454.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883)— т. 1: 115, 350, 355, 396, 536, 538, 571, 723, 728, 737, *868*, *870*, *876*, *887*; т. 2: 141, 242, 290, 294, 419, 432, *472*, *501*, *522*, *534*.
«Записки охотника» — т. 1: 396, *870*; т. 2: 88, 419, *472*, *534*.
«Нахлебник» — т. 2: 373, *522*.
«Отцы и дети» — т. 1: 536; т. 2: 285.
«Параша» — т. 1: 350.
«Рудин» — т. 2: 290.
Турнер — см. Тернер.
Тучков Алексей Алексеевич (1799—1878), отец Н. А. и Е. А. Тучковых — т. 1: 545, 724, *888*; т. 2: 425.
Тучков Павел Алексеевич (1776—1858), герой Бородина, член Государственного совета — т. 1: 506.
Тучкова Елена Алексеевна (1827—1871), жена Н. М. Сатина — т. 1: 545, 558, 724, *888*, *890*.
Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913), вторая жена Н. П. Огарева — т. 1: 545, 558, 724, 725, 780, *874*, *888*, *890*, *916*.
Тучковы—т. 1: 723.
Тхоржевский Станислав, польский эмигрант; имел книжную лавку в Лондоне — т. 2: 89, 97—99, 248, 281, 307, 308, 314.
Тьер Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк, палач Парижской Коммуны 1870 года — т. 1: 182, 383, 690, 691, *910*; т. 2: 396, 414, *528*, *532*.
«История Консульства и Империи» — т. 1: 383.
«История французской революции» — т. 1: 182.
Тэер Альбрехт Даниэль (1752—1828), немецкий ученый, агроном — т. 1: 483.
Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781), французский государственный деятель и экономист — т. 1: 234.
Тюрго Луи Феликс, маркиз (1796—1866), посол Франции в Испании в 1853 году — т. 2: 131, *484*.
Тюссо Мария (1760—1850), основательница музея восковых фигур и реликвий в Лондоне — т. 2: 85, *472*.
Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — т. 2: 399, *529*.
Тюфяев, отец К. Я. Тюфяева — т. 1: 205.
Тюфяев Кирилл Яковлевич (1775—ок. 1845), губернатор в Перми с 1824 года, в Твери с 1831 года, в Вятке в 1834—1837 годах — т. 1:

119, 204—206, 209, 210, 214—218, 233, 235, 249—254, 256, 290, 291, 368, 652, *859*.

Тюфяева, жена К. Я. Тюфяева — т. 1: 214.

Тюфяева, мать К. Я. Тюфяева — т. 1: 205.

Убичини, агент лондонской полиции — т. 2: 91.

Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855), реакционный государственный деятель, министр народного просвещения в 1833—1849 годах — т. 1: 115, 117—120, 440, *851*.

Уголино делла Герардеска, правитель Пизы, свергнут в 1288 году— т. 2: 204, *492*.

Удето Элизабет Франсуа Софи, княгиня (1730—1813), близкий друг Ж.-Ж. Руссо — т. 1: 526.

Удино Никола Шарль Виктор, герцог (1791—1863), генерал, командующий в 1849 году французскими войсками, посланными для подавления республики в Риме; 2 декабря 1851 года был назначен командующим войсками для борьбы с Луи-Наполеоном, но был тут же арестован Барле —т. 1: 562, *894*; т. 2: *496*.

Уллоа Джероламо (1810—1891), итальянский генерал, участвовал в защите революции Венеции в 1848—1849 годах — т. 2: 13.

Ульпиан Домиций (170—228), римский юрист, опекун императора Александра Севера, занимал важные государственные должности— т. 2: 403, *530*.

Урбан Карл, барон (1802—1877), австрийский фельдмаршал, в 1859 году командовал дивизией, действовавшей против отрядов Гарибальди — т. 2: 135, 136, 148, *485*.

Уркхардт (Уркуард) Давид (1805—1877), английский политический деятель и публицист — т. 2: 128, 129, 229, *481—483*, *497*, *498*.

Уткин Алексей Васильевич (ок. 1796—1836), художник, разночинец, арестован вместе с А. И. Герценом в 1834 году. Умер в Шлиссельбургской крепости — т. 1: 187, 188, *857*, *858*.

Фабр, агент III Отделения — т. 1: 376.

Фавр Жюль (1809—1880), французский политический деятель, адвокат, в годы Второй империи возглавлял буржуазно-республиканскую оппозицию — т. 2: 410, *531*.

Фази Жан Жак (Джемс) (1794—1878), швейцарский политический деятель — т. 1: 612, 615—624, 670, 672; т. 2: 16, 352.

Фаллу Фредерик Альфред Пьер, граф (1811—1886), легитимист и вождь клерикальной партии во французском Учредительном собрании 1848 года— т. 1: 659.

Фан-Дейк — см. Ван-Дейк.

Фарадей (Фаредей) Майкл (1791—1867), английский физик — т. 2: 175.

Федор Карлович, немец-гувернер А. И. Герцена в детстве— т. 1: 57, 58.

Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872) — т. 1: 343, 349, 446, 495, 814.

«Сущность христианства» — т. 1: 349, 814.

Фелинский Сигизмунд (1822—1895), участник революционного движения в Познани в 1848 году, в 1855 году принял сан священника, с 1862 года архиепископ— митрополит Варшавский; выслан в Ярославль в 1863 году — т. 2: 262.

Фемида (м и ф.) — т. 1: 652.

Фен Агатон Жан Франсуа (1778—1837), секретарь Наполеона I — т. 1: 30, *843*.

«Описание 1812 года» — т. 1: 30, *843*.

Фергюссон (Фергуссон) Уильям (1808—1877), лейб-медик королевы Виктории — т. 2: 231—233, *493*.

Фердинанд I (1793—1875), австрийский император в 1835—1848 годах — т. 2: 184.

Фердинанд II (Неаполитанский) (1810—1859), король обеих Сицилий с 1830 года — т. 1: 65, 557, 590, 591, 598, *890*, *897*; т. 2: 17, 184, *464*.

Фигнер Александр Самойлович (1787—1813), офицер, герой-партизан в Отечественной войне 1812 года — т. 1: 222, 223.

Фиески Джузеппе (1790—1836), корсиканец, в 1835 году произвел покушение на французского короля Луи-Филиппа — т. 1: 155; т. 2: 139, *485*.

Филарет (Василий Михайлович Дроздов) (1783—1867), московский митрополит с 1826 года — т. 1: 65, 100, 121, 122, 229, 243, 244, 246, 298, 495, 513, 799, *851*, *852*, *860*, *884*.

«Слово по освящении храма и по принесении господу богу молитв о предохранении от губительной болезни» — т. 1: 122, *852*.

Филимонов Владимир Сергеевич (1787—1858), поэт и журналист — т. 1: 535, *887*.

«Дурацкий колпак» — т. 1: 535, *887*.

Филимонов, жандарм, приставленный к Герцену во время его заключения в Крутицких казармах — т. 1: 173—177.

Филипон Шарль (1802—1862), французский художник-карикатурист и журналист — т. 1: 552, 799.

«Груши» — т. 1: 476.

Филипп Ж., французский эмигрант, содержатель аптеки в Лондоне — т. 2: 30, *465*.

Филипп II, герцог Орлеанский (1674—1723), регент Франции в 1715—1723 годах — т. 2: 121, 256, *476*, *504*.

Филиппович Владимир Иванович (1796—1862), новгородский знакомый А. И. Герцена — т. 1: 346, 347, 404, *866*.

Филиппович Лариса Дмитриевна (ум. в 1868), новгородская знакомая А. И. Герцена — т. 1: 334, 346—349, *866*.

Филипс Джордж, манчестерский фабрикант, член парламента — т. 2: 173, *488*.

Филопанти Квирико (1812—1894), итальянский политический деятель и ученый, в 1849 году секретарь римского республиканского триумвирата, эмигрант — т. 2: 25, 26.

Финлен (Финлейн) Джемс, деятель чартистского движения — т. 2: 337, *518*.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ — т. 1: 362; т. 2: 175.

Фицхелауров Степан Петрович, с 1827 года студент медицинского факультета Московского университета — т. 1: 123, *852*.

Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771—1853), профессор зоологии в Московском университете с 1804 года, преподавал в Московской медико-хирургической академии — т. 1: 112, 513, *886*.

Флокон Фердинанд (1800—1866), французский журналист и политический деятель, член временного правительства в 1848 году — т. 1: 737, 739; т. 2: 287.

Флорестан I (1785—1856), монакский князь с 1841 года — т. 1: 260.

Флориани, придворный парикмахер в Петербурге — т. 2: 361.

Фогт Адольф (1823—1907), врач, брат Карла Фогта — т. 1: 728.

Фогт Вильгельм Филипп Фридрих (1786—1861), профессор медицины — т. 1: 671—675, *905*.

Фогт Густав (1829—1901), брат Карла Фогта, редактор «Новой цюрихской газеты» — т. 1: 672.

Фогт (Фохт) Карл (1817—1895), немецкий естествоиспытатель, участник революции 1848 года, эмигрировал в Швейцарию — т. 1: 670—672, 674—679, 685, 692, 710, 713, 714, 747, 754, 756, 763, 767—770, 774, 776, 778—780, 782, 786, 787, 790, 809, 825, *905*, *914*; т. 2: 115, 135, 225, *478*, *479*, *485*, *496*, *497*, *538*.

Фогт Луиза, урожд. Фоллен (1799—после 1864), жена Вильгельма Фогта — т. 1: 671, 672, *914*.

Фогт Луиза, дочь Вильгельма Фогта — т. 1: 672—674.
Фокс Чарльз Джемс (1749—1806), лидер партии вигов, в личной жизни был известен кутежами и карточной игрой — т. 2: 172, 348.
Фоллен Август (1794—1855), немецкий поэт и публицист, участник студенческого движения в Германии в 1815—1820 годах — т. 1: 671, 675, 736, *905*, *914*.
Фома Кемпийский (Томас Хамеркен) (1380—1471), монах, средневековый богослов — т. 1: 639.
Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) — т. 2: 421, *534*, *535*.
«Бригадир» — т. 2: 421, *534*.
«Недоросль» — т. 2: 421, *535*.
Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854), декабрист, генерал, участник войн с Наполеоном — т. 2: 249.
Форестье Генри Жозеф (1787—1882), начальник легиона парижской Национальной гвардии в Июньские дни 1849 года — т. 1: 579.
Форстер Иоганн Георг Адам (1754—1794), немецкий натуралист, писатель и революционер; в 1772—1774 годах участвовал во втором кругосветном путешествии Кука; в 1793 году был послан делегатом от г. Майнца в Конвент — т. 1: 464.
Фосколо Никколо Уго (1778—1827), итальянский поэт — т. 1: 783.
«Гробницы» — т. 1: 783.
Фостер, квакер, один из совладельцев основанной Робертом Оуэном в Нью-Ланарке фабрики — т. 2: 185, *490*.
Фотий (Петр Никитич Спасский) (1792—1838), архимандрит новгородского Юрьевского монастыря; при Александре I участник дворцовых интриг — т. 1: 244, 513, *844*.
Фоше Леон (1804—1854), французский экономист, министр внутренних дел при Луи-Наполеоне — т. 1: 696; т. 2: 390.
Франкер Луи Бенжамен (1773—1849), французский математик, автор популярных учебников — т. 1: 103, 342, *850*.
«Курс чистой математики» — т. 1: 103, *850*.
Франклин Вениамин (Бенджамин) (1706—1790) — т. 1: 632, *902*.
Франсуа, итальянец, повар в семье А. И. Герцена — т. 1: 762, 763, 782; т. 2: 80, 152.
Франц-Иосиф I (1830—1916), австрийский император с 1848 года — т. 1: 432, *875*; т. 2: 22, 184, *464*.
Франколи Людовико (1815—1878), посол в Париже от Ломбардии, затем от Тосканы и Римской республики во время революции в Италии — т. 1: 686.
Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876), немецкий поэт — т. 2: 122.
Фридрих II Великий (1712—1786), король прусский с 1740 года — т. 1: 35, 397, 601, *851*; т. 2: 320, 440.
Фридрих Август II (1797—1854), король Саксонии с 1836 года — т. 2: 287.
Фридрих Вильгельм I (1688—1740), прусский король с 1713 года — т. 1: 397.
Фридрих Вильгельм III (1770—1840), прусский король с 1797 года — т. 1: 115, 383, *848*.
Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), прусский король в 1840—1857 годах — т. 1: 547, 548, 583, 675, 735, *905*; т. 2: 53, 139, 388, *485*, *486*.
Фрич Иозеф Вацлав (1829—1891), чешский политический деятель и писатель, участник пражского восстания 1848 года, эмигрант — т. 2: 290.
Фролов Петр Александрович (1828—1867), сотрудник «Отечественных записок» с 1849 года — т. 2: 432.
Фукье-Тенвиль Антуан Кантен (1746—1795), общественный обвинитель в революционных трибуналах 1793 года — т. 1: 516.
Фультон Роберт (1765—1815), американский изобретатель, создатель первого парохода — т. 2: 197.

Фурер Ионас (1805—1861), президент Швейцарского союза — т. 1: 620.
Фурье Шарль (1772—1837)— т. 1: 422, 678, 816, *908*; т. 2: 173, 178, 191, *469*.
Фуше Жозеф (1759—1820), член французского Конвента, затем министр полиции при Наполеоне — т. 1: 658.

Х.— т. 1: 653—657.
Харон (м и ф.)— т. 2: 362.
Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), поэт и драматург — т. 1: 113, 480.
«Россиада» — т. 1: 480.
Хлопин Василий Васильевич, советник новгородского губернского правления во время ссылки А. И. Герцена — т. 1: 400, 402.
Хмеленский (Хмелинский) Игнаций (род. в 1837), польский революционер, организатор покушения в 1862 году на великого князя Константина Николаевича, глава революционного правительства 1863 года — т. 2: 304, 305, *514*.
Хованская Екатерина Петровна (1811—1855), сестра декабриста В. П. Ивашева — т. 1: 63.
Хованская Екатерина Федоровна, княгиня (род. в 1788), дочь М. А. Хованской — т. 1: 267, 268, 270.
Хованская Марья Алексеевна, урожд. Яковлева («княгиня») (1755—1847), тетка А. И. Герцена. В ее доме воспитывалась Н. А. Захарьина — т. 1: 37, 97, 137, 264—271, 273—278, 297—304, 306, 307, 309, 310, 312, 315, 316, 318, *862*.
Хованская Наталья Федоровна (1792—1821), в замужестве Насакина, дочь М. А. Хованской— т. 1: 267, 268, 270, 300.
Хованский Александр Николаевич, князь (1771—1857), управляющий государственным ассигнационным банком — т. 2: 244, *501*.
Хованский Федор Сергеевич, князь (1754—1821), помещик — т. 1: 266—268, 270.
Ховра Степан Васильевич, князь — т. 2: 328, *517*.
Ховрин, московский дворянин, муж М. Д. Ховриной — т. 1: 425.
Ховрина Александра Николаевна, в замужестве Бахметева (1825—1901), дочь М. Д. Ховриной — т. 1: 167, 168.
Ховрина Мария Дмитриевна, урожд. Лужина (1801—1877), в 40-х годах была близка к литературным кругам — т. 1: 424, 425.
Хоецкая Мария, дочь К. Хоецкого— т. 1: 824, 826, *919*.
Хоецкий Карл Эдмонд (лит. псевдонимы—«Шарль Эдмонд» и «Ш. Э.») (1822—1899), литератор, принимал участие в издании газет Прудона, был близок к А. И. Герцену — т. 1: 566—568, 692, 710, 712—714, 756, 763, 769, 776, 781, 783, 786, 790, 805, 824, 826, *908*, *919*; т. 2: 130, 145, 146, 297, 437, *512*, *537*.
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт-славянофил и философ — т. 1: 105, 117, 360, 437, 439, 448, 452, 453, 456—458, 461, 462, 467, 468, 567, 692, *877*, *880*; т. 2: 285, 427, *536*.
«Дмитрий Самозванец» — т. 1: 461.
«Ермак» — т. 1: 461.
«Мнение русских о иностранцах» — т. 2: 427, *536*.
Хоткевич, граф, польский эмигрант — т. 1: 800, 806, 807.
Хотомский — т. 2: 379, *524*.

Цабель (Суццер) Луиза, племянница Л. И. Гааг — т. 1: 762, 763, 765, 766.
Цверцякевич (Сверцекевич) Иосиф, представитель польского повстанческого правительства в Лондоне в 1863 году — т. 2: 304—309, 312, 313, *514*.
Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.)— т. 1: 195, 284, 335, 417, 754, *858*, *864*, *873*; т. 2: 271, *506*.

Цеханович Петр, участник польского освободительного движения 30-х годов — т. 1: 200—202; т. 2: 450.

Цимисхий — см. Иоанн I.

Цинциннат Луций Квинкций (род. ок. 519 до н. э.), римский консул в 460 году до н. э., диктатор в 458 и 439 годах до н. э.— т. 1: 484, *883*; т. 2: 363.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — т. 1: 555; т. 2: 186, 320.

Цшокке Иоганн Генрих (1771—1848), немецкий писатель — т. 1: 70.

Цынский Лев Михайлович, генерал-майор, в 1834—1845 годах обер-полицмейстер Москвы — т. 1: 159, 160, 164, 165—169, 179, 187, 188, 190, 332, 731.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — т. 1: 62, 310, 350, 354, 357, 385, 431, 435, 437, 441—449, 454, 456, 461, 465, 491, 506, 692, 804, *863*, *867*, *875*, *877*, *878*; т. 2: 315, 435, *537*.

«Философические письма» — т. 1: 310, 350, 354, 441—443, 446, 461, 804, *863*, *867*, *877*.

Чальдини Энрико (1811—1892), итальянский генерал и политический деятель — т. 2: 386, *527*.

Чамберс — см. Чемберс.

Чампен Роберт, член Комитета по организации международного митинга в Лондоне в 1855 году — т. 2: 340.

Чарторыский (Чарторижский) Адам Юрий, князь (1770—1861), глава польского правительства после революции 1830 года, возглавлял аристократическую часть польской эмиграции — т. 2: 107, 119, 272, 290, 297, *512*, *514*.

Чеботарев Василий Степанович (ум. после 1889), врач на одном из заводов близ Перми во время пермской ссылки А. И. Герцена — т. 1: 206—209.

Челлини Бенвенуто (1500—1571 или 1574), итальянский скульптор и ювелир, медальер — т. 1: 549; т. 2: 356, 449, 452.

«Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции» — т. 2: 449, 452.

Чемберс (Чамберс) Роберт (1802—1871), английский писатель, ученый и издатель — т. 2: 229, *498*.

Чернецкий Людвиг, польский эмигрант, заведовал Вольной русской типографией в Лондоне — т. 2: 105, 114, 117, 241, 306.

Чернов Константин Пахомович (ок. 1803—1825), подпоручик, двоюродный брат К. Ф. Рылеева, член Северного общества — т. 1: 63, *845*.

Чернышев Александр Иванович (1785—1857), военный министр в 1832—1852 годах — т. 1: 377, 503, *869*.

Чернышев Захар Григорьевич, граф (1796—1862), декабрист, до ареста ротмистр — т. 1: 132.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — т. 1: 816; т. 2: 265, *500*, *502—505*.

Черткова Елизавета Григорьевна, урожд. Чернышева (ум. в 1858), близкий друг семьи Пассек — т. 1: 131, 132.

Чех Генрих Людвиг (1789—1844), покушался в 1844 году на жизнь прусского короля Фридриха Вильгельма IV, казнен — т. 2: 139, *485*.

Чеченский Александр Николаевич, генерал, участник войн с Наполеоном, товарищ Д. В. Давыдова по партизанскому движению — т. 1: 125.

Чингис-Хан (Темучин) (ок. 1155—1227)— т. 1: 647.

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист-государствовед, историк и философ, профессор Московского университета в 1861—1868 годах — т. 1: 531—536, 655, *887*; т. 2: 243, *500*, *501*.

«Обвинительный акт» — т. 1: 533, *887*; т. 2: 243, *500*.

Чичероваккио — см. Брунетти Ч.-А.

Чумаков Федор Иванович (1782—1837), профессор математики в Мо-

сковском университете, декан физико-математического отделения в 1827—1831 годах — т. 1: 112, 115.

Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852), поэт — т. 1: 95.
Шаллер Жюльен Юлиан (1807—1871), глава правительства Фрейбургского кантона, вице-президент Швейцарского совета штатов — т. 1: 670, 672, 679, 684.
Шаллер Юлиус (1810—1868), немецкий философ-гегельянец—т. 1: 342; т. 2: 138.
Шамбор Анри Шарль Фердинан, граф (герцог Бордосский) (1820—1883), внук Карла X, претендент на французский престол под именем Генриха V — т. 1: 553.
Шангарнье Никола Анн Теодюль (1793—1877), французский генерал, начальник парижской Национальной гвардии с июня 1848 года по январь 1851 года— т. 1: 578.
Шанявский Гаспар Степанович (род. ок. 1808), студент Московского университета, арестованный в 1831 году — т. 1: 125, *852*.
Шарлотта, знакомая Кинкелей — т. 2: 125, 126.
Шарлотта — см. Каролина Шарлотта.
Шарр Л., французский революционер, эмигрировал после революции 1848 года — т. 2: 51, 53.
Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), французский писатель-романтик — т. 1: 440, 454.
«Приключения последнего из Абенсерагов» — т. 2: 390, *528*.
Шведенборг — см. Сведенборг.
Шверин, начальник одной из почтовых станций между Кенигсбергом и Берлином — т. 1: 549.
Шебуев Василий Козьмич (1777—1855), художник, профессор с 1812 года, ректор с 1832 года Петербургской Академии художеств — т. 1: 440.
Шевалье Мишель (1806—1879), французский экономист, во время революции 1848 года выступал против социалистов — т. 2: 322.
Шеве Шарль Франсуа (1813—1875), французский публицист — т. 1: 446.
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — т. 2: 262.
Шевырев Степан Петрович («Ш», «Шевырко») (1806—1864), критик, историк, журналист, профессор Московского университета — т. 1: 441, 452, 463—466, *877*, *880*, *881*; т. 2: 326, 427, 429.
«Публичные лекции об истории средних веков Грановского» — т. 1: 464, *880*.
Шекспир Вильям (1564—1616)— т. 1: 123, 357, 358, 410, 511, 513, 515, 519, 538, 558 632, 697, 701, 754, *890*, *912*; т. 2: 29, 206, 284, 403, *492*, *493*, *527*.
«Венецианский купец» — т. 2: 357.
«Гамлет» — т. 1: 62, 350, 358; т. 2: 56, 100, 172, 201, 206, 207, 413.
«Король Лир» — т. 1: 697, *912*; т. 2: 206, 237, 338, *527*.
«Макбет» — т. 1: 123, 410, 558, 760, *890*; т. 2: 41.
«Отелло» — т. 2: 206.
«Ромео и Джульетта» — т. 1: 699.
«Сон в летнюю ночь» — т. 2: 237.
Шелли (Шеллей) Перси Бинш (1792—1822) — т. 2: 171, 176, 177, *489*.
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ— т. 1: 147, 340, 348, 446, 454, 586.
«Лекции о методе академических занятий» — т. 1: 348.
Шельшер Виктор (1804—1893), французский политический деятель, в 1848—1851 годах входил в группу Горы, был изгнан из Франции — т. 2: 63, 146, 160.
Шемяка Дмитрий Юрьевич (1420—1453), удельный князь Звенигорода и Галича-Костромского, выведен в сатирической повести

XVII века «Шемякин суд» — т. 1: 291, 476.
Шек, английский адвокат, друг Маццини — т. 2: 232, *499*.
Шеклейн Иоганн Лукас (1793—1864), немецкий врач, лейб-медик прусского короля — т. 1: 735.
Шеню Адольф (род. ок. 1817), член тайных обществ в период Июльской монархии; разоблачен как провокатор в 1848 году — т. 2: 160.
«Заговорщики, тайные общества, городская полиция при Коссидьере; добровольцы» — т. 2: 160.
Шепп (Шпенф), французский полицейский агент — т. 2: 160.
«Мои политические приключения в Швейцарии» — т. 2: 160.
Шереметев Николай Петрович, граф (1751—1809), сенатор, общественный деятель — т. 1: 95, *848*.
Шеридан Ричард Бринсли (1751—1816), английский драматург — т. 2: 348.
Шестаковский Наполеон, польский эмигрант — т. 2: 306.
Шефтсбери Антони Эшли Купер, лорд (1801—1885), английский консерватор — т. 2: 215, 230—232, *493*.
Шиалоя (Шиаола) Антонио (1817—1878), министр финансов в правительстве объединенной Италии, монархист — т. 2: 380, 385, *524*, *525*.
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — т. 1: 74, 75, 78, 82, 136, 139, 277, 279, 294, 334, 344, 440, 468, 513—516, 522, 585, 588, 609, 615, 635, 642, 727, 734, 769, 798, *846*, *847*, *863*, *864*, *882*, *886*, *895*; т. 2: 139, 153, 154, 175, 179, *485*, *489*, *506*, *531*.
«Альпийский стрелок» — т. 1: 468, *882*.
«Валленштейн» — т. 1: 75, 82, 513, *846*; т. 2: 179, *489*.
«Вильгельм Телль» — т. 1: 78, 615, *847*.
«Дева чужбины» — т. 1: 279, 295, *863*.
«Дон Карлос» — т. 1: 82, 335, 513, 787, *864*; т. 2: 271, 412, *506*, *531*.
«Заговор Фиеско в Генуе. Республиканская трагедия» — т. 1: 82, 514.
«Коварство и любовь» — т. 2: 140, *485*.
«Отречение» — т. 1: 334, 727, *864*, *913*.
«Перчатка» — т. 1: 585, *895*.
«Порука» — т. 1: 78, *846*; т. 2: 139.
«Разбойники» — т. 1: 82, 513, 514, 588, *846*, *895*.
«Слова веры» — т. 2: 176, *489*.
«Философские письма» — т. 1: 82.
Шипов Сергей Павлович (1789—1876), военный деятель, участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 годов; в 1838—1840 годах директор правительственной комиссии внутренних и духовных дел и народного просвещения в Польше — т. 1: 445.
Ширяев Александр Сергеевич (ум. в 1841), крупный издатель и книгопродавец — т. 1: 130.
Шишков Александр Семенович (1754—1841), государственный деятель и писатель; министр просвещения в 1824—1828 годах — т. 1: 32, 150, 439, *843*, *855*.
Шкун, крепостной крестьянин и доверенное лицо И. А. Яковлева — т. 1: 88, 89.
Шлегель Фридрих (1772—1829), немецкий критик и писатель, теоретик романтизма — т. 1: 447.
Шпенф — см. Шепп.
Шомбург, служащий в банке Ротшильда — т. 1: 650.
Шопен Фридерик Францишек (1810—1849) — т. 1: 673.
Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ-идеалист — т. 1: 829, 832; т. 2: 191.
Шпильман Иоганн (ум. в 1851), педагог, учитель сына А. И. Герцена — т. 1: 668, 761, 765, 766, *916*.
Штейн Генрих Фридрих Карл (1757—1831), прусский государственный деятель — т. 2: 125.
Штин, чиновник в канцелярии вятского губернатора — т. 1: 652.

Штофреген (Стофреген) Кондратий Кондратьевич (1817—1873), морской офицер, служил на фрегате «Генерал-адмирал» в 1861 году— т. 2: 247.
Шуберт Франц Петер (1797—1828)— т. 1: 343, 420.
«Атлас» — т. 1: 343.
«Всемогущество божие» — т. 1: 343.
Шубинский Николай Петрович (1782—1837), жандармский полковник, управляющий делами Московского округа, был членом обеих следственных комиссий по делу Герцена, Огарева и других в 1834 году — т. 1: 134, 169, 182—184, 189, 190.
Шультгес, цюрихский банкир — т. 1: 668, 669.
Шурц Карл (1829—1906), немецкий революционер, участник восстания в Бадене в 1848 году, эмигрировал в 1852 году в Америку— т. 2: 42, 43, 122.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — т. 1: 194. 410, 421, 454, 499, 516, 517, 522, 529; т. 2: 240, 241, 243, 422—425, 427, 429, *500*, *535*, *536*.
«Из записок артиста» — т. 2: 423, *535*.
Щепкин Павел Степанович (1793—1836), профессор математики Московского университета, в 1826—1833 годах декан физико-математического отделения — т. 1: 119, 137, *851*.
Щербатов Алексей Григорьевич, князь (1776—1848), генерал, московский генерал-губернатор в 1844—1848 годах — т. 1: 212, 470, 503, 505, 507—509.

Э.— т. 1: 573, 574.
Эбер (Геберт) Жак Рене (1757—1794), деятель французской революции 1789—1794 годов — т. 2: 47, 190, *469*, *491*.
Эвклид (III в. до н. э.), древнегреческий математик — т. 1: 500.
Эдмонд Шарль — см. Хоецкий.
Экк Иван Иванович (1758—1827), учитель музыки А. И. и Е. И. Герценов — т. 1: 57.
Эккартсгаузен Карл (1752—1803), немецкий писатель-мистик — т. 1: 447.
Эльслер Фанни (1810—1884), танцовщица — т. 2: 363.
Эмпсон Г., английский адвокат— т. 2: 343.
Энгельсон Александра Христиановна, жена В. А. Энгельсона — т. 1: 767, 768, 776, 779, 783, 808—824, 829, 830, 832—834, 838, *919*.
Энгельсон Владимир Аристович (1821—1857), русский эмигрант— т. 1: 755, 756, 763, 767—770, 774—776, 778, 783, 784, 786, 787, 790, 808—838, *918—920*; т. 2: 267, 272, 333.
«Первое видение отца Кондратия» — т. 1: 828, *920*.
«Что такое государство»? — т. 1: 832, *920*.
Энглендер Зигмунд (1828—1902), австрийский журналист, эмигрант — т. 2: 161, 162.
Энке Иоганн Франц (1791—1865), немецкий астроном — т. 1: 208, *859*.
Эренберг Христиан Готфрид (1795—1876), немецкий естествоиспытатель, участвовал в экспедиции А. Гумбольдта на Урал в 1829 году — т. 1: 117.
Эри М. К. — см. Рейхель М. К.
Эри Прасковья Андреевна (ум. в 1849), мать М. К. Рейхель и Г. К. Эри, друзей А. И. Герцена— т. 1: 325, *864*.
Эрист Август, король Ганновера в 1837—1851 годах — т. 2: 359.
Эрот (м и ф.) — т. 2: 375, *523*.
Эскирос Анри Альфонс (1814—1876), французский литератор и политический деятель, эмигрировавший в Англию после поражения революции и изгнания его из Франции в 1851 году — т. 1: 833.
Эскус Виктор (1813—1832), французский поэт и драматург, покончил самоубийством вместе со своим другом, поэтом О. Лебра— т. 1: 138.

Эспартеро Бальдомеро (1793—1879), глава правительства Испании в 1854—1856 годах — т. 1: *873*; т. 2: 129.

Эспинас Эспри Шарль Мари (1815—1859), французский генерал, министр внутренних дел с 1858 года — т. 2: 399, *529*.

Эссен Петр Кириллович (1772—1844), генерал, оренбургский, а затем петербургский генерал-губернатор, друг И. А. Яковлева — т. 1: 42, 77.

Эссен, флигель-адъютант Николая I — т. 1: 236, 237.

Эстергази, венгерские магнаты — т. 2: 106.

Эстергази Павел Антон, князь (1786—1866), австрийский дипломат — т. 2: 363.

Юм Дэвид (1711—1776), английский философ — т. 1: 454, 455, 526, 632; т. 2: 176.

Юнона (м и ф.)— т. 2: 123.

Юпитер (м и ф.) — т. 1: 117; т. 2: 56, 123, 200.

Юсупов Николай Борисович, князь (1750—1831), сановник и крупнейший помещик, в 20-х годах главноуправляющий экспедицией кремлевского дворца — т. 1: 42, 73, 85, 100, 101, 483.

Юшневская Мария Казимировна, урожд. Круликовская (род. ок. 1790), жена декабриста А. П. Юшневского — т. 1: 215.

Юшневский Алексей Петрович (1786—1844), генерал-интендант, декабрист, пробыл на каторге до 1839 года, затем на поселении — т. 1: 215.

Яворский Стефан (1658—1722), православный богослов и церковный деятель при Петре I — т. 1: 350.

Ягеллоны, литовско-польская королевская династия в 1386—1572 годах — т. 1: 134.

Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт — т. 1: 465, *880*, *881*; т. 2: 422, 423.

«К не нашим» — т. 1: 465, *880*.

«Константину Аксакову» — т. 1: 465, *880*.

«К Чаадаеву» — т. 1: 465, *880*.

Языкова Елизавета Петровна, урожд. Ивашева (1805—1848), сестра декабриста В. П. Ивашева — т. 1: 63.

Яковлев Александр Алексеевич («старший братец») (1762—1825), дядя А. И. Герцена и отец Н. А. Герцен (Захарьиной), камергер, в 1803 году занимал пост обер-прокурора синода — т. 1: 36—38, 55, 73, 103—106, 265, 267, 270, 271, 367, 469, *844*.

Яковлев Алексей Александрович (1726—1781), дед А. И. Герцена — т. 1: 38, 161.

Яковлев Алексей Александрович («Химик») (1795—1868), двоюродный брат А. И. Герцена и брат по отцу Н. А. Герцен (Захарьиной) — т. 1: 73, 100, 103—108, 270, 302, 319, 474, 475, *850*.

Яковлев Василий (ум. в 1831), староста в селе Покровском — т. 1: 409.

Яковлев Иван Алексеевич (1767—1846), отец А. И. Герцена — т. 1: 27—34, 36—43, 46—48, 51—60, 64, 67, 70, 72—74, 76, 77, 80, 84—100, 104—109, 123, 142—144, 156, 159—161, 183, 236, 245, 246, 259, 264—268, 270, 273, 283, 297, 299, 300, 303—305, 312, 318, 319, 325, 335, 365—367, 374, 375, 380—383, 391, 405, 409, 410, 414, 415, 417, 418, 453, 469—481, 484, 486, 493, 499, 503, 536, 652, *847*, *869*, *870*, *872*, *882*; т. 2: 430, *486*, *519*.

Яковлев Лев Алексеевич («Сенатор») (1764—1839), дипломат и сенатор; дядя А. И. Герцена — т. 1: 27, 33—41, 44, 47, 48, 51—53, 56, 58, 60, 61, 72, 89, 90, 95, 98, 99, 104, 123, 156, 264, 265, 267, 268, 270, 273, 297, 299—303, 312, 335, 405, 410, 414, 415, 453, 469, 473, 474, 478, 480, 484, 486, *844*, *882*.

Яковлев Петр Алексеевич (1760—1813), член военной коллегии, дядя А. И. Герцена и дед Т. П. Пас-

сек — т. 1: 32, 38, 52, 67, 265, 469, *844*.

Яковлева Олимпиада Максимовна (1775—1865), жена Александра Алексеевича Яковлева, мать А. А. Яковлева («Химика») — т. 1: 103, 105—107.

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857), декабрист — т. 1: 446, *878*. «Записки» — т. 1: 446, *878*.

Ян Фридрих Людвиг (1778—1852), немецкий реакционный педагог и публицист — т. 1: 447.

Январий, епископ Беневентский — т. 2: 181, 199, *490*.

Янус (м и ф.) — т. 1: 437, 468.

Ярыжкин, новгородский помещик — т. 1: 396.

Ярыжкина, новгородская помещица — т. 1: 396.

СОДЕРЖАНИЕ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Часть шестая

АНГЛИЯ (1852—1864)

Глава I. Лондонские туманы 7
Глава II. Горные вершины. *Центральный европейский комитет.— Маццини.— Ледрю-Роллен. — Кошут* 10
Глава III. Эмиграции в Лондоне. *Немцы, французы.— Партии.— В. Гюго.— Феликс Пиа.— Луи Блан и Арман Барбес.— «On liberty»* 25
Глава IV. Два процесса. 1. Дуэль. 2. Бартелеми . 62
Глава V. «Not guilty» 85
Глава VI. Польские выходцы. *Адольф Бервицкий.— Станислав Ворцель.— Агитация 1854—56 года.— Смерть Ворцеля* 99
Глава VII. Немцы в эмиграции. *Руге, Кинкель.—Schwefelbande.— Американский обед.— «The Leader».— Народный сход в St. Martin's Hall.— D-r Müller* 121
Глава VIII. Лондонская вольница пятидесятых годов. *Простые несчастья и несчастья политические.— Учителя и комиссионеры.— Ходебщики и хожалые.— Ораторы и эпистолаторы.— Ничего не делающие фактотумы и вечно занятые трутни.— Русские.— Воры.— Шпионы* 143
Глава IX. Роберт Оуэн 166
Глава X. Camicia rossa 206

Часть седьмая

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ И «КОЛОКОЛ»

Глава I. Апогей и перигей (1858—1862) 238
Глава II. В. И. Кельсиев 266
Глава III. <Молодая эмиграция> 275
Глава IV. М. Бакунин и польское дело . . . 285
Глава V. Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley & C° 304
Глава VI. Pater V. Petcherine 314
Глава VII. И. Головин 325

Часть восьмая

ОТРЫВКИ (1865—1868)

Глава I. Без связи 346
Глава II. Venezia la bella (Февраль 1867) 377
Глава III. La belle France 390

СТАРЫЕ ПИСЬМА

(ДОПОЛНЕНИЕ К «БЫЛОМУ И ДУМАМ»)

Письмо Николая Алексеевича Полевого 416
Из писем Виссариона Григорьевича Белинского 418
Из писем Тимофея Николаевича Грановского 429
Письмо Петра Яковлевича Чаадаева 435
Из писем П.-Ж. Прудона 436
Письмо Томаса Карлейля 440

ПРИЛОЖЕНИЯ

Братьям на Руси 445
Предисловия к ранним публикациям
<К первой части> 447
Введение <к первому изданию «Тюрьмы и ссылки»> . . 448
<К английскому изданию «Тюрьмы и ссылки»> . . . 448
К второму изданию <«Тюрьмы и ссылки»> 450
<К третьей части> 450
<К главам четвертой части> 451
Из дневника Н. А. Герцен 454

Примечания: *И. Белявской*, *И. Зильберфарба*, *С. Кана*, *И. Орлика*, *И. Твердохлебова*, *З. Цыпкиной*, *Я. Эльсберга* — к шестой части; *И. Белявской*, *А. Сабурова*, *И. Твердохлебова*, *М. Хейфеца* — к седьмой части; *И. Зильберфарба*, *И. Твердохлебова*, *М. Хейфеца*, *З. Цыпкиной* — к восьмой части; *К. Богаевской*, *И. Твердохлебова*, *Е. Черняк*, *Н. Эфрос* — к «Старым письмам»; *И. Ждановского*, *И. Твердохлебова* — к «Приложениям» 461

Алфавитный указатель имен 543

На суперобложке:

«Гарибальди в Лондоне». Гравюра из газеты «The Illustrated London News» от 23 апреля 1864 г.

«Лондон. Вид на парламент со стороны Темзы». Гравюра по рисунку Гюстава Доре.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 74

Александр Иванович Герцен

«БЫЛОЕ И ДУМЫ», ЧАСТИ 6—8

*

Редактор С. Чулков
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
М. Фридкина
Корректоры Р. Андрианова и
Е. Патина

*

Сдано в набор 9/XII 1968 г. Подписано к печати 11/IV 1969 г. Бумага типографская № 1 60×84 1/16. 38,5 печ. л. 35,921 усл. печ. л. 39.686 уч.-изд. л. +4 накидки= 40,166. Тираж 300 000 экз.
Заказ 3365. Цена 1 р. 65 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28